ВИЛЬГЕЛЬМ БЛОС

ГЕРМАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

История движения 1848—1849 года в Германии

ПЕРЕВОД

В. Базарова и И. Степанова

Издание, переработанное

И. Степановым

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ▫ МОСКВА

Р. Ц. Вх.50. МОСКВА. Тираж 10000 экз.

39-я типография М.С.Н.Х., Путинковский пер., 3.

К новому русскому изданию.

В предисловии к первому тому „Предшественников новейшего социализма“ К. Каутского[1]) я уже вкратце упоминал, в каком виде провели мы книгу Блоса через чистилище той цензуры, какой она была до революции 1905 года.

Во второй половине 1904 года мы ясно чувствовали и сознавали, что Россия быстрыми шагами приближается к революционному взрыву, и что война с Японией ускорит его наступление. Для нас было ясно, что российская революция XX века не повторит ни Великой Французской Революции XVIII века, ни малых революций XIX века, — что она будет одновременно и тем, и другим, и кроме того еще чем-то третьим, так как она развернется в эпоху промышленного капитала.

Но поскольку промышленный пролетариат уже возник к эпохе революций 1848 года, постольку в них было кое-что и из того „третьего“, из того, что должно составить специфическую особенность революций XX века.

Я как-то писал, что во всех революциях было „нечто пророческое“. Они не только разрешали задачи, выдвинутые перед ними их временем: поскольку уже в них существовали зародыши тех общественных классов, которые должны были развернуться лишь с дальнейшим экономическим развитием, всякая революция прошлого выдвигала между прочим и такие задачи, которым предстояло властно, настойчиво, революционно заявить о себе лишь в позднейшее время. Таким образом и российская революция 1905 года, в нерешительной и смутной форме, но все же наметила между прочим и те задачи, которые в 1917 и следующих годах российскому пролетариату пришлось поставить ребром.

В 1904 году нельзя было предвидеть такого быстрого темпа развития,—нельзя было учесть того головокружительного ускорения, которое внесла в мировую жизнь мировая война. Но в этом и не было необходимости для того, чтобы оценить значение книга Блоса в виду назревавших в то время событий.

---

[1]) Вышел в Государственном Издательстве в 1920 г.

Революция 1848 года была для Германии „программною" революцией. Те классовые противоречия, которые наметились в ней, и та классовая борьба, которая уже тогда развернулась с большой быстротой, в известном смысле составили содержание германской истории за последующие полвека. И вовсе не случайность, что Маркс и Энгельс обнаруживали такое несравненное понимание общественных отношений за позднейшие десятилетия: революция 1848 года как бы в бенгальском освещении представила перед ними всю картину современного общества с его классами, с его глубокими классовыми противоречиями, с его движением, со всей его сложностью, но в то же время и со всей его ясностью, простотой, характеризующими капиталистическую эпоху.

В виду всех этих соображений нам представлялось несомненным, что появление книги Блоса на русском языке отвечало бы самым настоятельным, практическим, революционным потребностям. Но как провести книгу при тогдашних цензурных условиях?

За издание взялся московский издатель С. А. Скирмунт, который, являясь идейным издателем, товарищем, охотно шел на всякий риск раз дело шло о полезной книге. Но для нас было ясно, что в Москве книга без всяких разговоров будет зарезана: по своей беспощадной тупости и по тупой беспощадности московская цензура побивала всяческие рекорды.

Однако и петербургские условия не позволяли питать особенных надежд. Всего за несколько лет перед тем петербургская цензура жестоко изуродовала и искромсала фельетонную болтовню Иоганна Шерра, „Комедию всемирной истории", посвященную тому же предмету, как и книга Блоса.

А у Блоса книга начиналась очерком до-мартовского состояния Германии, которое как две капли воды походило на состояние тогдашней России. Всякий цензор с первых же страниц сказал бы с хитрым видом: „не проведете!—знаем мы, о какой Германии идет у вас речь! и знаем, о каких это Гогенцоллернах, Габсбургах и Меттернихах вы говорите!" А то обстоятельство, что книга написана так популярно, только увеличило бы ее опасность в глазах цензора.

Приходилось применить к книге уже испытанный рецепт, примененный с полнейшим успехом к „Предшественникам новейшего социализма" К. Каутского и К. Гуго (Линдемана): надо было одновременно и выпустить книгу и в то же время как бы припрятать ее. На этот раз мы знали, что, если удастся „припрятать", то в заблуждение будут введены только цензоры, но отнюдь не читатели.

Книгу следовало несколько переработать. Характером книги отчасти определился характер переработки. Блос—хороший рассказчик, историк-повествователь, но вовсе не экономист. Как старый социал-демократ, как социал-демократический депутат, он много вращался среди марксистов, но теоретически он не историк-материалист и даже

вообще не теоретик. По марксистской мерке, он несколько поверхностный, местами наивный повествователь-историк и германской революции, и в особенности Великой Французской Революции. Но даже для первоначального знакомства с французской революцией его книга до сих пор остается превосходным пособием: она все же выше работ Минье Гейссера, и Карно, с которых русскому читателю приходится подходить к этой эпохе. Что касается германской революции 1848 года, то здесь Блос положительно незаменим. Полувековой юбилей этой революции дал только одну новую сносную работу, написанную Гартманом. Но она написана на премию, объявленную южно-германской народной партией, и местами фальшива, как только и могут быть современно-демократические изображения событий 1848 года.

Таким образом, несмотря на существенные недостатки, книга Блоса до сих пор остается *единственной* книгой, из которой читатели могут почерпнуть первоначальное знакомство с предметом. Решив взять ее для перевода, но вынужденные в то же время „прикрывать" ее от цензуры, мы пришли к убеждению, что переработка может послужить восполнению некоторых пробелов.

На экономическом строе Германии Блос останавливается мимоходом и посвящает ему всего несколько беглых страничек, разбросанных в разных местах. Я решил дать более систематическое представление об этой стороне дела и по ряду книжек составил компилятивную главу: „Экономический строй Германии в первую половину XIX века", которая должна выяснить экономическую подоплеку всех последующих событий.

Логически эта новая глава должна быть первой главой в книге, своего рода *введением* к ней. Но тем самым и в цензурном отношении достигалось то, чего следовало достигнуть: те главы, которые невольно напрашивающимися сопоставлениями с тогдашней Россией могли навести величайшую тревогу на цензора и разом погубить дело, отодвигались на сравнительно отдаленное место. Подкупленный „серьезностью" и „солидностью" экономического введения, цензор терпимее мог отнестись к некоторым острым местам политических глав. Мы решились дать в них собственно перевод Блоса. Только кое-где в примечаниях я внес некоторые дополнения из работ о революции 1848 года, появившихся после книги Блоса; но, вводя их, я руководился уже не цензурными соображениями, а исключительно стремлением повысить значение книги для русского читателя.

Заключительным аккордом послужило написанное мною предисловие к русскому изданию. Мы воспроизводим его здесь, так как оно, во-первых, дает правильную характеристику общего состояния литературы предмета и, во-вторых, правильно обрисовывает некоторые из перемен, произведенных с книгою Блоса. Просмотрев предисловие, читатель убедится, что оно должно было достигнуть своей цели: „припрятать" книгу Блоса от цензора.

Говорить о *революции* в самом названии книги было бы рискованно. Поэтому мы назвали ее так: „Очерки по истории Германии в XIX веке. Том первый. Происхождение современной Германии. Составили В. Базаров и И. Степанов“.

Назвав работу „томом первым“, мы тем самым как бы брали на себя обязательство, что за ним последует второй том. Предисловие прямо говорит о намерении написать таковой. И еще лет 6—7 тому назад некоторые из читателей запрашивали, скоро ли он появится в свет.

Я лично относился к этому обещанию очень серьезно и давал его не только с той целью, чтобы спутать цензуру. Я мечтал о том, что, если дерзкий опыт с Блосом увенчается успехом, надо будет еще раз провести цензоров и под видом второго тома „Очерков“ дать „Историю Германской Социал-демократии“. Революция 1905 года, сделавшая возможным открытое издание этой работы, сняла с очереди „второй том“ „Очерков“.

В июне 1905 года печатание книги подошло к концу. Я не мог ждать в Москве цензорского приговора и отправился в Петербург, чтобы в случае надобности принять некоторые меры для спасения книги. Неблагоприятные вести встретили меня там. Цензура, одно время ослабевшая, опять стала суровее,—повидимому, опять появилась надежда без особенного неблагополучия выкрутиться из русско-японской войны и из нароставшего внутри революционного движения. Цензор, просматривавший книгу, решил ее задержать. Дело перешло на решение цензурного комитета. Если там присоединятся к мнению цензора, придется перенести книгу в главное управление по делам печати, где в лучшем случае дело затянется на многие месяцы,—или же книга будет немедленно уничтожена.

Но вот, наконец, зайдя в типографию, я узнал, что она приступила к брошюровке: разрешение на выпуск книги было получено. Излишне да и невозможно описать то торжество, которое я испытал при этом после нескольких месяцев волнений.

Читатель быстро нашел книгу: через несколько недель все издание, очень значительное для того времени, было распродано.

В 1905 году у нас не было времени приняться за подготовку второго издания. Оно вышло только в следующем году. В то время можно было бы дать просто перевод подлинного Блоса. Но, пересматривая работу, мы нашли, что нет никаких оснований поступаться экономическим введением к книге: оно *восполняет* несомненный пробел в книге Блоса. В остальном же мы дали подлинного Блоса с некоторыми дополнениями, и вычеркивать или особо отмечать их тоже не требовалось.

Но в то время, когда выходило второе издание, уже началось, под разными конституционными прикрытиями, восстановление старой цензуры. При таких обстоятельствах было бы опасно рассказывать о

том издевательстве, которое мы учинили над цензурой, проводя книгу Блоса. Поэтому мы и во втором издании удержали то название, под каким она явилась в первом издании.

Настоящее издание представляет заново пересмотренное воспроизведение второго издания, а во многих местах более значительное приближение к Блосу, чем можно было позволить при существовании цензуры.

И. Степанов.

Июль 1919 года.

К первому русскому изданию.

Начало XX века вызвало во всех западно-европейских странах потребность окинуть общим взглядом истекшее XIX столетие и подвести итоги тому, что дало оно для экономического и политического развития, для науки, литературы и т. д. На книжном рынке появился ряд серий — отчасти еще незаконченных, — стремящихся удовлетворить эту потребность. Создалась богатая литература об «итогах XIX столетия».

Германия не осталась в стороне от этого движения. Еще раньше, чем закончился XIX век, в ней появились многочисленные обзоры завоеваний этого века в различных областях жизни. Не одинаковые по степени популярности, по богатству материала, по внутренней ценности, они дают в общем довольно полную картину того, что принесло XIX столетие для Германии, и что она, в свою очередь. дала в этом столетии человечеству.

Предлагаемая русским читателям работа стремится отчасти использовать немецкую литературу о XIX веке, — именно об общественном развитии Германии в минувшем столетии. Первый том посвящен социальной и политической истории Германии в первую половину XIX века: второй, подготовляющийся к печати, даст историю Германии за последнюю половину столетия.

Центральным пунктом изложения в первом томе является конец 40-х годов,— эпоха, которая играет в последующем развитии Германии приблизительно такую же роль, как конец XVIII века для дальнейшей истории Франции. Как Тэн относит „происхождение современной Франции" к концу XVIII века, так, по всей справедливости, вопреки немецкой официальной легенде, „происхождение современной Германии" следует отнести к концу 40-х годов, а не к 1867 или 1871 году.

Конец 40-х годов выдвинул в Германии идеи и принципы, которые и до сих пор не нашли осуществления в немецкой действительности: она еще более далека от идеалов людей 1848 года, чем современная Франция от идеалов людей конца XVIII века.

Дальнейшая история Германии представляет с известной точки зрения историю борьбы за осуществление этих принципов, за последовательное проведение их в жизнь. Прежние носители идей 1848 года

превращались в их заклятых врагов, начинали стыдиться своего прошлого; не напоминать о нем сделалось для них признаком хорошего тона; посредством фальшивых истолкований они старались устранить вопиющие противоречия между своими демократическими стремлениями в молодости и примирением с солдатско-полицейской гегемонией Пруссии в зрелом возрасте.

Но зато вырастали новые общественные силы, которые смело поднимали брошенное знамя и твердой рукой несли его в битву за развитие Германии в том направлении, как хотели того молодые общественные силы 40-х годов, социально устаревшие в 60-х годах. Старые принципы расширялись и углублялись, в них вдыхалась новая жизнь, и чем больше нескрываемой ненависти встречали они в одних общественных группах, тем больше было попыток со стороны представителей других групп изгладить старые лозунги из общественной памяти и в крайнем случае дать им прусско-германско имперское истолкование.

Таким образом борьба около старого знамени не прекращалась в течение всего XIX века, как во Франции много десятилетий не прекращалась борьба около идей революции.

Борьбой дышит и литература предмета. Обширная сама по себе, в особенности разросшаяся около 1898 года (50-летний юбилей,) она еще больше чужда объективности, чем в течение долгого времени была литература французской революции.

Работы историков, для которых открыты правительственные архивы, полны озлобленными нападками на деятелей 40-х годов. Клеветнические измышления, хотя они уже не раз были документально опровергнуты, преспокойно переписываются одним таким историком из другого.

Особенную известность получил в этом отношении старый Трейчке [1]). Но мало уступает ему и новейший историк, Цвидинек-Зюденгорст (не следует смешивать с экономистом того же имени) [2]). Крайняя тенденциозность делает затруднительным пользование довольно богатым материалом этих источников.

Известная книга Шерра [3]) устарела как по фактическому материалу, так—и даже в особенности—и по точке зрения. Она представляет теперь преимущественно исторический интерес, как иллюстрация крайне спутанности мышления, характеризующей «демократов» 1848 года, ослепленных впоследствии успехами Пруссии. Она тоже тенденциозна в своем роде. Иначе и быть не могло при крайней поверхностности и фельетонной манере Шерра, слишком легко приносящей историческую истину в жертву стилистическим фокусам.

---

[1]) Treitschke, Deutsche Geschicte im XIX Jahrhundert.

[2]) Zwiedineck-Südenhorst, Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches. II. Band. Geschichte des deutschen Bundes und des Frankfurter Parlaments (1815—1849).

[3]) „Комедия всемирной истории". Есть два русских издания; последнее—О. Поповой

К первому русскому изданию.

Начало XX века вызвало во всех западно-европейских странах потребность окинуть общим взглядом истекшее XIX столетие и подвести итоги тому, что дало оно для экономического и политического развития, для науки, литературы и т. д. На книжном рынке появился ряд серий — отчасти еще незаконченных, — стремящихся удовлетворить эту потребность. Создалась богатая литература об «итогах XIX столетия».

Германия не осталась в стороне от этого движения. Еще раньше, чем закончился XIX век, в ней появились многочисленные обзоры завоеваний этого века в различных областях жизни. Не одинаковые по степени популярности, по богатству материала, по внутренней ценности, они дают в общем довольно полную картину того, что принесло XIX столетие для Германии, и что она, в свою очередь, дала в этом столетии человечеству.

Предлагаемая русским читателям работа стремится отчасти использовать немецкую литературу о XIX веке, — именно об общественном развитии Германии в минувшем столетии. Первый том посвящен социальной и политической истории Германии в первую половину XIX века; второй, подготовляющийся к печати, даст историю Германии за последнюю половину столетия.

Центральным пунктом изложения в первом томе является конец 40-х годов,— эпоха, которая играет в последующем развитии Германии приблизительно такую же роль, как конец XVIII века для дальнейшей истории Франции. Как Тэн относит „происхождение современной Франции" к концу XVIII века, так, по всей справедливости, вопреки немецкой официальной легенде, „происхождение современной Германии" следует отнести к концу 40-х годов, а не к 1867 или 1871 году.

Конец 40-х годов выдвинул в Германии идеи и принципы, которые и до сих пор не нашли осуществления в немецкой действительности: она еще более далека от идеалов людей 1848 года, чем современная Франция от идеалов людей конца XVIII века.

Дальнейшая история Германии представляет с известной точки зрения историю борьбы за осуществление этих принципов, за последовательное проведение их в жизнь. Прежние носители идей 1848 года

превращались в их заклятых врагов, начинали стыдиться своего прошлого; не напоминать о нем сделалось для них признаком хорошего тона; посредством фальшивых истолкований они старались устранить вопиющие противоречия между своими демократическими стремлениями в молодости и примирением с солдатско-полицейской гегемонией Пруссии в зрелом возрасте.

Но зато вырастали новые общественные силы, которые смело поднимали брошенное знамя и твердой рукой несли его в битву за развитие Германии в том направлении, как хотели того молодые общественные силы 40-х годов, социально устаревшие в 60-х годах. Старые принципы расширялись и углублялись, в них вдыхалась новая жизнь, и чем больше нескрываемой ненависти встречали они в одних общественных группах, тем больше было попыток со стороны представителей других групп изгладить старые лозунги из общественной памяти и в крайнем случае дать им прусско-германско имперское истолкование.

Таким образом борьба около старого знамени не прекращалась в течение всего XIX века, как во Франции много десятилетий не прекращалась борьба около идей революции.

Борьбой дышит и литература предмета. Обширная сама по себе, в особенности разросшаяся около 1898 года (50-летний юбилей,) она еще больше чужда объективности, чем в течение долгого времени была литература французской революции.

Работы историков, для которых открыты правительственные архивы, полны озлобленными нападками на деятелей 40-х годов. Клеветнические измышления, хотя они уже не раз были документально опровергнуты, преспокойно переписываются одним таким историком из другого.

Особенную известность получил в этом отношении старый Трейчке [1]). Но мало уступает ему и новейший историк, Цвидинек-Зюденгорст (не следует смешивать с экономистом того же имени) [2]). Крайняя тенденциозность делает затруднительным пользование довольно богатым материалом этих источников.

Известная книга Шерра [3]) устарела как по фактическому материалу, так—и даже в особенности—и по точке зрения. Она представляет теперь преимущественно исторический интерес, как иллюстрация крайне спутанности мышления, характеризующей «демократов» 1848 года, ослепленных впоследствии успехами Пруссии. Она тоже тенденциозна в своем роде. Иначе и быть не могло при крайней поверхностности и фельетонной манере Шерра, слишком легко приносящей историческую истину в жертву стиллистическим фокусам.

---

[1]) Treitschke, Deutsche Geschicte im XIX Jahrhundert.

[2]) Zwiedineck-Südenhorst, Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches. II. Band. Geschichte des deutschen Bundes und des Frankfurter Parlaments (1815—1849).

[3]) „Комедия всемирной истории". Есть два русских издания; последнее—О. Поповой

Большое удовлетворение со стороны содержательности и объективности дает книга небезызвестного русской читающей публике Блоса[1]). Хотя она появилась более десяти лет тому назад, она до сих пор остается самым ценным и почти незаменимым пособием для изучения истории Германии в первую половину XIX века. Эта книга положена в основу настоящей работы, компилятивной в некоторых отделах и переводной в наибольшей части.

Для исправлений и дополнений, в соответствии с новейшими материалами, очень полезной оказалась небольшая книга Гартмана, удостоенная первой премии на конкурсе, объявленном южно-германской народной партией по случаю 50-летнего юбилея 1848 года[2]).

Много ценного материала дает известная книга Меринга[3]). В особенности полезной оказалась она при изображении экономических отношений в до-мартовской Германии — стороны, почти совсем не затронутой в основном источнике. Пришлось ею воспользоваться и для исправлений некоторых суждений Блоса об отдельных деятелях 1848 года (напр., о Борне).

Некоторый материал для описания экономического строя старой Германии дала также книга Шиппеля[4]).

Вообще говоря, экономическое развитие Германии за первую половину XIX века остается наименее изученной стороной ее общественного развития. Много любопытного материала и плодотворных точек зрения для этой области дает Зомбарт[5])

Главнейшими пособиями при переработке отделов об Австрии, судьбы которой за обозреваемый период неразрывно связаны с историческими судьбами Германии, послужила небольшая, но чрезвычайно содержательная книга Ценкера[6]) и первые главы книги Вентига[7]). Но вообще составители меньше обращали внимания на переработку материала об Австрии, так как одновременно с этой книгой они начали подготовлять к печати перевод капитальной работы М. Баха по истории Австрии в первую половину XIX века[8]).

В заключение нельзя не отметить, что установившиеся в немецкой исторической литературе взгляды на события конца 40-х годов не свободны от некоторых противоречий, иногда очень серьезных. Такими противоречиями страдала и история французской революции в разра-

---

[1]) W. Blos, Die Deutsche Revolution.

[2]) O. Hartmann, Die Volkserhebung der Jahre 1848 und 1849 in Deutschland.

[3]) F. Mering, Die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. В настоящее время печатается в переводе М. Е. Ландау.

[4]) M. Schippel, Grundzüge der Handelspolitik.

[5]) W. Sombart, Der moderne Kapitalismus. Русск. пер.: Современный капитализм. Пер. под ред. В. Базарова и И. Степанова, изд. С. Скирмунта. Два тома.

[6]) E. V. Zenker, Die Wiener Revolution 1848 in ihren sozialen Voraussetzungen und Beziehungen.

[7]) H. Waentig, Gewerbliche Mittelstandspolitik.

[8]) М. Бах. Австрия в первую половину XIX века. Вышла в изд. С. Скирмунта.

ботках большинства авторов, пока не началось и не сделало серьезных успехов изучение экономической истории XVIII века. Тогда там, где как прежде казалось, все было произвол и случайность, выступила закономерность и необходимость.

При неразработанности экономической истории Германии историки ее политического развития в первую половину XIX века никак не могут отделаться от впечатления, что очень крупную роль сыграли в ней личные слабости и недостатки, промахи и ошибки того или другого лица. Социологическое истолкование исторических деятелей остается им в значительной степени чуждым [1]). Больше сделано в таком направлении для истории Австрии, по причинам, которые представляют большой интерес, но останавливаться на которых здесь мы не можем.

Однако в последние годы и для истории Германии кое-что сделано экономистами-историками. Во введении ко второму тому, которое даст общий обзор явлений первой половины XIX столетия, мы познакомим читателей с тем истолкованием, какое получает у них история Германии за обозреваемый в настоящем томе период.

Первые четырнадцать глав составлены и переведены И. Степановым, остальные—В. Базаровым.

И. С.

Апрель 1905 г.

---

[1]) Начало ему положено работой К. Маркса: Революция и контр-революция в Германии. Вошла в „Собрание исторических работ" К. Маркса, перев. под ред. В. Базарова и И. Степанова в изд. С. Скирмунта. Поступает в продажу одновременно с этой книгой.

К немецкому изданию.

Предлагаемая работа представляет попытку дать картину того великого движения, которое разыгралась в 1848 и 1849 годах и имело своей целью полное преобразование Германии в направлении к свободе и единству.

Историография нашего времени, в огромной мере находясь в руках литературных лейб-гусаров, старалась претворить историю для возвеличения системы господствующей в данное время, и связать ее с отдельными „великими людьми". Работая в таком направлении, то, что было создано Бисмарком, называемым самым совершенным из всего, что породило развитие отношений в Германии, и стараются показать таким способом, что в этих творческих актах сверху „блестяще осуществилось" все, к чему наши отцы в эпоху бурь 1848 года стремились снизу. Понятно, что в виду таких обстоятельств эпоха лейтенантов запаса часто с уверенным презрением оглядывается на „безумный" 1848 год, когда народ будто бы делал только глупости, между тем как хорошие мысли того времени нашли осуществление в учреждениях Германской империи.

Наш взгляд противоположен таким представлениям. Мы не даем преувеличенной переоценки победителям, но не прикрашиваем недостатков побежденных. Но наша работа покажет в то же время, что народное движение 1848 года стремилось к совершенно иным целям, чем осуществляемые в Бисмарковском военном и бюрократическом государстве. В ту эпоху дело шло о создании нового великого германского общества проникнутого демократическим духом и опирающегося на свободные демократические учреждения. Будто бы бранденбургский юнкер, который хочет поднять Германию на седло, стремится к тому же самому, это — измышление политических перебежчиков, вынужденная ложь, которой былые „люди либерализма" 1848 года хотят оправдать свое присоединение к свите победителя при Садовой и свое подчинение новым властям.

Прекрасным и много обещающим было начало движения; казалось, попали на наилучший путь к тому, чтобы создать Германию свободную и единую в буржуазном смысле. Это, действительно, знаменовало

бы колоссальный прогресс, смелый прыжок из ночи Союзного Сейма в яркий солнечный свет самостоятельного бытия народа. Буржуазная свобода не означает свободы для всех; но в то время она могла бы проложить дорогу к свободе для всех. Что так не случилось, вина за это падает на классовый эгоизм поднимающейся буржуазии.

Одушевление мартовских дней было мощное и величавое: одна из прекраснейших эпох германской истории, столь бедной народными триумфами и столь богатой победами самых мрачных сил. Однако, мартовских завоеваний не удалось удержать; они растаяли у народа в руках, а реакция доделала остальное. У немцев не было политического опыта, и обеспечение своих завоеваний они целико доверили парламенту. В этом знаменитом собрании во Франкфурте на Майне, перед которым была поставлена столь великая задача, решительный перевес принадлежал реакционерам: они успешнее демократов сумели увлечь за собою массу колеблющихся, нерешительных и трусливых. Революция в своем ходе не нашла достаточно пригодного материала для того, чтобы упрочить свои завоевания. В этом отношении немцы был не так счастливы, как французы в эпоху своего великого переворота девяностых годов XVIII века, взмешавшего пригодные элементы из массы. Германский переворот 1848 года шел не достаточно глубоко и оставил слишком широкую арену выдающимся людям прошлого, отсталым элементам и ограниченным филистерам. Немецкая основательность, которая вообще нередко была так кстати, в эту эпоха стала помехой, и парламент убил свое драгоценное время на пустые упражнения в красноречии и на жалкую склоку. Между тем народное движение ослабело, и парламент, взявший на себя обязательство обновить Германию, внезапно увидел, что другие уже давно видели,— что за ним нет опоры и силы, и должен был позорно удалиться с арены своей деятельности.

Согласно историческому закону, за подъемом всякой революции следует реакция. Реакция последовала и за восстанием 1848 года. Но это не было какое-то неразличимое, таинственное чудовище, как думают историки-филистеры, которые никак не возьмут в толк, откуда и как явилась эта реакция. Она вытекала из классовых противоположностей, зияющей пропастью разверзшихся после мартовских бурь. В момент опасности, во время борьбы на улицах, буржуазный либерализм охотно принял помощь пролетариата. Одержав победу, которой она на девять десятых был обязан рабочему народу, „почтенная“ буржуазия хотела по-новому, со всеми удобствами, строиться на развалинах до мартовского строя; народ же должен был с пустыми руками, самое большее — с жалкими крохами, брошенными как милостыня, возвратиться в свои лачуги, в свои мастерские, за свои работы. Когда же пролетариат в свою очередь предъявил и свои требования к новой эпохе, “почтенная„ буржуазия была охвачена страхом

и возмущением: революция зашла для нее слишком далеко, и она соединилась с ниспровергнутыми силами, чтобы „восстановить" порядок. Так возникла та классовая борьба, из которой вытекла реакция: пролетариату, который поднимался впервые, предстояло быть побежденным, и благодаря этому движение утратило свою внутреннюю силу Эта борьба имеет несравненно более высокое значение, чем ей обыкновенно приписывают, и потому ей посвящено в нашей работе особенное внимание. В конце-концов и „честная" буржуазия, к своему великому смущению, оказалась перед могилой своих надежд: раз шлюзы реакции были открыты, она поглотила и завоевания буржуазии.

Но не все погибло. Среди смен революции и реакции всегда сохраняется то, что требуется развитием данного времени. Еще и теперь можно хорошо распознать последствия движения 1848 года, и среди них самое видное место принадлежит тому обстоятельству, что после „безумного года" у нас совершенно новая политическая жизнь, и что народ, как таковой, является во всем дальнейшем развитии несравненно более мощным фактором, чем был в до мартовскую эпоху.

Многие люди, принимавшие участие в революции 1848 года, сменой времен приведены к другим воззрениям; многие из них, как перебежчики и карьеристы, дали печальный пример политической беспринципности. Предлагаемая работа высказывается о них лишь в зависимости от той роли, какую они играли в самом движении; по той же причине мы только с величайшей осторожностью использовали те сомнительного достоинства материалы, которые, к сожалению, в таком великом изобилии накоплены среди бесконечных эмигрантских сплок.

Революция в старом стиле закончилась: это показывает и ход движения 1848 года. Великое социальное движение нового времени, как ни революционно оно по содержанию своих идей, избегает избитых путей, которыми шли исчезнувшие буржуазные партии. Оно поставило новые цели и идет по новым путям. Оно приводит умы в движение, сознавая, что знание — сила. Если эта работа внесет свою скромную долю в дело распространения исторических знаний в народе, то ее цель будет достигнута.

В. Блос.

Штутгарт, 7 декабря 1891 года

Германская революция

ВВЕДЕНИЕ.

Экономический строй Германии в первую половину XIX века.

Германия после наполеоновских войн была преимущественно земледельческим государством.

Земледельческое население производит продукты главным образом для собственного потребления или отчасти для ограниченного соседнего рынка, для какого-нибудь городка с мелко-буржуазным строем всех общественных отношений.

Некоторое представление о соотношении различных групп населения дадут следующие цифры. В Пруссии 1849 года только 28% населения жило в городах; даже в Саксонии, более развитой в промышленном отношении, в 142 „городах“ жило только 34% всего населения; в Баварии на 100 „городских“ жителей приходилось 578 сельских, в Вюртемберге—400, в Бадене — 560.

Но эти цифры дают представление лишь о числе жителей в населенных местах, именовавшихся городами, но отнюдь не говорят о том, что эти жители существовали неземледельческими промыслами. Даже в сравнительно крупных городах, свыше 5 тысяч жителей на каждый, значительная часть населения, иногда до 20%, существовала исключительно сельским хозяйством, другая часть—сельским хозяйством и промышленными занятиями, и лишь остальная — исключительно торговлей или промышленностью.

В Пруссии в 1849 году только в одном городе, в Берлине, число жителей превышало 300.000 (378.000), городов с населением свыше 30.000 было всего 15, с населением от 15 до 30 тысяч — 14. В городах с населением свыше 10 тысяч жило лишь $10\frac{1}{2}$% всего населения Пруссии, в городах с населением свыше 100 тысяч — только 3% всего населения.

Такое же положение было и в мелких государствах Германии и в Австрии. В последней в 1846 году в городах с населением свыше 10 тысяч жило всего $6\frac{1}{2}$% общей цифры населения Австрии, в Вене с пригородами было 408 тысяч населения, в городах с населением свыше 100 тысяч (в 1843 году) жило всего 2,8% общей цифры населения Австрии.

Уже по состоянию путей сообщения сельское хозяйство не могло рассчитывать на сравнительно отдаленные рынки. Постройка шоссейных дорог приняла интенсивный характер лишь во второй половине пятидесятых годов. Постройка железных дорог началась в Германии только с 1840 года, и в 1850 году железнодорожная „сеть" составляла всего 5.850 километров. Громоздкие продукты сельского хозяйства не могли вынести дорогого конного транспорта. Потому-то рынок для них и составляли главным образом соседние города. Исключение представляют только районы, расположенные по водным путям.

Таким образом для широких масс населения не было тех возбуждающих влияний, которые неразрывно связаны с широко развитыми торговыми сношениями.

С эпохи великой германской революции 1525 года история долго не видала массовых движений среди германских крестьян. Опять раскачал их только революционный ветер, дувший из Франции 1789 г. Немецкий крестьянин заволновался.

В этих волнениях не было никакой случайности. От старого феодального и поместного строя Германия сохранила очень многое, и даже в девятнадцатом веке потомки рыцарей-разбойников и рыцарей дорожных грабителей по-прежнему выжимали из крестьян последние соки.

Уже к началу XVI века обнаружился крупный переворот в условиях военного дела. Роль пехоты увеличивается, рыцарская служба отступает на задний план. Рыцарь волей-неволей приспособляется к новым условиям, оставляет свой меч, становится производителем товаров, сельским хозяином. Вместе с тем возрастают его притязания и на крестьянскую землю, и на рабочую силу крестьянина.

Справившись с крестьянским восстанием 1525 года, господа, т.-е. „юнкеры" (дворяне) и духовенство, наложили на побежденных крестьян еще более суровые повинности, чем существовавшие раньше. У крестьян отнимали последние остатки унаследованных и подтверждавшихся грамотами прав. Юристы использовали римское право, как орудие насильственной экспроприации крестьянства. Они усердно прививали германскому миру правовые воззрения давно погибшего мира, и при их содействии арендатор превращался в холопа, безземельного батрака или „домовника" — поденщика, за которым оставлялась только жалкая хата с клочком земли для овощей. Крестьянин стал рабом у помещика. Он должен был работать на поместье, исполнять конные и пешие барщинные службы, если того требовал господин, и беспрекословно бросать работы на своем поле, хотя бы от этого погибла целая жатва. Крупное дворянское землевладение было свободно от податей, крестьянин же, напротив, должен был платить оброки помещику, чтобы тот мог жить „сообразно своему положению" и сохранять боевую готовность. Помещик брал с крестьянина столько оброков и податей, сколько мог, и возвышал свои притязания до невыносимых размеров. Помещик присвоил себе суд и полицейский надзор над крестьянами и таким образом сделался всемогущим. Крестьянин мог жаловаться на помещика, но лишь самому же помещику.

Юнкер прогонял крестьян с земли, отнимал у них общинные леса, воды и выгоны, чтобы заложить прочную основу для крупного сельско-хозяйственного производства, а у оставшихся крестьян ограничивал их личную свободу и их право на землю. Поместье росло, крестьянская земельная собственность сокращалась. Войны и эпидемии только ускорили этот процесс.

Абсолютная власть немецких монархов не противодействовала этому расхищению, растянувшемуся на столетия. Она всегда становилась на сторону помещиков против крестьян. Так было и в Пруссии. Лишь иногда, исключительно по военным и фискальным соображениям, абсолютная власть начинала борьбу с помещиками, но не за крестьян, а из-за крестьян. Так называемая „охрана крестьян" преследовала только одну цель: поддержать крестьянство и ограничить его эксплоатацию в тех случаях, когда полицейское государство имело основания опасаться, что, не вмешайся оно, его казна потерпит серьезный ущерб.

Охрана крестьян не приостановила дальнейшего развития поместья, и крестьянин XVII и XVIII века, ограбленный и обираемый, опустился до самого низкого уровня существования. Подавленный и измученный, он не оказывал никакого сопротивления, когда германские государи XVIII века продавали тысячи крестьянских сыновей на иностранную военную службу. Притом им нигде не могло быть хуже, чем на своей родине. Из-за чего же сопротивляться?

Французская революция, разгромившая пеструю систему феодализма во Франции, на первых порах принесла освобождение от гнета помещиков только для некоторой части немецких крестьян. В Германии феодализм исчез повсюду, где только ни появлялись войска Конвента. Прежде всего он исчез, чтобы больше не появляться, на левом берегу Рейна. Уложение Наполеона, введенное здесь, незыблемо установило гражданское равноправие. Ограничения права собственности это Уложение допускало лишь в форме совместного пользования некоторыми частями сельско-хозяйственной площади и в виде строго определенных платежей за пользование землей, подлежавших выкупу при желании крестьянина. Все позднейшие попытки возродить феодализм на левом берегу Рейна окончились неудачей.

Под влиянием французской революции немецкие крестьяне, особенно силезские и восточно-прусские, начали волноваться. Прусские чиновники не могли иначе объяснить возбуждение крестьянской массы, как только происками своекорыстных бунтовщиков, которых они называли „анархистами" и „прожектерами". Это они, подпольные смутьяны и подстрекатели, пускают в ход такие идеи, как скорая отмена барщины, — сами крестьяне до этого не могут додуматься. Крестьянские волнения, разсказывает Кнапп [1]), вызвали у министра Штреттера вспышку негодования. Слуги короля, заявил министр, всегда по собственному побуждению заботились о благе крестьян. Брожение среди крестьян вовсе не вызвано существующим положением вещей. „Нужно

[1]) Г. Ф. Кнапп. Освобождение крестьян в Пруссии. СПБ. 1900. Стр. 84.

доказать мужику, что при всех касающихся его нововведениях всегда близко принимают к сердцу его истинное благо, не ожидая жалоб и представлений с его стороны".

Только поражение под Иеной привело господствующие классы Пруссии к убеждению, что необходимо внутреннее возрождение Пруссии, иначе ей угрожает погибель. Открылась эра реформ, связанная с именами Штейна и Гарденберга. Монархическая власть беспомощно склонялась то на сторону обще-государственных интересов, то на сторону притязаний помещиков. Реформа получилась поэтому половинчатая. В 1807 г. крепостное право было отменено, по крайней мере отменено на бумаге. 1810 год был назначен сроком введения нового положения. Штейн заявил около этого времени: „На мой взгляд, жилище мекленбургского дворянина, который прогоняет своих крестьян с земли, вместо того чтобы позаботиться об улучшении их положения, не отличается от берлоги хищного зверя, который опустошает все окрестности и таким образом окружает себя тишиною могилы". Но, несмотря на это заявление, уже в 1808—1810 годах прусскому дворянству в целом ряде случаев опять было позволено прогонять крестьян с земли, сносить их дворы. В 1811 г. землевладельцам и крестьянам было рекомендовано вступить в течение двухлетнего срока в добровольное соглашение относительно выкупа повинностей, барщин и т. д. В случае необходимости, особая королевская комиссия должна была принудительно привести это дело к концу. Крестьяне получали „свободу", отказавшись от третьей части земли, находившейся в их владении. Но и такие условия показались дворянству недостаточно благоприятными, и оно постаралось затянуть дело. Старания увенчались успехом. Между тем вспыхнула война за освобождение Германии, т.-е., по существу, за свободу князей, и прусские крестьяне, преисполненные широких надежд, боролись теперь против Наполеона совершенно иначе, чем за семь лет перед тем. Однако и буржуазному либерализму, и немецким крестьянам пришлось пережить тяжелое разочарование. В 1816 году право крестьян на выкуп повинностей подверглось ограничению, а когда, наконец, за дело взялась королевская комиссия, оно пошло совсем медленно. С 1821 года право выкупа было предоставлено лишь крупнейшим крестьянским дворам, а на мелких по-прежнему оставлялись барщины и другие повинности. Только в 1845 г. в Саксонии и Силезии и мелким крестьянам было предоставлено право выкупа. На каких условиях производился выкуп, достаточно иллюстрируется ужасающей бедностью ткачей в Силезии, где текстильная промышленность в значительной степени пользовалась рабочей силой крестьян. Выкуп, вообще равносильный обезземелению крестьянства, значительно увеличил бедность деревни. Кроме того нельзя не заметить, что прусское аграрное законодательство старалось сохранить от феодального строя все, что только можно было спасти.

Таким-то образом в период с 1815 по 1848 год в провинциях Бранденбурге, Померании, Силезии, Пруссии и Познани появилось в общей сложности всего лишь 70.582 наследственных собственников-крестьян. Из этого числа больше 20.000 приходится на одну только провинцию Познань, по-

тому что правительство не особенно церемонилось с польским дворянством. Кроме того 289.652 крестьянина откупились от феодальных повинностей. Все „освобождение“ потребовало от крестьян колоссальных затрат: земли они потеряли 1.533.050 моргенов (до 400.000 гектаров), единовременные денежные выкупные платежи составили 18.544.768 талеров, да кроме того крестьянство должно было уплачивать ежегодную ренту в 1.600.000 талеров деньгами и 260.069 шеффелей хлебом [1]).

Положение крестьян в других немецких государствах было не лучше в некоторых даже хуже, чем в Пруссии. Правда, в Австрии, например, крепостная зависимость была уничтожена уже в 1781 и 1782 годах; но эта реформа, проведенная Иосифом II, проведена была только на бумаге, так как феодальное дворянство Австрии умело отстаивать свои „благоприобретенные права“. В тот момент, когда оказалось, что фригийская шапка не грозит вторжением в Австрию, когда крестьянские волнения, охватившие в первой половине XVIII века значительную часть Австрии, стали изглаживаться из памяти, реформы были подвергнуты новой „реформе“, и крестьянин оказался под бременем всех старых повинностей, хотя крепостное право на словах было отменено. На австрийских крестьянах лежали поистине невыносимые повинности. Они должны были обрабатывать землю помещика, уплачивать подати, а при наследовании земли или при перемене владельцев вносить особые пошлины. Но больше всего крестьян угнетали „работы“ (Robot), т.-е. „пешая“ барщина, — когда крестьянин и его семья должны были являться на работы к помещику сами, без лошадей, — и „конная“ барщина, когда крестьянин должен был доставить помещику кроме того одну, две или три упряжи рабочего скота. Барщина почти или совсем не оставляла крестьянину времени для собственного хозяйства. Кроме того, с австрийских крестьян в начале XIX века еще взималась большая и малая десятина, сохранившаяся от средних веков. Землевладелец вел поземельные описи, был главным начальником в деревне, ему же одному принадлежало право охоты; бедный крестьянин под страхом сурового наказания должен был сносить громадные потравы, причиняемые разною дичью. И, как это само собой разумеется, землевладелец был единственным судьей для крестьянина и главным заведующим вспомогательных и сиротских касс.

Все описания крестьянского быта перед 1848 годом свидетельствуют о страшной подавленности деревни. Тяжелый гнет налогов, невероятная тяжесть повинностей, множество неоплачиваемых работ, напр., при постройке каждой дороги, церкви или казармы, бесконечные военные постои, конные службы при передвижениях войск, при чем подводы, забранные солдатами, нередко уже не возвращались обратно, — все это чудовищной тяжестью давило крестьянство. По свидетельству наблюдателей-консерваторов, склонных затушевывать мрачные стороны до-мартовских отношений, во многих провинциях Австрии крестьяне только один или два раза в течение года позволяли

---

[1]) Гектар—несколько менее десятины (1 десятина=1,093 гект.), талер—около $1^1/_2$ руб., шеффель—около 2 пуд.

себе съесть кусочек мяса, как необыкновенное лакомство. Несмотря на неописуемые усилия, на нескончаемый труд, голодовки были постоянным уделом земледельца, и крестьянство по необходимости обращалось к кустарным промыслам, к работе на скупщика. Средний уровень кустарных заработков — два-три крейцера (3—5 коп.) в день — уже достаточно показывает, как беден, угнетен и забит был австрийский крестьянин.

Австрийские крестьяне были настолько подавлены, что они безропотно несли ярмо и почти не принимали участия в движении 1848 года; больше того, они скоро выступили против городского движения и поспешили на помощь к своим злейшим врагам.

В Венгрии, благодаря раннему пробуждению там конституционной государственной жизни, положение вещей сложилось несколько иначе. Сословный сейм 1833 года предложил существенные ограничения помещичьих прав. Он признал даже необходимость выкупа барщины и оброков. Но это постановление не получило утверждения правительства, так как оно боялось всякой радикальной реформы. Сейм все же не отказался от попыток реформы. В 1839 году ему удалось провести постановление, разрешавшее выкупать крестьянские повинности по соглашению между сторонами. В следующем году перевес в сейме получила национально-венгерская оппозиция, в рядах которой находились почти только дворяне. Несмотря на то, сейм постановил, что крестьянам предоставляется право располагать впредь своими продуктами, не уплачивая особых налогов.

В Бадене крепостная зависимость была уничтожена в 1783 году, в Баварии в 1808 году, что было подтверждено конституцией 1817 года, в Вюртемберге в 1817 г., в Нассау в 1812 г., в Гессен-Дармштадте в 1820 г. в Кобург-Готе в 1821 г., в Кургессене в 1831 г., в Мекленбурге в 1820 г.; но в последней стране одновременно были отняты „у прежних крепостных и все сохранившееся за ними права собственности".

Дворянство повсюду с необыкновенной настойчивостью противодействовало робким попыткам облегчить долю крестьянина. Поэтому в 1848 году на плечах крестьянства все еще лежала огромная тяжесть средневековых феодальных повинностей. Крестьяне повсюду страдали от исключительного права помещика на охоту, от помещичьих судов и барщины. Может быть, наибольшее негодование крестьян вызывала бесцеремонность господ, обнаруживавшаяся в законах об охоте. Ненависть против дворян-охотников сделалась наследственной, традиционной ненавистью. Дворянин в течение целых веков заставлял крестьянина выгонять для него дичь и безжалостно опустошал его поля. Крестьянин должен был безропотно переносить страшные потравы, производившиеся дичью,—иначе ведь благородные господа не могли бы охотиться. Во многих местах, напр., в Вюртемберге, лесным объездчикам предоставлялось право на месте преступления застрелить браконьера. Но браконьером считался даже крестьянин, который оберегал свои поля от потравы. Не менее жестоко расправлялись за лесные порубки, даже за сбор валежника. Благодаря обезземелению крестьян, благодаря тому, что крестьянин еще сохранял воспоминание о тех временах, когда леса были общественной соб-

ственностью, „божними“, никому не принадлежали, преступление это было обычным явлением. Следующие цифры дают яркое представление о положении дел. В 1836 году в Пруссии производилось следствие по 207.478 уголовным делам; из них 150.000, т.-е. почти три четверти,—дела о покраже леса, о браконьерстве, о незаконном сборе валежника и т. д.

Кое-где еще сохранялась так называемая „кровяная десятина“, т.-е. десятина со скота и птицы, предназначенных на убой. В Баварии помещики могли даже брать ссуды под свои права на труд и продукты крестьян; там же сохранялись пошлины за охрану евреев и взимался „овес для сторожей“. В некоторых частях Германии приходилось еще уплачивать денежную подать, в которую превратилось позорное „право первой ночи“.

Во многих местах крестьяне в течение целых десятилетий вели тяжбу с помещиками из-за спорных угодий, из-за повинностей и платежей, и если им, наконец, удавалось довести дело до общих судебных учреждений, они все же обыкновенно оставались ни с чем. Сильное ожесточение чувствовалось в Нассау и во Франконии, где угнетение помещиков довело бедность сельского населения до крайних пределов; то же и в Тюрингенском лесу, и в Гессене, и в Бадене. В Ганновере крестьянство достигло некоторой зажиточности и помышляло только о своих полях да о своем скоте. В Тироле и в Баварии крестьян водило на помочах духовенство, как и в настоящее время; они делали только то, что рекомендовали им советчики в рясах.

Сельское население, тупое в своей массе и терпеливо сносившее свою долю, все же страстно ждало дня избавления. Когда в 1848 году над Германией пронеслось со стороны Франции веяние революции, сельское население в многих местах встряхнулось. Тот факт, что крестьяне не остались спокойными, напугал господствующие классы много сильнее, чем движение в городах. Поэтому они обнаружили необыкновенную быстроту в удовлетворении требований крестьянства, и крестьяне до некоторой степени разделались с лежавшими на них феодальными повинностями. Кое-где крестьяне выступили с большой энергией; можно было подумать, что они вспомнили о своих предках, которые за триста слишком лет перед тем громили замки надменных баронов [1]). Но когда требования крестьян были исполнены, они, как будет показано ниже, сделались опорой реакции, точно так же, как

[1]) Воспоминания о великой крестьянской войне изгладились далеко не в той мере, как иногда думают. В одном месте и в настоящее время указывают пригорок, где стоял обоз Томаса Мюнцера; в другом „крестьянские могилы“ до сих пор напоминают, где расположилось лагерем крестьянское войско; в третьем, где был изменнически убит Флориан Гейер, сложилась легенда, будто и теперь каждую ночь появляется скорбная тень его невесты, одетой в белое платье; четвертое место, на котором Рорбах был сожжен на медленном огне, до сих пор известно под названием „Вертеда“; в пятом месте сохраняется камень, поставленный в память о казнях, которые совершались здесь во время крестьянской войны; в шестом больше сотни лет белели черепа и кости крестьян, убитых во время большого сражения, и предания сохранили память об этом до нашего времени. Но еще больше развалины крепких замков, из которых крестьяне брали потом камни на постройку церквей и других зданий, являются немыми памятниками великой борьбы. Предания о ней до половины прошлого века сохранялись в крестьянстве.

французские крестьяне, освободившись от феодальных повинностей, превратились в опору наполеоновской военной диктатуры.

Обрабатывающая промышленность сохранила такие же следы средневекового строя общественных отношений, как и деревенская жизнь. Ремесло с большим трудом залечило те раны, с которыми оно вышло из эпохи наполеоновских войн. В общем в нем не обнаруживалось никакого прогресса. Оно, во всем следуя прадедовскому примеру, производило только для потребностей местного рынка, враждебное всяким техническим усовершенствованиям, сжатое, точно тисками, ограниченностью всех отношений внутри мелкого города. Отдельные ремесленные производства были „карликовые" по своим размерам; мастеров было в общем столько же, сколько подмастерьев. Так, даже в сороковых годах девятнадцатого века в Пруссии насчитывалось:

портных	122.789,	в том числе	78.088 мастеров
башмачников	154.111,	„ „ „	94.849 „
пекарей	46.987,	„ „ „	26.186 „
мясников	34.991,	„ „ „	21.566 „

По данным 1846 года, в Пруссии насчитывалось в общей сложности 457.365 мастеров и самостоятельных предпринимателей, которые все держали только 384.783 подмастерьев и учеников. Тогда же в Пруссии насчитывалось 78.000 фабричных предприятий с 550.000 рабочих. Таким образом мелкое ремесло представляло тогда еще очень крупную силу, а фабричные предприятия по сравнению с современными были очень мелкими предприятиями. Ремесленный мастер был еще полон цеховых воспоминаний и, конечно, выступал противником свободы промышленности, — он даже в 1848 году, в эпоху подъема движения, постарался сформулировать свои реакционные требования. Необходимо впрочем заметить, что к нему иногда примыкал и ремесленный подмастерье. При мелких размерах ремесленного производства он не терял надежды сам сделаться мастером. Вообще говоря, социальные противоречия внутри ремесла не достигали значительной напряженности.

Тем не менее в жизни подмастерьев все же наблюдалось больше движения, чем среди мастеров. После тридцатилетней войны семнадцатого века старые союзы подмастерьев распались, а то, что осталось от них, насильственно уничтожила абсолютная власть, действуя в интересах возникающего капитализма. В этом отношении прусская „социальная" монархия постаралась больше других. По ее инициативе в 1731 году был издан имперский закон, который разбил последнее сопротивление некогда таких воинственных и настойчивых союзов подмастерьев, а прусский устав о ремеслах 1733 года угрожал за нарушения этого закона самыми строгими наказаниями: тюрьмой, каторжными работами, а за повторное преступление, т.-е. за повторную попытку организоваться, даже смертною казнью. Само собою понятно, что прусское земское право под угрозой суровых кар воспрещало всякие забастовки. Но как раз беспощадность этого законодательства и пробудила среди подмастерьев нечто вроде смутного классового самосознания, беспокойный дух недовольства, который еще больше поддерживался таким цеховым обычаем, как обязательные странствования подмастерьев. В Швейцарии, в

Англии, во Франции немецкие ремесленные подмастерья знакомились с прогрессивными отношениями, которые отличались от привычных родных, как небо от земли. Многие ремесленники оставались за границей, но другие возвращались на родину и приносили с собой более широкие взгляды.

Цеховой строй ремесла представлял такую же картину разрушения, как ремесленное производство. Уже в XVIII веке политика просвещенного абсолютизма, определявшаяся интересами капитализма, посягнула на цеховое устройство, потрясла его, пробила в нем бреши. Потом над цехами пронеслись бури эпохи Наполеона. Однако даже они окончательно уничтожили цеховое устройство только там, где нанесли смертельный удар феодализму: в рейнской Пруссии, в рейнской Баварии, в рейнском Гессене. Во всех же остальных частях южной Германии цехи еще сохраняли за собою господство, даже в королевстве Саксонии, хотя оно уже достигло сравнительно высокой ступени экономического развития. В старых прусских провинциях на бумаге была гарантирована свобода промышленности, но ремесло, разумеется, ничего не могло от этого выиграть. Восточно-прусские города в течение четырех веков подвергались таким частым грабежам феодальных классов, что в них не было места для развития сильной промышленности и сильных городских классов.

Устав о городском устройстве 1808 года для своего времени представлял известный прогресс. Он до некоторой степени освободил города от тисков бюрократии и военщины, он предоставил им заведовать своими финансами, школами, благотворительностью, иногда даже полицией. Но уже сам по себе, как все прусское реформаторское законодательство после Иены, устав этот был частичной уступкой, вынужденной самой крайней необходимостью; а после Ватерлоо его подвергли пересмотру, не для того, чтобы сделать шаг вперед, а для того, чтобы возвратиться назад. Пересмотр диктовался стремлением отнять у беднейших слоев их гражданские права, устранить их от участия в городском управлении, а самое управление поставить под придирчивый надзор бюрократии. Система представительства была построена так, что интеллигентные люди получали избирательное право при том лишь условии, если они становились домовладельцами независимо от родителей. Масса городских граждан составлялась из ремесленников и домовладельцев, воспитавшихся на самых ограниченных филистерских воззрениях. Сжившись с эксплоататорской практикой вырождающихся цехов, они видели в новом городском устройстве желанное вознаграждение за то, что они потеряли благодаря свободе промышленности. С полным душевным спокойствием они расточали земли, принадлежащие городам, опустошали городские леса, победоносно расширяли границы своих садов, своих владений, пока не захватывали все городские владения, иногда делили между собою даже двор ратуши. Тот, кто удачнее обделывал такие дела, был героем для мелкой буржуазии.

Больше жизненности обнаруживал мелкий буржуа в южной Германии, хотя здесь, по правому берегу Рейна, ремесло еще сохраняло цеховое устройство. Из сотни мелких клочков, лежавших по Майну и составлявших автономные части империи, Наполеон составил несколько государств средней

величины. После падения Наполеона государи их постарались попрочнее скрепить при помощи конституций свои все еще очень шаткие троны, сбитые на скорую руку. Но конституционализм здесь развился довольно своеобразный. Кроме громких слов, за ним ничего не стояло. Феодально-военная Германия могла бы его не страшиться. Политические идеалы мелкого буржуа, которым принадлежало господство в Бадене, в Пфальце, в Вюртемберге, определялись его экономическим положением. При случае он был не против республики, но республики в форме мирной Аркадии, крестьянско-буржуазной республики ничтожных размеров, республики без развитых общественно-экономических противоречий, без большой бедности и большого богатства, — короче, в форме настоящего царства средних сословий и посредственности. Он не хотел ни монархов, ни цивильных листов, ни дворянства, ни постоянного войска, ни налогов, если это возможно; но он не хотел также ни активного вмешательства в историческую жизнь, ни крупной промышленности, ни железных дорог, ни мировой торговли. Если бы представилась фактическая возможность раздробить Германию на известное количество таких захолустных республик, то ее роли, как великой нации, был бы нанесен более решительный удар, чем когда-либо раньше.

Хотя ремеслу все еще принадлежало преобладающее значение, однако в Германии не было недостатка во всевозможных зачатках капиталистического способа производства. Несмотря на всеобщее обеднение, в старых центрах торговли сохранились более или менее крупные капиталы. В XVIII веке мощным пособником капиталистического развития сделался деспотизм с его ненасытной потребностью в деньгах на войско и двор, с его возрастающим налоговым бременем и увеличивающимися государственными займами, с его системой монополий, привилегий и протекционизма. Капитал к промышленникам отчасти поступал прямо из государственной кассы, — блестящее состояние саксонских мануфактур Мирабо приписывал непосредственно 180-миллионному государственному долгу Саксонии. Что касается Пруссии, меркантильная политика Гогенцоллернов достаточно известна. Прусские налоги, акцизы и контрибуции всей своей тяжестью давили крестьян и ремесленников. Львиная доля из выколачиваемых сумм доставалась войску и юнкерству, но крупные суммы перепадали и в карманы капиталистов, которые тогда восторженно поклонялись принципу „государственной помощи". Пролетаризация крестьян доставляла юному капиталу все новый материал для превращения нервов и мускулов рабочих в вожделенную прибавочную стоимость, а драконовские меры к искоренению обычая понедельничать и всеобщее сокращение церковных праздников непрестанно ускоряли ход капиталистического развития. Мелкие государи выручали без всяких хлопот многие миллионы, массами продавая своих подданных в войска иностранным державам. И вообще по методам, по их нравственному достоинству первоначальное накопление капитала в Германии не отличается от первоначального накопления в других государствах.

Но, несмотря на энергию накопления, немецкий капитализм все же стоял позади французского и в особенности английского. Ему было суждено

противопоставлять подавляющей конкуренции западных народов на мировом рынке голодные заработные платы и коммерческую недобросовестность. В основе его лежала домашняя промышленность (кустарные промыслы); перед ней совершенно стушевывалась не только механическая фабрика, но и построенная на ручном труде мануфактура.

Кустарные промыслы — и самая старая и самая отсталая форма капиталистического способа производства. Выступая впервые, домашняя промышленность часто представляется бедному крестьянину и ремесленнику истинной благодетельницей. Она убаюкивает свои жертвы, погружает их в приятный летаргический умственный сон, но только затем, чтобы потом пробудить среди страшной умственной и физической бедности. Если домашней промышленности приходится бороться с мануфактурой и в особенности с машинным производством, она может поддерживать существование только лихорадочным напряжением сил кустаря. Разъединенность домашних промышленников ослабляет их способность бороться с капиталистом, а прогрессивное понижение заработной платы вынуждает удлинить рабочий день до пределов возможного, запрягать в ярмо промышленного труда жену и детей и приносить и себя и семью в жертву скоротечной чахотке, преждевременной смерти. И причина этих жертв не только в чрезмерности работы, но и в отсутствии необходимейших условий существования и труда: недостаток света, воздуха, вентиляции, теснота помещения, которое одновременно служит жилищем и мастерской, а очень нередко антигигиеничность и самой работы. К этому присоединяется нерегулярность занятий, расплата товарами, ростовщичество, эксплоатация паразитов-посредников, сотни всевозможных других зол. В положении кустарей было больше безнадежности, чем в положении каких бы то ни было пролетариев, и однако ничто им не было так чуждо, как пролетарское классовое самосознание. Хотя жалкая собственность затягивала их в пучину, они гордились своей кажущейся самостоятельностью. По самому характеру своего производства они тем беспомощнее стоят перед разрушающими воздействиями мирового рынка, чем крепче производство привязывает ремесленника к его „собственным" орудиям производства.

Домашняя промышленность в Германии развивалась двумя главными способами. С одной стороны, капитал втеснялся в трещины цехов и потом разрушал обветшавшее здание, так что отдельные ремесленники превращались в скупщиков-капиталистов, а подавляющая масса — в наемных рабочих домашней промышленности. Но, с другой стороны, и даже главным образом, капитал устремился в деревню, где его ожидала свобода от цеховых ограничений, все же стеснительных, и обрушился здесь на крепостного крестьянина, у которого способность к сопротивлению сломил уже помещик, — на „карликового" крестьянина, который в странах низкого плодородия и раздробленного землевладения владел лишь ничтожным наделом и потому уже давно искал дополнительных заработков в ткачестве, прядении и приготовлении предметов домашней утвари. Замечательно, что капитализм сосредоточил кустарные промыслы — и сопряженные с ними страдания — по возвышенностям и склонам немецких гор: Исполиновых, Рудных, Тюрингенского

леса, Рейна, Тауиуса, Шварцвальда и баварских Альп. Но он не брезговал и теми жертвами, какие предлагала ему равнина: обширные пространства по Нижнему Рейну и в Вестфалии искони были средоточиями домашней промышленности.

В восточной Германии центрами капиталистического способа производства являлись провинция Силезия и королевство Саксония. Льняное производство Германии даже во времена ее глубочайшего экономического упадка оставалось почти единственной отраслью производства, работавшей на вывоз, и с половины XVII столетия главной областью этого производства сделалась именно Силезская провинция. Постоянный спрос со стороны английских и голландских купцов обусловил быстрый расцвет силезского полотняного производства. В начале XVIII века 287 силезских местечек производили полотно на продажу. Производство его было делом почти исключительно деревенской домашней промышленности, пустившей корни в округах с неплодородной почвой.

С и л е з и я в известных отношениях была классической страной восточно-прусского феодализма. Шен, деятель прусско-крестьянской реформы, объехавший Силезию в 1797 году, пришел в негодование перед „отвратительностью“ состояния этой провинции. Самый воздух, полагал он, делает здесь крепостным, вне городов встречаешь одних лишь господ да рабов; и если здесь восстания не вспыхивают за восстаниями, то объяснения надо искать в двух направлениях: с одной стороны, в отношениях между помещиками и крепостными сохраняется еще известная патриархальность, и благодаря этому крепостные легче сносят такие вещи, которые иначе были бы невыносимы; с другой стороны, крепостное право, холопство, условия прядильных и ткацких работ привели силезцев к умственному и физическому вырождению.

Организация силезского льняного производства и феодальные отношения, зачатки капиталистической промышленности и крепостное право стояли в самой тесной связи. В других старо-прусских провинциях ремесло было окончательно или почти окончательно изгнано из деревни; напротив, в Силезии со времен австрийского владычества в деревнях сохранились многочисленные ремесленники; наделение правом на занятие ремеслом зависело от одних только помещиков. Правда, король Фридрих, завоевав Силезию, запретил взимать „промысловые“ и „ремесленные“ оброки, но как почти всегда, так и в этом случае воля просвещенного деспота отступила перед дружным сопротивлением юнкеров-феодалов.

Все ткачи, свободные и несвободные, должны были уплачивать помещикам „ткацкий оброк“. Но свободные составляли ничтожное меньшинство; подавляющая масса ткачей состояла из крепостных, которые должны были, кроме ткацкого оброка, отбывать феодальные барщины и платежи. Продавая крепостным право заниматься ткачеством, как товарным производством, производством для рынка, помещики и не помышляли о том, что им следовало бы позаботиться о сбыте товаров. Напротив, сами они заставляли своих крепостных п о к у п а т ь у торговцев ту самую ткань, которая массами доставля-

лась им крепостными прядильщиками в качестве оброка натурой; ткачи, стоявшие от них в полной зависимости, представляли для помещиков самый надежный рынок, волей-неволей поглощавший весь избыток пряжи в поместье. Но если у ткача оказывался избыток полотна, это было его дело, оно совсем не касалось помещика. Ткач должен был продать полотно, какая бы цена ни стояла на рынке или же какую бы цену ни заблагорассудилось торговцу выдать за рыночную. Нищета силезских ткачей давно вошла в поговорку; она достаточно объясняется тем, что их одновременно давили феодализм и капитализм.

Несмотря на нищету ткачей или даже благодаря ей, силезская льняная промышленность процветала до половины XVIII века. Но с этого времени она падает под влиянием растущей британско-ирландской конкуренции. Путь ирландского и шотландского прядильщика был усыпан, конечно, тоже не розами, но и при самой жалкой заработной плате все же сохранялись несравненно большие побуждения к прилежной и хорошей работе, к техническому прогрессу в прядении, чем при феодальном принуждении доставлять без всякого вознаграждения определенное, а то и неопределенное количество пряжи. В Силезии даже прядильное колесо не могло вытеснить ручного прядения, и силезская пряжа по заслугам пользовалась самой дурной репутацией. В каком положении находились силезские крепостные ткачи, видно из следующих данных. Согласно одному английскому парламентскому отчету 1773 года, ткач в Шотландии зарабатывал в день 10 пенсов, в Ирландии—8, в Силезии—от двух до шести пенсов (от 8 до 24 коп.). Притом ирландским и шотландским ткачам не приходилось уплачивать какому-нибудь помещику ткацкий оброк и тем более не приходилось отбывать еще какие-либо феодальные повинности и барщины. Если рыночная коньюнктура улучшалась, т.-е. если, напр., спрос на полотно возрастал, то заработная плата увеличивалась настолько, что у английских ткачей оставались некоторые сбережения; наоборот, при ухудшающейся коньюнктуре они могли переселиться в Америку. Напротив, силезский ткач мог оставить поместье, лишь уплативши выкуп, что при всех обстоятельствах превышало его силы. При таких условиях прядение и ткачество приносили величайший вред для интеллектуального и физического развития сельского населения в Силезии. А так как наравне с рабочими страдала и производительность труда, то силезской полотняной промышленности, несмотря на всевозможные уловки недобросовестной конкуренции, все больше приходилось отступать перед соперничеством Великобритании.

Меркантильная политика короля Фридриха, по самому своему внутреннему существу, не могла принести никаких улучшений. Как бы многочисленны ни были регламенты и статуты, которые стремились обеспечить доброту товаров, создавая особых надсмотрщиков, воспрещая работу неполноправным ремесленникам, угрожая ткачам за недобросовестную работу каторжными тюрьмами, палкой, железным обручем на шею,—все это, разумеется, нисколько не помогало. Корень зла—крепостная зависимость прядильщиков и ткачей — по-прежнему сохранялся. При существовании этой зависимости

Фридрих только увеличивал нищету ткачей, привлекая в страну все нов и новых рабочих, а стремление привлекать новых промышленных рабоч владело им безраздельно и приводило даже к насильственному похищен людей в соседних, сравнительно слабых государствах. Его меры, принимаем с целью развития силезской полотняной промышленности, составляют од из самых нелепых отделов его экономической политики, и вообще ограни ченной по своим принципам.

Несмотря на всю тупость силезских ткачей, и до них донеслись и далека отголоски французской революции. В 1792 году начались среди ни мятежи. Закинув мешок за левое плечо, ткачи с гор вышли на городски рынки и побоями вынудили здесь торговцев пряжей продавать пряжу де шевле, а торговцев полотном—покупать дороже. Поддержкой движению по служили крестьянские волнения, а также беспорядки, возникшие среди бре славльских ремесленных подмастерьев. Прусское воинство в это время совер шало трагикомический поход против революционной Франции, в Силезии н было войск, и потому перепуганное правительство искало спасения то варварских расправах, то в мелких уступках, не способных ничему помочь По скупщики успешнее справились с мятежом, чем люди, выступавшие т с милостыней, то с розгами: они оставили рынки и не появлялись на них пока голод не смирил всех ткачей.

Итак, силезские кустари одинаково страдали от феодализма и капи тализма, которые уживались в невозмутимом согласии между собою. Понятн поэтому, что прусские социальные реформаторы одновременно принялись к за освобождение крестьян, так и за осуществление свободы промышленности. С крестьянской свободой, которая должна была вступить в силу с Мартынова дня 1810 года, сначала вышло недоразумение. Крестьяне поняли объявленную начальством свободу слишком буквально, как освобождение от всех феодаль ных повинностей. Но против такого „превратного" истолкования свободы не медленно были приняты строжайшие меры, и королевский кабинетский указ вразумил крестьян, что с падением крепостных отношений отнюдь не уни чтожаются барщина и конная служба помещику, не уничтожаются денежные и натуральные повинности, поземельная подать и оброки курами, гусями, яйцами, а также всевозможные другие платежи. В таком же смысле разъ яснило правительство и новую свободу промышленности: по настоянию по мещиков Гарденберг заявил, что свобода эта ни под каким видом не уни чтожает ткацкого оброка, что, напротив, он по праву и впредь будет су ществовать. И это говорилось о том самом оброке, против которого, по крайней мере в принципе, выступала уже политика Фридриха, хотя и не уничтожила его фактически. Старая нищета сохранилась для рабочих силез ской полотняной промышленности почти в прежних размерах, а тут англий ская конкуренция начинала грозить новым и притом еще более серьезным ударом: борьбой уже не только свободного работника против несвободного, но и борьбой машины против руки. Приближались времена, когда силезские ткачи, по словам одного официального отчета, сделались „самыми несчаст ными существами, может быть, в целой Европе".

В королевстве Саксонии первые зачатки капитализма относятся к эпохе Реформации. Его старейшим пристанищем было горное дело. Горные богатства рано превратились в проклятие для горнорабочих, которые извлекали их на поверхность земли. Уже из XV столетия идут многие сообщения о стачках горнорабочих, о бесчисленных запрещениях расплаты товарами: самая их многочисленность и необходимость повторять снова и снова свидетельствует о том, что это зло процветало и что все меры против него оставались бумажными мерами. С открытием американских золотых и серебряных рудников добывание благородных металлов в Саксонии упало, но старые установившиеся торговые отношения, благоприятное географическое положение, богатство почвы такими минеральными сокровищами, как свинец, олово и каменный уголь, спасли Саксонию от продолжительного экономического упадка. Лейпцигские ярмарки превратились для восточной Европы в великие рынки сначала французских, а потом и английских мануфактурных товаров, и различные отрасли текстильной промышленности достигли высокой степени процветания. Саксонские сукна, лаузицкие полотна, фогтландский муслин, хлопчато-бумажные товары из Хемница, кружева из Рудных гор отправлялись в самые отдаленные заграничные страны. Континентальная блокада, — когда Наполеон I стремился совершенно преградить доступ товарам из Англии на континент Европы, — дала новый мощный толчок развитию саксонской промышленности. Хемниц стал вырастать в саксонский Манчестер; на одной фабрике миткали работало 1.200 человек, на одной ситце-набивной и бумаго-прядильной фабрике больше 3.000 рабочих. Небольшие машины для прядения хлопка были введены уже с конца XVIII столетия, но механических ткацких станков Саксония не знала до половины XIX века. Перевес был на стороне домашней промышленности, и голодная заработная плата кустарей получила широкую и позорную известность. Кустари Рудных гор питались исключительно картофелем и цикорной болтушкой. Уже в 1780 году один врач из Фогтланда обнародовал работу о профессиональных болезнях, которые распространялись и осложнялись с распространением кустарного производства.

Саксония XVIII века была экономически, а вместе с тем и интеллектуально прогрессивнейшей частью Германии. Саксония проложила путь для германской культуры, саксонцы—самое образованное и ученое племя германской расы,—так писал Шеи, посетивши Саксонию. Саксония располагает наилучшими школами, из Саксонии берет свое начало немецкая классическая литература. Но ее политический строй стоит особняком от других сторон жизни. Правда, при сложившихся в Саксонии экономических отношениях военное государство по прусскому образцу было невозможно; правда также, что в понимании этих отношений Дрезден шел далеко впереди Берлина, и саксонская регентша Мария-Антония тщетно старалась отвратить старого Фрица (Фридриха) от его архаического меркантилизма. Лейпциг сделался почти свободным имперским городом, да и вообще саксонские города пользовались некоторой независимостью. Может быть, независимость эта прежде всего благоприятствовала интересам патрицианской клики, но все

же в нескрываемом недовольстве плебейской массы заключался такой элемент прогресса, который совершенно отсутствовал в прусских городах, склонившихся перед капральской палкой. Все это так, и тем не менее Саксония не разделалась ни с феодализмом в деревне, ни с цехами в городах, а обветшавшие формы сословной монархии продержались еще очень долго и в XIX веке. Саксония не была ни врагом Наполеона, как Пруссия, ни его креатурой, как некоторые государства Рейнского союза: она была его добровольным союзником и потому ее социальный строй не был затронут теми глубокими общественными потрясениями, которые несло за собою французское завоевание. А когда Венский конгресс расчленил Саксонию в наказание за непреклонную верность ее „великому союзнику", в ней опять водворилась издавна усвоенная рутина.

Таким образом, в средоточиях промышленности восточной Германии все еще в большей или меньшей мере господствовали феодальные отношения. Напротив, промышленные центры западной Германии достигли в своем развитии почти такого же уровня, как современное буржазное общество. Промышленость в Рейнской Пруссии отличалась более широким развитием, чем в Силезии или даже в Саксонии; она шла впереди этих стран и в том отношении, что с 1795 года на нее распространилось раскрепощающее законодательство французской революции; во всей Германии выгодами его воспользовались еще только Рейнская Бавария и Рейнский Гессен. При господстве французов здесь наступил мощный расцвет промышленности, которая давно пустила здесь первые корни и находила сильную опору в близости Рейна, лучшего водного пути во всей Германии, в близком море и богатстве почвы минеральными сокровищами. В административных округах Аахена, Кельна и Дюссельдорфа были представлены почти все отрасли промышленности: всевозможные отрасли хлопчато-бумажного, шерстяного и шелкового производства, а также стоящие с ними в связи отбельное, ситце-печатное и красильное дело, чугуно-литейное, фабрикация машин, горное дело, производство оружия и другие металлургические производства; благодаря промышленности, здесь сосредоточилось настолько плотное население, как ни в каком другом месте Германии.

Бранденбургский железоделательный и каменноугольный район, примыкая непосредственно к Рейнской провинции, снабжал ее отчасти сырыми материалами и составлял с ней одно целое в промышленном отношении. В тесной связи с промышленностью Рейнской провинции стояла очень широкая, по немецкому масштабу, вывозная и ввозная торговля со всеми частями света, непосредственные сношения со всеми крупными центрами мирового рынка. Расцвет торговли и промышленности благоприятствовал накоплению капитала; в городах старые сословия подверглись перетасовке, и атомы общества начали группироваться в классы буржуазии и пролетариата, которые все резче отделялись один от другого. В деревне получило признание свободное землевладение. Мелкий крестьянин подавлял своей численностью; он был свободен от феодальных повинностей, но все больше превращался в раба-должника по отношению к ростовщическому

капиталу. Буржуазия приобретала господство над крестьянином при помощи ссуд под залог земли, как над пролетарием посредством заработной платы и над мелким буржуа при содействии конкуренции. Господство буржуазии получило признание и опору в торговых судах, в фабричных судах, в судах присяжных, во всем законодательстве по гражданским делам. Это был единственный для Германии пример такого высокого экономического развития.

В своем постепенном росте рейнско-вестфальская крупная промышленность представляла пеструю картину различных форм капиталистического производства. В ремшейдском округе сохранилось ремесло, и капитал удовольствовался ролью комиссионера-экспортера всевозможных предметов; но его господство от этого не сделалось мягче. В золингенском округе капитал разрушил цехи, низверг на самое дно нищеты оружейных мастеров, в свое время пользовавшихся мировой известностью, и привел их в положение пролетариев-кустарей. В Аахене капитал, привлекши на свою службу дешевые рабочие силы из окрестных деревень, смирил цеховое ремесло суконщиков. В шелковой промышленности Крефельда, которая искони была захвачена торговым капиталом скупщиков, ткачи-кустари вели настойчивую борьбу из-за звания ремесленного мастера; счастье улыбалось им, и они, путем тяжелых лишений, приобретали в свою собственность ткацкий станок, вовсе не подозревая, что они таким способом только все крепче заковывают себя в цепи капитала. Впрочем, рейнская промышленность замечательна и в том отношении, что здесь раньше всего развилось мануфактурное и фабричное производство. Уже в 1783 году один эльберфельдский фабрикант приводил в движение силой воды первый для Германии механический прядильный станок. Здесь уже начиналось современное рабочее движение. В 1826 году золингенские шлифовальщики начали бурные выступления против системы расплаты товарами; в 1828 году крефельдские ткачи не менее бурно выступили против понижения заработной платы. Чтобы смирить рабочих, вводилась машина, а вместе с машиной стала расти эксплоатация детского труда.

Прусское правительство нечаянно сделало хорошее дело и непреднамеренно раскрыло, в каком ужасающем положении находятся дети на фабриках. В 1818 году оно случайно узнало, что какой-то фабрикант из рейнских провинций построил фабричную школу. С обычным в таких случаях лицемерием оно воздало королевским кабинетским приказом публичную похвалу достойному человеку. Между тем травля так называемых демагогов привела к расследованию школьного дела, и министр исповеданий фон-Альтенштейн потребовал от дюссельдорфской администрации более подробных сведений об упомянутой фабричной школе. И вот тут-то раскрылось, что у прославленного фабриканта было два прядильных заведения и что он принимал в них детей по шестому году как для дневных, так и для ночных работ. В одной прядильне днем работало 96, ночью 65 детей, в другой днем 95, ночью 80 детей. Рабочее время составляло днем 13, ночью 11 часов, притом часто работали и по воскресеньям. Ежедневный заработок для самых

малых детей не составлял и 20 пфеннигов (меньше 10 копеек), для детей постарше — 30 пфеннигов, между тем как взрослые рабочие за ту же работу получали 1 марку (45—46 коп.). Но фабрикант настойчиво уверял, что дети, работающие днем, обучаются в школе в течение одного часа, а работающие ночью — в течение двух часов в день. Какой-то тайный советник, главный член финансового управления — имя его, к несчастью, не сохранилось на память потомству — сообщил в Берлин следующее: дети, работающие по ночам, резко отличаются от бледных берлинцев сильною, цветущею внешностью; ночная работа до такой степени мало изнуряет их, что они, возвращаясь по домам, отстоящим больше чем за четверть мили, дают выход своей жизнерадостности в проделках разного рода; спать днем вообще так же гигиенично, как и ночью.

Но Альтенштейну положение вещей все же показалось не в такой мере удовлетворительным, как тайному советнику. Как-никак, а он был друг Гегеля, и в знаменитом государстве всеобщего обязательного обучения не хотел быть министром народного просвещения только по имени. Но его коллега фон-Шукман, министр внутренних дел, с которым Альтенштейну необходимо было притти к соглашению, полагал, что работа малолетних на фабриках не нуждается ни в каких изменениях; чтобы убедить его в необходимости вмешательства, Альтенштейн обратился к окружным управлениям Рейнской провинции, а также провинции Вестфалии, Силезии, Бранденбурга и Саксонии и потребовал, чтобы они произвели расследование характера и распространенности фабричного труда малолетних. Администрация произвела расследование, как вообще производит расследования бюрократия: не опрашивались ни рабочие, ни их дети, но только фабриканты и отчасти еще врачи, священники и учителя. Тем не менее даже их сообщения обрисовывают страшную картину.

Массы детей, многие тысячи, в самом нежном возрасте, иногда уже на четвертом году жизни, подвергаются истязаниям во всех отраслях текстильной промышленности, а также на фабриках иголок, бронзы, пряжек, цепочек, ковров, бумаги, фарфора и всевозможных других. После непомерной работы, продолжающейся десять, двенадцать, даже четырнадцать часов ежедневно — и это за плату в несколько грошей, — им предоставляют кратковременный отдых, который, как сообщает изерлонский отчет, проходит за водкой, табаком, развратом и азартными играми. В других отчетах говорится: „Бледные лица, усталые, воспаленные глаза, вздутые животы, опухшие щеки, губы и крылья носа, воспаленные железы шеи, злокачественная сыпь на коже и припадки одышки отличают в гигиеническом отношении этих несчастных созданий от других детей того же класса народа, но не работающих на фабриках. В такой же степени жалко и их умственное и нравственное развитие". Самое печальное положение создалось в частях Германии, стоявших на сравнительно низкой ступени промышленного развития, как провинция Бранденбург и Саксония. Люкенвальдский магистрат сообщал, что дети, занятые в суконных мануфактурах, вырастают в нравственном развращении. В гвоздарном производстве мерзебургского округа дети с 4 часов утра и до

3 часов вечера должны были выполнять такую тяжелую работу, как раздувание мехов.

Все это не произвело ни малейшего впечатления на прусских министров, за единственным исключением Альтенштейна. В 1826 году, когда генерал-лейтенант фон-Горн доложил королю, что фабричные округа уже не могут поставлять надлежащий контингент рекрутов, тоже ничего не было сделано. Шукман на новое представление Альтенштейна ответил очень грубо, но с глубоким пониманием сущности прусского полицейского государства: фабричный труд малолетних далеко не так вреден, как труд молодежи, направленный на приобретение умственного развития. Но вот некоторые более сообразительные фабриканты Рейнской провинции подняли в газетах тревогу, а ландтаг той же провинции потребовал законодательной регламентации труда малолетних, и только тогда, в 1839 году, правительство зашевелилось и сделало распоряжение об ограничении фабричного труда малолетних, — само собой разумеется, не в действительности, а на бумаге. Должно было пройти еще десять лет, прежде чем обратили внимание на жалобы рабочих против truck-системы, т.-е. против расплаты продуктами из лавок при фабриках. Лишь после благодетельного урока 1848 года издано было воспрещение расплаты товарами и с известной серьезностью стало проводиться на практике. А до того времени ничего не могли поделать ни жалобы рабочих, ни повторные представления ландтагов Рейнской и Вестфальской провинций, ни даже страстная агитация некоторых фабрикантов: прусское правительство противопоставляло всему этому „серьезные возражения и основательные сомнения“, следует ли воспретить такое постыдное барышничество, объектами которого являлись и без того обездоленные, беззащитные пролетарии. Но тем больше готовности обнаруживало правительство в тех случаях, когда вызывали его славное воинство для подавления проявлений недовольства среди обездоленных.

Вообще условия, сложившиеся в Германии, не особенно благоприятствовали развитию торговой и промышленной буржуазии. Соседние страны одна за другой воздвигали таможенные заставы против немецких товаров. Англия делала невозможным ввоз леса и хлеба из Германии; Германия, раздробленная на множество государств, не могла настоять на том, чтобы иностранные государства предоставили сносные условия немецким купцам.

Раздробленная и бессильная Германия была открыта для подавляющей конкуренции иностранцев. По окончании наполеоновских войн английские товары, до того времени сдерживаемые континентальной блокадой, буквально наводнили германские рынки. В петиции, поданной прусскому королю, нижнерейнские фабриканты так обрисовывали положение: „Все рынки Европы закрыты для наших товаров таможенными заставами, между тем как все товары Европы находят в Германии открытый рынок“.

Еще хуже для германской промышленности было то обстоятельство, что она не располагала сколько-нибудь широким внутренним рынком. Каждое из нескольких десятков немецких государств воздвигало собственные

таможенные заставы и взимало особые пошлины с провозимых товаров. Больше того: даже в пределах одного и того же государства отдельные провинции составляли как бы особые государства и сохранили от средних веков особые права, особые привилегии, особое законодательство и—особые пошлины. Не мудрено, что вся Германия напоминала французу де-Прадту огромную тюрьму, обитатели которой могут сообщаться друг с другом только через решетки.

Германские правительства в принципе ничего не имели против этих, как и против других, пережитков феодализма. Тем не менее и они не могли совсем не считаться с экономической необходимостью. Финансовые соображения уже в 1818 году заставили Пруссию выступить в роли реформатора таможенной системы. В этом году в Пруссии были уничтожены все внутренние таможни, вся Пруссия составила один свободный рынок, но, разумеется, зато отгородилась таможенной линией от соседних германских государств. Последние попали из огня в полымя: прусский рынок теперь для них был закрыт. Для них не оставалось другого выбора, как принять прусские таможенные пошлины и составить с Пруссией единое целое в торгово-промышленном отношении. Но они видели в то же время, что это было бы первым шагом к признанию политического верховенства Пруссии, поэтому они всеми силами отстаивали свою таможенную самостоятельность, как одну из важнейших основ политической самостоятельности. Но в конце-концов династические соображения пошли на уступки перед финансовыми соображениями. Мелкие и средние государства одно за другим приняли прусский тариф; таможни между ними уничтожались, таможенная линия относилась все дальше и дальше. Так возник в 1834 году германский таможенный союз, который под конец охватывал до 8.000 квадратных миль с 30-ю миллионами жителей —почти всю Германию в современных размерах.

Создание широкого внутреннего рынка для продуктов германской промышленности было крупным шагом вперед. Пожалуй, еще большее значение для развивающегося нового общества имело начало постройки железных дорог, которое относится к концу тридцатых годов XIX столетия. До того времени Германия располагала ничтожной сетью шоссейных конных и водных путей сообщения. В Пруссии, напр., в 1831 году общее протяжение шоссейных дорог едва превышало 1000 миль. Регулярные торговые сношения были невозможны; если бы не было периодических ярмарок, торговля оказалась бы в самом затруднительном положении. Представители рейнской и саксонской промышленности, а также крупные торговые города быстро поняли значение железных дорог. Но феодальным классам все это дело пока казалось в высшей степени подозрительным. Из монархов к железным дорогам благоволили только мечтатели или мистики, как король баварский или кронпринц прусский (впоследствии Фридрих-Вильгельм IV); но и они не подозревали, какую революцию в общественных отношениях предстоит произвести железным дорогам. Вообще же правительства нередко сначала воздвигали всевозможные препятствия постройке железных дорог, но в конце-концов не могли остановить их развития. Новые пути сообщения пробили первую

черьезную брешь в китайской стене местной обособленности, узости всех отношений и нанесли смертельный удар связанным с изолированностью предрассудкам и умственной неподвижности. Они открыли выход неистощимым минеральным богатствам Германии, они дали мощный толчок развитию крупного производства, которое с этого времени пускает, наконец, прочные корни и в южной Германии, обосновывается в Аугсбурге, Нюрнберге, Мангейме и других городах. Начался быстрый рост машиностроительных фабрик: Борзига в Берлине, Крамера и Клетта в Нюрнберге.

Тем не менее мелкое ремесленное производство все еще оставалось основной формой германской промышленности. В конце тридцатых годов оно пережило новую эпоху подъема, и этот подъем был его лебединой песнью, предсмертным расцветом. Впрочем, некоторые промыслы—мыловаренный, кожевенный, перчаточный, шляпный, горшечный — уже страдали от конкуренции крупного капитала; но зато другие ремесленники — механики, слесари, каменотесы — оказались в выигрыше как раз потому, что крупное производство создавало новый спрос на их работу. Потери одних и выигрыш других могли взаимно уравновеситься. В общем ремесло расцветало. Число занятых ремесленников возрастало быстрее, чем население. Однако в то же время обострялись общественные противоречия между мастерами и подмастерьями. Для того, чтобы основать собственное производство, в крупных городах были необходимы более или менее значительные затраты: размеры производств все увеличивались. Большей части подмастерьев пришлось расстаться с надеждой сделаться когда-нибудь мастерами. В XVIII веке средством против чрезмерного переполнения ремесла была служба в наемных войсках. Теперь этого средства не было, — единственным исходом служило переселение в Англию, Францию, Швейцарию. В тридцатых годах огромный поток немецких переселенцев направляется и в Соединенные Штаты: за одно десятилетие туда эмигрировало более 150 тысяч человек, между тем как в предыдущее (второе десятилетие XIX века) число эмигрантов не достигло восьми тысяч.

Но оживление ремесла в конце 30-х годов было его лебединою песнью. В следующем десятилетии начался быстрый и непрерывный упадок [1]).

—Промышленность Австрии в основных чертах стояла на такой же ступени развития, как и в Германии. История современных форм производства в Австрии не заходит, в сущности, глубже XVIII столетия. С XVI века австрийские монархи выступили в роли вождей контр-реформации. Наиболее интеллигентные слои буржуазии примыкали к протестантизму. Нетерпимость Габсбургов, стремившихся превратить Австрию в царство иезуитов, повела к нескончаемым гонениям на протестантов. Протестанты покидали страну, а вместе с ними ее оставлял и дух предприимчивости; не подвергалась преследованиям только масса дюжинных, неспособных людей. В Австрии наступило спокойствие — невозмутимое спокойствие кладбища, охватившее и область экономических отношений.

[1]) В 40-х годах процветанию ремесла наступил конец, и эмиграция из Германии в Америку дала уже 430.000 человек за одно десятилетие.

Государи XVIII века принимали меры с той целью, чтобы исправит грехи своих слишком уж католических предков. При Иосифе I, Карле VI Марии Терезии, Иосифе II была обеспечена хотя некоторая свобода промыш ленности, и ремесло очнулось от своего долгого сна.

При раздаче „привилегий" на занятие производством вероисповедани совсем не принималось в расчет. Фабрикантам и фабричным рабочим был обеспечена свобода совести. Для поощрения крупных предприятий их осво бождали от всяких налогов, давали им беспроцентные и даже безвозвратны ссуды из государственной кассы, наделяли всевозможными привилегиями как, напр., полное освобождение фабричных рабочих и учеников от воинско повинности, и т. д. При заминке в делах государство нередко выдавало рабочим особенно прядильщикам и ткачам, ежедневные пособия, чтобы удержать и от эмиграции.

Текстильная промышленность (т.-е. те отрасли промышленности, которы обрабатывают и перерабатывают в ткани различные „волокнистые" вещества лен, пеньку, шерсть, шелк, хлопок и т. д.) Австрии своим зарождением и своим быстрым ростом обязана главным образом такому государственном покровительству. Мероприятия Иосифа II обусловили расцвет богемских и силезских полотняных и суконных мануфактур. Но еще быстрее развивалос в этот период хлопчато-бумажное производство. В эту же эпоху завоевали себе широкую известность „венские производства", которые могли померятьс даже с парижскими и лондонскими производствами. И совсем не случайност что почти все эти производства развивались вне цеховой организации появлялись или в форме мануфактуры, или в форме домашней промыш ленности.

Австрийские монархи XVIII века обеспечили известную свободу про мышленности вовсе не потому, что они благоволили к принципам либерализм вообще и экономического в частности. Их экономическая политика оставалас патриархальной в вотчинном, крепостном, архаическом значении этого слова диктовалась такими же соображениями, как заботы помещиков о насаждении поместьях новых промыслов и производств. Они и не предчувствовали, чт покровительствуемый ими индустриализм в конечном итоге ведет к торжеств принципов политического либерализма. Если бы они предвидели это, их эко номическая политика не отличалась бы от политики их преемника, импера тора Франца.

Франц инстинктивно ненавидел промышленность, как почву для разви тия либерализма, и, в резком противоречии со своими советчиками, старался где только возможно, поставить перед ней рогатки и препоны. Конечно, ста рые цехи, не способные сами по себе ни задержать развитие новых фор производства, ни приспособиться к новым потребностям, теперь воспрянул духом. Представители их утверждали, будто упадок промышленности, насту пивший в конце XVIII века, как неизбежный результат нескончаемых войн и реакционной экономической политики Франца, вызван забвением ремесла пренебрежительным отношением к цехам, к этим исконным формам австрий ской промышленности. Единственный выход из тяжелого положения, но и

мнению, был в возврате к цеховым монополиям, к средневековому строю промышленности. И правительство Франца, вопреки своей воле, не раз выступало с ограничениями свободы промышленности.

Финансы государства были в самом печальном положении: оно кругом запуталось в долгах, бумажные деньги окончательно обесценились, банковые билеты в некоторые дни 1811 года котировались на бирже по $^1/_{12}$ своей номинальной стоимости. При таких условиях все коммерческие расчеты и планы на будущее оказывались невозможными. Исчезла уверенность в завтрашнем дне. Тысячи банкротств были следствием резких биржевых колебаний.

А государство, чтобы помочь беде, только и делало, что измышляло новые пошлины и налоги, проявляло величайшую изобретательность в изыскании новых объектов обложения, новых предлогов для взыскания податей. В эту эпоху напряжение всех платежных сил населения было объявлено основным принципом здоровой финансовой политики, „ибо слабое обложение само по себе вредно для нации, так как оно открывает все двери перед праздностью и усыпляет дух предприимчивости“.

Уже в 1806 году официальная „Записка о внутреннем состоянии Австрии“ признает, что „торговля и промышленность находятся в полном упадке, трудолюбие покинуло мастерские, промышленник, не имевший особенного достатка, теперь впал в нищету, а его семья гибнет от голода“. „Распространяется дух недовольства и равнодушия к общему благу“, говорится в конце этой записки. „Открытый и добродушный народный характер, равного которому трудно найти, становится замкнутым и необщительным. Общительность и жизнерадостность заметно идут на убыль. Человек уединяется, когда он страдает. Жалкие заработки дают скудное пропитание лишь немногим, совсем единичным лицам, число браков все уменьшается: с 1802 года оно понизилось больше чем на 25 процентов, а число смертных случаев увеличилось на 15 процентов. Могут ли быть более очевидные доказательства упадка народного благосостояния?“

Так говорит официальная записка. И сильно же должен был Франц I ненавидеть новую промышленность, если он, не взирая на финансовые затруднения государства, на кризис, переживаемый промышленностью, постарался нанести тяжкий удар тому самому классу, на котором держались государственные финансы, и в 1802 году воспретил устройство фабрик в Вене и ее пригородах.

Правительство Франца все же понимало, что эта мера крайне опасная, что принять ее значит раз-на-всегда отнять корм у короны, молоком которой живешь. Советчики Франца извлекли из политики его предшественников один важный урок. Государство должно же было откуда-нибудь извлекать свои доходы. Возложить налоговую тяжесть на землевладельцев-дворян было рискованно: это знаменовало бы решительное потрясение феодальных отношений, сохранившихся в деревне, полную революцию. Но австрийские бюрократы нисколько не напоминали революционеров. При таких условиях не оставалось ничего иного, как искать средств у промышленности и торговли и, следовательно, оберегать их от чрезмерных стеснений.

Поэтому министры постарались уяснить императору, что будет следствием его приказания: множество производств и фабрик могут существовать только в столице; изгнание их было бы равносильно полному закрытию двух третей их общего количества; дороговизна в Вене проистекает не из переполнения столицы фабричными рабочими и ремесленниками и т. д.

Все это было, разумеется, справедливо, но не попадало в цель, не затрогивало истинных мотивов гонения, открытого против фабрик и мануфактур. Более глубокое понимание намерений императора обнаруживает одна из многочисленных записок, посвященных распоряжению 1802 года. В ней говорится между прочим следующее: „Было бы несправедливостью по отношению к городскому сословию,—т.-е. к буржуазному классу,—вообще такому важному по своей роли, если бы на низший класс промышленников стали смотреть как на более опасный для общественного спокойствия, чем другие сословия: ведь и этот класс во время неприятельского вторжения доказал свою преданность монарху и отечеству". Та же записка указывает, насколько необходимо дать работу для „сброда, всегда переполняющего столицы": „сброд этот действительно станет крайне опасным лишь по закрытии фабрик и промыслов и во всяком случае он не так-то легко даст удалить себя из столицы". Вообще реакционный характер экономической политики императора определялся отнюдь не заботами о благе ремесленного сословия, а страхом перед фабрикантами, заподозренными в политическом либерализме, и перед массою фабричных рабочих.

Но все представления и успокоительные доводы не могли разубедить императора. Он заявил, что все заявления „непрошенных советников" „ни к чему не годятся", и остался при своем распоряжении 1802 года, воспрещавшем основывать новые промыслы и фабрики на расстоянии двух миль от столицы. Только в 1811 году страх неминуемого банкротства положил конец этому запрещению,— он одержал временную победу над отвращением Франца к индустриализму.

Но уже в 1822 году император опять повторил запрет выдавать новые разрешения на устройство промышленных предприятий, и только в 1827 году этот запрет был опять отменен, и промышленности была предоставлена жалкая пародия на свободу.

В 1831 году цехи сделали новый решительный натиск и постарались использовать отвращение императора к принципам „экономического либерализма". Император соглашался с защитниками цехов, что „ограничения коммерческой свободы" необходимы, но полагал, что предварительно следует изучить вопрос о том, каких торговых и промышленных классов должны коснуться эти ограничения. Правительство предприняло обширное исследование состояния австрийской промышленности. Результаты его были опубликованы только в начале 1835 года, за несколько недель до смерти Франца. Таким образом до практических мероприятий дело не дошло, и тридцатилетняя борьба австрийской промышленности за право на жизнь могла считаться оконченной.

Положение торговых и промышленных классов к этому времени было, пожалуй, еще хуже, чем в начале столетия. Гнет налогов, тяготевший на них, возрос непомерно. Так, домовая подать в период с 1810 по 1832 год увеличилась в отношении 3 : 23, промысловый налог в отношении 3 : 34, сумма гильдейских пошлин и патентных сборов в отношении 3 : 112.

К этому присоединялись огромные сборы, взимавшиеся при вступлении в звание мастера, и всевозможные пошлины, взимавшиеся цеховыми организациями. В то же время обучение превратилось в простую формальность. Мастера употребляли учеников на побегушки, для домашних работ; впрочем, даже при добром желании они могли бы научить очень немногому: славное искусство ремесленников уже к этому времени отошло в область преданий, и машинное производство без труда вытесняло ремесленные продукты [1].

И ремесло и крупное производство в одинаковой мере страдали от жалкого состояния путей сообщения. В первую треть XIX века постройка шоссе пошла энергичнее, но все же за двадцать лет, с 1813 по 1832 год, было построено новых дорог только 454 мили. Еще медленнее развивалась железнодорожная сеть, хотя Австрия была одним из первых государств, принявшихся за ее сооружение [2]). Только в 40-х годах строительная деятельность стала развиваться быстрее. Пароходство по Дунаю тоже только что начало развиваться и еще не успело справиться с многочисленными естественными препятствиями.

Но, вопреки всем неблагоприятным условиям, новые формы производства все же развились, а в последнее десятилетие перед 1848 годом развились даже с значительной быстротой. По отношению к ним все общество разделилось на две враждебные части. На одной стороне стояли цеховые ремесленники, представители отживающих общественных и экономических форм; на другой — носители новых воззрений, привилегированные мастера и фабриканты. Если бы желания цехов нашли полное отражение в экономи-

[1]) Применение паровой машины начинает быстро распространяться в Австрии с тридцатых годов. В 1842 году во всей Австрии было 231 паровых машин в 2.939 сил, в 1852 году число их увеличилось до 671 машин в 9.128 лошадиных сил. Больше всего они применялись в горном деле, в хлопчато-бумажном и шерстяном производстве.

[2]) Наглядное представление о темпе развития железных дорог дает следующая табличка:

Государства.	Год открытия первой жел. дороги.	Длина железнодорожной сети в 1840 году.	Средний ежегодный прирост сети.
		Километры.	
Великобритания и Ирландия..	1825	1348	90
Австро-Венгрия	**1828**	**144**	**12**
Франция....................	1828	49	$41\frac{1}{2}$
Германия	1835	540	108
Бельгия	1835	336	67

В 1850 году длина железнодорожной сети в Австро-Венгрии достигла 2.240 километров (в 1845 году—1.058 километров), в Германии в 1850 году—5.856 километров

ческом законодательстве, оно возвратилось бы вспять не на несколько деся тилетий, а на целых два века, к эпохе Фердинанда III. Противники „инду стриализма", представители цехов, ни на минуту не задумываясь, провели бы такие ограничения для новых форм производства, что развитие их сделалось бы невозможным, и Австрии было бы суждено навеки остаться бедной страной с преобладанием земледелия. По своей наивности они во всеуслыша ние заявляли, что промышленность и промышленные классы — опаснейший элемент для государственного спокойствия, и потому отнюдь не подобает насаждать промышленность в Австрии. Они предлагали такие стеснения для фабричного производства, что крупное производство сделалось бы решительно невозможным. Характерен в этом отношении такой факт. Губернская адми нистрация в Моравии и окружное управление в Брюнне, казалось, имели достаточно времени, чтобы убедиться в значении суконных мануфактур. И однако они выступили с предложением безусловно воспретить фабричную и мануфактурную организацию таких производств, продукты которых могут изготовлять и цеховые мастера. Следовательно, и бюрократия первой поло вины XIX века не понимала, какое будущее предстоит крупному производ ству; даже она признавала право на существование только за ремеслом и хотела подчинить его интересам все остальные общественные интересы. И еще одна любопытная подробность. Во всех мнениях и представлениях источником которых были ремесленные сферы или их представители, ни слова не говорится о необходимости повысить технический уровень ремесла увеличить его производительность. Причина понятна: даже в сороковых го дах цеховому мастеру приходилось бороться преимущественно с „привиле гированным мастером", который все еще оставался мелким предпринимателем Технические превосходства крупного предприятия еще не успели выступить с бесспорной наглядностью.

Противоположная сторона, приверженцы „экономического либерализма" выступала не с меньшей решительностью. Если бы законодательство развива лось в соответствии с их требованиями, „свобода промышленности", признан ная законом лишь в конце 1859 года, сделалась бы фактом уже в половине тридцатых годов.

Следовательно, — это показывает, впрочем, и история экономической политики при императоре Франце, — уже задолго до 1848 года австрийское общество разделилось на две части, диаметрально противоположные по свои воззрениям на экономические вопросы. Было бы крупной ошибкой предпола гать, что в 1848 году противоречия эти исчезли и все общество пред ставляло картину полного единодушия в своем отношении к цехам, равно как и к другим формам отживающей эпохи общественно-экономического развития: тогда реакция, наступившая тотчас же за событиями 1848 года, — реакция не только феодальная, но и городская, — представлялась бы нераз решимой загадкой.

Между тем капиталистические отношения уверенно и последовательно вторгались в самое ремесло. Цехи прониклись величайшей исключительностью Длинный срок ученичества, долгие годы работы в качестве подмастерья, при

мудительные странствования, высокие вступные платежи, крупные расходы по оборудованию мастерской, разнообразнейшие привилегии для родственников мастеров, — все это превращало сословие мастеров в какую-то замкнутую касту, закрытую для посторонних. Более счастливые из мастеров развивались в довольно крупных предпринимателей. В Вене, например, уже в 1845 году не редкостью были мастера, которые в собственной мастерской держали значительное число подмастерьев, да кроме того отдавали работы на сторону тридцати, сорока мастерам, работавшим на них за поштучную плату. Последние сохраняли только звание мастера, по существу же это были кустари, подмастерья или наемные мануфактурные рабочие, в зависимости от организации предприятия.

Положение массы ремесленников было безнадежное; но и положение мануфактурных и фабричных рабочих едва ли заметно отличалось в лучшую сторону. Почти все отрасли промышленности, за ничтожными исключениями, страдали от перепроизводства. На внешних рынках Австрия с трудом конкурировала с передовыми по промышленному развитию государствами. Внутренний рынок отчасти суживался благодаря энергичному контрабандному ввозу, а главным образом благодаря реакционной экономической политике, не решавшейся посягнуть на феодальный строй общественных отношений в деревне, на дворянские привилегии. Бедное, обнищавшее, доведенное до одичалости население было плохим покупателем промышленных продуктов. С другой стороны, гонимое нуждой из деревни, мирившееся там с недостойными условиями существования, оно и на мануфактуре и на фабрике соглашалось на какие угодно условия.

Может быть, ярче, чем всякими другими цифрами, положение рабочих обрисовывается широким расцветом фабричного труда женщин и малолетних. Напр., в 1845 году на 647 писче- и хлопчато-бумажных фабриках Австрии было занято в общей сложности 38.124 рабочих. Из этого числа взрослых мужчин было всего 16.533, женщин почти столько же — 16.001 и детей — 5.590. Другими словами, на 1000 рабочих приходилось: 433 мужчины, 420 женщин и 147 малолетних. Можно думать, что приблизительно таковы же были отношения и в других отраслях производства.

Таким образом обнищавшее население рвалось на фабрики и встречало здесь конкурентов в лице женщин и малолетних: капитализм заставил жен и детей конкурировать с мужьями и отцами.

Фабричного законодательства, которое давало бы рабочим хоть какую-нибудь защиту, разумеется, не существовало. Чего вообще можно было ожидать от правительственных сфер Австрии, лучше всего показывает их отношение к фабричному труду малолетних. В 1843 году появилось высокоофициозное, составленное по предписанию начальства, „Описание строя и распорядков на бумагопрядильных фабриках Нижней Австрии“. Автор, доктор Кнольц, по поручению свыше задался целью оправдать фабричный труд малолетних с точки зрения нравственности и гигиены. „В последнее время,— говорит он,— совсем не принимают детей моложе 12-летнего возраста, а если это и делается в исключительных случаях, то единственно по сострада-

нию к несчастным детям, которые умоляют дать им работу. Фабриканты сами заинтересованы в том, чтобы принимать преимущественно детей, уже достигших 12 лет, ибо более молодые слишком часто причиняют убытки своим легкомыслием, непредусмотрительностью и неловкостью. Однако то обстоятельство, что оба родителя работают на фабрике, и дети, оставшись без присмотра, подверглись бы физическому вреду и моральному развращению,— преимущественно это обстоятельство вынуждает фабрикантов допускать исключения и принимать небольшое число беспризорных детей и от 9-летнего возраста".

Итак, согласно официозу, труд малолетних — милостыня, подаваемая фабрикантом родителям и детям, своего рода моральная жертва с его стороны. Кнольц уверяет, что число детей моложе 12 лет крайне ничтожно на фабриках, — не больше двадцатой части всех малолетних, занятых фабричным трудом. Работают дети, говорит Кнольц, очень и очень немного, какихнибудь 12 и „самое большее" 13 часов в день; притом фабричный труд, добавляет доктор Кнольц, в высшей степени полезен для физического развития малолетних. Санитарные условия на фабриках тоже не оставляют желать ничего лучшего, а если заболевания очень нередки, то причина тому лежит не в работе, а в „препровождении так называемых часов отдыха" и в гастрономических излишествах. Послушать этого автора, так выйдет, что у рабочего слишком много свободного времени и слишком роскошная пища. „Дети с физическими недостатками и страдающие золотухой, — полагает Кнольц, — в большинстве случаев приносят на фабрики зародыши этих болезней извне, что как нельзя больше понятно, когда знаешь, от каких болезненных родителей рождены эти дети, и в какой жалкой обстановке проходят их ранние годы". Автор, очевидно, уже успел забыть, что, согласно его же утверждениям, родители этих детей работали на одних фабриках со своими детьми, и что он только что восхвалял эти фабрики как самые благоустроенные, не оставляющие желать ничего лучшего.

Фабриканты ничего не устраивали в интересах рабочих. „Прежде,—говорит Кнольц, впадая в непреднамеренный юмор,—прежде заботы фабрикантов о будущем их рабочих выражались в устройстве больниц и сберегательных касс. Но крайняя подвижность этого народа, который перекочевывает с места на место, не уменьшилась от этих забот, и потому они оказались бесполезными". Может быть, заботы фабрикантов были такого рода, что рабочим приходилось бегством спасаться от них?

При таких взглядах на вещи, господствовавших в сферах высоко-официозных, от официальных, правительственных сфер нельзя было ожидать каких-либо мер по охране рабочих. Если фабричный труд считался благодеянием для малолетних, к чему было бы тогда регламентировать отношения предпринимателей и взрослых рабочих?

Единственное, что напоминало зародышевое фабричное законодательство, было министерское предписание от 20 ноября 1786 года. Согласно ему дети по меньшей мере раз в неделю должны были отправляться в баню и расчесываться гребнем, и врач должен был два раза в год посетить их. Чего же больше?!..

Указ от 11 января 1842 года в первой статье содержал предписание' чтобы дети моложе 12-летнего возраста вообще не принимались на фабрики. Но уже вторая статья того же указа отменяла это предписание, позволяя в виде исключения принимать детей и от 9-летнего возраста, если они перед тем в течение трех лет обучались в школе. Тот же указ определяет максимальное рабочее время: для детей от 9 до 12 лет — 10 часов в сутки и от 12 до 16 лет — 12 часов в сутки; ночные работы были воспрещены для всех категорий малолетних.

Фабриканты протестовали против этих предписаний, „ибо промышленности был бы причинен очень серьезный вред, если бы стали издавать общие распоряжения о продолжительности рабочего времени". В действительности на этот указ не обращали внимания, и даже в позднейшее время не раз слышались жалобы, что в ситценечатных заведениях работают дети восьми и даже семи лет. Удивляться здесь нечему: государственные предприятия первые подавали пример злоупотребления трудом малолетних. Так, на табачной фабрике в Седлице было всего 430 рабочих, в том числе 67 детей, не достигших 14 лет, и 96 детей в возрасте от 14 до 16 лет, следовательно, в общей сложности 163 (т.-е. почти 38%) малолетних; а в государственной типографии в Вене учеников было даже много больше, чем подмастерьев.

На указе 1842 года остановилось развитие домартовского фабричного законодательства.

Не лучше обстояло дело с организованной самопомощью рабочих. В то время, когда идея кооперативных товариществ одержала в Англии крупные победы, когда во Франции Прудон развивал свои учения о социальной реформе и о будущем кооперации, когда английское профессиональное движение пережило уже многие великие революции и сделало серьезные завоевания, — в это время для австрийских рабочих потребительные общества, кассы взаимопомощи и тем более боевые организации все еще оставались невозможными и подвергались суровым гонениям правительства. Даже за простое соглашение не браться за работу, если не будет дана известная минимальная плата, ожидали самые суровые кары. Правительство косо смотрело даже на кассы взаимопомощи на случай болезни. В 1835 году подмастерье-книгопечатник Иоганн Фридрих вместе с своим хозяином Маусбергером возбудили ходатайство о разрешении союза взаимопомощи на случай болезни и получили решительный отказ на том основании, что „в таком союзе не имеется надобности". Тем не менее книгопечатникам все же удалось в разных городах устроить кассы взаимопомощи, а в 1842 году — венский союз взаимопомощи. В домартовское время это был единственный зародыш рабочей организации, но именно только зародыш, так как в союзе очень видную роль играли владельцы типографий. Кроме того, книгопечатники составляли аристократию рабочего класса, и организация их не имела никакого значения для массы.

В случаях обострения нужды на сцену выступала благотворительность, государственная и частная. Впрочем последняя не пользовалась расположением Меттерниха; он мирился с ней только под давлением крайней необхо-

димости. В 1816 году, когда нищета вследствие войны, неурожая и государственного банкротства достигла угрожающих размеров, и в Вене произошли тревожные демонстрации безработных, в правительственных сферах серьезно занялись вопросом об общем налоге в пользу бедных, даже о налоге на роскошь и холостяков. Но налогоспособность страны была истощена до крайних пределов, и потому Меттерних волей-неволей призвал на помощь частную благотворительность, „дабы она по крайней мере отчасти и постепенно сделала то, чего государство теперь не в состоянии сделать" (указ от 3 января 1817 года). Предписания, решительно воспрещавшие союзы всякого рода, после этого стали соблюдаться с меньшею строгостью, администрация всеми силами содействовала учреждению частных благотворительных обществ.

Но это не повело ни к чему. До 1848 года в Вене—в этом классическом городе частной благотворительности—возникло всего 30 филантропических обществ. Трудно указать более яркий симптом беспомощности домартовского строя. „Союз для помощи нуждающимся города Вены", хотя стоял под покровительством императора и под руководством самого канцлера, уже через несколько недель, в том же 1817 году, в котором его основали, должен был прекратить свою деятельность. Другие организации влачили жалкое существование. Жизнеспособнее были союзы, возникшие в 1847 году, в период нужды, обостренной промышленным кризисом. Одни из них доставляли ремесленникам инструменты, материалы, оказывали кредит. Другие раздавали бедным хлеб, соль, муку, устраивали столовые. Но и они не могли развить широкой деятельности,—все опекавшее государство цепенило частную инициативу. Эволюционный выход из домартовского положения был невозможен.

ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Германский Союз.

Великая борьба между французской революцией и реакционными си-
ами, почти четверть века наполнявшая Европу громом оружия и сопра-
енная с ужасным опустошением, в 1815 году, наконец, завершилась. На-
олеон, выродившийся потомок и в то же время счастливый наследни
еликой революции, подчинил интересам своего военного деспотизма все
илы, освобожденные революцией, и, овладев ими, направил их в сторону
ненасытной завоевательной политики. Это заставило, наконец, всю Европу
вооружиться и разом выступить против Франции. Император французов,
побежденный под Лейпцигом и подвергнутый на остров Эльбу, скоро бежал
отуда и благополучно прибыл во Францию, но под Ватерлоо потерпел вто-
ричное поражение. Заживо похоронив его на острове св. Елены, союзные
державы энергично приступили к преобразованию Европы, стараясь устра-
нить, насколько возможно, произведенные революцией перемены.

Подавляющее большинство немецкого народа с величайшим энтузиазмом
выступило на борьбу с Наполеоном и добровольно принесло тяжкие жертвы
своей кровью и своим достоянием. Воодушевление вытекало из того, что
народу были даны огромные обещания. Войну называли войной за свободу.
Известная прокламация прусского короля, появившаяся 17 марта 1813 года,
обещала „свободу и признание за всеми сословиями права
на голос в делах государственных“. В русско-прусской декларации,
подписанной в Калише, подавалась надежда на возрождение Герма-
нии. Даже император Александр I, душа великого союза против револю-
ционной и наполеоновской Франции, казалось, тоже был охвачен либераль-
ными идеями и бесконечное число раз говорил о „свободе“ и „отечестве“.
Добрый патриот-немец, как известно, больше всего воспламеняется за сво-
боду, когда она обещана сверху и потому выглядит несколько свое-
образно. Русская же любовь к германскому отечеству была тогда, действи-
тельно, до чрезвычайности велика,—настолько велика, что добрый Александр
очень хотел бы получить для себя часть этого отечества.

Война освободила Германию от безграничного господства Наполеона.
История недаром называет ее войной за свободу монархов.
„Свобода“, выпавшая на долю народа, имела как раз такой вид, какой
она должна была иметь при сложившихся обстоятельствах. В 1803 году

Александр I в союзе с Наполеоном Бонапартом, первым консулом французской республики, по-своему перекроил пеструю карту немецких отечеств. То была эпоха, когда Александр вместе с честолюбивым корсиканцем мог располагать судьбами Германии и целой Европы. Но меньше чем через десять лет между ними произошло столкновение, Александр I сверг Бонапарта и вместе со своими союзниками постарался поделить мир.

После битвы при Ватерлоо Александр совершенно отбросил либеральную маску. Его успехи вскружили ему голову, в своей мании величия он считал себя „орудием провидения". Он ушел в лабиринты ханжеской мистики и стоило только явиться полусумасшедшей мистичке Юлии фон-Крюденер, как наполовину уже свихнувшийся ум деспота стал носиться с фантастическими проектами. В 1815 году она приехала вместе с ним в Гейльброн и последовала за ним в Париж, где он был среди посетителей ее молитвенных часов. Крюденер навела Александра I на мысль об организации Священного Союза; к нему скоро удалось привлечь императора австрийского и короля прусского. 26 сентября 1815 года союз был заключен; к союзу примкнули все европейские державы, за исключением Англии, Турции и Папской области. Члены союза обязались оказывать взаимную помощь и во всем действовать в согласии с принципами христианской любви [1]).

Фактически Священный Союз во имя „христианской любви" подавлял либеральные стремления народов и старался спасти из остатков старого, дореволюционного мира все, что только было возможно спасти. Он взял на себя контроль и охрану того, что было создано Венским конгрессом.

На этом конгрессе такие дипломаты, как Меттерних, Талейран, Нессельроде и Кэстльри, заново перекроили карту Европы. В шуме пышных торжеств, среди отвратительных интриг, судьбою народов распоряжались так, как будто бы это было стадо баранов, и щедро вознаграждали всех высоких участников в борьбе с Наполеоном. Однако из-за добычи скоро все перессорились, и конгресс разошелся бы без всяких результатов, если бы в это время с Эльбы не возвратился Наполеон. Его возвращение опять объединило монархов, и они довели свое дело до конца. Германия получила при этом новую „конституцию", именно так называемый „Союзный Акт", разделивший ее на тридцать девять отечеств, в том числе четыре вольных города. По внешности Германский Союз представлял организацию обороны против враждебных вторжений извне. На самом же деле это была организация господствующих властей, направленная против революционных, демократических и конституционных стремлений. Правда, в статье тринадцатой Союзного Акта говорится, что во всех государствах будет введена конституция с земскими чинами (сеймом, представительством от сословий); но в действительности конституционные стремления подвергались гонению на территории Союза, как „революционные".

---

[1]) Возможно, что Крюденер первоначально не сама пришла к идее Священного Союза. В Вюртемберге у нее были близкие отношения с так называемой „пророчицей" Куммер. Может быть, последней собственно и принадлежала инициатива устройства Священного Союза. Иногда бывает, что так делается мировая история.

Дипломаты Германского Союза превосходно понимали, что как идеи фран
:ской революции, так и либеральные обещания, данные накануне войны за сво-
;у монархов, не могли не произвести известного впечатления на германский
юд. Величайшее разочарование и раздражение, охватившее народ после низ-
жения Наполеона, еще более возросло, когда повсюду началась решительная
ка реформ французской эпохи и восстановление старых порядков. Напр.,
нцузы уничтожили разные внутренние таможенные пошлины, а теперь они
ва вводились. Точно так же прежним имперским рыцарям, князьям и графам
ть возвратили их старые привилегии и предоставили им, как и прежде,
естную монаршую власть над жителями их наследственных территорий.

Органом Союза,—который был союзом монархов и правительств, а не
юдов,—служил Союзный Сейм, избравший своей резиденцией Франкфурт
Майне. Господа члены Союзного Сейма очень хорошо чувствовали себя
древней, закостеневшей республике аристократов и капиталистов. Полвека
едали они там, только раз распуганные из своего убежища революцион-
бурей 1848 года; только в 1866 году их постигла ими же уготованная
дьба, и прусский штык разогнал „собрание мумий", заседавшее во дворце
на и Таксиса, помещавшемся на Большой Эшенгеймской улице. Впрочем,
овек, управлявший движениями этого штыка, Отто фон-Бисмарк, сам
го сидевший среди мумий Союзного Сейма, позаботился о том, чтобы
рушению подверглась только форма старого Германского Союза, но дух его
ранился бы в значительной степени и в новой Германской империи.

Деятельность Союзного Сейма почти целиком свелась на заботы об
еплении монархической власти против либеральных стремлений. Поставлен-
лицом к лицу с переворотом во всех общественных отношениях, с движе-
м, начало которому положила великая французская революция, государствен-
люди Союзного Сейма все свои силы употребляли на то, чтобы приостано-
ь дальнейшее развитие, задержать в Германии всякий духовный и мате-
льный прогресс, если только им казалось, что он может, хотя бы в
тожной мере, пошатнуть или ограничить власть союзных монархов.
озный Сейм, это центральное правительство Германии, взял на себя роль
ного сторожа, отличаясь от последнего только широким масштабом своей
тельности. Дипломаты и государственные люди Союзного Сейма, всю
ю жизнь прокорпевшие в канцеляриях, наряженные во фраки и огром-
галстуки, решили повернуть назад колесо времени и завесить своими
тиями свет новых идей, озаривший Европу. Они казались какими-то
враками среди лучезарного дня. Всемирная история не знает другого
ого собрания, и ни на какое другое не обрушивались такие горькие и
луженные насмешки, такое презрение, как на высокий Союзный Сейм, за-
авший во Франкфурте на Майне.

В области политики тон Германскому Союзу задавал Меттерних, дей-
овавший в согласии с русскими интригами. Этот руководитель австрий-
й государственной машины был решительный приверженец абсолютизма;
не давая себе даже труда прикрывать свои действия либеральными фра-
и. В народах он видел только материал, из которого можно воздвигнуть

здание абсолютизма. История Австрии с 1815 по 1848 год является про история самого Меттерниха,—настолько овладел он правительством Австр Развитие политической жизни было невозможно; над ее подавлением друж работали полиция, суды с их тайными заседаниями и тюрьмы. Всякая печа кроме правительственной, в Австрии совершенно отсутствовала. Вскрыт писем на почте при Меттернихе сделалось одним из основных элементов г сударственного строя. Во всей Австрии господствовало только одно мнен мнение князя Меттерниха; никакое другое не дерзало заявлять о себе. Народ г прежнему жил в нищете, а финансы были в таком жалком положении, ч император Фердинанд однажды утешил себя только словами: „На нас Меттернихом еще хватит!“ Государственное тело Австрии, иск ственно склеенное из разнороднейших составных частей, оставалось безж ненным трупом. Император Франц II и Фердинанд I—первый из них ог ниченный и злой, а второй ограниченный, но добродушный—предоставл „своему“ Меттерниху делать, что он хотел: они веровали в него и полага что под его управлением „народы“ не возмутят их приятного монарш существования. Во время войны за свободу монархов Франц как-то сказ „Народы теперь нечто представляют собой!“ Меттерних позаботился о т чтобы народы впредь представляли собою ничто. В Австрии народ был же безгласен, как в царстве какого-нибудь владыки монголов.

Меттерних одновременно считался „другом“ России и Англии. Уж 1813 году Наполеон в Дрездене бросил ему упрек в том, что он состои найме у Англии. В его руках теперь сосредоточивались все нити европ ской реакции.

В Пруссии по окончании войны наметились зачатки конституцион партии. Она ухватилась за известный королевский указ от 22 мая 1815 г в котором под гнетом нужды прусскому народу было обещано национа ное представительство, составленное из земских чинов различ провинций. Кроме того, в эпоху Тугендбунда („Союза добродетели“, на ловину легальной, наполовину тайной организации, основным стремлен которой была борьба против французского господства) и в эпоху реф Штейн-Гарденберга прусский народ проникся некоторой самостоятельнос и самосознанием, чем и обусловливался его энтузиазм, обнаруженны борьбе против Наполеона. Народ уповал, что эта борьба создаст для і лучший политический строй. Но Священный Союз принес с собой пол разочарование, и тогда-то опять вспомнили об указе 1815 года. Правда, обещал народное представительство только в качестве совещательного у ждения; но конституционалистам казалось, что оно послужит зерном, которого вырастет и достигнет полного развития истинное народное п ставительство. Реакционеры и слышать ничего не хотели о народном п ставительстве. Фридрих-Вильгельм III выразил неудовольствие по пов адресов, которые требовали ускорения дела конституционного устройства заявил, что сам определит надлежащий момент для введения народного п ставительства, и высказал порицание инициаторам адресов, „дерзко со вающимся в непреложности его обещаний“.

В то же время правительство ничего не щадило, чтобы сделать из Пруссии настоящее государство солдатчины. В общем политическая полиция и уголовное законодательство свирепствовали в ней не с такой безграничной суровостью, как в Австрии; но все же и здесь, где на каждом шагу чувствовалось влияние России, нечего было и думать о здоровом развитии политической жизни.

Точно так же в основных чертах сложились общественные отношения и в мелких государствах Германии. Но тотчас по свержении Наполеона они увидали, как охотно крупные государства увеличиваются на счет мелких. Из опасения, что аппетит с едой может разыграться еще больше, некоторые монархи мелких государств были настолько великодушны, что октроировали своим „подданным" конституции. Так было в Нассау в 1814 году, в Веймаре в 1816, в Баварии и Бадене в 1818 году. „Октроирующие" монархи рассчитывали конституциями привязать к себе своих подданных. При этом разъигрался такой случай: вюртембергские „сословия" совсем не хотели нового государственного устройства,—они держались за „старое доброе право". Так возникла борьба по поводу конституции; она продолжалась с 1816 по 1819 год и, наконец, завершилась компромиссом.

Союзный Сейм в первые же два года своего существования сумел возбудить такое широкое недовольство, что в Германии отважились открыто протестовать против господствующей системы. Уже огромное разочарование, наступившее вслед за войной за свободу монархов, породило всеобщее раздражение; а теперь присоединились новые поводы к недовольству. Старая аристократия держалась с невообразимой дерзостью, переходящей в наглость; агенты русского правительства бесстыдством своих выступлений вызывали широкое раздражение. Один румынский боярин, по имени Стурдза, требовал от германских монархов, чтобы они выступили на борьбу против „революционного духа", а известный писатель Коцебу, русский наймит, неустанно посылал ядовитые стрелы против немецкого либерализма. В 1817 году в Вартбурге состоялось торжество, на котором праздновалась трехсотая годовщина с начала Реформации и в то же время годовщина со дня битвы под Лейпцигом. Студенты воспользовались этим, чтобы устроить демонстрацию против угнетательской системы Союзного Сейма, и в пламенных речах обрисовали печальное положение Германии. Они предали сожжению косичку корсет и капральскую палку (т.-е. принадлежности военной формы того времени), как символы рабства и отжившего строя; на костер попал также целый ряд реакционных сочинений. В 1819 г. в Мангейме студент Занд убил Коцебу. Все правительства Германии пришли в движение. Государственные люди Союзного Сейма теперь уже и сами верили, что перед ними обширный революционный заговор, как в свое время утверждали Коцебу и его сподвижники. В ход были пущены чрезвычайные меры.

В 1820 году, после длинного процесса, Занд был казнен в Мангейме [1]).

[1]) Германские либеральные патриоты отнеслись к юному убийце с величайшим почтением и еще долго посещали его могилу. В 1866 году автор встречал в Мангейме людей, которые носили при себе локоны Занда.

Он принадлежал к немецкой студенческой корпорации (Burschenschaft). Этого было достаточно, чтобы открыть в Burschenschaft'е очаг мнимого великого заговора. Действительно, корпорации не были чужды политические тенденции, которые пользовались поддержкой и руководительством отдельных либеральных ученых и профессоров; здесь переживал свои младенческие годы незрелый и потому до крайности наивный либерализм; богатство фраз против тирании и рабства было неистощимо. Но едва ли были основания ожидать серьезных политических действий от профессоров и студентов [1]).

Союзный Сейм со всеми своими силами обрушился на студенческие корпорации, чтобы вконец задушить „демагогические происки“. Повсюду где только открывали „крамольников“, пускали в ход систему Меттерниха, которая так успешно поддерживала Австрию в состоянии „покоя“. В Пруссии учредили в Кепенике центральную следственную комиссию. Множество студентов было арестовано и присуждено к тяжким наказаниям, иногда лишь за то, что они носили черно-красно-золотую ленточку,—символ стремлений к объединению Германии. На гимнастические упражнения в Пруссии смотрели как на дело, опасное для государственного строя, и потому подвергли их запрещению. Арестовали целый ряд известных патриотов. „Турнфатер“ („отец гимнастики“) Ян и Э. М. Арндт в свое время приобрели широкую славу за свое „французоедство“; теперь первый был посажен в тюрьму и предан суду, а второй отставлен от занимаемой им должности. Даже Гнейзенау, известный генерал, опасался, что и его арестуют за либеральные убеждения.

Осенью 1819 года министры съехались в Карлсбад на конгресс и приняли пресловутые карлсбадские постановления. Согласно им статья 13 „Союзного Акта“ (о введении представительства от сословий) подлежит истолкованию исключительно в монархическом смысле; при университетах следует учредить особые ведомства для надзора за поведением профессоров и студентов. Кроме того, введена строжайшая цензура для всех книг, не достигающих 20 печатных листов; в Майнце организована центральная комиссия для расследования „демагогических происков“ во всех государствах Германии.

Постановления эти отчасти противоречили даже Союзному Акту. Они возбудили величайшее и единодушное негодование. Но меттерниховский полицейский аппарат умел все подавлять; тюрьмы переполнились жертвами господства безграничного произвола; многие из заключенных потом вышли на волю нравственно и физически искалеченными. В Германии сделалось тихо как на кладбище, только сверху раздавался гром славословий торжествующему насилию. За пределами Германии революционные бури прокатывались над Испанией и Италией, над Грецией и Южной Америкой. Германия казалась

---

[1]) Гейне во многих местах, особенно в статьях о Берне, дал яркую характеристику движения того времени,—поразительной смеси „тевтономании“ с либерализмом, „французоедства“ с радикализмом, хвастливого шовинизма с зачатками прогрессивных стремлений и симпатий к средневековщине с порываниями к новому строю.

совершенно немой, и когда в Греции вспыхнула революция, встретившая поддержку России, энтузиазм немцев разрядился в невинном филэллинском движении, т.-е. в организации отрядов, отправлявшихся для поддержки восставших греков.

Наконец, можно было подумать, что идеал Меттерниха действительно достигнут в Германии, что она превратилась в царство длительного застоя. Но под политической оболочкой пружины экономического развития не прекращали своей деятельности, и некоторые преграды сношениям, разделявшие немцев, были разрушены. Известный экономист Фридрих Лист, подвергавшийся, как демократ, бесконечным преследованиям, выступил с идеей таможенного объединения Германии и привлек на свою сторону некоторых франкфуртских торговцев. Агитация в пользу этой идеи все разрасталась, и в 1831 году она получила частичное осуществление: Массен, прусский министр финансов, заключил договор о таможенном союзе между Пруссией, Гессеном и Ангальтом; в 1834 году договор разросся в прусско-германский таможенный союз. Эта реформа уничтожила по крайней мере одно из последствий печальной раздробленности Германии на карликовые государства, оживила торговые сношения и, разумеется, не осталась без влияния на политическое развитие тридцати девяти германских отечеств. Таможенный Союз был бесконечно важнее для Германии, чем все гимны свободе в студенческих корпорациях, и результаты его были совершенно иные, чем те, которые имели в виду государственные люди Пруссии.

Священный Союз стремился к тому, чтобы „спокойствие" превратилось в нормальное состояние целой Европы; его делом было подавление революций в Италии и в Испании. Тем не менее и ему скоро довелось испытать, насколько обстоятельства сильнее людей. В 1830 году на политическом горизонте, не спрашивая разрешения ни у Священного Союза, ни у германского Союзного Сейма, показались грозовые тучи. Тучи разразились громом и молнией. Гроза прежде всего пронеслась над Парижем и сокрушила, как за 40 лет перед тем, трон одного из Бурбонов. Карл X своими ордонансами против прессы и народного представительства разъярил народ этого льва, до того времени пребывавшего в дремоте; в трехдневной кровопролитной битве на баррикадах сила бурбонской монархии была окончательно сломлена. Торжество народа произвело сильное впечатление и за пределами Франции. Но когда победа была одержана, политической властью завладела буржуазия и в Людовике-Филиппе нашла короля совершенно по всему вкусу. Государство для него служило просто гарантией надежного и прибыльного помещения капиталов. При его управлении открылась эра необузданных биржевых спекуляций, золотые дни настали для французских капиталистов.

Бельгия добилась самостоятельности; злосчастная Польша в отчаянной борьбе тщетно пыталась освободиться из тисков русского деспотизма. В Германии под воздействием июльской революции в Париже также кое-где вспыхнули отдельные огоньки. Монархи радостно признали короля (Филиппа Орлеанского), поднявшегося над баррикадами, так как видели в нем укро-

тителя новой французской революции. Но в некоторых пунктах Германии народы внезапно обрели в себе мужество выступить с требованиями. В двух больших государствах Германского Союза, в Австрии и Пруссии, все сохраняло прежнюю неподвижность. Но в мелких государствах произошли маленькие революции и оставили за собой более или менее значительные следы. Дворянство в Брауншвейге использовало возбуждение умов, чтобы свергнуть ненавистного для него герцога Карла. Брауншвейгская революция по существу была дворянским бунтом; народ сыграл роль тарана, направленного против герцога Карла. Карл бежал, и Союзный Сейм признал главой Брауншвейга его брата Вильгельма, выдвинутого революцией.

В Ганновере произошли беспорядки в Люнебурге, Гильдесгейме и в резиденции; Остероде и Геттинген тоже восстали и были усмирены только военною силой. Хотя уголовные суды вынесли восставшим суровые приговоры, все же необходимость уступок была очевидна; чтобы успокоить брожение, вице-король Фридрих-Адольф Кэмбриджский обещал конституцию, которая в 1833 году была торжественно октроирована Вильгельмом IV. Конституция эта отличалась некоторыми достоинствами по сравнению с конституциями других германских государств, — она носила на себе несомненные следы своего английскаго происхождения.

В Касселе после нескольких „революционных“ вспышек, обусловленных отчасти непопулярностью метрессы курфюрста, в 1833 году была тоже дарована конституция с однопалатной системой и комитетом от земских чинов. В Саксонии народ Лейпцига и Дрездена взбунтовался против надменной и чванной, как мандарины, бюрократии. „Добрые граждане“ организовали коммунальную гвардию, чтобы поддержать „порядок“, и, пользуясь случаем, заставили старого короля Антона даровать конституцию, которая вступила в действие в сентябре 1831 года.

Таким образом мелкие и средние государства Германии достигли зачатков конституционной жизни, что при тогдашних обстоятельствах представляло несомненный прогресс. Но непосредственно вслед за тем обнаружилось зло, которое почти всегда и повсюду следует по пятам за конституционализмом: наивная переоценка значения конституционной игры таких сил, как монарх, государственный строй и народ, и еще более наивная переоценка того краснобайства, которое переполнило парламентские учреждения. И только припомнив, как еще новы были все эти вещи для доброго немца, можно понять, почему такие невероятные фимиамы воскурялись парламентским ораторам тридцатых годов иногда за совершенно пустячные предложения, внесенные ими в палату.

Несравненно важнее, чем конституционное кропательство само по себе, было пробуждение в народе сравнительно свободного, оппозиционного настроения. Оно пустило прочные корни в средних и низших классах южной Германии и на первых порах развивалось, не ослабляемое классовыми противоречиями. Стало выходить множество либеральных и демократических газет, особенно в Бадене, в Гессене, Вюртемберге, Баварии и в Рейнском Пфальце. Тогдашний либерализм не отличался такой робостью, как совре-

нный; он проявлялся в очень необузданных формах, ибо это были его ые, бурные годы.

Но революционный кратер 1830 года скоро закрылся, и выброшенная лава застыла. Политические ночные сторожа, наблюдавшие за Германм Союзом из Франкфурта на Майне, оправились от замешательства и е в том же 1830 году обратились к правительствам с увещанием, предлагая усилить суровость карлсбадских постановлений и отговаривая от шком поспешной уступчивости. Вслед за тем премудрые члены Союзного йма воспретили обращаться к нему с петициями. Потом они еще раз напомнили правительствам о карлсбадских постановлениях, и тогда началось ение на либеральные газеты, организованное с чисто меттерниховской ровостью. Не прошло и десяти месяцев, как оппозиционная пресса, можно азать, совершенно исчезла.

Масса народа в то время не обнаруживала особенного участия к дьбам прессы и потому без особенного возбуждения наблюдала нания Союзного Сейма. Напротив, буржуазный либерализм возвысил в латах свой голос против подавления печати. В Германии началась энергичная агитация, во главе которой стали многие литераторы. По талантливои активности среди них в особенности выделялся историк Вирт из Франконии. асаясь от гонений, он перекочевывал со своей газетой из одного пфальцского рода в другой, пока у него не опечатали его ручной типографский нок. Тогда он эмигрировал во Францию и там, разумеется, нашел некорую защиту от преследований баварской полиции. В Цвейбрюккене он ганизовал „Союз печати", который решил воспользоваться всеми подходями средствами для ограждения независимости прессы и поставил своей лью „реорганизацию германского государства в демократическом направлении". По соглашению с этим союзом Вирт и Зибенпфейфер созвали на 27 я 1832 года публичное собрание, состоявшееся в Рейнском Пфальце, у валин замка Гамбаха. На это празднование „германского мая" явилось всех краев до 30.000 человек. Здесь произнесены были сильные речи в сть „свободы", а на долю Союзного Сейма и немецких монархов достались особенно лестные выражения. Вирт при этом случае проявил, к несчастью, ное французофобство [1]). В общем гамбахский праздник не привел ни к кому определенному результату: собрание разошлось, не сделав никакого угого постановления, как только впредь собраться опять.

Теперь Союзный Сейм почуял революцию в самых осязательных формах. июне 1832 года, чрез четыре недели после гамбахского собрания, он дал свои пресловутые **шесть ордонансов**. Они ограничили полномочия народного представительства в отдельных государствах и настолько вили конституции и их применение на практике, что конституционная сударственная жизнь, оказавшаяся мимолетным сном, свелась теперь к многим жалким крупицам. Те государи, которые в свое время „даровали" нституции, разумеется, не видели ни малейшего повода ставить Союзному

[1]) Возможно, что лишь одно это обстоятельство и дало баварским национал-бералам повод отпраздновать в семидесятых годах юбилей гамбахского торжества.

Сейму какие бы то ни было препятствия. За шестью ордонансами последов: множество других постановлений. Снова повсюду ввели цензуру, во всей Г мании запретили политические союзы и собрания, университеты поставили і строгий надзор, учредили при Союзном Сейме особую комиссию для надзо за ландтагами южно-германских государств, договорились взаимно выдава эмигрантов, стали подвергать наказаниям, как за „преступления“, за все адре протесты и петиции, направленные против этих постановлений.

Тюрьмы переполнились снова. Бер, вюрцбургский бургомистр, и ж налист Эйзенман за речи и статьи были приговорены к тому, чтобы прос прощения перед портретом баварского короля Людовика I, и оба бы брошены в тюрьмы „на неопределенное время“. Следствие по делу Эйз мана продолжалось четыре года, и все это время он сидел в тюрьме, а по началось наказание, так что из тюрьмы он вышел лишь в 1847 году. Ви Зибенпфейфер и другие участники гамбахского праздника были приговорс к продолжительному тюремному заключению. Повсюду царил террор, вся свободное слово было задушено, шпионство получило широкое распростране и всякому, кто не мог держать язык за зубами, грозил донос и сле ющее за ним дознание.

При всех этих вопиющих насилиях народ, выросший в приниженно и забитый, оставался совершенно спокойным. Он еще не научился инте соваться общественными вопросами. Но радикальные представители буржу ного либерализма, осколки студенческих корпораций, эмигранты, посел шиеся около границ, и польские изгнанники решились теперь, когда откры деятельность была окончательно перед ними закрыта, ступить на путь говоров. На место закрытого союза печати был организован тайный патр тический союз. У него были связи в Швейцарии, во Франции, во мно германских университетах и среди вюртембергского войска. Члены сон постановили, что „германская революция“ должна разразиться 3 марта 18 года; начало ее должно было разыграться в самой резиденции Союзного Сей Дело было подготовлено плохо: несмотря на беззаветную отвагу, неуд была неизбежна. Нашлись предатели, и полиция заблаговременно узнала о п готовлениях. 3-го марта до 60-ти человек заговорщиков напали во Франкфу на главный караул и на полицейскую стражу; в горячей схватке с обе сторон были убитые и раненые. Но народ Франкфурта отнесся к предп ятию безучастно, и заговорщики быстро были рассеяны или захвачены.

После известия о гамбахском празднике Меттерних воскликнул: „Г бахский праздник, если его разумно использовать, может сделаться празд ком добрых“; как известно, он был использован очень недурно. Так и тен один прусский бюрократ писал из Берлина: „Франкфуртское злодея может спасти Германию, если с надлежащей поспешностью воспользоват этим событием“.

И государственные люди с Эшенгеймской улицы использовали отча ную попытку произвести переворот в резиденции Союзного Сейма, овлад государственной властью и таким образом освободить Германию от тира Меттерниха. Вновь начала действовать пресловутая майнцская централы

следственная комиссия, работавшая на этот раз с бóльшим успехом. Началось множество политических процессов, в которых судьи играли лакейскую роль и проявляли величайшую суровость по отношению к обвиняемым. В Кургессене возбудили преследование против профессора Сильвестра Иордана, лидера конституционалистов. При этом, не останавливаясь ни перед чем, собрали против него колоссальный будто бы „обвинительный" материал, так что одна разборка этого материала и содержание в подследственном заключении в Марбурге должны были растянуться на многие годы и совершенно расшатать здоровье обвиняемого, хотя бы он в конце-концов и был оправдан. Но оправдательные приговоры в таких делах представляли величайшую редкость.

В Пруссии студенческие корпорации по-прежнему считались ответственными за все возможные и невозможные заговоры. Поэтому берлинский суд вынес 39 смертных приговоров членам этих корпораций. Правда, ни один из них не был приведен в исполнение, но множество молодых, жизнерадостных до того времени людей оставили многолетнее и суровое тюремное заточение лишь с окончательно разбитым здоровьем.

В 1837 году огромное впечатление произвело дело Вейдига, вождя гессенских либералов. Пастор и ректор по должности, Вейдиг был фанатически предан империи и императору и питал страстную ненависть к французской революции. Но в то же время это был сильный характер, человек с развитым правосознанием. Из вождей южно-германского движения, не эмигрировавших и оставшихся на свободе, только он и не прятался за такие доводы, как трусливые соображения о законности или незаконности, и энергично продолжал тайную агитацию, когда Союзный Сейм сделал открытую агитацию невозможной. В тайных обществах, при посредстве тайных листков, он старался раздуть деятельный протест против постыдного господства произвола. Когда Вейдиг был арестован, следователем по его делу назначили некоего Георги, человека трусливого, угодливого, жестокого, готового на все, к тому же страдавшего белой горячкой. Среди бесконечных моральных пыток духовные силы Вейдига надломились. А тут присоединилась и пытка физическая: его наказали ударами плети. Вейдиг не выдержал и предпочел добровольную смерть. Осколками стакана он вскрыл себе артерии. Это событие повлияло на будущее родственника Вейдига, Вильгельма Либкнехта, тогда 11-летнего мальчика.

В каком положении оказалась пресса, это может показать один пример—постановление Союзного Сейма, направленное против так называемой „Молодой Германии": по доносу Вольфганга Менцеля, Сейм воспретил все сочинения Гейне, Лаубе, Гуцкова, Мундта и Винбарга, как уже явившиеся, так и имеющие явиться. Несмотря на то, — а пожалуй в особенности благодаря этому,—названные писатели все же находили дорогу к публике, и вообще контрабандный ввоз запрещенных сочинений из-за границы получил систематический характер.

Венская конференция, на которую германские правительства по инициативе Меттерниха прислали своих уполномоченных, занялась измышлением новых средств, чтобы с корнем вырвать либеральный, демократический и

революционный дух. Конференция постановила организовать союзный третейский суд, на который был возложен разбор всех случаев несогласия между представительством от народа и правительствами. Меттерних рассчитывал таким способом окончательно свернуть шею тому жалкому конституционализму, который еще сохранился в мелких и средних государствах Германии. Впрочем, как раз около этого времени исход ганноверского конституционного конфликта показал, что унаследованный сервилизм самой лойяльной буржуазии еще не исчез и сам по себе приводил к таким результатам, о которых должен был позаботиться союзный третейский суд. В 1837 году на ганноверский трон вступил Эрнст Август. Его первым деянием было уничтожение конституции 1833 года. Семь геттингенских профессоров, в том числе Гервинус, отказались присягнуть королю-революционеру; за это их отставили от профессуры, а троих даже выслали из Ганновера. Ганноверцы обратились за помощью к Союзному Сейму, но тот заявил, что это дело выходит за пределы его компетенции. Прусский министр фон-Рохов по случаю этого конфликта изрек свое знаменитое замечание об „ограниченном разуме управляемых“, неспособных по ограниченности разумения к правильному суждению о таких делах. Эрнст Август между тем составил послушное собрание сословий и навязал ему конституцию по своему вкусу.

Внимание прусского общества в это время было поглощено бесконечными церковными распрями. В Силезии старо-лютеране обнаружили такое упорство, что религиозные словопрения завершились здесь вооруженным сопротивлением правительству. В Кенигсберге ханжи-фанатики дошли до крайних пределов, и дело закончилось скандальным уголовным процессом. В Кельне произошел конфликт между правительством и архиепископом Дросте-Фишерингом по вопросу о смешанных браках, т.-е. о браках между лицами разных исповеданий и о вероисповедании их детей. В конце концов архиепископ был арестован и водворен на жительство в Миндене.

В 1840 году скончался Фридрих-Вильгельм III. Его преемником был старший его сын Фридрих-Вильгельм IV. Как это обыкновенно бывает, либеральные элементы возлагали величайшие упования на смену царствований, но и на этот раз,—тоже как это обыкновенно бывает,—все надежды оказались ошибочными. Понимание требований современности оставалось чуждым Фридриху-Вильгельму IV; он жил в мире, всецело созданном его фантазией, над ним беспредельно господствовали романтически-реакционные воззрения. Его евангелием была книга Галлера: „Реставрация государственной науки“, последнее слово тогдашней европейской реакции.

Вопрос о конституции тотчас снова выплыл наружу. Фридрих-Вильгельм IV дал амнистию всем политическим осужденным, но он не хотел и слышать об исполнении известного указа от 22 мая 1815 года. Сословия Кенигсберга и Познани, а также город Бреславль, одно за другим требовали введения обещанного народного представительства. Король заявил, что обещания отца для него необязательны, да помимо того Фридрих-Вильгельм III, учредив собрание сословий по провинциям, уже в 1823 году исполнил то, что подобало исполнить.

Но в дѣйствительности провинціальные сословія (ландтаги) были
олько жалкой пародией народного представительства. Они были составлены на-
оловину из крупных землевладельцев, на одну треть из представителей горо-
ов и на одну шестую из крестьян. Правительство по произволу могло
зывать их и не созывать. Они заседали при закрытых дверях, под пред-
дательством „маршала", назначенного правительством, который имел право
произволу приостановить пренія по всякому неприятному вопросу,
шить слова всякого представителя. О всех предложениях, вносимых пра-
тельством, сословия могли заявлять только свое мнение, ни для кого не
бязательное. Решающий голос—и то при условии утверждения постано-
лений королем—принадлежал им исключительно в местных делах, как
пр., устройство исправительных и каторжных тюрем, организация страхо-
ния от огня, постройка больниц для душевно-больных или глухонемых
т. п.

Конечно, никто не мог бы признать учреждение этих провинциальных
ндтагов исполнением обещания 1815 года. Дело несколько не изменялось
т маленьких уступок общественному мнению, сделанных Фридрихом-Виль-
льмом IV. Он предоставил провинциальным ландтагам право опубликования
ротоколов заседаний, но без обозначения имен ораторов. Кроме того, король
ал обещание созывать провинциальные ландтаги каждые два года и в про-
ежутках обращаться к „совету" комитетов, избираемых ландтагами. Но и
осле того провинциальные ландтаги остались провинциальными ландтагами,
не народным представительством, обещанным в 1815 году.

Эта мысль в энергичной форме и с несокрушимой логикой развита в
наменитой брошюре Иоганна Якоби (род. в 1805 г., умер в 1877 г., был в
оследние годы жизни депутатом рейхстага, принадлежал к социал-демокра-
ической партии), появившейся весной 1841 года: „Четыре вопроса с от-
етами на них одного восточно-прусского жителя". Вопросы эти таковы:
Чего хотят сословия? В чем их право? Какое решение им вынесено? Что
стается им делать?" Якоби с неумолимой логикой показал в своей брошюре,
то подавленное бюрократией городское управление, провинциальные ланд-
аги, доведенные до полного ничтожества, инквизиционный тайный процесс
ависимость судей от администрации, самодержавное управление министров,
пирающихся на преданные полицию и цензуру, которые подавляют всякое
ругое мнение, всякую другую деятельность, кроме их собственных, — что
се это стоит в вопиющем противоречии с теми требованиями, которые
амостоятельные граждане, достигшие умственной зрелости, должны пред'-
влять к организации своего участия в делах государства. В заключение
коби напоминает об указе 1815 года и предлагает сословиям, чтобы они
олучив от короля отрицательный ответ, добивались теперь, как своего не-
ъемлемого права, того, о чем они до сих пор молили, как о милости.

„Четыре вопроса" оказали большое влияние на развитие политической
изни. Автор, выступивший анонимно, но потом добровольно открывший
вое имя, подвергся уголовному преследованию. Дело тянулось долго, но
кончилось оправданием.

Буржуазный либерализм выступал пока с большой осторожность граничащей с позорной трусостью. Почтенные буржуа тайком передавали і рук в руки „Четыре вопроса", подвергшиеся запрещению, но чтобы подр жать автору,—для этого им недоставало мужества. В Галле Руге с больших трудами собрал до 70 подписей под петицией, которая требовала введен конституции. Но начальство пригрозило процессом за это „государственн преступление", и 17 человек из подписавшихся тотчас помчались в почтовы каретах, чтобы снять свои подписи с преступного документа. Один вра оправдывался опасением растерять свою практику; один лесопромышленник тем, что может лишиться казенных заказов, хотя и до подписи не получа от казны ни одного заказа; а один москательщик клятвенно заверял, чт давая свою подпись, стремился только выманить подписи у истинных дем гогов и открыть таким образом врагов короля! Вообще буржуазный либ рализм становится храбрым только тогда, когда опасаться решительн нечего.

В первое время по восшествии Фридриха-Вильгельма IV цензурн строгости подверглись некоторому смягчению. Но потом они снова усилилис так как пресса позволила себе критиковать правительство. Запрещено был перепечатывать даже указ от 22 мая 1815 года; запрещение распростран лось также на множество периодических изданий и книг. Освобождались с цензуры только книги свыше 20 печатных листов. Исчезло всякое подоби свободного выражение мнений. Пиетизм при управлении реакционного министр Эйхгорна поднял голову, и вера была поставлена выше науки. Таково был состояние Пруссии в интеллектуальном отношении.

В то же время в отдельных городах начались мятежи голодающег народа, а в Силезии — в Лангенбилау и в Петерсвальдау — взбунтовалис ткачи, потому что жить им было решительно нечем. Усмирять их пришлос военною силой.

В следующем 1845 году „искусный криминалист" доктор Штибер разо сделал карьеру, „открывши" будто бы коммунистический заговор в Гиршбер ской долине. Весной этого года он явился туда под именем художник Эмануэля Шмидта и сделал открытие, что столярный подмастерье Вурм и Вармбрунна стоит во главе тайного общества, в котором участвует шест или восемь рабочих и которое стремится к уничтожению богачей. Современ ники тотчас же заподозрили, что заговор просто-напросто „сделан" сами Штибером. И действительно, ужасные статуты этого ужасного обществ производили такое впечатление, как будто их писала рука какого-нибуд простодушного сумасброда под диктовку хитрого провокатора. Тем не мене Вурма приcудили к смертной казни, замененной потом вечными каторжным работами, а его товарищей—к многолетнему тюремному заключению, из кото рого они вышли только после амнистии 1848 года. Благодаря тайному су допроизводству, обстоятельства дела так и остаются неизвестными. Но не сомненно одно: Штибер, начиная дело, старался убрать между прочим дву смелых людей: фабриканта Шлеффеля из Эйхберга и школьного учител Вандера из Гиршберга. Оба возбуждали ненависть бюрократии, так ка

заботились о политическом просвещении окружающего мещанства. А Шлеффель, кроме того, навлек на себя и ненависть помещиков, потому что всегда помогал сельскому населению, когда оно боролось против произвольного повышения феодальных повинностей. Вопреки всем гарантиям, которые даже домартовские законы давали неприкосновенности личности, Штибер немедленно арестовал Шлеффеля и Вандера, как соучастников Вурма, и забрал с собой все их бумаги, до ничтожнейшего клочка. Но он не нашел ни одной ниточки, из которой его творческая фантазия могла бы сплести веревку для обвиняемых. Тем не менее в тюрьме их продержали очень долгое время.

В 1844 году бургомистр Чех из Сторкова устроил покушение на прусского короля. Мотивы покушения при тогдашнем тайном судопроизводстве остались неясными. Чех отказался от помилования, которое обещали ему, если он заявит о раскаянии, и, присужденный к смертной казни, был обезглавлен в Шпандау [1]).

В 1847 году правительство пошло на некоторые уступки перед общественным мнением. Финансы были расшатаны, кредит надал. Чтобы заключить новые займы на сравнительно сносных условиях, необходимо было создать хотя тень народного представительства и добиться от него согласия на новые налоги, на новые займы. Притом, вопреки неусыпной опеке полиции и бюрократии, противодействие господствующей системе все усиливалось и расширялось. В то же время подпимало голову немецко-католическое движение, и оппозиция приобретала довольно энергичный характер. Фридрих-Вильгельм IV рассчитывал уничтожить главное основание всех нападок и патентом от 3 февраля 1847 года объединил провинциальные сословия (ландтаги) в соединенный ландтаг, который созывался в Берлин.

Тот же патент обещал созывать соединенный ландтаг каждый раз, когда потребуются новые займы, налоги или повышение уже существующих. Ландтагу во всех делах предоставлялся только совещательный, но не решающий голос. Даже право петиций было стеснено в том смысле, что королю могли представляться только петиции, принятые двумя третями голосов в каждой из двух курий, или двух отделений, на которые разделялся ландтаг. Не менее неудовлетворительна была организация народного представительства в куриях. Десяток тысяч господ и владельцев рыцарских поместий были представлены 278 голосами, а 979 городов с четырьмя миллионами жителей всего лишь 182 голосами.

Либеральные элементы утешались тем, что это только начало уступок. Но король думал, что это—конец, что обещания отца теперь исполнены в полной мере. В напыщенной речи, произнесенной при открытии соединен-

---

[1]) В противовес теперешней пламенной лойяльности либерализма не мешает напомнить, что либерализм 1844 года подтрунивал над покушением в известной шуточной песенке: „Sagt, wer war wohl je so frech, wie der Bürgermeister Tschech?“ („Скажите, были ли еще столь дерзновенные люди, как бургомистр Чех“?). Известно, что и современный либеральный буржуа подтрунивает над монархией, но лишь с глазу на глаз. Вообще же он подобострастно выставляет на-показ свою лицемерную лойяльность в пику демократам и социалистам.

ного ландтага, король без всяких обиняков заявил, что нечего и думать о дальнейших уступках, о развитии конституционной политической жизни. Он отрицал потребность в народном представительстве, рекомендовал ландтагу не разыгрывать роль такового и несколько раз преднамеренно употребил выражение не „ландтаг“, а „сословия“. „Часть прессы,—сказал он,—требует от меня и от моего правительства прямо революции в церкви и государстве, а от вас—актов неблагодарной настойчивости, противозаконности, даже непослушания. Но я не созвал бы вас сюда, если бы хоть одну минуту сомневался, что у вас нет вожделений к роли так называемых народных представителей“. Но всего решительнее заключительные слова речи. Они любопытны между прочим в том отношении, что иллюстрируют все ничтожество торжественных заверений, когда последние сталкиваются с железной исторической необходимостью. „Все это,—сказал Фридрих-Вильгельм IV,—вынуждает у меня торжественное заявление, что никогда и никакой силе земной не удастся превратить естественные отношения между монархом и народом в условные, конституционные, и что я ни теперь и ни в какое другое время не допущу, чтобы между нашим Владыкой Небесным и этой страной встал лист писанной бумаги и, подобно второму провидению, правил своими параграфами и заменял ими исконную священную верность“. Это была последняя громкая, торжествующая песнь старого абсолютизма. Силы Фридриха-Вильгельма IV склонились перед силами истории, и появился „клочок писанной бумаги“.

В Австрии этого времени политическая жизнь все еще не пробуждалась. Система Меттерниха как кошмар тяготела на народах империи Габсбургов. Меттерних добился того, что австрийские коронные земли от Боденского озера и до Карпат, от Милана и до Брюнна превратились в одно великое царство молчания, и „подданные“ не дерзали заявлять о своих взглядах на политические дела. В особенности „благодушные“ австрийцы,—они, казалось, только и заботились, что об удовольствиях; Вена превратилась в сборный пункт бонвиванов со всего света; никому бы и в голову не пришло, что этому беззаботному „народу феаков“ суждено сыграть активную роль в эпизоде, богатом кровью и пламенем.

Революционные судороги тридцатых годов в Германии показались Меттерниху опасными для его австрийских немцев. Конечно, он охотнее всего воспользовался бы немцами, как противовесом панславизму, внедрившемуся в австрийские земли, идее объединения всех славянских народностей в единое славянское государство. По виду германских событий Меттерних наложил на немецкие территории в Австрии самое тяжелое иго и, напротив, настолько предоставил мадьярам свободы, что в Венгрии могло начаться развитие конституционной политической жизни. Венгерская пресса пользовалась несравненно большей свободой, чем в какой-либо иной области Германского Союза, а венгерский рейхстаг в 1844 году добился даже того, что венгерский язык сделался языком официальных сношений. Впрочем,

когда Меттерних нашел, что мадьярский элемент слишком уже высоко поднял голову, он постарался и перед ним поставить барьер и с этой целью стал оказывать тайное содействие агитации чехов и панславистов. Заранее можно было предвидеть, что такая коварная политика противовесов должна привести лишь к одному результату: раздуть злосчастный спор австрийских национальностей. В Галиции меттерниховская политика травли и противовесов быстро привела к кровавой катастрофе. Меттерних приказал тайно поддерживать там панславизм против мадьярского элемента. Следствием этого было развитие польского национального движения, исходным пунктом которого послужил небольшой соседний вольный город Краков. В движении участвовали преимущественно дворянство и буржуазия. Галицийские крестьяне, вконец измученные оброками и барщинами, питали к дворянству страстную ненависть. Австрия раздувала эту ненависть и раздувала небезуспешно: в 1846 году, когда в Галиции вспыхнуло восстание и восставшее дворянство, чтобы привлечь на свою сторону крестьян, объявило об уничтожении всех дворянских привилегий, это не произвело никакого действия. Больше того: австрийцы не могли разом подавить восстание, и крестьяне, доведенные ими до фанатизма, поднялись массами, нападали на дворян, сжигали их замки и убивали всех, кто попадался им в руки. В конце-концов самим же австрийцам пришлось выступить против своего союзника, галицийского крестьянства. Результат этой мефистофельской политики Меттерниха был таков: республика, вольное государство Краков, существование которого гарантировали венские договоры, было присоединено к Австрийской империи. Дипломаты думали, что они таким образом окончательно уничтожили очаг всех польских восстаний. Франция и Англия протестовали против уничтожения краковской республики, но все было тщетно.

Итак, в немецких частях Австрии, несмотря на глубокое, скрытое недовольство, все оставалось тихо; но в то же самое время в Венгрии и в итальянских землях разгоралось брожение, которое подготовило взрыв 1848 года.

Такой-то вид имела Германия после того, как Меттерних и Союзный Сейм в течение тридцати лет совершали над ней насилия и опекали ее. Великий мастер в политике усмирения считал свое дело законченным. Но как раз в тот момент, когда его надменность достигла апогея, он получил от истории яркое доказательство, что развитие народов не считается с необузданным произволом отдельного индивидуума, какие бы силы ни стояли в его распоряжении. Все подчиняется закону человеческого прогресса. И пусть насильник противится духу времени, воздвигает на пути развития целые горы,—раньше или позже и его дела, и он сам будут сметены. Эта мысль всегда является утешением даже в самые мрачные времена.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Картины до мартовских отношений.

Мания величия, так часто вытекающая из избытка власти, заставила князя Меттерниха успокоиться на убеждении, что можно оградить Германию от идей великой французской революции и таким образом на долгое время приостановить всякий прогресс в политических отношениях. Меттерних мог гордиться тем, что некогда он перехитрил самого Наполеона; он, пожалуй, не уступил бы Наполеону в уловках цыганского торга, именуемых дипломатией. Но при всем том его понимание причин и сущности политических перемен и переворотов было так грубо и так банально, как только можно было ожидать от его школы, поклонявшейся Кауницам, Кобенцелям, Талейранам и Кэстльри. Меттерних думал, что источником переворотов служат революционные идеи и что, искоренивши такие политические идеи, т.-е. переловив „подстрекателей", „агитаторов" и „демагогов", можно раз-навсегдѣ предотвратить политические перевороты. А располагая, помимо всего прочего, достаточной и хорошо организованной полицией и войском,—на тот случай, если некоторые революционные идеи невзначай все-таки проскользнут в Австрию,—Меттерних уже считал и себя и свою систему обеспеченными против всяких непредусмотримых случайностей.

Меттерних, это воплощение аристократии, воображал, что он призван сыграть роль своего рода провидения для Германии, для целой Европы. Он не понимал того, что предпосылкой политических переворотов всегда является общественно-экономический строй данной страны и что идеи могут послужить лишь импульсами в сравнительно узком значении этого слова. Огненные письмена 1848 года должны были научить Меттерниха этой истине; после того, как его обширное здание рухнуло, он, несомненно, должен был убедиться, что его всеевропейские карантины, воздвигнутые против заноса революционных идей, только усилили ненависть к его системе и сделали катастрофу неизбежной.

Французская революция разбила те оковы для развития производства, которые сохранялись от средних веков. Она создала строй, давший современному капитализму возможность развития. Конкуренция сделалась мощным фактором экономической жизни и, действуя совместно с общественным разделением труда, пробудила к жизни множество сил, которые до того времени находились в состоянии покоя. Капиталистические отношения проникали в

общественный организм, не останавливаясь перед внешними искусственными препятствиями. Цеховой строй часто преграждал путь развивающейся новой промышленности, но теперь она уже чувствовала почву под своими ногами и шествовала вперед, хотя и не так быстро, как в других странах. В девятнадцатом веке даже германская буржуазия начала сознавать всю несправедливость и весь вред кастовых привилегий дворянства. Конечно, сущность капиталистического производства заключается тоже в эксплоатации чужой рабочей силы, в присвоении прибавочного труда, тем не менее современный фабрикант, сравнивая себя с дворянином-помещиком, который живет крестьянскими барщинами и оброком, видит в себе, в противоположность помещику, представителя гражданской добродетели трудолюбия.

Умирающие остатки средневековых форм производства уже не могли задержать капиталистического развития. Меттерних, стремясь увековечить свой идеал всеобщего застоя, должен был бы возвратить производство к старым, изжитым формам и снова наложить на него те путы, которые были сброшены французской революцией. Но это было в такой же степени невозможно, как, напр., во Франции возвращение старым владельцам земли, отобранной у них в 1789 г.

Насколько чуждо было Меттерниху понимание великого процесса социальных преобразований, показывает между прочим политика, усвоенная им по отношению к Австрии. Пруссия таможенным союзом уничтожила перегородки, стеснявшие внутренний обмен; в том же направлении,—в направлении развития нового, капиталистического, буржуазного общества,—в конце концов действовал и Меттерних, создавая довольно обширную железнодорожную сеть. Великий человек искренно был убежден, что железные дороги не так опасны для его системы застоя, как либеральные фразы какого-нибудь либерального литератора. Он засаживал литераторов в тюрьмы и в то же время предоставлял паровозам проноситься по Австрийской империи; Меттерних не понимал того, что каждый гвоздь в рельсах был гвоздем в гроб всей его правительственной системы.

Противоречия между крупной и мелкой буржуазией еще не обрисовывались тогда с такой рельефностью, как в настоящее время. Отголоски „доброго старого времени" все еще давали знать о себе мелким буржуа и ремесленникам. Цеховые стеснения, паспортная система, помехи обмену и даже заключению браков, тысячи других бюрократических и полицейских угнетательских измышлений,—все это препятствовало процветанию промышленности и не оставляло места для развития гордого классового самосознания. Прошли те времена, когда это самосознание проявлялось так сильно у немецкого бюргерства многих имперских городов в период их расцвета, сказывалось по отношению к юнкерам и духовенству и в значительной степени передавалось и ремесленным подмастерьям. Теперь мелкий буржуа пришел бы в великую радость, если бы буржуа, крупный капиталист, обнаружил готовность употребить свое влияние и свою социальную силу на служение „общим гражданским интересам". Совместные действия мелкой и крупной буржуазии были возможны тем более, что конкуренция мелкого и крупного

производства еще не успела проложить такой зияющей бреши между интересами крупного и мелкого буржуа, как в настоящее время. Но вопреки этому немецкая либеральная и конституционная буржуазия все еще не могла найти знамени, вокруг которого объединились бы все оттенки и все степени оппозиционных стремлений, и на котором стоял бы простой и величавый лозунг борьбы против системы застоя. Только поэтому система Меттерниха могла продержаться так долго.

Жажда лучшего строя и освобождения от гнетущего ига Германского Союза охватила хоровые и гимнастические союзы. В порыве энтузиазма здесь тысячи раз провозглашали виват за единство и свободу Германии, а потом, отрезвившись, с болезненной впечатлительностью чувствовали, насколько далека Германия от обладания этими драгоценными благами.

Буржуазный либерализм, распевая свои ребяческие, пожалуй, даже младенческие гимны свободе, зачастую облачался в мантию ярко-красного революционера. Напр.:

> Ну, выселяйтесь князья из дворцов,
> Видите, мир для народа готов!

Или:

> Князья, поскорее давайте сюда
> Пурпурные мантии ваши,
> Мы, слуги свободы, из них понашьем
> Штанов для всей армии нашей!

В настоящее время все эти песни имеют исключительно антикварную ценность, но в то время высокомудрая полиция и члены Союзного Сейма придавали делу очень трагический оборот. Почтенное собрание, заседавшее во Франкфурте на Майне во дворце Турна и Таксиса, могло бы сохранять больше спокойствия: буржуазный либерализм, если полиция не препятствовала ему или не могла помешать, производил много словесного шуму, но что касается дела, он довольствовался мелочишками, пустяками, несущественным. Поставить перед собой в качестве цели определенную, великую, универсальную реформу,—к этому либеральная немецкая буржуазия была неспособна. В политическом отношении она была настолько наивна, что посыпала пеплом свою главу, если датчане оказывали противодействие агитации за отделение Шлезвиг-Голштинии, а фребелевские детские сады ей казались идеей, которая должна перевернуть весь мир.

Как известно, прошло много времени, прежде чем Германия научилась придавать земным делам бо́льшую важность, чем делам небесным. Только этим и можно объяснить что в сороковых годах в религиозные словопрения были вовлечены очень широкие сферы. Энергичная деятельность протестантов-пиетистов пробудила в католической иерархии завистливые чувства теснимого конкурента. В конце концов оба великих вероисповедания решили, что они вернее всего обеспечат за собой влияние, если направят свои силы на борьбу с таким общим врагом, как нецерковные настроения и атеистическая философия. Для посрамления вольнодумцев в Трире в 1844 г.

ыл выставлен священный хитон. Хотя немедленно и неопровержимо было доказано, что это не подлинная реликвия, тем не менее в Трире перебывало больше миллиона пилигримов, и во все стороны полетели известия о чудесах. Словом, разыгралось то же самое, что повторилось в 1891 году, с той только разницей, что в сороковых годах в Трир пришло множество пилигримов из Франции, так как в последней тогда еще не было такого конкурента-хитона, как впоследствии в Аржантеле. Либерализм воспользовался выставлением хитона в Трире для ожесточенных нападок на римско-католическую церковь. В то же время Иоганн Ронге, отставной католический капелан из Силезии, напечатал в „Саксонской патриотической газете“ открытое письмо, адресованное к трирскому епископу Арнольди и протестующее вообще против почитания мощей и других реликвий. Само по себе письмо было совершенно ничтожно. Но, пожалуй, именно потому, что оно содержало лишь вещи известные и понятные для всякого человека, оно было встречено с величайшим восторгом. Ронге чествовали как великого человека, да и сам он в своем смехотворном тщеславии считал себя таковым. Ронге выступил с проектом, чтобы католики сбросили с себя зависимость от римского престола. Так возникли немецко-католические общины; одновременно с ними протестанты организовали евангелические свободные общины.

Общины эти служили выражением протеста против официальных религий и официальной церковности. Движение распространилось и на Саксонию. Министерство Саксонии, этого типичного полицейского государства выступило против него и воспретило устраивать собрания для обсуждения религиозных вопросов. Лейпциг ответил демонстрацией против брата короля, принца Иоганна, известного за крайнего реакционера. Толпа встретила выступившие против нее войска камнями, солдаты без всякой необходимости ответили залпом из ружей. На месте осталось много убитых и раненых. Происшествие это вызвало негодование. Принц уехал из Лейпцига, войска были отозваны. На несколько дней самым влиятельным человеком в городе сделался Роберт Блюм (родился в 1807 году), выдвинутый первоначально германско-католическим движением. По его предложению, народ в торжественной процессии направился к ратуше, чтобы здесь дать своим требованиям определенную формулировку. Порядок уже не нарушался, и волны движения быстро упали. Администрация настолько оправилась от смущения, что отважилась назначить дознание, засадить несколько человек в тюрьму, других выслать, усилить гарнизон, запретить устройство собраний и союзов и еще больше усилить цензурные строгости. Тем не менее все эти события произвели глубокое и неизгладимое впечатление. Для страстного негодования, захватившего оппозиционные сферы, характерен тот факт, что Фрейлиграт, лишь в предыдущем году отказавшийся от пенсии, предложенной прусским королем, сравнил лейпцигское избиение с Варфоломеевской ночью, хотя жертв в нем пало очень немного.

Пожалуй, важнее был поворот, наступивший в Баварии. Для южной Германии Бавария была главной опорой католицизма, как на севере Пруссия

главным столпом протестантского мистицизма. Баварцам, конечно, стоило бы огромных усилий добиться чего-нибудь от иезуитского управления, во главе которого стоял министр Абель, некогда считавшийся либералом. Но вот в Мюнхене появилась Лола Монтес, красивая и пикантная, но в то же время легкомысленная и фривольная испанка-танцовщица. Перед тем она тщетно старалась найти счастье около известного Генриха семьдесят второго, князя Рейсского, именуемого также „Prinzipienreiter" („наездником принципов"). Приехавши в Мюнхен, она приступом взяла сердце дряхлеющего „тевтонского" короля Людвига I. Он воспевал Лолу в своих стихах, изукрашенных множеством причастий; без тяжелой борьбы он не мог бы отказать ей ни в каком ее желании, хотя бы удовлетворение его возмутило самых лойяльных мюнхенцев, восседавших за столиками в пивных. В конце концов он возвел прекрасную Лолу в звание графини фон-Лансфельд. Но министерство Абеля, для которого влияние фаворитки становилось опасным, отказало танцовщице в натурализации, что было необходимо для возведения в графское достоинство, и поставило королю такую альтернативу: или отставка танцовщицы, или отставка министров. И тогда-то совершилось дело, которого никак не могли переварить мюнхенские пивоппйцы: король дал отставку ультрамонтанским министрам, правление иезуитов было ниввергнуто, и на его развалинах Лола смело поставила свою прелестную ножку. То, чего не могли бы тогда добиться самые серьезные усилия либеральных „патриотов", танцовщица совершила шутя и таким образом, преднамеренно или непреднамеренно, оказала существенную услугу либерализму.

Борьба за религиозную свободу скоро приобрела политический характер и развилась в борьбу либерализма против всеподавляющей государственной власти. Полицейский режим и гнет сверху достигли такой степени выработанности, что более решительные либералы должны были обратиться к организации тайных обществ, так как открытая политическая организация была невозможна. Отцы тех национал-либералов, которые в 1878 году проводили исключительные законы против социалистов, в сороковых годах подвергались таким же полицейским гонениям, как в наше время социал-демократы. Отдельные члены ландтагов („сословий") в различных частях Германии, солидарные по своим убеждениям, связались между собою; к ним примкнули другие демократы, не участвовавшие в ландтагах. В 1840 году, когда повсюду слышались звуки антифранцузской песни: „Нет, он не будет принадлежать им, этот свободный немецкий Рейн", на этом самом „свободном" немецком Рейне собрались представители германского либерализма. Они знали друг друга пока только по именам и ускользнули от недреманного ока полиции лишь благодаря крайнему напряжению своих конспираторских способностей. Сюда явились Адам фон-Ицштейн, прославленный либеральный оратор баденской палаты; Роберт Блюм из Лейпцига, который давно своим участием в политической и религиозной борьбе создал себе почтенное имя, как решительный либерал; Тодт из Адорфа и фон-Дискау из Плауэна, два демократа в тогдашнем значении этого слова; Мати из Бадена, считавшийся тогда одним из самых решительных, и многие другие. На таких со-

)раниях, которые с того времени устраивались ежегодно, обсуждалось печальное настоящее, находили себе выражение томления по лучшему будущему. Этот либерализм, подвергавшийся травле полиции, в тайных собраниях был далеко не таким кротким, каким он нередко представлялся, когда выступал публично. Перед публикой он облачался в лойяльную мантию умеренного конституционализма, а в тайных собраниях совсем не старался скрывать своих демократических или республиканских тенденций.

Тенденции эти проникали, насколько возможно, и в литературу, гонимую полицией и терзаемую цензурой. Союзный Сейм раскинул цензурную сеть над всей Германией. В каждом месте, где была типография, непременно обретался чиновник, предназначенный для надзора за ее работами. Ему предъявлялось все напечатанное в типографии, даже меню обедов и визитные карточки. Из рукописи или из корректурных листов цензор просто вычеркивал все, что казалось ему несовместимым с государственным благом. Из отчетов о заседаниях палат и о судебных процессах он также вычеркивал все, что ему почему-либо не нравилось; в результате некоторые газеты почти ничего не могли сообщать под рубрикой „внутренние известия“.

Если представить себе дальше сословие ученых, проникнутое педантским, кастовым духом, и юстицию, облекавшую свою деятельность покровом тайны, ибо она не могла бы вынести света, вносимого гласностью, тогда как нельзя более будут понятны проникнутые благородным негодованием нападки Берне на господствующую в Германии систему и горькие насмешки Гейне над немецким ничтожеством [1]). При господстве Союзного Сейма германская земля не могла носить этих писателей. Группа литераторов, которая стояла за Гейне и Берне и была известна под именем „Молодой Германии“, по сравнению с ними не имела особенного значения, за исключением одного только Гуцкова. Буржуазный либерализм пережил свои бурные годы и в литературе и при этом выкинул не мало курбетов. Разные Лаубе, Винбарги и компания выступали с таким видом, как будто они хотели перевернуть весь мир своими гусиными перьями. Но при ближайшем знакомстве с их сочинениями, относящимися к этой эпохе, в толстых томах открываешь почти одну только назязчивую самовлюбленность младенчески тщеславных людей, вообразивших себе, что от их драгоценных персон зависят судьбы целого мира. Их необузданное литературное честолюбие не знало пределов; они утверждали, будто даже их непристойности не что иное, как „новые социальные идеи“. Союзный Сейм, воспретивший их сочинения, придал им совершенно неподобающее значение. Впоследствии они превратились в „старых сиделок“, как многие дамы, которые „перебесились“ в молодости. Они очень скоро исчезли из рядов оппозиции,—оста-

---

[1]) Нельзя отрицать, что отношение Гейне к Германии выступило не совсем в благоприятном освещении, когда февральская революция в Париже раскрыла, что он получал от Гизо пенсию. Мы не можем серьезно относиться к заявлению Гейне, что это—„великая милостыня Франции“ гонимым иностранным революционерам. Тем не менее, правда, которую Гейне говорил немцам, остается правдой, и потому она оказывала свое действие.

ваться в них стало опасно; некоторые из них потом вынырнули опять, но уже в качестве придворных „блюдолизов", употребляя выражение грубого доктора Мартина Лютера. В ругательствах на революцию и революционеров они сыграли более крупную роль, чем в пору необузданной юности, когда воспевали „свободу". Поэтому сочинители историй литературы, продиктованных холопскими чувствами, вспоминают о них в заслуженно-лестных выражениях.

Германская литература получила более серьезный характер, когда на сцену выдвинулась радикальная философия и вступила в победоносную борьбу с отживающим мировоззрением. Давид Штраус выступил с книгой „Жизнь Иисуса", Людвиг Фейербах заявил, что существо богов, это—существо человека, и религия—самообожествление человека, Бруно Бауэр обратился к критическому изучению нового завета, в высокой степени неприятному для ортодоксов. Но еще больше завоеваниям философского радикализма содействовал Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта); он создал своеобразную философию анархизма и непреложным мировым законом признал голый эгоизм. Арнольд Руге, который тогда еще и не думал, что со временем он будет получать пенсию из шкатулки одного монарха, тоже старался распространять идеи философского радикализма и связать его с политическим радикализмом. С этой целью он стал издавать „Deutsche Jahrbücher" („Немецкие Ежегодники").

Хотя ханжи и ортодоксы подняли крик, требуя мер против безбожных философов, тем не менее масса народа не могла заинтересоваться этой борьбой. Философский радикализм представлял приятный десерт для такого буржуа, который считает самого себя достаточно „образованным", чтобы обойтись без религии, и в то же время глубокомысленно заявляет, что массе религия необходима, чтобы утешить ее в ее нищете,—как будто бедных и нищих не могла бы утешить теплая одежда, здоровая квартира и хороший кусок жаркого. Радикальная немецкая философия с ее архи-ученой тарабарщиной, на которой большинство философов писали свои книги, была недоступна для понимания масс; в конце концов даже ремесленник или рабочий, пробудившийся к сознательной жизни, если бы ему как-нибудь попали в руки философские книги, при всей своей настойчивости не мог бы открыть, что философия способна указать ему путь для улучшения его социального положения. А это было для него самое главное.

Совершенно иначе действовала политическая поэзия, которая, подобно грозным раскатам трубы, вдруг прозвучала над Германией и на практике показала всю несправедливость утверждения Гёте: „Политическая песня—противная песня" [1]).

„Gedichte eines Lebendigen" Гервега произвели такое ошеломляющее действие, какое только вообще могут производить чьи бы то ни было стихи.

[1]) Но если это замечание Гёте относится к поэзии из эпохи войн за свободу монархов, к наполеоновской эпохе, то оно не так уж неправильно: политические песни этой эпохи, действительно, в большинстве случаев очень неблагозвучны. Напр., до невозможности плохие вирши Э. М. Арндта восхвалялись тогда далеко не по достоинствам.

Это была совершенно новая поэзия, прогремевшая над Германией как раскаты грома:

> Мы слишком уж долго умели любить,
> Пора нам начать ненавидеть.

Или:

> Вырвем кресты из земли,
> Перекуем их в мечи!"

Или:

> Скорее дорогу, князья.
> Полету свободы!

Эти трели „железного жаворонка", прозвучавшие над Германией с альпийских вершин свободной Швейцарии,—и уже никогда впоследствии Гервег не пел так,—вызвали целую бурю энтузиазма „от реки Эч до Бельта"; мысль, облеченная в прекрасную поэтическую форму, была как нельзя более способна послужить для немцев выражением их порываний к неопределенной свободе, к эманципации от печального положения при помощи неведомых средств. Поэзия в полном вооружении ринулась в центр великого боя. Скоро около знамени свободы собралась кучка поэтов, которые смело направили свои выстрелы против чудовища, именуемого системой Меттерниха. На поле сражения раньше или позже один за другим выступали Роберт Пруц, Гофман фон-Фаллерслебен, Готфрид Кинкель, Мориц Гартман и другие. За это на них обрушились преследования; те из них, которые занимали какие-либо должности, получили отставку. К ним скоро присоединился Фердинанд Фрейлиграт, отказавшийся от пенсии, назначенной ему прусским королем. Ему наскучило воспевать жираф и коней пустыни.

> К чорту львы, верблюды к чорту!
> Слышите, в душе клокочет
> И бурлит,—простору хочет
> Старый, древний Рейн германский.

С этим протестующим возгласом Фрейлиграт бросился в самый водоворот движения и отдал ему всю силу своего поэтического таланта, пламенного, богатого великолепными красками. В результате он скоро оказался в изгнании и, гонимый из одного швейцарского кантона в другой, с юмором человека, ожидающего виселицы, утешал себя тем, что представлял себе все дело в виде шахматной партии и говорил: „Matt werden kann ja nur der König!"[1]).

Гервегу в свою очередь пришлось расстаться со своим энтузиазмом, который в начале не отличался от энтузиазма среднего немецкого либерального буржуа. В 1842 году он предпринял по Германии как бы триумфальную поездку. Повсюду ему готовились торжественные встречи и чествования. Фридрих-Вильгельм IV дал ему аудиенцию и при этом бросил крылатое слово: „Я люблю идейную оппозицию!" Но когда Гервег пожаловался королю на прусскую полицию, два жандарма немедленно выпроводили его за границу Пруссии, а „ругательства стаи лакеев" завершили все дело.

[1]) Каламбур, основанный на игре словом „matt". Фраза означает: „мат может притти лишь королю", и в то же время: „только король может устать".

После того Гервег уже никогда больше не впадал в искушение разыграть роль маркиза Позы.

В конечном итоге немецкая либеральная буржуазия не могла похвалиться положительными результатами; больше всего кормили ее разными обещаниями. Она уповала, что наступит какая-то великая политическая катастрофа и принесет с собой радикальный поворот в общественных отношениях. Никто не мог бы сказать с достаточной определенностью, откуда и как явится эта катастрофа. Некоторые полагали, впрочем, что Людовик-Филипп и Меттерних должны же когда-нибудь умереть и должно же тогда все измениться к лучшему. Такими упованиями они доказывали только одно: как плохо понимали они свое время.

Не подлежит никакому сомнению, что отсутствие ясной программы у немецкого либерализма стояло в связи с недостаточностью промышленного развития Германии в половине прошлого века. В домартовское время крупно-промышленные предприниматели еще не составляли особого класса, живущего собственной, самостоятельной жизнью. Конечно, в Германии было уже достаточно зажиточных, даже очень богатых предпринимателей. Но это были по существу коммерсанты, игравшие выдающуюся роль в больших торговых городах. Что касается промышленных центров, предприниматели характеризуются там всеми чертами „выскочек". Это одна из самых карикатурных фигур, какие только знает история: ни патриций, ни плебей, а какой-то межеумок, без самостоятельной жизни, неспособный отделаться от рутины даже в области промышленной техники и неохотно порывающий с рутиной в политических отношениях. Словом, это—пресловутое „первое поколение" промышленных предпринимателей, от которого история не избавила ни одной культурной страны.

Но даже и эта фигура покажется типичным, настоящим предпринимателем по сравнению с подавляющей массой полукапиталистов-полуремесленников. Таковы „мелкие фабриканты", мелко-капиталистические предприниматели, вышедшие „в люди" из ремесленников, мастера-суконделы, которые ставят в своей мастерской станок за станком, пока она не превращается в „суконную фабрику". И в настоящее время сохраняется масса таких „фабрикантов", „мастерков", но тон в общественной жизни задают уже не они. Не то было в сороковых годах, когда ничтожные размеры предприятий составляли характерную особенность германской промышленности.

Кроме того, во многих отраслях промышленности наблюдалось такое явление: полуфеодальные землевладельцы основывали промышленные предприятия в своих поместьях, чтобы лучше утилизировать продукты последних. Такова была, напр., организация горного дела в Силезии.

Широкого распространения достигала, наконец, еще одна межеумочная форма: наполовину крестьянин, наполовину горно-промышленник. В этом случае предприятия сначала имели большею частью ремесленный характер и лишь постепенно принимали капиталистические формы. К средине прошлого века такая форма производства оставалась господствующей в горной промышленности.

Противоречия классовых интересов тогда еще не выступали с такой резкостью, как в позднейшее время. Выше уже было указано, что мелкая буржуазия еще не видала, как теперь, широкой пропасти, которая отделяла бы ее от крупной буржуазии; точно так же классы ремесленников и рабочих во многих случаях еще взаимно переплетались и потому думали, что интересы их солидарны. Почти во всех движениях рабочих того времени находит себе яркое выражение неразвитость их классового самосознания. Из-за требований, которые они выставляют, выдвигаются идеалы, всецело принадлежащие миру ремесленных отношений. Исключение представляют лишь немногие районы, в которых уже начало чувствоваться влияние Маркса. В остальных случаях фабричные рабочие по требованиям мало отличались от ремесленных подмастерьев, а домашние промышленники—от цеховых мастеров. Промышленные рабочие Германии в сороковых годах зачастую требовали того же, чего английские рабочие полустолетием раньше: восстановления старого цехового устройства и возвращения ремесленным мастерам их былых привилегий.

Но, несмотря на отсутствие таких резких классовых противоречий, как на позднейших ступенях общественного развития, было бы ошибочно думать, что промышленные рабочие сохраняли неизменное благодушие. Система Меттерниха делала все возможное, чтобы вызвать к себе страстную ненависть. Суровая полиция и бюрократия давили рабочих, относились к ним как к зловредному элементу, хотя для существования общества они были куда поважней, чем весь германский правительственный механизм. Придирки из-за паспортов и проходных свидетельств достигали прямо невероятных размеров. Старики и теперь еще помнят, какой вид принимали полицейские управления Берлина и Вены, когда в коридорах сотни бедных, измученных, изголодавшихся подмастерьев по целым часам ожидали своей очереди, и как они дрожащими руками передавали царьку-полицейскому свое проходное свидетельство, заранее готовясь к тому, что он прежде всего грубо их обругает, а потом оштрафует за нарушение бесконечных бюрократических формальностей или придерется к каким-нибудь пустякам. Так оно велось во всей Германии, и всякое ничтожество, всякий желторотый писец, ученый или неученый, пользовался каждым случаем разыграть перед подмастерьем всевластное и ни перед кем не ответственное начальство [1]).

[1]) Можно ограничиться лишь одной иллюстрацией, взятой из работы 1839 года о состоянии Баварии. Один очевидец передает следующее: „В 1839 году к некоему асессору окружного суда проездом заглянул его знакомый. Когда он вошел в присутствие, асессор крикнул бывшим здесь крестьянам и горожанам: „Пошли вон, собаки! Теперь у меня нет для вас времени, вы можете притти в другой раз!“ Один подмастерье смиренно попросил, чтобы асессор, не решивши его дела, не прогонял его, так как он работает очень далеко, на расстоянии нескольких часов пути, мастер не так-то легко даст ему новое разрешение на отлучку, а дело, уже известное господину асессору, не терпит никакого отлагательства. Асессор позвонил и приказал явившемуся служителю: „Отпусти-ка этому нахальному малому дюжину хороших оплеух!“ По просьбе знакомого приказанию это не было приведено в исполнение, но асессор сказал: „Только так и можно поддерживать уважение у этих собак!“.

Но если у рабочих в самой Германии не могло развиться классовое самосознание, то, когда они переселялись в Швейцарию, во Францию или Англию, перед ними открывался совершенно новый мир. В Швейцарии они встречались с немецкими эмигрантами, которые издавали революционные произведения и переправляли их в Германию контрабандным путем. В Швейцарии возникло множество немецких рабочих союзов, над организацией которых в особенности потрудился Иоганн-Филипп Беккер, вынужденный покинуть Германию после того, как он принял участие в гамбахском торжестве. Уже в Швейцарии странствующие немецкие рабочие встречались с совершенно новыми взглядами и порывали с мещанскими воззрениями, принесенными с родины. Переходя во Францию и Англию, они находили там неведомый для них строй отношений. Промышленность уже успела сделать здесь крупные завоевания, и пролетариат, вступивший в классовую борьбу, начинал сознавать свои силы. Среди французских рабочих еще сохранялись живые воспоминания о великой революции с ее захватывающим паролем: „Свобода, равенство, братство“. Восстания лионских шелко-ткачей (1831 и 1834 годы), написавших на своем знамени: „Жить, работая, или умереть, сражаясь“, вскрыли перед глазами целого мира зияющую бездну нищеты, вырытую капиталистической эксплоатацией. В Англии конца тридцатых годов выросло огромное движение чартистов. Ближайшим его практическим требованием было всеобщее избирательное право. Многие требования чартистов, по крайней мере отдельных течений, объединившихся в чартистском движении, носили несомненно социалистический характер. Чартисты рассчитывали добиться всеобщего избирательного права при помощи всеобщей забастовки („священный месяц“). С прекращением промышленного кризиса движение быстро пошло на убыль, но агитация не прекращалась, и даже в самом конце сороковых годов движение опять вспыхнуло с новой силой. Во всяком случае оно оставило глубокий след в английских рабочих и не могло не произвести огромного впечатления на подмастерьев и рабочих континентальной Европы.

Таким образом странствующие немецкие рабочие знакомились с социализмом и жадно впитывали его идеи. Скоро некоторые социалистические идеи и представления перешли в Германию и заявили о своем существовании. Союзный Сейм обратил на это свое внимание. На Эшенгеймской улице во Франкфурте на Майне стали косо поглядывать на Швейцарию уже после неудачного похода эмигрантов на Савою. Поход был задуман в 1834 году итальянцем Мадзини. Его поддержали немецкие революционеры. Вооруженное вторжение в Савою окончилось полной неудачей, но достаточно встревожило членов Союзного Сейма. По инициативе Меттерниха они потребовали, чтобы швейцарское правительство уничтожило право убежища для эмигрантов из Германии. Но в 1834 году давление Союзного Сейма не привело ни к чему.

В том же году новое происшествие сильно встревожило южно-германских монархов. Близ Берна состоялось собрание германских ремесленников, в котором участвовало до сотни человек. Флаги германских государств были

разорваны и затоптаны в грязь, а вместо того воздвигнуто черно-красно-золотое знамя. Ораторы нисколько не старались скрывать своего отвращения к Союзному Сейму.

Австрия и Пруссия наводнили Швейцарию тайными агентами. Один из них, прусский студент, по имени Лессинг, в 1835 году был найден около Цюриха, убитый ударом кинжала. Убийцу так и не открыли. Тогда Союзный Сейм воспретил немецким студентам посещать швейцарские университеты, а ремесленникам—предпринимать путешествия в Швейцарию. В то же время швейцарскому правительству пришлось уступить перед новым давлением Сейма: оно было вынуждено издать ряд постановлений, которыми общества германских ремесленников были закрыты, а германские революционеры изгнаны из Швейцарии.

Социализм немецких рабочих, отражая промышленную отсталость Германии и сложившись под влиянием старых французских социалистов, имел вполне утопический характер. Грезили в то время и очень много, и очень по-детски [1]).

Представители этого социализма считали излишней работу исследования, необходимую для понимания общественных отношений, уяснение социально-экономического строя в прошлом и настоящем, изучение процесса общественного развития в наше время. Как перекрещенцы в начале нового времени создавали в своей фантазии тысячелетнее царство, так и утопический социализм, достигший самого пышного расцвета во Франции, измышлял земной рай и приглашал человечество пожаловать в него. Новые пророки приходили в неподдельное изумление, когда это неповоротливое, инертное человечество не только отказывалось вступить в рай, разрисованный самыми яркими, самыми заманчивыми красками, но выражало отвращение к нему и преследовало пророков бесконечными полицейскими прижимками и тенденциозными процессами.

---

[1]) О невинной мечтательности, господствовавшей тогда среди немецких подмастерьев за границей, дает некоторое представление отрывок довольно-таки глуповатой песенки, которую с особенным усердием распевали в Швейцарии:

Если князь вас спросит,
Где Авессалом,
Вы ему ответьте,
Что повис уж он,
Только не на ветке
И не на веревке,—
Он висит на грезах
О народном царстве.

Ночные сторожа государства, заседавшие во Франкфурте на Майне, придавали таким ребячествам большое политическое значение. Много насмешек зато сыпалось на них, много удачных, но немало и неудачных острот. Напр., рассказывали, будто ремесленный подмастерье, привлеченный к допросу, ответил, когда у него спросили о его профессии: „Тираноубийство!“ Кто знает, почтенные мандарины с Эшенгеймской улицы и этот ответ, пожалуй, приняли очень серьезно.

Значительный шаг от утопизма к реализму представляют сочинения Вильгельма Вейтлинга. Жизнь его полна глубокого драматизма. Родился он в 1808 году и вырос среди тяжелой нужды и лишений. Изучив портняжное ремесло, он в 1828—1835 годах странствовал по Германии. Из этого периода жизни Вейтлинга известно очень немного. Разсказывают, что, попав в Вену, он оказался счастливым соперником какого-то эрцгерцога, добивавшегося любви одной девицы, и за это немедленно был выслан из Австрии. В средине тридцатых годов Вейтлинг попал в Париж, где он прожил около шести лет. Этот период — самый решительный в развитии Вейтлинга. Он страстно набросился на учения французских утопистов, особенно Фурье и Сен-Симона, и в то же время, в противоположность этим утопистам, принимал самое горячее участие в революционных организациях немецких рабочих. В связи с этим его система представляет промежуточное звено между утопическим и новейшим социализмом.

„Промежуточность“ обусловливалась впрочем самым общественным положением Вейтлинга. Он был уже пролетарий, но в то же время еще оставался ремесленным подмастерьем. Он принадлежал к мелко-буржуазному слою, который неудержимо пролетаризировался и для которого ясное классовое самосознание было поэтому невозможно. Как представитель угнетенного класса, Вейтлинг уже хорошо понимал, насколько обманчивы были надежды, возлагавшиеся утопистами на владык и миллионеров. Однако он не вполне расстался с такими надеждами и говорил о них, как о вещи, на которую хотелось бы рассчитывать, но не следует полагаться всецело. Такой же двойственностью проникнуто и все миросозерцание Вейтлинга. Он уже знал, что освобождения рабочего класса можно ждать лишь от него самого. Пролетарская революция начала играть в его построениях такую же роль, как для Фурье — благодетельный миллионер. Но источником этой революции Вейтлинг, в противоположность современному социализму, считал не прогрессирующее усиление пролетариата, а возрастающую бедность рабочих. Видя лишь разрушительные действия капитализма, Вейтлинг отчаянные признавал серьезнейшей пружиной революции и, возлагая надежды даже на пролетариат босяков, рекомендовал ему кражи, как одно из средств борьбы с богачами.

Переселившись в начале сороковых годов в Швейцарию, Вейтлинг принялся за энергичную пропаганду. Последователей около него собралось не особенно много; движение вообще носило пока сектантский характер. Тем не менее швейцарское правительство приняло решительные меры: Вейтлинга арестовали, больше года продержали в тюрьме, при чем с ним обращались с беспощадной жестокостью: много раз налагали дисциплинарные взыскания за нарушение тюремных правил, а однажды, как рассказывают, подвергли даже телесному наказанию. Хотя никаких положительных улик против Вейтлинга не было да и быть не могло, его присудили к тюремному заключению, а потом выдали прусской полиции. Пересылая от одной этапной тюрьмы до другой, Вейтлинга после долгих мытарств доставили, наконец, в родной Магдебург и здесь отдали в солдаты, как дезертира. Но от солдатчины Вейт-

линга скоро освободила физическая непригодность. Тогда прусское правительство спровадило его в Лондон, хотя не имело на то права.

Уже последние работы Вейтлинга, относящиеся к швейцарскому периоду его жизни, представляют некоторый шаг назад по сравнению с первыми. Малый успех пропаганды, а может быть и страшная бедность, всю жизнь не покидавшая Вейтлинга, послужили благоприятной почвой для развития мании величия. Он начал чувствовать себя непризнанным гением и вещал уже свысока, как пророк. Проблески реализма, заметные в первых работах, появляются все реже и реже. Но даже и в этот период по энергии, а также и по глубине отдельных мыслей Вейтлинг стоял неизмеримо выше всех буржуазных утопистов.

Что касается буржуазии, — она перед лицом социального вопроса, который все решительнее выдвигался на первый план, умела только повторять давно избитые фразы, да потом основала (в 1844 году) и теперь еще существующий „Центральный союз на благо трудящихся классов". Союз всегда отличался поверхностностью и реакционностью в понимании социального вопроса и мог рекомендовать рабочим лишь такие вещи, как бережливость, кассы взаимопомощи и школы для продолжения образования. Это служило ясным доказательством того, что благородные и богатые дамы и кавалеры, собиравшиеся в союзе, искали только одного: как бы на рабочем вопросе убить свое время.

Но около того же времени начали формироваться и современные воззрения. Пионером выступил Фридрих Энгельс со своей книгой „Die Lage der arbeitenden Klasse in England" („Положение рабочего класса в Англии"), появившейся в 1845 г. Энгельс набросал картину капитализма и индустриализма XIX века и вскрыл его последствия. Конечно, современный пролетариат описывался и раньше появления книги Энгельса „Положение рабочего класса в Англии". Но в немецкой литературе таких книг еще не было, а книга Энгельса была притом совершенно особенная. И особенность ее заключалась не в том, что до Энгельса еще никто не изображал положение и страдания современного пролетариата с такой потрясающей силой. Несравненно важнее та изумительная глубина, с какой 24-летний автор проник в сущность капиталистического способа производства и понял, что он несет с собой не только всемогущество, но и падение буржуазии, не только нищету, но и эманcипацию непосредственных производителей.

Книга Энгельса произвела огромное впечатление. Из всех произведений домартовского социализма она пользовалась в Германии самой широкой популярностью. Но буржуа ценил в книге только талантливую группировку сухого материала. Что касается метода и окончательных выводов — это, конечно, оставалось для него недоступным.

Вскоре после того произошла встреча Энгельса и Карла Маркса. Они поставили перед собой такую великую задачу, как освобождение возникающего рабочего движения от утопизма и невинного размалевывания картин будущего государства. Они по справедливости должны быть названы основателями научного социализма.

Критический ум Маркса прежде всего обратился к критике остатков философского идеализма. В этом деле Энгельс был его неизменным товарищем. Оба друга примкнули к „Союзу коммунистов“, который существовал уже сравнительно долгое время. Решительные противники заговорщицкой тактики, они преобразовали союз в общество пропаганды социализма. Конечно, ему все-таки приходилось оставаться тайным, потому что тогдашние условия не допускали открытой деятельности. Союз коммунистов был первой попыткой интернационального объединения рабочих, в нем были члены из Англии, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии. К нему примкнули также поляки и венгры. По возможности устраивались и международные собрания рабочих. Влияние этой организации заметным образом отразилось на рабочем движении 1848 года.

Члены союза называли себя коммунистами, чтобы провести границу между собой и представителями буржуазного социализма. „Социализм, — говорит Энгельс, — в 1848 году представлял буржуазное движение, коммунизм — движение рабочих“. Действительно, „социализмом“ тогда называли все мелко-буржуазные паллиативы против общественных бедствий, и даже буржуазные радикалы, которые могли предложить рабочим едва ли больше пресловутой „самопомощи“ в духе Шульце-Делича, принимали имя „социал-демократов“.

Постепенно в Германии выросла довольно значительная социалистическая литература, а в передовых по промышленному развитию рейнских провинциях начало заявлять о себе и рабочее движение. Здесь действовал Моисей Гесс, который много постарался для распространения социалистических идей. В своем периодическом издании „Gesellschaftsspiegel“ („Зеркало общества“) Гесс показал капиталистическому обществу его отталкивающую наружность. Большое распространение среди рабочих нашли популярные социалистические работы Эрнста Дронке, Германа Пютмана и Отто Люнинга. Пютман и Георг Верт издавали также социалистические романы и стихотворения.

Но самым выдающимся произведением социалистической литературы этого времени является „Манифест коммунистической партии“, написанный Марксом и Энгельсом в 1847 году и изданный в феврале 1848 года, накануне февральской революции. В 1847 году на конгрессе союза коммунистов, состоявшемся в Лондоне, Марксу и Энгельсу было предложено формулировать принципы коммунистической партии. По указанным выше причинам они удержали название коммунистической партии и дали в своем „Манифесте“ ясное и сжатое изложение основных начал современного научного социализма. В „Коммунистическом манифесте“ блеснула заря нового миросозерцания, поставившего своей задачей освобождение пролетариата от его нужды. Работа эта беспощадно покончила со всем наивным и слабым, что было в утопическом, мелко-буржуазном, феодальном и реакционном социализме. На место мечтаний о тысячелетнем царстве она поставила перед новейшим социальным движением вполне ясную и определенную цель: освобождение рабочего класса от рабства при помощи превращения средств производства в

общественную собственность. В то же время „Манифест“ положил начало новому пониманию истории, известному под именем исторического материализма. Основная идея его заключается в том, что строй производства и вытекающее из него расчленение общества во все эпохи истории служили тем базисом, на котором развивается политическая и интеллектуальная жизнь этих эпох. Вся история является историей классовой борьбы между господствующими и порабощенными, между эксплоататорами и эксплоатируемыми. „Манифест“ показывает далее, как в современном буржуазном обществе классовая борьба достигла такой ступени развития, за которой должно последовать уничтожение классового расчленения общества и, следовательно, прекращение классовой борьбы. Он показал всю необходимость и неизбежность перехода капиталистического общества в новую, высшую форму. С полным основанием говорили, что такое понимание истории знаменует для исторической науки то же, что дарвиновская теория изменения видов — для современного естествознания.

„Манифест“ при своем появлении был замечен лишь в немногих кружках. Эпоха его изучения началась значительно позже.

Авторы ожидали осуществления своих идеалов не от собственно идеологических побуждений, а от силы, что и понятно, так как они чувствовали приближающуюся революционную бурю. Они понимали окружающие их отношения, и потому катастрофа не явилась для них неожиданной. Они уже тогда думали, что исход предстоящей борьбы будет решен силой оружия. Потому-то они и хотели, чтобы их партия усвоила свои взгляды.

Нищета промышленного пролетариата в сороковых годах служила страшной по своей яркости иллюстрацией для социалистических теорий. Ускорявшийся темп развития обострял общественные противоречия. Переворот в условиях производства и обмена, открывающийся основанием таможенного союза и постройкой железных дорог, распространялся все дальше и вширь, и вглубь. Крупное производство начало создавать современные большие города, теснить ремесло, пролагать широкую пропасть между ничтожным количеством богачей и подавляющей массой бедняков и в то же время разрушать мелко-буржуазные формы жизни, раньше безраздельно господствовавшие в городах. В деревне все дальше раскидывало сети феодальное крупное землевладение. Оно продолжало экспроприацию мелких собственников, поскольку законы о выкупе или регулировании не распространялись на них. А те рабочие силы, в которых нуждалось крупное землевладение, оно прикрепляло к земле феодальными путами. Так слагался деревенский пролетариат, подавленный и беспомощный.

Один официальный отчет, предназначенный для того, чтобы опровергнуть мнимые преувеличения прессы, мог сообщить о положении восточно-прусских сельских рабочих только следующее: этот класс живет в величайшей бедности. Положение этих рабочих во всяком случае самое жалкое. Они стоят большею частью на очень низкой ступени умственного и нравственного развития. Этот класс людей не достигает преклонного возраста, и причина тому лежит в жалком образе жизни, в чрезмерности труда и скудости пищи.

Другие сообщения того времени, которые не были продиктованы желанием затушевывать положение деревни, рассказывают ужасные вещи о том, как голод и холод уничтожали население целых приходов. Сельский пролетариат жил в лачугах, которые больше напоминали звериное логовище, чем жилище человека. Обычные предметы питания были только картофель, соль и водка. За всяким неурожаем картофеля следовал голодный тиф и другие спутники голода. Когда в Верхней Силезии случилось один за другим три неурожая картофеля, разразилась страшная катастрофа. Лишь в трех округах — Плесс, Рыбник и Ратибор — пришлось отыскивать пристанище для 4.000 бесприютных сирот. В округе Плесс в 1847 г. умерло 6.800 человек, —втрое больше, чем в обычные годы. Из этого числа (6.800), сухо комментирует один придворный историк, до 900 человек умерло несомненно от голода.

В городах, где начала пускать корни крупная промышленность, следом за нею шествовал пауперизм, массовая бедность, со всеми сопровождающими ее явлениями. При Фридрихе-Вильгельме IV, в первые девять лет, число паровых машин на берлинских фабриках от 29-ти с 392 лошадиными силами увеличилось до 193-х с 1.265 лошадиными силами. В то же время число проституток увеличилось до 10.000, преступников до 12.000, бродяг, разыскиваемых полицией, до 12.000, нищих до 4.000, содержимых в каторжных тюрьмах и работных домах до 3.000 человек.

Ремесло попало в тиски: с одной стороны, промышленность, вооруженная машиной, с другой — торговые предприятия. Из 4.000 „самостоятельных“ берлинских портных у двух третей не было достаточной работы. В то же время в Берлине было 206 торговцев одеждой, которые эксплоатировали безработных мастеров, назначая им невероятно ничтожную плату. В таком же положении находились 3.000 „самостоятельных“ сапожников и 2.000 „самостоятельных“ столяров.

Невыносимый гнет тяготел и на рабочих крупной промышленности. Правила внутреннего распорядка на фабриках порабощали их с деспотической силой. Не довольствуясь крайним понижением заработной платы, предприниматели старались урвать из нее сколько возможно и с этой целью расставляли всевозможные сети: штрафы, расплата товарами. Truck-System („система прижимки“, расплата товарами) практиковалась почти на всех фабриках. Но самого пышного расцвета она достигла в золингенском фабрично-заводском районе. На суде было однажды установлено, что рабочие в этом районе зачастую в течение многих лет не получают деньгами ни копейки, а всю свою плату забирают товарами. Притом им приходится забирать товаров или во много раз больше, чем требуется, или таких товаров, которые для них вовсе не требуются, и все это по непомерно вздутым ценам.

Применение труда женщин и малолетних все разрасталось. Из Эльберфельда уже доносились жалобы, что женщин принимают на фабрики, а мужчины вынуждены сидеть дома, вязать чулки, а иногда и ухаживать за грудными детьми. Из общего числа детей, обязанных посещать школу, в действительности посещали ее в Эльберфельде только 79%, в Берлине 59 с дробью,

в Аахене всего лишь 37%. Малолетних и подростков держали на фабриках, пока они не становились взрослыми, не начинали требовать плату как для взрослых рабочих. Тогда их безжалостно выбрасывали с фабрики, чтобы заменить новыми взрослыми и подростками. Так фабрика массами производила пролетариат босяков, у которого зачастую не оставалось иного выхода, как только жить преступлениями, и который наводил ужас на население больших городов. Пауперизм, нищета широких масс, как тень, безотлучно следовал за капитализмом, который искусно и незаметно создавал конкуренцию между мужем и женой, между детьми и родителями.

И промышленный пролетариат, и разрушающееся ремесло одинаково страдали от возрастающей жилищной нужды. Если крупное производство создавало новые центры промышленности, нужда в квартирах выступала не так резко, как в старых городах, напр., в Берлине, Кельне, Бреславле. Широкую и позорную известность получили дома для семейных у Гамбургских ворот в Берлине. Здесь в 400 комнатах — и что это были за комнаты! — ютилось 2.500 человек. Нередко в одной конуре жило по две семьи; тогда каморка разделялась на две половины протянутой веревкой или же чертой, мелом проведенной по полу.

Рабочие из Кельна, в котором 30.000 человек жили на счет благотворительности, обратились с петицией к королю; она сильными штрихами изображает, как чрезмерная квартирная плата гонит рабочих из сносных жилищ в отвратительные каморки, так что у них уже появляется опасение, не придется ли им скоро ночевать под открытым небом.

По описанию врачей для бедных, помещения бреславльских рабочих скорее напоминают свиные хлевы, чем квартиры. Все настолько ветхо, что от мало-мальски сильного толчка содрогается целое здание. Расположенные во дворах квартиры рабочих загрязняются жидкостью, просачивающейся из отхожих мест и хлевов; она нередко целыми ручьями течет по стенам, которые от этого покрываются массою плесени и грибков. Сочленовный ревматизм, золотуха и острое малокровие — постоянные гости в этих квартирах.

Однако даже бедность крупно-промышленного пролетариата может показаться сносной по сравнению с нищетой рабочих домашней промышленности, особенно текстильной промышленности (т.-е. промышленности по обработке волокнистых веществ: льна, хлопка, шерсти и т. д.). Немецкая текстильная промышленность уже и раньше завоевывала себе место на мировом рынке таким способом, что систематически понижала заработную плату до голодного уровня. В сороковых годах на Германию обрушились сокрушительные удары английской конкуренции. Механическое льнопрядение в Англии достигло такой степени совершенства, что огромные массы превосходной машинной пряжи направились даже в область таможенного союза. Производительность труда английского прядильщика, вооруженного машиной, во много десятков раз превосходила производительность труда немецкого ручного прядильщика. Когда берлинский департамент торговли предпринял исследование положения прядильщиков в Вестфалии, билефельдские промыш-

ленники заявили: „Такое положение вещей дольше не может сохраняться. До двух третей прядильщиков, число которых следует определить тысяч в сто, в последние годы работают совершенно даром... Прядильщик тонких нумеров пряжи зарабатывает в день всего два зильбергроша, а прядильщик нумеров худшего качества всего лишь семь пфеннигов" ($3^1/_2$ коп.). Действительно, такое положение вещей не могло дольше сохраняться. Выход нашелся: многие тысячи прядильщиков вымерли от голодного тифа.

Те же билефельдские промышленники заявили берлинскому департаменту торговли: „Положение ткачей несколько лучше, чем положение прядильщиков, но и оно до крайности плохо". „Die Barmener Zeitung" („Барменская Газета"), газета буржуазная, напечатала статью о положении вуппертальских ткачей-кустарей. „Ткач, — говорится между прочим в статье, — утром должен вставать с петухами и работать до полночи, а то и дольше. Его силы быстро изнашиваются, ум его со временем притупляется. Грудь не может выносить постоянно согнутого положения, легкие поражаются болезнью, начинается кровохарканье. И другие органы истощаются и слабеют. Так преждевременно созревают цветки для кладбища". Фабриканты Вупперталя читали статью, но никто и слова не сказал в ее опровержение.

В этом аду, в котором мучились многие десятки тысяч кустарей, самые тяжкие страдания выпали на долю силезских ткачей и прядильщиков. В течение столетий полотняная промышленность обеспечивала большей части силезского населения хотя скудную жизнь. Полотняно-ткачи бедствовали искони, и старинная сатирическая песенка:

> Неважный цех у полотняно-ткачей:
> Знай—постись изо дня в день... и т. д.

— эта песенка, в которой раскутившиеся, торжествующие „мастерки" злорадно осмеивали разоряющихся ткачей, несомненно, имела свои основания в мрачных общественных отношениях.

В двадцатых годах в Силезию пришло много иностранных предпринимателей, а с ними явились и льно-прядильные машины. Цены за ручное прядение, конечно, упали. Согласно расчетам того времени каждая фабрика с одной тысячью рабочих-прядильщиков отнимала кусок хлеба у целого десятка тысяч ручных прядильщиков.

В то же время, благодаря бессмысленной торговой политике, иностранные рынки один за другим начали закрываться для продуктов силезской полотняной промышленности. Из страха перед революцией правительство не хотело торговых договоров ни с Испанией, ни с Португалией, ни с республиками Южной и Центральной Америки. Русско-польский рынок отгородился от Пруссии безусловно запретительными пошлинами. Словом, со всех сторон возвышались таможенные заставы.

А тут на сцену выступила еще, как уже упомянуто, конкуренция Англии. Фабриканты, стремясь во что бы то ни стало сохранить способность к конкуренции, но не желая поступиться ни копейкой из предпринимательской прибыли, прибегли к прогрессивному понижению заработной платы. Оно

разом повысили цены полотна на десять—двадцать процентов, а заработную плату уменьшили разом на тридцать процентов. Ткачи и прядильщики, особенно ручные ткачи в горных округах, попали в жалкое, невыносимое положение. Фрейлиграт, изображая в своем известном стихотворении „Rübezahl" бедность ткачей, с того времени вошедшую в поговорку, нисколько не сгущал красок, хотя тогда нужда ткачей еще не дошла до своих крайних пределов. Прядильщики уже тогда утверждали, что их труд не окупает затрат на освещение, необходимое во время работы. Ткачи в горах, работая над куском полотна от пяти до шести недель, ежедневно по шестнадцати часов, раньше получали за это девять талеров; теперь они получали всего шесть талеров (около девяти рублей), из которых полтора талера должны были уплатить за отделку. Если у ткача был маленький участок земли, величиной моргена в два, и если он держал корову, то, при условии усердной помощи жены и детей, он мог довести свой ежегодный доход до шестидесяти талеров, или до 180 марок (около 90 руб.). Из них бедняку приходилось уплачивать государственный поземельный налог — один талер пятнадцать зильбергрошей; сословную подать — два талера; оброк с земли в пользу помещика — три талера пять зильбергрошей; „охотничью и прядильную деньгу" — пятнадцать зильбергрошей; взамен барщинных работ, если ткач не хотел или не мог их выполнить, он должен был платить от двадцати зильбергрошей до одного талера; общинные повинности составляли один талер десять зильбергрошей; к этому надо прибавить еще деньги на школы и страхование от огня.

Принудительная распродажа имущества за недоимки была обыкновенным явлением для этих ткачей. Но еще хуже приходилось тем ткачам и прядильщикам, у которых ничего не было и к которым сборщик податей уже совсем не являлся. „В мрачной, нездоровой каморке,—говорит один очевидец,—нет ничего, кроме ткацкого станка, полуразвалившейся кровати, прикрытой тряпьем, которое все же называется постелью, плохого деревянного стола, скамьи да табурета; каморка такая тесная, что куча детей копошится в ней, как червяки, и едва лишь найдется место для движений, необходимых во время работы,—такая каморка, что стойла у какого-нибудь помещика по сравнению с ней можно назвать пышным чертогом".

Ткачи-домовники, т.-е. зависимые крестьяне, имевшие самостоятельную хижину и пользовавшиеся обыкновенно клочком огородной земли, по вычете податей и процентов по долгосрочным долгам, зарабатывали в год не более сорока талеров (120 марок, т.-е. меньше 60 руб.). Что же после этого удивительного, если уже в 1843 году беднейшие ткачи умирали голодною смертью.

Здесь же следует указать на тот факт, что ужасающая бедность деревенского населения в Силезии обусловливалась не только капиталистической эксплоатацией в текстильной промышленности,—крупную роль играла также силезская феодальная аристократия. При выкупных операциях, при отмене феодальных повинностей—барщин и оброков,—а также при новом распределении земли помещики действовали очень искусно: крестьяне, владельцы

несчастных парцелл, т.-е. ничтожных клочков земли, должны были уплатить колоссальные суммы за эту „отмену“, и лучшие земли перешли к помещикам, между тем как крестьянам достались жалкие пустыри. Вильгельм Вольф, известный под прозвищем „красного“ или „Вольфа казематов“, в 1849 году в газете „Neue Rheinische Zeitung“ разоблачил все манипуляции благородных силезских „рыцарей“ [1]). Крупные землевладельцы умели освободиться от общественных повинностей. Общинных повинностей они не отбывали, а из оброков и барщин, уплачиваемых крепостными крестьянами, равно как из судебных пошлин, извлекали большие доходы, тем более, что они же обыкновенно были и судьями, и начальниками сельской полиции, и церковными старостами, и школьными попечителями. Сословная подать, каких бы размеров ни достигало поместье, для них составляла от четырех до двенадцати талеров в год, между тем как ткач платил ежегодно два талера.

Правительство спокойно смотрело на то, как нищета все подтачивает кругом; благочестивые люди говорили, что это—посланное небом испытание; господствующим классам ни до чего не было дела. Предприниматели начали в широких размерах применять „систему прижимки“ (расплату продуктами) и выдавать плату ткачам не чистыми деньгами, а товарами, иногда совершенно испорченными, и почти всегда по самым высоким расценкам,—и все же предпринимателей оставляли в покое. Вся Германия узнала о том, что силезские ткачи из году в год голодают. В Силезию направились пожертвования, но, во-первых, это была капля на раскаленный камень, а во-вторых, до нуждающихся доходило не много. Напр., на всех бедняков деревни Зальцбрунна, протяжением в целую милю, отправлено было 38 мер картофеля. Когда он прибыл на место и состоялось его распределение, оказалось, что он настолько промерз, что сделался непригодным даже на корм для скота.

Беспредельная, беспомощная нищета должна была привести к взрыву отчаяния. И действительно, катастрофа разразилась, когда отдельные предприниматели проявили свое высокомерие в слишком издевательских формах. В Петерсвальдау и Лангенбилау, двух больших деревнях, сплошь населенных ткачами, нужда достигла крайних пределов. Один предприниматель, когда с ним заговорили о нищете ткачей, ответил: „Дело еще дойдет до

[1]) Вольф, как никто другой, был знаком с положением Силезии: сам он был сын крепостного силезского крестьянина. Среди тяжких помех и лишений он прошел гимназию и университет, где получил знакомство с классической философией. В качестве „демагога“ он несколько лет провел в заключении, в прусских крепостях. Впоследствии, занимаясь частными уроками в Бреславле, он успел порядочно насолить местной бюрократии и цензуре. Тогда же он предпринял „путешествие“ по подвалам, в которых погибал бреславльский пролетариат. Захватывающее описание этих „казематов“ и доставило ему почтенное прозвище „Вольфа казематов“. Ему же принадлежит описание бунта силезских ткачей. Постоянные судебные преследования скоро вынудили его эмигрировать. Его памяти Маркс посвятил первый том „Капитала“.—Упомянутая в тексте статья появилась под заглавием „Силезские миллиарды“.

того, что они станут изготовлять кусок полотна за крынку творога". Другой крупный капиталист будто бы насмешливо посоветовал ткачам, если заработков им не хватает на хлеб, попробовать кормиться травою,—ее-то уж наверное найдут в достаточном количестве. А третьему, которому посоветовали поставить своих рабочих в лучшие условия, приписывали такой ответ: „Этого еще не хватало, чтобы я стал стараться из-за такой сволочи".

Возможно, что молва приписала заявлениям фабрикантов более вызывающий характер, чем они имели на самом деле. Но этого было достаточно, чтобы довести до крайних пределов раздражение изголодавшихся, охваченных отчаянием ткачей. Явился летучий листок, в котором было напечатано стихотворение: „Кровавый суд в Петерсвальдау", изображавшее, с одной стороны, беспросветную бедность ткачей, а с другой—непомерную роскошь богатых. Песня была создана массой, в следующие дни она увеличилась новыми строфами. Ее пели на улицах, расклеивали по фабрикам.

Ткачи несколько раз исполняли песню и под окнами фабрикантов Цванцигеров, которым приписывались приведенные выше заявления. Сначала демонстрации носили невинный характер. Но вот одного из певцов задержали, втащили в дом, нанесли ему побои и потом выдали местной полиции. В ответ на это разразились (4 июня 1844 г.) серьезные беспорядки. Толпа ткачей вышла из Петерсвальдау на соседнюю гору, выстроилась в ряды и направилась к домам фабрикантов, требуя повышения заработной платы. Фабриканты не только отклонили требование, но и позволили себе насмешки над возбужденной толпой. Тогда толпа бросилась на дом Цванцигеров, взломала все двери, разрушила пол и потолки, перебила мебель, зеркала, посуду, порвала книги, векселя и бумаги, напала на склады и уничтожила в них все запасы товаров. Цванцигеры спаслись бегством. Толпа пощадила фабрикантов, которые относились к ткачам с несколько большей гуманностью. Но у Цванцигеров вечером 4-го и утром 5-го июня она разрушила все, что осталось после первого нападения. Наибольшую ненависть вызывали машины. Предложение поджечь фабрику было отвергнуто только потому, что тогда Цванцигеры могли бы получить страховую премию.

5-го июня толпа разрослась до трех тысяч человек (в Петерсвальдау насчитывалось пять тысяч жителей) и двинулась на Лангенбилау, деревню с тринадцатью тысячами жителей. Она прежде всего напала на дом братьев Дириг, но на первых порах была отбита. Подоспели солдаты из соседнего Швейдница. Произошло столкновение. Солдаты дали залп,—из толпы упало 11 убитых и 24 смертельно раненых. Земля на большое расстояние была забрызгана кровью и мозгом. Ткачи сначала оцепенели, но вид крови, стоны и хрипение умирающих, вопли раненых вызвали в них страстную, отчаянную жажду мести; с топорами и палками бросились они на солдат и забросали их градом камней. Солдаты были вынуждены отступить. Толпа, пользуясь этим, разгромила дом братьев Дириг.

На следующий день, 6-го июня, явились четыре роты пехоты с четырьмя пушками, а через несколько часов пришла и конница. Толпа очи-

стила Лангенбилау. Часть ее напала на одного раздатчика Цванцигеров и уничтожила все найденные товары [1]).

Начались аресты несчастных ткачей; они разбежались в горы и по лесам. Разыгрались тяжелые сцены; один солдат, напр., нашел среди убитых своего брата. Не было недостатка и в комических сценах. Один магнат предлагал толпе восстановить порядок „из любви к нему, их наследственному, прирожденному помещику". Скоро все успокоилось, и начались процессы; 83 человека были преданы суду и присуждены к тяжким наказаниям, доходившим до десяти лет каторжных работ и до двадцати ударов плетью.

События эти были совершенно стихийной вспышкой: в них не было ни ясно сознанной цели, ни солидарности, как показывают некоторые детали движения. Ненависть направилась прежде всего на машины, как на осязательный символ порабощения силезских ткачей. Такое движение должно было остаться безрезультатным и с самого начала было осуждено на неудачу.

Все осталось по-старому. Только правительство воспретило силезским газетам писать о положении силезских ткачей.

1846 год был годом дороговизны и голода, и зимой 1847—1848 года в несчастной Силезии разразился голодный тиф. Правительство постаралось помочь, открыв продажу хлеба по удешевленным ценам и общественные работы. Слишком поздно: у населения не было денег, оно не могло бы купить и самого дешевого хлеба; оно было до такой степени обессилено, что из общественных работ не могло извлечь никакой пользы. Смерть уносила народ целыми тысячами, во многих случаях не щадила даже богатых. В некоторых округах Силезии от голодного тифа погибла двенадцатая часть населения. Жалкие крохи, поданные правительством, не могли залечить страшных ран нищеты,—они зияют и по настоящее время.

В пограничных австрийских провинциях положение было так же плохо, во многих отношениях, пожалуй, еще хуже, чем даже в Силезии. В Богемии, как и в Силезии, уже тогда получила широкое распространение текстильная промышленность, а с нею возник и многочисленный, с трудом поддерживавший жалкое существование пролетариат. Большинство австрийских коронных земель обладало большими естественными богатствами. Тем не менее, под гнетом деспотической системы правления и наполовину феодального, наполовину капиталистического классового господства, народ габсбургских владений искони изнывал в бедности и нищете. Феодализм тормозил прогресс земледелия; барщины и десятины тяготели на крестьянах, так что им, особенно в Богемии и главным образом в Исполиновых горах, приходилось питаться почти одним только картофелем. Бессмысленная торговая политика закрывала для продуктов промышленности сбыт на иностранных рынках, внутренний рынок суживался, благодаря

[1]) Это восстание силезских ткачей послужило сюжетом для известной драмы Гауптмана „Ткачи".

разорению сельского населения. Новые машины вели к уменьшению заработной платы, к удлинению рабочего дня, к сокращению количества рабочих; многие тысячи их остались совсем без работы, а следовательно и без хлеба.

С начала сороковых годов возрастающее недовольство стало проявляться в местных вспышках, которые повторялись все чаще и чаще. Господствующие классы утешались тем, что это—отдельные, преходящие случаи, полиция старалась найти подстрекателей, разыскать нити, связывающие их с заграничными эмигрантами.

В 1844 году случился неурожай. Рабочие в Праге заволновались. Они жаловались, что с введением машин их заработки упали и что фабриканты систематически обсчитывают их. 16-го июня произошли крупные беспорядки. Рабочие разбивали машины и большой толпой, достигавшей до 1.600 человек, в течение нескольких дней расхаживали по городу. Войскам удалось, наконец, оцепить демонстрантов и загнать их в казарму, из которой их скоро выпустили на волю.

Печальнее окончились беспорядки в северной и северо-восточной Богемии, начавшиеся почти одновременно с силезскими. В ситце-печатных заведениях была введена новая (перотиновая) машина, сильно сократившая потребность в рабочих. Заработная плата понизилась, рабочее время возросло, безработных ожидала голодная смерть, тем более что вследствие неурожая вздорожали все предметы первой необходимости. В окрестностях Лейтмерица, Кенигреца, Рейхенберга и т. д. начались сходки рабочих, которые потребовали, чтобы фабриканты впредь не употребляли названной машины. Фабриканты, конечно, отвечали отказом. Толпы рабочих напали на фабрики и разгромили машины. Большая толпа, человек в тысячу, с женами и детьми и снабженная путевыми припасами, направилась в Прагу, чтобы обратиться к эрцгерцогу Стефану с просьбой о помощи. Пражское мещанство пришло в панический ужас, когда к городу приблизились толпы изголодавшихся пролетариев. Австрийский закон воспрещал массовые депутации. Против толпы выдвинули всю полицию и все войска, стоявшие в Праге. Директор полиции приказал стрелять в безоружную толпу, хотя она не подала к тому никакого повода. Рабочие, охваченные негодованием, попытались сопротивляться. Но видя, что, безоружные, они должны пасть бесполезными жертвами, они скоро обратились в бегство. Проходя по Праге, беглецы успели напасть на отдельные фабрики и разрушить машины.

Действия полиции против безоружных рабочих привели в негодование образованное венское общество. Начались сборы пожертвований. Но это были жалкие крохи, недостаточные даже для того, чтобы предотвратить случаи самой крайней нужды. В Исполиновых горах и во всех фабричных центрах тысячи народу умирали от голода. Администрация поручила наемным журналистам изобразить дело так, как будто во всем, и в бедности масс, и в голодном тифе, виновны „жиды“; оно надеялось таким образом отвести недовольство от себя на другой объект.

Правительство, впрочем, назначило комиссию, на которую было возложено не только дело наказания подстрекателей, но и расследование положения рабочих и причин их бедности. Вообще домартовская Австрия обнаруживала величайшую склонность назначать комиссии, совещания, подкомиссии и комитеты для „изучения“ всевозможных вопросов. По великим почетом в Австрии пользовалось именно только изучение. Так и пражская комиссия не пошла дальше этой стадии.

В 1845 году венские фабриканты распустили больше половины рабочих, особенно ткачей. Правительство заволновалось, опасаясь, что опять могут повториться сцены предыдущего года. Оно обратилось к бургомистру с запросом: „действительно ли есть серьезные основания опасаться нарушения общественного порядка вследствие возрастания безработицы“. Венская полиция, в интересах общественного порядка и спокойствия, имела в виду даже принудительное регулирование заработной платы или же ограничение пользования машинами на фабриках. Правительство отвечало отказом и ограничилось тем, что обратилось к бургомистру с такой инструкцией: он должен поставить на вид фабрикантам, что они занимают в государстве почтенное, приносящее материальные выгоды положение; поэтому они обязаны, поскольку это лежит в их силах, помогать правительству, чтобы оно не оказалось в затруднительном положении.

Положение богемских рабочих повсюду было отчаянное. Богемские аристократы и крупные предприниматели благоденствовали, посетители богемских курортов неустанно рассказывали о красотах Богемии, и в то же время тысячи и десятки тысяч людей бежали из этой прекрасной страны, чтобы спастись от голода и эпидемии. Так как они работали дешево, очень дешево, то заработная плата повсюду падала, а рабочий день растягивался до 14—16 часов. Когда наступал торговый кризис и фабрики одна за другой останавливались, по улицам начинали бродить тысячи голодных людей. Полиция проявляла по отношению к ним величайшую жестокость. Нечего и упоминать, что рабочим решительно воспрещалось устраивать какие бы то ни было союзы, задающиеся целью улучшить их положение,—это само собой разумеется. Австрийская правительственная система давила бедняков, чтобы доставить господствующим классам всевозможные выгоды.

1845 и 1846 годы были годами экономического кризиса. Вена переполнилась чудовищными толпами пролетариата, часть которого дошла до состояния полного одичания, потому что при чрезвычайной бедности существование, достойное человека, было ей недоступно. Предместья кишели толпами несчастных, изголодавшихся людей. Конечно, бедность привела многих и к нравственному падению. Пролетариат босяков развился до ужасающих размеров. По ночам проститутки переполняли гласисы и городские рвы; сопровождаемые своими сожителями, так называемыми „Kappelbuben“, соответствующими современным „Zuhältern“, „Louis“, „сутенерам“, „альфонсам“, они проникали и во многие центральные части Вены. Полиция преследовала этих людей; до трех сотен сутенеров, „Kappelbuben“, было отдано в солдаты. Само собой разумеется, это не привело ни к чему: нищета

все возрастала, а с ней рос пролетариат босяков, проституции со своими сутенерами, ночное воровство, грабежи. Стало небезопасно проходить ночью по окраинам Вены. Земляные работы при строящихся железных дорогах не могли предотвратить переполнения городов тысячами безработных. Многие жили как дикие звери, почти без всякой одежды, в канавах для спуска нечистот и показывались только по ночам, чтобы достать себе какой-нибудь пищи, стащить все, что попадется им под руку. „Однажды,—рассказывает Виолан,—в суровое время зимы я зашел к полицейскому комиссару и застал у него до двадцати таких троглодитов, только что взятых облавой. Их тело, обросшее, как корой, грязью и нечистотами, прикрывала только разодранная рубашка и разорванные холщевые штаны. Из бесконечных прорех показывалось голое тело; ноги были обернуты тряпками. Фуражек совсем не было. Я еще никогда не видал в Вене людей в таком одеянии. Справившись у полицейского комиссара, я узнал, что огромное множество таких же несчастных людей прячется по канавам; совершенно невозможно представить себе, как только они выдерживают такую жизнь".

„Дом трудолюбия", устроенный государством, помогал так же мало, как попечительства о бедных, организованные городскими управлениями. Дом этот был хуже каторжной тюрьмы. Начала развиваться частная благотворительность, так как и среди „добрых граждан" были люди с достаточно самостоятельным строем мышления, чтобы уразуметь, как мало виновны сами пролетарии в переживаемых ими лишениях. Стали возникать детские ясли, союзы для помощи и доставления работы освобождаемым из мест заключения, союзы помощи бедным и т. д. Тщеславие богатых „благодетелей" собирало богатую жатву льстивых публичных похвал. Устраивали также столовые для народа, и тысячи бедняков воспользовались ими, когда по предместьям начали раздавать суп и хлеб. Но все это, разумеется, нисколько не препятствовало распространению нищеты. Голодающие рабочие принимали благодеяния повидимому с благодарностью, но в глубине их души нарастало неопределенное озлобление. То пренебрежение, с каким им милостиво швыряли подачки, пробудило в них первые проблески классового самосознания. Но именно только проблески. Они еще не знали того, в чем заключается существо капиталистического производства, и потому чувства их характеризовались невыясненностью и неопределенностью: неопределенное раздражение направлялось против государства, которое обращается с ними, как с рабами, против предпринимателей, которые так плохо оплачивали их труд, против всего общества, которое видело в них жалкие отбросы, подонки—и однако не могло бы существовать без труда этих отбросов,—против всего существующего, потому что сами они не могли существовать. Рабочие еще не понимали новых экономических отношений и потому не могли поставить перед собой ясных, определенных целей и направить всю свою деятельность к стойкому и последовательному преследованию этих целей.

Пониманием социальных вопросов не могло похвалиться и так называемое образованное общество. Но оно хотя несколько было знакомо с работами Луи Блана, Прудона и Ламенна, а по сочинениям Мейснера, Гервега,

Бёрне и Гейне и более широкие круги получали знакомство с идеями французских социалистов. Все запреты Союзного Сейма не приводили к желанным для него результатам: книжная контрабанда достигла огромных размеров, и упомянутые сейчас авторы находили широкий доступ к австрийской читающей публике.

Но они не распространялись вглубь, не доходили до австрийских рабочих. В результате рабочие вступили в социальную борьбу, совершенно неподготовленные к ней. У них не было ни организации, ни даже представления о роли организации, не было цели, не было даже утопического идеала; правда, зато они были свободны от всяких предвзятых мнений, но вместе с тем свободны от всякой социальной программы. В этом нет ничего удивительного, иначе оно и быть не могло. Даже издания, которые решались критиковать и бороться с идеями социализма, тотчас подвергались запрету; союзы рабочих были безусловно воспрещены; такую агитацию, которая в это время развивалась в Рейнских провинциях, австрийское правительство подавило бы тюрьмами и кровопролитием; путешествия в Швейцарию и во Францию для австрийских рабочих были воспрещены; знакомство с передовыми идеями при помощи чтения было недоступно для австрийских рабочих, так как народная школа находилась в ужасающем состоянии и масса была почти поголовно неграмотна. Таким образом австрийские рабочие были самыми отсталыми не только по сравнению с рабочими Рейнских провинций, но во всем Германском Союзе.

Режим Меттерниха угнетал не только рабочих; положение интеллигентного пролетариата в сороковых годах было не многим утешительнее. Первенствующую роль повсюду играла протекция; она закрывала все пути для того, у кого ее не было. Адвокаты отгородились от конкурентов цеховыми перегородками. Литературная деятельность была заподозрена, полна опасностей и сопряжена с неожиданными катастрофами. Газет, кроме официальных, вовсе не существовало.

Учащаяся молодежь боролась с невероятными лишениями, которые достигли крайней степени накануне мартовских дней. Фюстер, университетский преподаватель, игравший видную роль в событиях 1848 г., дает трогательную картину положения учащейся молодежи. „Я часто слышал о бедности студентов,—рассказывает он[1],—но никогда не думал, чтобы она достигала таких размеров. Эта бедность превосходит всякую меру вероятия. Ее может сносить только богатая надеждами юность, находящая в самой себе неиссякаемый источник мужества. Не мало таких студентов, которые целыми неделями не знают теплой пищи и питаются исключительно водою да хлебом. Несчастные без всякой вины с своей стороны расстраивают свое здоровье на целую жизнь. Я уже не говорю о других лишениях: в одежде, в белье и т. д., упомяну лишь о жилищах многих бедных студентов. Темные, сырые подвальные конуры, не отапливаемые зимой, все что угодно, только

[1]) Dr. Anton Füster. Memoiren vom März 1848 bis Juli 1849. Frankfurt a. M. 1850, I. Bd., стр. 45 и сл.

не жилище человека,—вот их квартиры. Если бы они не находили временного пристанища, напр., в общественных библиотеках, зимой они должны были бы погибнуть от холода. Мы знали одного студента, у которого не было никакой квартиры; зимой он жил за городом в стогах сена, каретных сараях и амбарах, а летом, если не было дождя, ночевал под открытым небом. Кто пригляделся бы к этой нищете, тот заплакал бы кровавыми слезами над безвестною бедностью множества студентов. Относительно наибольшее количество бедняков—среди евреев. Вследствие религиозных предрассудков студентам-евреям не в такой степени, как христианам-студентам, доступны так называемые репетиции, даванье уроков; впрочем, и у христиан-то они имеются куда не у многих". Материальное положение венских студентов до известной степени определило их роль в событиях 1848 года.

В конечном итоге в Германском Союзе накопилось в скрытом состоянии множество сил,—отчасти они уже начали проявляться,—которые нуждались только в толчке, чтобы привести к перевороту. Либеральная немецкая буржуазия, которая потом захватила руководящую роль в движении, совсем не ожидала, чтобы толчок явился так, как он явился в действительности. Она уповала, что улучшение общего положения наступит благодаря всевозможным мелким случайностям, вроде смены правления и т. п. И если Маркс в 1843 году писал: „это правда,—старый мир принадлежит филистеру!", он был вполне прав. Филистер старого мира Германии думал, что все должно итти филистерской стезей. Но вдруг земля зашаталась; в старом мире филистеров раскрылась зияющая брешь, и через нее на один миг показался новый мир. Правда, он скоро скрылся опять, но он сделал свое дело, показав в отдалении очертания лучшего будущего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Накануне.

Во второй половине сороковых годов те саркастические слова, которые в 1836 году Гейне вложил в уста своего Тангейзера, в общем уже не характеризовали истинного положения дел в Германии:

Und als ich auf dem St.-Gotthard stand,
Da hörte ich Deutschland schnarchen;
Es schlief da unten in sanfter Hut
Von sechsunddreissig Monarchen [1]).

Такой сонливой Германия уже не была. Изображенное выше печальное положение широких масс народа, голод 1846 года, нищета ткачей, гнет повинностей на крестьянах, тяжесть налогов, суровость юстиции [2]), заносчивость бюрократии—все это породило широкое брожение, хотя оно и проявлялось пока только в разрозненных незначительных вспышках. Так называемые „добрые граждане“, правда, считали признаком хорошего тона не якшаться с бедными ремесленниками, подмастерьями, рабочими, вообще с „низшими“ слоями. Но когда эта „чернь“ начинала беспорядки, протестуя

---

[1]) Когда я стоял на С.-Готтарде,
Я слышал, как храпит Германия;
Там, внизу, спала она под нежной охраной
Тридцати шести монархов.

[2]) Юстиция заслуживала бы особой главы, но это повело бы слишком далеко. Уже политические гонения тридцатых и сороковых годов достаточно характеризуют тогдашнее состояние германской юстиции; тем не менее не будет излишним привести несколько фактов из другой области. В 1845 году один юрист-профессор, читая в Геттингене лекции о телесных наказаниях, заявил между прочим: „Я не хочу прямо рекомендовать телесные наказания, тем не менее они иногда являются хорошим средством отыскания истины“.—В том же году в Кетене старик 61 года нарезал ивовых прутьев, ценностью в 13 грошей 9 пфеннигов, и был за то присужден к тридцати восьми годам и четырем месяцам (38 лет 4 месяца) каторжных работ. В Вюртемберге одна женщина украла яблоки, оцененные в пять крейцеров (7—8 коп.), и была приговорена—это был „рецидив“!—к заключению в работном доме на три года и четыре месяца. Эти мелкие случаи ярче, чем крупные политические процессы и приговоры аугсбургского „кровавого сената“, характеризуют домартовскую юстицию.

против полицейских придирок, против распоряжения держать ворота на запоре, против воспрещений курить, против акцизов и хлебных такс, против вмешательства полиции во все мелочи жизни, против ночных сторожей и полицейских служителей, „добрый гражданин" посматривал на это с улыбкой одобрения и с осторожной снисходительностью заявлял, что „эти люди" не так уж неправы. Впрочем, если беспорядки шли дальше, чем следует по понятиям „доброго гражданина", „добрые граждане" тотчас же были готовы оказать содействие восстановлению „порядка".

Сильно раздражала буржуазный либерализм цензура, которая подавляла в прессе даже конституционные тенденции и зажимала рот вожакам либерализма. С тем большей жадностью либеральные буржуа набрасывались на памфлеты, провозимые из Швейцарии контрабандным путем. Радикальные вожди буржуазии обрушивались в них с ожесточенными нападками на германских монархов, на духовенство, на аристократию и бюрократию. В особенности выделился тогда своими листками революционного содержания Карл Гейнцен, который воображал, что своим пером он может перевернуть целый мир.

Гейнцен был типичным представителем буржуазного политического радикализма, который держится на поверхности явлений и, не интересуясь происхождением политических форм из вполне определенных социальных отношений, считает эти формы основным источником всех бедствий, всякой реакции. Политический радикализм не способен уразуметь того, что скрывается за этими формами, в чем их источник. Для Гейнцена основной, первоначальной причиной реакции были только монархи и никто больше. В таком понимании дела Гейнцен странным образом встречался с монархами, для которых основной источник всех революционных движений лежит тоже в отдельных личностях, в подстрекателях, в демагогах, но отнюдь не в общественном строе. Как ни поверхностны были такие воззрения, они пользовались огромным успехом, с ними приходилось считаться, и Маркс (в „Немецкой Брюссельской Газете") выступил против них с уничтожающей критикой. Он показал, что не монархи—творцы немецкого общества, а, напротив, германское общество—творец монархов. Германское общество на определенной стадии своего развития создало монархов, которые и опираются на господствующие классы этого старого общества. Теперь монархи выступают в реакционной роли потому только, что в порах старого общества развилось новое; на него давит политическая оболочка, которая была впору старому обществу, но стесняет все движения нового. Именно потому, что развилось новое общество, оно и начинает чувствовать, что старая политическая скорлупа является реакционной силой. Разумеется, реакционность монархов при такой точке зрения свидетельствует только об одном: старое общество отжило свое время. Конечно, Гейнцен органически не способен был понять такие воззрения: его журнальная деятельность осталась попрежнему шумной, трескучей и поверхностной.

Массе народа было пока не до интеллектуальных интересов: она страдала под гнетом нужды и лишений. Уже 1846 год мог считаться голодным

годом. В следующем году промышленный кризис разразился над Англией и над континентом Европы. Земледелец, ремесленник, фабрикант—все оказались в самом безотрадном положении. Неурожаи еще больше сократили и без того упавший спрос на продукты мануфактур и фабрикаты. Товары оставались нераспроданными, фабрики останавливались одна за другой, толпы рабочих были выброшены на улицу. Заработков не было, а цены предметов первой необходимости стремительно повышались [1]).

Конечно, в городах дороговизна чувствовалась всего сильнее. Произошел целый ряд беспорядков, как в 1844 и 1845 годах. Причина их заключалась в том, что народ совершенно не знал, чем ему жить. Голодный желудок, как известно, самый энергичный революционер. Но хотя он и вызывал беспорядки, последние в общем носили невинный характер,—в них проявлялась жгучая ненависть только против тех лиц, которые старались использовать народную бедность и увеличить свои барыши.

Берлинская „картофельная война" в апреле 1847 года типична для такого рода волнений и уличных беспорядков. Цены предметов первой необходимости достигли в Берлине неслыханной высоты, что в значительной степени обусловливалось своекорыстной спекуляцией крестьян и торговцев. Жены рабочих в отчаянии приходили с рынка домой с пустыми руками, так как даже картофель сделался для них недоступным,—цена его поднялась до шести зильбергрошей за меру и даже еще выше. Кроме того, крестьяне и разносчики позволяли себе издеваться над покупателями, не стесняясь употреблять иногда грубые выражения. В конце концов несколько женщин напали на разносчика у Ораниенбургских ворот и порядочно поколотили его. Толпа мужчин и женщин из Розентальского предместья, из так называемого „Фойгтланда", расправилась таким же народным судом с торговцами на других рынках. Вмешалась полиция. Но на третий день народная ярость обра-

[1]) Следующая табличка дает яркое представление о возрастании цен главнейших предметов питания (в Вене).

Г О Д Ы.	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847
Пшеница . . .	2,22	2,55	3,16	3,5	2,29	2,51	2,36	3,11	4,24	5,52
Рожь	1,34	2,3	2,17	2,0	1,57	2,2	1,36	3,02	3,9	4,25
Ячмень	1,22	1,43	1,51	1,41	1,48	1,31	1,10	1,31	2,12	3,4
Картофель . .	0,38	0,49	0,53	0,41	1,7	1,8	0,45	0,41	1,12	2,8
Мясо	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9¼	0,9	0,9½	0,9	0,1	0,1

Цены обозначены в гульденах и крейцерах, хлеба и картофеля—за нижне-австрийскую меру, мяса—за австрийский фунт. Зимой 1847—1848 года дороговизна достигла крайних пределов.

тилась против так называемых „материалистов“, т.-е. против торговцев овощами и колониальными товарами, а также против мясников и пекарей, которые тоже были виновны в ростовщической эксплоатации масс. Толпы нападали на лавки и захватывали съестные припасы; если лавочники обнаруживали грубость, лавки подвергались разгрому, в стекла летели камни; во многих случаях толпа наносила лавочникам побои. В пекарнях толпа взвешивала хлеб. Если оказывалось, что хлеб в пять грошей весит больше трех фунтов, торговцу пожимали руку, кричали в честь его ура, а на стенах лавки делали надпись, что хлеб имеет здесь правильный вес. Потом толпа оставляла лавку. Если же оказывалось, что хлеб весит слишком мало, с пекарем разделывались так же, как и с прочими спекулянтами. Беспорядки продолжались четыре дня. Наконец, вмешалась администрация. По улицам разъезжали военные патрули и шашками, ударами плашмя, разгоняли толпу. До трехсот человек, в том числе семнадцать женщин, было арестовано. Приблизительно сотне был вынесен обвинительный приговор. Они вышли из тюрьмы только 20 марта 1848 года. Городское управление и частная благотворительность приняли некоторые меры и стали оказывать известную помощь в случаях крайней нужды. Таким образом спокойствие в Берлине на время опять восстановилось.

В окрестностях Берлина нужда тоже приняла большие размеры. В особенности страдали бумаго-ткачи в Новавесе. Здесь была организована столовая для нуждающихся, но до крайности жалкая.

Однако в самом плохом положении попрежнему находилась Силезия. Нищета здесь все возрастала. В берлинских газетах того времени появились ужасающие описание опустошений, производимых в Силезии голодом и связанной с ним эпидемией. Отсюда шли постоянные призывы к частной благотворительности, но она оставалась, как и была, недостаточной.

И в Австрии снова вспыхнули волнения. В разных местах Богемии, в Праге, Пильзене, Комотау, Эгере и т. д. беспорядки рабочих пришлось подавлять военной силой. В самой Вене, благодаря страшной дороговизне, в марте 1847 года произошли беспорядки, направленные против торговцев и сопровождавшиеся разгромом мясных лавок и хлебо-пекарных заведений.

Заволновалось, при всей своей забитости, даже сельское население. В Штирии крестьяне выступили толпой, численностью до 4.000 человек. Чтобы рассеять их, потребовалось вмешательство войска. Движение распространилось до окрестностей Зальцбурга. Повидимому, оно было вызвано главным образом взысканием недоимок; во многих случаях оно сопровождалось отказом крестьян от дальнейшего исполнения барщинных работ.

Все это порядочно встревожило венское правительство. А тут еще венский бургомистр обратился к нему с тайным отношением, в котором обращал его внимание на „тревожные симптомы рабочего движения“ и на „угрожающую социальную опасность“. Однако правительство не лучше знало, что ему делать, чем бургомистр. Оно организовало в Вене и на Пратере

земляные работы, которые дали занятие 15.000 безработных. Но работы были совсем бесполезные и ненужные, следовательно, это была лишь временная оттяжка и мимолетная помощь, не говоря уже о том, что работы были совсем непривычные для городских рабочих. Правительству просто хотелось найти хоть бы временный выход из затруднительных обстоятельств. Но, как это бывало и раньше, едва первый страх миновал, правительство спокойно сложило руки и употребило все силы на то, чтобы убедить себя, как неосновательно, какими чисто внешними обстоятельствами было вызвано все возбуждение.

Таким образом движение сказалось почти на всей территории Германского Союза. В одних местах волновались безработные, голодающие рабочие, в других—задавленные и измученные крестьяне. Но этого мало: в 1847 году изменилась и вся политическая атмосфера.

В ноябре 1847 года закончил свое существование Зондербунд, сепаратный союз клерикальных кантонов Швейцарии, выделившихся из федерации. Либеральные и демократические кантоны, истощив все средства мирного соглашения, с такой быстротой двинули войско на клерикальные кантоны, что те не могли и думать об обороне. Весь поход завершился в несколько дней. Зондербунд пользовался особым благоволением монархических правительств Европы. Поражение Зондербунда по существу было равносильно их поражению. Но это было только начало. Победители, не обращая внимания на протест держав, предприняли пересмотр союзной конституции и кроме того наложили особую контрибуцию на кантон Нейенбург (Невшатель), стоявший под покровительством прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. Король не старался скрыть своего негодования на радикалов Швейцарии. Франция, Австрия и Пруссия готовились даже заключить формальный союз, чтобы, опираясь на вооруженные силы, вмешаться в швейцарские внутренние дела, и только быстрое развитие событий помешало осуществлению этого плана. Недовольство кабинетов было как нельзя больше понятно: тринадцать кантонов, вопреки ясно выраженной воле держав, взялись за оружие и вышли из борьбы победителями. Это показало народам, как не уверены в своем деле и в своих силах сами правительства. Германские либералы были охвачены радостным возбуждением и торжествовали победу швейцарских либералов, как свою собственную.

Итальянское объединительное движение, хотя „либеральный", лицемерно примкнувший к нему, папа Пий IX и разыграл с итальянцами недостойную комедию, тоже вызвало в Германии взрыв энтузиазма.

На юге Германии наблюдалось больше проблесков политической жизни чем на севере, потому что в отдельных южно-германских государствах конституционализм пустил крепкие корни. В Бадене политическая жизнь развивалась всего энергичней; в палате сформировалась сильная оппозиция. Ее представители, особенно Ицштейн, Геккер, Велькер и другие, пользовались широкой популярностью во всей Германии. В то время, несомненно, преувеличивали значение этой парламентской оппозиции, но по своим формам явление это было совершенно новое для Германии и потому оно производило

огромное впечатление. Радикальные и либеральные политики выступали с великою необузданностью и решительнее всего те из них, которые впоследствии превратились в умеренных или даже в реакционеров. Надворный советник Велькер, который впоследствии запрягся в колесницу наследственной императорской власти, однажды патетически воскликнул: „Монархи должны убираться со своих тронов и притом без малейшего промедления!" Карл Мати, в свое время вынужденный эмигрировать в свободную Швейцарию, а в 1848 году произведенный в баденские министры, в 1847 году протестовал против идеи общего для Германии парламента, так как он опасался, что этот парламент не объявит в Германии республиканской формы правления.

Баденская парламентская оппозиция против сторонников министерства, получивших кличку „парламентских зайцев", оставалась в меньшинстве. Но она опиралась на вне-парламентскую силу, на внушительное народное движение, в котором переплетались либеральные и демократические элементы. Рука об руку с ней действовал целый ряд журналистов. Так, Густав Струве в Мангейме вел упорную борьбу с местной цензурой; она окончилась полным моральным поражением этого несчастного учреждения и сыграла известную роль для всей Германии. Он и ряд других журналистов—Филипп Стай, Иосиф Фиклер—поддерживали в газетах требования парламентской оппозиции.

Фридрих Геккер и Густав Струве, оба решительные республиканцы, скоро сделались самыми влиятельными в Бадене политическими деятелями. Геккер обладал даром увлекательного красноречия. Струве некогда начал было дипломатическую карьеру, но скоро оставил ее и теперь действовал преимущественно как журналист. В союзе с многими единомышленниками он созвал на 12 сентября 1847 года в Оффенбурге народное собрание. На собрании были формулированы следующие пункты „народных требований":

„Отмена карлсбадских, франкфуртских и венских постановлений; свобода печати, свобода совести и обучения; присяга войска в верности конституции; защита свободы личности против полиции; национальное представительство в Германском Союзе; демократическая организация обороны страны; справедливая система обложения; общедоступность обучения; суды присяжных; демократическое управление государством; устранение ненормальных отношений между капиталом и трудом и уничтожение всех привилегий".

Требования буржуазной демократии и либерализма впервые получили сжатую и решительную формулировку. Хотя социальный вопрос был затронут лишь крайне поверхностно—или, быть может, именно потому,—оффенбургские постановления произвели огромное впечатление не только в Германии, но и за границей. Действительно, по сравнению с существующим строем Германии, они представляли огромный шаг вперед. Баденское правительство не обратило на требования никакого внимания, но приняло меры, чтобы возбудить против инициаторов собрания судебное преследование по обвинению в государственной измене.

Венгрия переживала период расцвета политической жизни. Австрийское правительство постаралось задержать ее развитие при помощи суровых бюрократических мер. Но венгры не дали запугать себя и стойко держались за конституционные завоевания. При выборах в венгерский рейхстаг дому Габсбургов были нанесены тяжкие поражения; в Пешто демонстративно избрали Людвига Кошута, который скоро сделался самым опасным врагом Габсбургской династии. Кошут и его политические единомышленники, члены демократически-конституционной партии, вели в венгерском парламенте борьбу против габсбургского деспотизма и вкладывали в нее всю пламенную страстность, характерную для венгерской нации. Они были достаточно предусмотрительны для того, чтобы привлечь на свою сторону и крестьян. С этой целью они провели постановление, согласно которому землевладелец должен был подчиниться, если крестьянин потребует выкупа феодальных повинностей. События в венгерском рейхстаге не могли не произвести глубокого впечатления на Германию.

Настроение в Германии было напряженное. У всех было неопределенное предчувствие неотвратимо надвигающихся событий. Политическая атмосфера была напряженная. Союзный Сейм тревожно следил за каждым движением оппозиции. Он уже обсуждал вопрос об „энергичных действиях" против Швейцарии, так как последняя превратилась в страну революционно-пропагандистских происков, что представляло угрозу для мира и спокойствия соседнего государства; и во внутренних делах, полагал Союзный Сейм, Швейцария действует таким образом, что гарантированный ей нейтралитет оказывается нарушенным как формально, так и по существу. Значит, революционные сочинения, распространяемые из Швейцарии, сильно попортили нервы почтенных политических ночных сторожей, избравших своей резиденцией Франкфурт на Майне.

Как представляли себе положение в начале 1848 года придворные и высшие сферы, это лучше всего показывает тронная речь, произнесенная 22 января 1848 года вюртембергским королем Вильгельмом при открытии собрания сословий (земских чинов). Этот монарх, уже в 1819 году введший конституцию и решительный противник Пруссии, заявил:

„Общеизвестные происшествия в Швейцарии, вызванные столкновением диаметрально противоположных партий и разросшиеся до гражданской войны, могут оказать опасное влияние и на соседние страны. Преступники-немцы, преследуемые судами, собрались в той стране, стараются войти в союз со своими земляками и наводнить нашу страну сочинениями революционного содержания. Они не останавливаются ни перед какими средствами, как бы предосудительны они ни были, чтобы распространять возбуждение и недовольство существующим. При таком положении вещей, которое одинаково опасно и для нас и для наших соседей-союзников, я с полным доверием обращаюсь к моим верным сословиям, потому что они, стоя во главе нашего народа, служат выразителями его мыслей и его умонастроения. Я открыто излагаю вам, в каком положении находимся мы. Если воздействия извне усилятся, то я, как некогда против врагов нашего отечества,

теперь, после почти 32-летнего управления, с таким же непоколебимым мужеством, с такой же незыблемостью и твердостью принципов выступлю против нарушителей нашего внутреннего спокойствия".

Таким образом в королевских дворцах, как и среди масс, тоже были свои „предчувствия" [1]).

„Воздействия извне" на самом деле усилились и притом в такой мере, как этого никто не ожидал ни в дворцах, ни в хижинах.

---

[1]) Еще одна иллюстрация напряженности и уверенности ожиданий: 12-го февраля Велькер заявил в баденской палате: „Прежде, чем весеннее солнце растопит снег на горных вершинах, солнце весны народов расплавит лед реакции. Помните приснопамятные слова Нибура: право народов древнее и выше, чем право династий".

1848 год.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

1848 год.

Народы центральной Европы вступали в 1848 год с какими-то неопределенными ожиданиями. Раньше всего эти ожидания приобрели осязательную форму в Италии. Уже в предыдущем году папа Пий IX и Карл-Альберт Сардинский сделали некоторые уступки конституционного свойства. Напротив, Фердинанд II, король Сицилии, упорствовал и сохранял старую систему угнетения, построенную по меттерниховским рецептам. Пламенные сицилийцы первые почувствовали всю невыносимость системы, и уже 12-го января 1848 года в Палермо вспыхнуло восстание, которое скоро охватило весь остров. Восставшие требовали восстановление конституции 1812 года, введенной англичанами, свободной печати, народной милиции, самостоятельного правительства и администрации. Лорд Пальмерстон, стоявший во главе английского кабинета, казалось, склонен был покровительствовать либеральному движению в Италии. Фердинанд сделал некоторые уступки, но они не успокоили сицилийцев. Чтобы задушить либеральное движение, Фердинанд прибег к силе оружия. В Сицилию двинулись сильные подкрепления, и Палермо был подвергнут страшной бомбардировке, которая доставила Фердинанду историческое прозвище „Короля-Бомбы". Но Палермо не сдался. 19-го января представители всех европейских держав и Северо-Американских Соединенных Штатов заявили протест против варварского отношения к городу [1]).

С сицилийцами не могли справиться. А так как 27-го января сильное общественное движение дало знать о себе и в Неаполе, то Фердинанд пошел на уступки, обещал конституционные государственные учреждения и приказал возвестить основные принципы нового строя. Коварный Бурбон поступал так с задней мыслью: воспользоваться первым же случаем, чтобы отобрать все уступки и отометить за свое поражение. Но пока что, с 10 февраля 1848 года вступила в силу новая конституция, которая, впрочем, не удовлетворила ни сицилийцев, ни неаполитанцев.

---

[1]) 31-го января 1848 года известный Тьер заявил во французской палате депутатов, что это—неслыханное дело, чтобы Палермо подвергался бомбардировке в течение сорока восьми часов. Но в 1871 году, во время восстания Парижской Коммуны, Париж, по приказанию того же Тьера, бомбардировали четыре недели.

Следовательно, победа народа в Неаполе и Сицилии была полевинчатой победой; тем не менее произведенное ей впечатление сказалось во всей Италии. В Папской области, в Сардинии, в Тоскане были даны конституции. В Ломбардии и Венеции, этих частях Италии, принадлежавших Австрии, началось настолько серьезное брожение, что близость восстания стала очевидной для всех.

Итальянское восстание было направлено не только против светского, политического деспотизма, но и против господства иезуитов. Оно произвело огромное впечатление на Европу. Но в то самое время, как оно развивалось, в политической жизни Германии разыгрались события, свидетельствующие о благоприятном отношении к иезуитам. Лола Монтес, возлюбленная Людвига I, баварского короля, по низвержении господства иезуитов выдвинула либеральное министерство, так называемое министерство Лолы. Члены его—придворные и люди без политических убеждений—всецело подчинялись капризам взбалмошной и дерзкой танцовщицы. Ничто не доставляло ей большего наслаждения, как во всем идти наперекор мюнхенским филистерам, переполненным пивом, и филистерским нравам. Иезуиты искусно раздували недовольство против метрессы и ее министерства и добились того, что скоро возникло глухое брожение; а Лола с своей стороны делала все возможное, чтобы вызвать к себе ненависть мюнхенцев. Она любила шататься со студентами, бражничать и кутить с ними. Землячество „Германия" пользовалось особенным ее благоволением. В публике ходили пикантные рассказы о приключениях Лолы на студенческих попойках. Члены „Германии" перессорились с другими студентами, так как получили от них оскорбительное прозвище „Лоламанов" (игра слов:—„Allemannen"—„алеманны", „германцы", члены землячества „Allemannia", „Германия"). Произошли крупные столкновения. А в заключение Лола в негодовании заявила: „Я прикажу закрыть университет; я вообще не могу больше терпеть его здесь!" И действительно, через несколько дней—9 февраля—появился королевский указ, скрепленный и подписанный министерством и закрывавший университет.

Но это было слишком сильно даже для пивных филистеров Мюнхена, которых и без того уже хорошо обработала низверженная партия иезуитов. Пока Лола предавалась своим сумасбродствам, а король воспевал ее в обильных причастиями виршах, мюнхенцы давали простор своему недовольству только за кружками с пивом. Но десятого февраля они толною собрались перед ратушей и двинулись ко дворцу короля, чтобы добиться отмены распоряжения о закрытии университета. Надо полагать, у Лолы были слишком недостаточные социально-экономические познания; иначе она могла бы предвидеть, что некоторое сокращение доходов, не говоря уж о полном уничтожении их, должно и самого кроткого пивного филистера сделать „революционером". Значительная часть мюнхенских граждан и ремесленников жила студентами; теперь им приходилось расстаться с этим источником доходов,— понятно, откуда у них внезапно явилась решительность. Сначала король не хотел уступать, но студенты заявили, что они отступят только перед силой оружия. Наконец, король обещал, что к Пасхе он прикажет снова открыть университет.

Однако ночью произошли столкновения между студентами и жандармами, и беспорядки охватили весь город. Граждане снова собрались перед ратушей, в дело вмешались члены государственного совета, а войско, стоявшее под командой клерикальных офицеров и привыкшее при усмирении пьяных бунтов дружелюбно относиться к толпе, обнаруживало нерешительность. Тогда гражданам обещали, что университет откроют немедленно.

Это не успокоило возбуждения горожан. Они повалили к дому танцовщицы Лолы. Лола, которая, танцуя, так дерзко попирала ногой все традиции добрых баварцев, так безжалостно рассекала их своим хлыстиком амазонки, теперь увидала, что ее царству наступает конец. Лишь с величайшим трудом и лишь потому, что к ней самолично явился сам король, ей удалось скрыться от разъяренной толпы; но зато король был осыпан грубой баварской бранью. Лола отправилась в Линдау, оттуда опять завязала сношения с королем и не раз после того, переодетая, приезжала в Мюнхен.

Отголоски этой революции, произведенной филистерами пивных, еще долгое время чувствовались в Баварии; возбуждение было в особенности длительным среди бравых мюнхенцев, которые так энергично вступились за своих иезуитов. И, что весьма характерно,—до великого поворота, совершившегося во Франции, революция эта оставалась единственным сравнительно крупным проявлением политической жизни в Германии. Правда, многие склонны приписывать огромное политическое значение одному предложению, внесенному около этого времени Бассерманом в баденскую палату: но с такой оценкой никак нельзя согласиться. Либерал Бассерман к этому времени уже порядочно присмирел и старался сблизиться с правительством Бадена: потому-то он 12-го февраля и внес в баденскую палату свое предложение о национальном представительстве в Германском Союзе. Предложение это не было „деянием" Бассермана,—оно было только слабым отзвуком требований народа, заявленных с несравненно большей энергией и решительностью. Кроме того, чтобы выставить такое требование, в Оффенбурге требовалось несравненно больше мужества, чем в палате. В словах „Германский парламент" для буржуа-конституционалистов слышалось какое-то волшебство; напротив, консервативным духовидцам баденской палаты за предложением Бассермана чудились все ужасы кровавой революции. Предложение было передано в комиссии, из которых оно так и не возвратилось, потому что события опередили его. Но предложение это доставило имени Бассермана совершенно незаслуженную популярность; это открыло перед мангеймским москотильщиком карьеру „государственного человека" и породило в нем манию величия, которая впоследствии привела его к самоубийству.

Всеми в это время владело предчувствие, что предстоит нечто великое, неопределенное, ужасное. „Верхи общества" смотрели на будущее со страхом, мещане—с озабоченностью, а те, кому нечего было терять,—отчасти с надеждами, отчасти равнодушно. Политические ночные сторожа, официальные и неофициальные, толковали о „духе мятежа", о „совратителях", „подстрекателях" и „совращенных", призывали подчиняться „уста-

новленному Богом порядку" и безропотно нести бремя сей земной юдоли страданий, за что в будущем ожидает соответствующая награда. Такие голоса звучали на всех стогнах и улицах.

Но тут возвысила свой голос история и разом оборвала все разглагольствования. Подобно оглушительному раскату грома, напряженную атмосферу Германии пронизало известие, что король Луи-Филипп в Париже низвергнут. 26-го февраля 1848 г., в 7 часов вечера, пораженная Германия с трепетом возбуждения читала в экстренном прибавлении в „Кельнской Газете":

„В Париже революция! Объявлена республика! Позавчерашний день легко может оказаться роковым для миллионов людей. Парижский бунт 24 февраля принял совершенно неожиданный оборот,—вспыхнула революция. Борьба направилась против королевской власти. После того, как все уступки, на которые согласился король, были отвергнуты, в результате событий, о которых у нас пока нет обстоятельных сообщений, была объявлена республика".

Да, он действительно был низвергнут, этот Людовик-Филипп, которому прусский король Фридрих-Вильгельм IV писал всего за несколько недель перед тем: „Государь, вы—щит европейских монархий, вы—рука, подъятая Провидением, дабы спасти дело целых столетий и утвердить общество на его исконных, но потрясенных основах!"

И редко когда еще подобные „щиты" разбивались с большей основательностью. Июльская монархия давно уже переполнила чашу терпения; поэтому капли банкетов реформы было достаточно, чтобы оно окончательно лопнуло. Пресловутая „система" Людовика-Филиппа, организованная и направляемая двумя политическими фиглярами, Тьером и Гизо, покрыла Францию грязью невероятной продажности. Биржа в эпоху „буржуазного короля" была во Франции всемогущим учреждением; сам король стоял во главе спекулянтов, а крупные капиталисты старались посильно претворять в действительность девиз эпохи: „enrichissez-vous",—„обогащайтесь". Законодательство, попавшее в руки чуждых народу и в своем большинстве продажных палат, делало все, чтобы обеспечить за крупными капиталистами их привилегии. Общество распадалось на ничтожное меньшинство спекулянтов, любимцев фортуны, с двором во главе, на широкую массу мелкой буржуазии, которая выносила тяжкий гнет воцарившейся экономической и финансовой политики, и на еще более широкую массу пролетариата, который в больших городах— в Париже прежде всего—составлял огромные массы. Ничтожное меньшинство предавалось излишествам, биржа переживала настоящие оргии, и в то же время бедность масс ужасающим образом вырастала. Кризис сороковых годов дал знать о себе и во Франции. Насилие и продажность правительства, его жестокость и худо направляемая внешняя политика, не считавшаяся с щепетильной национальной гордостью французов, не мало содействовали тому, чтобы довести до пределов возможного негодование против господствующей системы. Французы увидали, что буржуазия после июльской революции одурачила их, когда устами старого „простофили" Лафайета реко-

мендовала им в короли Людовика-Филиппа, как „лучшую из республик". Пробудились воспоминания о великой революции; их распространению усердно содействовали тайные республиканские и социалистические общества. Рабочие обращались к социализму; правда, последний носил еще сектантский характер и не достиг полной ясности в представлениях о своих целях; тем не менее он пробуждал среди рабочих классовое самосознание.

Буржуазный либерализм в своей борьбе ограничивался парламентской областью; он полагал, что лишь избирательная реформа может оздоровить государственный организм, вконец изъеденный язвой продажности. Поэтому либералы устроили ряд так называемых банкетов реформы, на которых много и хорошо ели и пили и возглашали тосты за избирательную реформу. Как ни невинна была эта агитация, правительство, само собой разумеется, всеми силами старалось положить ей всяческие препятствия. В прениях палаты депутатов об избирательной реформе и о банкетах реформы либеральная оппозиция была подавлена правительственным большинством и осмеяна издевательствами. 21-го февраля по распоряжению Гизо был воспрещен банкет реформы, назначенный в Париже на 22-е февраля; раньше либеральная оппозиция палаты обещала свое участие на этом банкете. Теперь либералы подчинились распоряжению и говорили только о возбуждении законного преследования против министров.

Но воспрещение банкета послужило внешним толчком, которого только и не хватало, чтобы лавина пришла в движение и чтобы произошло столкновение противоречий, порожденных политическими и экономическими отношениями. Грубость правительства уже давно привела народ в величайшее возбуждение; его нельзя было так легко запугать, как либеральную оппозицию в палате депутатов. 22-го февраля на парижских улицах стали собираться толпы, началась суматоха, беспорядки, всевозможные демонстрации. На улицах загремели звуки „Марсельезы", этого старого революционного гимна, кое-где произошли небольшие схватки с муниципальной гвардией. На следующий день, чтобы подавить беспорядки, правительство стянуло значительные военные силы. Но и сопротивление усилилось в такой же степени. Выросли баррикады; чтобы добыть оружие, толпа разбила оружейные магазины. Национальная гвардия держалась в стороне или же выступала посредником между войсками и восставшими, при чем явно склонялась на сторону последних. Борьба все разгоралась; под конец она привела в такой страх Людовика-Филиппа, что он дал отставку своему верному министру Гизо и назначил министерство Молэ, но это уже не привело ни к каким результатам. Буржуазия с восторгом приветствовала этот „успех", народу же до него не было никакого дела, и он остался на баррикадах. Ярость толпы снова воспламенилась, когда главным начальником войск был назначен жестокий солдат, генерал Бюжо. В этом увидали предзнаменование, что, если восстание будет подавлено, начнется кровавая реакция. В то же время вследствие одного из „недоразумений", обычных в моменты революций, перед отелем министра Гизо произошло столкновение между народом и войском. Из толпы раздался пистолетный выстрел, войско немедленно ответило залпом, и на

месте осталось более пятидесяти человек убитых и раненых. Толпа с дикими криками бросилась по улицам; республиканские лидеры в горячих речах призывали к отмщению. В то время, как кварталы буржуазии были иллюминованы, в кварталах бедноты выламывали камни из мостовых, и баррикады вырастали из земли с волшебной быстротой. Скоро началось повсеместное сражение на улицах, которое продолжалось целую ночь. Человек железа и крови, Бюжо, не мог справиться с восстанием, тем более, что и регулярные войска оказались не совсем надежными. Мещанская душа Людовика-Филиппа все еще не понимала, что восстание направлено против него самого и его „системы"; он все еще надеялся, что ему удастся успокоить восставших, разыграв комедию с назначением „либерального" министерства Тьера. Но народ не удостоил это министерство своим вниманием и продолжал борьбу. Тогда Людовик-Филипп окончательно потерял мужество: он отрекся от престола, предварительно назначив своим преемником своего внука, графа Парижского, а его мать, герцогиню Орлеанскую,—регентшей. В величайшем унижении король биржи покинул арену своего восемнадцатилетнего продажного управления.

Борьба на один момент прекратилась, потому что либеральная буржуазия была удовлетворена таким результатом. Но муниципальные гвардейцы опять привели народ в раздражение, и по улицам прогремел бурный крик: „В Тюильри!" Борцы баррикад огромной толпой двинулись к древнему дворцу королей. Немногие защитники были сломлены, и здание взято приступом. Внутри дворца все было разрушено, но ничего не украдено. На стенах Тюильри сделали надпись: „Национальная собственность". Трон Людовика-Филиппа вытащили наружу и потом, при стечении необозримой толпы, сожгли на площади Бастилии, у подножия колонны, поставленной в память польской революции (1830 года).

Между тем в палате депутатов разыгралась сцена, полная драматизма. Там искала убежища герцогиня Орлеанская со своими двумя сыновьями. Палата в нерешительности колебалась между регентством и временным правительством. Но вдруг в палату вторгся народ: покрытые пороховым дымом борцы с баррикад и блузники; бурные крики: „Долой Бурбонов! Да здравствует республика! Временное правительство!" положили конец бестолковым дебатам. Герцогиня Орлеанская скрылась, а с ней и депутаты-роялисты. Власть была захвачена остатком палаты и народом, которые учредили временное правительство. Членами этого правительства были избраны Ламартин, получивший известность как поэт и оратор оппозиции в палате, „умеренные" республиканцы — Кремье, Дюпон и Араго, а также „решительные" республиканцы—Ледрю-Роллен, Мари и Гарнье-Пажес. Арман Марра, Флокон, Луи Блан и механик Альбер были назначены секретарями правительства. Назначение Альбера было уступкой рабочим.

Людовик-Филипп бежал в Англию. Города Страсбург, Лион, Безансон, Авиньон, Валанс, Нарбонна, Байонна, Тулуза, Марсель, Руан, Гавр и т. д. один за другим высказались за революцию, так что через несколько дней республика была признана целой Францией. Пальмерстон в свою очередь дружелюбно отнесся к новому правительству.

Сначала вся Франция представляла картину единодушия. Легитимисты, сторонники Бурбонов, признали республику, потому что они больше всего ненавидели династию Орлеанов, выдвинутую революцией. Буржуазия бросилась в объятия республики, потому что она видела во главе ее „почтенных“ людей и надеялась, что они охранят Францию от „красной“ социал-демократической республики. Рабочие тоже приветствовали республику, так как они питали надежду, что республика даст им работу, хлеб и защиту против эксплоатации.

Первые декреты временного правительства были встречены бурей восторгов. Все, казалось, было охвачено блаженством и энтузиазмом. Вся средневековщина, под видом двора Орлеанов царившая над Францией всего за несколько дней перед тем, внезапно и бесследно исчезла.

Первым шагом нового правительства было торжественное объявление об уничтожении монархии во Франции, — в первый раз такое же постановление было сделано за 56 лет перед тем. Потом временное правительство организовало летучую гвардию из 24 батальонов, по 1.048 человек в каждом; в этой гвардии могли найти для себя прибежище многочисленные безработные. Вслед за тем временному правительству пришлось приступить к труднейшей задаче — к рабочему вопросу. Оно прекрасно понимало, что необходимо кое-что сделать в интересах рабочих, иначе снова началась бы борьба. Поэтому правительство приняло такое постановление:

„Временное правительство республики берет на себя обязательство обеспечить рабочему возможность существовать трудом. Оно обязуется доставить работу для всех граждан. Оно признает за рабочими право объединяться в союзы, чтобы достигнуть справедливой оплаты труда. Временное правительство предоставляет в распоряжение рабочих миллион, который освободился за уничтожением цивильного листа (т.-е. сумм, предназначавшихся на содержание короля и королевской семьи). Тюильри впредь будет служить убежищем для инвалидов труда. Временное правительство немедленно сделает распоряжение об организации национальных мастерских“.

Этот декрет породил среди рабочих радостные иллюзии. Они полагали, что наконец-то им удалось добиться лучших условий существования и избавиться от капиталистической эксплоатации. В то время никому не приходило в голову, что национальные мастерские в самом непродолжительном будущем удастся использовать против социализма и против самих рабочих. Буржуа, забравшиеся во временное правительство, полагали, что в это переходное время целесообразнее будет по мере возможности скрывать свои истинные намерения; они надеялись, что им скоро удастся устранить неудовольствие капиталистов и предпринимателей против национальных мастерских. А пока что, временное правительство организовало даже „парламент рабочих“, собиравшийся в Люксембургском дворце и под руководством известного социалиста Луи Блана и „рабочего“ Альбера обсуждавший рабочий вопрос. Простые обсуждения, конечно, не могли иметь особенного практического значения. Таким образом временное правительство уже обнаруживало береж-

ное отношение к интересам буржуазии. Но еще больше оно проявилось в другом декрете, который устанавливал двенадцатичасовой рабочий день. Да и этот, будто бы „нормальный“, рабочий день был установлен лишь на бумаге.

Наконец, временное правительство распорядилось произвести выборы в национальное собрание, которое созывалось на 5-е мая и должно было выработать новую, республиканскую, конституцию. Таким образом все завоевания революции, казалось, были обеспечены. Французы переживали прекрасный, но слишком короткий сон, от которого они быстро проснулись лицом к лицу с страшным столкновением классовых противоречий. А в последнем итоге — кровопролитная гражданская война, поражение рабочих и, наконец, крушение ослабленной, истекшей кровью республики.

Но сначала прекрасные грезы охватили всю Францию. Ламартин обратился к иностранным правительствам с нотой, переполненной заверениями в миролюбии. Она производила такое впечатление, как будто знаменитый поэт превратил в дипломатический документ свои лирические стихотворения. И разве могло быть иначе, когда весь мир грезил о мире, свободе и счастье?

Люди, переживавшие такие дни, не погружались в глубокомысленные размышления, но всецело отдавались впечатлениям момента. И это стоит в полном соответствии с природой человека. Увидав отдаленное мерцание нового мира, люди уже думали, что старый погиб окончательно. Разочарование не заставило себя ждать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мартовские бури.

Избитой фразой для историков, идущих по избитым дорогам, сделалось утверждение, будто прокатившееся из Франции в Германию революционное движение 1848 года застало немцев „недостаточно зрелыми“. Люди, которые утверждают это, убеждены, что исторические перевороты обусловливаются „идеями“, и что немцы 1848 года стояли на слишком низком интеллектуальном уровне и потому не могли усвоить революционных идей во всей их полноте и целостности. При таком школьном понимании дела немцам выдают невообразимо плохой аттестат и, несмотря на их классическую литературу, несмотря на революцию, которую они произвели в области философии, ставят их на более низкий уровень, чем французских крестьян 1789 года, которые сумели усвоить идеи революции. В действительности главное заключалось не в „неразвитости“ немцев, а в неразвитости общественных отношений: в Германии 1848 года процесс социально-экономического расслоения зашел еще не настолько далеко, чтобы классовые противоречия выступили с полной рельефностью и пробудили в широких массах классовое самосознание. В противном случае немецкий народ, несомненно, лучше отстаивал бы во время революции свои интересы, чем это было в действительности.

Вихрь, вызванный французской революцией, прокатился над всей Германией и захватил все. Союзный сейм, государи, привилегированные разного рода, юнкеры и крупные капиталисты, дипломаты и бюрократы — все это, преисполненное удивления и смущения, стояло перед наводящим страх взрывом, который так быстро, в одну ночь битвы на баррикадах, покончил с „системой“ Луи-Филиппа, имевшей вид такой прочности. Что касается народа, для него парижская революция представлялась первым проблеском нового времени, мелькнувшим среди долгой ночи угнетения и нужды. Вся Германия как бы слилась в одном мощном крике восторга. Повсюду собирались толпы людей, возбужденных, схватывающих всякие слухи, преисполненных страха или надежды, смотря по их интересам. Газеты, тогда еще слишком маленькие и бедные собственными корреспонденциями, уже не могли удовлетворять предъявлявшимся к ним требованиям. Перед редакциями народ теснился толпами. Без всякого предварительного уговора составлялись народные собрания, на которых прочитывались новейшие известия; так же

без подготовки выступали перед народом импровизированные ораторы, которые объясняли все происшествия. Таким образом возникли совершенно новые формы политической жизни. Движение охватило не один города, но и деревни. Разумеется, проносились и распространялись и самые бессмысленные и самые нелепые слухи. Биржа прямо остолбенела от замешательства, особенно когда из Парижа пришло известие, что парижский дом Ротшильдов примкнул к революции: никто не сомневался, что Ротшильдам никогда не пойдут с меньшинством. Назначение „рабочего“ Альбера секретарем временного правительства еще больше усилило страхи капиталистов и биржевиков.

Сверху прилагали свои силы к тому, чтобы породить в массах ужас перед французским переворотом; по внушению свыше, газеты уверяли, будто Германии следует ожидать вторжения французского революционного войска. „Всеобщая Прусская Газета“ постаралась посодействовать этим измышлениям и выступила с официозной статьей, в которой говорилось между прочим:

„Прежде всего мы обращаемся к германским монархам и племенам с призывом: будьте едины и единением сильны! Это возвещает нам огненными языками история нашего времени по отношению к западному соседу. Мы далеки от мысли о вмешательстве во внутренние отношения Франции; пусть она устраивает их, как ей самой нравится. Но и осторожность и живые воспоминания о недавней эпохе величайшего унижения отечества германцев повелевают нам напряженно следить за всеми движениями во Франции на тот случай, чтобы, если там вновь пробудятся аппетиты к германской земле, может быть, в соответствии с зреющими там теориями, замаскированные в стремление осчастливить народы, — чтобы Германия выступила тогда, вполне готовая серьезно отразить всякое нападение, не останавливаясь даже перед кровопролитием, если то будет необходимо“.

Добрый надворный советник расточил в этой скучной статье последние остатки угасающей, обанкротившейся государственной мудрости, почерпнутой им в правящих сферах. Итак, ему хотелось, чтобы немцы на самом деле поверили, будто французы сделали свой переворот с одной единственной целью, — чтобы жадно наброситься на Германию. Многие мещане поверили таким пошлым искажениям фактов или только делали вид, что верили этому. Но масса народа не поддалась на удочку, но дала убедить себя, что врагов Германии следует искать среди членов нового французского правительства, и не позволила отвлечь свое внимание от политических отношений в Германии.

На Рейне, в юго-западной Германии, где еще сохранились самые живые воспоминания о Великой французской революции, движение разрослось со стихийной силой. Когда по Рейнской области распространилась весть о падении июльской монархии, это произвело такое действие, как будто молния ударила в бочку, наполненную порохом. Движением овладела, во главе его стала либеральная буржуазия, которая тогда еще не так резко, как не-

сколько позже, разделялась на умеренную и радикальную часть. Стремление народной массы к свободе выразилось в тысяче различных желаний и требований. Лидеры либерализма взяли на себя выделить из желаний такие, которые представлялись целесообразными для них, объединяли их и с полученными таким образом „требованиями народа“ угрожающе выступали перед тронами, опираясь на народные массы. Понятно поэтому, что во многих адресах и петициях мартовских дней нашли себе место почти только одни требования либеральной партии, выраженные с большей или меньшей решительностью, в зависимости от различия в оттенках либерализма. Масса восторженно заявляла о своем сочувствии этим требованиям; она полагала, что с их удовлетворением революция еще не достигнет своего завершения; она жила туманной надеждой, что движение должно, наконец, достигнуть до такого пункта, когда можно будет положить конец ее бедности и нужде.

В большинстве адресов говорилось, что пришел „час опасности“. Это означало, что Германии угрожает нападение Франции, и что государи и народы путем удовлетворения либеральных требований должны составить единое целое, чтобы отразить нападение извне. Несомненно, в Германии лишь немногие серьезно верили в это нападение. Но зато фразеры либерализма и конституционализма могли по этому случаю пуститься в бесконечные разглагольствования и придать адресам и петициям высокопарность стиля, без чего либерализм никогда не обойдется в таких случаях.

Таким образом массы энергично зашевелились: в первые недели восторгов они не поддались искусственно распространяемому страху перед французским нашествием, и, несмотря на то, „народные требования“ тех дней поражают своей скромностью. Дело в том, что их восприняли от купели и подвергли обрезанию либеральные восприемники германской революции. Требовали свободы печати, публичного и устного судопроизводства, суда присяжных, народной милиции с свободным избранием начальников, свободы вероисповедания, права союзов и собраний, всеобщего избирательного права, либеральных, пользующихся популярностью министров и, в общем, истинно конституционного строя. Требования эти в существенных чертах почти повсюду были одни и те же. Признаком поразительной скромности является то обстоятельство, что сотни тысяч, даже миллионы немцев, у которых от голода бурчало в животе, не потребовали больше, пользуясь таким великим всеобщим брожением.

Движение разрасталось так сильно и так быстро прокатывалось через отдельные государства, что союзному сейму, заседавшему во Франкфурте-на-Майне, сделалось страшно перед громом и рокотом народного духа, сбрасывающего оковы. „Собрание мумий“ на Большой Эшенгеймской улице побледнело от ужаса. Союзный сейм уже первого марта 1848 года издал прокламацию, в которой германскому народу был дан ряд неопределенных, общих обещаний и между прочим было сказано:

„Германия будет и должна быть поднята на уровень, который подобает ей среди наций Европы“.

Союзный сейм говорил дальше о „законном прогрессе“ и о „развитии к единству“. „Злонамеренные“ люди спрашивали, почему же союзный сейм уже тридцать лет тому назад не пришел к таким убеждениям. Масса народа вовсе не помышляла о „мумиях“ и заботилась только о том, чтобы своими собственными силами провести свои желания и требования у владык сорока германских отечеств.

Во время мартовских бурь во главе запада и юго-запада Германии шел маленький Баден. Географическое положение, конституция, а также темперамент его населения уже давно пробудили его к сравнительно богатой содержанием политической жизни. Уже 27 февраля в Мангейме состоялось большое собрание граждан, которое носило очень революционный характер. Председательствовал на нем старый Ицштейн. Мати, который всего за четыре дня перед тем говорил в палате, что немцам пора, наконец, „попытаться действовать необузданностью“, — этот самый Мати, а также Бассерман старались ослабить энтузиазм собрания и говорили только об осмотрительности. Им казалось, что движение уже перешло за те границы, в которых либерализм намеревался удержать воспрянувшую Германию. Но демократическое течение победило в собрании; последнее постановило, чтобы четыреста мангеймских граждан представили в Карлсруэ второй палате „петицию натиска“. Петиция говорила о благосостоянии, образовании и свободе для всех классов — известная фраза Густава Струве,—а из положительных требований выставила такие, как народная милиция, свобода печати, суды присяжных и германский парламент.

В палате Геккер и другие радикальные депутаты энергично поддержали петицию. Правительство сначала ограничилось одними обещаниями. Но 1 марта в Карлсруэ составились огромные сборища; в трактирах этого столь мещанского в то время города послышались возгласы: „Да здравствует республика!“ Среди массы населения наибольшим сочувствием пользовались взгляды Геккера и Струве. Под впечатлением разрастающегося движения палата приняла новую петицию, которая содержала радикальную программу, выработанную в 1847 году в Оффенбурге, и говорила о германском парламенте, созданном на основе всеобщего избирательного права, а также об „уничтожении всех привилегий“ и об „устранении неправильных отношений между капиталом и трудом“. Великий герцог дал отставку трем реакционным министрам, возбуждавшим ненависть: Блиттерсдорфу, Регенауеру и Трефурту. 5 марта правительство заявило, что оно внесет законопроекты, соответствующие постановлениям палаты. Таким образом баденская „революция“ была закончена. Все предались выражениям радости и восторгов. Горожане восторженно восклицали: „Наши надежды не знают пределов“. Все разукрасилось черно-красно-золотыми лентами и кокардами.

Движение из Бадена легко перешло в соседний Вюртемберг, где не было недостатка в поводах для недовольства. Бюрократы, так называемые „писари“, составляли в этой стране особую касту, которая удерживала господство, не допуская в своих браках притока крови извне; эти „писари“ так „упра-

вились“ со швабами, что почти совершенно уничтожили в них способность сопротивляться угнетению сверху. Тем не менее в палате образовалась маленькая, но энергичная либерально-демократическая оппозиция: Уланд, Пфицер, Шотт, Тафель и Ремер. Она вела упорную, но в общем довольно безуспешную борьбу против бюрократической системы министерства Шлайера. Однако, когда пришли известия из Парижа, даже швабы стряхнули с себя свою прежнюю лойяльность. По всей стране разразилась буря против правительства, против „писарей“ и ханжей. В штутгартской ратуше граждане собирались толпами. 2 марта состоялось общее народное собрание и постановило выступить с петицией, в которую оппозиционный депутат Ремер внес все „народные требования“. Как эту петицию, так и целый ряд других, полученных из различных частей государства, представили королю. Между тем в Штуттарт стянули войска и держали орудия в готовности; однако дело не дошло до сколько-нибудь значительных столкновений. Пробил час для господина фон-Шлайера, он получил отставку. Королю думалось, что он сумеет унять бурю, если составит министерство, во главе которого станет реакционер, господин фон-Линден. Но хотя уже за несколько дней перед тем цензура была уничтожена, швабы на этот раз оказались недостаточно наивными для того, чтобы удовлетвориться простой переменой декораций в правительстве. Они потребовали, чтобы правительственные места были заняты лицами, которые пользовались народным доверием. Под давлением обстоятельств пришлось призвать в министерство Пауля Пфицера и Дювернуа, а те в свою очередь настояли на том, чтобы и Ремер был министром. Таким образом либерализм получил представительство в правительстве—трех „мартовских министров“. Можно представить себе, какое ликование воцарилось теперь в Швабии: Ремер был ведь признанный глава либеральной оппозиции в палате. От „мартовских министров“ ожидали, что они в полной мере удовлетворят народные требования и министры как будто хотели пойти в таком направлении. Казалось, что дух времени овладел даже швабской аристократией. Феодалы и имперские рыцари прежде противились выкупу их рент за 25 процентов; теперь они сами предлагали 12—16 процентов. Это были такие знамения и чудеса, которые в прежнее время никому не снились в Швабии, прославленной стране сословных и классовых предрассудков. А теперь это была сама подлинная действительность.

Конечно, у швабских феодалов были при этом свои достаточные основания, как у французского дворянства, когда национальное собрание делало свои постановления в знаменитую ночь 4 августа 1789 г. В то время французские крестьяне начали разрушать поместья, и господа быстро пошли на уступки, — только бы восстановить спокойствие и спасти то, что еще было возможно спасти. То же произошло в Бадене и Вюртемберге. Когда крестьяне увидели, что, пользуясь движением, они могут сбросить с себя феодальные повинности, они заволновались, как в эпоху крестьянской войны, и стали „собираться толпами, словно пчелы, когда их выгоняют из улья“. Казалось, будто баденские и вюртембергские крестьяне припомнили, как их предки более, чем за триста лет перед тем, сражались в великих битвах при

Беблингене и Кенигсгофене за свои старые вольности, отстаивая их против феодального дворянства, несущего убийства и грабежи. Теперь, когда массы населения в городах пришли в брожение, а в деревне заволновались крестьяне, панический страх охватил собственников и привилегированных. Им уже думалось, что наступил канун социальной революции, которую уж никак не удовольствуешь одними „требованиями народа", формулированными буржуазным либерализмом. Потому-то дворянство и обнаружило такую сговорчивость и, соединившись с либеральной буржуазией, поспешило удовлетворить крестьян. Ведь если начинают бунтовать даже крестьяне, этот консервативный элемент, в котором хотят видеть оплот против всех революционных стремлений, тогда и либеральному мещанству кажется, что скоро пробьет последний час его безмятежного существования.

Крестьяне пока обнаруживали дикую энергию. Отблески деревенских пожаров скоро отразились на городах. Раньше всего, в первых числах марта, они начались в Бадене. В Оденвальде и Таубергрунде, — как раз там же, где 323 года тому назад разразилась крестьянская война во Франконии, — в Крайхгау и на Неккаре крестьяне собирались толпами и нападали на замки землевладельцев-дворян, особенно таких, доверенные которых возбудили ненависть своей жестокостью. Феодальные документы, книги для записи рент и долгов летели в огонь. Во многих случаях их пришлось жечь самим помещикам, вынужденным к этому крестьянами. В некоторых местах, напр., в Эльзасе, в Брукзале, в Таубергрунде, движение направилось против евреев. Толпа разрушала их дома, уничтожала имущество. Демократические депутаты баденской палаты в справедливом негодовании протестовали против преследования евреев. Но они, конечно, заблуждались, открывая „руку реакции" даже в уничтожении феодальных документов. Здесь, как и повсюду, взрыв народного гнева направился против ближайших символов ненавистного строя, а таковыми, несомненно, должны были представляться феодальные замки, сборщики податей и прочие остатки средневековщины. Правительство отправило войска в пункты, в которых крестьяне обнаружили решительное непокорство. В то же время оно постановило, что за причиненные убытки и вред отвечают целиком сельские общества, члены которых принимали участие в беспорядках. Но потом оно разом отменило все еще сохранившиеся феодальные повинности, а разрешение вопроса о каком-либо вознаграждении за них отложило до будущего времени. Крестьяне тотчас же успокоились, потому что теперь они достигли того, чего требовали.

То же самое произошло в Вюртемберге. Крестьяне, особенно в Гогенлоэ, ненавидели некоторых сборщиков платежей, как „живодеров"; сборщики с ужасом наблюдали, как крестьяне стали собираться в толпы. Перед их очами выступали ужасающие картины 1525 года: „Красная пасха" в Вейнсберге, свирепый Жаклейн Рорбах из Беккингена, который приказал „принять в копья" графа Гельфенштейна и тринадцать рыцарей и помещиков. В 1848 году крестьяне начали восстание прежде всего тоже в Вейнсбергской долине,—как раз там, где разыгрались кровавые сцены крестьянской войны 1525 года. Но, несмотря на всю беспредельность ужаса, охватившего замки

и канцелярии, дело обошлось не так худо, как в 1525 году. На замок Вейлер напали три сотни крестьян. В великолепно обставленном замке не было украдено ценных вещей ни на грош, но документы, до ничтожных клочков включительно, подверглись сожжению. „Эвон, опять взлетел петушок!“ кричали крестьяне, когда искры разлетались в стороны. Дело в том, что им приходилось доставлять множество кур в конторы по сбору платежей. Пламя било в вышину; в Вейнсберге подумали, что горит самый замок, и отправили пожарные трубы. Через два дня прибыли две сотни солдат, но сельское население было в таком угрожающем настроении, что пришлось отпустить на волю уже арестованных „подстрекателей“.

В Нидерштеттене дело приняло более серьезный оборот. Там, в замке Гогенлоэ, крестьяне стащили в кучу феодальные записи и подожгли. Пламя охватило не только бумаги, но и самый замок и значительную его часть спалило. Тем, кто хотел тушить пожар, препятствовали с оружием в руках. „То же самое будет еще с семью замками!“ раздавалось из толпы крестьян.

В других местах — в Шварцвальде, близ Нейенбурга, в области Кохера, Якста—устраивались кошачьи концерты, подымалась тревога. Дворяне-землевладельцы пришли в такой ужас, что многие добровольно отказались от оброков и рент. Ходили смутные слухи об обширном заговоре крестьян, которые будто бы должны нагрянуть из долин и сравнять с землей все, что еще напоминало об эпохе феодализма. По трактирам раздавались возгласы: „Долой шинвок, долой вертепы разбойников!“

Назначение „мартовских министров“ и тот факт, что сословия сами предложили уничтожить феодальные повинности и изменить законы об охоте, успокоили крестьян. Мартовские министры, какими бы плохими политическими деятелями они ни оказались в других отношениях, превосходно разрешили свою задачу: не дать народному движению пойти дальше, чем то представлялось полезным почтенной „либеральной“ буржуазии. Таким образом и для реакционных властей открылась возможность укрепить свое положение, потому что невинным агнцам в роде Пфицера и Дюверчуа не по плечу были интриги и происки старой придворной партии. Делая все возможное, чтобы успокоить крестьян, либерализм сам перерезывал у движения его революционный нерв. После того, как с крестьянина сняли феодальные повинности, он опять впал в свою обычную апатию и толковал уже только о спокойствии и порядке. Более того, он уже в буквальном смысле слова ненавидел этих „г о р о ж а н“, которые никак не хотели успокоиться, и совершенно забывал, что именно их волнения и привели к устранению феодальных повинностей. С этого времени крестьяне сделались консервативны, антиреволюционны и до фанатизма привержены к порядку; свои руки они предоставили в распоряжение реакции.

Видеть в быстром успокоении крестьян тонко и заранее обдуманное дело реакции, это значило бы итти слишком далеко. Реакционные интриганы в бурные мартовские дни слишком были подавлены паническим страхом, так что не в состоянии были ясно уразуметь положение. На самом деле и

аристократия и либеральная буржуазия действовали, руководимые слепым классовым инстинктом. Восстание сельского населения, в то время как города волновались, представлялось им преддверием к безбрежной социальной революции, которая угрожает все поглотить: и остатки отжившего феодального мира, и вместе с ними зачатки нового буржуазного общества; поэтому по отношению к крестьянам они были настолько же уступчивы, насколько непреклонны по отношению к рабочему населению городов. Удовлетворив крестьян, нетрудно было покончить с уклоном городов к социальной революции.

В Баварии еще не улеглось возбуждение, вызванное скандалом из-за Лолы Монтес. Весть о парижской революции повела к серьезному брожению в больших городах. Нюрнберг прежде всех представил королю известные требования народа; за ним последовали Мюнхен и другие города. Людвиг, который все еще не мог утешиться после утраты Лолы, оказался упрямым. Он соглашался созвать на 31 мая только собрание сословий. Но 2 марта прерванный спектакль в Мюнхене снова возобновился. Иезуиты искусно раздули всеобщее недовольство и направили его против „министерства Лолы", особенно против Беркса, одного из его членов. „Долой Лолино министерство!" раздавалось по улицам и было написано на всех стенах, где только было возможно. Толпа разгромила дом Беркса, а также некоторые общественные здания. Войско держалось безучастно, а когда к вечеру начали воздвигать баррикады, оно никому не мешало.

Людвиг оставался нерешительным и ни на что не соглашался. Но вот 4-го марта распространился слух, будто король назначил князя Вреде своего рода военным диктатором и тот намерен картечью расправиться с мюнхенцами, проявившими так мало верноподданнических чувств. Тогда в Мюнхене вооружились все способные носить оружие. Арсенал разгромили. Буржуа и рабочий, богатый и бедный—все население выступило с полным единодушием. Войска выступили, но до столкновения не дошло, потому что офицеры не хотели доводить дело до борьбы. Король испугался и сделал маленькую уступку: сословия должны собраться на 16 марта. Но народ этим не удовлетворился. Волнения продолжались. Из всех частей государства приходили „петиции натиска" с известными народными требованиями. 6-го марта опять говорили, что в народ будут стрелять; опять вооруженная толпа собиралась на улицах. Она не пренебрегала даже самым древним оружием: палицами, пиками, алебардами и арбалетами, захваченными в арсенале.

Людвиг дал теперь обещание, что он прикажет войску присягнуть конституции; после этого наступило некоторое успокоение. Но 8-го марта распространился слух, будто Лола опять в Мюнхене; рассказывали, будто ее видели переодетой в мужское платье. Действительно, у нее было свидание с королем. Придворно-пивоваренные революционеры, которых иезуиты водили на помочах, опять устремились на улицы и возбудили толпу. Но Лолу не сумели найти. Движение не остановилось, — не остановилось даже тогда, когда на место ненавистного Беркса „мартовским министром" был

назначен депутат Тон-Диттмер, лидер либеральной партии. Из этого следует, что дело не обошлось без клерикальной реакционной партии. 16-го и 18-го марта отношения между народом и войском сделались в особенности угрожающими. Толпа напала на здание полиции и уничтожила там документы. Тогда Людвиг согласился на отставку Лолы. Полицейские власти получили распоряжение задержать „именующую себя графиней", которая между тем давным-давно была вне Баварии. Поговаривали, будто клерикально-реакционная партия намеревается довести дело до переворота или до кровопролития, чтобы принудить короля к отречению от престола. Следовательно, Людвигу оставалось только одно: положиться на сомнительную лойяльность либералов; но, чтобы обеспечить ее, необходимо было удовлетворить известные „требования народа". А это было ему так же не по вкусу, как правление иезуитов. Чувствуя себя всеми покинутым, он 20 марта 1848 года сам решился на отречение от престола. Его сын, Максимилиан II, сделался его преемником. Министерство, составленное из мартовских либералов и домартовских реакционеров, удовлетворило часть известных народных требований и издало распоряжения о свободе печати, гласном судопроизводстве, выкупе феодальных повинностей, ответственности министров и т. д. После этого мюнхенцы совсем успокоились и возвратились к своим пивным кружкам, преисполненные сознания, что они свергли короля и завоевали „гражданскую свободу".

В своей прокламации „Королевское слово к баварцам" Людвиг заявил между прочим: „Верный конституции, управлял я; жизнь моя вся была посвящена благу народа, а государственным достоянием, деньгами государства, распоряжался я так добросовестно, как будто бы я был чиновник республики (замечательный королевский комплимент республике!)... Даже в то время, когда я оставляю трон, мое сердце горячо бьется для Баварии, для Германии".

Отрекшись от престола, Людвиг сохранил за собой из цивильного листа ренту размером в полмиллиона гульденов. Но он не скоро обрел желанный покой: баварская палата депутатов решила обстоятельно исследовать дело с греческим займом. Дело в том, что когда Оттон, сын Людвига, сделался греческим королем, он без возражений со стороны палаты получил под видом займа полтора милл. гульденов из баварской государственной кассы. После отречения Людвига палата депутатов, по докладу демократического депутата Кольба из Шпейера, постановила, что эта сумма подлежит возврату в государственную казну. Она и была возвращена из частного имущества короля Людвига.

Лола Монтес, танцовщица, которая, как позже выразился Роберт Блюм во франкфуртском парламенте, потрясла своей ногой глубочайшие устои и „почву исторического права" в Баварском государстве, после изгнания из Баварии скиталась авантюристкой по Англии, Франции, Калифорнии и Австралии. Женщина, которая некогда низвергала министров в Баварии и под именем „Лолиты" была воспета Людвигом, умерла в Нью-Iорке, окруженная нищетой; перед тем она читала публичные лекции о своих похождениях. В

каком виде представлялась вся катастрофа Людвигу I, он сам изобразил в одном из своих стихотворений, переполненных причастиями. В нем говорится:

Отставка короля Людвига 20 марта 1848 года.

(ОСОБО ДЛЯ МЮНХЕНЦЕВ).

Друзьями, близкими оставлен,
Иду я в Божий мир широкий.
От Бога королем поставлен,
Я был велик, искал я воли.
Я вас любил, своих детей, —
От вас же знал лишь ряд скорбей,
Ищу теперь другой я доли.

Надменность знати не прощала,
Что я король и всех знатнее,
И вас, детей моих, предала,
И это мне всего больнее.
Мои же слуги, чужды чести,
И клир церковный, полный лести
Отняли скипетр мой и трон.

В груди моей одно дышало:
Любовь к добру, святым искусствам.
Она народ мой согревала,
К высоким направляя чувствам,
Теперь вы сыну поклянитесь,
На путь вы правды обратитесь,
Служите сыну всем вы чувством.

Это безконечно трогательнее, чем заявление об отречении, написанное Генрихом Семьдесят вторым Рейсс-Шлейц-Лобенштейн-Эберсдорфским, другим поклонником Лолы, который известен также под именем „Генриха, рыцаря принципов". Тот в своем отречении до дна раскрыл перед своим рейсским народом свою монаршую душу и не сказал о себе ни одного слова лести. Но какова ирония всемирной истории: как раз у тех двух германских монархов, которые поддались чарам обворожительной авантюристки Лолы Монтес,— как раз у них 1848 год унес корону и пурпур!

После политических гонений тридцатых годов в Гессен-Дармштадте водворилось спокойствие; политическое чутье настолько понизилось, что в палату был избран даже Георги, палач несчастного священника Вейдига. Но едва лишь из Франции потянул революционный ветер, как и гессенцы заволновались, и прежде всего подвижные обитатели „золотого Майнца"; они с большим удовольствием вспоминали о том времени, когда они входили в состав рейнско-французской республики. Авдокат Циц, лидер майнцской демократии, немедленно представил палате депутатов в Дармштадте петицию с известными народными требованиями, другие города последовали за Майнцем. 2-го марта, при огромном стечении публики, палата приступила к обсуждению адреса. Депутат Ре, красноречивый дармштадтский адвокат, потребовал устранения бюрократической системы и отставки реакционного министерства. Уже за несколько дней перед тем депутат Генрих фон-Гагерн

потребовал созыва германского национального собрания. Правительство обдумывало слишком медленно. Поэтому Циц в большом народном собрании в Майнце сделал такое заявление: „Сограждане! Уже тридцать лет, как истек срок по нашему векселю. Дадим еще три дня отсрочки, а потом, соединившись со всей провинцией, отправимся в Дармштадт, чтобы лично заявить о наших желаниях“. В Дармштадте после этого сделались уступчивее, и Генрих-фон-Гагерн, который до того времени стоял во главе конституционной оппозиции в палате, был произведен в мартовские министры. Кроме того великий герцог сделал своего сына своим соправителем. Эти и еще некоторые меры дали гессенскому правительству возможность передохнуть в течение некоторого времени.

В Кургессене политические гонения и неустанные усилия курфюрстов отменить конституцию 1831 года все время поддерживали некоторое возбуждение. Курфюрст Фридрих, который управлял с 1847 года, намеревался разделаться с слабым сопротивлением сословий и устранить из конституции все, что было в ней хорошего. Но как раз около этого времени весть о парижских событиях пробудила движение в целой стране. Кургессенцы, вообще такие мастера по части легального сопротивления, припомнили тот долгий позор, под которым они существовали, вспомнили, как их предков гуртами продавали на иностранную военную службу, как мучили их самих полиция и бюрократия. Народные требования были предъявлены с величайшей решительностью. Гнев народа с наибольшей силой обрушился на Шеффера, который раньше стоял во главе министерства внутренних дел и пользовался своей властью сурово и беспощадно. Положение было настолько серьезно, что Шеффер устрашился, как бы с ним не учинили самосуда, не расправились судом Линча, и бежал через кургессенскую границу. Борьба против правительства сосредоточилась в Ганау; здесь весь народ встал под оружие и приготовился к борьбе, если бы курфюрст не захотел удовлетворить известных требований. Либеральные жители Ганау не останавливались даже перед ужасной угрозой: отпасть от Кургессена и сделаться дармгессенцами, если курфюрст не пойдет на уступки. Вот как далеко зашел ганауский либерализм! Но в глубине, за этими либеральными кулисами, развивалось энергичное движение, и в то время, как курфюрст отправил войска против Ганау, вооруженные гессенцы тысячами устремились к угрожаемому городу, чтобы оборонять его против кургессенских войск. Войска колебались, а многие офицеры во всеуслышание заявляли: „Не следует допускать, чтобы пролилась хотя бы единая капля крови граждан“. В Касселе перед курфюрстом одна депутация сменяла другую: все они приходили с просьбой „даровать“. И курфюрст и депутации являли при этом возвышенное зрелище рыночных покупателей и торговцев, которые раздраженные расходились в разные стороны, чтобы потом опять возвратиться и снова поторговаться между собой. Между тем в Ганау опасность кровопролитного столкновения все возрастала. Жители Ганау, руководимые народным комитетом, не шли на уступки. До шести тысяч вооруженных людей были готовы отразить нападение войск, расположившихся перед го-

родом. Да и в самом Касселе возбуждение все увеличивалось. Двацатитысячная толпа окружила замок курфюрста. Начали сооружать баррикады, и только поведение гражданской милиции предотвратило уличное сражение. В последний момент курфюрст уступил, население Ганау одержало победу без всякого кровопролития, при чем ему не потребовалось даже делаться великогерцогско-гессенским. Мужественная твердость Ганау произвела величайшее впечатление во всей Германии. Победители не злоупотребляли только что завоеванной властью. Дело ограничилось тем, что устроили кошачьи концерты нескольким чиновникам, возбуждавшим особую ненависть, да гражданская милиция торжественно вытащила из полицейского здания знаменитую машину для порки, известную под названием „Вольф" („Волк"), и разнесла ее в щепки. Уже один этот инструмент достаточно объясняет, почему кургессенское население до такой степени ожесточилось против правящей бюрократии.

В правительство призвали мартовских министров, на каковую роль были избраны Виннерман и Эбергард. Эти господа, до марта претерпевшие много преследований, действовали, как все мартовские министры. Они боролись против всех попыток итти дальше, чем шли они сами. Когда наступила реакция, их отстранил позорной памяти Гассенфлуг, получивший прозвище Гессенфлуха („проклятия гессенцев"). Но пока все в Кургессене утопало в радости и блаженстве, ибо жители Ганау одержали полную победу.

Первого марта взрыв с большой силой разразился в Нассау. Население жило под страшным гнетом дворянства и бюрократии; прекрасная маленькая страна превратилась для народа в юдоль бедности и порабощения. Конституция была пустой формальностью, так как она устанавливала настолько высокий избирательный ценз, что во всей стране только 73 лица имели право быть избранными. Но больше всего раздражал население Нассау спор из-за государственных имуществ; герцог Вильгельм, пользуясь содействием своего министра, некоего господина фон-Биберштейна, присоединил к своей частной собственности государственные имущества, приносившие два миллиона гульденов. Крестьяне в этой стране подвергались большим угнетениям; они дружно восстали. Герцог был в отлучке. Висбаденцы под командой адвоката Хергенхана настояли на том, чтобы для них открыли арсенал, и они могли вооружиться. Они выступили с известными требованиями и прибавили к ним дополнительное: чтобы государственные имущества были возвращены государству. Крестьяне, которые поняли, что они могут теперь освободиться от феодальных повинностей, вооружились и толпой двинулись на город от Вестервальда. К 4-му марта в Висбадене собралось до 30.000 вооруженных людей. Войско не скрывало, что у него нет никакой охоты выступать против народа. Правительство обещало все, но, за отсутствием герцога, ничего не могло гарантировать. Возбуждение увеличивалось. Наконец, в решительный момент, за которым неминуемо последовала бы катастрофа, прибыл герцог и согласился на все, что от него требовали. Но нассауцы утратили доверчивость и заявили, что они не будут платить никаких налогов, пока все обещания герцога не будут исполнены. Герцог со-

гласился и на это. Герцог в особенности гневался на революционеров за то, что ему приходилось расстаться с государственными имуществами. Крестьяне успокоились, а горожан успокаивал „друг народа“ Хергенхан. Теперь каждый крестьянин получил право рубить дрова и стрелять дичь на своих полях. Феодальные повинности были уничтожены. Тогда с нассаускими крестьянами произошло то же, что и со швабскими: они, сложив руки, поглядывали, как-то „горожане“ одни устроят „свои дела“. А горожане, в свою очередь, как и повсюду, были уверены, что с политическими уступками они добились всего.

Саксония уже в то время сделалась очагом либеральных и радикальных партийных организаций. При вести о перевороте в Париже и в разных частях Германии, движение началось прежде всего в Лейпциге. Там во главе либерально-конституционной партии стоял Роберт Блюм; из пролетариев он собственными силами добился до положения зажиточного горожанина и книгопродавца и пользовался широкой известностью, как народный трибун. Уже в 1845 году, при известной стычке около „Прусской гостиницы“ в Лейпциге, Роберт Блюм показал, насколько велико его влияние на народные массы. Заодно с ним действовали Бидерман, который был представителем либеральной буржуазии, и Арнольд Руге, в то время еще красный республиканец. Хотя в Саксонии кое-где уже заявили о себе социалистические требования, тем не менее все течения пока сливались в общий поток. Поэтому решено было представить королю адрес с обычными требованиями. Бидерман набросал проект его в самых робких выражениях; Блюм придал ему несколько более решительную формулировку. Городские гласные приняли адрес и отправили его к королю. 2 марта, в 9 часов вечера, был получен ответ. Громадная толпа народа в очень возбужденном настроении, распевая „Марсельезу“, собралась в ратуше и кругом ратуши. Возбуждение увеличилось, когда был возвещен королевский ответ. „Король, — говорил Бидерман с балкона ратуши, — принял нас очень любезно, выслушал нас с большим волнением, иногда даже слезы показывались у него на глазах, и дал нам собственноручно написанный ответ, бумага которого, несомненно, сохраняет следы слез“.

Все это было, конечно, очень трогательно. Менее трогателен был самый ответ короля. Он, коротко отвергнув все требования, утверждал, что городские гласные Лейпцига не являются представителями народа, что народ не за них, и просто-напросто делал им выговор за их действия.

Толпа пришла в ярость и прежде всего повалила к дому Брокгауза, депутата ландтага, устроила перед ним кошачий концерт и выбила стекла. Брокгауз спасся от народного гнева, провозгласив „ура“ свободе печати, и дал обещание, что он будет впредь голосовать против реакционного министерства. Блюму на время удалось успокоить разбушевавшуюся толпу. Городские гласные решили отправить в Дрезден новую депутацию. Потребовали отставки цензоров. Цензоры, устраненные, и на самом деле подали в отставку, при чем опубликовали заявление, в котором они, сами господа цензоры, утверждали, что цензура ведет к гибели государства.

Долгонько же поработали эти господа над „разрушением государства“! Да, в калейдоскопе революции мелькает много комических фигур.

Король не хотел уступать. Он выразил прискорбие по тому случаю, что „одна единственная коммуна“ выступила на путь „петиций“, который не подобает для нее; он намерен обсудить вопрос только со своими земскими чинами, которых он обещал созвать в течение двух месяцев. Но не так-то легко было отделаться от лейпцигцев, — тех самых лейпцигцев, которые в 1830 году добились свободы курения, полиции без отточенного оружия и гражданской гвардии. Было решено настаивать на исполнении требований и вооружаться. Если бы король не уступил, намеревались толпой двинуться в Дрезден.

Возбуждение охватило всю Саксонию, особенно после того, как король отверг адресы шести других городов и на заявления Шведлера, мераиского бургомистра, ответил: „Я не имею сказать вам ничего больше, как только: прощайте!“

Лейпцигцы сделали приготовления, чтобы массой двинуться в Дрезден к тому времени, когда там откроется ландтаг; было заметно, что за ними последует чуть не половина Саксонии. Но это показалось королю слишком опасным, тем более, что и сами дрезденцы присоединялись к движению. В резиденции происходили беспорядки, устраивались сборища на улицах. Король решил, наконец, уступить. Он дал отставку реакционному министерству, и Саксония получила своих мартовских министров. К управлению были призваны либеральные депутаты Браун и Оберлендер, но вместе с ними несомненный реакционер фон-дер-Пфордтен, который тотчас принялся за дело, чтобы подготовить дорогу реакции. Его назначение вызвало большое смущение, но смущение миновало, когда министерство внесло в свою программу известные народные требования. Однако это не предотвратило отраженных последствий движения. В Рудных горах и в различных городах бунтовали голодающие рабочие. Позже, в апреле, был сожжен Вальденбургский замок. Шенбургские крестьяне негодовали на то, что их не хотели полностью освободить от высоких, подавляющих податей, которые им приходилось уплачивать в пользу поместий. Они напали на замок и сожгли документы, но при этом и замок был охвачен огнем. Как нельзя больше понятно, что в тех местах, где нужда достигала крайних размеров, движение породило такие явления; ни угнетенные крестьяне, ни голодающие ткачи не могли просуществовать на одни „идеи“ либерализма: германский парламент или свободу печати.

Ганновер еще не оправился от борьбы за свою конституцию, от ниспровержения конституции сверху, когда волны великого движения докатились до территории монарха-абсолютиста Эрнста-Августа. 6-го марта и этому королю были предъявлены народные требования, но он коротко отверг их, заметив при этом, что представительство германского народа в союзе несовместимо с монархической формой правления. Этот грубый ответ должен был показать, что король непреклонен. Движение в стране разрасталось до угрожающих размеров. Города отправляли адресы. В Геттингене произошли бес-

порядки, студенты устраивали демонстрации; король, в ответ на петиции, заявил, что беспорядки в стране следует приписать подстрекателям-иностранцам. В конце-концов беспорядки начались и в самом городе Ганновере. Несколько тысяч граждан окружили дворец и отправили депутацию. К народу вышел один из членов кабинета, фон-Мюнхгаузен, чтобы сообщить ответ короля. Но он не мог сразу добиться того, чтобы его выслушали, и закричал: „Что же, вы хотите орать, или же мне следует говорить?“ Этот тон и эта надменность придворного привели граждан в ярость; они заставили Мюнхгаузена начать обращение к ним словами: „Милостивые государи!“ Его сообщение было вовсе не удовлетворительно. Король не хотел допустить даже реформы ненавистного полицейского управления. В сильнейшем гневе толпа напала на дома министров и полицейских чиновников, возбуждавших народную ненависть, и повыбила окна. То же произошло и с квартирой одной придворной дамы, враждебно относившейся к народу. Войска, встреченные свистом и криками, не торопились выступать против народа. Возбуждение росло, и король Эрнст-Август пошел на уступки. Он дал отставку своему министерству, согласился на народное ополчение и на реформу полиции и призвал в качестве мартовского министра Стюве из Оснабрюка, который, как защитник конституции, пользовался доверием либеральной буржуазии. Вместе с ним в министерство вступил граф Беннигсен, сын известного руского генерала, считавшийся либеральным человеком, а также другие лица без определенной политической окраски. Стюве разыграл некрасивую роль всех вообще мартовских министров, и потому реакция в Ганновере могла разделаться с „завоеваниями“ 1848 года столь же основательно, как и в других местах.

В мелких германских отечествах революция почти во всех случаях развивалась по образцу более крупных государств. Кое-где народ обнаружил трогательное простодушие и позволил быстро успокоить себя несколькими любезными словами из княжеских уст да несколькими мелкими уступками.

Крестьяне в Тюрингенском лесу волновались; они были в таком настроении, как будто Томас Мюнцер сам еще расхаживал среди них и обращался к ним со своим призывом: „Воспрянь и вперед!“ Скоро начались беспорядки в Веймаре; но лидер либеральной партии, пронырливый и ловкий адвокат Виденбруг, успокоил народ. Однако 11 марта пять тысяч крестьян, перемешанных со студентами из Иены, вторглись в город, прорвались через гражданскую гвардию, охранявшую дворец, и заставили дать отставку министерству и призвать Виденбруга в мартовские министры. То же происходило и в других местах; там крестьяне толпами тоже шли в города. Гнев крестьян направлялся главным образом на помещичьи суды и на власти, которые строго преследовали за лесные порубки и браконьерство, т.-е. за борьбу с дичью, опустошавшей поля.

Почти в такие же формы вылилось мартовское движение в Кобург-Готе, в Мейнингене, в Альтенбурге, в Брауншвейге, в Ангальте, в Липпе-Детмольде, в Гогенцоллерне, в Ольденбурге и в ганзейских городах. Повсюду решительно предъявлялись народные требования и получали удовлетворение с большими

или меньшими ограничениями. К половине марта либеральная буржуазия в мелких и средних государствах достигла удовлетворения своих требований; ее представители проникли в правительства, как «мартовские министры. Теперь оставалось еще решить самый важный вопрос: охватит ли движение и обе великие державы, Австрию и Пруссию: без этого нечего было и помышлять о том, чтобы германское движение пришло к благополучному завершению.

Буржуа, рабочие и крестьяне, как изложено выше, во время мартовского движения общими силами вынудили у господствующих властей удовлетворение народных требований. Как только крестьяне освободились от феодальных повинностей, они впали в свою обычную бездеятельность и апатию. Рабочие приняли участие в движении потому, что они чувствовали, насколько необходима буржуазная свобода для улучшения их классового положения. Они видели, что старый феодальный мир должен быть сменен современным и что через этот современный мир лежит путь к освобождению рабочего класса. Хотя это убеждение было почерпнуто ими не из того или иного историко-философского мировоззрения, они тем не менее инстинктивно чувствовали, что ближайшим этапом на пути прогресса является мир буржуазный. Поэтому они честно, а часто и самоотверженно боролись за буржуазную революцию, и не их вина, если феодализму не был нанесен более серьезный удар [1]). Помешали тому слабость, трусость и вероломство буржуазии, которая тотчас же затряслась за свои денежные мешки, как только увидала пролетариат на арене борьбы. Из страха социальной революции буржуазия соединилась с господствующими властями, против которых она только что вела борьбу, и таким образом, как будет показано ниже, нанесла смертельный удар почти всем завоеваниям великого движения.

Союзный сейм, окруженный бурными волнами революции, сначала совсем потерял голову, но потом сделал попытку прибрать движение к своим рукам. За его сообщением от первого марта, — третьего марта последовало второе сообщение, которым сейм предоставлял каждому государству уничтожить цензуру. Народное движение ушло уже дальше такой уступки и потому она не оказала никакого влияния. Успехи настолько приободрили либеральную буржуазию, что она, стремясь остаться во главе движения, решительно стала на революционную почву. Она уже не хотела ждать, пока государи и правительства исполнят данные обещания, — она хотела сама взять их исполнение в свои руки. Идея правильная сама по себе; но чтобы осу-

---

[1]) Только в сравнительно редких случаях рабочие воспользовались мартовскими днями, чтобы выставить свои специальные требования. В Гамбурге, напр., портные потребовали двенадцатичасового рабочего дня, празднования воскресных дней и заработной платы в две марки. Мастера-портные удовлетворили эти скромные требования, за исключением платы в две марки (около 95 коп.), потому что, по их словам, это было для них невозможно. В первом упоении победой, среди всеобщего братанья, рабочие мало думали о себе самих. Лишь позже, когда заявили о себе классовые противоречия, рабочие больших городов начали выступать самостоятельно, разумеется, насколько это было возможно в то время.

ществить ее, немецкая буржуазия должна бы быть создана из лучшего материала.

5 марта 1848 года в Гейдельберге состоялось собрание, на которое из южной Германии прибыл 51 человек. Среди них был цвет либерально- и конституционно-настроенной буржуазии. Сюда явились Бассерман, Мати, Гервинус, Велькер, Гейссер, Суарон, Винтер и другие светила баденского либерализма; из Рейнской провинции прибыли Штедтман и Ганземан; из Вюртемберга — Ремер, Фецер, Бехер, Бантлин, Швейкгардт, сопровождаемые величинами второго порядка; из Баварии, между прочими, Кирхгесснер и Виллих; из Франкфурта — Биндинг и Юхо; из Гессена — Генрих фон-Гагерн, Верингер фон-Ницштейн и Франк; из Австрии — один только Визнер. В толпе либералов было и несколько радикалов, каковы: Струве, Геккер, Брентано и Ицштейн из Бадена; волей-неволей, а их пришлось допустить, потому что движение еще не разложилось на свои разнородные составные части.

Трусливый Велькер, который раньше так часто принимал на себя вид необузданности, теперь упрашивал собрание оставаться на почве легальности и выступить только с адресом к союзному сейму. Собрание отклонило это предложение. Но оно отклонило и предложения, внесенные республиканцами Геккером и Струве, — что повело к горячему столкновению между Струве и Гагерном, — и постановило издать прокламацию, обращенную ко всему германскому народу. Прокламация была составлена в довольно энергичных выражениях; она между прочим положила конец легенде об опасности, будто бы угрожающей со стороны Франции. В прокламации говорится: „Германия не должна навлекать на себя войну вмешательством в дела соседнего государства или отказом в признании совершившихся там политических перемен. Немцы не допустят, чтобы их заставили ограничивать или отнимать у других наций те свободу и независимость, которых они, как своего права, требуют для себя сами“. В прокламации дальше указывается, что, в случае войны, германские государи не должны вступать ни в какой союз с Россией; в заключение говорится, что „собрание национального представительства ото всех частей Германии, избранного в соответствии с численностью населения“, является делом неотложной необходимости „как для устранения близких внутренних и внешних опасностей для отечества, так и для развития сильной, цветущей национальной жизни в Германии“.

Полномочия на такие решительные действия были даны тем же самым собранием; следовательно, вторгаясь в сферу компетенции всех правительств, оно само признало себя революционным. Оно пошло еще дальше и назначило комитет из семи лиц для исполнения своих постановлений. В комитет были избраны: Генрих фон-Гагерн, Велькер, Ицштейн, Ремер, Биндинг, Штедтман и Виллих. Таким образом в комитет по-

нали два мартовских министра — Ремер и Гагерн; единственным радикальным членом был в нем старый Иципгтейн, который в эпоху французской революции принадлежал к числу майнцских клубистов, а в позднейшее время играл в баденской палате крупную роль, как член оппозиции.

Политическим деятелям союзного сейма опять пришло в голову, что они все еще могли бы итти в ногу с германским движением. Они сами признали, что союзная конституция нуждается в пересмотре, и избрали комиссию, которая должна была представить доклад об этом предмете. Потом они об'явили, что отныне имперский орел — герб для союза, а черно-красно-золотой — цвета для него. Но этим сейм только увеличил комизм своего положения: постановление это всякому привело на память, как четверть века тому назад, по инициативе того же союзного сейма, многие немецкие студенты были на долгое время брошены в тюрьмы за то только, что они дерзнули принадлежать к „опасным для государства“ землячествам, эмблемой которых были черно-красно-золотые цвета. Постановление сейма не повело ни к чему; так же мало помогло и его адресованное к правительствам приглашение отправить во Франкфурт уполномоченных, которые должны принять участие в пересмотре союзной конституции. Правительства действительно командировали таких уполномоченных; но хотя среди них были очень популярные люди, как, напр., Иордан, Гервинус, Бассерман, Тодт (из Саксонии), Уланд и Гагерн, все это не оказало решительно никакого действия: союзный сейм опоздал.

12-го марта 1848 года комитет семи разослал приглашение к 30-му марта собраться во Франкфурте на-Майне и обсудить основные вопросы нового устройства Германии. Приглашение было адресовано ко всем лицам, которые в то время или раньше состояли членами земских чинов или участвовали в законодательных собраниях всех германских государств, включая сюда Пруссию, Познань и Шлезвиг.

То обстоятельство, что приглашались только лица, состоящие или состоявшие членами палат, должно было придать делу вид некоторой легальности. Но когда собрание открылось, в нем все же оказалось большое количество политических знаменитостей, которые до того времени никогда не ступали на парламентский путь.

Подавляющая масса народа приветствовала гейдельбергские постановления и ожидала от проектированного собрания всяческих благ. Только немногие, более дальновидные люди уже тогда поняли, что народ утрачивает власть над движением, что он передает решающий голос собранию, которое уже по тому, как оно составилось, должно было дать подавляющее большинство робкому либерализму или реакционным элементам.

Немцы были уверены, что они в самом деле достигли свободы и не думали о том, что самая трудная задача все еще не нашла разрешения, что необходимо поставить только что завоеванную „свободу на устойчивое основание и отлить ее в современную прочную форму“.

Многие лица, переживавшие то великое время, оставили рассказы о своих чувствах и впечатлениях. Почти все, за исключением только реак-

ционеров до мозга костей, с горячим энтузиазмом вспоминают мартовские дни, когда немцы действительно казались народом братьев, и когда даже спор между национальностями отступил на задний план. Среди восторгов люди высокого и низкого положения, казалось, составляли одно; стушевывались даже различия классов. Братски об'единились надворные советники с ремесленниками, дворяне-помещики с крестьянами, банкиры с рабочими, и то, о чем раньше позволяли себе грезить только поэты, казалось, одним разом стало реальной действительностью.

Но, с другой стороны, тотчас нашли себе выражение все национальные свойства немцев, тогда еще не дисциплинированных политически. Драгоценное время ухлопывалось на вокальные упражнения; повсюду раздавались звуки известных патриотических песен: „Deutschland, Deutschland über Alles" и „Was ist des Deutschen Vaterland?" [1]). Тысячи поэтов, тысячи ораторов пивных заведений до оскомины прославляли „свободу". Выпивали тоже не мало; для таких времен оно и понятно. На сцену выдвинулась также масса сумасбродных голов, которые хотели воспользоваться движением для своих любимых коньков. Были, например, господа, которым уничтожение обычая снимать при приветствии шляпу представлялось много важнее, чем ожидаемая конституция.

Господствующие классы обладали достаточной хитростью для того, чтобы принять деятельное участие во всех этих восторгах. Дворяне и придворные, плутократы и бюрократы, ограниченные филистеры и заядлые мещане делали все возможное, чтобы настроить народ к безграничной расслабленной доверчивости. В то время, когда волны революции еще подымались высоко, они пересиливали себя и провозглашали тосты в честь „свободы"; когда волны начали падать, они пили только за „единство", а когда начался решительный поворот, они чествовали тостами один только „порядок". Позже довелось немцам понять, как много было среди них людей с черствыми сердцами, — людей того сорта, которым Гёте дал такую прекрасную характеристику, сказав, что это — пустая кишка, полная страха и надежды, что авось Бог сжалится: —

„Philister ist ein hohler Darm
Voll Furcht und Hoffnung, dass Gott erbarm" [2]).

---

[1]) Последняя (довольно-таки бессмысленная) песня Эрнста-Морица Арндта обязана своей популярностью, несомненно, главным образом мелодии.

[2]) Превосходным представителем этого типа является один швабский филистер. Когда его спросили, что думает он о пережитом 1848 годе, он ответил: „Лучше бы никому не переживать его!" Более высокая оценка значения „безумного года" была ему не по силам. И таких людей по всем местам Германии встречались, как встречаются еще и теперь, многие тысячи. Нет возможности отводить здесь больнее место множеству анекдотов из эпохи 1848 года, которые могли бы характеризовать недостаток политического понимания у немецкого народа. Если один дармгессенец действительно требовал „республики с великим герцогом во главе" или „свободы печати с цензурой"; если один гамбургский республиканец на замечание: „Да у вас ведь уже есть республика!" действительно ответил: „Тогда мы хотим еще одну!"—все это может представляться, конечно, очень забавным, но вопреки довольно распространенной манере никак не может быть поставлено в счет при оценке самого народного движения.

Движение охватило все государства Германского Союза, за исключением двух великих держав, Австрии и Пруссии. Пригласив на Франкфуртское собрание представителей и этих двух государств, комитет семи заставил их определить свое отношение к германскому движению. Как будут держаться Пруссия и Австрия, этого не могли знать семь членов гейдельбергского комитета. Будущее представлялось некоторым в мрачном свете; они ожидали от Австрии всего наихудшего, так как во время гейдельбергских постановлений Меттерних, великий укротитель европейской революции, стоял, казалось, на вершине могущества. Что касается самого Меттерниха, он, несомненно, все еще питал надежду, что ему опять удастся задавить общественное движение в Германии и задавить, разумеется, своими обычными средствами. Движение было лишено того единства, которое придавало бы ему мощную силу; на сцену выступили тысячи различных локальных и провинциальных интересов. Меттерних, конечно, рассчитывал воспользоваться этим для своих целей. Правительства прусское и австрийское, опираясь на свои внушительные ресурсы, несомненно, сообща могли бы справиться с движением и немедленно восстановить старый порядок. Но это при том лишь условии, если бы на их собственных территориях все оставалось спокойно. В действительности события развертывались по рецепту, который дал рыцарь Флориан Гейер во время крестьянской войны: „Необходимо, чтобы свист раздался перед дверями каждого человека“. Революция не считается с географией; она проникла через Рейн, и точно так же волны ее покатились через границы Австрии и Пруссии к самому сердцу этих государств.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Революция в Австрии.

Выше уже говорилось о том, как князь Меттерних, дипломат Священного Союза, умел использовать столкновения между различными национальностями Австрии и как он взаимно уравновешивал их. Панславизмом он пользовался для усмирения немцев, а в мадьярах создавал противовес панславизму. Меттерниховские продажные креатуры восхваляли эту политику противовесов, как высшее выражение австрийской государственной мудрости; но как раз она и проложила в австрийские земли дорогу для революции. Дело в том, что Меттерних, чтобы направлять венгров против панславизма, сделал им целый ряд конституционных уступок. В результате политическое самосознание Венгрии начало развиваться, и оно-то и сломило оковы, в которых томилась Австрия.

Пылкие, легко поддающиеся экзальтации венгры с пламенным энтузиазмом встретили весть о парижских событиях. Им не было никакого дела до того, что официальная „Венская Газета"—до революции единственная газета для Вены—со всей ограниченностью и надменностью, характерными для старого режима, выдвинула целый арсенал фраз против „коммунистической" революции в Париже. Они нисколько не считались с наивными прорицаниями той же газеты, что спасения надо искать только „в прочной привязанности управляемых к своим правительствам". В Пресбурге заседал венгерский сейм, и волна движения того времени скоро прокатилась по залу его заседаний.

3-го марта на трибуну поднялся Кошут, чтобы высказать то, чем было переполнено каждое сердце.

Кошут, который тогда уже достиг 46-летнего возраста и умер в глубокой старости (20 марта 1894 года), был непримиримым врагом австрийского дома. Многолетнее тюремное заключение в крепости Мункач научило его ненавидеть Габсбургский дом.

В печати и в сейме он долгие годы боролся за независимость Венгрии и против австрийской опеки. Кошут был, несомненно, первым оратором своего времени. Его речи—„гармонический водопад",—полные возвышенных мыслей, блестящие по форме, мастерски согласованные с национальным характером венгров, производили невероятное впечатление. И по наружности

ı по воззрениям Кошут был совершенный мадьяр, но тем опаснее был он для Габсбургов.

„Мы катим камень Сизифа,—начал знаменитый оратор,—и болезненное сознание неподвижности охватывает мою душу следающей скорбью. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу, сколько талантов добросовестно убивается на неблагодарной работе, подобной мучительному дыханью в беличьем колесе. Да, над нами веяет тяжелым проклятием удушающий смрад. От разлагающегося трупа венской правительственной системы на нас веет тлетворное дыхание, которое цепенит наши нервы и принижает полет нашего духа“.

„Противоестественные политические системы, я знаю это, могут удерживаться в течение известного времени; между долготерпением нации и ее отчаянием лежит длинный путь. Но существуют такие политические системы, которые, сохраняясь в течение долгого времени, не выигрывают от этого в своей силе, а теряют ее; и вот, наконец, наступает момент, когда делается опасным дальше поддерживать их, так как длинная жизнь делает смерть неизбежной“.

После уничтожающей критики правительственной системы Меттерниха Кошут заявил, что династии пора перестать опираться на гнилую систему. „За дорогую для себя династию,—продолжал он,—народы жертвуют кровью и жизнью; но за политику угнетательской правительственной системы даже молодой воробей не даст себя подстрелить. И если в Вене есть человек, который, стремясь сохранить за собой власть на небольшой остаток своих дней, ко вреду династии кокетничает с союзом абсолютных держав, то пусть он подумает, что бывают друзья, которые опаснее врагов. Да, это мое глубокое убеждение, что будущее нашей династии стоит в неразрывной связи с воцарением братства между различными народами монархии, а это братство может быть создано, при условии уважения к существующим национальностям, только той связью, которая дается осуществлением принципов конституционализма. Канцелярия и штык—плохие связующие средства!“

Речь, искусно обрисовывающая положение, приспособленная к национальным свойствам венгров, пламенная и возбуждающая, вызвала в сейме целую бурю восторгов. Собрание немедленно приняло предложения, внесенные Кошутом, и постановило отправить к императору-королю депутацию, чтобы потребовать от него национального правительства, т.-е. ответственного министерства, составленного из венгров. Депутация должна была потребовать также удовлетворения всех возбужденных венграми жалоб и организации государственного строя на конституционных началах.

Но верил ли сам Кошут в осуществимость общей конституции для всех земель Габсбургов? Вероятно, нет. Он знал, что требование такой конституции расшатает здание Австрийской империи, может быть, превратит ее даже в груду развалин, и на этих-то развалинах он рассчитывал основать независимость Венгрии. Демократ-конституционалист, Кошут был мадьяром прежде всего и даже только мадьяром.

Администрация пустила в ход цензуру, чтобы защититься от действия речи Кошута. В самой Венгрии газеты могли напечатать ее только в изуродованном виде, а в других землях Габсбургов ее и совсем вычеркнули. Тем не менее она распространилась по всей Австрии в рукописях и в особых оттисках.

В Праге среди чехов тоже началось движение, которое впрочем носило исключительно национально-славянский характер; отсюда королю тоже отправили адрес. В это самое время и среди вечно-благодушных венцев поднял голову, выражаясь языком государственных ночных сторожей, заседавших во Франкфурте, „дух мятежа". До сих пор венцы всегда представлялись самыми верными подданными; они казались вечно веселыми и благоправными, ко всем обращались со словами „ваша милость" и относились с безграничным благоговением ко всем земным божествам. Венцы тридцатых и сороковых годов без всякого протеста терпели безобразный и отвратительный полицейский режим. Здесь не было политической жизни в настоящем смысле этого слова; вся энергия этого жизнерадостного народа, казалось, была направлена на безобидный „юмор" и на удовольствия разного рода. В последних в Вене не было недостатка; город превратился в сборище всех европейских праздношатающихся бездельников, кутил, игроков, шарлатанов, сластолюбцев, развратников. Все это относится, разумеется, к внутреннему городу, собственно к Вене; а внешние пригороды были переполнены тысячами пролетариев, измученных нуждою и голодом. Таким образом перед самыми воротами благодушной Вены поднимал свою страшную голову пауперизм, массовая нищета.

Когда пришли возбуждающие известия из Парижа и из области Германского Союза, венцы разом почувствовали в себе политиков. Ужас охватил бюрократов: на Вену нахлынул поток бесчисленного множества газет, и—неслыханное дело!—венцы дерзали во всеуслышание читать их в кафе и трактирах, не обращая никакого внимания на шпионов ненавистного архигородового Седльницкого. Многие рантье тоже почувствовали страх: курсы начали падать. Они бросились к сберегательным кассам и к государственному банку, чтобы потребовать возвращения своих вкладов и обмена кредиток на звонкие деньги. Глухое брожение началось также среди рабочих и студентов.

Австрийский Промышленный Союз прежде других обратился с адресом к императору Фердинанду I; он требовал в адресе, чтобы Австрия шла вместе со всей Германией, и выражал уверенность в том, что „система" будет изменена. Придворная камарилья [1]), которая, не стесняясь, водила слабого императора Фердинанда на помочах и правила от его имени, пока-

[1]) „Camarina", или „camarilla" („маленькая палата"), камарилья—так называли абсолютическо-иерархическую группу, окружавшую короля Фердинанда VII испанского. Впоследствии это название становится нарицательным и обозначает те группы придворных, которые скрываются за спиной конституционного или неограниченного монарха, руководят всеми его действиями и от его имени фактически управляют страной.

зала вид, что она оказала венцам совершенно исключительную милость, приняв адрес для передачи императору.

Раз начавшись, фабрикация адресов прогрессировала, развивалась. Горожане составили второй адрес, и буржуазия рискнула выступить. Среди тысяч подписавшихся были и очень видные люди: высшие чиновники, крупные капиталисты, купцы. Это произвело при дворе известное впечатление. Адрес был передан комитету сейма для внесения на обсуждение самого сейма.

К движению примкнуло студенчество Вены и придало ему совершенно своеобразный отпечаток. Эти молодые люди проявили много мужества и готовности к самопожертвованию; они боролись с неизменной отвагой и были полны высокого идеализма. Но когда впоследствии они овладели движением, оказалось, что у них нет понимания и политического опыта, которых, конечно, и нельзя было бы ожидать от столь молодых людей. Политики и солдаты создаются не в университетах. Но вмешательство жизнерадостного студенчества дало сильный толчок неповоротливым гражданам Вены и решительно направило все движение к ближайшей осязательной цели, к низвержению меттерниховской системы. Студенты устроили большое собрание в актовом зале венского университета, и до 2.000 человек подписалось под адресом к императору, в котором были выставлены известные требования народа. Гиз и Эндлихер, два профессора, очень неподходящие люди, в тот же вечер отправились с адресом во дворец и сумели добраться до императора. Бедный Фердинанд не мог понять, чего хотят от него, и они поэтому тоже не поняли, что он им ответил.

На следующий день, 13-го марта, в доме сословий собрались сословия (сейм). Скоро перед этим домом начали собираться граждане. Это была, несомненно, „чистая публика"; среди них не было ни одного плохо одетого пролетария. Студенты опять переполнили актовый зал, и профессор Гиз хотел представить им длинный отчет о своей аудиенции у „императора Нандля". Но студенты совсем не слушали его и торжественным шествием направились к дому сословий.

Сейм, окруженный шумной толпой, не знал, что предпринять. Точно также и государственный совет, собравшийся во дворце, не знал, что ему делать. Меттерних, присутствовавший в совете, напустил на себя вид холодности и важности. В глубине души он чувствовал себя, вероятно, не совсем хорошо, но не обнаруживал беспокойства и на известие о беспорядках ответил: „Какое мне дело до этого?"

Венцы, собравшиеся перед сеймовским домом, тоже хорошенько не знали, что следует делать. Тогда доктор Фишгоф, остававшийся хорошим демократом до самой своей смерти († 1893 г.), а в то время молодой хирург, поднялся на крышу колодца во дворе дома сословий и предложил провозгласить „ура" в честь свободы. Это было сделано, и в тот же момент со всех сторон раздались бурные возгласы: „Свобода печати!"—„Конституция!"—„Ответственность министров!" и т. д.,—все неизменные украшения буржуазной свободы. Обращаясь к сословиям, Фишгоф заявил: „Народ хочет

8 *

своими действиями оказать поддержку сословиям, чтобы они представили его желания императору". Монтекуколи, председатель ландтага, очень любезно ответил: „Желание народа — в то же время и желание сословий".

В таких-то невинных формах начиналось все дело; казалось, так же невинно пойдет оно и дальше. Но здесь у одного студента явилась мысль прочитать народу классическую речь Кошута. Возбужденная толпа превратилась в бурное море. После каждой решительной фразы вокруг дома сословий начинается шум, бурные возгласы; членам сословий, заседающим в доме сейма, становится страшно и не по себе. Речь Кошута впервые дает толпе желанный пароль, и из тысячи уст вырываются дикие возгласы, требование отставки ненавистного министра. „Долой Меттерниха!" — „Долой иезуитов!" — „Народная милиция!" — „Долой русских!" загремели перед домом сословий грозные крики. Из окна дома сословий падает листок бумаги, на котором написано, что сословия намерены просить императора об обнародовании государственного бюджета и о созвании комитета, который должен быть составлен из депутатов от сословий всех провинций. Сословия во мгновение ока лишились доверия разочарованной толпы. „И только?" —„К черту сословия!"—„В клочья бумажонку!"—„Конституция!"—„Да здравствует конституционный император Австрии!" [1]).

Толпа ринулась в дом сословий. Господа совещавшиеся разбежались в разные стороны. Председатель ландтага, которому сделалось страшно перед раз'яренной толпой, торопливо протискивается со словами: „Ничего не поделаешь, надо представить императору желания народа". Сопровождаемый кучкой студентов, он спешит во дворец и добивается там аудиенции у государственного совета. Высокомудрые советники напяливают очки, принимают самые высокомерные позы и обещают, что они изучат вопрос в самом непродолжительном времени и потом предложат его на решение императора. Но тут вдруг слышится грохот ружейного залпа перед домом сейма. Это— конец системы Меттерниха, хотя в первый момент впечатление было не таково.

Еще с утра была сосредоточена огромная масса войск: пехоты, кавалерии и артиллерии. Главное начальствование было возложено на эрцгерцога Альбрехта, сына знаменитого эрцгерцога Карла; мягкосердечие последнего не перешло к его сыну. Войска стояли по улицам, со всех сторон сжатые толпами народа, и сохраняли полную неподвижность среди бурной суматохи, среди возгласов масс: „Долой Меттерниха!" Катастрофа казалась непредотвратимой, и она, действительно, разразилась.

Войска двинулись к дому сословий, чтобы разогнать толпу с площади перед ним. Разгневанная толпа, забравшаяся в дом сословий, переломала

[1]) Насколько ненавистно было для Габсбургов уже одно слово «конституция», видно из того, что, когда лейб-медик Франца I стал говорить о „хорошей конституции" (т.-е. хорошем сложении) императора, последний разгневанно прервал его словами: „Что он болтает мне о какой-то там конституции? У меня нет никакой конституции, и я не хочу никакой!"

гам всю мебель. Обломки полетели через окна в солдат. Когда осколок задел одного офицера, солдаты сделали залп в окна дома земских чинов, но на этот раз никто не был ранен. Народ, приходя все в бо́льшую ярость, начал кричать: „Долой солдат!“ Прибыл сам главнокомандующий, эрцгерцог Альбрехт. Один из обломков, летевших через окна дома сословий, серьезно задел его за плечо, и тут же грянули два залпа, направленные в невооруженную толпу во дворе. Кто дал команду, это не установлено. Когда пороховой дым рассеялся, на земле оказалось пять человек убитых.

Толпа бросилась бежать от дома сословий и, преследуемая кавалерией, в дикой суматохе помчалась по соседним улицам. Раздавались призывы к мести, начались попытки сооружения баррикад. Но это не сразу удалось: „мирные“ венцы не могли же так быстро превратиться в революционеров, искусных по части баррикадологии. На улицах кое-где начинались схватки, иногда сопровождавшиеся кровопролитием. Если войска рассеивали и разгоняли толпу в одном месте, она опять собиралась в другом.

К вечеру улицы огласились сигналом тревоги. Он вызвал вооруженную городскую гвардию, так как возбуждение охватило, наконец, и „почтенных“ горожан и даже людей „с высоким общественным положением“. Они, вооруженные, собрались на гласисе и отправили к императору депутацию, чтобы потребовать удаления войск. В то же время студенты отправили во дворец старого ректора университета, чтобы потребовать оружие для учащейся молодежи. Так как депутатов послали и сословия, то во дворце оказалось целых три депутации.

Во время уличных схваток толпа народа протискалась ко дворцу, который охранялся гарнизоном из 4.000 человек с многими орудиями. Эрцгерцог Максимилиан отдал приказ разогнать толпу картечью, но канониры обнаружили больше гуманности и рассудительности, чем Максимилиан, и не стали стрелять. В общем уличная борьба не достигла серьезных размеров; народ едва ли потерял более 50 человек убитыми и ранеными, среди которых большинство составляли безоружные и женщины.

В то время, как на улицах грохотали залпы и гремели крики ярости и мести, во дворце смешались в одну пеструю кучу толпы придворных, члены государственного совета, офицеры, лакеи и члены разных депутаций. Бедный император Фердинанд с одним слугой заперся в комнате и не впускал к себе никого. „Понимаете,—сказал он слуге,—я с т р е л я т ь н е п о з в о л ю“. Человек он был несколько слабоумный, но у него было несравненно больше гуманности, чем у всей камарильи принцев и тайных советников, которые приказали стрелять в народ на улицах, а во дворце упрямо противились самым ничтожным уступкам. Эрцгерцоги, члены государственного совета и офицеры грубо приняли все депутации, особенно когда те потребовали отставки Меттерниха. Депутация от городской гвардии уже собиралась покинуть дворец, как ее задержали, и к ней подошел сам князь Меттерних. Он подошел к одному из членов депутации, к Шерцеру, потрепал его по плечу и сказал: „Стыдно было бы горожанам, если бы в союзе с войсками они не сумели справиться с уличными бесчинствами“.

„Ваше сиятельство,—отвечал Шерцер,—это не уличные бесчинства, это революция“ [1]).

„Это неправда!—воскликнул Меттерних.—На самом деле народ подстрекают только евреи, поляки, итальянцы и швейцарцы“.

Шерцер указал государственному канцлеру, который не стыдился говорить такие глупости, на подписи под петициями и потом заявил, что горожане отказываются от совместных действий с войсками, так как те стреляли в народ. Эрцгерцог Альбрехт сказал, что горожане и солдаты могли бы сообща занимать караулы, но, добавил он, при первом же признаке противодействия со стороны горожан в них будут стрелять. Депутация от горожан решительно отклонила предложение, и эрцгерцог Максимилиан воскликнул: „Хорошо, значит, и вы бунтовщики, и в вас тоже будут стрелять!“ Терпение у депутатов лопнуло и, обмениваясь неособенно лестными замечаниями по адресу камарильи, они удалились из зала аудиенции, где остались Меттерних и эрцгерцоги, еще не утратившие прежнего высокомерия. Если бы Меттерних знал в это время, что народ с такой яростью разгромил его великолепную виллу, что от нее остались одни голые стены, он поубавил бы своего „величавого спокойствия“.

Придворные опять задержали депутацию горожан, потому что настроение начало изменяться. Вскоре после того снова появился эрцгерцог Альбрехт и тотчас же грубо оборвал одного горожанина возгласом: „Попридержите язык-то!“ Со всех сторон раздались бурные протесты, даже придворные лакеи приняли участие в них. Между тем не переставали приходить новые депутации, требования становились все настойчивее. Наконец, во дворце увидали себя вынужденными согласиться на отставку Меттерниха. Ружейная трескотня, не прекращавшаяся на улицах, устрашила государственных людей и придворных; они окончательно с'ежились, когда один горожанин воскликнул: „Видно, и здесь скоро придется сказать, как некогда в Тюильри: слишком поздно!“ Придворная интрига, направляемая эрцгерцогиней Софией, в свою очередь помогала низвержению Меттерниха. Эта честолюбивая женщина мечтала играть при императоре такую же влиятельную роль, как Меттерних. Эрцгерцог Иоганн тоже принадлежал к числу противников Меттерниха. Под такими воздействиями с разных сторон высокий придворный совет раскололся. Но так как депутации снова и снова все настойчивее требовали отставки Меттерниха, то им, наконец, уступили и великий политик застоя, воплощение всеевропейской системы государственных ночных сторожей, был низвергнут. Депутации были приглашены в большую залу конференций, и Меттерних выступил перед ними.

„Вы заявили,—обратился он к депутациям,—что только моя отставка может восстановить спокойствие; поэтому я с радостью принимаю ее. Желаю вам счастья с новым правительством, желаю счастья Австрии!“

[1]) Замечательно, что в день взятия Бастилии, 14-го июля 1789 года, герцог де-Лианкур с такими же словами обратился к Людовику XVI.

„Ваше сиятельство,—отвечал один депутат от горожан,—мы ничего не имеем против вас лично, но все—против вашей системы. Мы благодарны вам за сложение с себя должности. Да здравствует император Фердинанд!"

По всему дворцу прокатился этот возглас в честь бедного Фердинанда. А Меттерних, который только что обнаруживал величайшую надменность, а теперь был низвергнут так низко, тайком пробрался через заднюю дверь, неузнанный вышел из дворца и бежал из города через Прагу в Лондон. Там он уже застал своего коллегу и товарища по судьбе—Гизо, который бежал от победоносного парижского народа, переодетый в женское платья. В свое официальное прошение об отставке Меттерних вставил слова: „Я подписываю разложение монархии!" Этот тщеславный дипломат в самом деле был убежден, что существование государств неразрывно связано с его драгоценной особой.

Теперь из венского дворца потихоньку исчезли один за другим и воинственные эрцгерцоги. Последовали уступки. Было удовлетворено требование, чтобы студенты вооружились, чтобы все граждане вошли в состав городского ополчения и чтобы они получили оружие из арсенала. Об этих уступках сообщил „седой хитрец" эрцгерцог Людвиг; он же передал отставленному Меттерниху известную „благодарность Австрийского дома", отпустивши его без малейшего слова сожаления или любезности.

Шерцер поспешил на Дворцовую площадь, вскарабкался на газовый фонарь и громовым голосом прокричал теснившейся толпе народа: „Меттерних низвергнут, отставлен!" Бурные крики радости приветствовали эти слова и облетели всю Вену. Вечером город был иллюминован. Студенты в ту же ночь вооружились и организовали знаменитый „академический легион", сыгравший такую крупную роль в австрийском движении. Оно выиграло от того, что молодые люди вооружились и вообще не страдали такой расслабленной доверчивостью, как горожане, которые от радости едва владели собою.

Таким образом „благодушные" венцы с сравнительно малыми жертвами стряхнули с себя иго „системы" Меттерниха со всеми ея носителями. Но даже раньше, чем только что завоеванная „свобода" была отлита в страстно-желанные конституционные формы, в ней уже оказалась серьезная трещина. В первый же день революции классовые противоречия вскрылись в Вене с полной силой и определенностью. Зажиточные граждане центрального города, которые окружали дом сословий и дворец, вооружились не только затем, чтобы защищать добытые уступки, но и для того, чтобы поддерживать „порядок", т.-е. смирять в предместьях пролетариат. 13-го марта, когда по предместьям разнеслась весть, что в городе вспыхнуло восстание, на город двинулись толпы рабочих, готовых к борьбе. Но перед ними закрыли ворота, их не пустили во внутренний город. Раздраженные рабочие возвратились в предместья, и под влиянием возбуждения в этот день дело дошло до эксцессов, вообще довольно обычных, когда нужда достигает такой степени, и люди впадают в отчаяние. В предместьях Фюнфгаузе и Зексгаузе толпа подожгла

дома фабрикантов, которые своими действиями заслужили ненависть рабочих, и разрушила на фабриках машины, отнявшие у массы рабочих последний кусок хлеба. Несколько сотен рабочих двинулись толпой и разрушили машины на три мили в округе. В городе выбивали окна во всех домах, которые не были иллюминованы; в то же время перед городскими воротами устроили иллюминацию другого рода. На гласисе и дальше, до Шенбрунна, опрокинули газовые фонари, выворотили газопроводы и подожгли вытекающий газ; кверху взвились исполинские столбы пламени, высотою с деревья. На Мариагильфской линии и в других местах толпа подожгла здания ненавистных таможен. Жестокость таможенных чиновников проявилась даже в день революции. Один торговец молоком проехал через таможенную линию в город, не уплатив пошлины. Таможенный чиновник выстрелил в него дробью и поранил в грудь в 23 местах. Разъяренный народ смял чиновника и бросил его в пламя пылавшей таможни. В бушующую толпу стреляли со стен, даже из пушек, но восстановить спокойствие так и не удалось. Правительство стремилось расширить пропасть между буржуазией и рабочими и потому предоставило городскому ополчению подавление беспорядков в предместьях. Несколько сотен рабочих было арестовано. Академический легион не принимал участия в усмирении; благодаря этому между студентами и рабочими впоследствии установились дружественные отношения.

Теперь по улицам то и дело проходили то городское ополчение, то вооруженный академический легион; на их развернутых знаменах красовались слова: „Братство народов! Порядок и свобода! Свобода печати! Конституция!“ Их повсюду встречали с восторгом. Университетская „Aula“ (актовый зал) сделалась центром движения.

А при дворе уже помышляли о том, как бы уничтожить все уступки, сделанные народу. Камарилья на один момент опять восторжествовала. Правда, император Фердинанд покинул свое убежище и на семейном совете опять повторил: „Я стрелять не позволю, а если вы велите стрелять, я уйду“. Тем не менее уже в три часа вечера 14-го марта явилась следующая прокламация:

„В видах восстановления спокойствия Император решил возложить на фельдмаршала-лейтенанта князя Виндишгреца все необходимые полномочия и подчинить ему все гражданские и военные власти“.

Это была „свобода“ с военной диктатурой и картечью.

Венцы сначала оцепенели от неожиданности. Потом все население слилось в общем крике негодования. Начали вооружаться к борьбе. Войска оставались неподвижными. Во дворец отправились депутации, и князь Виндишгрец заявил одной из них, что все желания народа будут удовлетворены. Но народ не позволил провести себя. Густые толпы собрались около дворца; время-от-времени стены его оглашались бурными криками: „Свобода печати! Конституция! Национальная гвардия!“ Во многих местах появились красные значки, чтобы показать, насколько серьезно решился народ защищать только что завоеванную свободу. Ночью на заборах был расклеен плакат, объ-

являющий город Вену на осадном положении. Борьба казалась поэтому неминуемой.

На следующее утро распространилась весть о прибытии депутации из Венгрии с Кошутом во главе. Тогда же появился первые бесцензурный листок, известный „Гимн университету“, написанный Франклем [1]).

Между тем, когда при дворе взвесили все возможные последствия борьбы с вооруженным народом, „осадное“ настроение опять сменилось другим. Камарилья, наконец, согласилась, что самое разумное—„даровать“. Добрый Фердинанд обещал дать конституцию и сделал прогулку по городу. Народ с единодушным восторгом приветствовал добросердечного человека. Из толпы везде раздавались крики: „Виват императору Фердинанду, который не позволил стрелять!“ К вечеру явилась прокламация, которая официально возвещала добрым венцам об их „свободе“. Анекдотам о том, как Фердинанда побудили к изданию этой прокламации, можно не придавать никакого значения. Прокламация возвещала для Австрии следующее: „свобода печати, организация национальной гвардии с свободно избранными начальниками, созыв в самом непродолжительном времени депутатов от всех провинциальных сословий различных областей и государств империи, при чем городское сословие должно получить усиленное представительство; задача собрания этих депутатов—соглашение с императором по вопросу о решенной им конституции отечества“.

Плохой стиль прокламации и удивительное выражение: „конституция отечества“, показывали, что дело было сделано при совершенно особых условиях. Но венцы опять совсем угорели от радости и снова зажгли иллюминацию,—и все это при осадном положении, потому что оно еще не было отменено.

Прибыл Кошут, речь которого так сильно содействовала завоеваниям этого дня, и произнес в университетской „Aula“ пламенное приветствие: венгры, чехи и немцы прославляли праздник братства, но действие его было, к несчастью, очень непродолжительно. На следующий день получили удовлетворение выставленные венграми обычные народные требования, в том числе и особое ответственное министерство для Венгрии.

Все сплошь блаженствовало и ликовало. Добрые венцы едва ли замечали в то время, что почти все креатуры меттерниховской „системы“ остались в должностях, сохранили свой сан, и что весь домартовский аппарат

---

[1]) Он начинается такими словами:

«Was kommt heran mit kühnem Gange?
Die Waffe blinkt, die Fahne weht:
Es naht mit hellem Trommelklange
Die Universität!»

(«Кто там подходит бодро, ясно?
Блистает знамя и стилет,
А барабан гремит так властно:
Наш университет!»).

для дрессировки народов только на время был отстранен, но поддерживался в полной готовности для применения в позднейшее время.

Да почему бы венцам и не ликовать? Ведь в эти дни буря восторгов пронеслась от Сицилии до Балтийского моря и от Карпатов до Атлантического океана!

17-го марта состоялось погребение трупов убитых. Семнадцать гробов на семи колесницах были перевезены в Шмельц, где находились могилы. Перед тем трупы были выставлены для определения личности убитых. Среди них был один студент-еврей, по имени Шпицер, и бедный сапожный подмастерье, голова у которого была рассечена сабельным ударом. Национальная гвардия сопровождала погребальное шествие; в нем участвовало до 30.000 человек. На знамени, которое несли впереди гробов, стояла надпись: „Пали за родину 13-го и 14-го марта 1848 года". От знамени ниспадали длинные белые ленты, которые поддерживались девушками. В речах, произнесенных на могилах,—ораторами выступали и духовные разных исповеданий,—павших прославляли, как мучеников за свободу.

За столицей последовала и остальная Австрия. По самым крупным последствием революции в Вене была революция в Верхней Италии; она произвела большое впечатление на всю Европу.

Австрийское господство тяжким гнетом лежало на Ломбардии. Веяние революции пронеслось через итальянский полуостров от Сицилии до подошвы Альп и раздуло тлеющий огонек в яркое пламя. Австрийское правительство по обыкновению выступило со своими нелепыми и суровыми мерами и только усилило раздражение ломбардцев. Уже перед Февральской революцией дело нередко доходило до мятежей и кровопролитных столкновений между ломбардцами, с одной стороны, и австрийскими войсками—с другой. Меттерних, как и всегда, прибег к средствам насилия и 22-го февраля приказал объявить на осадном положении все ломбардо-венецианское королевство. На старого фельдмаршала Радецкого, начальника австрийских войск, стоявших в Ломбардии, была возложена военная диктатура. Радецкий, выдающийся полководец, еще в 1813 г. принимал участие в выработке плана похода против Наполеона. Он верно служил дому Габсбургов, был энергичен, но в то же время осмотрителен в принимаемых мерах и принадлежал к числу самых опасных противников итальянской революции. Он не обладал склонностью к мелочным притеснениям и мучительству, что, напротив, составляло наиболее характерную особенность австрийской полицейщины, и высшей и низшей. Полиция зашла настолько далеко, что ко времени карнавала воспретила миланцам носить маски и перебрасываться конфетти и грозила тюрьмой за эти невинные развлечения. В конце февраля вышло запрещение ввозить и провозить оружие через Италию; оно очень тяжко обрушилось на торговлю железом и фабрикацию кос в Ломбардии. В Вену отправилась депутация, чтобы исходатайствовать отмену этого распоряжения; ее приняли презрительно и с обычным габсбургским высокомерием отвечали отказом. Таким образом Габсбургский дом и его государственный канцлер Меттерних делали все, чтобы вызвать беспримерное раздражение во всем населении Верхней

Италии. Когда в Милане было объявлено осадное положение, весь город как будто разом опустел. Многие магазины были закрыты, развлечения прекратились, и запустели даже места для прогулок в этом вообще таком жизнерадостном, шумном городе. Но это было затишье перед бурей,—обе стороны чувствовали, что приближается катастрофа. Это сознавалось и в Сардинии, и потому король Карл-Альберт двинул на границу войска, чтобы вмешаться при первом же удобном случае.

17-го марта в Милан пришли вести о событиях в Вене; утром 18-го марта австрийские власти расклеили по углам сообщение об уступках императора Фердинанда, но при этом ни словом не упомянули об отставке Меттерниха. Возможно, что отчасти по этой причине миланцы не придали никакого значения императорским уступкам и увидали во всем фокусническую проделку. Городские улицы вдруг оживились, массы народа начали устраивать грозные сборища, столкновение сделалось неизбежным. Миланцы нападали на отдельных австрийских солдат и убивали их; когда Радецкий приказал стрелять в толпу, она разбежалась, но только затем, чтобы приступить к сооружению баррикад. Эти бастионы революции скоро преградили все улицы. Началось уличное сражение; обе стороны вели его с страшной энергией. В австрийцев стреляли из окон, из подвальных отверстий, из слуховых окошек на крышах; сверху на них сыпались камни и лилось кипящее масло. Проливной дождь создавал для австрийцев всевозможные затруднения, промочив их до костей и сделав огнестрельное оружие непригодным к употреблению. Верующим могло казаться, что само провидение, наконец, выступило против грубых насилий австрийцев в Ломбардии. Борьба унесла много жертв с обеих сторон, некоторые улицы были залиты кровью. Радецкий скоро увидал, насколько невыгодно его положение. В городе у него было всего 10.000 солдат, да и в этом числе одна треть итальянцев, которые во время борьбы при первой же возможности соединялись с восставшими. У Радецкого чувствовался недостаток в орудиях, в боевых припасах, в провианте. Уже на 19-е марта австрийские войска были настолько истомлены, что Радецкому пришлось укрепиться в замке и вывести своих солдат из Милана. Он постарался стянуть подкрепления, но это не удалось: при вести о миланском восстании разом восстала вся Ломбардия. Население, вооружившись, спешило на помощь к миланцам. С границы Сардинии пришла весть о передвижении войск. Гордый фельдмаршал со скрежетом зубовным должен был отступить перед натиском народа. Он со своими войсками ретировался за Минчио, разъяренный своим поражением, пылая жаждою мести. Ошибки самих итальянцев, к несчастью, доставили ему возможность отмщения.

Но в первое время последствия ломбардской революции были поражающими, уничтожающими для Габсбургского дома. Кремона и Брешия с помощью итальянских войск изгнали австрийские гарнизоны. Восстание Венеции приняло настолько энергичный характер, что австрийский комендант, граф Зичи, вынужден был заключить бесславную капитуляцию и передать город лагун новому, революционному правительству. Герцоги Моденский и

Пармский тоже подверглись изгнанию. Тогда совершенно естественно выдвинулась идея соединить восставшие провинции Верхней Италии с Пьемонтом и Сардинией и таким образом создать прочную опору против Австрии. Перед этой идеей на некоторое время совсем стушевались республиканские стремления, и паролем дня сделалось учреждение в Верхней Италии конституционного королевства. Но этот пароль принес с собою несчастье: во главу движения он поставил Карла-Альберта, сардинского короля. У ломбардцев и венецианцев были все причины относиться с недоверием к сардинскому королю. Еще в бытность принцем Кариньянским, в 1821 году, он вступил в сношения с революционным обществом карбонариев; когда в Пьемонте вспыхнула революция, восставшие выдвинули его предводителем. Но вслед затем он позорнейшим образом изменил революции, и его имя превратилось для передовой части итальянского народа в „величайшее проклятие" Италии. Сделавшись королем, Карл-Альберт управлял с таким деспотизмом, какой только допускали сложившиеся обстоятельства. И тем не менее подъем движения, направленного к независимости, вознес его на высоту, так как ломбардцы нуждались в его оружии. Карл-Альберт жадно ухватился за случай сделаться королем Верхней Италии, хотя для этого пришлось вступить на путь революции: все средства были пригодны для этого честолюбивого и эгоистического человека. 24-го марта Карл-Альберт призвал итальянцев к борьбе. Масса ответила ему бурей восторгов, к нему повалила молодежь, пылавшая жаждой борьбы. Но люди самостоятельные предчувствовали, что этот король погубит Италию. Гарибальди, который впервые выдвинулся в войнах в Южной Америке, при вести об итальянском движении поспешил на родину, и когда к нему обратились с вопросом, не предлагал ли он свою шпагу в распоряжение Карла-Альберта, ответил гордыми словами: „Подобного сорта люди не стоят того, чтобы им подчинялись такие, как наше, сердца!"

Пожалуй, в этих словах слишком уж много самомнения. Но было бы лучше, если бы все итальянцы страдали этим излишеством.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Революция в Пруссии.

Прусское царство военщины, казалось, было непоколебимо по своей прочности. Его „блестящее воинство“, на которое ежегодно расходовалось более 22 миллионов при государственном бюджете всего в 51 миллион талеров, по сравнению с численностью населения было много сильнее, чем австрийская и французская армии. Бесчисленные чиновники управляли „со строгостью и благочестием“, и каждый из них считал себя в пределах своей канцелярии маленьким самодержцем милостью божией. Либеральная буржуазия характеризовалась трусливостью, а подавляющая масса народа казалась политически безразличной. И однако железный кулак революции так мощно ударил в это непоколебимое, повидимому, государственное здание, что ворота с грохотом рухнули и старый абсолютизм в первый момент побледнел, охваченный диким, смертельным ужасом. Правда, впоследствии он был опять гальванизирован, так что производил конвульсивные, судорожные движения; тем не менее уже было невозможно возродить его к полной, настоящей жизни.

Все это случилось не сразу. Пионерами выступили мелкие и средние германские государства; даже Австрия шла впереди. Но и на территории прусского государства не было недостатка в предзнаменованиях. Прежде всего отделился от Пруссии швейцарский кантон Нейенбург (Невшатель); Венский конгресс со своим известным мастерством в шпионально-портняжном искусстве поставил его под верховную власть прусской монархии и таким образом превратил в неистощимый источник политических столкновений. Впрочем Невшатель был слишком далек от Пруссии. Но влияние французской революции скоро обнаружилось и в рейнской области Пруссии. Она чувствовала себя „прусской поневоле“, жители с несравненно большей охотой остались бы сами собой. В них жило благодарное воспоминание о перевороте девяностых годов XVIII столетия, который принес с собой для рейнских земель освобождение от клерикальных правительств и современное французское законодательство; при нем рейнским странам жилось бесконечно лучше, чем под управлением духовных дворов с их средневековыми нарыками. В мартовские дни, дышавшие бурей, звуки „Марсельезы“ послышались

в Кельне; к великому негодованию господ военных и бюрократов, „Марсельезу“ играли и, разумеется, пели в кельнских кофейнях. Все пришло в движение. Либеральная буржуазия обратилась к депутатам Рейнской провинции, предлагая обсудить положение; на соборном дворе мелкая и средняя буржуазия устроила собрание. Собрание обнаружило величайшую скромность; здесь все еще опирались на кабинетский указ 1815 года и выставили известные „народные требования“. Говорили о том, что в такое возбужденное время следует отказаться от удовольствий карнавала. Но карнавал все-таки состоялся.

В Кельне можно было наблюдать, какой прогресс сделал социализм: на-ряду с буржуазным движением здесь развивалось другое—движение рабочих. Они большой толпой собрались на Старом Рынке и отсюда отправили депутацию в городскую думу. Во главе депутатов выступил фон-Виллих, отставной артиллерийский лейтенант. Он представил известные „народные требования“, но снабдил их добавлениями, имевшими социалистическую окраску. Он требовал защиты труда, гарантий удовлетворения человеческих потребностей, а также воспитания детей на общественный счет. „Социализм“ господина лейтенанта был очень замысловатый, что объясняется неразвитостью общественных отношений того времени, а также общей спутанностью мышления у господина фон-Виллиха. Но нельзя отрицать, что Виллих был человек энергичный; он заявил, что ни он, ни рабочие не уйдут с Рынка, пока городская управа не постановит решения. Дума не могла принять никакого решения; но вот в 10 часов послышался походный марш, выступили войска и грубо разогнали собравшуюся толпу. Некоторые рабочие бросились к городской думе. Это так напугало одного почтенного отца города, что он выпрыгнул в окно и переломал себе ноги. Его коллеги почти все разбежались. На следующее утро было арестовано несколько народных ораторов. Но Кельн пришел в величайшее возбуждение и так запугал буржуазию, что она заявила обер-президенту провинции: уступка—единственное средство спасения. Среди народной массы начались споры о преимуществах монархического и республиканского правления; послышались даже угрозы присоединиться к Франции.

Таков был пролог на Рейне. Берлинские юнкера и бюрократы взирали на события со своей обычной надменностью и грозили самыми крайними мерами, если и берлинская „чернь“ начнет „хорохориться“. Король, напротив, с большой безмятежностью отнесся к отпадению Невшателя. Ему казалось, что, кроме прекрасного вида из тамошнего замка, он ничего не теряет.

Настроение берлинского населения было возбужденное. Известия из Парижа, из южной и средней Германии не могли не произвести глубокого впечатления и в прусской столице. Берлинский мещанин, который до сих пор только неудачно острил, пил белое пиво, по воскресеньям прогуливался „под Липами“ и находил величайшее удовольствие в почтительном созерцании проходящих гвардейских полков, сделался разом серьезнее. В пивных и кофейнях—выражаясь языком „Фоссовой Газеты“—заговорили о „полити-

ческих и ученых вещах“. Рабочие, подхлестываемые нищетой, тоже обнаружили необычайное возбуждение; особенное впечатление произвел на них тот факт, что в Париже один рабочий вошел в состав правительства и что это правительство обещало рабочим гарантировать для них пропитание.

В городе ходили всевозможные слухи; власти обнаружили большую предусмотрительность. Много разговоров было о том, как станут держаться войска, если вспыхнет борьба, и т. д. Вследствие этого были сделаны военные приготовления; войска стояли в казармах, готовые выступить во всякий момент; на Кепеникской улице, в артиллерийской казарме и в других местах были заготовлены многочисленные пушки. Это не могло пройти незамеченным; возбуждение все увеличивалось.

6-го марта король распустил „комитет сословий“—учреждение очень непопулярное, так как при нем можно было не созывать ландтага. Надо показать миру, говорилось в тронной речи, „что в Пруссии король, войско и народ остаются одни и те же из поколения в поколение“.

Но еще вечером того же дня было дано доказательство, что прусский народ готов сделаться другим: в Тиргартене, под „Палатками“, состоялось первое народное собрание. „Палатки“, многочисленные пивные и кофейни, расположенные вдоль реки Шпре, искони являлись излюбленным местом увеселений берлинцев; теперь они сделались центром народного движения. Собрания, состоявшиеся под „Палатками“, наполовину были народными гуляньями и наполовину имели вид политически-парламентских собраний. В то время, как шла торговля чесночной колбасой, булками, солеными огурцами, водкой и сигарами, на эстраде обсуждались злободневные политические вопросы; после дебатов оттуда опять слышались звуки оркестра. Во время революции народ, казалось, захватил Тиргартен почти в полную собственность; берлинское „общество“, которое в обычное время прогуливалось и каталось здесь во всей своей пышности и великолепии, в эти дни не показывалось в Тиргартене.

Первое народное собрание хотело формулировать „требования народа“, но окончилось абсолютно ничем. В тот же вечер граф Клейст имел разговор с принцем Прусским, впоследствии императором Вильгельмом I. Клейст полагал, что для внутренней безопасности необходим германский парламент, а также гражданское ополчение. Принц решительно выступил и против того и против другого. Тот факт, что граф Клейст, реакционер и аристократ, считал необходимым гражданское ополчение, лучше всего доказывает, насколько хорошо понимали реакционеры, что движущая сила революции лежит в пролетариате и что „вооружение граждан“ послужит для его подавления. „Немецкий гражданин“ с его доверчивостью и его страхом перед красным призраком попал на „гражданское ополчение“, как муха на клей, и попал так основательно, что, как мы увидим, благодаря этому почти полностью погибли все его завоевания.

На бирже между тем господствовало большое замешательство, потому что курсы полетели вниз с головокружительной быстротой. Прусские госу-

дарственные займы уже 7-го марта упали до 84% номинальной стоимости; железнодорожные акции падали еще быстрее; рантьеры были охвачены паникой.

Возбуждение замечалось и среди гласных городской думы; но подавляющее большинство этих господ с верноподданническими чувствами носило золотую цепь, введенную для берлинских гласных Фридрихом-Вильгельмом IV. Утром 7-го марта дума 18-ю голосами против 9-ти отклонила предложение потребовать от короля созыва соединенного ландтага. Днем раньше обер-бургомистр и представитель от гласных обедали у короля, и обер-бургомистр Краусник заявлял потом, что он не примет участия ни в каких беспорядках и откажется от звания президента возможного в будущем временного правительства. Тогда еще не зашли так далеко, как в наше время, когда оппозиционные политики принимают участие в дворцовых обедах и потом, оставив дворец, перед народом опять разыгрывают „оппозицию“.

Вечером 7-го марта под „Палатками“ опять собралась многолюдная толпа; на этот раз был выработан адрес, в котором в решительной форме выражены требования народа [1]). Избрали депутацию и поручили ей передать адрес лично королю Фридриху-Вильгельму IV.

Собравшись на следующее утро в одной читальне, в „газетной“, депутация и не подозревала, что полиция Пруссии уже витает над нею. Велико было ее изумление, когда перед ней предстал президент полиции фон-Минутоли и заявил, что он сделал королю доклад о вчерашнем собрании и король сообщил ему, что он ни под каким видом не примет депутацию; адрес королю следует отправить по почте. Президент полиции добавил к этому, что ему дан в надлежащей форме приказ: всеми средствами, не останавливаясь перед кровопролитием, воспрепятствовать исполнению постановления относительно депутации, посланной к королю [2]).

Депутация, состоявшая из людей без политического опыта, отступила перед такой отеческой угрозой, но все же положила адрес для собирания подписей. Между тем адрес произвел на короля известное впечатление.

---

[1]) Требования формулированы в таком порядке: „1) свобода печати; 2) свобода слова; 3) общая амнистия по всем делам, касающимся печати и политических мнений; 4) неограниченное право совещаний (собраний) и организации союзов; 5) политическое равноправие всех граждан, без различия религии и имущества; 6) суды присяжных и независимость судей; 7) уменьшение численности постоянного войска и народное вооружение; 8) обще-германское представительство; 9) созвание соединенного ландтага в возможно скорейшем времени“. Поскольку отдельных лиц можно считать инициаторами этого адреса, таковыми были некий Левенфельд и д-р Оппенгейм из Франкфурта на-Майне.

[2]) Поведение фон-Минутоли во время берлинской революции было по меньшей мере очень двусмысленно. Тем не менее он сохранил свою популярность,—слишком мало политического опыта было еще у берлинцев. Того факта, что господину фон-Минутоли приписывали „заслуга“ „открытия“ большого польского заговора 1846 г. при других условиях было бы достаточно, чтобы отнять у президента полиции доверие общества.

Восьмого марта он издал прокламацию, которая открывает перспективу решительной реформы законодательства о печати, освобождения от цензуры, но в то же время говорит и о „гарантиях против злоупотреблений свободой печати“. Прокламация не произвела никакого впечатления, потому что она содержала только неопределенные обещания, при том уже сделанные союзным сеймом.

События следовали одно за другим. 9-го марта народ сделал новый шаг вперед. Под „Палатками“ состоялось первое большое народное собрание; оно привлекло тысячи посетителей и постановило обратиться к городским гласным с просьбой о вручении адреса королю. Собрание прошло при образцовом спокойствии и порядке. Но в движении чувствовался недостаток силы и решительности. Варнгаген фон-Энзе, тонкий наблюдатель, около этого времени писал в своем дневнике: „Если бы во Франции было мыслимо внезапное возвращение к государям их силы,—не отберут ли тотчас же обратно все уступки в Германии, не откроют ли преследования и не подвергнут ли наказаниям вождей движения? Мы живем чужим счастьем, воздействиями из-за границы“.

В кельнской (старо-берлинской) ратуше вечером происходили прения городских гласных. Места для публики были переполнены. В этих прениях уже заявил о себе социальный вопрос. Число безработных достигло в Берлине огромных размеров; были организованы бюро для отыскания работы. В первый же день в них записалось до 700 рабочих, но работа нашлась только троим. Это должно было показать почтенным отцам города, что беда не в отсутствии учреждений для указания работы, а в избытке безработных рабочих. Одна петиция, ссылаясь на лишения рабочих классов, требовала учреждения „постоянной депутации“ при городском управлении, целью деятельности которой должно послужить благо рабочих; та же петиция требовала, чтобы „всеобщими сборами по домам“ были добыты средства на организацию общественных работ. Поднялись долгие споры о том, кто должен здесь действовать: государство или город. Вообще социально-экономические воззрения городских гласных характеризовались такой же отсталостью, как и взгляды петиционеров. Дело было передано, наконец, особой комиссии, равно как и предложение организовать гражданскую стражу. Последнее требование было выставлено несколькими мещанами, которые с трусливым нытьем и со щелкающими от страха зубами утверждали, будто войско и полиция не могут доставить своевременной охраны для собственности и будто опасность угрожает жизни и собственности. Потом подвергли обсуждению проект очень робкого адреса, который требовал от короля свободы печати, истинного народного представительства и единого государственного устройства Германии. И этот адрес был передан в комиссию.

11-го марта эти вопросы были поставлены на новое обсуждение городских гласных. Очень многочисленная публика держала себя чрезвычайно неспокойно, так что ей несколько раз пригрозили очистить трибуны. Было постановлено передать королю упомянутый выше смиренный адрес, который

вышел из комиссии еще более безобидным; напротив, достойные отцы города отклонили предложение препроводить адрес в собрание под „Палатками". Что касается предложения учредить гражданскую стражу, оно вызвало очень запутанные дебаты. Гласные разошлись, не придя ни к каким результатам. Берендса и доктора Науверка, демократических гласных, на улицах встретили горячими овациями; народ приветствовал их восторженными „ура".

Инициаторы адреса в „Палатках" в своем замешательстве дошли до такой наивности, что обратились к одному тайному советнику с просьбой передать адрес по назначению. Ответом была, разумеется, ироническая усмешка. Тогда решено было отправить адрес по почте,—совсем так, как отечески посоветовал господин президент полиции. Городские же гласные со своим адресом были приглашены к королю на 14-е марта.

Возбуждение берлинцев все увеличивалось, благодаря новым известиям извне, которые приходили теперь чуть не ежечасно и сообщали о новых успехах народа [1]).

13-го марта из Кельна пришли известия об успехах движения в Рейнской провинции. Ходили всевозможные слухи. Рассказывали, будто принц Прусский в речи, обращенной к войскам, подготовлял их к борьбе, будто он отправляется в рейнские земли, чтобы силой оружия подавить тамошнее народное движение. Уже это одно действовало, как набатный призыв; а тут пришло новое известие, которое усилило возбуждение: рассказывали, будто отдан приказ вооруженной силой воспрепятствовать собраниям в Тиргартене. Благодаря этим вестям люди толпами выходили на улицы. Улица „под Липами", Дворцовая площадь, Кенигштрассе да и все главные улицы переполнились настолько, что началась давка. Учебные заведения были закрыты. правительство показало, что оно приготовилось к борьбе. Около 6 часов многочисленные кавалерийские отряды двинулись к Бранденбургским воротам. Пехота заняла дворец и арсенал. Выдвинули орудия. По улицам проезжали сильные патрули жандармов. Генерал фон-Пфуль, губернатор Берлина, солдат из школы Блюхера и Гнейзенау, призывал войска к умеренности и снисходительности; но многие офицеры и солдаты страстно хотели борьбы.

Собрание под „Палатками" в этот вечер прошло в величайшем порядке. Оно обсуждало вопросы о германском флоте и о министерстве труда. У полиции не было поводов для вмешательства. Собрание постановило обратиться к королю с адресом, проект которого был представлен в лито-

---

[1]) Забавно проследить поведение мещан и трусов в эти бурные дни. Так, в письме, напечатанном в „Фоссовой Газете" от 13-го марта, некто спрашивает: „Есть ли нужда обнаруживать такую ужасающую поспешность, чтобы все перепрокинуть в Германии? Если построить дом в четыре недели, через восемь дней он разрушится. Но неужели и в Пруссии хотят построить такой дом?"—В том же номере другой мещанин обращается к пролетариям с советом искать помощи в самих себе, потому что она никогда не может прийти извне. Этот высокомудрый человек, очевидно, не знал, насколько опасен для его собственного класса такой совет в революционные времена.

эафированном виде. В адресе говорилось, что капиталисты и ростовщики угнетают народ и что король должен учредить министерство труда, „чтобы защитить государство от опасностей, спасти всеобщую собственность и жизнь от предстоящих опустошений и улучшить долю рабочего“. Сам по себе адрес был безобидный; но мещанская пресса использовала его для жалкой и бесстыдной травли. „Фоссова Газета“ доносила публике, что адрес „чисто коммунистический“ и что он имеет целью „возбуждение трудящихся классов“.

Между тем у Бранденбургских ворот произошла стычка между толпой народа и кавалерией. К воротам подошли возвращавшиеся в город с собрания под „Палатками“; „под Липами“ началась давка. Войско грубо вмешалось, а у дворца на густую, теснившуюся толпу было сделано нападение со штыками на-перевес. Толпа с дикими криками разбежалась. Шум достиг оперного театра; в испуге там прекратили представление. На Грюнштрассе была сделана попытка соорудить баррикаду, на Егерштрассе напали на оружейный магазин. Но в общем нигде не оказали решительного сопротивления полиции и войскам.

„В газетах презренное филистерство берет перевес“, пишет Варнгаген под 13-м марта. И действительно, большинство газет подвизалось в презренном деле травли против народа; впереди всех в этом отношении была „Фоссова“. Поучительно воспроизвести хотя одну статью из этой газеты филистеров, из номера от 15-го марта 1848 года: существенно выяснить, какую позицию занимали филистеры до борьбы и после борьбы. Итак, в номере от 15-го марта говорится:

„Наши полицейские власти молча терпели народные собрания, которые последние вечера устраивались под „Палатками“, хотя таковые собрания запрещены союзным постановлением от 1832 года. Полицейская власть руководствовалась при этом человеколюбивым намерением: при теперешнем возбуждении избегать всякого столкновения с народными массами и всяких несчастных случаев, которые неизбежно должны были бы произойти при этом. Но после того, как собрания эти со вчерашнего вечера [1]) приобрели такой опасный характер, после того, дальше, как составилось убеждение, что в этих собраниях вовсе не находит себе выражение действительная воля благовоспитанного и приличного общества, власти намерены сегодня подавить собрания с величайшей энергией и решительностью, и, как говорят, с этой целью военным начальникам были отданы очень строгие приказания. В самом деле, подавляющую часть вчерашнего собрания составлял только разный сброд и незрелые люди, которые, ни в малой мере не обладая политическим пониманием, искали там только пищи для своей дерзости и не останавливались перед тем, чтобы грозить опасностью жизни и собственности своих рассудительных сограждан. Среди ораторов, которые там выступали, тоже не было ни одного выдающегося

[1]) Статья помечена 14-м марта, следовательно, имеется в виду вечер 13-го марта.

человека или хотя бы такого, который пользовался бы среди народа некоторым престижем и уважением; напротив, там были исключительно молодые люди, едва лишь оставившие школу, которые делали на собрании пробу своим незрелым талантам. И адресы, которые создались при таких обстоятельствах, имеют очень убогий характер; они представляют явное и очень слабое подражание заграничным демонстрациям, но далеко уступают им по внутреннему содержанию и исторической обоснованности. Итак, пусть наши рассудительные сограждане держатся вдали от этих собраний, пусть они убедятся в том, что такие бессодержательные средства, рассчитанные исключительно на любопытство, могут причинить только вред положительному и легальному прогрессу".

Точь-в-точь, как в настоящее время официозные и официальные газеты говорят о собраниях, которые устраивает социал-демократическая партия. Впоследствии мы еще увидим, как после победы гражданская беспринципность в тех же самых газетах повергла в прах пред успехом и как „благовоспитанные" и „приличные" люди начали превыше всякой меры восхвалять „разный сброд".

В том же номере „Фоссова" требует, чтобы ораторы собраний в „Палатках" дали „точные сведения" о своем имени, звании и месте жительства,—вероятно, с той целью, чтобы ночью, когда они будут возвращаться домой, напасть на них и подвергнуть побоям. [1]).

Травля, открытая прессой филистеров, принесла свои плоды. Один офицер на вопрос граждан ответил: „Если прикажут, мы будем стрелять и при том с большим удовольствием". Эти слова переходили из уст в уста и усиливали негодование.

14-го марта городские гласные со своим адресом были приняты королем. Фридрих-Вильгельм IV в своем ответе заметил следующее: в то время когда все кругом кипит в целом мире, нельзя ожидать, чтобы в Берлине температура была ниже точки замерзания; он доволен, что в этом большом городе, где имеется столько материалов для брожения, беспорядки не достигли больших размеров; он обещает подумать о постепенном развитии конституционной жизни, это дело не допускает чрезвычайной поспешности; на 27-е апреля он намерен созвать соединенный ландтаг, и тогда все будет решено.

Отцы города воображали, что они несут из дворца колоссальное завоевание: созыв соединенного ландтага. Но их близорукость скоро получила надлежащий урок. В тот же вечер явился указ короля о созыве ландтага, который должен стремиться к тому, „чтобы свободными учреждениями охранить Германию от опасностей переворота и анархии". Указ не произвел никакого впечатления на народные массы. Он

---

[1]) В одном письме, напечатанном в „Фоссовой Газете", говорится: „Внимание бунтарей! Спеши не торопясь, не то узнаешь дубину—как раз!" Еще одно письмо: „Каких-нибудь полсотни граждан, 200 ремесленников-подмастерьев, 100 гимназистов и разных других людишек, — могут ли они быть представителями тридцати тысяч граждан?"

были раздражены расклеенными по углам объявлениями, в которых губернатор и президент полиции обращались с предостережениями и грозили карами за скопища и сборища. В случае собраний домохозяева должны были запирать свои дома, фабриканты—свои фабрики, мастера—свои мастерские, чтобы никто из собравшихся не мог выйти на улицу. Взаимная ненависть войск и народа все возрастала, опять произошли стычки, которые на этот раз были ожесточеннее и кровопролитнее. Войска тоже все более раздражались, потому что из толпы им нередко кричали: „Эй, вы, деревенщина, парни, отправляйтесь домой и жрите черный хлеб!“ Кое-где в солдат бросали камнями, защищались палками. В других местах, в особенности на Дворцовой площади, Брейтенштрассе и Брюдерштрассе произошли уже серьезные схватки, и дело дошло до вооруженного столкновения. В узкой Брюдерштрассе гвардейские кирасиры с тяжелыми палашами врубились в безоружную толпу, которая не могла двинуться ни вперед, ни назад [1]). Граждане, которые смотрели на резню из домов, пришли в негодование и дали ему исход: направили жалобу—к министру фон-Бодельшвингу! Последний обещал, что „прискорбное происшествие“ будет расследовано. Негодование „почтенных“ граждан получило таким образом полное удовлетворение.

Между тем пришла весть о венских событиях, о свержении Меттерниха и победе народа. Фридрих-Вильгельм IV, который в это время был в Потсдаме, сказал: „Ну, надо будет отправляться в Берлин, чтобы они там у меня тоже не выкинули какой-нибудь глупой штуки“.

Но лавина покатилась, и уже никто не мог бы ее удержать.

15-го марта беспорядки и стычки начались снова. Городские гласные договорились с военными властями, что последние вмешаются лишь в случае опасности для собственности или личной неприкосновенности; об этом было сделано соответствующее извещение. В то же время граждане и студенты, по соглашению с магистратом, сообща организовали охранную комиссию. С белыми палками и белыми повязками на рукавах они расхаживали по городу и старались успокоить возбужденные массы. Берлинские остряки назвали этих стражей „похоронными плакальщиками“, деятельность их не принесла никаких результатов. Вечером Дворцовая площадь опять переполнилась. Когда ворота дворца, в которые публика вообще допускалась, вдруг были закрыты, из толпы раздались крики и свистки. Тогда раздался боевой сигнал, выступила пехота и штыками и прикладами оттеснила толпу в ближайшие улицы. Мостовая здесь была взломана, толпа сделала попытку сооружения баррикад. Среди народа оказались вооруженные. Тут войска пустили в ход огнестрельное оружие. В народ стреляли несколько раз; были убитые и раненые. Все, кто еще сохранял некоторое благоразумие, советовали правительству уступить, отозвать войска, удовлетворить народные требования и вооружить граждан. Но все было тщетно. Юнкеры и бахвалы хотели сражаться;—им и пришлось сражаться, но конец был для них неожиданный.

---

[1]) По словам Варнгагена, губернатор фон-Пфуль на следующий день говорил ему, что при этой атаке были изрублены многие невинные.

16-го марта государственный совет во дворце, студенчество в актовом зале обсуждали вопрос, что теперь делать. Вдруг к вечеру на Оперной площади раздался страшный ружейный залп. Там уже к полудню собрались кучки любопытных, которые забавлялись тем, что высмеивали „плакальщиков“. Толпа разрасталась. Вдруг появляется отряд пехоты, поворачивает около памятника Блюхеру, дает троекратный сигнал барабанным боем и немедленно открывает огонь. Многие были ранены, несколько человек убито наповал. Последовала сцена панического смятения; толпа с криками ужаса бросилась через Дворцовую площадь. Некоторое время виднелись в диком страхе бегущие люди. Потом все сделалось тихо. В этот день беспорядки больше не повторялись, но для всякого было ясно, что теперь катастрофа уже неминуема.

Городские гласные в этот день опять дебатировали рабочий вопрос. Было постановлено просить администрацию не прекращать общественные постройки. Министр внутренних дел дал обещание удовлетворить эту просьбу: возобновить постройку канала, приступить к постройке новых дорог, имеющих стратегическое значение. После этого отцы города совсем успокоились. Теперь они не хотели и слышать о вооружении граждан. Демократ доктор Науверк полагал, что с этого времени главное дело— добиться свободы печати [1]; впрочем, он был также и за вооружение граждан.

Студенты отправились во дворец, чтобы предложить там свои услуги по части „восстановления порядка“. Командующий офицер принял их очень грубо и едва не арестовал, так как на них были черно-красно-золотые кокарды—официальные цвета Германского Союза. Их предложение было просто отклонено. Такой прием послужил отчасти причиной тому, что эти молодые люди, вообще очень лойяльные, впоследствии в большом числе сражались на баррикадах.

17-го марта Берлин по внешности казался спокойным. Говорили, что в предыдущий день было убито 15—18 человек. Установить число с точностью невозможно. В больнице лежало 80 раненых, в частных квартирах вероятно, не меньше. Среди убитых и раненых были представители и средних классов. В пылу сражения ранили даже одного офицера, одетого в штатское платье. На Шпрегассе был убит спасавшийся бегством рабочий; пуля попала ему в спину и спереди вылетела наружу. Среди солдат тоже было много раненых брошенными камнями.

Но если в этот день ожесточение и возбуждение не проявлялись на улицах, зато тем сильнее были они в домах, в кафе и трактирах, в читальнях и других пунктах, где собирается публика. Кровопролитное выступление войска заставило берлинца, вообще такого спокойного и благонамеренного

[1]) Насколько бесцеремонно держалась берлинская цензура еще 15 марта, видно из такого, напр., факта. Окружной цензор Пипер, коллежский асессор, так поздно возвращал из цензуры листы газеты „Zeitungshalle“, что ее нельзя было печатать во время и рассылать с вечерними поездами. Когда издатель пожаловался на это, цензор Пипер публично заявил, что жалоба на гонения - „обычный редакторский прием, чтобы усилить подписку“.

прямо вскипеть от ярости. Известия о полной победе народа в Вене и о движении в Рейнской провинции тоже производили свое действие. Еще больше подействовало прибытие депутации из Кельна, в которой находился Франц Раво, известный кельнский народный оратор. Рассказывали, что депутация решила угрожать отпадением рейнских земель от Пруссии и присоединением к Франции, если известные требования народа не будут удовлетворены. Что касается „присоединения к Франции", дело, разумеется, обстояло совсем не так, но слухи все представляли в преувеличенном виде.

В тот же день состоялись собрания граждан за городом в „Кемпергофе", а также в кельнской и берлинской ратушах, в молельне лютеранской общины и в других местах. Было постановлено, по инициативе главным образом доктора Веннгера, толпой отправиться к дворцу. Цель заключалась в передаче королю адреса с желаниями народа и с такими требованиями, как свобода печати, ускорение созыва соединенного ландтага, удаление войска и вооружение граждан. Предполагалось, что демонстрация будет носить совершенно мирный характер; в собраниях ее называли „мирной демонстрацией народных желаний".

Таким образом, вопреки очень нередким утверждениям, катастрофе не предшествовало никаких заговоров с кинжалом и пистолетом. Движение, с полной непосредственностью, вытекавшей из обстоятельств, развивалось совершенно открыто на глазах у правительства. Возможно, что, не будь юнкерства, которое, как известно, всеми силами стремилось „проучить каналий-штатских", еще оказалось бы возможным предотвратить катастрофу.

18-го марта рейнская депутация явилась к королю и была принята очень милостиво. Во дворце сделались как будто уступчивее. Завоевания революции во всех странах—так по меньшей мере к а з а л о с ь—пошатнули упрямство лиц, которые имели доступ к королевскому уху. В ночь с 17-го на 18-е марта при дворе составилось решение пойти навстречу требованиям народа. Графу Арниму уже было предложено составить новое министерство.

Кельнская депутация представила известные народные требования и Фридрих-Вильгельм, который в этот день, казалось, спустился с высот своего романтического абсолютизма, ответил, что желания рейнских провинций—его собственные желания; он станет во главе германского движения и предоставит Пруссии свободу, которой от него требуют. Депутаты выразили желание получить гарантии исполнения обещаний, и король, нисколько не оскорбившись таким требованием, предложил обождать несколько часов, чтобы захватить с собой на родину грамоты и прокламации, в которых должно было заключаться исполнение всех желаний народа. Принц Прусский, вообще считавшийся главным противником конституционных учреждений, тоже сказал от себя несколько ласковых слов депутатам из Кельна.

После кельнцев явилась новая депутация, отправленная от лица городских гласных и представившая, в согласии с собраниями граждан, требования народа. Король и ей обещал удовлетворение всех „народных желаний". Когда эта депутация возвратилась в кельнскую ратушу и возвестила

об успешном исходе своей миссии, все пришло в бурный восторг, который захватил трибуны для публики, а оттуда прокатился на улицу. Люди обнимались от радости.

Всеобщую радость несколько омрачило неудачно составленное извещение магистрата. В нем говорилось, что король уже дал либеральный закон о печати, и магистрат „всей своей деятельностью гарантирует осуществление этого правительственного мероприятия“. Это пробудило недоверие. Но в час дня явилось экстренное приложение ко „Всеобщей Прусской Газете“, в котором были напечатаны два королевских рескрипта. В одном рескрипте дано обещание ускорить созыв соединенного ландтага и подтверждалось, что преобразование Германского Союза влечет за собою необходимость конституционного устройства во всех частях Германии. Другой рескрипт отменял цензуру и вводил залоги для газет.

Теперь и прусская либеральная буржуазия получила желанные завоевания, выраженные впрочем в несколько неопределенной форме. Но этого было достаточно, чтобы напряжение ослабело. Разразился взрыв ликований, какого Берлин еще никогда не видал, и скоро охватил все центральные части города. Были люди, которые заявляли, что 18-е марта — счастливейший день в их жизни. На Дворцовой площади собралось до двух тысяч граждан; раздавались „ура“ за „ура“ в честь короля. В дворцовом дворе расположились солдаты и, покуривая, расхаживали взад и вперед Магазины были открыты, из окон дамы глядели на колыхающуюся толпу. Король, приветствуемый бурными криками восторга, вышел на балкон, хотел говорить, но его нельзя было слышать. Тогда вышедший вместе с ним бургомистр Наунин громким голосом прокричал по направлению к площади:

„Король желает, чтобы воцарилась свобода печати; король желает, чтобы ландтаг был созван немедленно.

„Король желает, чтобы все земли Германии были сплочены конституцией на самых либеральных началах; король желает, чтобы развевался германский национальный флаг.

„Король желает, чтобы во всей Германии были уничтожены таможенные заставы.

„Король желает, чтобы Пруссия стала во главе движения“.

Восторг дошел до крайних пределов. Граждане вели себя, словно пьяные. Все было превосходно, раз свободу удалось завоевать без дальнейшего кровопролития. Король размахивал на балконе платком, а министр фон-Бодельшвинг прокричал с балкона, что теперь можно закончить все демонстрации. После этого король удалился.

На Дворцовой площади присутствовали почти исключительно зажиточные граждане. Толпу, предававшуюся восторгам, кричавшую „ура“, составляли, употребляя выражения „тетки Фосс“ („Фоссовой Газеты“), „приличные и благовоспитанные люди“. Только на заднем плане можно было увидеть отдельные сумрачные фигуры пролетариев; некоторые из них говорили: „нам, бедноте, все это нисколько не поможет“. Буржуа старались разубедить рабочих, но те серьезно покачивали головой. Фон-

Савиньи, министр юстиции, подошел к одному рабочему, который мрачным взором смотрел на поднявшуюся суматоху. Безучастность этого человека вызвала досаду у придворного; он постарался втолковать рабочему, что король даровал собственно больше, чем от него требовали. Рабочий окинул министра взглядом с головы до ног и сказал: „С т а р и н а, т ы э т о г о н е п о н и м а е ш ь,— н е д а л и р е ш и т е л ь н о н и ч е г о!"

В коротких словах этого простого человека из народа выразилась бесконечно бо́льшая мудрость, чем ее было в головах очень и очень многих профессоров и либеральных буржуа.

Даже после того, как король уже давным-давно покинул балкон, сотни зрителей все еще прибывали на Дворцовую площадь, чтобы выразить свою радость в громких „ура".

Но вот в третьем часу пополудни наступил поворот—для лойяльных душ, преисполненных ликования, наступил со стихийной неожиданностью, как удар грома среди ясного неба.

На карауле у дворцовых ворот стояли солдаты первого гвардейского полка, так называемые потсдамцы. Народ ненавидел этот полк, потому что в предыдущие дни он проявил в уличных битвах особенную жестокость и враждебность по отношению к народу. Гнев, затаенный в народе, внезапно прорвался с большой силой; площадь огласилась бурными криками: „Войска долой! Убрать солдат! Король должен стать под защиту граждан!" В этот момент какой-то „гражданский стрелок" развернул черно-белое (прусское) знамя. Некоторая часть зрителей аплодировала, но подавляющее большинство подняло крик: „Черно-красно-золотое! Черно-красно-золотое!" В толпе поднялась давка, толкотня, суматоха.

С Дворцовой площади выступил эскадрон драгун и остановился против манежа; казалось, как будто он намерен рассеять толпу. Толпа в диком возбуждении кричала драгунам: „Назад, назад!" В то же время некоторые господа старались успокоить народ чтением королевских рескриптов.

Однако народ в этот момент видел только начищенные каски и обнаженные шашки драгун, но никак не рескрипты. Громкие крики „назад, назад!" заглушили „успокоителей".

Драгуны повернули лошадей, как будто они хотели уступить повелительному „назад!"

Из толпы уже послышались крики „браво", как драгуны вдруг опять повернули и быстрой рысью, с обнаженными саблями, бросились на толпу. Испуганная толпа отхлынула до средины Дворцовой площади, где стоит большой газовый фонарь. В то же время под грохот барабана из дворца вырывается рота гренадер со штыками на-перевес и быстрым натиском отбрасывает народ к мосту Курфюрстов.

Вдруг из рядов гренадер раздались два выстрела. Кто это выстрелил, никому неизвестно; никто не был ранен. Тем не менее эти выстрелы послужили сигналом к страшной борьбе.

Ошеломленная, полная изумления, страха и ярости, угрожаемая саблями и лошадьми драгун и штыками гренадер, толпа рассыпалась и бросилась в

ближайшие улицы с криками: „Нас предали! К оружию! Мщение“!

Возбуждение и гнев в мгновение ока охватывает все население проникает до отдаленнейших частей города. Народ вооружается, на улица воздвигаются баррикады. В бесчисленном множестве и с невероятной быстротой поднимаются они из земли и кое-где достигают уровня крыш Взламывается мостовая, улицы перекапываются канавами, чтобы задержат движение кавалерии. С крыш срывается черепица, чтобы потом ее сбрасывать в приближающиеся войска. Начинается разгром оружейных магазинов льют пули, заряжают ружья. Вооруженный баграми, кольями, топорами ножами, старыми саблями и пиками, народ, пылая жаждой мести, становитс на баррикады. Студенты, которым роль „плакальщиков“ надоела, наконец до тошноты, отправились в пригороды и призывали народ к борьбе. На колокольнях гудели набатные колокола, и медный их голос разносился до деревень, откуда тоже спешили толпы вооруженных людей. Берлин готовилс превратиться в поле сражения.

Между тем разные „успокоители“ и „посредники“ старались добратьс до короля, который был во дворце, окруженный сонмом генералов и придворных. Но дойти до короля никому не удалось, хотя принц Карл обещал свое содействие. Генерал фон-Пфуль, губернатор Берлина, получив известия о происшествиях, поспешил во дворец, но узнал здесь, что он отстранен от командования, и что на его место призван генерал фон-Притвиц. Бывший министр фон-Альвенслебен рассказывает, что ему пришлось вырвать у короля согласие на отставку фон-Пфуля, — трудно было склонить короля к такому шагу. Для юнкерской придворной камарильи старый Пфуль был разумеется, недостаточно „энергичен“.

Однако дух примирения как будто опять одержал верх во дворце. Распространился слух, что будет призвано к власти либеральное министерство Около трех часов из дворца вышли два человека, повидимому, берлинские граждане; они несли прикрепленное между двумя шестами полотно, на котором черными буквами, видными издали, было написано: „Недоразумение Король желает добра!“

Итак, во дворце вспомнили о судьбе Людовика-Филиппа и Меттерниха. Но и на этот раз было слишком поздно. Небольшая кучка людей, собравшихся на Дворцовой площади, не поддержала „ура“ в честь короля, возглашавшихся носителями удивительного штандарта. Гул набатных колоколов и гром пушек скоро заглушили голоса всяких посредников, и на улицах вспыхнула битва с яростью и ожесточением, обычными для гражданских войн.

Первой жертвой борьбы пал гренадер, по имени Тейсен, который стоял на часах перед банком на Егерштрассе. Толпа народа хотела отнять у него ружье; во время борьбы ружье само собой выстрелило, и заряд убил гренадера [1]).

[1]) По повелению короля, к зданию банка прибита и находится там до настоящего времени металлическая доска, на которой сделана надпись, возвеличивающая верность этого гренадера, убитого будто бы „предательски“.

Между тремя и четырьмя часами войска напали на баррикады на углу Егерштрассе, Обервальштрассе и на углу Верлерштрассе. Первая баррикада была построена перед трактиром „Газетная", который играл в то же время роль читальни. Обе баррикады скоро были взяты войсками. С крыши „Газетной" в ряды солдат летели камни, солдаты стреляли вверх. Они убили буфетчика читальни и 30-летнюю девушку, проживавшую в услужении. В третьем этаже она подошла к окну, со словами: „судьбы не избежать", и тут же пуля смертельно ранила ее.

Пока войска одерживали эти первые победы, берлинский народ окончательно вооружился и забаррикадировался со всех сторон. Несокрушимые баррикады, поистине образцовые произведения революционной архитектуры, возвышались около Кельнской ратуши и на Александровской площади. Кенигштрассе преграждалась рядом баррикад, построенных из камней мостовой, опрокинутых колясок, омнибусов и всевозможных повозок, скрепленных балками и досками и спереди защищенных канавами. В постройке баррикад не было никакой системы, но, если так можно выразиться, чувствовался непосредственный и верный инстинкт революционных борцов. Россказни о „поляках" и „французах", которые будто бы руководили борьбой, здесь же оказались нелепой выдумкой. В позднейшее время сделались известными такие предводители на баррикадах, как токарь Гессе, ветеринарный врач Урбан, городской гласный Беронде, механик Зигрист и другие, т.-е. вовсе не „инородцы".

Рабочие массами ринулись в борьбу и придали восстанию его способность к сопротивлению. Из одной только фабрики Борзига явилось почти тысяча человек. Всю ночь напролет выделывалось оружие, главным образом сабли и пики. Большая часть рабочих вооружилась железными палками. Так как носился слух, будто из гарнизонов соседних городов вызывается кавалерия, то доступы в город со всех сторон были прикрыты баррикадами. Все оружейные магазины были разбиты, но по окончании борьбы в них возвратили почти все захваченное оружие. Оружие взяли даже из театров. Освободили заключенных в долговой тюрьме, в так называемой „Бычачьей голове", сместили все караулы, всех часовых.

Около Ораниенбургских ворот рабочие сооружали баррикаду; в это время офицер подъехал к близлежащей артиллерийской казарме, чтобы вывезти отсюда ко дворцу четыре орудия. Когда он уже уезжал с пушками, на него напала толпа рабочих под предводительством одного студента. Артиллеристов загнали обратно в казарму. Одновременно толпа рабочих ворвалась в запасной склад казармы, чтобы захватить имеющееся там оружие. Пока оружие распределялось, орудия были направлены через заднюю дверь казармы на Фридрихштрассе. Рабочие решили захватить пушки или, по крайней мере, задержать их. Они захлопнули одну половину ворот, но другая осталась открытой, и через нее грянул выстрел картечью; несколько убитых и раненых упало на землю. Рабочие с дикими криками разбежались, и орудия стремительно выехали из казармы. Ярость рабочих не поддается никакому описанию; призывая к мести, они тысячами двинулись в те части города, где уже началась борьба.

В королевских войсках числилось до 12.000 пехоты, три полка кавалерии, много орудий и кроме того гвардейский корпус. Надеялись, что вызванные в Берлин подкрепления усилят пехоту до 20.000 человек. Генерал Притвиц хотел во что бы то ни стало сохранить сообщения между Дворцовой площадью, „Липами" и Жандармским рынком и из этой центральной части города отправлять свои колонны, поддерживая постоянную связь между ними. Колонны эти впоследствии должны были соединиться с войсками, приближающимися извне, и общими силами подавить восстание.

План не отличался остроумием. Берлин, покрытый сетью баррикад, совершенно разрушил его.

В пять часов войска открыли нападение на Кенигсштрассе, покрытую баррикадами до Александровской площади. С моста Курфюрстов против баррикад грохотало орудие, но в общем не производило особенного действия. Войскам пришлось брать каждую баррикаду в отдельности. Борьба была страшная. Большинство борцов на баррикадах было вооружено очень плохо; но скоро можно было заметить, что в борьбе приняли участие и состоятельные граждане, вооруженные ружьями; многие солдаты пострадали от пуль. Камни с крыш сыпались градом; оттуда на солдат низвергали даже гранитные тротуарные плиты, которые с великим трудом втаскивали на крыши. Защитники баррикад вступали в отчаянную рукопашную схватку с нападающими. Когда одна баррикада переходила в руки солдат, борцы спешили к ближайшей, и здесь снова начиналась все та же борьба. Солдаты вторгались в дома, рубили в своем ожесточении всякого вооруженного человека, который попадался им на глаза, и уводили множество пленников. К семи часам вечера войска овладели баррикадами на Кенигсштрассе. Она выглядела, как арена страшного сражения; даже на другой день о борьбе напоминали оставшиеся на ней огромные лужи крови.

В то время, как баррикадная борьба оглашала Берлин грохотом пушек, треском ружей, дикими криками и звоном набатных колоколов, во дворец опять явились разные примирители—епископ Неандер и несколько граждан со старой Росситрассе. Они ничего не могли поделать, потому что грохот пушек возродил во дворце воинственное настроение. Король показал из окна на Кенигштрассе, переполненную солдатами, и сказал: „Эта улица принадлежит мне". Король думал тогда, что так называемый народ состоит из перепившегося сброда, совращенного „подстрекателями-инородцами",—в таком превратном виде представили ему придворные истинное положение дел. Когда на углу старой Росситрассе, против Брейтенштрассе, на доме кондитера д'Эреза взвилось черно-красно-золотое знамя, король гневно воскликнул: „Уберите это знамя с моих глаз!"

Пришли во дворец для посредничества профессора университета в своих средневековых костюмах. Их приняли грубо и сделали им замечание за то что многие студенты тоже встали за баррикады.

Во дворец явился из своего силезского поместья майор фон-Винке, который имел большой вес в глазах короля [1]). Он сказал, что ему был

[1]) Его нередко смешивают с известным вестфальским депутатом фон-Винке, его двоюродным братом.

больно въезжать в Берлин под грохот пушек, направленных на граждан Берлина. Когда некоторые офицеры и придворные иронически усмехнулись, фон-Винке очень резко осадал их, заметив: „На баррикадах стоят не „пронойцы“, не сволочь, а берлинское население“. Рассказывают, будто он даже сказал: „Ваше величество, я вижу, что корона колеблется на вашей голове“. И когда король, потрясенный такой выходкой своего самого верного друга, обратился к нему с ласковым приглашением: „дорогой Винке, вы, конечно, поужинаете со мной“,—майор дал короткий ответ: „нет, я не ужинаю“, и в величайшем возбуждении вышел.

Говорят, будто во дворце был и господин фон-Минутоли, президент полиции, и тоже призывал к миру. Его отослали ни с чем, и тогда он, как рассказывают, стал подбодрять граждан к сопротивлению. Последнее мы, во всяком случае, считаем невероятным.

Берлинцы, вообще такие простодушные, теперь так уверенно действовали в своем царстве баррикад, как будто они привыкли к нему с самого детства. Даже в тех случаях, когда население не принимало в борьбе активного участия и пассивно относилось к войскам, оно оказывало деятельную поддержку баррикадным борцам. Лавки были открыты; женщины и девушки доставляли на баррикады средства для освежения и подкрепления, пищу и напитки. Дети занимались отливанием пуль. На баррикадах прорывался берлинский юмор; здесь, по обыкновению, изобретались удачные и неудачные остроты, пока не надвигались войска и пока все не оттеснялось ужасами гражданской войны.

При наступлении ночи борьба началась с удвоенной силой; разнесся слух, что извне приближаются новые войска; были построены новые баррикады.

На Брейтенштрассе возвышалась огромная баррикада, сооруженная механиком Зигристом по всем правилам строительного искусства. Тот же Зигрист предводительствовал и защитниками баррикады. Она примыкала к Кельнской ратуше; за ней возвышался дом кондитера д'Эреза, некогда принадлежавший фельдмаршару Дерфлингеру. Совершенно непонятно, почему со стороны близко расположенного дворца не воспрепятствовали сооружению баррикады.

С наступлением ночи перед баррикадой запылал огонь. В семь часов защитники баррикады сделали несколько выстрелов по направлению ко дворцу. Войска тотчас перешли в наступление. Они освещались огнем, пылавшим перед баррикадой, между тем как обороняющиеся оставались в тени. Началась продолжительная ружейная перестрелка. Солдаты подвигались к баррикаде с правой и левой стороны улицы по тротуарам. Они не могли овладеть баррикадой и отступили назад. Но зато они врывались в дома, из которых в них стреляли с обеих сторон улицы, и производили там жестокие расправы. Все вооруженные, попавшиеся к ним в руки, были убиты. Приступ на баррикаду повторялся три раза и три же раза был отбит: защитников поддерживал каменный дождь, сыпавшийся на солдат с крыш. Тогда выдвинулась вперед артиллерия и открыла по баррикаде страшную пальбу картечью и гранатами. В промежутках стрельбы с баррикады слышались

дикие крики, но защитники выдержали. Дом д'Эреза был пронизан пулями, стены превращены в решето. Все это время на крыльце стоял какой-то молодой рабочий в блузе и бил в барабан. Казалось, ему нет никакого дела до картечи и гранат, которые свистали кругом; изумительно, как он остался невредимым.

Борьба продолжалась больше трех часов. Наконец, солдаты зашли через Шаренштрассе и Кельнскую ратушу в тыл защитникам баррикады; к тому же у последних вышли все боевые припасы. Поэтому им пришлось оставить свою позицию, которую они защищали с таким мужеством.

Огромную стойкость обнаружили борцы за народное дело и на углу Обервалльштрассе и Гауптфогтейплац. Здесь войска были встречены таким сильным ружейным огнем и таким жестоким градом камней, что им пришлось отступить. По особенно частый град пуль и камней сыпался на солдат с крыши одного дома, расположенного на углу Моренштрассе и Иерусалимской улицы. Гвардия сделала попытку пробраться на Гауптфогтейплац через Моренштрассе и начала обстреливать крыши. Она поставила себе задачей зайти в тыл огромной баррикады, построенной на Гауптфогтейплац. Но ей не удалось овладеть баррикадами, преграждавшими путь, и потому пришлось ретироваться к Жандармскому рынку.

Кровопролитная борьба шла также на Таубенштрассе; здесь огромная баррикада, на которой распоряжался студент, выдержала четыре приступа и только тогда перешла в руки солдат. То же самое на углу Егерштрассе и Фридрихштрассе, около арсенала ландвера на Линденштрассе и на Александровской площади.

Стояла прекрасная, весенняя, лунная ночь. Многие дома были освещены. Женщины и девушки, размахивая платками, приветствовали и ободряли борцов за народное дело. Дети за баррикадами поспешно отливали пули. Небо окрасилось заревом от моря огня; горели сараи с артиллерийскими повозками около Ораниенбургских ворот и королевский железо-литейный завод. Караулки около многих ворот тоже стояли объятые пламенем; несомненно, это были акты мести за резню, учиненную солдатами.

Вся мощь восстания проявилась в борьбе на Александровской площади. Войска не могли овладеть ею, хотя битва продолжалась целую ночь.

Солдаты напали на Александровскую площадь со стороны захваченной ими Кенигсштрассе. Но отпор был настолько серьезный, что войскам пришлось искать прикрытия за баррикадой из мучных мешков. Очень сильная баррикада была сооружена на той стороне Александровской площади, которая лежит против Королевского моста; колоссальные баррикады возвышались в тех местах, где на площадь выходят Новая Кенигсштрассе и Ландсбергерштрассе. Здесь на стороне народа сражались многочисленные „гражданские стрелки“ Берлина; они привезли даже с собой две маленькие пушки „гильдии стрелков“, которые энергично поддерживали огонь против солдат [1]).

---

[1]) За отсутствием ядер обе пушки заряжали чем придется („Murmeln“), а вместо пыжей употребляли чулки. Берлинцы, которых остроумие никогда не покидает, назвали поэтому обе пушки „сурками“ (Murmelthiere), и это прозвище долгое время сохранялось за ними.

Борьба около Александровской площади велась с величайшим ожесточением. Но хотя пехотный полк, вызванный из Франкфурта-на-Одере, открыл нападение на Александровскую площадь с востока, двигаясь по Франкфуртерштрассе и Кайзерштрассе, восставшие все-таки удерживали занятую позицию за собой. Они даже отважились на вылазку с баррикады на Новой Кенигсштрассе и сожгли деревянный киоск, который служил прикрытием для солдат.

На баррикадах около Александровской площади особенно энергичную деятельность проявлял ветеринарный врач Урбан, берлинский оригинал; его исполинская фигура с длинными развевающимися волосами появлялась постоянно без шляпы, в коротком коричневом сюртуке и в высоких сапогах. Он руководил постройкой баррикад на Александровской площади, а потом, в пылу сражения, обнаружил выдающееся мужество и находчивость. Впоследствии Урбан играл двусмысленную роль и лишился былого доверия.

Большую известность, как герой баррикад, получил токарь Густав Гессе из Галле, а также подмастерье-слесарь, по имени Фихтнер. Когда один раненый упал с баррикады, Гессе, интеллигентный и отважный рабочий, не обращая внимания на вражеские пули, спустился и втащил его обратно. Гессе проявил при этом такое мужество, что его товарищи здесь же возложили на его голову живой зеленый венок [1]).

К утру девятнадцатого марта обе враждебные стороны сохраняли на Александровской площади те же позиции, которые они заняли с вечера. Притом войска в конце концов пришли в состояние полного изнеможения, между тем как борцы на баррикадах сменялись новыми и новыми подкреплениями.

После многократных тщетных нападений на арсенал ландвера на Линиенштрассе народ решил взять его приступом. Гессе, который поспешил сюда с Александровской площади, руководил нападением на здание, занятое несколькими молодыми офицерами. В начале утра арсенал был взят, но в нем не нашли таких больших запасов оружия, на какие рассчитывали. Народ потерпел здесь большие потери.

Солдаты взяли баррикаду на мосту Геркулеса, но не могли двинуться дальше, потому что на каждом шагу натыкались на новые баррикады. То же повторялось в большинстве других пунктов, где войска первоначально имели успех. Их приводили в отчаяние все новые укрепления, поднимавшиеся из земли. Нет возможности описывать все дальнейшие детали этой борьбы. Следует только упомянуть о том редком, беззаветном презрении к смерти, с каким молодежь бросилась в великую революционную борьбу. На огромной баррикаде, построенной на Таубенштрассе, неподвижно стоял бело-

---

[1]) Гессе часто изображается в этом венке. Он пользовался большой любовью рабочих. Чтобы обезвредить его или даже привлечь на свою сторону, его сделали констэблем, квартальным, и он был так слаб, что принял это место. Конечно, популярность была разом утрачена. Впоследствии он испытывал большую нужду и получал поддержку от некоторых старых берлинских демократов.

курый студент, держа в руке черно-красно-золотое знамя; пули свистали вокруг него, но он как бы каким-то чудом оставался невредимым. Недалеко оттуда, за самой жалкой баррикадой, стояло только двое: девятнадцатилетний подмастерье-слесарь Глазевальд и семнадцатилетний ученик-слесарь, по имени Цинна. Все их вооружение состояло из одного старого ружья и одной сабли. Надвигается батальон солдат. Глазевальд стреляет из своего ружья, но в тот же момент сам получает тяжелую рану. Цинна с саблей в руках бросается на солдат и наносит удар офицеру. Раздается целый залп выстрелов; Цинна бежит в ближайший дом и падает мертвый на землю.

Солдаты, в пылу борьбы и раздраженные выстрелами, сыпавшимися на них из домов, нападали даже на безоружных. Можно оставить в стороне простые слухи и привести только проверенные факты; картина получится все же достаточно мрачная. Когда солдаты взяли Кельнскую ратушу, перебили найденных в ней или захватили в плен и с побоями увели прочь, они вторглись также в квартиру жившего там директора кельнской гимназии в Берлине И. Ф. Августа, ветерана 1813 года. Когда Август пожаловался на это вторжение, один офицер ударил его шпагой по лицу, так что полилась кровь; барабанщик барабанной палкой нанес ему жестокий удар по голове. Августа и его родных взяли и повели во дворец. Дорогой один гвардейский гренадер без всякого повода застрелил племянника Августа, студента фон-Гольцендорфа, захваченного вместе с ним. Ни Гольцендорф, ни его дядя не принимали в борьбе решительно никакого участия.

Все это—обычные явления во время гражданских войн. Тем не менее следует упомянуть еще об обращении с пленными. Их сотнями бросали в подвалы королевского дворца. Большинство из них были люди, не принимавшие никакого участия в борьбе [1]). Около четырех часов утра до 600 этих пленников под военным конвоем были переправлены в крепость Шпандау. Пленных связали по-двое, а руки скрутили назад. Один журналист, бывший среди арестованных, сообщил позже, что с ними „обращались хуже, чем со стадом скота“. Они единогласно рассказывают, что им наносили удары прикладами ружей и саблями, били, толкали, ругали, осмеивали. Реакционное население Шарлоттенбурга и Шпандау тоже издевалось над пленниками, которым пришлось идти быстро, бегом, хотя между ними были дети и старики. Эти возмутительные сцены закончились тем, что пленников заперли до шести часов вечера в сырые казематы „Форта Королевы“. Рассказывают, будто, когда пленные отправлялись в дорогу из Берлина, доктор Штибер крикнул им вслед: „Не бойтесь! Если нам (?) суждено быть побежденными, вы выступите перед гласным судом. Всякий юрист почтет за честь для себя выступить вашим защитником“. Мы еще увидим, как этот позд-

[1]) У одного из захваченных нашли клочок чистой бумаги. Для одного остроумного лейтенанта уже этот факт сам по себе давал „состав преступления“, corpus delicti; офицер заявил: „На этом клочке он хотел написать прокламацию“.

йший „ловкий криминалист" выступил в роли хранителя только что за-юванной „свободы" [1]).

Между тем день наступил в Берлине, и сияющее мартовское солнце светило облитые кровью места вчерашней борьбы. Огонь пушек и ружей на некоторое время замолк, но набатный звон все еще продолжался. Баррикадные борцы, число которых постоянно все еще росло, решили сопротивляться до последней возможности. Когда генерал фон-Меллендорф, с белым флагом в руках, явился к большой баррикаде на Александровской площади, его обезоружили и взяли в плен, потому что народ опасался предательства. Ветеринарный врач Урбан защитил генерала от народного гнева, но Меллендорфу пришлось подписать приказ об отступлении войска.

В семь часов появилась прокламация короля: „К моим возлюбленным берлинцам" [2]).

---

[1]) Официально установлено, что среди пленных не было ни одного человека осужденного за преступления. Официально же установлено, что из 700 человек — общей цифры пленных — только 8 были „инородцами", в том числе всего один француз; но из германской Польши не было ни одного человека. Это не мешает реакционным историкам — Блюму (сыну Роберта Блюма), Бушу и Зибелю — уверять, что события 18-го марта — дело „подонков, отбросов общества" и „инородцев". Легенде о „подонках общества" противоречит также тот факт, что в решительные дни в Берлине совсем не совершалось краж. Один прокурор даже заявил, что ему теперь решительно нечего делать. Hartmann, 58—59, 65 стр.

[2]) Полный текст этого документа таков: „К моим возлюбленным берлинцам. В моем сегодняшнем рескрипте о созвании (соединенного ландтага) вы получили залог искренней симпатии вашего короля к вам и ко всему германскому отечеству. Еще не смолкли выражения восторга, которыми приветствовали меня бесчисленные верные сердца, как толпа нарушителей спокойствия примешала к общему ликованию свои мятежнические и дерзкие требования и стала увеличиваться по мере того, как благонамеренные удалялись. Так как они буйно протискались до самых ворот дворца, что по справедливости заставило опасаться злостных намерений с их стороны, и так как моим храбрым и верным солдатам были нанесены оскорбления, то пришлось очистить площадь при помощи кавалерии, пущенной шагом и с оружием, вложенным в ножны, при чем два ружья пехоты выстрелили сами собою. Хвала Богу! Они никому не причинили вреда. Шайка злонамеренных, составленная главным образом из инородцев, которые, хотя их и разыскивали с неделю, сумели однако скрываться при помощи явной лжи извратила это происшествие в интересах своих злостных планов, вселила в возбужденные умы многих моих верных и возлюбленных берлинцев мысль о мести за пролитую будто бы кровь и таким образом сделалась омерзительным зачинщиком кровопролития. Мои солдаты, ваши братья и соотечественники, только тогда пустили в ход оружие, когда они были вынуждены к этому многочисленными выстрелами из Кенигсштрассе. Необходимым результатом этого было победоносное движение войск.

„От вас, жители моего возлюбленного родного города, зависит теперь предупредить величайшее несчастье. Ваш король и самый верный друг заклинает вас всем, что есть для вас святого, — сознайте, что все это — несчастное заблуждение. Возвратитесь к миру, уберите баррикады, которые еще остаются, и пришлите ко мне людей, преисполненных исконного истинно-берлинского духа, со словами, приличествующими по отношению к вашему королю, и я даю вам мое королевское слово,

В этом достопримечательном документе король объявляет берлинцам, что он отзовет войска, если только народ первый оставит свои баррикады. Велико должно было быть изумление берлинцев, когда они прочитали в прокламации, что к мятежу их совратила „шайка злонамеренных лиц, состоящая главным образом из инородцев“. В той же прокламации говорилось, будто Дворцовая площадь была „очищена“ кавалерией с оружием, вложенным в ножны, и будто два ружья у пехоты выстрелили сами собой. В заключение король заклинал берлинцев забыть происшедшее.

Прокламация была совсем непригодна для того, чтобы успокоить гне[в] народа. Ответ на нее заключался в том, что с баррикад снова открылас[ь] стрельба.

Прокламацию расклеили повсюду, но она не произвела никакого впечатления [1]). Тем большее впечатление произвели депутации от граждан[,] которые теперь опять отправлялись во дворец, чтобы достигнуть при[-] мирения. Король, окруженный толпой придворных и генералов, сначал[а] обнаружил большое упрямство. Он приказал даже епископу Неандеру, чтоб[ы] тот позаботился об очищении баррикад. Это предложение привело благо[-] честивого епископа в гнев, а его супруга от ярости сорвала с себя сво[й] чепец. Да и что мог бы этот бедный епископ поделать с борцами на бар[-] рикадах, закопченными в пороховом дыму!

Язык депутаций от граждан, прибывавших во дворец, стал энергичне[е,] и когда король попытался втолковать гражданам, что солдаты справятся [с] восстанием, торговец Нейман ответил ему: „Такая победа была б[ы] равносильна поражению!“

Кто в конце концов уговорил короля пойти на уступки, трудно уста[-] новить с полной определенностью. Все „посредники“, которые в эту ноч[ь] входили и выходили из дворца—гласный думы Дункер, литератор Рельшта[б,] доктор Штибер и до полдюжины других,—все они впоследствии претендовал[и] на то, что именно они „делали всемирную историю“. Последняя депутаци[я]

что войска немедленно очистят все улицы и площади, и что военный гарнизон буд[ет] сокращен до самых необходимых размеров у зданий дворца, у арсенала и немног[их] других, и притом даже здесь на короткое время. Послушайте отеческих увещани[й] вашего короля, жители верного и прекрасного Берлина, и забудьте происшедше[е,] как я хочу забыть и забуду в моем сердце в интересах великого будущего, которо[е,] благословением Бога Мира, начнется для Пруссии, а благодаря Пруссии—и для вс[ей] Германии.

„Ваша любвеобильная королева, истинная мать и друг, которая лежит на од[ре] тяжкой болезни, присоединяет свои горячие слезные просьбы к моим.

„Писано в ночь с 18-го на 19-е марта 1848 года.

Фридрих-Вильгельм“.

[1]) На Брейтенштрассе одна граната застряла в деревянном колодезном насо[се,] и остроумные берлинцы наклеили над гранатой прокламацию: „Моим возлюбленн[ым] берлинцам“. Колодец впоследствии был уничтожен, так как в эпоху реакции [не] терпели ничего, что могло бы напоминать о борьбе на улицах.

раждан сообщила королю, что весь город вооружился и стоит на баррикадах, и что восставшие поставили целью взять дворец приступом. Может ыть, это обстоятельство, а также зловещий гул набатных колоколов по всему городу заставили поторопиться с решением. Ранним утром 19 марта ороль дал войскам приказ выступать из Берлина: борцы баррикад поедили [1]).

Принц Прусский еще раз сделал попытку настоять на предварительном очищении баррикад, однако без всякого результата. Приказ короля об отступлении пришел к войскам в то̀ самое время, когда ветеринарный рач Урбан вручал офицерам на Королевском мосту такой же приказ енерала фон-Меллендорфа. Борьба была кончена, и народ, который сначала е верил этому, шумными изъявлениями восторга приветствовал весть о своей ободе и о том, что король обещал назначить новое, народное министерство [2]). Улицы переполнились толпами ликующих, любопытствующих и озбужденных людей.

Исследовать вопрос, на чьей стороне оказалась бы победа, если бы орьба продолжалась,—по существу бесплодное дело. Упомянуть об этом тоит лишь потому, что некоторые литературные наездники представляют ело таким образом, как будто продолжение борьбы должно было ринести с собой неминуемое поражение народа. Если бы оно было столь есомненно, двор не пошел бы так быстро на уступки.

В Берлине того времени было до 400 тысяч жителей. Часть, занятая ойсками, составляла лишь несколько больше трети Берлина. Это были главным бразом Фридрихштадт и окрестности дворца до Александровской площади до Монбижу, т.-е. главным образом центральные части города. Но на абочие кварталы—прежде всего на Фойгтланд,—которые совсем загородились баррикадами и в которых следовало ожидать самого ожесточенного опротивления, войска даже еще и не начинали наступления. Однако не олько здесь, но и между Денгофской площадью и Галльскими воротами и коло Александровской площади народ хорошо вооружился и соорудил мно-

---

[1]) Уже в пять часов утра войскам было предложено не продвигаться вперед занятых ими позиций. Как известно, князь Бисмарк впоследствии долго спорил потомками министра фон-Бодельшвинга по вопросу об отступлении войск; он тверждал, что фон-Бодельшвинг действовал самовластно и приказал сделать то, чего е хотел король: отступить войскам, ранее чем были очищены баррикады. Этот опрос не имеет особенного значения. Конечно, среди суматохи, вызванной катастрофой, дело могло происходить и так, как утверждал Бисмарк; но во всяком случае есомненно, что отказ баррикадных борцов покинуть занятые ими позиции предшествовал отступлению войск,—а это самое важное. Происшествия во дворце—нерешительность, а в заключение уступки—стоят в полном согласии с этим фактом. Как нельзя более понятно, что Бисмарку в свою очередь хотелось бы вычеркнуть из истории оржество мартовского восстания.

[2]) Тогда же и пленные были отпущены королем, который сказал при этом: озьмите их, если они нам еще нравятся!" По всей вероятности король нал о побоях, которым подвергались пленные.

гочисленные баррикады. Чтобы справиться с восстанием, пришлось бы ценой тяжелых потерь завоевывать все еще незанятые кварталы. Но это было невозможно, потому что войска были истощены и не получали во-время продовольствия, между тем как борцы на баррикадах не только могли сменяться, но и снабжались пищей и напитками в большом изобилии. Если бы борьба продолжалась, войска были бы истомлены окончательно, сообщения их с внешним миром были бы отрезаны и началась бы атака дворца. К этому не мешает добавить, что даже среди военных поражение войска считали непредотвратимым, если бы борьба не закончилась [1]).

При звуках музыки войска вышли из Берлина, но по выражению лиц было видно, насколько не соответствуют их настроениям веселые мелодии, разыгрываемые военными оркестрами. „Под Липами"—поразительное явление —скоро опять показались все фланеры и гранители мостовых. В то же время от Александровской площади к дворцу двинулась огромная толпа, во главе с баррикадными борцами, чтобы потребовать от короля вооружения народа. Одновременно—и без всяких побуждений извне—к дворцу принесли трупы павших на баррикадах. Некоторые из них были ужасно изувечены; среди трупов баррикадных борцов были также трупы безоружных, трупы женщин.

Многотысячная толпа теснилась вокруг замка снаружи, а во дворе в это время рядами положили убитых с их зияющими ранами и украсили их цветами и венками из зелени.

Родственники убитых предавались своей скорби. Вдруг по двору прокатился крик: „Пусть выйдет король!" Некоторые посредники—князь Лихновский, вскоре так трагически окончивший во Франкфурте свою жизнь, граф Шверин и граф Арним—старались разговорить толпу. Но из тысячи здоровых глоток к стенам дворца несся все тот же буйный крик: „Король должен выйти!" Король и королева появились, наконец, во внутренней галлерее, оба бледные, со страдальческим выражением на лице. Сделалось тихо. Кто-то воскликнул: „Снимите шляпу!"—и король обнажил голову, народ кругом сделал то же. Кто-то из толпы запел: „Господь мое прибежище"; толпа подхватила. Когда прозвучали последние звуки торжественного церковного гимна, королевская чета удалилась. Фридрих Вильгельм IV никогда не мог простить этой сцены берлинцам.

Немало потом подтрунивали над берлинцами, что они, вообще такие скептики, в этот момент запели церковный гимн. Но в сопоставлении со всеми обстоятельствами это неважно.

Когда король удалился, ко дворцу подошла толпа с Александровской площади. Теперь дворец был со всех сторон окружен густой толпой. Рабочие толпились на площадке перед дворцом, буржуа собрались в саду. Депутация представила королю требование вооружить народ. Король согла-

---

[1]) Так думал между прочим генерал фон-Пфуль. См. дневник Варнгагена фон-Энзе, заметки от 24 марта 1848 года.

сился и сам отправился в сад, чтобы сообщить об этом гражданам. Король был в конец истомлен.

Рабочие сохраняли молчание. Но ликование бравых буржуа не поддается описанию; казалось, у них уж и следа не осталось от гнева, какой они испытывали ночью, во время сражения. В шесть часов вечера первое отделение гражданского ополчения стало на караул у дворца.

С балкона дворца Арним говорил к толпе, собравшейся на Дворцовой площади, о новой конституции и обещал приложить силы „к восстановлению порядка в городе“. Тут поднялся ужасный шум. Какой-то молодой человек, еще возбужденный от битвы на баррикадах, с бледным лицом и мечущими молнии глазами, был поднят толпою на плечи и воскликнул: „Народ требует оружия, чтобы его безоружного не убивали!“—Арним ответил, что войска удалились, и что народ спокойно может возвратиться к своим занятиям. „Народ требует,—воскликнул внизу молодой народный оратор,—чтобы принц Прусский отрекся от престола!“ Арним с поклоном народу оставил балкон [1]). Снова начался шум, но буржуа вмешались в толпу рабочих и обратились к ним с увещанием: „По домам!“ После того, как Шверин, более популярный, чем Арним, возвестил народу, что будет создано гражданское ополчение под начальством Минутоли, президента полиции, толпа окончательно разошлась.

В тот же день было организовано гражданское ополчение и снабжено оружием из арсенала.

Восторг победившего населения не поддается описанию. Оно и понятно. Народ не стал мстить людям, которые обнаруживали по отношению к нему особенную враждебность. Были только разрушены дома одного придворного поставщика да одного отставного майора, которые сыграли роль предателей по отношению к борцам на баррикадах. Вечером 19-го марта Берлин осветился такой блестящей иллюминацией, какой в нем до того времени никогда не бывало.

На следующий день общее возбуждение направилось против принца Прусского, которого считали самым решительным противником нового строя. Толпа народа собралась перед его дворцом „под Липами“ и хотела сравнять его с землей. Дворец спасли только тем, что на нем сделали надпись: „Национальная собственность!“ Принц получил от короля предложение отправиться в Англию будто бы с „особенным поручением“ и немедленно двинулся в путь. Подробности о его побеге, особенно о том, как его признали в Перлеберге, сделались известны только много позже, больше чем через сорок лет. Через Гамбург он достиг Лондона, где и оставался до тех пор, пока волна революции не пошла на убыль [2]).

---

[1]) Имя молодого человека, который сознательно или бессознательно стремился к такому серьезному вмешательству в германскую историю, остается неизвестным.

[2]) Возбуждение народа против принца Прусского улеглось не скоро. Пришлось убирать изображения, на которых была его подпись. Из циркуляра министра исповеданий от 28 апреля видно, что даже некоторые проповедники в церковных молитвах не упоминали имени принца. Народ дал ему прозвище „принца картечи“. Согласно

К вечеру освободили поляков, посаженных в одиночки Моабитской тюрьмы. В 1846 году господин фон-Минутоли „открыл“ большой польский заговор; Мирославский, Лелевель и другие были осуждены. Теперь они вместе со всеми другими политическими осужденными получили свободу. В триумфальной процессии они проехали в повозке через Берлин. Мирославский, держа в руке черно-красно-золотое знамя, обратился с речью к народу. Четыре недели спустя во главе своих поляков он уже выступил против прусских войск.

Хотя в тот же день было назначено новое министерство, недоверие, тлевшее в массах, вспыхнуло еще раз в угрожающей форме. По улицам внезапно пронесся клич: „Предательство! К оружию!“ Пронесся слух, будто принц Прусский с войсками идет назад. Во мгновение ока гражданское ополчение и народ, готовые к борьбе, опять встали на баррикады. Но тревога скоро оказалась неосновательной.

В новом министерстве фон-Ауэрсвальд взял на себя внутренние дела, граф Шверин—исповедания, Кюне—финансы, Борнеман—юстицию. Через десять дней Пруссия получила настоящее мартовское министерство, с Кампгаузеном во главе. В этом министерстве Ганземан сделался министром финансов, Ауэрсвальд—внутренних дел, Арним-Штрик иностранных дел, Рэйгер—военным, Шверин—исповеданий и народного просвещения. Этой мешанине „либеральных“ аристократов и буржуа дали название „министерства умиротворения“.

На следующий день король отдал приказ, чтобы армия с этого времени носила черно-красно-золотую кокарду. И было же ликованья в эти дни, когда даже все тайные и надворные советники разукрашивались в черно-красно-золотые цвета.

Но восхищение угорелых от победы „добрых граждан“ Берлина достигло своего апогея, когда 21-го марта явилась прокламация следующего содержания:

Варнгагену фон-Энзе, это прозвище имело известные основания. Некоторые высшие офицеры рассказывают, что, когда ко дворцу доставили первых пленников, принц воскликнул: Гренадеры, почему вы не положили этих собак на месте!“ А ночью, когда зашла речь о прекращении борьбы, принц, согласно очень надежным источникам воскликнул: „Нет, этого не будет, ни под каким видом! Пусть лучше погибнет Берлин со всем своим населением! Мы должны картечью перестрелять бунтовщиков“. Уже перед самым концом борьбы принц Прусский настаивал на ее продолжении. В решительный момент, когда большинство придворных склонялось к примирению, принц швырнул на стол свою шпагу и заявил, что он теперь не может с честью носить ее. Один источник сообщает даже, что принц вступил при этом в очень горячий спор с самим королем, бросил к его ногам свою шпагу и нанес ему оскорбление. Ср. юбилейную работу о 48-м годе: Hartmann, Die Volkserhebung etc. Berlin, 1900, стр. 60—64. Гартман использовал много источников, появившихся в конце прошлого века.—Что касается дворца принца, в нем очень комфортабельно устроилась будто бы „королевская комиссия по принятию прошений“, состоявшая из трех шарлатанов. Проделка через несколько дней была обнаружена, и гражданское ополчение положило ей конец. Детали этого дела очень забавны. См. Adolf Wolff, Berliner Revolutions—Chronik, том I.

„К германской нации!

„С нынешним днем для вас открывается новая, славная эра. Впредь вы будете опять составлять единую великую нацию в сердце Европы, свободную и сильную. Фридрих-Вильгельм IV Прусский, уповая на ваше героическое содействие и ваше духовное возрождение, в интересах спасения Германии стал во главе общего отечества.

„Уже сегодня вы увидите его на коне посреди вас, украшенного искони чтимыми цветами германской нации.

„Да поможет всевышний конституционному монарху, вождю всего германского народа, новому королю свободной, возрожденной нации!"

Эта прокламация была делом новых либеральных министров, которые как нельзя лучше понимали психологию берлинских граждан филистеров. Роль, возложенная ими на короля, была ему очень неприятна. Ему приходилось украситься теми цветами, против которых в ночь на 18 марта направлялись выстрелы его солдат. „Уберите это знамя с моих глаз!" воскликнул он, когда увидал, что на баррикаде около Кельнской ратуши развевается черно-красно-золотое знамя. А теперь он сам носил эти цвета!

Да, король носил их; он подчинился обстоятельствам, хотя некоторые упрямые юнкеры отговаривали его от этого. Силой ничего не удалось поделать; это доказал ход борьбы, это доказал неоднократно засвидетельствованный факт, что отдельные части войск уже начинали брататься с гражданами. Потому-то король и уступил министрам и сам избрал ненавистные для него цвета.

Увертюрой к прогулке короля послужило собрание вооруженного студенчества, которое занималось военными упражнениями близ университета в „Каштановой роще". Господа профессора вместе с ректором и проректором тоже вооружились, чтобы при возрождении Германии сыграть роль акушерок. Граф Шверин, министр народного просвещения, держал в актовом зале речь, восхвалял студентов за их заслуги в деле поддержания порядка, заявил, что король стал во главе движения, направленного к созданию единой и свободной Германии, и закончил „ура" во славу ответственности министров. Профессора и студенты присоединились к его ликованию.

Следом затем король верхом на лошади выехал на Дворцовую площадь, покрытую густой толпой народа. На нем был мундир первого гвардейского полка, на голове каска, а на руке лента черно-красно-золотого цвета. Короля сопровождали все принцы—за исключением принца Вильгельма Прусского,—министры, генералы, гражданские ополченцы, студенты и стрелки; за ним несли большое черно-красно-золотое знамя, а за знаменем следовали городской гласный Глейх и доктор Штибер. Таким образом, по иронии всемирной истории, позднейший начальник прусской тайной полиции опять появился у колыбели прусско-королевской свободы.

Король говорил к толпе и уверял, что здесь нет никакой узурпации, если он чувствует себя призванным к спасению свободы и единства

Германии [1]). Он не желает свержения с трона ни одного государя, но хочет быть щитом единства и свободы Германии,—в этом он призывает в свидетели всевышнего. Немецкая верность, опирающаяся на истинно-конституционное устройство Германии, должна оказать поддержку этому единству и свободе.—Неописуемые восторги „добрых граждан" были ответом на эти заверения; вокруг короля теснились, целовали ему руки.

Процессия направилась через Дворцовую площадь к гауптвахте близ арсенала; гражданское ополчение тотчас взяло на караул. Король сказал: „Здесь я вижу вас на страже; я не нахожу подобающих слов, чтобы выразить вам свою благодарность; верьте мне!" И здесь начались шумные ликования. Но вдруг чей-то резкий голос прозвучал диссонансом. Какой-то рабочий, из породы таких же суровых философов, как тот, который перед дворцом сказал Савиньи: „не дано решительно ничего", такой же неприятный нарушитель мира, как тот, вдруг воскликнул среди изъявлений восторга: „Не верьте ему!" Его немедленно арестовали и отправили под стражу. Происшествие само по себе незначительное, но оно имело характер симптома, вскрывало назревающий конфликт между буржуазией и пролетариатом.

Еще кто-то воскликнул: „Да здравствует император Германии!" Но король с упреком сказал: „Не надо, я не хочу и не могу этого!"

Потом процессия направилась обратно мимо оперного театра и библиотеки через Беренштрассе и „под Липами". Около здания университета выстроилось вооруженное студенчество; король обратился с такой речью к сынам муз:

„Нынешний день—великий, незабвенный, решительный. В вас таится великое будущее, и, если вы в середине или в конце вашего жизненного пути окинете его мысленным взором, нынешний день всегда останется для вас памятным. Студенты производят самое сильное впечатление на народ, а народ—на студентов. Я ношу цвета, которые не принадлежат мне, тем не менее я не хочу узурпировать что-либо; мне не надо ни короны, ни господства, я хочу только свободы Германии, единства Германии, хочу порядка. Я сделал лишь то, что уже так часто повторялось в германской истории, когда порядок был ниспровергнут, и когда могущественные государи и герцоги развертывали знамя и становились во главе всего народа. Я верю, что сердца государей бьются вместе с моим, и что воля народа поддержит меня. Заметьте же это и запечатлейте в своей памяти, что я стремлюсь только к одному: к германской свободе и единству. Скажите это всем!".

Воздух огласился „ура", вырвавшимся из тысячи уст, и бряцанием студенческого оружия. Король поехал на Брейтештрассе, к кельнской ратуше. На той площади, где около большой баррикады велась жестокая борьба, Фридрих-Вильгельм IV обратился с речью к городским гласным:

„Я хорошо знаю, что я силен не оружием моего несомненно сильного и храброго войска, что я силен не моей богатой казной, а исклю-

[1]) Стиль прокламации мог пробудить мысль о том, что Фридрих-Вильгельм является узурпатором. В этих делах министры были еще совсем новичками.

чительно **сердцами и верностью моего народа.** И не правда ли, мне вы не откажете в этих сердцах и в этой верности!"

Приблизительно то же король сказал и на Кенигенштрассе, а затем возвратился во дворец. Потом он предпринял еще прогулку пешком и посетил в разных местах караулы из граждан. Добрые граждане погрузились в море блаженства и восхищения. Теперь, по их мнению, больше нечего было желать,—они ведь совершили в Пруссии **революцию, одобренную королем!**

И чем меньше при дворе одобряли все происшедшее, тем больше грезили и фантазировали добрые граждане. В конце-концов мартовский энтузиазм все решительнее переходил в мартовское прекраснодушие.

Король, которого „либеральные" министры уговаривали остаться, все-таки уже 20-го марта покинул Берлин, потому что у него, как он уверял, вынудили слишком много уступок [1]). В тот же день он издал новую прокламацию, которая, исходя из идеи единства, делает знаменательное заявление: „**Отныне Пруссия растворяется в Германии!**" Оно привело старо-прусское феодальное юнкерство в величайшее негодование. В прокламации говорится дальше, что ландтаг, созываемый на 2-е апреля, является средством стать во главе движения, направленного к спасению и успокоению Германии. Монархам и сословиям Германии необходимо доставить возможность организовать совместно с органами этого ландтага общее собрание сословий Германии. Но прежде всего необходимо создание общегерманского **национального** союзного войска и объявление иностранным державам о вооруженном нейтралитете Германии. В заключение прокламация заявляет:

„Только осуществление во всех государствах истинно конституционного устройства с ответственными министрами, гласное и устное судопроизводство по всем уголовным делам, опирающееся на приговоры присяжных, равные политические и гражданские права для всех вероисповеданий и воистину национальное либеральное правительство могут создать и укрепить прочное внутреннее единство".

В тот же день к вечеру прибыла депутация от городского управления в Бреславле и Лигнице; она требовала, чтобы король, не дожидаясь согласия реакционного ландтага, издал избирательный закон для имеющего быть созванным национального представительства Германии. Рассказывают, будто Кониш, городской гласный из Бреславля, заявил при этом: „**Вы должны дать прямые выборы,—иначе Силезия сделается республикой!**" [2]) Король ответил, что он может удовлетворить желание силезцев лишь в том случае, если страна разделяет воззрения депутации.

---

[1]) Так объясняет отъезд короля генерал фон-Герлах.

[2]) Это заявление привело в величайший ужас Генриха Симона из Бреславля, позднейшего регента империи. По крайней мере так рассказывает Варнгаген, в воспоминаниях которого на-ряду с любопытными фактами и тонкими наблюдениями приводится, впрочем, немало пустых, вызывающих сомнения, сплетен.

22-го марта вышла в свет новая королевская прокламация. Король обещал внести в ландтаг национальный избирательный закон, который устанавливает прямые выборы, как того требовали силезцы. Имелось также в виду предложить новому народному представительству законопроекты относительно гарантий личной свободы, относительно свободы союзов и собраний, относительно организации всеобщего гражданского ополчения с свободно избранными вождями, законопроекты об ответственности министров, о распространении судов присяжных на политические проступки и проступки печати, о независимости судей, об уничтожении помещичьих судов и полицейской власти помещика. В прокламации говорилось кроме того, что постоянное войско должно принести присягу в верности новой конституции.

На этом прекратился на время дождь королевских милостей, изливавшийся на ликующих граждан. Последняя прокламация сделала некоторые уступки крестьянам. Обещая уничтожить ненавистную для народа феодальную вотчинную полицию и подсудность помещикам, она стремилась предотвратить возможные в деревне отголоски революции.

В тот же день состоялось торжественное погребение павших на баррикадах. Из убитых лишь несколько больше десятка могли быть причислены к так называемому городскому сословию; среди них было, дальше, шесть женщин и один глухонемой. Личность тридцати трех убитых не могла быть установлена; они пали за дело свободы, не оставив на память даже своих имен. Все они принадлежали, несомненно, к рабочему классу, как и остальная масса убитых, так что берлинский пролетариат дал до девяти десятых всех жертв великой борьбы. Из раненых на баррикадах многие скоро скончались, так что число убитых составило в общей сложности до 230. Погребение их превратилось в величественную демонстрацию; торжественное зрелище на время отвлекло внимание народа от более насущных дел. Убитые были положены в 138 гробов и отвезены в Фридрихсгайн, сопровождаемые необозримой толпой народа. За процессией следовали представители всевозможных корпораций чиновников, горожан, студентов и рабочих; шествие открывалось гражданским ополчением и одетыми в черные платья девушками, которые несли венки на белых подушках. В процессии принимали участие депутации и из других мест, кроме Берлина. Когда шествие поравнялось с дворцом, на балкон вышел король с обнаженной головой, окруженный министрами. Могилы в Фридрихсгайне, в том числе одну братскую, рабочие сделали безвозмездно. Пастор Сидов сказал надгробное слово; он утверждал, что убитые запечатлели своей кровью то дело, которое их отцы начали в 1813 году. После него говорили один католический священник, один раввин, а в заключение не поскупился на громкие фразы асессор Юнг из Кельна. Епископ Неандер благословил усопших, а гильдия стрелков почтила их троекратным залпом.

Почитатели долгое время путешествовали к Фридрихсгайну. Теперь „добрые граждане" забыли, что погребенные здесь умерли за дело „гражданской свободы". Только рабочие, хотя они преследуют теперь совершенно другие цели и шествуют по другому пути, продолжают чтить память борцов

1848 года. Каждый год 18-го марта они украшают венками могилы Фридрихсгайна [1]).

Но в мартовские дни не только либеральные буржуа, но и заведомые реакционеры считали целесообразным заявлять о безграничном уважении к борцам на баррикадах. Так, один священник, по имени Круммахер, говорил в своей проповеди, что павшие на баррикадах вознеслись с земли на небо в белых одеяниях и с пальмовыми ветвями в руках, „как блаженные, преобразившиеся усопшие“. Но прошло несколько месяцев,—и ревнители благочестия стали обрекать борцов на баррикадах и всех виновников либеральных завоеваний на самые жестокие адские муки.

24 марта похоронили павших солдат—двух унтер-офицеров и тринадцать рядовых. Никто не верил, чтобы этим исчерпывались все потери войск. Впоследствии военное министерство так определяло потери: убитых 3 офицера и 17 рядовых, раненых 14 офицеров, 14 унтер-офицеров и 226 рядовых. И этим данным никто не поверил. Но в общем здесь невозможны какие бы то ни было доказательства, и потому позволительно оставить этот вопрос в стороне [2]). Можно заметить только одно: стремление военного начальства скрывать понесенные потери или же, чтобы не подорвать престиж войска перед публикой, определять их ниже, чем они были в действительности, проявилось далеко не только в этом случае.

Уже у могилы солдат хор филистеров грянул „ура“ в честь того самого войска, против которого за пять дней перед тем шло такое великое сражение. Эти господа уже вообразили, что победители—они и никто больше, и прониклись величайшим самодовольством. Вечером 19-го марта Раво, член депутации с Рейна, говорил о необходимости гарантий. „Да ведь у нас есть уже все, чего нам хотелось!“ ответило ему несколько премудрых мещан.

„Фоссова Газета“ была выразительницей мнений этих господ. За несколько дней до революции она характеризовала рабочих, как „сброд“, теперь же расточала перед ними всяческую похвалу [3]). В „экстренном ра-

---

[1]) Впрочем, в 1898 (юбилейном) году и берлинская дума постановила возложить венок на могилу павших в марте 1848 года, но обер-президент отменил это постановление. Не больше успеха имело постановление ремонтировать ворота кладбища; о постановке же памятника, хотя бы самого скромного, не могло быть и речи. На этой почве у городского управления происходили неоднократные столкновения с администрацией. Некоторые из них обсуждались рейхстагом в 1898 и 1899 годах—и здесь с особенной яркостью выступило отношение различных партий к деятелям 1848 г.

[2]) Сообщение „Фоссовой Газеты“, будто на судах по Шпре было перевезено, судя по осадке этих судов, от 1200 до 2000 „трупов военных“, решительно недостоверно.

[3]) Вот одно место, может быть, не из самых решительных: „Борьба последних дней не была тем, чем представляет ее излюбленное выражение: „бунтом черни“. Это было восстание граждан. На многих баррикадах командовали почтеннейшие служащие думы. Собственность уважали и охраняли с изумительной внимательностью. Никому и в голову не приходило стащить хотя бы иголку. Все боролись за общую цель, всех одушевляла она. Один отряд граждан ворвался во

достном приложении“ газета изображала совершившийся переворот. Листок был пустой, бессодержательный, и тем не менее филистеры прямо проглатывали его. Можно же представить себе их неудовольствие, когда именно в этот момент был вложен палец в раскрывающиеся раны классовых противоречий, как это сделал Г. Юлиус, редактор газеты „Die Zeitungshalle“ („Читальня“). „Читальня“, газета демократическая, но вовсе не республиканская, выступила против тех проповедников мира и умеренности, у которых доверчивость доходила прямо до глупости. Газета спрашивала у них, неужели можно так быстро примириться с тем самым войском, против которого только что велась борьба. „Дело в том,—говорилось в статье,— что и у нас, как во Франции, как в Англии, уже совершился разрыв между классом буржуазии и рабочим классом. Война идет не между королевской властью и республикой, а между собственниками и теми, кто при помощи своей рабочей силы стремится к собственности. Наши буржуа прекрасно чувствуют это и потому уже теперь, едва миновал первый день нашей славной революции, они всеми силами начинают тащить нас назад... Это хорошо, что король желает стать во главе движения. Пусть ему улыбнется успех, пусть ему удастся урегулировать борьбу обоих элементов таким образом, чтобы мы в непродолжительном времени достигли благодетельного мира. Но король может это сделать лишь при том непременном условии, если он окончательно порвет с существовавшей до сих пор системой и прежним строем мышления, и если он искренно и бесповоротно отдастся законам и требованиям нового развития“. Статья требует дальше, чтобы соединенный ландтаг вовсе не созывался, но чтобы король октроировал избирательный закон, по которому всякий совершеннолетний человек должен быть избирателем и может быть избран. Тогда необходимо назначить выборы немедленно и организовать „министерство для исследования и упорядочения положения рабочих“. Это успокоительно подействует на рабочих и будет шагом к водворению мира. „Но,—говорится в заключение,—пусть буржуазный класс не льстить себя надеждой, что рабочие дадут усыпить себя,—голод этого не потерпит! Смело за работу! И без всякого отдыха! Без всякого, без всякого отдыха! Отдых не раньше, чем будет создано что-либо дельное!“

Статья подействовала, как взрыв бомбы. Перед взором филистеров, которые обнимались на улицах и приветствовали друг друга, как свободные люди, уже выступали все ужасы „социальной революции“. Разъяренные,

---

дворец принца Альбрехта, разыскивая оружие, и ничего не было здесь захвачено или поломано. Собственность уважали даже в отбитых казармах: люди, на лицах которых было написано, что они голодают, искали только оружия; они побросали в сточные желоба ценные серебряные безделушки, которыми были украшены захваченные ими офицерские шпаги. Напротив, солдаты совершенно разграбили захваченные ими дома. Солдаты жестоко хозяйничали повсюду, расстреливали безоружных мужчин, не щадили даже женщин и детей“. Павшие на баррикадах—„герои, люди чести“. Все это написано 19 марта.

отправлялись они к редактору „Читальни“, угрожали и поносили его; старые друзья порвали дружеские отношения с ним, а биржа (!) выступила с заявлением, что „интересы рабочих и буржуа тождественны“. За то, что Юлиус воспользовался свободой печати, печать называла его „подстрекателем“ и „смутьяном“—и это в то самое время, когда только что завоеванная свобода печати вызывала всеобщие, неудержимые ликования. Такое поведение буржуазии должно было вызвать у всех верных друзей народа самые тяжелые опасения и придать мартовским восторгам очень неприятный привкус [1].

События в Берлине оказали огромное влияние как на Пруссию, так и на всю Германию. В Берлин со всех сторон являлись депутации, чтобы представить свои требования. Мартовских борцов возвеличивали в адресах, в речах и в гимнах. В некоторых прусских городах вспыхнули мятежи. Крестьяне, особенно в Силезии, тоже начали волноваться. Там, где крестьяне заволновались, господа юнкеры (помещики) поспешили удовлетворить их требования. Барщины сделались невозможными, и правительство с 20 апреля опять поставило на очередь вопрос о выкупе. Когда реакционные веяния усилились, юнкеры и землевладельцы потребовали вознаграждения за отмену средневековых повинностей; они добились этого в позднейшее время. Но весной 1848 года крестьяне надеялись, что новое народное представительство, выборы которого предстояли в ближайшем будущем, возьмет на себя полное уничтожение всех феодальных повинностей.

Отголоском прусской революции было восстание Шлезвиг-Голштинии и временное отделение их от Дании. Было бы утомительно разбираться в спутанном клубке государственно-правовых вопросов, связанных с прежними отношениями между Данией, с одной стороны, и обоими герцогствами—с другой. Согласно „доброму старому праву“ Шлезвиг-Голштинии, именно договору 1460 года, оба герцогства должны оставаться „up ewig ungedeelt“, нераздельными на вечные времена. По мнению королей Дании, это право в достаточной мере покрылось плесенью, и потому позволительно было посягнуть на него. В 1846 году Христиан VIII выступил против него со своим „открытым письмом“, в котором он утверждал, что Шлезвиг уже с 1721 года неразрывно связан с Данией. В то время Англия и Франция признали за королем Дании Фридрихом IV право собственности на Шлезвиг, который он отнял у герцога голштинско-готорпского. Христиан VIII утверждал дальше, что Шлезвиг—просто часть Голштинии, герцогом которой был Христиан; между тем Голштиния в то же время входила в состав Гер-

[1] Варнгаген фон-Энзе так пишет об этом эпизоде в своем дневнике: „Одна статья г. Юлиуса в газете „Zeitungshalle“ пришлась горожанам не по нутру и навлекла на автора угрозы и оскорбления. Некоторые выражения в ней неосторожны, но в общем статья хорошая. Филистеры поднимают голову, мужественные борцы отодвинуты на второй план, среди буржуа и студентов выступают усталые и трусливые. Получается такое впечатление, как будто им больно за происшедшее. Они уже хотят, чтобы войска возвратились, так как караульная служба становится слишком тяжелой для них. Во всяком случае служба эта доведена до чрезмерности, благодаря постоянному страху и опасениям“.—И берлинцы скоро опять получили солдат!

манского Союза. Это еще больше усложняло и без того запутанный вопрос. Как будто для того, чтобы увеличить путаницу, шлезвигцы с упрямством, достойным лучшего дела, отрицали для Шлезвига престолонаследие по женской линии, между тем как в Дании оно признавалось. Христиан VIII, издавая свое „открытое письмо" (декларацию), хотел разом покончить со всем делом. Германский союз не заявил протеста; тем не менее „открытое письмо" только подлило масла в огонь. Германское национальное движение, уже давно развивавшееся в Шлезвиг-Голштинии, теперь быстро усилилось. Шлезвиг-голштинцам казалось, что самым простым выходом из путаницы будет присоединение к Германии. Вся Германия, особенно германские поэты, приняла самое горячее участие в судьбе „покинутого братского племени". Повсюду запели: „Schleswig-Holstein meerumschlungen" („Шлезвиг-Голштиния, морем объятая").

В январе 1848 года Христиан VIII скончался. Его сын и преемник Фридрих VII по отношению к герцогствам следовал той же политике, как и его отец. 28-го января 1848 года он обещал конституцию для всего датского государства, включая сюда и оба герцогства. Германско-национальная партия Шлезвиг-Голштинии в собрании сословий обоих герцогств протестовала против такой конституции. 18-го марта она отправила в Копенгаген депутацию, которая потребовала от короля созвания шлезвиг-голштинского ландтага, выработки конституции для обоих герцогств и „национального ополчения". Король любезно принял депутацию, но отказал в ее требованиях. Он полагал, что Шлезвиг-Голштинии не существует, так как Шлезвиг принадлежит к Дании, а Голштиния—к Германскому Союзу.

Между тем в Берлине произошла революция 18-го марта; король прусский, совершая свой объезд по Берлину, „стал во главе нации". У шлезвиг-голштинцев явилась надежда, что Пруссия придет к ним на помощь. Но в это самое время в Дании, где выросло сильное демократическое движение, было назначено новое министерство. Известно было, что оно поставило своей целью полное слияние Шлезвиг-Голштинии с Данией.

23-го марта в Киле произошло восстание, не потребовавшее ни одной капли крови, так как войска разом перешли на сторону народа. Примеру Киля последовала вся страна, а также Рендсбург, крепость Германского Союза. Временное правительство избрало Рендсбург своей резиденцией. В его состав входили принц Фридрих голштинско-августенбургский, известный под именем принца Ноэрского аристократ Ревентлов, Шмидт, Бремер и Безелер; они вступили в управление от имени герцога Христиана голштейн-зондербург-августенбургского, которому, по их мнению, принадлежало право унаследовать Шлезвиг-Голштинию. Эти революционеры во имя династии были просто игрушкой в руках дипломатов; к ним впоследствии был присоединен демократ Ольсгаузен, но один он ничего не мог поделать.

Временное правительство, опасаясь немедленного нападения Дании, обратилось за помощью к Пруссии; помощь была обещана. Кроме того, из Германии, особенно из Берлина, в Шлезвиг-Голштинию устремилось множество добровольцев, которые хотели повести борьбу против датчан. Герман-

скіе правительства, конечно, не без удовольствія смотрели на отлив революціонных боевых сил из Германіи.

Пруссія, Ганновер, Мекленбург, Ольденбург и Брауншвейг решили объявить войну за шлезвиг-голштинское дело. Это произошло в то самое время, когда Пруссія с оружием в руках подавляла національное возстаніе Польши. Это как нельзя более понятно: борьба в Шлезвиг-Голштиніи шла не за политическую свободу, не за конституціонный государственный строй. При датском господстве последнего было бы легче достигнуть, чем под германским господством. Возстаніе в Шлезвиг-Голштиніи стремилось исключительно к одной цели: к тридцати шести государям Германіи присоединить тридцать-седьмого в лице герцога Христіана. В противном случае „національные" элементы в Германіи не питали бы таких горячих симпатій к Шлезвиг-Голштиніи.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Предпарламент.

В конце марта 1848 года германское движение достигло своего зенита. Буржуазия почти везде получила свои конституционные завоевания. Крестьяне сбросили с себя феодальные повинности. Казалось, что государственные власти безропотно подчиняются всем требованиям народа. Из разных городов приходили известия, что у полиции нет никакой власти, и тем не менее не наступило светопреставления. Конечно, не было недостатка в эксцессах. Да иначе оно и быть не могло у народа, который после ряда столетий впервые вышел из-под опеки привилегированных, воображавших, что их привилегии дарованы им самим провидением. Но в общем народ предался радости с большим простодушием, между тем как приверженцы старого строя до поры до времени затаили в своей груди свои черные замыслы.

На Германию нахлынул буквально поток новых идей. Требования кое-где шли много дальше завоеваний 18 марта. В частях Германии, расположенных около французской границы, подумывали о республике. В воскресенье 19-го марта в Оффенбурге в Бадене состоялось огромное народное собрание; на рынке собралось до 15.000 человек, с балкона ратуши к народу обращались вожди баденского движения, решительнейшие демократы. Фиклер из Констанца, редактор радикальной газеты „Seeblätter", требовал немедленного провозглашения республики, но против этого возражали Итцштейн, Гофф, Суарон, Брентано и даже Геккер и Струве. Они полагали, что благоприятный момент еще не наступил, а Геккер думал кроме того, что не следует полагаться на поддержку французов,—Германия своими собственными силами должна создать для себя новый порядок вещей. Собрание высказалось за созвание германского парламента и положило начало широкой организации баденской демократической партии. На этом собрании, кроме прежних народных требований, были выставлены еще следующие: однопалатная система (уничтожение первой палаты); уничтожение всех налогов, кроме прямых и таможенных сборов, и введение прогрессивного подоходного налога и прогрессивного же налога на собственность; немедленное уничтожение всяких привилегий, в чем бы они ни заключались; отделение церкви от государства и школы; дешевое правительство, уничтожение всех бесполезных должностей

которые созданы только для того, чтобы дать жалованье бездельникам, уничтожение незаслуженных пенсий. Собрание разошлось лишь после того, как Геккер, Струве, Фиклер обещали прибегнуть к силе, если правительство откажет в немедленном удовлетворении требований собрания.

В других городах к оффенбургским требованиям были присоединены следующие: равноправие без различий вероисповедания; Habeas-corpus-акт, т.-е. закон, гарантирующий неприкосновенность личности; уничтожение дворянства; учреждение федеративной республики по образцу Соединенных Штатов. Почти повсюду эти требования были приняты единогласно.

Но в общем движение страдало недостатком организованности. Либеральная буржуазия без всякого удержу и с наслаждением предавалась прославлению своей „свободы" и, следовательно, самой себя. Не виделось конца тостам, торжественным речам и гимнам свободе.

В это время в Германии распространилось убеждение, что в самом близком будущем предстоит вторжение немецких рабочих из Франции. Уверенность эта была тенью, которую уже начал отбрасывать „демократический легион", организованный в Париже поэтом Георгом Гервегом (о нем см. ниже). В действительности легион перешел через Рейн только в конце апреля. Но слухи, носившиеся в воздухе, все преувеличивали, и потому Германский Союз двинул на Рейн свои войска. Реакционеры делали все возможное, чтобы распространять тревожные слухи и раздувать их до полной бессмыслицы. 25-го марта страх перед французским нашествием охватил весь Вюртемберг, и во всей Швабии началась величайшая суматоха. Разнесся слух, будто французы уже перешли через Шварцвальд; при помощи верховых курьеров власти сообщали об этом из одного места в другое. В каждом городе были уверены, что французы стоят на расстоянии всего немногих часов. Жители закапывали в землю свои драгоценности или скрывались с ними бегством. И прошло не мало времени, прежде чем восстановилось спокойствие [1]).

Но, кроме страха перед французами, существовал еще страх перед русскими. В Германии помнили, как вмешивалась Россия, какое влияние оказывала она на внутренние отношения в Германии; совершенно естественны были опасения, что русский колосс вмешается в интересах ниспровергнутых властей. В политических собраниях послышались резкие речи против России и царя Николая I, этого хранителя абсолютизма, насилия которого над злосчастной Польшей вызывали раздражение во всей либеральной части Европы. Газеты неустанно предостерегали от „русской опасности" и чуть не каждый день развивали ту мысль, что война с Россией непредотвратима [2]).

Но Россия не вмешалась и не вторглась. Революция разрушила Священный Союз. Россия оказалась обособленной. Николай ограничился мерами, которые должны были предупредить распространение революцион-

---

[1]) Этот „праздник французов", описанный священником Бунцем в особом сочинении, сопровождался множеством комически эпизодов. Напр., один тюбингенский профессор обратился к дамам и девушкам с добрым советом: переодеться в мужские костюмы, чтобы спастись от назойливости французов.

[2]) См., напр., „Фоссову Газету" за последнюю неделю марта.

ного движения на Россию. 23-го марта царь издал озлобленный манифест против „злодеяний", совершившихся во Франции и в Германии; его народы оказались, действительно, незатронутыми духом времени. Нападки демократической прессы и немецких народных ораторов взбудоражили царя всея России, и пресловутый Нессельроде, руский канцлер, обратился к руским представителям за границей с циркуляром, в котором он предлагал им заявить „всем устрашенным", что руское правительство питает самые миролюбивые намерения. Но в общем уже тогда не полагались на прекрасные заверения руских дипломатов и меньше всего полагались на них „устрашенные лица".

Между тем взоры всех немцев обратились к Франкфурту на Майне. Спасения ожидали оттуда.

Комисия семи, составленная в Гейдельберге, не оставалась бездеятельной. Она пригласила к 30-му марта во Франкфурт всех прежних или теперешних членов „сословий" (т.-е. собраний сословий), или членов законодательных собраний из всех стран Германии, включая сюда восточную и западную Пруссию, равно как и Шлезвиг-Голштинию. Не ограничиваясь этим, комисия пригласила также и некоторых других лиц, по ее мнению „облеченных народным доверием", и предложила городским думам Пруссии избрать представителей из своей среды.

Следовательно, приглашение комисии семи было адресовано к наличным и прежним парламентским корпорациям; таким образом она позаботилась о том, чтобы демократические и собственно революционные элементы явились в предварительный предпарламент лишь в ничтожном количестве. Собственно народ оказался совсем исключенным. Подавляющее большинство составилось из тех бесцветных либералов, которым при домартовских условиях удалось, несмотря на все фильтры реакционной избирательной системы, проникнуть в парламенты и городские думы. Для этих господ революция зашла уже слишком далеко. Они со страхом и ужасом подумывали о том, что возложенное на них полномочие—в сущности революционное полномочие. Тем не менее они решили воспользоваться этим мандатом, чтобы не допустить торжества „крамольников"-демократов. Они рассчитывали использовать случай и оказать монархам и правительствам такие крупные услуги и проявить свою лойяльность с такой очевидностью, что им, конечно, не только простят их „революционные" припадки в бурные мартовские дни, но и дадут награду за то, что они стали тянуть лямку реакции.

Благодаря этому в этом странном собрании, созванном комисией, на ряду с немногочисленными решительными республиканцами и демократами оказалось множество бесцветных либералов, трусливых филистеров, замаскированных реакционеров и самых дюжинных, заурядных мещан. Здесь впервые в большом количестве выступили на политическую арену немецкие профессора, тот злополучный элемент, который придал парламентской стороне германского движения в 1848 году ее трагикомический характер. Среди профессоров были и хорошие люди; но подавляющее большинство сделало бы лучше, если бы не сходило со своих кафедр, чем убивать время в пу-

стой и невыносимой болтовне,—то самое время, которое требовало дел для упрочения завоеванной свободы. Демократическая критика швырнула в этих профессоров грубой немецкой поговоркой: „чем ученей, тем глупей". Но для данного случая поговорка не была слишком сильной и попадала в самую цель.

В общем, во Франкфурт явились представителями Германии 511 человек. Распределение представителей было изумительное. Из Пруссии явились 141 депутат, из Австрии только два! Из Баварии присутствовало 44 депутата, из Ганновера 9, из Вюртемберга 52, из Саксонии 26, из саксонских герцогств 21, из Бадена 72, из Гессен-Дармштадта 84, из Гессен-Гомбурга 2, из Кургессена 26, из Нассау 26, из Брауншвейга 5, из Ольденбурга 4, из Шлезвиг-Голштинии 7, из Мекленбурга и Липпе 19, из Ангальта, Рейса и Гогенцоллерна 8, из вольных городов—26 представителей. В том факте, что Австрия от всего своего населения прислала только двух представителей, увидали дурное предзнаменование. Демократы пришли в негодование, когда увидали, что в среду депутатов попало множество столпов и орудий домартовского режима. „И куда только подевался разум у комиссии семи?—жаловались они,—это—прямо непонятное дело!" Но им следовало бы подумать об этом пораньше, в Гейдельберге, в то время, когда из их рук вырвали власть.

Старый Франкфурт принял депутатов со всей восторженностью 1848 года, этой „весны народов". Правда, старым патрициям, оптовым торговцам и банкирам, может быть, было не совсем приятно присутствовать при таком деле,—торговые души воспламенялись за свободу лишь постольку, поскольку она устраняла помехи накоплению капиталов. Но народные массы прямо опьянели от радости. Город разукрасился по праздничному. Депутатов провели под триумфальными арками и почтили пушечными залпами. Улицы, по которым они проходили, были усыпаны цветами. Современники, очевидцы всего этого, рассказывают, что они никогда не забудут тех дней, и что это—самые прекрасные, самые возвышенные воспоминания.

Утром 31-го марта депутаты собрались в „императорской зале" Ремера и выбрали председателем тайного советника Миттермайера из Гейдельберга, светила юриспруденции, человека с репутацией либерала. Вице-президентами были избраны: Ицштейн из Мангейма, Дальман из Бонна, Роберт Блюм из Лейпцига и Сильвестр Иордан из Марбурга, мученик из числа кургессенских конституционалистов.

Среди восторженных криков народа, при грохоте пушек депутаты длинной процессией направились к церкви Павла. Тысячи народа расположились шпалерами по пути шествия; из публики показывали друг другу известных депутатов: историка Вирта, поэта Уланда, Геккера, Струве, Генриха фон-Гагерна, Эйзенмана из Нюрнберга, Титуса из Бамберга и множество других, которые чем-нибудь выдвинулись или претерпели гонения за свои убеждения и деятельность.

В собрании было много раздоров, но реакционеры, половинчатые либералы и конституционалисты, как они ни ссорились между собой, были единодушны в своей вражде к демократам и республиканцам.

В большом помещении церкви Павла президент Миттермайер сказал прекрасно построенную речь, в которой он постарался всем воздать должное, что вызвало у заядлых реакционеров иронические насмешки и злобные замечания. Потом фабрикант Мец из Фрейбурга, выставляя на вид свое благочестие, обратился к собранию со словами: „Если господь не поможет в созидательной работе, тщетны все усилия строителей". Он предложил собранию встать в знак того, что оно верует в это утверждение; собрание последовало его предложению.

Продолжительность речей была определена в десять минут, и прения начались. Единственным предметом обсуждения была программа комиссии семи, которая предлагала следующие основания для нового устройства Германии:

„1. Верховный глава союза с ответственными министрами.

„2 Сенат от отдельных государств.

„3. Палата, составляемая посредством народного избрания, считая по одному депутату на 70.000 человек населения.

„4. Компетенция союза, создающаяся путем соответственного ограничения компетенции отдельных государств, по отношению к следующим пунктам: а) Войско. б) Представительство за границей. в) Система торговли, законов о мореплавании, союзных таможен, монеты, меры, веса, почт, водных путей и железных дорог. г) Объединение гражданских и уголовных законов и судебных установлений, союзный суд. д) Гарантии свободных прав нации.

„5. Постановление о созыве учредительного национального собрания на изложенных выше основаниях делается союзными властями совместно с уполномоченными.

„6. Постоянная комиссия из 15 членов, имеющая быть избранной из среды членов теперешнего собрания, должна позаботиться о том, чтобы постановление о созыве национального учредительного собрания было приведено в исполнение. Если это не будет исполнено в четырехнедельный срок от настоящего времени, данное собрание возобновляется здесь 3-го и 4-го мая. В случае неотложной необходимости комиссия может созвать собрание и в более ранний срок".

Следовательно, эта программа хотела соорудить над сорока немецкими отечествами конституционную надстройку, во главе которой стоит новый, имперский монарх. Уже она одна ясно показывает, как стремились либералы и конституционалисты подменить германское движение к свободе движением только к единству. Программа, как целое, представляет лишь туманные очертания, а пункты, имеющие наибольшую важность для народа, затронуты мимоходом или обойдены полным молчанием. Программа должна была послужить либеральной буржуазии для того, чтобы наметить окончательные границы для революционного движения, гарантировать приемлемые для нее завоевания от нападений справа и слева и в то же время обеспечить для себя прочную опору на тот случай, если движение пойдет дальше, чем буржуазии было желательно.

Таким образом столкновение с демократами и республиканцами, которые хотели итти дальше, было неизбежно.

На трибуну поднялся Густав фон-Струве и своим резким голосом изложил требования своей партии. Ясно и недвусмысленно в пятнадцати выставленных им пунктах он требовал демократической организации государства, уничтожения постоянного солдатского войска, уничтожения „постоянного войска чиновников", уничтожения „постоянного роя налогов", „съедающих мозг нации", уничтожения всех привилегий, монастырей, уничтожения слияния церкви и государства, а также уничтожения устарелой, испорченной юстиции; он требовал в то же время свободы печати, закона о неприкосновенности личности, устранения бедственного положения рабочих классов, объединения права и уничтожения раздробленности Германии, а также нового разделения всей Германии на округа. Последнее требование — пункт 15-й — гласило: „Уничтожение наследственной монархической власти и замена ее свободно избранными парламентами, во главе которых стоят свободно избранные президенты и которые все объединяются федеративной союзной конституцией по образцу северо-американских республик" [1]).

---

[1]) Предложение, внесенное Струве, гласило: „Мы, нижеподписавшиеся, вносим следующее предложение в германский предпарламент во Франкфурте на Майне: предпарламент должен дать немедленное признание и озаботиться об осуществлении изложенных ниже прав германского народа.

Глубочайшее унижение в течение долгого времени угнетает Германию. Его можно характеризовать словами: порабощение, одурачивание и эксплоатация народа. Под влиянием этой тиранической системы, которая хотя и сломлена в своей силе, однако по существу все еще сохраняется, Германия неоднократно приводилась к краю гибели. Она утратила многие из своих лучших провинций, другим угрожает тяжелая опасность. Нужда народа достигла невыносимых размеров. В Верхней Силезии она дошла до голодного тифа.

Поэтому разорвались все связи, которые привязывали германский народ к прежнему так называемому порядку вещей; задачей собрания немцев, съехавшихся 31 марта текущего года во Франкфурте на Майне, является подготовление новых связующих средств, которые должны объединить весь германский народ в свободное великое целое.

Обеспеченность собственности и личности, благосостояние и свобода для всех без различия происхождения, сословия и вероисповедания,—вот цель, к которой стремится германский народ. Средства для достижения этой цели таковы:

1. Уничтожение постоянного войска солдат и слияние его с гражданским ополчением для образования истинно-народного ополчения, охватывающего всех мужчин, способных носить оружие.

2. Уничтожение постоянного контингента чиновников и замена его дешевым управлением, состоящим из лиц, свободно избранных народом.

3. Уничтожение постоянного гнета сборов, съедающих мозг народа, в особенности всех сборов, которые тормозят внутренний обмен в Германии, внутренних таможенных пошлин и судовых сборов, а также тех, которые угнетают сельское хозяйство: десятин, оброков, барщин и т. д., равно как и тех, которые обременяют промышленность: промысловых налогов, акцизов и т. д., и замена этих сборов:

a) прогрессивным подоходным и поимущественным налогом, при котором средства, необходимые для жизни, освобождаются от всяких сборов;

b) таможенными пошлинами, взимаемыми на границах Германии для защиты ее торговли, ее промышленности и ее земледелия.

„Германский народ!—закончил Струве свое предложение.—Это—единственные принципы, с помощью которых, по нашему мнению, Германия может сделаться счастливой, уважаемой и свободной. Мы все останемся во Франкфурте на Майне, пока свободно избранный парламент не возьмет на себя руководительство судьбами Германии. В это время мы выработаем необходимые законопроекты и при помощи свободно избранного исполнительного комитета подготовим разрешение великого дела—возрождения Германии".

Да, здесь германская республика выступила в осязательных формах, и нисколько не позаботилась даже о том, чтобы накинуть на свое лицо какое-нибудь покрывало. У профессоров и филистеров забегали мурашки по коже.

Обстоятельства должны были показать теперь, не ошибался ли Геккер в своих расчетах. В Оффенбурге ему предложили вопрос: „Неужели от надворных советников, профессоров и слуг государства вы ожидаете революционных постановлений?"—„Я терроризирую их!" отвечал Геккер. Франкфурт должен был проучить эту самоуверенность.

---

4. Уничтожение всех привилегий, какое бы название они ни носили, в особенности привилегий дворянства, привилегий богатства, уничтожение особой подсудности отдельных сословий и замена ее общим для всех германских граждан правом.

5. Уничтожение опеки над общинами и замена ее законом о коммунах, основанным на принципе самоуправления.

6. Уничтожение всех монастырей и монастырских учреждений.

7. Расторжение союза, существовавшего до сих пор между церковью и государством и церковью и школой, и замена его:

a) принципами равноправия всех вероисповеданий, неограниченной свободы вероисповедания и совести, свободы ассоциаций, самоуправления общин и, в частности, права общин свободно избирать духовных лиц, учителей и бургомистров;

b) улучшение положения учащих и большая равномерность в вознаграждении священников;

c) уничтожение платы за учение.

8. Отмена цензуры, разрешительного порядка и залогов и замена этих принудительных учреждений принципом свободы печати в самом широком смысле.

9. Уничтожение тайного и письменного судопроизводства и замена его гласными и устными судами присяжных.

10. Уничтожение бесчисленных ограничений личной свободы немцев различных сословий и единообразное обеспечение ее посредством особого закона (Habeas-corpus-акта в самом широком значении слова), который в частности гарантирует и право союзов и собраний.

11. Устранение бедственного положения трудящихся классов и среднего сословия, поднятие торговли, промышленного сословия и сельского хозяйства. Богатые средства для этого дадут существовавшие до сих пор чудовищные цивильные листы, уделы, незаслуженные и слишком высокие оклады и пенсии, всевозможные монастыри и не утилизируемые в настоящее время владения многих корпораций, равно как и государственные имущества.

12. Устранение неправильного отношения между трудом и капиталом при содействии особого министерства труда, которое должно противодействовать ростовщичеству, защищать труд, и в частности, гарантировать ему участие в прибылях от труда

Ясно формулированное предложение Струве чрезвычайно выгодно отличалось от программы комиссии семи, которая по своей спутанности никак не могла удовлетворить требований народа. Но если конституционная надстройка над сорока отечествами, при наличности дуализма между Австрией и Пруссией, была утопией, то и предложение Струве, и притом самый важный пункт в нем, представляло такую же утопию. Прямолинейный Струве думал просто-напросто навязать на формирующуюся Германию федеративный строй Северо-Американских Штатов. Он не принимал во внимание, что обе страны развивались совершенно различно, и что форма государственного устройства должна быть приспособлена к развитию данного общества. Стремление навязать Германии, с ее тысячелетним развитием, формы совершенно юного северо-американского государства было утопизмом. Федеративное государство всегда представляет нечто недоразвившееся,—в нем еще не выработалось понятие о государственной общности. Тысячелетней язвой Германии, разъедавшей ее тело, была именно ее раздробленность, федерализм, так что она буквально томилась жаждой единства.

Даже некоторые искренние республиканцы считали предложение Струве неудачным; Иоганн Якоби разбирался в этих вопросах яснее. Кроме того, предложения Струве слишком поверхностно касались социального вопроса. То, что они обещали рабочим, было так же неопределенно, как „свободные права нации" в проекте комиссии семи. Наибольшее, до чего мог возвыситься мелко-буржуазный социализм Струве, было „участие рабочих в прибылях предприятий". Струве не видал того, что такая форма отношений лишь с большими затруднениями может быть организована государством, и что она, с другой стороны, вовсе не разовьется, если все дело будет предоставлено частной инициативе. Буржуазные демократы и республиканцы, как и Струве,

---

13. Уничтожение тысячекратно расходящихся между собою постановлений гражданского права, уголовного права, процессуального права, канонического права и государственного права в отношении монеты, меры, веса, почты, железных дорог и т. д. и замена их законами, которые, вытекая из духа нашего времени, укрепляют внутреннее единство Германии в духовном и материальном отношении и упрочивают ее свободу.

14. Уничтожение раздробленности Германии и восстановление деления на имперские округа, при чем следует обратить надлежащее внимание на современные условия.

15. Уничтожение наследственной монархии (единодержавия) и замена ее свободно-избранными парламентами, во главе которых стоят свободно избранные президенты и которые все соединяются федеративной союзной конституцией по образцу северо-американских республик.

Германский народ, вот принципы, с осуществлением которых, по нашему мнению, Германия только и может сделаться счастливой, уважаемой и свободной.

Германские братья на востоке и западе, мы обращаемся к вам с приглашением поддержать нас в нашем стремлении добыть для вас единые и неотчуждаемые права человека. Мы останемся все во Франкфурте на Майне, пока свободно избранный парламент не получит возможности направлять судьбы Германии. В это время мы выработаем необходимые законопроекты и, учредив свободно избранный исполнительный комитет, подготовим великое дело возрождения Германии".

очень много говорили об „устранении неправильных отношений между капиталом и трудом“. Но им в голову не приходило разыскивать корень этих „неправильных отношений“ в самой форме производства.

Предложение, внесенное Струве, произвело невероятное замешательство среди большинства, составившегося из профессоров, надворных советников и мещан. Почтенный старец Миттермайер, казалось, не мог отыскать в своей прекрасной посеребренной голове никакой уловки, чтобы разделаться с таким устрашающим документом. Он только заявил, что речь Струве продолжалась дольше десяти минут. Господин Шаффрат из Саксонии, многоопытный адвокат, вывел председателя из затруднения, предложив передать предложения Струве на обсуждение особой комиссии. Тогда поток красноречия опрокинул все плотины; на республиканцев обрушился такой поток фраз, что у них едва оставалась возможность для возражений. Все говорили о „единстве“, „свободе“ и „праве“, только о предложениях Струве не хотели и слышать. Генрих фон-Гагерн высказал убеждение, что принципы Струве „угрожают опасностью кредиту“, а Эйзенман воскликнул, что при конституционной монархии он совершенно беззаконно был на пятнадцать лет посажен в тюрьму и, несмотря на то, будет бороться до последней капли крови за конституционную монархию! Какой трогательный наплыв гипер-лойяльных, непомерно разросшихся филистерских чувств! Господин Велькер, который еще так недавно разыгрывал из себя неистового республиканца, теперь неистово обрушился на Струве. Профессор Фогт из Гиссена, желая возразить Велькеру, в иронической форме намекнул, что Велькер состоит уполномоченным союзного сейма. „Господин депутат, — начал он, — или, правильнее сказать, господин посланник от союзного сейма Велькер...“ Но здесь разразился такой шум, что председателю пришлось на полчаса прервать заседание. Роберт Блюм говорил в примирительном духе. В конце-концов собрание согласилось с Везендонком, что решение вопроса о государственной форме принадлежит только учредительному национальному собранию, и что необходимо подчиниться его будущим постановлениям. После всей суматохи господин Дитце из Дюссельдорфа выступил с высокопарнейшей фразой: „Я мог бы усомниться в свете и сиянии солнца, но только не в том, что свобода Германии становится, наконец, действительностью!“ Таков уж был средний филистер мартовских дней. Потом предпарламент постановил созвать национальное учредительное собрание по расчету один депутат на 50.000 душ населения. Выборы должны быть прямые, в них принимают участие все без исключения неопороченные граждане. Шлезвиг-Голштиния, Восточная и Западная Пруссия были признаны частями Германского Союза; им тоже предоставлено представительство в национальном собрании. Вопрос относительно Польши, где как раз в это время вспыхнуло восстание, был оставлен открытым; тем не менее собрание протестовало против раздела Польши и потребовало ее восстановления.

Так прошло первое заседание. Впечатление, которое оно могло произвести на широкую публику, было далеко не из выгодных. После заседания в трактирах, между республиканцами и конституционными монархистами про-

изошли крупные стычки; не раз раздавалось „ура“ в честь республики. Вино оказало свое действие, и на следующее утро собрание приступило к обсуждению дальнейших вопросов слегка в после-похмельном настроении. Трактовался вопрос об избирательной системе для учредительного собрания. Всеобщее и прямое избирательное право нашло энергичных защитников; за него выступил даже старый „Turnvater“, „Отец гимнастики“ Ян, давным-давно сточивший все свои зубы на слишком усердном французоедстве. Но собрание предоставило усмотрению отдельных правительств ввести прямые или косвенные выборы.

Потом на очередь было поставлено предложение, внесенное Геккером: предпарламент не должен расходиться до момента открытия заседаний учредительного собрания; он должен взять в свои руки руководство движением Германии. Мысль эта показалась, конечно, ужасной для тихоходов либерализма. Они трепетали от страха, когда думали, что всемирная история вдруг выдвинет перед ними такую же задачу, как перед французским Национальным Конвентом 1792 года. Всякий, кто увидел бы перед собой толпу этих обливавшихся холодным потом гипер-лойяльных надворных советников, чиновников и профессоров, тотчас понял бы, что перед ним только самая жалкая карикатура на то знаменитое собрание, которому пришлось бороться с великой коалицией Питта, и которое вышло победителем из этой борьбы. В предпарламенте страх перед народом боролся за первенство со страхом перед реакционными силами.

Велькер уже до такой степени вошел в свою роль представителя союзного сейма, что называл союзный сейм, эту иссохшую ветвь на стволе германского дуба, последней опорой против неурядицы и анархии. По его мнению, непрерывность заседаний предпарламента неминуемо должна была повлечь за собою анархию. Филистерам, содрогающимся от ужаса, уже казалось, что они распростерты на доске гильотины и в последний раз взирают через „национальное окно“ (выемка гильотины) на мир прекрасный, зеленеющий, сияющий солнцем, — взирают, пока по знаку палача железо не засвистит, падая вниз.

Геккер постарался влить мужество в души этих трусов. Германия, полагал он, всего ожидает от предпарламента; правительствам не хватит силы и мужества, чтобы оказать противодействие. Геккера поддержал пламенный д'Эстер из Кельна, а также Мориц Риттингаузен из Кельна[1]). „В Германии, — воскликнул Риттингаузен, — в настоящий момент фактически нет никакой власти, потому что правительств так сказать не существует. В Пруссии был даже такой момент, когда совершенно не знали, сохранится ли старое или же вступило в силу временное правительство“. Такая энергичная характеристика положения возмутила лойяльные души. Как бы мог истинный „патриот“ представить себе Германию без правительств?

---

[1]) Впоследствии он получил известность как социал-демократический депутат и в особенности как защитник прямого народного законодательства.

Рюдер из Ольденбурга[1]) выступил с возражениями и предложил назначить комиссию из 50-ти членов, которая должна наблюдать за исполнением парламентских постановлений. Венедей, который некогда был, как эмигрант, радикалом, готовым перевернуть весь мир, тоже говорил против непрерывности заседаний предпарламента. Но особенно постарался в этом направлении Гагерн; он полагал, что собрание не имеет права делать такое постановление. Старый Ицштейн, Иоганн Якоби и Раво тщетно выступали за непрерывность. Якоби выразил убеждение, что собрание—единственный орган единства Германии, и что прямой долг его — не оставлять своего места. Раво напоминал собранию, что само оно обязано своим существованием революции. Все напрасно. У пресловутых „революционеров" в голове все время сидел страх „революции" и „анархии"; поэтому они отвергли предложение Геккера о непрерывности заседаний таким большинством, которое могли сплотить только опасения за голову и воротник. 368-ю против 148-ми голосов предложение Геккера было отклонено и принято такое предложение Генриха фон-Гагерна: „Комиссия из пятидесяти членов должна вступить в соглашение с союзным сеймом и играть совещательную роль при последнем в вопросах защиты интересов нации".

До какой степени дошла путаница понятий, видно из того факта, что даже Людвиг Уланд подал свой голос за комиссию пятидесяти и против непрерывности заседаний. У этого человека вообще не было недостатка в дальновидности. Он обнаружил правильное понимание положения, заявив в предпарламенте: „Недели теперь равны столетиям!" И, несмотря на то, он решил выжидать еще шесть „столетий", пока не соберется учредительное собрание, и согласился выпустить на это время власть из своих рук.

Теперь уже не оставалось места никакому сомнению: „поумневшие" и „половинчатые", открытые и замаскированные реакционеры и трусливые филистеры составляли в собрании подавляющее большинство по сравнению с решительными и энергичными демократами. Поведение большинства показывало также, как страшилось оно революционной почвы, на которую гнал его водоворот народного движения. Большинство стремилось к одному: как можно скорее оставить эту почву, возвратиться „на печку" и погрузиться в привычное будничное существование. Ужас переполнял душу филистеров, когда они видели, что необходимость вынуждает их „делать всемирную историю".

Предложение, внесенное Цитцем и Робертом Блюмом и поддержанное Штрекером, Фогтом, Якоби, Бером, Дюпре, Ицштейном, Лейслером и Вутке, выставило следующее требование: „Прежде чем собрание сейма возьмет в свои руки созыв учредительного собрания, оно должно отменить противоконституционные исключительные постановления (карлсбадские и т. д.) и удалить из своей среды лиц, которые принимали участие в их издании и исполнении".

---

[1]) Впоследствии известный директор лейпцигской полиции; в 1848 году — конституционалист со слабым налетом демократизма и соредактор газеты Роберта Блюма „Sächsische Vaterlandsblätter".

Это предложение довело до крайней точки конфликт между большинством, с одной стороны, и демократами и республиканцами — с другой.

Бассерман, впрягшийся теперь в лямку реакционеров, предложил заменить слова „прежде чем“ словами „между тем как“, что должно было сделать все предложение бесполезным и лишним.

В чрезвычайно страстных прениях произошло резкое столкновение противоположных воззрений; тщетно старались примирить их демократы-конституционалисты. Уланд заявил: „Я думаю, что когда весна выгонит зародыши, старая листва спадает сама собой“. Все свои надежды он возлагал на „полное молодых сил национальное собрание“. Но его вера оказалась мечтой: „старая листва“ сохранялась после того еще восемнадцать лет, и недоверие республиканцев было вполне основательно. Каким бы мелким и ничтожным ни казалось дело на первый взгляд, словечки „прежде чем“ и „между тем как“ вскрывали глубокую пропасть между обеими борющимися сторонами. Один барон из Баварии, фон-Клозен, по своей доверчивости превзошел даже Уланда. Он заявил, что не в его вкусах бороться с мертвецами, а союзный сейм уже мертв. Венедей сказал: „Союзный сейм наш письмоносец, поэтому он для нас необходим“.

С этой мечтательностью, вооружившейся розовыми очками, не могли ничего поделать ни язвительное красноречие Геккера, ни холодная логика Струве, ни предостережения Роберта Блюма. Предложение Бассермана было принято.

После этого постановления в собрании поднялась суматоха, начался шум. 79 членов, республиканцев и демократов, в том числе Геккер, Струве, Циц и другие, оставили предпарламент. Но к ним примкнули не все голосовавшие с ними. Остались в собрании Роберт Блюм, Иоганн Якоби, Раво, Везендонк, Редингер, а также и старый Ицштейн; последний, впрочем, чтобы „достигнуть примирения“, голосовал за предложение Бассермана. Насколько разумно было выходить из собрания, этот вопрос мы оставляем в стороне; но раз оставив собрание, не следовало опять возвращаться в него, как было впоследствии сделано.

Как раз в этот момент на обсуждение был поставлен важнейший вопрос, именно—вопрос о народном ополчении. Глаубрех из Майнца внес предложение, чтобы имеющая быть избранной комиссия пятидесяти взяла на себя полное осуществление вооружения народа. Он исходил из той мысли, что постановления будущего национального собрания получат значение лишь при том условии, если в его распоряжении окажется реальная, а не воображаемая сила. Условия времени с такой силой говорили в пользу предложения Глаубреха, что никак нельзя было подумать, чтобы оно натолкнулось на возражения. Но воспользовавшись этим случаем, доктринеры и представители близорукой либеральной доверчивости опять унеслись от действительности. Чистосердечный Зегер из Штутгарта полагал, что, высказавшись за народное ополчение, собрание будет действовать, как временное правительство. Венедей вещал, что больше всего необходимо издание декларации прав германского народа, а все прочее приложится. А тот самый господин фон-Клозен, ко-

торый объявил союзный сейм покойником, считал требования народного ополчения просто выражением страха! Мати изумительным образом высказался за предложение Глаубреха на том основании, что „народное ополчение должно послужить единственно надежной гарантией против реакции внутри". Будущий баденский министр, конечно, уже не мог сказать это серьезно: всего через пять дней он приказал арестовать своего друга Фиклера, как „изменника перед отечеством", и начал свою новую карьеру, открывшуюся местом в государственном совете. Мати тогда, несомненно, надеялся, что „вооружение народа" удастся превратить в какое-нибудь „гражданское ополчение", т.-е. в ополчение буржуа, и, быть может, уже наперед передавал ему роль, которую впоследствии оно взяло на себя в действительности: служить для реакционных сил буфером против народного движения. Господин Асман, преподаватель средней школы из Брауншвейга, держал следующую речь: „От разрешения этого вопроса зависит спокойствие Германии. Если комиссия без дальнейшей процедуры проведет вооружение народа, она сделается временным правительством и вырвет из рук монархов важнейшее право, какое еще осталось у них, — право своими собственными силами восстановить порядок в Германии". Должно быть, у бравого школьных дел мастера зубы от страха буквально выбивали барабанную дробь. Тем не менее справедливость требует напомнить, что в 1871 году в большом брауншвейгском процессе против социал-демократов Бракке и других, Асман, вызванный свидетелем, сыграл в высшей степени похвальную и почтенную роль.

После этого было принято следующее постановление: комиссия пятидесяти должна позаботиться о том, чтобы осуществлено было вооружение народа. Следовательно, у либералов не хватало решительности даже настолько, чтобы потребовать осуществления вещи, которая была обещана почти всеми правительствами Германии.

Реакционеры в собственном смысле этого слова обнаружили большую мудрость. Они понимали, что „вооружение народа" превратится в ополчение буржуа и филистеров-охранителей, и что ополчение это будет служить против народа. Потому реакционеры отнеслись к делу очень дипломатично.

Между тем за кулисами господствовало большое оживление. „Папаша" Ицштейн употреблял всевозможные средства, чтобы укротить разъяренного Геккера и его друзей. И действительно, они дали уговорить себя. С другой стороны, население стало на сторону республиканцев; во хмелю произносились страшные речи, и президент Миттермайер стал опасаться, как бы не вспыхнула новая революция. Он поспешил к графу Коллоредо, президенту союзного сейма, и тот обещал ему отменить исключительные постановления сейма. Союзный сейм в этом случае обнаружил, несомненно, больше мудрости, чем либеральные филистеры бассермановской окраски. Об уступке сейма возвестили с большим пафосом, и Геккер с товарищами опять появились в собрании.

„Революционеры" вопреки своей воле теперь уже достаточно поработали над „деланием всемирной истории"; они поторопились поскорее уйти с опасной почвы, на которой они стояли в церкви Павла. Все, что еще оставалось

сделать, было взвалено на комиссию пятидесяти и на широкую спину будущего национального собрания. Основные права, права гражданина, эмиграция, защита труда и многие другие хорошие вещи были разрешены одним взмахом руки. Любопытно, как собрание вывернулось в вопросе о бедноте. Собрание всемилостивейше бросало рабочим такие общие фразы, как „национальная система кредита с земледельческими и рабочими кассами; мероприятия с целью обеспечения от нужды неспособных к работе и доставления работы безработным" и т. д.,—бросало их тем самым рабочим, которых буржуазный либерализм, выступая на борьбу с господствующими властями, так часто поднимал и возбуждал к мятежу, не страшась при этом самых решительных лозунгов. Но одну из самых милых картинок представлял парламент в тот момент, когда мартовский министр Ремер из Штутгарта, говоря о рабочем вопросе, вдруг обратился к собранию со словами: „Милостивые государи, вы все, конечно, разделяете симпатии к этим людям; прошу вас, докажите это, поднявшись со своих мест!" И все они встали, бравые представители германской нации, и рабочий вопрос пока что был разрешен. Но „эти люди", которые ждали от преобразования Германии работы и хлеба, — что должны были подумать они при такой пошлой комедии! Едва ли их мысли были особенно лестны для господ Ремеров и компании.

Толстый господин фон-Суарон из Мангейма, домартовский республиканец и послемартовский мелкотравчатый либерал, выразил задушевную думу парламента, сделав такое предложение: решение вопроса о будущей конституции Германии следует предоставить исключительно избранному народом национальному собранию. Напротив, Асман предложил, чтобы собрание выработало конституцию, по соглашению с государями. Опять начались горячие прения. Господин фон-Суарон прекратил спор, объяснив, какой смысл имеет его предложение: необходимо все предоставить национальному собранию. По разъяснении, с его предложением согласились, так как оказалось, что оно не означало решительно ничего.

В заключение произвели выборы в комиссию пятидесяти. Большинство предпарламента провело от себя 38 членов. Само собой разумеется, что у этих 38-ми не было недостатка в лойяльности по отношению к правительствам. Остальные двенадцать составились из выдающихся представителей демократов: Ицштейн, Блюм, Якоби, Кольб, Раво и т. д. По игре случая Геккер получил 171 голос и оказался пятьдесят первым; за Струве было подано только 100 голосов. Если Блюм, Ицштейн, Якоби, Раво и товарищи были избраны преднамеренно, чтобы обезвредить их посредством комиссии, то такой прием со стороны большинства был очень искусным тактическим шагом: деятельность комиссии заключалась преимущественно в том, что она издавала высокопарные и ненужные прокламации, что члены ее упражнялись в красноречии и что она убивала свое время в мелких и курьезных пререкательствах с союзным сеймом. В связи с этим следует упомянуть, что 30-го марта союзный сейм постановил созвать германский парламент, чтобы „завершить дело конституции между правительствами и народом". Но при наличных обстоятельствах это постановление не имело никакого значения.

3-го апреля предпарламент был закрыт. Его члены предоставили франкфуртскому мещанству приветствовать себя за свои деяния звоном колоколов и грохотом пушек. Все легковерные предавались восторгам. Но самые решительные и горячие из республиканцев собрались вечером 3-го апреля в „Голландском Отеле“ во Франкфурте. Они опасались, что тактика и постановления предпарламента могут затормозить все германское движение. Поэтому они решили призвать народ к оружию [1]). Когда обсуждался вопрос, откуда следует начать „великое предприятие“, кому-то пришло в голову предложить для этого Вюртемберг. В настоящее время трудно решить, не было ли это предложение плохой шуткой. Вюртембержец Меглинг тотчас же выяснил, что в Вюртемберге может рассчитывать на известный успех только борьба „против господства писарей“; масса населения удовлетворена мартовскими завоеваниями, республиканские стремления здесь безнадежны. После этого было постановлено начать восстание в приозерном баденском округе, так как депутаты из этой страны уверяли, что население там сильно возбуждено и готово восстать даже без предводителей [2]).

---

[1]) См. Теодор Меглинг, „Briefe an meine Freunde“, стр. 63 и сл.

[2]) Позже мы увидим, что это было до крайности преувеличенное утверждение. Многие вожди, несомненно, думали, что масса народа так же возбуждена, как они сами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Баденские республиканцы.

Когда Геккер и Струве возвратились из Франкфурта, на них посыпались письма и адресы, их стали осаждать депутации, которые требовали начать восстание. Поэтому они предавались иллюзиям относительно общего положения вещей и в конце-концов пришли к убеждению, что весь германский народ ждет только сигнала, чтобы восстать за республику. Геккер и Струве пользовались тогда широкой популярностью. У Геккера была мужественная, красивая, привлекательная наружность. Никто не мог противостоять его волшебному, пламенному красноречию. Струве, вегетарианец и френолог, был непоколебимый доктринер, проникнутый безграничной самоуверенностью [1]).

Оба они были созданы как будто для того, чтобы служить представителями старой революционной романтики. Предпарламент должен был бы вразумить их, что германский народ далеко не с таким нетерпением ждет их туманной федеральной республики, как им обоим казалось. Если они постоянно ссылались на пример Северной Америки и Швейцарии, это нельзя признать удачным уже потому, что историческое развитие обеих стран коренным образом отличалось от развития Германии. Казалось, понятие о республике было для них тождественно с понятием о полном блаженстве человечества, хотя они не позаботились украсить свое идеальное государство чем-либо другим, кроме известных мартовских требований, лишь незначительно расширенных в некоторых пунктах.

Но к восстанию толкал Струве и Геккера не только их и их друзей пылкий темперамент,—в том же направлении действовали и другие обстоятельства. Уже в сентябре 1847 года, после оффенбургского собрания, против Геккера и Струве было начато следствие по обвинению их в политическом преступлении. Депутат Брентано, друг Геккера и Струве, в заседании второй баденской палаты потребовал (1-го марта) от министра Бекка прекра-

---

[1]) Дружба между обоими упрочилась лишь с той поры, когда Геккер, вообще издевавшийся над френологией, как над „глупой штукой", предоставил Струве исследовать свой череп. Об этом, а также о результатах исследования подробно рассказано в „Zwölf Streiter der Revolution" Густава Струве и Густава Раша.

тить все процессы по политическим делам. „Положите конец процессам по государственным преступлениям и по оскорблению величества, и я ручаюсь вам своей головой, что больше не будет никаких беспорядков; я надеюсь, что народ не откажет мне в поддержке“, воскликнул Брентано. Но Бекк не согласился на это, и следствие против Струве и Геккера продолжалось. „Меры, принятые баденским правительством против выдающихся членов центрального комитета, избранного в Оффенбурге, не оставляли нам никакого другого выбора, как между мечом и арестом“, говорит Струве [1]).

К этому присоединилось всеобщее возбуждение, вызванное передвижением войск. Реакционеры, стремясь довести страх перед французами до крайних пределов, использовали известие, что „поэт“ Гервег организует в Париже легион, что он хочет вторгнуться с ним в Германию и превратить сорок германских отечеств в одну великую республику. Все дело изображали таким образом, как будто собирается многотысячная орда, алчущая крови и грабежей и готовая, подобно тучам саранчи, обрушиться на злосчастную Германию. Впечатление было достигнуто настолько сильное, что даже революционеры геккерского направления не без некоторой робости отрицали всякую общность с ополчением Гервега, составленным будто бы из разбойников [2]).

Баденские республиканцы, как „добрые граждане“, отклонили также и помощь немецких рабочих из Швейцарии; они были убеждены, что „народ“ может взглянуть на таких голяков просто как на разбойников.

Баденское правительство использовало страх французского нашествия. Оно двинуло свои войска и призвало на помощь войска из соседних государств. Гессенские войска направились к нижнему течению Неккара, баварские и вюртембергские—к приозерному округу и к Шварцвальду. При возбуждении народа, которое нередко доходило до того, что он хватался за оружие, момент представлялся Геккеру и Струве чрезвычайно благоприятным. Они считали свое дело очень легким и потому не заботились о каких-либо серьезных подготовительных мерах; они верили, что войска при первой же стычке перейдут на сторону повстанцев.

В приозерной области, избранной для начала восстания, вождем демократического движения был Иосиф Фиклер. В Констанце он издавал радикальную газету „Seeblätter“ и имел многочисленные столкновения с судами. Обладая выдающимся агитаторским талантом, красноречивый, неутомимо деятельный, он пользовался широким влиянием и симпатиями. Геккер и Струве возлагали на него особенные надежды. В то время Фиклер, как член палаты, находился в Карлсруэ; вечером 7-го апреля он и другие члены парламентской оппозиции собрались в „Парижском Отеле“. Здесь же присутствовал и Мати, которому Фиклер оказал многие благодеяния и доставил

---

[1]) „Zwölf Streiter der Revolution“, стр. 16.

[2]) Письмо Фиклера (от 26 марта 1848 года) к Адальберту фон-Борнштедту, президенту немецкого демократического общества в Париже.

место депутата в ландтаге. Уже тогда подозревали, что в этом, все еще таком фанатическом республиканце произошел полный переворот. Фиклер заявил даже, что он опасается предательства со стороны Мати. Поэтому он еще ночью хотел уехать в приозерную область; но друзьям удалось успокоить его. На следующее утро, в восьмом часу, когда Фиклер пришел на вокзал, Мати был уже там. Он позвал полицейских и железнодорожных служащих, чтобы арестовать Фиклера. Те отказались. Тогда Мати призвал солдат, оказавшихся неподалеку, и сказал им: „Под моей, как депутата, ответственностью арестуйте этого человека; это—и з м е н н и к". Фиклер ответил: „Я не изменник, но вы предаете народ!" Солдаты послушались, и Фиклер был таким образом обезврежен.

Было бы излишне предаваться здесь выражениям морального негодования. Поступок Мати с его другом и благодетелем выносит сам себе приговор. Все краснобаи не в состоянии изгладить пятна, которое легло и остается на его имени[1]. За Мати вступились все филистеры либерализма; они с величайшим восторгом украсили бы его главу „венком гражданина"; даже робкие демократы выражали почтительное изумление перед „спасительным подвигом"[2]. Баденское правительство немедленно произвело господина Мати в члены государственного совета.

Но народ пришел в ярость, и Мати поспешно оставил Карлсруэ. Когда он прибыл в Мангейм, постоянное место своего жительства, он нашел, что и здесь народные массы находятся в страшном возбуждении. Его дом был занят гражданской милицией, а кругом бушевала толпа и кричала: „предатель!" Под защитой милиции Мати с балкона обратился с речью к народу; он утверждал, будто Фиклер вступил в заговор с французами и хотел вызвать их вооруженное вторжение в Баден; поэтому Фиклер изменник. У президента палаты депутатов он, Мати, сам видел документальные доказательства этого.

Но старый Миттермайер, президент палаты депутатов, во всеуслышание заявил в газетах, что утверждение Мати представляет ложь; он не показывал депутату Мати, говорил Миттермайер, ни одного подобного документа[3]. После этого заявления бравые либералы пришли в такую ярость, что сами они едва ли понимали, что они делали; они выступили с утверждением, что

---

[1]) Дело нисколько не изменяется от того, что к этим краснобаям принадлежит также и Густав Фрейтаг, который в своей книге возвеличивает Мати, своего товарища по партии. Само собой разумеется, что Мати впоследствии сделался звездой национал-либеральной партии.

[2]) „Донос об измене, юридическом деле, произвел особенно сильное впечатление на патриотов-юристов; в Вюртемберге патриотическая избирательная комиссия рекомендовала для избрания в парламент **п а т р и о т о в М а т и и Б а с с е р м а н а**. (Циммерман). Мати был, действительно, избран. Однако избиратели после раскаялись в этом. См. иронический адрес кальверского патриотического союза, направленный к Мати „Neue deutsche Zeitung" от 17 апреля 1849 года).

[3]) В действительности Фиклер, как мы видели, предостерегал против привлечения иноземных элементов в баденскому движению, и лишь на случай поражения склонен был видеть во Франции „спасительное прикрытие".

заявление честного Миттермайера „бестактно“. Бассерман вторгся к нему в дом и так грубо обругал его, что старый Миттермайер серьезно заболел от раздражения. Мати был объявлен „античным характером“, спасшим Германию от войны с французами,—от такой войны, в которой часть немцев оказала бы французам деятельную поддержку. Мати будто бы ставил отечество выше дружбы и благодарности [1]).

Арест Фиклера был тяжелым ударом для Геккера. „Теперь очередь за мной!—воскликнул он.—Палата согласится на то, чтобы и меня арестовали“. Но Геккер не пал духом. 9-го апреля он выехал из Мангейма в Констанц, где его уже дожидались немногие друзья, решившиеся итти с ним: Струве, Мегдинг, Виллих, Долль и Брун [2]).

Новые революционеры еще и сами не знали, как приняться за дело. Сначала они хотели укрепиться в Констанце, принудить к отступлению правительственные войска, которым, думалось им, они угрожают с тылу, и потом, опираясь на завоеванную таким образом силу, организовать федерально-демократическую Германию. Но в конце-концов было решено выступить из Констанца, с вооруженными силами двинуться против Карлсруэ, столицы Бадена, и учредить там в первую очередь баденскую республику, за которой должна была последовать германская. Вожди движения до такой степени предавались иллюзиям, что они, как рассказывает Мегдинг, надеялись, что всего удастся достигнуть, „может быть, без удара меча“.

Струве отправился в Шварцвальд, чтобы призвать тамошнее население к оружию. Сам Геккер 12-го апреля в большом народном собрании в Констанце сделал призыв к восстанию. Его бурное красноречие увлекло за собою толпу. Но старые вожди демократии в приозерной области не оказали содействия. Они, особенно бургомистр Гютлин, заявили, что все начинание безнадежно. Геккер пришел в гнев; он считал противодействующих „трусами и предателями“ и неудержимо рвался вперед. Он предпочитает с честью погибнуть, чем малодушно отступать, сказал он.

12-го апреля по административным округам приозерной области и Шварцвальда были разосланы воззвания, подписанные Геккером и Струве;

---

[1]) Такой взгляд, повидимому, и в настоящее время еще господствует в известных сферах; иначе портрет „государственного человека“ и „патриота“ Мати не красовался бы в фойе германского рейхстага. В противоположность этому можно отметить, что даже пастор Гегенмейер, при всем своем крайне отрицательном отношении к революции, очень нелестно отзывается о деянии „политического перебежчика“. По его мнению, „во всяком случае позволительно поставить вопрос, не оказало ли на него известного влияния министерское место, уже тогда манившее его и действительно предоставленное ему всего через два дня после его деяния. Конечно, место в государственном совете было выгоднее для Мати, чем место школьного учителя в Гренхене, которое он занимал до того времени.

[2]) Теодор Мегдинг из Браккенгейма, член вюртембергского экономического совета и депутат ландтага, известный также под названием „Seidenhannes“, потому что в Гогенгейме он руководил разведением шелковичных червей и читал лекции об этом предмете; Виллих, отставной прусский артиллерийский офицер и „коммунист настроения„; Карл Брун впоследствии издавал в Гамбурге газету „Nordstern“, ставившую своей целью содействие агитации Лассаля.

и приглашали жителей явиться 14-го апреля, в 12 часов дня, на рыночную площадь в Донауэшингене „с оружием, боевыми припасами, в правильных отрядах, с продовольствием на шесть дней“.

Утром 13-го апреля Геккер вышел из Констанца через Рейнский мост. Воодушевление, еще в прошлый вечер господствовавшее в народном собрании, оказалось непродолжительным: за вождем последовало только пятьдесят семь человек; народ с изумлением смотрел на эту маленькую кучку, которая шла на такое великое дело [1]).

И в деревнях не меньше удивлялись малочисленности инсургентов: „Где же констанцы со своими пушками?“ спрашивали там. Непрекращавшийся дождь не мог содействовать тому, чтобы поднять подавленное настроение инсургентов. В Штоккахе не оказалось тех сильных подкреплений, на которые рассчитывали. Однако силы республиканцев все же достигли до 400 человек. Здесь Геккер особым декретом дал отставку констанцскому правительству приозерной области. Демократический депутат Петер, до того времени один из членов правительства, был назначен наместником новой республики в приозерной области. Он принял эту должность, но сделал заявление, что он вынужден к тому физическим и моральным насилием.

В Энгене число людей, которые хотели завоевать республиканский строй для Германии, дошло до восьми или девяти сотен; здесь добыли также две старых пушки, едва ли не от эпохи Тридцатилетней войны. Между тем часть гражданской милиции в Констанце решилась принять участие в походе; милиционеры пришли в Энген с двумя пушками, под командой молодого Франца Зигеля, который раньше был лейтенантом на баденской службе. В Энген же в первый раз явилась к Геккеру госпожа Эмма Гервег и предложила его инсургентам соединиться с демократическим легионом, который в это время дошел из Парижа до Рейна. Но выше уже упоминалось, что этот легион целые месяцы расписывали, как шайку разбойников и убийц.

[1]) Что чувствовали сами участники похода, лучше всего обрисовывает Меглинг: „Я должен признаться, что и сам я смотрел на себя с изумлением. Когда я обещал свое содействие, я думал, конечно, главным образом об участии интеллектуальном: я надеялся поддержать нашу партию умственным трудом, работать своим пером в какой-нибудь второстепенной отрасли дела. Но никогда мне и в голову не приходило участие в так называемом инсургентском походе. Однако, когда все дело приняло другой оборот, я тоже выступил, как ополченец будущей германской республики,—в необходимых для того физических силах у меня не было недостатка. Внезапно я променял перо на меч. В Констанц я прибыл без оружия и даже в Констанце не мог достать никакого оружия; наконец, один мой друг, швейцарский гражданин, за хорошие деньги доставил мне старую саблю, у которой, как потом оказалось, был замечательный клинок. Среди суматохи не было возможности достать хороший мушкет, но это меня не огорчало; я говорил своим друзьям: если дело как-нибудь дойдет до борьбы, я тотчас же сумею достать мушкет,—я отниму его у первого наилучшего солдата роялистов. Много смеху вызвало это утверждение, потому что никто не верил, чтобы я говорил это серьезно“. Но Меглингу было совсем не до шуток. Когда его мать, в тревоге выехавшая вслед за ним, встретилась с ним в Штоккахе, все ее мольбы не могли заставить его отказаться от участия в восстании.

Поэтому Геккеру думалось, что он обязан отклонить предложение Гервега „Я не звал немецких рабочих“ (легион сформировался вообще из немцев, главным образом из ремесленников и рабочих, в момент революции живших в Париже),—сказал он,—и не вступлю ни в какие сношения с ними“. Госпожа Гервег—красивая, молодая, отважная и богатая женщина, родом из Берлина—еще не раз делала попытки, нередко сопряженные с большими опасностями, сопровождавшиеся переодеванием в мужское платье; но все они были безрезультатны: ей не удалось изменить настроение Геккера в пользу демократического легиона.

Вследствие соглашения, заключенного со Струве, вюртембергские войска заняли Донауэшинген. Благодаря этому отряд Геккера был вынужден изменить направление своего марша. Притом Геккер хотел встречи прежде всего с баденскими войсками: он был уверен, что они перейдут на его сторону. Переходы через горы при суровой погоде истомили инсургентов. До Бондорфа дошло приблизительно 1.100 человек. Здесь старый друг Геккера, подвергавшийся многочисленным преследованиям правительства, со слезами на глазах отговаривал его от предприятия. Но Геккер заметил: „Когда я слушал этого бондорфского скотовода, мне казалось, что мне читают „Придворную Газету в Карлсруэ“. Брат Геккера, известный фрейбургский профессор, тоже пытался отговорить его, но также тщетно.

Геккер намеревался из Ленцкирха направиться через Геллленталь на Фрейбург. Но так как все проходы Шварцвальда были заняты войсками, то он спустился к Шопфгейму в Визентале и оттуда в долину Рейна.

Между тем вокруг Зигеля собрался отряд в 3.000 хорошо вооруженных людей. Вейсгаар из Лоттштеттена, пользовавшийся известностью республиканец, тоже составил многолюдное ополчение. Но в передвижениях республиканцев не было ни плана ни цели: они никак не могли соединить отдельные кучки войска в один отряд. Колонна Геккера все время шла впереди других на один или два дневных перехода.

В Бернау Геккера встретили два уполномоченных комиссии пятидесяти, Венедей и Шпац. Они предлагали полную амнистию, если республиканцы сложат оружие. Геккер гордо отправил их во-свояси. „Мы видим, что с вами ничего не поделаешь“, заметил Венедей. „Чем переливать во Франкфурте из пустого в порожнее, идемте с нами“, ответил Геккер.

Венедей и Шпац уехали, не достигнув никаких результатов. Из Ленцкирха они издали напыщенную прокламацию-предостережение к баденскому народу. Но хотя Геккер с высокомерной иронией отослал этих новоиспеченных государственных людей, настроение у него, надо полагать, было особенное, напр., в то время, когда при наступлении ночи он направился через Штейнен к Кандерну с войском, растаявшим всего до 900 человек. В Штейнене его встретил с выражениями печали старый друг, депутат Шеффельт; но Геккер и здесь оставался таким же самоуверенным. Он, вероятно, не замечал, что масса народа созерцает восстание так же спокойно, как какую-нибудь драму, разыгрываемую на отдаленной арене.

15-го апреля комиссия пятидесяти, во главе которой стояли Струве и Роберт Блюм, выступила против Геккера и объявила его вне закона. 17-го апреля то же самое сделала баденская палата и пригрозила Геккеру всей строгостью законов. Но еще печальнее для Геккера было то обстоятельство, что против него высказались даже комитеты патриотического союза в приозерной области, даже констанцский адвокат Вельте, которого называли бароноубийцей за его „дикий республиканизм"[1]). И если Геккер все еще твердо верил, что войска перейдут на его сторону, это было слишком уж пылкой иллюзией, так как в это время даже его старинные друзья массами отпадали от него.

Во время перехода в Кандерн Геккер узнал, что гессенские войска двинулись к Шлингену. Действительно, здесь было три батальона пехоты и три эскадрона драгун, в общей сложности до 2.400 человек с четырьмя орудиями. Все войска стояли под командой генерала Фридриха фон-Гагерна, брата Генриха фон-Гагерна, мартовского министра в Гессене. Население Кандерна не обнаружило симпатии к волонтерам; оно даже выдало гессенцам, насколько немногочисленно войско республиканцев. Между тем инсургенты обсуждали вопрос, не следует ли им опять возвратиться к Штейнену. Если бы они сделали это, им, вероятно, удалось бы соединиться с отрядами Зигеля и Вейсгаара, и общие силы республиканцев достигли бы численности в четыре-пять тысяч человек. Но вместо того было постановлено итти в Кандерн и расположиться там на ночлег. Зигель, который слишком поздно получил приглашение выступать, двинулся по Визенталю через Тодтнау на Фрейбург, между тем как Геккер один пошел против гессенцев. В тот вечер госпожа Гервег опять прибыла к инсургентам и еще раз предлагала им соединиться с демократическим легионом, стоявшим на Рейне. Но Геккер и на этот раз ответил отказом. Повидимому, он сам был того убеждения, что легион состоит из „сброда разбойников".

У Геккера не было никаких данных, чтобы сделаться полководцем. Поэтому произошла неминуемая катастрофа.

На следующее утро пришло письмо от Зигеля, который извещал, что его колонна находится в Визентале, и настоятельно просил Геккера, чтобы он соединился с ним и Вейсгааром. Вследствие этого было решено отступить к Визенталю. Инсургенты выступили в 8 часов утра 20-го апреля и направились через мост при Кандерне к Шейдеку, крутому горному хребту.

Гессенцы немедленно перешли в наступление. К доктору Кайзеру из Констанца, который командовал арриергардом, явился парламентер в сопровождении трубача и пригласил Геккера вступить в переговоры с генералом фон Гагерном. В то же время парламентер прочитал „акт о бунте"; только смех был ответом ему. Республиканцы в боевом порядке заняли сильную позицию позади моста. На опушке леса расположились стрелки и мушкатеры.

---

[1]) Лица, познакомившиеся с этим „бароноубийцей" несколько лет спустя после описываемых событий, нашли, что это человек вполне безобидный, неспособный зарезать куренка, не говоря уже о баронах.

с тыла—крестьяне, вооруженные косами, на проселочной дороге — д
орудия [1]).

Переговоры между Геккером и генералом фон-Гагерном были очен
короткие. Гагерн, который раньше был на голландской службе и, как г
ворили, симпатизировал конституционализму, жестоко обрушился на пре
водителя волонтеров и потребовал, чтобы они немедленно сложили оружи
Когда Геккер ответил отказом, Гагерн воскликнул: „И умный вы челове
но фанатик!" Геккер возвратил этот упрек, заметив, что генерал тоже сл
жит особому фанатизму. Но, впрочем продолжал он, у него нет охот
спорить об этом, он должен только спросить, не имеют ли ему сообщить ещ
что-нибудь. „В таком случае я немедленно выступлю против вас со все
возможной решительностью", заявил Гагерн. Он дал Геккеру десятиминутны
срок на размышление.

Республиканцы медленно отступали, а гессенцы теснили их сзади. Каждая сторона боялась начинать кровопролитие. Но дойдя до хребта Шейдека, республиканцы остановились, так как от вершины дорога слишком круто спускается к Штейнену, и им не хотелось лишиться выгод более высокой позиции. Гессенцы все наступали. Обнаруживая большое мужество, между республиканцами и солдатами стал доктор Кайзер из Констанца. „Не стреляйте в своих братьев!—закричал он.—Даже под старость вы будете от раскаяния рвать на себе свои седые волосы".

Из рядов республиканцев раздавались возгласы: „Братья, друзья!" Казалось, некоторые гессенцы действительно заколебались. Во всяком случае не легко обе стороны решились на борьбу. Но Гагерн, который между тем слез с лошади, привел дело к быстрому решению. „Что тут за братья!— грубо воскликнул он.—Сволочь вы!" Он вскочил на коня, крикнув: „Охотники, вперед!" и приказал им тремя отделениями, со штыками наперевес, начинать наступление на республиканцев. „Стреляй", скомандовал он и сам выстрелил в республиканцев из своего пистолета. Этот выстрел послужил сигналом к стрельбе с обеих сторон.

Когда пороховой дым рассеялся, на земле оказалось несколько раненых и убитых, в числе последних—сам генерал Гагерн, у которого грудь была пробита пулей. Некоторые, пораженные, повидимому, только страхом, тотчас вскочили на ноги. Обе стороны обратились в бегство, на месте остались только храбрейшие. Меглинг протискался к генералу и нашел его мертвым. Беглецы опять возвратились; гессенцы сделали залп по крестьянам, вооруженным косами, и косцы, когда пули защелкали по косам, обратились в поспешное бегство. Но и гессенцы опять спустились с горы. Наконец, по взаимному соглашению, прекратили стрельбу; тело Гагерна было выдано гессенцам в обмен на захваченное ими черно-красно-золотое знамя. Тогда гессенцы заявили, что им было приказано пробиться лишь до Шейдека; теперь они пойдут обратно, но и республиканцы пусть отступают. На этом и договорились. Но как только республиканцы отступили, гессенцы начали

[1]) Меглинг решительно оспаривает, будто бы косцов поставили в авангарде, что утверждали очень нередко и за что упрекали Виллиха.

преследовать их. Поэтому под Штейненом произошла новая схватка, на этот раз с частью подоспевшей колонны Вейсгаара. Здесь Струве заключил с гессенцами новое соглашение: республиканцы должны были отступить за луга, а гессенцы спустились в долину Рейна. Но в общем мероприятия Меглинга были много действительнее всех соглашений Струве. Гессенцы начали было опять наступать, и только огонь стрелков Меглинга отбросил их назад.

Само по себе сражение под Кандерном было ничтожное,—оно обошлось в какой-нибудь десяток убитых. Но оно имело в высшей степени решительные последствия. Волонтеры Геккера рассыпались, и только небольшая часть их добралась до Зигеля. Сам Геккер долго блуждал по лесам и только на второй день перешел границу Швейцарии, чтобы больше не возвращаться. Рассеялись, наконец, его иллюзии, и сам он должен был убедиться, что как-никак, а республиканское восстание совсем не идиллия. Неудачная попытка восстания породила в нем жалкую меланхолию; он расточал обвинения на целый мир, хотя больше всего должен был бы жаловаться на самого себя.

Между тем Струве в Зекингене попал в плен, но Меглинг выручил его, применив военную хитрость. Он сказал обер-амтману, что приближаются 6.000 республиканцев с четырьмя орудиями, и что они сожгут Зекинген, если Струве передадут судебным учреждениям. Запуганный обер-амтман освободил Струве и тот вместе с Меглингом поспешил к Зигелю.

В это время колонна Зигеля подвигалась к Тодтнау. Если бы Зигель немедленно двинулся на Фрейбург, этот город, в котором республиканская партия была очень сильна, попал бы в его руки; впрочем попал бы только на короткое время, так как к театру борьбы со всех сторон надвигались войска. Получив известие о схватке под Кандерном, Зигель двинул свои войска опять к Шопфгейму,—он хотел прикрыть беглецов из-под Кандерна. Благодаря этому было потеряно целых два дня. Проливной дождь, трудные переходы и распространяющаяся среди республиканцев паника ослабили их силы. Притом войска, окружившие район восстания, смыкались все больше. Перед Фрейбургом сосредоточивались гессен-нассаусцы и баденцы; вюртембержцы, уже давно закрывшие выходы из Гелленталя (Адской долины), захватили Вальдегут и Сан-Блазьен, баварцы уже дошли до Штокхаха.

При таких обстоятельствах и располагая, как Зигель, всего 3.500 человек, было бы дерзко нападать на Фрейбург. Но Зигель решился на это.

Вокруг Фрейбурга стояло, несомненно, до 3.000 человек гессенской, баденской и нассауской пехоты, да сверх того кавалерийский полк и четыре орудия. Вместо павшего Гагерна командование принял баденский генерал Гофман; он привел под Фрейбург тот корпус, который участвовал в битве при Кандерне. Конечно, Зигель не мог рассчитывать, что он со своими волонтерами справится с такой массой войск, тем более, что к ним со всех сторон спешили подкрепления. Однако его нападение не было ни отчаянным, ни безрассудным. Дело в том, что фрейбургские республиканцы восстали, и Зигель не мог бросить на произвол судьбы своих товарищей,

взявшихся за оружие только в расчете на помощь извне. 22-го апреля во Фрейбурге состоялось народное собрание, на которое 1.500 человек явились вооруженными. Власти не отважились принять меры против собрания. „Почтенные“ буржуа сами не знали, стать ли им на сторону восстания или же на правительственную сторону, и представляли картину жалкого замешательства. Тщетно старались они достигнуть того, чтобы вооруженные республиканцы, стекавшиеся во Фрейбург, оставили город. В конце-концов буржуа вступили в тайные сношения с генералом Гофманом и доставляли ему сведения о силах восставших. Студенты, члены гимнастических обществ и рабочие, напротив, решили бороться. Восставшими предводительствовал студент Лангсдорф; толпа народа под его командой разбила ворота ратуши и силой овладела находившимися в ней городскими пушками [1]). Город быстро покрылся сильными баррикадами. Один отряд восставших получил поручение разрушить железную дорогу, но не достиг этой цели. В воскресенье, 23-го апреля, генерал Гофман приказал возвестить фрейбургским республиканцам, что, если они через два часа не очистят город, он возьмет его приступом. Городские власти убедили генерала подождать до понедельника. Они питали надежду, что к тому времени им удастся уговорить волонтеров отступить. И действительно, многие из них удалились, но люди на баррикадах все же остались.

Зигель не останавливался ни перед чем, чтобы всеми своими силами оказать фрейбуржцам помощь. Его колонна, сильно растянувшись, через Горбен и Гюнтерсталь направилась к Фрейбургу. Зигель старался присоединить к своей колонне беглецов из колонн Геккера и Вейсгаара, а также отряд стрелков из Визела, шедших под командой Иоганна-Филиппа Беккера [2]). Сам Зигель был еще в горах. Он отдал строжайший приказ, чтобы ни один отряд не выдвигался за Гюнтерсталь. Но в авангарде был Струве. Этот человек, питавший такую слабость к растениям и проповедывавший отвращение к „трупам зверей“, вдруг пришел к открытию, что в нем сидит военный талант; кто знает, может быть, ему помогали в этом френологические измерения черепа. Возможно, что его привели в заблуждение ложные вести о положении дел во Фрейбурге; возможно, с другой стороны, что он все еще верил, что войска ждут только первого знака, чтобы перейти к инсургентам-республиканцам. Как бы то ни было, он хотел пожать все трофеи этого дня и приказал первому и второму отрядам волонтеров, стоявшим у Гюнтерсталя, выйти из леса и перейти в наступление. Среди долины, через открытое поле, он двинулся к Фрейбургу. В конце долины он натолкнулся на сильную баденскую пехоту и гессенскую артиллерию. Струве опять захотел вступить в переговоры. Но генерал Гофман прогнал отправленного к нему парламентера со словами: „П о ш е л п р о ч ь, с о б а к а!“ Вслед затем

---

[1]) Лангсдорф наблюдал за движениями войск с башни фрейбургского Мюнстера, и потому получил прозвище „генерала мюнстерской башни“.

[2]) Находясь в затруднительных обстоятельствах, Струве отправил Иоганну-Филиппу Беккеру написанную карандашом записку с просьбой о помощи, и тот немедленно явился на место борьбы.

артечь гессенцев осыпала ряды республиканцев, большинство которых было вооружено косами. Волонтеры не выдержали огня и бежали назад к Гюнтерсталю и в лес; их бегство старались прикрыть стрелки, открывшие из леса огонь. Бежавшие в диком беспорядке увлекли за собой приближавшиеся отряды колонны Зигеля, и когда Зигель достиг Гюнтерсталя, из 3.500 человек у него осталось всего лишь 400. Нелепое выступление Струве было непоправимо. Правда, войска, неосторожно выдвинувшиеся против Гюнтерсталя, были отброшены Зигелем; но во всем деле уже не было плана, и по одной этой причине должна была окончиться неудачей слабая попытка фрейбургских республиканцев сделать из города вылазку у Швабских ворот.

Зигель отправился обратно, к Горбену, в горы; вместе с Меглингом он собрал здесь еще до 600 человек и 24-го апреля сделал новую отчаянную попытку выручить фрейбуржцев. Но он пришел слишком поздно: утомленным переходами волонтерам надо было дать хотя бы самый непродолжительный отдых. Генерал Гофман уже утром начал со всех сторон штурмовать Фрейбург. Борьба была чрезвычайно упорная. Хотя у республиканцев было не больше 300 ружей, они с большим мужеством отстаивали баррикады у ворот Проповедников, у Брейзахских и Цернигерских. На Иезуитской улице двенадцать стрелков и восемнадцать „косцов“ с одной пушкой целых два часа держались на большой баррикаде против 1.500 нассаусцев. Большую баррикаду у Брейзахских ворот, которую осаждали 2.000 гессенцев и нассаусцев с двумя орудиями, удалось взять лишь после того, как защитники увидали, что им угрожают с тылу. Нападающие ворвались в город через ворота Проповедников. Многие республиканцы спаслись через Шлоссберг, который не был захвачен. Но большое число попалось в плен и подверглось жестоким побоям солдат, особенно гессенских. „Добрые граждане“ превратились в доносчиков.

Зигель и Меглинг проникли в город, когда сопротивление уже прекращалось. На Дрейзамском мосту пал знаменосец констанцских стрелков. Зигель и Меглинг дошли до Швабских ворот, но здесь войска, только что овладевшие баррикадой, встретили их залпом, который разогнал их отряд. Отрезанные от него, оба вождя отыскали место, не занятое солдатами, перелезли через городскую стену, пережили в городе всевозможные приключения и, наконец, выбрались из него. Все волонтеры между тем разбежались. Вожди переправились через Рейн и спаслись кто в Эльзас, кто в Швейцарию.

В это время отряд волонтеров Гервега перешел через Рейн. Гервег был вождем лишь в политическом отношении. Военной же стороной дела руководили Адальберт фон-Борнштедт, пользовавшийся известностью эмигрант, Отто фон-Корвин и Рейнгарт фон-Шиммельпенниг, — все трое отставные прусские офицеры. Французское правительство показывало вид, как будто оно поддерживает предприятие, на самом же деле ему хотелось выпроводить из Парижа немецких рабочих. Оно предложило Гервегу денежную субсидию, и тот был настолько скромен, что потребовал всего две тысячи франков. Немало смеялись над этим буржуа-республиканцы, члены февраль-

ского правительства. Впрочем, они предоставили легиону квартиры для остановок во время перехода и пособие по 50 сантимов в день на человека.

В общем против этого предприятия высказывались все более проницательные представители эмигрантов, особенно Маркс и Энгельс, которые тогда жили в Париже. В „немецком клубе“ они советовали рабочим не вступать в легион и поодиночке возвратиться в Германию [1].

Энгель и Меглинг в затруднительных обстоятельствах пригласили на выручку легион, плохо вооруженный, остановившийся в Страсбурге. 24-го апреля он перешел баденскую границу и направился к Кандерну и Тодтнау. Но на следующий день Гервег узнал о поражении республиканцев во Фрейбурге и под Фрейбургом и увидал всю бесцельность своего похода. Предводители решили отступить в Швейцарию через Шварцвальдские горы. Легиону пришлось маршировать по снегу и льду через негостеприимные горы. Обманщик-проводник подстроил так, что легион должен был итти целых семь часов, чтобы передвинуться всего на три часа расстояния. Смертельно усталые, легионеры 27-го апреля добрались через Целль к Нидердоссенбаху; до Рейна оставалось все еще не менее часа пути. „Все мы хотели спать, и ничего больше“, рассказывает госпожа Гервег. Начали приготовляться к выступлению. Но тут подошли вюртембержцы под командой капитана Липпа, в общей сложности 300 человек, и напали на сильно растаявший легион, в котором и при вступлении-то в Германию насчитывалось едва 650 человек. Легионеры мужественно, даже бодро схватились за оружие. Но что могли они поделать против хорошо дисциплинированных, хорошо вооруженных и совершенно отдохнувших вюртембержцев? Несмотря на то, битва продолжалась полтора часа. Волонтеры потеряли до тридцати человек убитыми и тяжело ранеными. Шиммельпенниг пал в мужественной борьбе. Он ранил капитана Липпа в руку, но сам был пронизан пулей. Вюртембержцы получили подкрепление, легион был обращен в бегство, многие попали в плен или побросались в Рейн; спаслись немногие. „Довольно значительные потери, — рассказывает Корвин, — раздражили вюртембержцев; они вели себя с жестокостью, прямо поразительной для швабов, вообще таких добродушных. В их руки попала повозка с ранеными. Они убили не только раненых, но и бедного крестьянина, который вез их, и закололи даже лошадей“ [2]. Гервег, его жена и Корвин

[1] Энгельс так пишет по этому поводу: „Мы самым решительным образом противились этой игре в революцию. Среди тогдашнего брожения устроить вторжение в Германию, чтобы принудительно импортировать в нее революцию,—это значило подставить ногу самой революции, усилить правительства, а самих легионеров безоружными отдать в руки немецким войскам, — об этом позаботился Ламартин. Притом, когда революция одержала победу в Вене и Берлине, легион становился совершенно бесцельным; но дело было уже начато, и потому игра продолжалась дальше“.

[2] Конечно, трудно сказать, насколько достоверно все это. В такие бурные времена, как 1848 год, обе стороны часто бывают склонны к большим преувеличениям. За факт здесь приходится считать только то, что установлено совершенно бесспорно.

бежали через Рейн, переодевшись — первые двое батраками, а последний кузнецом [1]).

Сражение при Доссенбахе положило конец республиканским восстаниям. Воззвание Геккера оказало лишь ничтожное действие на страну вокруг Фрейбурга. Оффенбург сделал попытку поддержать Геккера; он забаррикадировался, но немедленно сдался, едва лишь подоспели войска. В Зинсгейме в ночь с 23-го на 24-е апреля ударили в набат, а утром из зинсгеймской области многие вооруженные люди выступили к Гейдельбергу, чтобы соединиться с Геккером. Но гейдельбергские буржуа, организованные в гражданскую милицию, с некоторыми благонамеренными профессорами во главе, подавили это движение.

В Мангейме администрация намеревалась распустить корпус „косцов"-демократов, составленный из рабочих, но гражданская милиция оказала сопротивление. Пришли войска из Нассау и вели себя так жестоко, что гражданская милиция и косцы объединились в общем деле. Пробили тревогу, прогнали нассаусцев с их караула около Рейнского моста и соорудили там баррикады, так как опасались, что на город двинутся баварцы, расположенные в Людвигсгафене. Снесли один пролет моста. С баррикады, построенной на мосту, по баварцам открыли сильный огонь; не менее энергично отвечали на него и баварцы. На баррикаде, не обращая внимания на баварские пули, стояла мужественная молодая девушка с черно-красно-золотым знаменем в руке. Много жертв пало с той и другой стороны. В следующие дни к баварцам подошли подкрепления. Сражение началось 26-го апреля, но только 1-го мая баварцы овладели Мангеймом. После этого Мангейм и Фрейбург были объявлены на осадном положении и заняты войсками; был издан приказ о всеобщем разоружении. Такие же меры были приняты в верхне-рейнском и приозерном округе. Фрейбургские буржуа, которые так двусмысленно держались по отношению к республиканцам, должны были теперь оплачивать продовольствие войск.

---

[1]) Широко распространенная басня, будто Гервег бежал „под фартуком" повозки, которой управляла его жена, давно опровергнута. Главный источник ее — юмористический журнал „Fliegende Blätter", который изобразил Гервега в измышленном положении и очень удачно подписал внизу одну строфу из его стихотворения: „Der Freiheit eine Gasse". Между прочим в одном реакционном юмористическом стихотворении, пользовавшемся известностью, есть такие строки:

„Heiss fiel es dem H e r w ĕ g h bei,
Dass der H i n w e g besser sei".

(Непередаваемый каламбур, основанный на игре слов, созвучных с фамилией Гервега. Смысл приблизительно таков: „Теперь Гервег превосходно знает, что куда хорошо бывает удрать").

Каламбур сам по себе не из плохих. Но неужели, когда все было потеряно, Гервег должен был ожидать, пока его не захватят в плен. И если он не сделал этого, его можно упрекать не больше, чем Блюхера или Наполеона, которые не дали взять себя в плен: первый при Линьи, второй при Ватерлоо. Но кому хочется отыскивать в революции комические стороны, тот пусть вспомнит, что Гизо и папа Пий IX скрылись бегством в ж е н с к и х к о с т ю м а х.

Много пришлось претерпеть побежденным. Войска, поставленные на постой, так обращались с пленными республиканцами и с гражданами, что депутат Мец выступил в баденской палате с жалобой и вызвал всеобщее негодование на поведение войск. Напротив, безмерно благонамеренная бюрократия обрушивалась на жертвы, а реакционная пресса изливала на побежденных целый поток клеветы и ругательств. Из 370-ти человек, взятых в плен при Доссенбахе, 67 были французы, и можно представить себе, какой крик подняли по этому поводу так называемые патриоты. Когда в том же самом и в следующем году одно правительство Германского Союза (Австрия) против своих восставших народов призвало на помощь кроатов, словаков, сербов и русских, тогда патриоты так не кричали. В особенности усердно распространяли клевету, будто генерал фон-Гагерн не пал в битве при Кандерне, как было на самом деле, а предательски застрелен перед началом сражения [1]). Все эти вещи были искусно использованы в избирательной борьбе, и многие „поумневшие" конституционалисты обязаны им своим избранием.

Сам Геккер некоторое время еще оставался в Муттенце, в Швейцарии, окруженный толпой эмигрантов. Но скоро он окончательно отчаялся в торжестве свободы в Германии и переселился в Америку. Популярность его только выросла благодаря поражению, и в то время, когда Геккер уже переправился за океан, по всей Германии раздавались звуки песни Геккера. Остроумный, но реакционный пфальцский поэт Надлер осмеял Геккера в пользовавшихся известностью виршах:

„Вот, украшенный султаном,
Геккер едет на коне;
Вот несет он смерть тиранам
И свободу всей стране.
„Эй, скорей смыкайтесь, ну же!
Дайте мне коней и ружей,
Иль я все расчищу в прах.
Трах-тарарах, трах-тарарах!" [2]).

---

[1]) Меглинг, правдивость которого не подлежит никакому сомнению, обстоятельно изложил дело перед мангеймским военно-полевым судом, лицом к лицу перед смертью. Председатель суда категорически заявил, что он считает рассказ Меглинга строго правдивым. Над распространением клеветы о будто бы предательском убийстве Гагерна особенно постарался стремянный Гагерна, литератор Генрих Лаубе. „Культурный историк" Отто Генне-ам-Рин утверждал в „Лексиконе" Pierer'a, будто Гагерн застрелен перед началом действительного сражения. Участники похода Геккера на Констанц рассказывали автору о происшествии точно так же, как его описывал Меглинг; они говорили при этом, что стрелком, застрелившим Гагерна, был констанцский гражданин, мясник. С другой стороны, баварский министр Бекк говорит в своей книге о движении в Бадене, что Гагерн был ранен лишь после того, как скомандовал атаку.

[2]) Заимствуем этот очень вольный, но близко передающий характер подлинника перевод из первого русского издания „Комедии всемирной истории" Шорра. Геккер, как рассказывают, по-ребячески старался досадить своим врагам. В муттенцком трактире он назвал одну собаку „Бассерманом" и одного осла „Венедеем". Когда

Но в памяти народа запечатлелась романтическая фигура вождя волонтеров в блузе и в шляпе с петушиным пером. Полиция своими преследованиями сделала все возможное, чтобы окружить его имя совершенно незаслуженной легендарной славой. Редкий человек пользовался такой популярностью, как Геккер, и она сохранялась еще долгие годы после его похода. Еще в начале шестидесятых годов автор встречал у шварцвальдских крестьян в окрестностях Фрейбурга многочисленные бюсты и портреты Геккера.

Слабое восстание республиканцев ограничилось частью Бадена. Тем не менее подавление его решило важный вопрос. Теперь—и уже без всяких дальнейших возражений—забота о преобразовании Германии целиком выпала на долю франкфуртского парламента. Средний филистер-конституционалист действительно думал, что поражение Геккера спасло отечество от анархии, что теперь требуется только краснобайство нескольких сотен аристократов, бюрократов, профессоров, адвокатов и пребывавших в тумане „государственных людей“,—и все придет к вожделенному завершению.

об этом сделалось известно во Франкфурте, президент комиссии пятидесяти толстый фон-Суарон заметил со скорбным, но удачным юмором: „Теперь недостает еще только одного, чтобы Геккер нашел толстую свинью (Sau); наверняка он назовет ее Суароном!“

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Ломбардия, Познань и Шлезвиг-Голштиния.

Взрыв радости охватил всю Италию, когда Карл-Альберт Сардинский начал поход со своим войском и вторгся в Ломбардию. Способная носить оружие молодежь со всех сторон устремилась в лагерь сардинского короля. Национальный конгресс, собравшийся в Риме, не пришел ни к каким результатам, но это нисколько не тревожило итальянских либералов. В Италии они были такие же, как повсюду: если они видели, что их дело взял в свои руки какой-нибудь государь, они уже верили, что это лучше всего разрешает вопрос. Для ликующей буржуазии Карл-Альберт представлялся мессией, на которого самим небом возложена миссия создать для Италии свободу и единство, разумеется, в буржуазном значении этих понятий. Меньше восторженности обнаружила масса народа; сельское население приняло сравнительно слабое участие в восстании. Когда, к довершению всего, на помощь сардинцам пришли войска из Неаполя, восторгам не стало границ. Между тем очень скоро, раньше, чем следовало, неаполитанцы возвратились обратно.

Все взоры направились на Ломбардию и на Карла-Альберта. Но он в двояком смысле обманул возлагавшиеся на него надежды. Он не был народолюбивым или, лучше сказать, конституционным монархом, за которого его выдавали; его вторжение было не войной за свободу, а просто завоевательным походом, предпринятым из честолюбия и по убеждению, что историческая миссия савойского дома—овладеть Италией. С другой стороны, он не был полководцем, каким следовало быть, чтобы одержать победу над Радецким. Радецкий, главный начальник австрийских войск, после поражения в Милане отступил за Минчио; в двух новых сражениях сардинцы отбросили его и оттеснили по направлению к Вероне. Вокруг него бушевало восстание. Все сообщения с Австрией были отрезаны, за исключением путей через Тироль. Если бы Карл-Альберт воспользовался энтузиазмом итальянцев и немедленно всеми силами обрушился на австрийцев, Радецкому, несомненно, пришлось бы очистить Ломбардию, — иначе ему угрожало бы уничтожение. Но нового нападения не последовало; Карл-Альберт расточал свои силы и без толку убивал время в течение всего апреля и мая. Радецкий выиграл

смя, получил подкрепления и в конце мая двинулся от Вероны на Мантую. і обманул короля, который стоял с главными силами сардинско-ломбардого войска, и бросился в сторону, на волонтеров, окопавшихся около Куртоны. Наступление было неожиданностью для волонтеров, и уже по одной ой причине они оказались в невыгодном положении. Несмотря на то, они ужественно защищались, и их окопы были взяты лишь после троекратного турма. Это произошло 29-го мая. Карл-Альберт пришел слишком поздно ля того, чтобы предотвратить полное поражение волонтеров. На следующий ень при Гойто произошло кровопролитное сражение между войсками Карла-льберта и Радецкого; оно осталось нерешенным. Правда, крепость Пескиера ыла отнята у австрийцев, но и Радецкий и Карл-Альберт остались на своих тарых позициях; сардинский король занимался главным образом переговоами, целью которых было соединение Ломбардии с Сардинией посредством осударственного договора. Временное правительство распорядилось произвести плебисцит, и большинство ломбардцев, действительно, высказалось за рисоединение к Сардинии. Впоследствии общее учредительное собрание олжно было выработать основные законы для нового королевства.

Между тем Радецкий вторгся в Венецианскую область и отвоевал ее сю, за исключением самого города Венеции. Таким образом он приобрел превосходную базу для своих операций, в то время как сардинский король ничего не сделал, что он должен был сделать, как полководец. Если бы можно было усомниться в том, что блеск ломбардской короны манил Карла-Альберта, то не легко было бы отделаться от мысли, что этот злосчастный человек стал во главе итальянского движения с одной единственной целью: чтобы положить ему конец. Около этого времени, после кровопролитного подавления демократического восстания в Неаполе (15 мая), неаполитанский король опять начал борьбу с сицилийцами. И когда австрийское войско, получив новые подкрепления, перешло в наступление, время итальянских успехов в Ломбардии миновало.

Одновременно вспыхнуло другое национальное восстание, причиной которого была прусская революция, именно—восстание в Познани. Выше упоминалось, что уже в 1846 году в Познанской области был открыт заговор, поставивший целью „национальное возрождение Польши"; многие из участников были присуждены к тяжелым наказаниям. Революция 18-го марта возвратила им свободу. Когда прусский король возвестил, что он станет во главе германского национального движения, поляки подумали, что и для них наступило время потребовать возрождения Польши. Им была обещана в будущем реорганизация великого герцогства познанского; но это, конечно, не удовлетворяло поляков, перед которыми рисовалось восстановление старого польского царства в полном объеме. Притом и франкфуртский предпарламент высказался за восстановление Польши,—идея, которая пользовалась в Германии, особенно в либеральных и демократических сферах, большими симпатиями. Здесь понимали, что раздробление несчастной страны было не только вопиющим нарушением права, но и крупной ошибкой, так как оно отнимало у Европы самое надежное заграждение против русского колосса.

Никогда это не чувствовалось сильнее, чем в настоящее время (1891 год), когда мы пишем эти строки, и когда опасность войны со стороны России угнетает всю Европу. В 1848 году Россия по справедливости считалась смертельным врагом всех либеральных и демократических стремлений. Но требуя восстановления всей Польши, прусские поляки стали в антагонизм с познанскими немцами. Интересы последних были совершенно иные, чем у поляков; притом в плане возродить старую Польшу они видели угрозу войны с Россией. Само собой разумеется, они хотели остаться в Германии. Таким образом национальные противоречия столкнулись здесь с величайшей силой, и фанатизм разгорелся до того, что немцы и поляки совершали друг против друга варварские жестокости. Они вели борьбу убийствами и поджогами. Что касается идеи независимой Польши, она опять улетучилась вследствие неблагоприятных условий момента и общей путаницы всех отношений.

В то время, как поляки начали вооружаться, в Познань прибыл прусский комиссар генерал фон-Виллизен, чтобы приняться за реорганизацию великого герцогства. Он намеревался примирить поляков и немцев, но так как национальный фанатизм уже разыгрался, то он перессорился с теми и с другими. Когда он запретил являться на собрание с оружием, никто не подчинился его приказу. 22-го апреля западная часть великого герцогства познанского была включена в состав Германского Союза. Однако задуманный раздел Познани еще больше раздражил поляков, потому что к ним по плану раздела должна была отойти одна треть, а к немцам—две трети Познани. Притом к немецкой части намеревались отнести округа, в которых большинство населения составляли поляки. Так дело дошло до восстания, и прусское правительство решило подавить его силой оружия.

Прусские войска двинулись на Познань и приступом взяли Ксионс, гарнизон которого отчасти был перебит, отчасти взят в плен. Польские отряды волонтеров, составленные главным образом из людей, вооруженных косами, с героическим мужеством сражались против пруссаков. 30-го апреля Мирославский разбил при Милославе пруссаков под командой генерала фон-Блюмена и отбросил их к Шроде. Но военное счастье здесь так же недолго улыбалось этому солдату революции, как и в его позднейших походах. Пруссия двинула в восставшую провинцию огромные массы войск и ввела в Познани осадное положение. Общее положение дел быстро изменилось к невыгоде инсургентов, и полковник Бржезанский, который командовал главным войском поляков, вынужден был просить капитуляции. Мирославский 11-го мая потерпел поражение при Рогалине, отряд его волонтеров рассеялся. Сам он попал в плен, из которого, впрочем, скоро опять освободился. 12-го мая при Эксине произошло новое сражение; поляки были разбиты, и на этом восстание кончилось. Что касается „реорганизации“, это дело не сдвинулось с места.

Положение было для поляков тем более невыгодное, что они, начиная восстание в Познани и стремясь восстановить старую Польшу, были бы вынуждены вести борьбу одновременно с Пруссией и с Россией. Но Паскевич, победитель восстания 1831 года, сосредоточил в русской Польше такое коли-

чество русских войск, что о восстании тамошних поляков не могло быть и мысли.

Стремления восстановить самостоятельность Польши имели за себя такие же основания, как соответствующие стремления в Шлезвиг-Голштинии. Даже более: поляки были силой присоединены к Пруссии, между тем как Шлезвиг-Голштиния была связана с Данией посредством договора. Несмотря на то, Пруссия боролась против польского национального восстания и в то же время поддерживала шлезвиг-голштинское. Такое—только кажущееся—противоречие объясняется очень просто. Для того, чтобы сделаться самостоятельной, Польша должна была отделиться от Пруссии. Напротив, Шлезвиг-Голштиния тяготела к Пруссии и открывала прусским государственным людям перспективу полного присоединения в позднейшее время. Это как нельзя лучше объясняет прусскую готовность помочь „отторгнутому братскому племени".

Немецкий филистер достаточно равнодушно смотрел на то, как подавляется польское восстание. Напротив, его чувствительность зазвучала всеми своими струнами, когда по областям Германии прокатилась песня: „Шлезвиг-Голштиния, морем объятая". Правда, „национальное" восстание Шлезвиг-Голштинии, если бы оно достигло своих ближайших целей, только усилило бы мелко-государственность Германии одним новым государством; но зато оно носило династический характер, и уже одно это обеспечило ему энтузиазм филистеров, для которых стремления к свободе зашли уже слишком далеко и которые уже искали в монархии опоры против грозящей, по их мнению, „анархии". И все же молодежь, преисполненная энтузиазма, толпами шла в Шлезвиг-Голштинию, убежденная, что открывшаяся там борьба имеет целью свободу. Таким образом движение в самой Германии потеряло многочисленные полезные силы.

Бездеятельное временное правительство в Рендсбурге было не в состоянии организовать внушительное сопротивление датчанам. Помощь со стороны Пруссии не приходила сравнительно долго: прусское правительство прежде всего постаралось получить от союзного сейма определенно выраженное полномочие—взять в свои руки шлезвиг-голштинское дело. У Пруссии, когда она вторгалась в Шлезвиг-Голштинию, была между прочим специальная цель: воспрепятствовать тому, чтобы движение превратилось в демократическое и республиканское. Впрочем, возможность такого превращения и без того была небольшая.

То обстоятельство, что временное правительство поверглось в прах перед Пруссией, возбудило недоверчивость и ревность Англии, Швеции и России, которые не только не хотели увеличения Пруссии, но, напротив, опасались его.

Командование прусским вспомогательным войском сначала предполагалось возложить на принца Прусского, но тот отказался, и оно было передано генералу Врангелю. Врангель—личность оригинальная и в свое время очень популярная в Берлине—был солдафон старого типа. Впрочем, из школы Блюхера он воспринял не стратегический гений, а смешение слов „мне" и

„меня“ и грубые казарменные выражения. С его армией отправился и берлинский гвардейский полк, который 18-го марта боролся против революционеров, а теперь пошел в Шлезвиг-Голштинию на помощь к правительству восстания, чтобы сражаться на стороне инсургентов против датского короля.

Но прежде чем подошел Врангель, датчане с величайшей быстротой двинулись морем и сухим путем и напали на Шлезвиг-Голштинию. Принц Ноэрский, которому временное правительство поручило организацию боевых сил, был не из таких людей, которым „стоит топнуть в землю ногой“, чтобы явилась армия. Он собрал маленький корпус, составленный главным образом из добровольцев, студентов, охотников и т. д., и занял с ним открытую позицию под Фленсбургом. Датчане—10.000 человек с 30-ю орудиями и с пятью военными кораблями в гавани Фленсбурга—9-го апреля напали на неосторожно выдвинувшихся шлезвиг-голштинцев, разбили их в кровопролитном сражении при Бау и отбросили с их позиций. Шлезвиг-голштинцы понесли тяжелый урон. Так как среди убитых были сыновья из семейств с видным общественным положением, то вопли, вызванные несчастьем, были много громче, чем если бы убитыми оказались „всего лишь“ сыновья пролетариев и крестьян. В обращении с пленными датчане проявили варварскую жестокость. Большая часть Шлезвига была занята датчанами.

Сильная позиция, занятая отступившими шлезвиг-голштинцами, а также приближение прусских и других войск Германского Союза, все это приостановило дальнейшее продвижение датчан[1]).

Когда Врангель вторгся в Шлезвиг, Дания увидала в этом объявление войны. Находящаяся в ее пределах собственность германских государств была конфискована. 23-го апреля Врангель напал на знаменитые Данневиркские укрепления близ Шлезвига и после упорной борьбы взял их приступом. Отступление датчан обратилось в бегство и было бы равносильно полному поражению, если бы преследование велось энергичнее. Но Врангель, которого, неудачно подражая „маршалу Форвэртс“ (Блюхер), называли „генералом Друфф“ (и то и другое прозвище означает „вперед“), имел, очевидно, очень ограниченные полномочия. Когда принц Ноэрский обратился к Врангелю с просьбой позволить ему продолжить преследование датчан за пределы города Шлезвига, Врангель грубо ответил: „Нет, здесь вам пошабашить!“ В тот же день Шлезвиг был занят датскими войсками, а 25-го апреля был взят и Фленсбург.

---

[1]) Граф Бодиссен в своей известной работе о войне в Шлезвиг-Голштинии пишет следующее о настроении тогдашних прусских офицеров: „Самая небольшая часть иностранных офицеров имела некоторое представление об отношениях, сложившихся в герцогствах; они вовсе не знали из-за чего возникло все дело. Большинство было уверено, что шлезвиг-голштинцы—и н с у р г е н т ы: не хорошо было у них на душе, когда они думали, что им приходится бороться здесь за революцию, между тем как в Берлине они сражались п р о т и в бунтовщиков“. Таким образом прусские офицеры понимали положение в сущности лучше, чем наивный шлезвиг-голштинский патриот, который не замечал инсуррекции в своем отечестве.

Датчане направили теперь свои силы главным образом на морскую войну. Они объявили блокаду берегов Германии по Северному и Балтийскому морям и причинили огромный вред германской торговле. Союзный сейм 8-го мая постановил, что вся собственность датчан в германских гаванях подлежит конфискации. Но все это имело ничтожное значение, так как Дании с ее флотом принадлежало господство на морях севера, у Германии же не было ни одного военного корабля.

Врангель перешел через северную границу Шлезвига и вторгся в Ютландию. Он занял Кольдинг и Фридерицию и наложил на них контрибуцию в два миллиона талеров. Но здесь вмешалась дипломатия и заставила остановиться. Дело в том, что война в Ютландии превратилась просто в войну между прусским и датским кабинетами, и были серьезные основания опасаться, что Швеция и Россия вмешаются в интересах Дании. Прусская дипломатия старалась предотвратить такое вмешательство; но она, с другой стороны, не хотела предоставить самому себе и общественное движение в Шлезвиг-Голштинии. С большой радостью набросились поэтому на идею так называемой „демаркационной линии", которая должна была послужить границей между частями области, в которых жило с одной стороны население, говорящее по-немецки, а с другой—говорящее по-датски [1]). Члены комиссии пятидесяти, герои по словесной части, в высокопарной прокламации возвеличивали „победителя при Данневирке", как борца за „свободу, порядок и народные права"; но Врангель в это самое время отступил за демаркационную линию. Надо полагать, ему не особенно нравилась его роль „революционного" полководца. Датчане опять двинулись вперед и одержали несколько побед. Потом как бы само собой наступило перемирие. Шлезвиг-Голштинское собрание сословий, состоявшееся в Рендсбурге, должно было решить, что делать при данных условиях. В действительности этот вопрос решила германская, датская, шведская, русская и английская дипломатия, которая сыпала нотами, словно дождем.

Вред, причинённый германской торговле датским военным флотом, вызвал к жизни идею германского флота. Инициаторами в этом деле, которое в своем завершении превратилось в посмешище целого мира, выступили крупные судовладельцы севера. Конечно, они были заинтересованы в том, чтобы их торговля пользовалась защитой. Комиссия пятидесяти выступила навстречу судовладельцам и крупным промышленникам с фразистой прокламацией, в которой она вспоминала о флоте старой Ганзы. Но господа судовладельцы и капиталисты, которые с увлечением размалевывали будущее величие Германии, открывающееся перед ней, если она заведет собственный флот, были слишком предусмотрительны для того, чтобы поглубже запустить руку в свои собственные карманы и таким образом содействовать созданию вожделенного флота. Нет, они обратились к массе народа, и тот должен был по

---

[1]) Гельд, берлинский демагог, как он сам себя с похвальбой называл, и чем он был в действительности,—о его роли в движении 1848 года будет сказано ниже—не мало хвалился тем, что он открыл такой жалкий выход.

грошам и полушкам доставить средства на флот. И действительно, добрый народ усердно вносил свои лепты: почти в каждом заседании франкфуртского парламента приходилось сообщать, что на германский флот поступило несколько гульденов и талеров. Девушки, дети, швейки и батраки вносили средства на флот, который был так необходим для крупных гамбургских и бременских судовладельцев. Патриотизм капиталистов вообще умолкает, когда дело коснется денежного кошелька: и на этот раз они попытались обеспечить свои интересы, заменив взносы своего рода кружечным сбором. Попытка окончилась печально, как она и должна была кончиться [1]).

---

[1]) Высмеивая скаредность тогдашней буржуазии, один юмористический листок изобразил, как буржуа сажает желуди в землю, в расчете, что из них вырастет дубовый лес для германского флота.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мещане и пролетарии.

Победа берлинского народа заключалась в том, что 19-го марта королевским войскам пришлось удалиться из прусской столицы. Казалось, сами граждане сделались теперь господами прусского военного государства. Сам король подтвердил это в своей речи, с которой он 25 марта обратился к гвардейским офицерам, собравшимся в потсдамском дворце. Он заявил, что среди берлинских граждан господствует высокое одушевление, равного которому не знает история. „А потому я желаю,—подчеркнул король в своей речи,—чтобы офицерский корпус в такой же степени проникся духом времени, в какой им проникся я, и чтобы отныне вы все сделались такими же добрыми гражданами, как до сих пор были верными солдатами".

Офицеры выслушали эту речь, что называется, „в раздумьи". „Высокое одушевление" берлинских граждан скоро доставило им такое удовлетворение, о каком они сами не смели бы и мечтать.

Мещанство всегда остается верным себе как в хорошие, так и в тяжелые дни; потребность подслуживаться, кажется, вложена в него самой природой. Только что с величайшей торжественностью похоронили павших на баррикадах, как теперь уже старались свыше всякой меры, чтобы показать свою любовь и примирительное отношение к войску. Уже 27-го марта 14.000 „добрых граждан" подписались под требованием возвращения войск. Большинство подписавшихся были торговцы, которые не могли перенести потери солдат, своих прежних покупателей, и которым вообще не было никакого дела до „свободы",—только бы преуспевали их коммерческие дела. Остальные подписавшиеся были филистеры, которых охватил страх, когда они в первый раз увидали грозные толпы народа. Уже стремительное падение курсов на бирже нагнало на них панический ужас; „анархия" же, существовавшая только в их воображении, угрожала им полной потерей имущества. Если они замечали, что на улице остановились и разговаривают трое рабочих, они уже чуяли начало нового „бунта". А то обстоятельство, что пролетариат теперь не скрывался в предместьях, как раньше, еще больше увеличивало их страх. Безработные, голодные, одетые в лохмотья пролетарии

появились под „Липами“, и „вытики“ (Heuler), как называли филистеров в противоположность „крамольникам“ (Wühler), потеряли способность спокойно спать по ночам. Если во времена возбуждения говорят о бедности масс, ни у кого не делается так неспокойно на совести, как у биржевых спекулянтов, у ростовщиков и вообще у людей, живущих „незаработанными доходами“; даже во сне они трусливо цепляются за свои „бумажки“, от которых зависит их существование; они поражены вечным страхом, как бы дыхание революции не унесло их сокровищ. Для людей этого сорта гражданское ополчение представлялось в те дни слишком недостаточной гарантией поддержания „порядка“; они могли бы спать до некоторой степени спокойно только под охраной солдатских штыков и артиллерийских орудий.

Желание возвращения войск сказалось уже 21-го марта, когда еще не успели похоронить борцов, павших на баррикадах; ветеринарный врач Урбан взял на себя роль выразителя этих желаний[1]). Этот странный человек, выделившийся на баррикадах Александровской площади своим необыкновенным мужеством, немедленно после того, как народ победил, взял на себя роль посредника и старался изображать из себя во дворце важную особу, что быстро лишило его доверия масс.

За возврат войска высказалось новоиспеченное гражданское ополчение, по крайней мере его начальники; то же сделали магистрат и думские гласные. Президент полиции фон-Минутоли искусно воспользовался обстоятельствами, чтобы представить дело таким образом, как будто возвращения войск хотят все без исключения граждане. Демократия протестовала очень слабо, так как она только начинала организовываться. Уже 30-го марта в Берлин возвратился 24-й пехотный полк, несколько позже — два батальона 9-го полка, а также уланский полк. Да и как могли бы сытые филистеры-пивопийцы Берлина обойтись без военных парадов! И как могли бы жить берлинские красавицы без лицезрения военных мундиров, и как могла бы буржуазная аристократия задавать свои балы без лейтенантов, неутомимых танцоров! Филистеры гражданского ополчения с великим торжеством приняли войско, и командир возвратившихся войск, полковник Эргардт, заявил в речи, произнесенной в Ботаническом саду: „Друзья, мы возвратились к вам, чтобы сообща с вами охранять спокойствие и порядок и помогать развитию н о в о г о д у х а“.

---

[1]) Урбан, которого официальное сообщение называет „начальником баррикад“ и „народным трибуном“, 21-го марта явился во дворец и **на коленях** умолял короля дать разрешение на возвращение войск. Фридрих-Вильгельм IV отпустил его с собственноручной запиской следующего содержания:

„По желанию ветеринарного врача Урбана я с большим удовольствием даю ему разрешение предложить войскам, расположенным в Потсдаме и окрестностях, именно гренадерскому полку императора Александра немедленно возвратиться в Берлин.

Написано собственноручно 21-го марта 1848 года.

Фридрих-Вильгельм“.

С этой запиской Урбан и портной-мастер Эккорт бросились к президенту полиции, и только этот несколько более предусмотрительный человек отговорил их от немедленного использования записки.

Эти заявления звучали для мещанства, как музыка. Между тем несколько офицеров, с большей решительностью высказавшихся за „развитие нового духа“, были вынуждены выйти в отставку. К числу их принадлежал и небезызвестный артиллерийский лейтенант фон-Оргес.

Организация „народного ополчения“ была завершена под руководством президента полиции, господина фон-Минутоли. Буржуа, ремесленники, студенты, государственные и городские чиновники, художники и даже гимназисты взяли на себя охрану „общественной безопасности“ и защиту неприкосновенности „личности и собственности“. Они получили оружие из арсенала. Составилась вооруженная сила в 20.000 человек, но это был не вооруженный народ, а вооруженная буржуазия, бюрократия и мещанство [1]). Предзнаменованием являлся уже один факт организации гражданского ополчения президентом полиции; и, действительно, ополчение скоро начало вести себя так, как будто оно было учреждено исключительно с полицейскими целями. Вооруженное мещанство обнаружило замечательную неутомимость в деле обнаружения и задержания „крамольников“ и в подавлении „мятежей“. Для него каждый пролетарий был „анархистом“, против каждого проявления жизни в пролетариате направлялась вся жестокость буржуа, дрожащего над своими денежными сундуками. С первых же дней сделалось ясно, что цель „гражданского ополчения“ не столько в том, чтобы защищать только что завоеванные вольности, сколько в том, чтобы насильственно подавлять всякий проблеск самостоятельности в рабочих. Конечно, в гражданском ополчении были и искренно демократические элементы, но они составляли ничтожное меньшинство; среди вооруженных студентов сформировалась даже радикальная группа. Но в общем гражданское ополчение составилось из таких фанатиков „спокойствия“ и „порядка“, что оно избрало своим командиром сначала президента полиции, а потом генерала фон-Ашова. Это вооруженное филистерство, подготовив почву для реакции, в решительный момент с позорной трусостью покинуло арену своей деятельности.

Итак, вооруженное мещанство, тщеславное и напыщенное, гордое своими „завоеваниями“, пока что гордо выступало на берлинских улицах. Собственно же народ, рабочий класс, а также сравнительно бедные граждане были исключены из так называемого народного ополчения. У них ведь не оставалось времени, чтобы стоять на карауле и участвовать в маневрах: им, чтобы существовать, приходилось теперь так же неустанно работать, как раньше. Такое положение вещей сложилось почти повсюду в Германии. Народ не получил оружия, и гражданское ополчение несло полицейскую службу по отношению к пролетариату. Можно указать лишь самое ничтожное количество почтенных исключений.

В мартовские дни в Берлине пробудилась живая политическая жизнь. Газеты воспользовались новой свободой печати. Стены пестрели политиче-

[1]) Штрекфус (в „Erinnerungen aus dem Jahren 1848“) рассказывает, что Минутоли преднамеренно дал такую организацию гражданскому ополчению, которая лишала его внутренней силы. По внушению свыше чиновники массами вступали в ополчение и по большей части избирались в начальники. Благодаря этому радикалы уже с самого начала относились к гражданскому ополчению с большим недоверием.

скими прокламациями и афишами. Почти каждый вечер устраивались собрания. Возникли союзы и клубы, между прочим „политический клуб", который впоследствии превратился в „демократический клуб" и имел своей целью защиту мартовских завоеваний. В нем объединилась буржуазная демократия. Президентом был избран уже упоминавшийся асессор Юнг, членами клуба были литераторы: Гольд, Эйхлер, Г. Б. Оппенгейм и др. У некоторых членов политического клуба были связи с рабочими; поэтому клубу нередко удавалось привлекать рабочих к участию в демонстрациях. Идеи социальной реформы, возникавшие в клубе, характеризовались незрелостью и не шли дальше мелких починок, что, впрочем, в то время и не могло быть иначе.

В „конституционном клубе" объединилась буржуазия, те „бытики", для которых „гражданская свобода" неотделима от филистерского „порядка". Президентом был известный Летте, который позже, во франкфуртском парламенте, примкнул к партии Гагерна. Буржуазия неустанно прославляла его труды на пользу рабочего класса; оно и понятно: в своих трудах господин Летте с величайшей щепетильностью заботился о том, чтобы прибыль капиталиста не потерпела никакого ущерба.

Среди этих течений вдруг вынырнул рабочий вопрос. Филистерам либерализма и демократии он показался до крайности неудобным. В их грезах новый порядок вещей представлялся им какой-то политической Аркадией, в которой прославятся навеки они сами и их „завоевания", а социально-экономические вопросы не будут играть никакой роли. Изучение этих вопросов требует больших трудов и больших знаний, а от последних, как известно, начинает болеть голова. Значит, до того ли филистеру?

Но желудок побуждал рабочих предъявлять и свои требования к новому порядку вещей. Газеты буржуазии на разные лады восхваляли мужественное поведение рабочих во время великой борьбы. Но когда рабочие выступили и потребовали, чтобы и им было предоставлено воспользоваться плодами победы, собственники постарались прикинуться до крайности изумленными. Трудно представить себе что-либо более забавное, чем то усердие, с каким теперь разные „добрые граждане" уговаривали рабочих воздержаться от всякого участия в общественных делах. Достаточно немногих примеров, чтобы иллюстрировать несравненное бесстыдство мещанских душ. Некий доктор Мориц Левинсон, воскурив фимиам возвышенности сердца рабочих, немедленно после того обращается к ним с увещанием: „Возвратитесь к своим работам! Не ждите и не принимайте никаких подачек или подарков из милости; все существование ваших завоеваний, вся гордость свободного, независимого человека зависит от того, скажете ли вы себе снова: мы живем своим трудом!"

Эрнст Коссак, известный литератор, в свою очередь заявляет, что и сам он—круглый бедняк; тем не менее он тоже обращается к рабочим с назиданием: „В настоящее время ни малейшего повышения заработной платы, и долой всякую праздность!.. Рабочие! В эти дни, в дни муки родов великого будущего, соблюдением порядка и трудолюбием вы должны заслужить себе свидетельство истории, что

вы умеете работать и жить во имя свободы своей нации"!

Таким образом эти благородные души воображали, что они сами призваны—надо полагать, божественным провидением—к тому, чтобы участвовать в создании нового порядка вещей; рабочие же должны и впредь молча и неустанно трудиться и принимать, как жребий судьбы, все, что ни соблаговолят постановить мещане-филистеры. Но рабочие ничего не хотели, кроме работы, которая дала бы им возможность существовать, между тем как у тысяч рабочих не было никакой работы, а другим тысячам работа не обеспечивала существования.

Фразы фанатиков „спокойствия" не произвели никакого впечатления на рабочих. Ветеринарный врач Урбан и его друг Эккерт решили созвать на 26 марта большое народное собрание, которое должно было обсудить вопрос, что предпринять в виду тяжелого положения рабочих. Местом собрания была назначена площадь у Шенгаузских ворот. Отдельные отрасли производства должны были формулировать свои требования и прислать своих представителей. Так и было сделано. „Народный трибун" Урбан заблаговременно договорился с полицией и другими властями относительно задуманного им шага. Не подлежит никакому сомнению, что он хотел воспользоваться собранием для манифестации в пользу возвращения войск; но общее настроение масс разбило его план.

В воскресенье 26-го марта колоссальная толпа народа собралась на площади у Шенгаузских ворот. Согласно разным сообщениям, она достигала десяти и даже двадцати тысяч. Ораторская трибуна была сооружена около так называемого „одинокого тополя" и украшена черно-красном-золотым знаменем.

Дебаты этого собрания позволяют заглянуть в мир рабочих, понять пробудившиеся в нем надежды и желания. Не мало говорилось на собрании глупостей; в этом отношении особенно постарались „усмирители", в которых здесь не было недостатка, потому что на собрание явилось множество буржуа, мелких мастеров и мещан. Но рабочие, не смущаясь сыпавшимися на них упреками, заявили о своих требованиях. Один строительный рабочий требовал повышения заработной платы и сокращения рабочего времени: „Четырнадцатичасовой рабочий день—это слишком много; с проходом на работу и обратно это составит 18 часов. У отца семьи едва ли останется время, чтобы послушать лепет его ребятишек!" Машиностроитель Зигрист, борец баррикад, потребовал учреждения министерства труда, десятичасового рабочего дня, заработной платы в 4 талера (около 6 рублей) в неделю, а также самоуправления касс. Типографский рабочий потребовал сокращения расходов на правительство, а рабочим рекомендовал „самопомощь". Рабочий Фогель набросал картину тогдашнего положения и выяснил требования рабочих. „Выслушайте, что ежедневно требуется рабочему. На 3 пфеннига (пфенниг около $^1/_2$ коп.) кофе, на 3 пфеннига хлеба для первого завтрака, — это не то, чтобы слишком уж много. На второй завтрак я кладу на 6 пфеннигов хлеба, на 6 пфен-

шигов масла и столько же на напитки, на пиво или водку, ибо вы согласитесь со мной, что нельзя же есть хлеб всухомятку. Что касается обеда, в настоящее время, когда все так дорого, его не изготовить дешевле, чем за $2^1/_2$ зильбергроша. На полдник я кладу столько же, как на завтрак, а на ужин столько, как на второй завтрак, все это вместе составит в день $6^1/_2$ зильбергрошей. Но ведь это еще не конец. Не можем же мы расхаживать голыми. Необходима одежда, сапоги, носовой платок, белье. При плохой погоде в особенности не оказалась бы вредной пара чулок. Дальше идут расходы на прачку, починка одежды и белья, четыре суровых зимних месяца: как тут извернуться? И пусть неженатый в состоянии перебиться,—что делать отцу семейства? Кто не может справиться с этим, того нужда должна натолкнуть на нехорошие действия".

В этой простой, но сильной речи бедного поденщика больше экономической мудрости, чем во многих длинных, напичканных лицемерными тирадами „политико-экономических" трактатах высокоумных профессоров. И как скромны выраженные здесь притязания! Но это не избавило рабочих от упрека в „жадности",—в этом отношении нет разницы между 1848 годом и теперешним временем.

Рабочий Люшке хотел бы установить заработную плату на уровне в 15 грошей (т.-е. около 50 коп.) в день. Другие, особенно семейные, полагали, что это слишком мало. Ювелир Биски, который тоже сражался на баррикадах, требовал учреждения министерства труда, в которое должны войти рабочие и работодатели, и основания приюта для инвалидов труда. Один малир высказался против работ заключенных в тюрьмах, к нему присоединился шелкоткач. Столяры требовали заработной платы в 25 зильбергрошей и двенадцатичасового рабочего дня, позументщики и представители некоторых других отраслей производства—запрещения труда женщин. Гессе, „герой баррикад", уже наполовину перешедший на сторону буржуазии, предостерегал от „своекорыстия" и на первую очередь рекомендовал потребовать от короля всеобщего и равного избирательного права. Ситцепечатники,—их явилось 800 человек, и, как они говорили, уже в течение нескольких лет только у 150 из них была достаточная работа,—требовали ограничить применение машин, установить 14-дневный срок для предупреждения о прекращении договора найма, а также воспретить женщинам промышленный труд. „Хлеба или смерти!" —закончил свою речь их представитель Цигельбейн.

Собрание выставило следующие требования: 1) Министерство труда, составленное из предпринимателей и рабочих. 2) Сокращение численности постоянного войска. 3) Народное образование. 4) Призрение инвалидов труда. 5) Удешевление правительства. 6) Созыв нового ландтага на основе прямых выборов со всеобщим правом участвовать в выборах и быть избранным.

Рабочие, неопытные в собраниях этого рода, конечно, могли выразить свои требования, но не формулировать их. Тем не менее и то важно, что собрание около „одинокого тополя" впервые дало рабочим возможность высказаться до конца.

Постановления собрания были представлены королю двумя депутациями. Первой король ответил: „Я больше люблю народ, чем он может любить меня!“ Второй депутации король заявил, что всеобщее народное образование и сокращение расходов на управление несовместимы; несмотря на то, постановления будут переданы на рассмотрение подлежащим властям.

Городское управление занялось изысканием мер помощи нуждающимся и безработным пролетариям. Частная благотворительность, сборы пожертвований, раздача марок на хлеб и суп,—всего этого было совершенно недостаточно. В некоторых отраслях производства, напр., у слесарей и шелкоткачей, постановлением цехов заработная плата была повышена. Во многих случаях рабочее время подверглось сокращению. Но за всем тем оставалось найти работу для огромной армии безработных. Магистрат скоро предпринял ряд построек, принялся за сооружение каналов и земляные работы, чтобы дать какое-нибудь дело массе голодных; такие же меры приняло и государство. Постепенно берлинское городское управление дало работу почти 2.500 безработных, государство—почти трем тысячам. Заработная плата составляла от $12^1/_2$ до 15 зильбергрошей. Чтобы воспрепятствовать чрезмерному притоку безработных в Берлин, господину фон-Минутоли было предложено принять „надлежащие меры“, и берлинская полиция выступила против „чужих“ голодающих рабочих с таким старинным и грубым средством, как высылка,—и это в то самое время, когда стены сотрясались от победных гимнов в честь только что завоеванной свободы.

Самую видную группу рабочих, занятых на общественный счет, впоследствии составили так называемые „ребергцы“, получившие это прозвище от „Rehberge“, „Козульих гор“, на которых они работали. Горы эти лежат за Ораниенбургскими воротами, приблизительно в одной миле от тогдашнего Берлина. Рабочие должны были, расчистив сосновый лес, произвести планировку этого места. По вечерам они уносили с собою домой обрубки сосновых бревен. Демократы, объединившиеся в „политическом клубе“, старались создать для себя вспомогательные силы из этих рабочих; старания их отчасти увенчались успехом. Наибольшей популярностью среди ребергцев пользовался студент Густав-Адольф Шлеффель, сын уже упоминавшегося силезского демократа, подвергшегося преследованиям доктора Штибера. Из Гейдельбергского университета Шлеффеля исключили за распространение будто бы мятежнических сочинений в Оденвальде, а Берлинский университет, в котором Шлеффель хотел продолжить образование, отказал ему в приеме. Вся жизнь Шлеффеля была посвящена агитации среди рабочих. Несмотря на свою юность—в 1848 году ему было всего 19 лет,—он один среди политических вождей Берлина понимал природу современного капитализма и предлагал целесообразные меры борьбы с ним. Зато буржуазия и бюрократия постарались обезвредить его.

Ребергцы, „в своих высоких сапогах и с красным петушиным пером на шляпе“ [1]), нагнали на мещанство такой ужас, что оно стало видеть приви-

[1]) Так описывал их однажды Бисмарк в рейхстаге.

дения среди белого дня. Стоит только послушать, как описывает их один „демократический“ литератор [1]).

„Эти дикие фигуры,—говорит он,—наполовину лошадь, наполовину аллигатор, с их лицами, загоревшими от солнца и водки, с их небритыми бородами, одетые в драные сюртуки, реже в блузы, с головами, прикрытыми желтыми соломенными шляпами, с пучком перьев вверху, с внушительной дубинкой в руках,—они долгое время были опорой „крамольников“ и грозой для реакции и для слабодушных“.

Но если представить себе, как сурово обращалось с рабочими вооруженное мещанство, то едва ли придется осуждать рабочих за то, что, не имея другого оружия, они запаслись палками.

Общественные работы были для правительства просто средством хотя бы на время выйти из затруднительного положения; цель была здесь только одна: водить рабочих за нос, пока не уляжется революционный прилив. Такие эксперименты были произведены в Берлине, Вене и в Париже. Парижские национальные мастерские, организация которых ошибочно приписывается Луи Блану, поверхностными людьми выдавались, да и теперь обыкновенно выдаются, за „социалистические“ эксперименты. На самом деле парижские национальные мастерские были учреждены согласно декрету 6-го марта 1848 г., подписанному буржуазным республиканцем и врагом социализма Мари. В них было так же мало социализма, как в земляных работах, организованных в Берлине и Вене. На место частного предпринимателя выступило классовое государство, которое заставило рабочих совершать работы за обычную плату, да и работы-то в значительной мере непроизводительные. При суждении об этих вещах историкам-филистерам не следовало бы забывать, что социалистическое производство предполагает полное устранение наемной системы. В действительности национальные мастерские были направлены против социализма. Внезапно закрыв мастерские, французское правительство вызвало страшную катастрофу июньских дней, которая привела к кровопролитному подавлению парижского пролетариата и вместе с тем к гибели республики [2]).

Между тем 2-го апреля в Берлине собрался соединенный ландтаг. Все демонстрации против этого обветшавшего учреждения, устроенные демократами, остались совершенно безрезультатными. Народ мало интересовался прениями ландтага, хотя его заседания теперь сделались открытыми. „Мартовский министр“ Кампгаузен, открывая заседания, заявил в своей речи, что мартовская революция была „событием, которое знаменует мощное, неподлежащее никакому сомнению выражение общественного мнения“. Ландтаг в своем ответном адресе королю соглашался

---

[1]) Роберт Шпрингер в книге „Berlins Strassen, Kneipen und Klubs im Jahre 1848“ („Берлинские улицы, кабачки и клубы в 1848 году“).

[2]) Ламартин в своей истории Февральской революции разсказывает, что главари национальных мастерских вошли в тайное соглашение с антисоциалистическими членами правительства и что весь план национальных мастерских был коварным ходом врагов Луи Блана.

с этим утверждением. Дух времени захватил даже часть аристократии. Маршал (президент) ландтага князь Зольмс высказался против привилегий дворянства и заявил, что пришло время принести их в жертву на алтарь отечества; обер-президент фон-Мединг прямо поведал о своих конституционных убеждениях. Даже такой высоко-консервативный юнкер, как Отто фон-Бисмарк Шенгаузен (впоследствии князь Бисмарк), с искренним сожалением признал, что никакая земная сила не может воскресить погребенного прошлого, и потом с кисло-сладкой миной добавил, что он будет поддерживать мартовское министерство, ибо иначе придется расстаться со всякой надеждой на „закономерный и упорядоченный строй отношений“. И только господин Тадден-Триглав сделал приснопамятное заявление, что и он тоже за свободу печати, но лишь при том непременном условии, если немедленно будет воздвигнута виселица, чтобы карать „преступников печати“.

Соединенный ландтаг, увидав всю безнадежную шаткость своего положения, был настолько великодушен, что под гнетом обстоятельств сам присудил себя к смерти. Он принял предложенный министерством закон о выборах, согласно которому надлежало избрать собрание и возложить на него соглашение по вопросу о государственном устройстве Пруссии. Закон этот, замененный в мае 1849 года „самым жалким из всех избирательных законов“, законом о трехклассной избирательной системе[1]), предписывал косвенные выборы (т.-е избиратели выбирают не депутатов, а „выборщиков“, на которых возлагается избрание депутатов). В этом отношении он вполне соответствовал желаниям буржуазии, которая, в согласии с министерством Кампгаузена, заявляла, что народ „еще не созрел“ для прямых выборов[2]). В то же время будущие представители Пруссии были наперед связаны принципом соглашения; следовательно, выработка конституции поставлена была в зависимость от согласия короля, вместо того чтобы просто объявить собрание учредительным. Мы еще увидим, к каким конфликтам должен был повести принцип соглашения.

Так называемый „закон шести параграфов“ возвестил свободу печати, уничтожил залоги, раньше требовавшиеся от издателей газет, и постановил ввести суд присяжных для проступков по делам печати и для политических преступлений. Он же гарантировал независимость судей, свободу союзов и

---

[1]) Закон 1849 года, с самыми ничтожными изменениями, действовал в Пруссии до последнего времени. В основу его положен в общих чертах такой принцип: все избиратели разделяются, в соответствии с размерами собственности, на три класса. Каждый класс избирает одинаковое число выборщиков. Таким образом крупные собственники, хотя их всего несколько тысяч, избирают столько же выборщиков, как миллионы людей „третьего класса“. — Поставленная в кавычки (в тексте) характеристика трехклассной системы принадлежит князю Бисмарку. Несмотря на такой отзыв, он ничего не сделал для реформы системы.

[2]) Этот взгляд на прусский народ 1848 года разделяет известный Бернштейн („прогрессист“, не имеет ничего общего с известным в последние годы Эдуардом Бернштейном) в своей „Истории мартовских дней в Берлине“, появившейся в 1873 году. Вообще так называемая партия прогрессистов никогда с истинной серьезностью не стремилась ко всеобщему и прямому избирательному праву.

собраний и свободу вероисповедания, а в заключение установил тот принцип, что впредь без согласия народного представительства не может быть издан никакой закон, не могут производиться никакие расходы и взиматься какие бы то ни было налоги.

Наконец-то „добрые граждане" Пруссии вошли в свою обетованную землю конституционализма. Эти постановления ландтага получили название „основ демократии". И больше всего буржуазию восхищало то обстоятельство, что она получила свои „основы" от учреждения, ведущего свое начало из домартовской эпохи.

В заключение ландтаг дал свое согласие на производство займа в 40 миллионов, из которых 25 было предназначено на вооружения и 15 миллионов — на меры для устранения тягостного положения торговли и промышленности. Что касается вооружений, то их необходимость попрежнему мотивировалась готовящимся французским „нашествием". В действительности главной целью 40-миллионного займа было одно: добыть средства, чтобы вооружиться к предстоящей борьбе с демократией. Таким образом ландтаг оказал будущей реакции новую серьезную услугу, а буржуазия между тем восторженно приветствовала этот ландтаг. Во время прений Бисмарк-Шонгаузен заявил, что было бы неблагоразумно, если бы ландтаг, „готовясь кануть в реку забвенья, обременил свою шею государственным долгом, хотя бы и 40-миллионным" [1]. Тем не менее ландтаг все же согласился на заем, чему в особенности содействовала речь барона фон-Винке, подобно другим охваченного „новым духом". И это был тот самый ландтаг, который всего за год перед тем решительно заявил министерству, что он не имеет права на разрешение таких ассигновок и займов.

Но этим дело не кончилось. Установив для прусского национального собрания всеобщее, но двустепенное избирательное право, ландтаг захотел узурпировать назначение представителей в германский парламент, созываемый во Франкфурт на Майне. Он сам совершил эти выборы. Министерство Кампгаузена ему не препятствовало, однако не по кротости, как думали „добрые граждане", а потому, что в глубине своего сердца оно не придавало особенного значения франкфуртскому собранию. Но в народных собраниях поднялась целая буря, начались страстные протесты против узурпации, совершенной ландтагом. В протестах приняла участие не только буржуазия, но и профессора-правоведы выдвинули свои заплесневевшие аргументы, чтобы показать, что ландтаг покидает „почву права". Господам членам ландтага пришлось уступить. К тому же из Франкфурта на Майне, откуда комитет пятидесяти наблюдал за приведением в исполнение постановлений предпарламента, пришло известие, что там получат признание только представители Пруссии, избранные „самим народом". Тогда ландтаг отменил свои постановления и предоставил для выборов во франкфуртское собрание такое же избирательное право, как и для прусского национального собрания. Предпарламент легкомысленно предоставил усмотрению правительств, будут ли выборы прямыми или косвен-

[1]) Когда впоследствии он сделался руководителем прусской и имперской политики, он уже меньше задумывался над заключением новых государственных займов.

ными. Поэтому и вышло так, что „сам народ“ послал представителей во Франкфурт лишь при посредстве выборщиков.

„Добрые граждане“ были в высокой мере довольны такими результатами, и когда ландтаг, совершивший, как показано выше, самокастрацию, был распущен, они предались сладкой уверенности, что теперь их „свобода“ гарантирована навеки.

Мы уже говорили, что господа члены ландтага отрекались от своих дворянских привилегий, и отрекались от них в таких же прекрасных выражениях, как французские депутаты в знаменитую ночь 4-го августа 1789 года. Но потом они сочли за лучшее отречься от своего отречения, и значительная часть привилегий сохранилась до времени, когда мы пишем эти строки.

На 1-ое мая были назначены первичные выборы, т.-е. избрание выборщиков для прусского франкфуртского собрания. Что касается избирательной агитации, она началась немедленно после того, как прошел новый избирательный закон.

Демократия протестовала всеми силами не только против узурпации, выразившейся в назначении ландтагом депутатов во Франкфурт: она энергично выступила и против нового избирательного закона. Уже 2-го апреля под „Палатками“ состоялось народное собрание, созванное „народным союзом“, председателем которого состоял доктор Макс Шаслер. Согласно своей программе, союз этот „должен быть народным союзом в высшем и самом широком значении этого слова: в нем должны иметь своих представителей все классы, но особенно те, которые составляют главную основу народа — неимущие рабочие“. Союз выставил такие требования, как „действительное вооружение народа, народное представительство, народное образование“, но никаких дальнейших социальных требований в его программе не было. Собрание постановило обратиться через министра-президента с адресом к королю. Оно требовало прямых выборов, предоставления права участвовать в выборах с 21-летнего возраста, и права быть избранным с 24-летнего возраста. Кампгаузен обещал, что министерство обсудит вопрос. „Политический клуб“ тоже высказался против двухстепенных выборов и против того, что избирательного права лишалась прислуга и живущие на счет благотворительности [1]). Напротив, „конституционный клуб“ высказался за проведенный ландтагом избирательный закон [2]).

---

[1]) В Пруссии в категорию „прислуги“ (Dienstboten) зачислялась и крупная часть сельскохозяйственных рабочих, все равно, как в средние века „прислугой“, „слугами“ (Knecht, servant) назывались и ремесленные подмастерья, а позже и мануфактурные, отчасти даже фабричные рабочие. Живучесть этого названия свидетельствует о живучести средневековых форм общественных отношений (особенно в земледелии).

[2]) Один только фон-Вергер высказался здесь за всеобщее избирательное право и за распространение его на живущих за счет благотворительности. „О'Коннель,—заявил он, — рассказывает об одном ирландце, у которого был осел. С помощью осла ирландец вел свое дело и зарабатывал себе пропитание. Но вот осел издох, ирландец лишился работы, стал получать вспомоществование и благодаря этому потерял избирательное право. Кто же,—спросил О'Коннель,—обладал избирательным правом: человек или осел?“

После того как ряд собраний высказался за прямые выборы, 10-го апреля в громадном народном собрании под „Палатками" было постановлено организовать избирательный комитет с целью агитации за прямые выборы. Литератор Эйхлер так разъяснил массе народа значение той или другой системы выборов: „Если вам требуется товар, что лучше: купить ли его из первых или из вторых рук?" — „Конечно, из первых!" ответила толпа. „Превосходно. — продолжал Эйхлер. — Из первых рук вы получаете народных представителей при помощи прямых выборов, а из вторых — при помощи торговцев-посредников, выборщиков. То самое что вы, приобретая из первых рук, получили бы более хорошим и дешевым, — это самое господин Кампгаузен хочет предоставить вам из вторых рук, и хуже и дороже".

Народный избирательный комитет составился из следующих лиц: Баадер, литератор; Берендс, гласный городской думы; Бергенрот, асессор; Биски, ювелир; Борн, литератор; Констан, купец; доктор Эйхлер, литератор; доктор Эрман, профессор; Фендих, виноторговец; фон-Ферстер, литератор; Гаммерфельд, асессор; Гельд, редактор; доктор Гексамер, врач; Гопе, литератор; Юнг, асессор; Кенне, доктор философии; Краузе, слесарь; Кюммелау, естествоиспытатель; Ланге, студент; Лессинг, врач; граф цур-Линне, экономист; Мертенс, городской гласный; Монекке, студент; Фриц Мюллер, слесарь; доктор Науверк, городской гласный; доктор Пруц, литератор; доктор Рис, председатель ремесленного союза; Салис, студент; доктор Шаслер, редактор; Шлеффель, студент; Зигерист, машиностроительный рабочий; Стефенс, токарь; доктор Тюммель, врач; доктор юриспруденции Тюрке; доктор Висс, врач и литератор. Состав до крайности пестрый. Комитет должен был организовать импозантную массовую демонстрацию в пользу всеобщего прямого избирательного права.

Волны народного движения поднимались все выше, внимание Берлина целиком поглощалось избирательной борьбой, вопросом об избирательном праве и особенно рабочим вопросом. Мещане невольно ворчали, представляя себе „громадные суммы", которые „бесполезно" затрачиваются на создание работ для безработных. В то же время торговцы постарались использовать случай, чтобы заявить о своих притязаниях на „государственную помощь". Купеческие старшины обратились к правительству с жалобами на „денежный кризис", переживаемый промышленниками, которые по отсутствию денег не могут расплачиваться со своими рабочими. И правительство ассигновало 150.000 талеров в пользу купцов и промышленников. Дошли ли эти деньги до действительно нуждающихся людей, об этом ничего неизвестно.

Среди рабочих несколько раз происходили столкновения, так как в организации общественных работ обнаруживались всевозможные беспорядки. Напр., неудовольствие вызвала сдельная плата, и собрания рабочих одно за другим требовали уничтожения этой системы. Берлинские рабочие уже тогда видели весь вред сдельных работ, а между тем известные буржуазные „ученые" даже теперь стараются вразумить рабочих, что сдельная система — самая выгодная. Реберцы заставили землекопов на Пленцензее и рабочих на каналах

отказаться от сдельных работ. Это происшествие, в связи с несколькими случаями незначительных уличных столкновений, послужило поводом к самым преувеличенным слухам о грабежах и бунтах. Гражданское ополчение немедленно приготовилось к „подавлению", в результате возбуждение еще больше усилилось: мещане всюду видели „красный призрак", хотя президент полиции публично выразил рабочим похвалу за их поведение.

Известный демагог Гельд, оратор клубов и издатель „Локомотива", приобрел мимолетное, но огромное влияние на массы; он приглашал рабочих сохранять спокойствие, пока он не выработает план организации труда, который от него потребовало министерство. Между тем к прокурору фон-Кирхману поступили бесчисленные доносы на различные органы печати, но Кирхман не обращал на них внимания.

„Все спокойно, за исключением гражданского ополчения!" гласил остроумный рапорт одного начальника караула. Действительно гражданское ополчение довело суровость в отношениях к рабочим, студентам и демократам до последних границ вероятного; уже в это время никто серьезно не думал, чтобы эта полиция, составленная из вооруженных мещан, в случае необходимости стала защищать мартовские завоевания. И в то же самое время газеты, особенно „Vossische Zeitung", публиковали длинные списки пожертвований на поддержку раненых на баррикадах борцов или на пособие сиротам павших на баррикадах. Среди жертвователей было много превосходительств, тайных советников и других реакционеров. Они с таким же искусством играли свою роль, как юнкеры в ландтаге, которые громогласно провозгласили, что их привилегии устарели, но про себя сделали оговорку [1]), что они опять укрепят привилегии, как только наступит подходящее время.

Политического опыта еще совершенно не было у рабочих; они колебались из стороны в сторону, между призывами буржуазных партий, приглашавших устранять демонстрации, и собственными опытами самостоятельных выступлений. Ораторы политического и конституционного клубов часто являлись на собраниях рабочих, стремясь привлечь их на свою сторону.

Литератор Стефан Борн сделал опыт создать самостоятельную организацию рабочих. Это был человек во многих отношениях выдающийся. На берлинских, а через год на дрезденских баррикадах он доказал свое редкое мужество. Как руководитель собраний, как крупный ораторский талант, он стоял выше всех берлинских „народных трибунов",—это признавали даже органы буржуазии. В Брюсселе и Париже он был деятельным членом „Союза Коммунистов" и, как показывают его речи и статьи, усвоил принципы союза, формулированные Марксом и Энгельсом. В своей деятельности в Берлине он руководствовался следующими соображениями. В Германии буржуазия и пролетариат, капитал и труд еще не так резко отделены друг от друга, как в Англии и даже во Франции, они еще не являются вполне размежевавшимися сторонами. Немецкие рабочие еще не организованы, не сознают себя особой

[1]) Этот прием называется у иезуитов „reservatio mentalis".

партией. Стремясь сделаться силой в государстве, они должны обратить главное внимание на создание организации. „В наши ряды входит огромная часть нации,—писал Борн,—за нами стоят не только наемный рабочий и подмастерья, но и большое количество мелких мастеров, подавленных конкуренцией крупного капитала, и крестьянин, парцела [1]) которого уже недостаточна, чтобы прокормить его и его семью, и учитель, который обучает наших детей, и девушка, сгибающаяся за вязальным станком или за машиной, и всякий человек, труды и прилежание которого подавляются силой капитала и которому в свободной конкуренции суждено погибнуть".

Вообще говоря, германское рабочее движение того времени только что начинало развиваться и за исключением Рейнской провинции и отчасти Вестфалии, стояло приблизительно на таком уровне, как тогдашняя французская „социал-демократия". Оно еще не пошло дальше таких лозунгов, как „организация труда" (Борн по этому вопросу заметил, что он всегда ставил организацию рабочих выше организации труда, „право на труд", „министерство труда". Борн в своей деятельности, повидимому, исходил из тогдашнего довольно ограниченного кругозора германских рабочих и всеми силами старался расширить его. Это впоследствии навлекло на него упреки в мелкобуржуазных, цеховых, вообще реакционных тенденциях, в стремлении заводить связи с разнороднейшими элементами, попытках ладить со всеми. В действительности все его статьи и речи не оставляют желать ничего большего со стороны ясности, определенности и выдержанности классовой точки зрения. Практическая расплывчатость вытекала не из теоретической несостоятельности Борна, не из недостатка у него мужества, вообще не из личных его свойств, может быть, лежала даже вообще вне его воли, но обусловливалась экономической отсталостью Германии [2]).

Борну удалось, организовать „центральный комитет рабочих", избравший его своим президентом. Предполагалось, что комитет сделается центром организации рабочих, раскидывающейся на всю Германию. В статутах говорилось между прочим: „мы с а м и берем свои дела в руки, и никто уже не может их вырвать у нас".

Борн отрицательно относился к мысли о массовой демонстрации в пользу прямого избирательного права. Он, по всей вероятности, опасался, что вооруженное мещанство, т.-е. гражданское ополчение, разгонит безоружную толпу. Таким образом быстро произошло бы решительное столкновение между рабочими и остальным берлинским населением, а это до крайности облегчило бы дело реакции, тем более, что национальное собрание не только не было созвано, но даже не было еще выбрано. Конечно, можно было бы поставить вопрос, целесообразно ли вообще было скрывать уже назревшие противоречия между буржуазными классами и рабочими: затушевывание про-

---

[1]) Парцела—земельный участок, дошедший, благодаря дроблению до самых ничтожных размеров, „карликовой" участок, как говорят в настоящее время.

[2]) Борн (собственно Буттермильх) впоследствии читал, в качестве приват-доцента, лекции по истории литературы в Базельском университете, а потом в течение многих лет редактировал газету „Базельские Известия". В конце 90-х годов появились его интересные Erinnerungen eines Achtundvierzigers". („Воспоминания современника о 1848 годе"). Умер он в 1899 году.

тиворечий замедляло развитие классового самосознания у рабочих и в конечном счете ослабляло энергию движения. Тем не менее Борн, Биски, а также некоторые буржуазные демократы вышли из народного избирательного комитета, когда в нем большинство высказалось за демонстрацию. Основанная Борном газета „Братство Рабочих" просуществовала до 1850 года. Самому же Борну уже в 1849 году пришлось эмигрировать, так как ему угрожало преследование за участие в дрезденском майском восстании.

С большей энергией развивал политическую агитацию Густав-Адольф Шлеффель, юноша с пламенным темпераментом неутомимого борца. Ему суждено было скоро трагически закончить свою жизнь. Шлеффель издавал газету, в которой он самым энергичным образом выступал против капитализма и современного классового господства. С неменьшей силой боролся он и против реакционных властей и требовал для рабочих всеобщего, равного и прямого избирательного права, как средства для завоевания политической власти. Название газеты было „Друг народа". Она пользовалась большой распространенностью, так как Шлеффель нередко раздавал ее бесплатно. Но ее вышло лишь немного нумеров, потому что рука прокурора скоро добралась до юного мужественного редактора.

Но больше всего Шлеффель действовал в собраниях рабочих. Талантливый оратор, он сделался любимцем ребергцев; рабочие называли его „другом народа". Однажды несколько ребергцев было арестовано. Их товарищи грозной толпой двинулись к Ораниенбургским воротам. Собралось гражданское ополчение, кровопролитное столкновение казалось неизбежным. Но молодой Шлеффель своими искусными доводами добился от прокурора освобождения арестованных. Ребергцы подняли „друга народа" на плечи и торжественно понесли его.

Буржуазия распространяла самые презренные клеветы о рабочих, в особенности о ребергцах. Про них говорили, что они сплошь лентяи, что среди них много бродяг, что все они ведут на „государственный счет праздную, бездельную жизнь" [1]). Когда забастовали наборщики, „Фоссова Газета" стала уверять публику, что это—внутренние враги, что они подкуплены внешними врагами, чтобы обессилить Германию внутренними затруднениями, что коварная Франция и Швейцария прислали с этой целью 14.000 франков (несколько более 5.000 рублей). В „Фоссовой Газете" наборщики работали 14—16 часов ежедневно, даже по воскресеньям, и получали за это от 4 до 6 таллеров (от 6 до 9 рублей) в неделю. Буржуа полагал, что это—верх счастья для рабочего человека, и потому был уверен, что, если бы не франко-швейцарские тысячи, он никогда бы не заявил недовольства. „Национальная Газета" признавала право рабочих на стачки, но в интересах „порядка" требовала, чтобы рабочие каждый раз испрашивали у начальства разрешение воспользоваться этим

[1]) Между прочим фон-Унру, впоследствии президент прусского национального собрания, утверждает это в своих „Очерках по новейшей истории Пруссии". К сожалению, он забывает пояснить, как это на 15-зильбергрошей в день—таков был максимум заработной платы—можно вести „разгульную жизнь".

правом. Тогда же рассказывалась вечно повторяющаяся глупая история о том, что рабочие разъезжают в пролетках,—как будто пролетки созданы исключительно для буржуа и как будто было бы преступлением, если бы рабочий когда-либо позволил себе проехаться в пролетке на заработанные своим трудом деньги.

Чтобы противодействовать инсинуациям мещанства, в городскую думу был представлен доклад о землекопах, работавших около Веддинга. В нем между прочим говорится:

„Прежде всего бросается в глаза единодушное стремление к спокойствию и порядку, интерес к труду и прилежание, так что теперь надсмотрщикам ничего не стоит достигнуть устранения случайно вкравшихся беспорядков, между тем как раньше они не смели об этом и заикаться. Рабочие с пунктуальной точностью приходят на место работы, работают без перерывов и оставляют работу, лишь когда наступает установленный для этого срок. Они сами настаивают на увольнении ленивых и подстрекателей (?); для наблюдения на каждые 120 человек приходится один надсмотрщик; кроме того, для улаживания столкновений избран товарищеский суд из трех лиц. Они сами заставили уволиться одного рабочего, который украл солдатскую куртку, и другого, который подрубил тополь, и заявили при этом, что не хотят работать вместе с ворами" [1]).

Землекопы на первых порах довольствовались заработной платой в 15 зильбергрошей в день. Рабочие других отраслей производства отправили к мастерам депутации и предъявили различные требования, которые сводились главным образом к десятичасовому рабочему дню, оплате сверхурочных работ и заработной плате от 3 до $4^1/_2$ талеров в неделю. В большинстве случаев эти требования были удовлетворены. И любопытный факт: в то время, повидимому, никто не находил установление десятичасового нормального рабочего дня таким чрезмерным, неслыханным требованием, как это стараются представить многие современные капиталисты и ученые.

В нескольких случаях, когда мастера и фабриканты отказывались от удовлетворения требований, произошли забастовки. Были также устроены большие демонстрации; в них принимали участие и студенты, особенно та часть студенческого корпуса, которая стояла под руководством студента Монекке, единомышленника Шлеффеля, и зато получила от буржуазии кличку „роты Монекке". Демонстрации обыкновенно приводили к тому, что это—в разгар-то „весны народов"!—вмешивалась полиция и, действуя совместно с гражданским ополчением, расстраивала их, где только могла.

Кроме земляных и каналоустроительных работ, государство не принимало никаких других мер, чтобы помочь бедствующим рабочим. Но и самим рабочим, по крайней мере их массе, было чуждо понимание истинного положения вещей. Это понятно, потому что рабочие впервые активно вмешива-

---

[1]) Доклад 15-го апреля. См. Adolf Wolff, „Berliner Revolutions-Chronik", т. II, стр. 150.

лись в общественную жизнь. При том им противостояло многоголовое мещанство и тормозило все их начинания. В результате рабочее движение, поскольку можно говорить о рабочем движении, приняло такой ход, какой оно должно было принять.

Между тем избранный в большом народном собрании комитет, который должен был агитировать в пользу прямых выборов, не оставался бездеятельным. Аудиенция, данная его представителям министром-президентом Кампгаузеном, не привела ни к каким результатам. Тогда комитет постановил, что „в великий четверг (20-го апреля) берлинский народ, соединившись в торжественном шествии, должен устроить перед дворцом внушительную мирную манифестацию". Когда постановление прошло в комитете, из его состава вышли городской гласный Беренде, ювелир Виски, доктор Пауверк, доктор Пруц, доктор Шаслер, Борн и некоторые другие. 17-го апреля большое народное собрание „под Палатками" постановило приложить все силы к тому, чтобы устроить демонстрацию в пользу прямых выборов. По предложению Эйхлера оно постановило дальше, что толпы соберутся на Александровской площади и оттуда двинутся к дворцу, неся перед собой знамена с такой надписью: „Прямые выборы, долой выборщиков, самые широкие полномочия и свобода!" От имени избирательного комитета в провинцию тоже было послано воззвание, приглашавшее организовать такие же демонстрации. Под воззванием подписались профессор Эрман, редактор „Локомотива" Гельд, Георг Юнг, доктор прав Г. Б. Оппенгейм.

Величайшее волнение охватило фанатиков порядка. В демонстрации они видели „бунт". Почтенные буржуа совершенно забыли, что еще и не прошло и четырех недель с 17-го марта, когда они постановили массой итти ко дворцу и точно такой же, „мирной демонстрацией" добиваться от короля согласия на вооружение граждан. Тогда это называли „мирной демонстрацией", а теперь оно превращалось в „демонстрацию с целью переворота",— потому только, что инициаторами выступили другие [1]).

Некоторые „демократы" заявили, что они довольны двустепенными выборами. В действительности они позволили конституционным краснобаям разубедить себя, что народ,—а следовательно, и они сами—еще „не созрел" для прямых выборов. Власти искусно воспользовались таким настроением, чтобы оказать энергичное и немедленное противодействие устройству демонстрации. Магистрат, городская дума и президент полиции объявили, что демонстрация противозаконна; то же сделало и министерство, которое, ни мало не медля, обратилось к гражданскому ополчению с просьбой дать защиту „общественному порядку".

Такие меры против мирной, но внушительной демонстрации были как нельзя больше пригодны для того, чтобы сделать почти неминуемой опасность схватки между гражданским ополчением и народом. Напротив, если бы

---

[1]) Даже через 25 лет уже упоминавшийся А. Бернштейн в своей „Geschichte der Berliner Märztage" заявляет, что проектированная мирная демонстрация была продиктована „преступным умыслом демагогов".

положились на комитет и предоставили ему свободу действий, сделалось бы прямо немыслимым то, чего так боялись фанатики порядка, запуганные филистеры.

Гельд выступил с предложением отказаться от устройства демонстрации. Когда комитет не согласился на это, Гельд и Юнг вышли из его состава. Они пользовались большой популярностью и потому с их устранением успех дела стал казаться сомнительным. Тем не менее комитет все еще надеялся, что удастся организовать процессию в 50.000 человек. Так, по крайней мере, говорилось в воззвании, адресованном „ко всем рабочим". Под ним не стояло никакой подписи.

Конституционалисты и демократы решили отговорить рабочих и отправили своих ораторов в их собрания. В „центральном комитете рабочих", в котором Бэри, Биски и другие высказались против демонстрации, Шлеффель потерпел неудачу. Против демонстрации были настроены и машиностроительные рабочие, находившиеся под влиянием Гельда. Доктора Эйхлера арестовали по требованию одного кредитора и обезвредили, засадив в долговую тюрьму. При таких условиях демонстрация с самого начала была осуждена на неудачу.

С утра великого четверга Берлин принял вид военного лагеря. Гражданское ополчение стало под ружье. Мосты, общественные здания и площади были заняты гарнизонами, как будто предстояло неприятельское нашествие. Но демонстрация не состоялась. На Александровской площади собралось всего до тысячи человек, которые не давали никакого повода для вмешательства гражданского ополчения, сгоравшего от желания действовать. Только небольшая кучка землекопов, несмотря на все увещания, со знаменами двинулась к городу. Избирательный комитет выпустил извещение, что демонстрация не может состояться, и пригласил рабочих на народное собрание, назначенное на площади у Шенгаузенских ворот. На собрание явилось до 1.500 человек. Здесь Зигерист сообщил, что долг, из-за которого доктора Эйхлера арестовали, составляет всего 12 талеров (около 18 рублей) [1]). Юнг старался перед лицом собрания спасти свою популярность; всю вину за неудачу процессии он возлагал на гражданское ополчение и „конституционный клуб", которые ложно приписали революционные умыслы мирному предприятию. В „политическом клубе" жаловались на грубость гражданского ополчения. Оно арестовало многих участников народного собрания, когда те шли по домам, а одного молодого человека жестоко избили прикладами и кулаками. Один вооруженный мещанин крикнул собравшимся зрителям: „Эй, вы, собаки, пойдете ли вы по домам и станете ли работать"! [2]).

На следующее утро был арестован молодой Шлеффель. Он писал в своем „Друге Народа": „Опираясь на 60.000 человек, комитет посмотрит, и о к а ж е т с я л и э т о д л я м и н и с т р а К а м п г а у з е н а с и л о й

---

[1]) Политические друзья Эйхлера собрали эту сумму, и он был выпущен на свободу.

[2]) Это засвидетельствовано Адольфом Штрекфусом и 13 другими свидетелями (Ш т р е к ф у с „Erinnerungen aus dem Jahre 1848").

земной, которая может удержать его от избрания выборщиков!" Статья появилась после того, как демонстрация уже потерпела фиаско, именно к вечеру великого четверга. Несмотря на резкие выходки против короля, в ней не было никакого призыва к насилию [1]). И все-таки новая прусская свобода печати не выдержала испытания. Дело Шлеффеля было передано верховному суду. Его обвиняли в том, что он выразил свои симпатии восстанию Геккера и приглашал народ устроить демонстрацию перед дворцом. Представителем обвинения выступил известный фон-Кирхман, который впоследствии, в прусском национальном собрании, принадлежал к членам левой. Он указал на молодость Шлеффеля, а с тем фактом, что статья о демонстрации в пользу прямых выборов появилась лишь после неудачи демонстрации, Кирхман разделался очень простым утверждением: неудавшееся в великий четверг должно состояться впоследствии. Шлеффель защищался очень искусно и произнес речь, которая не могла не произвести впечатления. Прокурор фон-Кирхман предложил шесть недель тюремного заключения, но верховный суд приговорил Шлеффеля к шести месяцам заключения в крепости и к лишению национальной кокарды, т.-е. к потере гражданских прав. Для отбытия наказания „друга народа" увезли в Магдебург. Не пришлось ли фон-Кирхману вспомнить, как Шлеффель отстаивал свободное выражение мнений, когда в 1867 году самого Кирхмана отставили от должности за то, что он выступил с рефератом относительно „системы двух детей" и вообще защищал в литературе некоторые положения нео-мальтузианства.

Избирательная агитация обнаружила ужасную путаницу в воззрениях; оно и понятно: ведь в первый раз приходилось участвовать в выборах. Вообще у берлинцев нет никакого права издеваться над „слепыми гессенцами", которые требовали „республики с нашим великим герцогом во главе". Берлинец Юлиус Беренде заявил в своей печатной profession de foi: „Мы хотим республиканского правительства и во главе его короля, который, как представитель народа во внешних делах, препятствует всякой другой державе ограничить свободу народа". Немногим выше программы Берендса стояли программы Гельда, Юнга, Оппенгейма, — который еще тогда приобрел столь упрочившуюся впоследствии привычку проваливаться на выборах, — Руге и Науверка. Но по части спутанности и фразистости конституционалисты дали еще больше, чем демократы. Тем не менее сохранение двустепенной избирательной системы принесло желанное действие: демократия осталась в меньшинстве, восторжествовали представители бесцветных промежуточных партий и замаскированные реакционеры. В прусское национальное собрание были избраны: прокурор фон-Кирхман, тайный со-

---

[1]) В каком виде представлялось все это филистерам, об этом может свидетельствовать все тот же А. Бернштейн. В своей книге, появившейся в 1873 г., он говорит: „эту характерную статью легко можно бы принять за произведение, подсунутое реакционерами, если бы судебное разбирательство не установило его подлинности! „Можно бы",—и все только потому, что либеральная буржуазия и правительство не соблаговолили дать народу прямое избирательное право.

ветник Вальдек, главный бургомистр Грабов, тайный советник Бауэр, член городского совета Дункер, проповедник Сидов, доктор Иоганн Якоби, городской гласный Беренде и асессор Юнг. Во франкфуртский парламент Берлин выбрал только одного демократа, доктора Науверка; остальные депутаты были следующие: министр Кампгаузен, майор Тейхерт, полковник Штафенгаген, профессор Раумер, доктор Фейт. Исход выборов был как бы отмщением за то, что многие демократы, доктор Науверк в их числе, удовлетворились двустепенными выборами.

Неудача демонстрации в пользу прямых выборов отмечает конец первого периода после победы народа. Гражданское ополчение оказалось учреждением реакционным. По первому зову перепуганного министерства ополчение выступает на помощь ему и направляет свои штыки против мирной народной демонстрации за прямую избирательную систему. Реакция зародилась здесь, а не только в королевском дворце, в тайной юнкерской клике.

Но добрый буржуа ничего этого не сознавал. Да и как же иначе. По всей стране еще гремели восторженные гимны в честь „свободы", принесенной 18-м марта. На Германию сыпались, как из неистощимого рога изобилия, произведения политической поэзии, восторженным речам и декламациям в пивных не видно было конца. А теперь ко всему этому присоединилось избрание народных представителей, которые должны были навеки обеспечить свободу. И какая роскошь: целых два парламента должны гарантировать новый порядок, и они, вне всякого сомнения, сделают это.

Но тяжелые предчувствия охватили более дальновидных людей, когда они увидали, как поднимает в Германии голову расслабленная доверчивость, бессильные грезы о свободе и крайняя политическая наивность. Послышались предостерегающие голоса, но от этого не получилось никаких результатов. В упоении „свободой" их никто не слыхал. А между тем в аристократических салонах подготовлялась та тонкая и глубоко продуманная игра, которая представляла полную противоположность медлительности и неповоротливости демократов. Тогдашнее положение превосходно обрисовано в одном стихотворении, озаглавленном „Элегия на развалинах разноцветной свободы". В нем есть между прочим такие строки:

„Кругом, в необъятно-широкой стране,
Народ о свободе мечтает,
И сотни поэтов во имя ее
Прекрасные песни слагают.
Народ с обнаженным оружьем стоит,
Все ружья да сабли сверкают.
Нет только свободы, — рогатки торчат,
Да всюду шпионы мелькают".

Иронии судьбы было угодно, чтобы в конце апреля типографские рабочие устроили забастовку (сравн. стр. 211). Перед тем они целых четыре недели употребили на переговоры с хозяевами, требуя повышения заработной платы и сокращения рабочего времени. Их заработок, при двенадцати, четырнадцати, часто даже шестнадцатичасовом рабочем дне, составлял всего

от 3 до $3^1/_2$ талеров в неделю ($4^1/_2$—5 рублей). Когда началась стачка, газеты стали запаздывать выходом, множество афиш для расклейки на стенах не могло быть напечатано, а поэтам угрожала опасность, что публика так и не познакомится с их прекраснозвучными стихами. Можно же представить себе негодование всех представителей сантиментального прекраснодушия: эти упрямые печатники столь дерзновенны, что препятствуют им вскрыть перед целой Германией самые тонкие изгибы их души. Но для рабочих, которым приходится кормить жену и детей, вопросы заработной платы не являются вопросами прихоти. И было очень счастливым исходом, когда стачечники, которыми все время руководил Борн, быстро пришли к соглашению с владельцами типографий. Во все время стачки даже демократическая пресса не переставала кричать о „деспотии рабочих"; господин Гельд тоже высказался против требовательности рабочих. Но сами печатники были настолько великодушны, что не захотели доводить дело до крайности. „В настоящий момент, — заявил их комитет, — когда духовная пища сделалась такой же необходимой потребностью, как хлеб, мы не хотим ставить свои материальные интересы выше общих интересов. Поэтому мы предоставляем каждому из нас возвратиться к типографским работам".

Буржуазия, повидимому, совсем не почувствовала, до какой степени постыдно для нее это заявление рабочих. Капитализм тогда, как и теперь, приводил сердца к огрубению.

Как бы то ни было, снова явилась возможность грезить и слагать песнопения. А тем временем реакция действовала за кулисами и оттачивала оружие.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Студенты и рабочие в Вене.

Мартовские события, казалось, разорвали все связи, сплачивавшие Австрийскую империю. Итальянские провинции отпали от нее, Венгрия достигла самостоятельности, в немецкой Австрии вздымались волны германского движения. Совершенно естественно, что при таких обстоятельствах пробудились национальные и панславистские стремления среди чехов, кроатов и галичан. Несмотря на все праздники международного братства, борьба национальностей разгорелась с большей силой, чем когда-либо раньше: начались нескончаемые конфликты между немцами и чехами, венграми и кроатами (хорватами). Никогда еще не обнаруживалось с такой яркостью, насколько нездоров, насколько противоречит историческому развитию тот базис, на котором построен подчиненный Габсбургам конгломерат государств. Склеивая его, Габсбурги руководствовались исключительно тем государственным правом, которое смотрит на массы, как на стадо баранов, и всегда заботились только об увеличении силы „дома" Габсбургов, но никогда не задумывались о правах и об интересах народов.

Венское правительство само не знало, что ему делать. Если бы оно уступило требованиям отдельных национальностей и дало им страстно желанную самостоятельность, они, конечно, тотчас успокоились бы; но тогда Австрия, как великая держава, была бы вычеркнута из истории, и еще недавно такая сильная габсбургская династия превратилась бы в бессильную тень. Стремясь сплотить империю, правительство, напротив, должно было вступить в союз с какой-либо одной национальностью, чтобы с ее помощью подчинить себе остальные. Позднее правительство так и сделало: дом Габсбургов и его правительство бросились в объятия чехов и кроатов, — в объятия панславизма, — и, опираясь на них, подавили немецкую часть Австрии и Венгрии. Разгоревшаяся борьба национальностей облегчила задачу реакции.

Но на первых порах ничего этого не было видно. Венгры, казалось, совсем успокоились. Их требования были удовлетворены, они сформировали собственное министерство из венгров, во главе его стал венгерский патриот, граф Людвиг Баттиани. Однако порыв бури еще раз пронесся над Венгрией,—

именно, когда в Вене постановили, что министерства финансов и военное должны быть общие у Венгрии с Австрией, т.-е. что Венгрия должна отдавать войска и деньги в распоряжение Австрии. Это постановление вызвало взрыв негодования в пресбургском рейхстаге и во всей Венгрии. Палатину (наместнику) Венгрии, эрцгерцогу Стефану, пришлось обратиться в Вену с предложением отменить постановление. Венское правительство подчинилось необходимости и только выразило „надежду", что венгерские сословия позволят воспользоваться венгерскими войсками в Италии и возьмут на себя четвертую долю обще-имперских расходов. Венгры удовлетворились таким решением. Политики Венгрии надеялись, идя по такому пути, получить доминирующее значение во всей империи и поставить венгерскую независимость на непоколебимый базис. Действуя так, венгры расчитывали перехитрить венскую придворную камарилью. Национальный эгоизм настолько ослепил их и овладел ими, что они в конце-концов утратили все свои завоевания.

Но хотя в данный момент венгры не создавали особенных затруднений для венского правительства, тем серьезнее озабочивало его германское движение в Австрии, особенно в самой Вене. Возбуждение, охватившее всю Австрию, ни на минуту не ослабевало. Политикам, занявшим место, оставленное Меттернихом, приходилось строжайшим образом обуздывать свое страстное стремление восстановить домартовские порядки. Неосторожная статья, напечатанная в официальной „Венской Газете", показала австрийцам, что правительство оставляет за собой право согласиться или не согласиться с постановлениями франкфуртского парламента. Заявление это явилось уже после того, как правительство распорядилось произвести выборы в парламент. У венцев как бы чешуя упала с глаз; они, наконец, ясно увидали, что „новое" правительство составлено почти исключительно из людей, которые вышли из школы Меттерниха. Коловрат, Таафе, Кюбек и Фикельмон не были людьми современными, и даже Пиллерсдорф не понимал требований своего времени. Правда, он всегда протестовал против угнетательской системы Меттерниха; но теперь, 31-го марта, он сам издал реакционный законопроект о печати, грозивший суровыми наказаниями, особенно за оскорбление величества. Законопроект привел в негодование „аулу", т.-е. университет, всю университетскую молодеж. Венцы не допускали и мысли, чтобы у них отняли новорожденную свободу печати. Волны негодования поднимались все выше. Пиллерсдорфу пришлось уступить и взять законопроект обратно.

Как и следовало ожидать, наибольшие заботы для министров и всех реакционеров доставляла пресса. В домартовское время оппозиционной прессы совершенно не существовало. Даже после революции большинство венских литераторов было проникнуто „ограниченным разумом управляемых". Они изгнали из своего союза доктора Шютте, приехавшего из Рейнской Пруссии. Литераторы признали его „крамольником" за то, что он выступил народным оратором и в одном народном собрании предложил обратиться к правительству с „петицией нищих", чтобы добиться созыва учредительного собрания.

Но едва лишь пиллерсдорфский законопроект о печати провалился, как разом выросла новая пресса, работниками в которой выступили новые люди.

Большинство ее органов имело революционный характер. Невинные журнальчики для семейного чтения и листки, переполненные сплетнями, превратились в радикальные политические журналы. Появились всевозможные „Gassenzeitung“, „Postillon“, „Demokrat“, „Freimüthiger“ и „Konstitution“ („Газета Улицы“, „Демократ“, „Откровенный“, „Конституция“). Редактор последней, шляпочник по ремеслу, поставил свою газету так, что ее больше всего читали — и больше всего боялись в Вене. В общей сложности, в Вене 1848 года появилось до 200 политических газет. Многие из них были очень недолговечны; многие говорили грубым и вульгарным языком, особенно те, которые были вызваны к жизни беспринципным коммерческим расчетом. Органом студенчества служил радикальный „Studenten-Kourier“ („Студенческий Курьер“). Появилось также множество юмористических листков: „Satan“, „Schwefel-Aether“, „Narrenthurm“, „Katzenmusik“, впоследствии „Charivari“ и др. („Сатана“, „Серный Эфир“, „Башня Шутов“, „Кошачья Музыка“, „Шаривари“). Влиянию демократической прессы противодействовала сильная консервативная и реакционная пресса. Ее жаргон, если только она могла дерзать, был несравненно грубее, чем язык демократических газет.

Так пробудилась совершенно новая политическая жизнь. Господам во дворце сделалось не по-себе.

В первых рядах движения стояли венские студенты, организовавшиеся в „академический легион“. Общественные дела в Вене в это время направлялись центральным комитетом национальной гвардии („гражданского ополчения“) и студенческим комитетом. Все, у кого были какие-либо жалобы, обращались с ними к этим корпорациям. Случалось даже, что повздорившие супруги просили студенческий комитет разобрать свое дело. Впоследствии победоносная реакция бесстыдно клеветала на венских студентов, а в 1848 году демократия и даже умеренные либералы превозносили их выше всякой меры.

Сила студенчества вытекла главным образом из того обстоятельства, что у молодых людей установились наилучшие отношения с рабочими предместий. „Почтенные“ буржуа национальной гвардии не хотели и слышать о пролетариях. Они торопились запирать под самым носом у них городские ворота и хотели бы одни, без всякого вмешательства пролетариев, сделать свою „хорошую“ буржуазную революцию. Уже вечером 13-го марта они стреляли в рабочих. Напротив, студенты, воодушевленные энтузиазмом молодости, в те дни всеобщего братства относились к рабочим с полной искренностью. В результате стоило лишь академическому легиону дать сигнал тревоги, — и на помощь к нему немедленно выступали тысячи рабочих.

Массы безработных рабочих доставляли правительству наибольшие тревоги. Чтобы дать им заработок, оно принялось за организацию общественных земляных работ, т.-е. пыталось помочь голодающим массам такими же средствами, как правительства в Париже и Берлине. В то же время подверглись отмене октруа (сборы, взимавшиеся с продовольственных продуктов при ввозе их в город) и вообще налоги, ложившиеся на предметы потребления и удорожавшие стоимость самых необходимых средств существования.

Предприниматели, под впечатлением мартовских событий, тоже пошли на уступки. Возможная вещь, что известие об установлении в Париже десятичасового рабочего дня не проникло в широкие массы венских рабочих: венские газеты 1848 года вообще давали очень скудный осведомительный материал. Тем не менее предприниматели стали сговорчивее: с одной стороны, они видели, как возрастает значение рабочих, а с другой—не могли не опасаться новых взрывов ярости: разрушения фабрик, машин и т. д.

Как бы то ни было, железнодорожные общества одно за другим ввели в своих мастерских десятичасовой рабочий день,—„из признательности к похвальному поведению рабочих", как заявила одна из железнодорожных компаний. За железными дорогами скоро последовали фабриканты. Если они не обнаруживали достаточной поспешности, рабочие прибегали к мерам понуждения, обращались с петициями к ним или к правительству. Например, в начале апреля шелкоткачи обратились к министерству с прошением, требуя, чтобы оно в законодательном порядке заставило фабрикантов повысить заработную плату и уничтожить некоторые злоупотребления. Отдельные фабриканты действительно повысили плату на 10 процентов, но большинство, повидимому, отказало в повышении. Ситцепечатники выступили с такими требованиями: ограничение числа учеников, так чтобы на пять взрослых рабочих приходился один ученик; сокращение рабочего времени до десяти часов в день; установление соразмерности между трудом и заработной платой, притом таким образом, чтобы последняя составляла не менее семи флоринов в неделю; установление определенной пропорции между числом машин и числом рабочих (именно такой пропорции, чтобы на машинах можно было приготовлять лишь столько товаров, сколько произведено ручным способом) и т. д.

В апреле рабочие нескольких железнодорожных линий добились дальнейшего понижения рабочего времени. В средине того же месяца рабочие Северной железной дороги потребовали, чтобы им самим было предоставлено выбирать из своей среды высший персонал служащих, участвовать в прибылях предприятия и т. д.

С течением времени требования рабочих начали повышаться. Но они попрежнему отличались узко-практическим, эмпирическим характером. Представить их себе, как звенья в процессе развития нового общества, нового строя всех отношений,—до этого австрийские рабочие еще не дошли. В связи с этим среди их требований многие были прогрессивными в экономическом смысле, но немало и реакционных, носивших следы цеховых традиций. Такое явление наблюдалось во всех странах на той стадии развития, когда цеховое ремесло отступало перед капиталистическими формами хозяйства.

Ремесленные подмастерья тоже заволновались. На своих собраниях они потребовали сокращения рабочего времени, повышения заработной платы, разрешения самоуправляющихся организаций подмастерьев и т. д. Цеховым мастерам пришлось делать то, что в настоящее время многие премудрые люди объявляют „невозможным": понижать рабочий день до десяти часов и удовлетворять другие требования подмастерьев. Конечно, они уступали только

под давлением крайней необходимости. Нередко происходили довольно серьезные стычки. Добившись своего, подмастерья торжествовали победу и с развернутыми знаменами, с пылающими факелами проходили по городу.

В марте заминка в делах, общий промышленный кризис достиг полного развития. Рабочие тысячами устремились к общественным работам. Прилив рабочих был так велик, что правительство в конце-концов оказалось в затруднительном положении.

Во взглядах рабочих господствовала величайшая спутанность. Как масса, они представляли огромную силу; но они сами хорошенько не знали, чего им требовать от буржуазного общества и от нового государства. Поэтому они не развили самостоятельной деятельности, а следовали за студентами, которые в полной мере использовали доставшуюся им таким образом силу.

3-го апреля император Фердинанд взял в руки знамя—черно-красно-золотое!—и помахал им из дворцового окна. Но конституция, выработанная Пиллерсдорфом, одобренная двором и октроированная 26-го апреля, вовсе не выглядела черно-красно-золотой конституцией. Она должна была послужить просто жалкой заплатой, вместо того, чтобы в корень обновить государственную жизнь. В вопиющем противоречии с мартовскими обещаниями стояло уже то обстоятельство, что конституцию даровали, не прибегая к предварительному обсуждению ее представителями народа. Не без оснований подозревали также, что у этой конституции была только одна цель: помешать великому делу конституционного устройства Германии, которым должно было заняться франкфуртское собрание. Еще большее неудовольствие вызвала аристократическая первая палата, учреждаемая согласно конституции 26-го апреля, а также абсолютное „вето" императора: законопроект, принятый обеими палатами, мог сделаться законом лишь при том непременном условии, если император изъявит на это согласие. Кроме того, конституция сохраняла старые провинциальные собрания сословий, очевидно с той целью, чтобы при случае свести к нулю даже уступки, сделанные 26-го апреля. Словом, апрельская конституция отнюдь не напоминала „Великой хартии вольностей". Она давала лишь то, чего сословия требовали еще до начала мартовских событий: сословный общественный строй, плохо закостюмированный в парламентское одеяние самого старомодного образца. Она ни слова не говорила об уничтожении феодальных повинностей и проходила совершенным молчанием вопрос о том, какая избирательная система будет установлена для выборов во вторую палату. Рабочие и ремесленники поняли, что их, вероятно, лишат избирательного права.

Недалекие буржуа с восторгом приветствовали конституцию, как новое „завоевание". Но демократическая пресса начала против нее решительную борьбу. Демократия открывала в конституции на каждом шагу несомненнейшие реакционные поползновения: система двух палат, ценз, абсолютное „вето" монарха,—все это было явным ниспровержением принципов свободы, провозглашенных революцией. Во главе агитации стал центральный комитет национальной гвардии и академический легион. Центральный комитет, при

котором состоял еще исполнительный совет, заведывающий всеми денежными делами, сделался руководящей силой в народном движении. Если бы рабочие лучше понимали и умели защищать интересы своего класса, они добились бы для себя представительства в этом комитете.

Возбуждение венцев еще увеличилось, когда министр-президент Фикельмон назначил военным министром генерала Латура, грубого солдата и аристократа. Венцы стали опасаться государственного переворота. Впрочем, на ответственные роли генерал Латур не годился: в критические моменты решительность, казалось, совершенно покидала его.

Народный гнев на первых порах нашел себе выход в кошачьих концертах. В Вене их вообще довольно часто устраивали перед окнами реакционеров. Такой способ действия как нельзя больше соответствовал характеру „благодушных" венских революционеров. Вечером 2-го мая кошачьим концертом добились даже низвержения реакционного министра-президента Фикельмона. Его принудили к отставке, и во главе правительства стал Пиллерсдорф, австрийская разновидность породы „мартовский министр". Предполагалось назначить чеха Палацкого министром народного просвещения, но он отказался.

Правительство, неуверенно нащупывая дорогу, решилось, наконец, распустить центральный комитет студенчества и национальной гвардии. Многие буржуа и члены национальной гвардии обещали министерству поддержку. 13-го мая граф Гойос, командир национальной гвардии, реакционер, издал приказ, в котором он заявил, что центральный комитет по существу несовместим с национальной гвардией. Это означало уничтожение центрального комитета. К Пиллерсдорфу немедленно поспешили депутации от студентов и граждан, чтобы добиться отмены приказа. Пиллерсдорф ответил потоком фраз, но в конце-концов попросту отказал. Таким образом правительство постаралось отделаться от центрального комитета окольным путем.

Студенты самым недвусмысленным образом дали понять, что они вовсе не склонны примириться с уничтожением комитета. Правительство опять начало колебаться. Оно не решилось выступить против студентов, которые, как оно знало, стоят в союзе с рабочими.

Вечером 14-го мая раздались звуки походного марша, и войска двинулись, чтобы занять гласис и бастионы. Центральный комитет собрался под председательством доктора Гольдмарка. Было постановлено требовать изменения реакционного избирательного закона, октроированного вместе с конституцией, а если не будет дано всеобщее избирательное право, выступить, как предложил доктор Шютте, с „петицией натиска"[1]).

На следующее утро все войска были выведены из казарм. Под „петицией" натиска собирались подписи. Город волновался темными слухами. Кровопролитное столкновение казалось неизбежным. Звуки барабана созвали академический легион. От национальной гвардии в актовый зал, „аулу"

[1]) В самый разгар новой „свободы" доктор Шютте был выслан из Вены, но ему удалось возвратиться.

университета, явились депутации, которые заявили: „мы живем и умрем вместе с вами“. „Добрые граждане“ теперь поняли, что поставлен вопрос о „быть“ или „не быть“ мартовских завоеваний. Явилась национальная гвардия из предместий, пронесся слух, что землекопы тоже направились к центру города. Солдаты заняли городские ворота. Это еще больше увеличило возбуждение студентов. „Нас хотят отрезать от наших братьев“, говорили они. В „ауле“ раздались самые энергичные речи против двора и министров. Депутация, с доктором Гольдмарком и доктором Гискрой во главе, отправилась во дворец, чтобы предъявить требования собравшихся в актовом зале[1]). Они были таковы: отмена приказа Гойоса, всеобщее избирательное право, занятие караулов национальными гвардейцами совместно с солдатами, отозвание войск.

Во дворце министры, принцы, придворные, тайные советники и лакеи метались из стороны в сторону, как безумные. Депутация так и не добилась удовлетворительного ответа. У толпы народа, которая между тем собралась на улицах, истощилось терпение. Академический легион выступил из „аулы“. К нему примкнуло до 10.000 рабочих, которые по первому звуку барабана оставили места работы и, вооруженные кирками, ломами и топорами, явились к университету. „Идем за вами на жизнь и смерть!“—кричали они студентам. За ними последовала большая часть национальной гвардии и необозримая толпа народа. В дворцовом дворе около пушек стояли канониры с зажженными фитилями. Баталион гренадер и академический легион, вооруженные, остановились друг против друга. Старые „солдатские косточки“ среди офицеров с удовольствием приказали бы стрелять, но Пиллерсдорф не согласился. Он ясно понимал, что если бы дело дошло до борьбы, Габсбургов ожидала бы такая же судьба, как Людовика XVI 10-го августа 1792 г. Поэтому он решил, пойдя на уступки, закончить кризис, который каждую минуту мог повести к кровопролитному столкновению. Император Фердинанд, который видел, как вооруженные толпы окружили дворец, и который на этот раз был опять за „не стрелять“ („Nit-Schiessen“), немедленно согласился удовлетворить требования академического легиона. Народ известили, что на апрельскую конституцию следует смотреть лишь как на проект, подлежащий обсуждению и утверждению рейхстага и что рейхстаг будет созван на основе всеобщего избирательного права. Остальные требования тоже получили удовлетворение.

Восторгам народа, казалось, не будет конца. Наконец, национальная гвардия и академический легион удалились, а вслед за ними толпы народа тоже рассеялись. Так закончилось, не потребовав ни капли крови, восстание 15-го мая. Реакционеры впоследствии уверяли, будто оно было поднято „поляками и французами“.

Таким образом конституция господина фон-Пиллерсдорфа была уничтожена. Тем не менее он кое-что спас от бури 15-го мая, а именно двусте-

---

[1]) Гискра—впоследствии член немецко-либеральной партии, буржуазный министр, стяжавший самую печальную известность.

венные выборы депутатов рейхстага. Демократия слишком поздно открыла обман. Доктор Таузенау, который благодаря своему выдающемуся ораторскому таланту сделался одним из лидеров движения, постарался поздним числом добиться от Пиллерсдорфа согласия на прямые выборы. Но Пиллерсдорф хорошо знал, что из-за прямых или косвенных выборов ему не устроят нового 15-го мая, и потому дал насмешливый ответ, что он не представляет себе, как можно было бы устроить прямые выборы.

В Вене все совершалось так же, как в Берлине. Министры вразумляли буржуа, что „народ" не созрел для прямых выборов; буржуа старались втолковать это мелким буржуа, а мелкие буржуа в свою очередь всеми силами распространяли убеждение, что рабочим никак нельзя предоставить прямые выборы. Таким образом все отреклись от прямого избирательного права.

Но в то время, как Вена предавалась шумным восторгам по случаю легкой победы народа, придворная камарилья решила увезти слабого императора из революционно настроенной Вены. Самую выдающуюся роль в камарильи играли эрцгерцогиня София и граф Бомбелес. Камарилья боялась, что император „Пандль", который не хотел дать разрешения стрелять, может пойти и на дальнейшие уступки. Члены камарильи усердно распускали нелепые слухи и абсурдную ложь. Рассказывали, будто право убежища императора нарушено, так как вторгались в его дом, будто хотят убить его, объявить республику и довести дело до всеобщего краха. Вечером 17-го мая император Фердинанд бежал в Инсбрук, к своим верным тирольцам, которые по части своего отношения к революции стояли выше всяких подозрений. „Венская Газета", официальный орган правительства, уже утром 18-го мая писала: „Отъезд императора был бы равносилен бегству Людовика XVI; последний день пребывания здесь его императорского величества был бы первым днем республики! Император не только может оставаться в Вене,—он должен здесь оставаться!"

В то же утро венцы узнали о бегстве императора. Министерство заявило, что император уехал без его ведома. Буржуа пришли в величайшее смятение.

Тем же утром два журналиста, Гефнер и Тувора, сделали в предместьи Мариагильф попытку провозгласить республику. Но здесь оказалось, что в собственниках пробудился их консервативный инстинкт. Люди „порядка" тотчас арестовали журналистов. На мнимых виновников мнимого несчастия, на студентов и рабочих, посыпались ожесточенные упреки. Произведено было много арестов.

В Инсбруке тирольские патриоты в штанах до колен и в фуфайках выпрягли лошадей из экипажа бежавшего Фердинанда и на себе довезли его до дворца. В Вену скоро пришел императорский манифест, в котором говорилось, что партия анархистов (!)[1] лишила императора свободы

[1] Современный либерализм совершенно забыл, что в свое время и его обвиняли в анархистских стремлениях; теперь он с легким сердцем посылает эти упреки другим.

действий, что он не намерен отнимать или урезывать дары, которые народ получил от него, но что впредь следует предъявлять ему дальнейшие желания в лойяльной форме, и т. д., и т. д.

Эти заявления у императора вынудила камарилья, отняв у него своими воздействиями всякую свободу действий. Впрочем, по завершении конституционного устройства у императора тоже не оказалось бы „свободы действий", потому что в противном случае он не был бы конституционным монархом.

Отъезд императора произвел свое действие на мещанство. „Город императора"—и вдруг без императора: это было свыше понимания этого класса людей. Другие подняли вопль потому, что, казалось им, их дела пострадают благодаря отъезду высочайших особ. 18-го мая биржа совсем не открывалась. Курсы бумаг, даже очень солидных, и без того невысокие, упали еще ниже. Публика ломилась в банки, требуя возвращения вкладов. Положение государственного банка сделалось настолько критическим, что „Дунайская Газета", орган министерства, рекомендовала ему приостановить платежи.

Настроение венцев упало. Реакционеры искусно подводили новые мины. Дело довершили газеты, купленные двором. Они хором кричали: „Долой майские завоевания! Долой демократию! Долой однопалатную систему!" Обстоятельства заставили реакционеров согласиться, скрепя сердце, на всеобщее избирательное право; вводя двустепенные выборы, господа собственники создали некоторую предохранительную меру против пролетариата. Но на душе у них все-таки было неспокойно, и вот они открыто потребовали двухпалатной системы, т.-е. создания верхней палаты, в которой должны заседать, конечно, только крупнейшие собственники, т.-е. самая надежная опора „порядка", или же лица просто по назначению правительства. Тогда можно будет смело глядеть на будущее: какие бы „опасные" постановления ни приняла нижняя палата, избранная всеобщим голосованием, верхняя палата отвергнет их и спасет порядок и собственность, так что не потребуется даже „вето" императора.

Подкупленные газеты выступили против „петиции натиска". Одна из них с серьезным видом уверяла читателей, что „петиция натиска" означает простонапросто следующее: в какой-нибудь деревне собирается несколько сот человек, отбирают у властей общинную кассу и деньги делят между собой.

И результаты получились почти невероятные. Центральный комитет, за который только что выступила почти целая Вена, теперь сам прекратил свое существование. Он рассчитывал, что это произведет примирительное действие. Реакционеры немедленно воспользовались такой наивностью и решили добиться разоружения и распущения академического легиона.

Правительство и городские власти сообща учредили по образцу английских констеблей так называемую „стражу безопасности", в которую вошли „мирные люди". „Стражи" запрещали останавливаться на улицах более чем пяти человекам на одном месте; они во многих случаях совсем не церемонились с только что завоеванными „свободами". Буржуа, члены национальной гвардии, обратились к правительству с ободряющими заверениями. „Национа-

Коллоредо", командир академического легиона, с благородным бесстыдством заявил, что ношение шляпы легиона бесчестит. В ночь с 25-го на 26-е мая министр-президент Монтекуколи отдал приказ, чтобы легион сложил оружие и разошелся.

Реакционеры были уверены в своем торжестве. Министры, аристократы и буржуа—все они соглашались, что необходимо устранить „диктатуру студентов" и положить конец „возрастающему одичанию рабочих". Эти господа убеждали себя, что за ними стоит „целая Вена". Но им пришлось увидеть нечто другое.

Утром 26-го мая студенты собрались в университете; сначала большинство явилось без оружия, просто для обсуждения вопроса, что теперь делать. Правительство начало выводить войска на улицы. Констэбли-„примирители" со своими белыми палками разгоняли скопища народа. В то же время густыми рядами появились войска. Пехота заняла площади, кавалерия остановилась на гласисе, готовая выступить. Солдаты появились и на площади перед университетом. Тогда к университету прибыл правительственный президент Монтекуколи, сопровождаемый известными профессорами Гиэ и Эндлихером и „папашей Коллоредо". Этот четырехлистный трилистник потребовал от студентов, чтобы они разошлись. Но в лицо им прогремел негодующий крик: „изменники!" Они поспешно ретировались.

Часть студентов бросилась к себе на квартиры, чтобы взять свое оружие. Другие отправились в предместья, чтобы призвать к борьбе рабочих, своих союзников. Их пламенные слова повсюду вызвали взрыв энтузиазма. Рабочие толпами покинули мастерские и поспешили в город. Национальная гвардия предместий заставила барабанщиков дать сигнал тревоги и, наперекор воле своих реакционных офицеров, выступила на помощь студентам. Некоторые городские ворота оставались незакрытыми, другие толпа заставила открыть силой. Литератор доктор Франк призывал студентов не отступать перед борьбой за свободу; он же распорядился раздать рабочим тысячи наскоро отпечатанных листков со словами: „Мы требуем, чтобы академический легион не распускали!" Рабочие прикрепили листки к своим шляпам [1]).

Среди национальных гвардейцев и рабочих, сплошными толпами направлявшихся из предместий в центральные части города, вдруг раздались крики: „за баррикады!" И баррикады с волшебной быстротой выросли из земли. Через несколько часов их насчитывалось уже до ста шестидесяти. Рабочие, снаряженные ломами, кирками и другими такими же простыми орудиями, под руководством студентов возводили укрепления. Войска плотной массой занимали площади. Национальная гвардия, казалось, начала колебаться. Аристократы и буржуа с изумлением и страхом глядели из окон на тысячи пролетариев,—„этих людей, загорелых, мускулистых, обросших волосами и бородатых, производящих несколько отталкивающее впечатление".

---

[1]) Это напоминает, как рабочие парижских предместий при своем нападении на Конвент (1-го прериаля 1795 года) прикрепили к своим шляпам билетики с надписью: „Хлеб и конституция 1793 года".

Чиновники и духовенство делали попытки уговорить пролетариев бороться против студентов, обещали им за то крупные суммы денег. Конституционная „Дунайская Газета“—орган далеко не из радикальных—впоследствии рассказывала, что один священник в Гауденидорфе предлагал рабочим 30.000 флоринов, если они выступят против студентов. Но дело окончилось только неприятностями для самого же священника. Один член магистрата предлагал рабочим на том же условии 25.000 флоринов, но рабочие схватили его и с криками: „повесить его!“ притащили к университету. Священник, по имени Визингер, пытался подкупить рабочих, предлагая им 27.000 флоринов, и тоже безрезультатно.

И вот люди, которые до сих пор с величайшим презрением говорили „об этом сброде“, теперь прониклись к нему почтительным страхом. Обитатели центральных частей города слишком долго игнорировали пауперизм, массовую бедность, свившую себе гнездо перед городскими воротами. Теперь она в лице тысяч своих представителей разлилась по улицам „императорского города“. Буржуа, аристократы и бюрократы Вены в этот день воочию увидали лохмотья, которые господствующая угнетательская система только и оставляла народу для прикрытия его наготы. Но фарисеи всегда остаются фарисеями. Так и тут величайшее зло они видели вовсе не в том, что эта масса трудолюбивых рабочих не может прокормиться и одеться на свои заработки. Буржуа и аристократы разом прониклись негодованием на министерство за то, что оно своими мерами привлекло в город „этих“ людей. Они быстро запамятовали, что как раз они сами—буржуа и аристократы—побудили министерство сделать свои распоряжения.

Рабочие своим поведением как бы хотели пристыдить трясущихся буржуа. „С о б с т в е н н о с т ь с в я щ е н н а!“—написали они на дверях барских домов. Люди, которые, может быть, целыми неделями не отведывали теплой пищи, тем не менее не тронули ни одной вещицы из сокровищ богачей, хотя все было теперь в их власти. Это явление повторялось во множестве революций, и однако биржевые вампиры и всевозможные угнетатели с неизменным бесстыдством говорят о рабочих, как о „черни, от которой можно ожидать только грабежей“.

Подавляющее большинство населения не скрывало, что его симпатии на стороне студентов. К „ауле“ явился даже отряд вооруженных женщин. Как-никак, а венцы почувствовали, что распущение академического легиона послужило бы сигналом к открытой реакции.

Правительство, пораженное неожиданным сопротивлением, не решилось напасть. Оно уступило. Войска были выведены из города, и караулы заняла национальная гвардия. Правительство согласилось отменить приказ о распущении академического легиона. Победа народа, одержанная, главным образом, благодаря энергичной поддержке рабочих из пригородов, была полной и безусловной.

Между тем распространился слух, что ночью предстоит нападение войск. Рабочие и студенты всю ночь оставались за баррикадами, на которых развели сторожевые огни. Но прошла ночь, а нападения не последовало.

Вожди движения еще вечером постарались использовать одержанную победу. Однако доктор Таузенау и его товарищи даже после только что пережитого кризиса не пришли к политическому прозрению. Они не потребовали отставки министерства, хотя характер его с достаточной ясностью выразился в попытке произвести насильственный переворот. Они потребовали только учреждения особого комитета, составленного из студентов и граждан. Замечательно, что он получил название „комитета безопасности", как будто предполагалось создать из него новую полицейскую власть. Комитет должен был взять в свои руки заведывание общественными делами Вены и наблюдать за тем, чтобы новые права австрийского народа не подвергались нарушению. Национальная гвардия должна была получить 36 орудий. Гойос, Коллоредо, Монтекуколи и профессор Гиэ комитетом безопасности были оставлены в качестве заложников [1]). Изображение графа Бомбеллеса и Монтекуколи народ предал казни через повешение.

Вечером, благодаря стараниям Таузенау, организовался новый комитет из студентов и граждан. Представители рабочих в него не вошли. Они были настолько неопытны, что не потребовали для себя представительства; их требованиям в данный момент не решились бы отказать. Фишгоф был избран председателем комитета. Но в то время, как буржуа предавались безграничным восторгам, рабочие не удовлетворились достигнутыми результатами. Они не оставляли баррикад. Они потребовали освобождения журналистов Гефнера и Туворы, арестованных 18-го мая за попытку провозгласить республику [2]). Министерство тотчас распорядилось отпустить их на свободу, хотя обоих журналистов, обвиняемых в государственном преступлении, мог помиловать собственно только император. Но рабочие и после того не очистили баррикад. Страх мещанства увеличивался с каждой минутой. Комитет безопасности только хитростью удалил рабочих в предместья. Их пригласили устроить торжественную процессию, и они доверчиво поддались на удочку. С развернутыми знаменами рабочие двинулись по улицам; окольными путями их направили в предместья; они примирились с этим. Тогда баррикады были постепенно убраны, и таким образом устранились эти ненавистные для буржуазии „помехи уличному движению".

Темный „инстинкт масс" побуждал рабочих надлежащим образом использовать одержанную победу. Но они сами, несомненно, не знали, как же ее использовать. Иначе они потребовали бы для себя представительства в комитете. Демократы в свою очередь тоже не знали, как им применить свою власть, завоеванную при посредстве рабочих и в известном смысле свалив-

---

[1]) Монтекуколи и Коллоредо бежали; Гойоса и Гиэ задержали, но скоро опять выпустили на свободу. Эндлихер, товарищ профессора Гиэ, тоже получивший незаслуженную известность, бежал и в непродолжительном времени умер.

[2]) Впрочем, и Гефнер и Тувора впоследствии оказались мало достойными народных симпатий: их позднейшее поведение не оставляет места никаким сомнениям на этот счет. Тувора в конце концов пользовался попечениями правительства. Гефнер выдвинулся в 1848 году, главным образом, потому, что в издаваемых им газетах один из первых вскрыл действительное положение венского пролетариата.

шуюся к ним как бы с неба. Ничего не знал и доктор Таузенау. Его современники-почитатели говорили о нем, что у него одного было ясное представление о движении в целом; но это было слишком большим преувеличением. Политической дальнозоркости у него было не больше, чем у его товарищей: доктора Гольдмарка, доктора Фишгофа или у патера Фюстера, полкового священника при академическом легионе. Все они трое пользовались тогда большой популярностью и были избраны депутатами в австрийский рейхстаг. Таузенау превосходил их всех своим ораторским талантом. Его образные, свидетельствующие о пламенной фантазии речи, хотя далеко не художественные с стилистической стороны, увлекали народные собрания.

В майской революции венское движение 1848 года достигло своего зенита. Виолан, переживший эти события, утверждает: „В Вене фактически установилась республика, но, к несчастью, никто не видал этого; если бы кто-нибудь понял это и убедил комитет безопасности, будущее Австрии, несомненно, отлилось бы в другие формы“. Император оставил свою резиденцию при таких условиях, которые делали его отъезд равносильным бегству. Министерство, которому не доверяли ни двор, ни народ, лишилось всякого влияния и, казалось, доживало свои последние дни. Учредительное собрание не было не только созвано, но и избрано. Войско, и без того сравнительно ничтожное, так как главные силы направились на театр итальянской войны, было вынуждено удалиться из Вены. И над всеми развалинами старого строя возвышался комитет безопасности, снабженный безграничными полномочиями. Вся политическая власть сосредоточивалась теперь в его руках; он мог выступить в качестве нового правительства. Ему для этого стоило только взять власть в свои руки.

Но он не взял ее и дал трепещущему от страха министерству Пиллерсдорфа время оправиться. Вся Европа с изумлением взирала на Вену, население которой проявило такую мощь, такую силу. Если бы венцы учредили новое, демократическое, правительство, ни для кого это не было бы чем-то неожиданным, чем-то необъяснимым. За комитетом стояла вся вооруженная Вена, а за Веной—почти вся Австрия. В распоряжении министерства было ничтожное количество войск,—главные силы боролись с восстанием в Богемии и в Италии. Будущее Австрии зависело от исхода борьбы в этих странах [1]). Но комитет, повидимому, совсем не понимал создавшегося

[1]) В это время реакционеры все свои надежды возлагали на победу фельдмаршала Радецкого, которая позволила бы направить войска против венской демократии. Поэтому „черно-желтый“ и желчный пессимист Грильпарцер обращался к старому Радецкому с такими стихами:

„Glückauf, mein Feldherr, führe den Streich,
Doch nicht um des Ruhmes Schimmer,
In Deinem Lager ist Oesterreich,
Wir Andern sind einzelne Trümmer“.

(„Бог на помочь, мой полководец! Наноси свой удар, но не ради мерцания славы: вся Австрия—в твоем лагере; мы же, остальные, просто отдельные обломки“.)

положения,—иначе он не потерпел бы, чтобы в Вене оставалось правительство, которое делало все возможное, чтобы повсеместно подавить борьбу и потом, собравшись с силами, направить их против самой Вены.

В Вене, как и в других местах, все упования возлагали на парламент. Предстояло собрание трех важных парламентов: в Вене, в Берлине и во Франкфурте-на-Майне. Они должны были обновить разодранное одеяние германского единства. Но все три собрания не сумели достать нового материала на это одеяние,—они просто наложили заплатки из старых лоскутьев.

Грильпарцер заслуженно подвергся за это грубым насмешкам. Вообще же буржуазия и ее литературная челядь томилась по штыкам Радецкого, как олень по свежей воде. Елизавета Глюкк, она же Бетти Паоли, представительница „поэзии гувернанток", восклицает по адресу старика Радецкого:

„Ich kann es kaum ermessen,
Dass ich in wachem Traum
Die Lippen möchte pressen,
Auf Deines Mantels Saum."

(„С трудом могу поверить, чтоб сон такой свершился наяву,—чтоб я могла припасть губами к подолу твоей мантии".)

К несчастью, неизвестно, испытала ли в действительности 33-летняя девица такое высокое наслаждение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Франкфуртский парламент.

18-го мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне, в церкви св. Павла собрался первый парламент Германии. Правительства организовали выборы на территории Союза согласно предписаниям предварительного парламента; выборы прошли в общем без всяких помех. Народное движение было еще так сильно, что никакое правительство не могло бы сопротивляться ему, хотя бы оно, как это было в Австрии, с самого начала решило всеми силами противодействовать постановлениям парламента. Правительства Германского Союза выплачивали диэты, т.-е. денежное вознаграждение депутатам парламента.

Комиссия пятидесяти убила свое драгоценное время на самые бесполезные упражнения в красноречии; она вела с союзным сеймом словопрения о пределах своей компетенции и обменивалась с ним забавными нотами. Но все это не охладило великих надежд, которые конституционно-либеральные филистеры связывали с парламентом. В этих кругах парламенту приписывали волшебную силу, способность распутать огромный клубок, называемый германским вопросом, и водворить прочный порядок на место хаоса, возникшего из мартовских дней. После поражения республиканцев свобода, как цель движения, для конституционной буржуазии незаметно подменилась единством. По мнению этой буржуазии, исключительная задача парламента состояла в том, чтобы поставить под одну крышу германское движение, разбившееся на дюжину отдельных ручейков,—отдельных больших и крошечных революций. С тех пор, как перед конституционалистами выступило страшное привидение „анархии“, они уже не хотели и слышать о „свободе“. „Единство“ Германии, с сильным правительством во главе, должно было доставить им прежде всего защиту от городских масс, со стороны которых, как рисовала их напуганная фантазия, следует ожидать всего дурного. Они ждали дальше, что правительство единой Германии восстановит „порядок“, чтобы поднять упавшие курсы бумаг. Они хотели спокойно потреблять свои ренты, заниматься своими делами и накоплять капиталы. В марте все они были достаточно дикими. Теперь самую верную поруку за спокойствие и порядок они видели в войске, которое филистеры порядка

натравливали на демократов. Сами демократы, без всякой нужды обрушиваясь на войско с ругательствами и насмешками, значительно облегчали дело реакционеров. Гражданское ополчение во многих местах обратилось в полицию порядка для мещанства и напуганных филистеров: оно исполняло эту должность с жестокостью скряг, дрожащих за свои накопленные сокровища. В отдельных местах, где гражданское ополчение было демократично настроено, происходили кровавые столкновения между войском и гражданским ополчением. Стычки между народом и войском произошли в Штутгарте, где принц Вильгельм оказался в очень опасном положении, и в Касселе; то же самое в Маннгейме и Дармштадте; в Трире имела место жестокая схватка между демократически настроенной милицией и войском. В Майнце разразилась по поводу вызывающей статьи в „Майнцской Газете" кровавая уличная борьба между прусскими солдатами и гражданскими ополченцами; 4 пруссака при этом было убито и 25 ранено, со стороны майнцских граждан 1 убит и 5 ранено. В Фрибурге и особенно в Ульме войско дошло до того, что учинило насилия над демократами, при чем было много раненых и даже убитых.

Это была социальная реакция, обусловленная эгоизмом и трусливостью класса собственников; она расчистила дорогу для политической реакции. В то время, как по Германии от одного конца до другого звучали гимны свободе, массами городского населения—совсем как в домартовскую эпоху—командовала полиция, и все его движения жестоко подавлялись, во имя порядка, вооруженными добрыми гражданами [1]).

Много было споров о том, подходящее ли место для парламента Франкфурт-на-Майне. Утверждали, что Вена была бы удобней. Это, пожалуй, само по себе справедливо. Но не следует упускать из виду, что парламент, хотя бы он работал под воздействиями большого города, все же благодаря своему составу пришел бы к таким же результатам, как и во Франкфурте, который Арнольд Руге в 1848 году насмешливо называл деревней. В общем роль центра в объединительном движении определялась для Франкфурта преимущественно тем обстоятельством, что бури мартовских дней прежде всего разразились в южной Германии. 5-го марта, когда либеральная буржуазия, собравшись в Гейдельберге, овладела движением, Пруссия и Австрия оставались еще незатронутыми революцией. Поэтому предпарламент собрался во Франкфурте, и этим обусловливалось дальнейшее.

Когда во Франкфурте открылся парламент, либеральная и конституционная буржуазия пришла в упоение. Даже среди демократов некоторые

---

[1]) В то время, когда еще не окончилась „весна народов", в одной швабской деревне близ Штутгарта накрыли за упражнениями в „фехтовании" несчастного ремесленного подмастерья. Полицейский служитель тотчас же засадил парня, при чем разорвал штаны арестованному. Парень вывесил на решетку окна свои сильно пострадавшие штаны и неумолчно взывал: „Здесь показывают свободу Германии!". Понятно, полицейский служитель заставил этого социального философа замолчать; но такая удачная иллюстрация „германской свободы" не прошла незамеченной и вызвала много разговоров и в Вюртемберге и дальше.

питали надежду, что парламент захватит власть в свои руки, как некогда сделал английский Долгий Парламент или французский Национальный Конвент.

Парламент, состоявший приблизительно из 600 членов, представлял изумительную смесь ретроградных элементов и прогрессивных. Там сидели привидения, явившиеся из XVIII века, — медлительные субъекты с белыми головами и серыми воззрениями,—и рядом с ними юные представители только что пережитых бури и натиска. Жертвы домартовского деспотизма перемешивались с представителями домартовского порядка. Помещики и попы, буржуа и крестьяне, литераторы и военные, юристы и богословы, профессора и ремесленники, консерваторы и республиканцы, демократы и конституционалисты, „поумневшие" и „половинчатые", трусливые и решительные, — все это перемешивалось в пеструю смесь. Один беглый взгляд на это собрание должен был привести к убеждению, что преобладание принадлежало в нем конституционалистам, тем близоруким филистерам, которые, вопреки всем тягостным опытам, все еще придерживались—да и теперь придерживаются—предрассудка, будто здоровую государственную и общественную жизнь можно построить на бумажных конституциях, не отыскивая для нее опоры в реально существующих отношениях. Аристократически-реакционная партия до поры до времени примкнула к конституционалистам, выжидая момента, когда можно будет развернуться во всю. Конституционалисты, в свою очередь, с большим рвением выполняли предварительную работу для позднейшей реакции; они подготовили демократии полное поражение на парламентской арене и после того сами лицом к лицу встретились с усилившейся и реорганизованной реакцией, которая отстранила их с домартовской бесцеремонностью.

Не всякий мог бы сначала заметить, что события развиваются в таком направлении. Собрание парламента еще раз вызвало взрыв ликований, как в полные возбуждения мартовские дни. Оно и понятно: до сих пор никто не видал такого собрания в Германии; с другой стороны, в его среде были члены, имена которых немец привык произносить с благоговением или с почтительностью. Иначе думали люди дела, республиканцы, бежавшие за границу. Они достаточно знали фанатическое отношение „добрых граждан" к порядку и потому с полной основательностью предполагали, что собрание, даже допуская в нем самые благие намерения, своими речами и бумажными постановлениями не в состоянии разрешить того, что было самым насущным вопросом момента: противопоставить реакционным силам суверенную, верховную власть народа [1]).

Но что такое представлял собою народ?

---

[1]) Меслинг высказывает такие суждения об этом предмете: „Мы никогда не возлагали особенных упований на франкфуртский парламент и с сожалением относились к немногим друзьям и товарищам по убеждениям, которые заседали в нем; посланные народом на пост, на котором мало можно снискать чести, мало можно сделать полезного, но приходилось бесконечно много претерпеть отвратительного, они вынуждены были оставаться на этом посту, пока их не отзовут или не прогонят силой".

Это была масса, живная и раздиравшаяся тысячами различных и противоположных интересов. С того времени, как крестьяне были удовлетворены, собственно революционные элементы оказались слишком слабыми для того, чтобы вдохнуть в движение энергию и дать ему направление. По своей многочисленности, по крайней мере в больших городах и некоторых более развитых промышленных центрах, за крестьянами следовало мещанство, которое в движении играло роль свинцового груза, привязанного к ногам.

Скоро произошло разделение на партии.

Правая выдавала себя за аристократически-конституционную партию, но для большинства ее членов это была только маска. Всеми силами скрывали они, что они—абсолютисты чистой воды, и делали все, чтобы, пользуясь услугами конституционалистов, привести к краху ненавистную демократию, а потом разделаться с не менее ненавистными конституционалистами. Здесь занимал свое место генерал фон-Радовиц, ловкий интриган, который одновременно считался фаворитом при прусском дворе и другом иезуитов; в темных происках ему помогали два „брата во Христе": Кеттелер, позднее майнцский епископ, и Деллингер [1]). На правой же стороне сидел и фон-Винке; его главной целью было растворить Германию в Пруссии. Он был краснобаем правой, между тем как князь Лихновский, авантюрист, бывший на службе у испанских карлистов, приобрел известность дерзкими и надменными выходками против демократии. К правой же примкнули остроумный Детмольд из Ганновера и Флоттвель из Мюнстера.

Центр объединял в себе только конституционалистов; он разделялся на правый и левый центр.

Правый центр, конституционно-аристократически-либеральная фракция, составился из либеральных патриотов прошлых десятилетий; они отчасти пострадали от травли, поднятой на „демагогов", и все же не в состоянии были уразуметь, что в период с 1817 по 1848 год многое стало другим. Если им даже и не удалось самим сделаться „государственными людьми", получить место в правительстве, то во всяком случае их смиренно-доверчивое отношение к верху могло итти в сравнение только с их страхом перед „анархией" снизу. Здесь можно было видеть Эрнста-Морица Арндта и „отца гимнастики" Яна, все еще считавших современным французоедство, с которым они свыклись в эпоху войны за освобождение князей. Сильвестр Йордан и Эйзенман в домартовских тюрьмах приобрели благонамеренность по отношению к тем властям, которые их заточили. К этой же партии принадлежали Миттермайер и „духовидец" [2]) Бассерман, с которым у первого из-за ареста

---

[1]) Вуттке из Лейпцига, член франкфуртского парламента, утверждал, будто во всем парламенте никто не умел говорить так увлекательно, сильно и убедительно, как фон-Радовиц. Можно сомневаться, насколько справедлив этот отзыв.

[2]) В ноябре, в разгар реакции в Берлине (см. гл. XXI), Бассерман прибыл туда в качестве комиссара от „центрального правительства", чтобы примирить враждебные стороны. Возвратившись во Франкфурт, Бассерман доложил парламенту, что крутые меры прусского правительства нельзя признать безосновательными: в последнее время на берлинских улицах можно было видеть множество бродяжничающих „фигур" опасного вида, которые всегда предшествуют анархическим движениям". С той поры Бассерман получил кличку „духовидец".

Фиклера произошло такое жестокое столкновение; дальше Симсон, впоследствии президент германского рейхстага и имперского суда; Дальман из Бонна, историк; Роберт Моль из Гейдельберга, профессор государственного права; трусливый Риссер из Гамбурга, болтливый Велькер, толстый Суарон из Маннгейма и наконец человек с всклокоченными бровями, Генрих фон-Гагерн. Особая свита, которую Гагерн собрал около себя, позднее была почтена со стороны демократов кличкой „гагернской роты“.

В левом центре сидели: Венедей из Кельна, который вместе с Морицем Молем из Штутгарта развил благородный спорт, — кто из них успешнее сумеет убить время парламента бессодержательной, невыносимой болтовней; Людвиг Уланд из Тюбингена, который говорил мало, но доказал свою твердость и постоянство; Фалльмерайер, известный путешественник и историк востока; Раво из Кельна, очень красноречивый и ловкий, но колеблющийся при колебаниях в окружающем; Эйзенштук из Хемница, промышленник, и Симон из Бреславля, человек устойчивых юридических принципов. При своем демократическом налете конституционный левый центр во всех голосованиях колебался между демократией и конституционным либерализмом то в одну, то в другую сторону; но когда его заоблачные иллюзии были развеяны порывом реакции, он в большинстве случаев голосовал с левой.

Вождем собственно левой был Роберт Блюм из Лейпцига, которому предстояла трагическая судьба. Среди этой партии особенно выделялись Карл Фогт из Гиссена, который нередко говорил остроумно, но, к несчастью, слишком уж много; Брентано из Бадена, впоследствии „могильщик“ баденского восстания; Циммерман, бургомистр в Шпандау, и Циммерман из Штутгарта, известный историк крестьянской войны [1]); Веленлонк из Дюссельдорфа, Шюлер из Иены и Мориц Гартман из Лейтмерица, известный поэт. Дальнейший ход событий показал, что эта знаменитая левая, которой еще и в настоящее время воздается великое почтение, стояла значительно ниже исторической задачи, выпавшей на ее долю. Но было бы странно, если бы „просвещенные“ эпигоны вздумали превозноситься перед левой 1848 года и совсем позабыли, что гораздо легче критиковать после того как события совершились, чем в критический момент избрать правильный путь. Позиция, которую занимала франкфуртская левая, была с самого начала потеряна, но ее можно было бы потерять с несколько большим достоинством. Среди левой находилось несколько членов выдающихся личных достоинств, которые заслуживают вечного уважения. Но взятая, как целое, эта партия, при всех своих фразах, была неспособна управлять рулем революции.

Некоторые члены отделялись от левой, как крайняя левая. Это были строгие республиканцы, отчасти с социалистическими тенденциями. К крайней левой принадлежали; старший Шлеффель, неукротимый демократ из Гиршбергской долины в Силезии, Трюцшлер, впоследствии одна из благороднейших жертв военных судов, Циц из Майнца, Симон из Трира, который

---

[1]) Есть русский перевод этой работы: В. Циммерман, „История крестьянской войны в Германии“. Спб. 1865, 1866 и 1868 г.г.

умел облекать демократическую фразеологию в прекрасную форму, и радикальный философ Арнольд Руге.

Если бы мы постарались дать здесь перечень всех более или менее известных имен, это повело бы нас слишком далеко.

Немцы еще не обладали навыком к парламентским формам, и Ланг из Вердена, оказавшийся президентом по старшинству, при своей старческой слабости не мог овладеть запутанными дебатами. Арндт и Ян, две окаменелости из эпохи войн за свободу князей, в день открытия заседаний выступили с чем-то таким несуразным, что в собрании никак не могли поверить, чтобы это были два знаменитых патриота из эпохи французской войны.

19-мая, на втором заседании, удалось выбрать временного президента. Перевес оказался при этом на стороне конституционалистов. 305-ю из 397-ми голосов был избран Генрих фон-Гагерн. Он занял место, обещал беспристрастие при исполнении своих обязанностей и потом, со свойственным ему пафосом, заявил:

„Нам предстоит разрешение величайшей задачи. Мы должны выработать конституцию для Германии, для всей империи. Мы призваны и получили полномочие на разрешение этой задачи в силу суверенитета нации".

Эти слова были встречены бурей аплодисментов и нашли отголосок во всей империи. Все призывавшие к доверию, все трусливые души пришли теперь к выводу, что верховная власть германского народа установлена непоколебимо—словами благородного фон-Гагерна. Он имел хорошее состояние, был дворянин, человек с выдающимся общественным положением и, сверх всего этого, мартовский министр,—следовательно, достаточный авторитет для среднего немца тогдашнего времени, которому было бы всего приятнее, если бы высшее начальство приказало ему сделаться свободным.

Вице-президентом избрали Суарона, а Роберта Блюма забаллотировали. Тоже своего рода предзнаменование.

Уже первые заседания показали, как недалеко ушло собрание со своим суверенитетом. Депутат Циц из Майнца обратился к собранию за помощью по случаю уже упомянутого столкновения в Майнце, где произошла кровавая уличная борьба. Комендант майнцской крепости угрожал, что будет обстреливать город гранатами, если гражданское ополчение не выдает оружия. Офицеры милиции постановили произвести разоружение [1]). Если бы собрание сознавало свою задачу, оно должно бы было применить все меры, чтобы воспрепятствовать разоружению майнцской милиции. В этом случае оно должно было отважиться померяться силами. Но ему было очень далеко до такой решительности. Произошли горячие дебаты, во время которых Циц в пламенных выражениях требовал от собрания, чтобы оно отменило акт насилия со стороны коменданта майнцской крепости. Роберт Блюм, который

---

[1]) Когда обсуждался вопрос о разоружении, только один офицер, как сообщают, заявил: „Пусть их стреляют!". Он думал, что бомбардировка Майнца и обусловленная этим борьба вызовут новый подъем уже ослабевшего народного движения. Говорят, что это был доктор Витман, умерший в конце 80-х годов.

выступил здесь в первый раз, очень энергично поддерживал Цица. „Мне не верится,—воскликнул он,—чтобы начали этим: зажигательными снарядами обстреливать город империи!". Но правая уже понимала, что скоро будет и на ее улице праздник. Лихновский по обыкновению свысока и вызывающе говорил о „красных штанах майнцских якобинцев" и закончил хвалебным гимном прусскому войску. „Государственные люди" оспаривали у собрания право вмешательства, и Виденбругк высказал убеждение, что „собрание не имеет права брать в свои руки исполнительную власть; его право исчерпывается выработкой конституции". — Но тогда откуда же взялось у веймарских крестьян право вторгнуться в замок своего государя и навязать ему господина Виденбругка в мартовские министры?

Левую перекричали и подавили большинством голосов. Цицу не дали сказать заключительного слова, и когда он, как инициатор предложения протестовал против этого, благодарный фон-Гагерн насмешливо крикнул ему: „Вы можете протестовать сколько угодно!".

Итак, парламент, при криках торжествующих реакционеров, сам заявил, что у него нет права оказать майнцским гражданам помощь против коменданта прусской крепости,—и это после того, как разоружение майнцской милиции совершилось на самых глазах у народного представительства; большинство парламента без всяких стеснений объявило действия крепостного коменданта правомерными. После этих фактов у всякого должны бы раскрыться глаза. Но тогда слишком охотно поддавались ошеломляющему действию трескучих фраз, и политическое неразумие достигало такой степени, что словам придавали больше цены, чем делам. Собрание показало, что у него нет ни решимости, ни средств для того, чтобы выступать действительным воплощением народного суверенитета; оно свернуло все свои паруса перед майнцским крепостным комендантом. И однако доверчивые души опять воспрянули духом, когда собрание 27-го мая приняло постановление, что оно—учредительное собрание, т.-е. что оно намерено само выработать новую конституцию и привести ее в действие, независимо от согласия государей и правительств. Правда, это было решено еще предпарламентом, и само по себе постановление не имело никакого значения [1]). Однако этого было достаточно, чтобы разом открылись все шлюзы перед реторикой собравшихся государственных „деятелей"; все эти художники слова, все болтуны и пустомели справа, слева и из центра соперничали один перед другим, чтобы, ни перед кем не неся ответственности, убить драгоценное время парламента в хорошо построенных, богатых громкими фразами и самодовольных речах.

[1]) Постановление гласило: „Учредительное собрание, как орган, созданный волею и избранием германской нации для того, чтобы положить основание свободе и политическому единству Германии, объявляет: все постановления, содержащиеся в конституциях отдельных германских государств и несогласные с общей конституцией, которая имеет быть выработана собранием, подлежат пересмотру для согласования с последней, что не прекращает их действия в настоящее время".

Между тем постановление, что собранию принадлежит верховная власть, уже потому не имело никакой ценности, что оно существовало на бумаге, на одной только бумаге. Нельзя на простых постановлениях построить суверенитет,—для этого требуется одно: действительная, реальная сила. Происхождение собрания было революционное; оно с радостью отреклось бы от этого, и однако только буря народного движения могла вдохнуть в него силу. Для существования самого собрания, для проведения новой конституции, которую оно должно было создать, требовалась сила; силу же могло доставить и обеспечить за ним только парламентское войско. Но парламент не создал для себя войска; не было даже внесено ни одного практического предложения об организации парламентского войска; только в дебатах несколько раз—в туманных и спутанных формах—проскользнула идея о таком учреждении. Пришли, впрочем, к мысли объединить милицию всей Германии под начальством одного лица и при его содействии осуществить вооружение народа в согласии с постановлениями собрания. Но, как мы увидим, гражданское ополчение было неспособно послужить для собрания защитой в минуту опасности и, кроме того, не удалось соединить его в одну армию. С другой стороны, реакционеры обратили в ничто все эти робкие начинания. Они провели учреждение ополченской комиссии, которой передавались все дела, имеющие отношение к народному ополчению. В комиссию вошли почти одни только члены правой, и вся ее деятельность заключалась в том, чтобы тормозить и проваливать все, что должно было бы служить интересам народного ополчения. Понятно, что сознательные реакционеры не чувствовали никакой нужды в парламентском войске; напротив, они употребили бы все свои силы на то, чтобы воспрепятствовать организации такового. Конституционалисты, которые уже низко поклонялись идолу будущей конституции, по своей трогательной доверчивости считали парламентское войско излишним, а потому и опасным; что касается членов левой,—они или думали, что проект парламентского войска все равно не пройдет, или полагались на „вооруженный народ". Даже их не могло достаточно вразумить майнцское дело. даже они не видали, что гражданское ополчение почти повсюду превратилось в полицейское учреждение.

Но с тем большим жаром набросились они на идею организации временного центрального правительства. Она как нельзя больше соответствовала воззрениям конституционалистов. Они витали в облаках и не понимали того, что, создавая центральную власть, тем самым они противопоставляют собранию новую силу, которая должна с естественной необходимостью сделаться тормозом для него. Они не понимали, в чем собственно заключается недавно завоеванная свобода, и потому поддались увещаниям лукавых реакционеров, что необходимо во что бы то ни стало иметь „сильную" центральную власть. Конечно, „суверенитет" собрания, и без того почти вовсе бессильного, совершенно утрачивался, если ему противостояла сильная центральная власть; тем не менее конституционалисты с таким упрямством настаивали на центральной власти, что лишний раз с величайшей наглядностью иллюстрировали, как боги поражают слепотой тех, кого они хотят погубить.

Вопрос о центральной власти возбуждался уже в комиссии пятидесяти. 3-го июня парламент назначил комиссию пятнадцати, которая должна была обсудить поступившие за это время предложения, касающиеся учреждения центральной власти, и потом представить доклад. Днем обсуждения доклада в общем собрании парламента было назначено 17-е июня; заявило о желании говорить до 200 ораторов. Парламент, несомненно, создал бы нечто великое, если бы он во всем обнаруживал такой же пыл, как в деле многоглаголания. К несчастью, его жар утолялся как раз болтовней; и на этот раз словесная битва растянулась на восемь дней, а то, что в конце концов получилось, было всего лишь знаменитой мышью, которая так часто появляется на свет, когда рожает гора.

Доклад комиссии прочитал Дальман из Геттингена, один из знаменитых семи геттингенцев (см. выше), настоящая профессорская натура. Учился он много, но при этом воспринимал только шелест страниц в своих фолиантах, но никогда не воспринимал шума свежей, подлинной жизни. От имени большинства комиссии он предложил директорию из трех членов; члены намечаются правительствами, а национальное собрание без обсуждения должно принять их. Директория союза должна назначить министерство, ответственное перед собранием; она не принимает участия в выработке конституции и распускается по завершении этого дела.

Доклад раскрывал всю безграничную доверчивость конституционалистов. Безответственная директория с ответственным министерством! Дальман и К°, великие государственные мудрецы, хотели передать директорию в руки трех принцев; только они еще не успели прийти в соглашение с правой, каких именно принцев.

Левая внесла два предложения. Блюм и Трюцшлер, представлявшие демократическое меньшинство комиссии, предлагали, чтобы собрание избрало одного из своих членов главой исполнительного комитета; глава должен по своему собственному свободному выбору избрать себе четырех товарищей; этот комитет ответствен перед национальным собранием, постановления которого он должен исполнять; все дела распределяются между его членами. Было внесено, кроме того, еще одно предложение, подписанное преимущественно членами крайней левой. Оно просто требовало, чтобы собрание из своей среды избрало временное, ответственное перед ним правительство из пяти членов и передало ему верховную исполнительную власть над всей Германией.

Последнее предложение левой было в известном смысле революционным; оно делало новые шаги по тому же пути, на который в марте месяце ступили в Гейдельберге Гагерн с товарищами. Но последние к этому времени уже дошли до предела, на котором их заставил остановиться классовый интерес и конституционалистская ограниченность; в них не было и следа идеализма левой. Они вопили, что левая стремится к созданию Конвента. Действительно, временное правительство, как его требовала левая, было сколком с Комитета Общественного Спасения 1793 года. Но именно только сколком и притом довольно жалким, потому что Комитет Общественн-

ного Спасения во Франции обладал фактической властью, между тем как в Германии ее не было бы у временного правительства, которого требовала левая. Иллюзии левой не уступали оптимизму конституционалистов. Попытка построить над Германией республиканскую крышу, под которой должны обитать 36 монархов и сдерживаться в известных границах единой республиканской центральною властью,—это было нечто до того невероятное, что по отношению к такой идее едва ли можно относиться серьезно. Предложение левой имело бы известное значение лишь в том случае, если бы франкфуртское собрание обладало силой Конвента; но так как у него такой силы не было, и большинство совсем не хотело взять такую власть в свои руки, то предложение представляло сплошную утопию. Им воспользовались, чтобы нагнать страх на филистеров: самыми яркими красками рисовали конфликты, которые должны будут возникнуть в случае принятия предложения; вызывали перед глазами потрясенных добрых буржуа кровавый призрак террора 1793 года, тени Робеспьера и Фукье-Тенвиля [1]).

Большинство собрания, неуверенно нащупывая дорогу, колеблясь между тысячами страхов и упований, толкаемое интригами прусских и австрийских дипломатов то в одну, то в другую сторону, не согласилось ни с большинством комиссии, ни с предложениями левой и в конце концов передало центральную власть одному лицу, притом неответственному перед ним.

Во время этой спутанной игры дуализм между Австрией и Пруссией продолжал оказывать свое действие, но обе стороны до поры до времени постарались заглушать свои антипатии. Их объединяло одно стремление—не допустить, чтобы дело конституции восторжествовало. Но в то время они не могли еще знать, что они одержат такую полную победу, как это оказалось впоследствии.

Интриги, которые прусские и австрийские реакционеры завязали с конституционалистами, еще и теперь не разоблачены с достаточной полнотой. Может быть, преднамеренно или непреднамеренно кое-что выболтает тот или другой из участников этих интриг,—некоторые из них живы до настоящего времени. Может быть, еще появятся в свет мемуары лиц, унесших за собой в могилу правду об этих делах. Но уже обстоятельства, при которых была создана центральная власть, отчасти позволяют уразуметь, как сплетались интриги.

Господин фон-Винке, черно-белый (цвета Пруссии) краснобай, уже 31-го мая предложил своим ближайшим друзьям по партии, чтобы они провозгласили необходимость наследственной императорской

---

[1]) Это излюбленный рецепт реакционеров: если запугать филистера-либерала, от него можно всего добиться. Он успешно применялся и в 1878 году, чтобы создать настроение в пользу исключительных законов против социалистов. Тогда официальные газеты прямо писали: „Следует размахивать красной тряпкой перед носом либерального филистера до тех пор, пока он не поверит, что это — зарево пылающих городов". Либерального филистера считали до того глупым, что это говорилось открыто, и он действительно поверил картинам ужасов, которыми его обрабатывали.

власти, *которая немедленно должна перейти к Пруссии.* Браун из Кеслина, горячая черно-белая голова, не хотел даже выжидать того времени, когда обстоятельства изменятся настолько, что можно будет надеяться на принятие такого предложения. Нельзя сомневаться, что именно заявление фон-Винке о прусской наследственной императорской власти побудило его сделать преждевременную попытку. Во время прений о центральной власти чистосердечный померанец внес предложение: до той поры, пока высшая государственная власть в Германии не будет организована окончательно, передать исполнение соответствующих функций прусской короне. Собрание осмеяло инициатора предложения, притом осмеяла его не только какая-нибудь левая, но и те члены, которые спустя три четверти года избрали прусского короля в наследственные императоры. Значит, по существу у них не было оснований смеяться.

Между тем фон-Винке вступил в открытое соглашение с австрийцами. Президент союзного сейма, рыцарь фон-Шмерлинг, который был в то же время членом национального собрания, противодействовал всем стремлениям к гегемонии Пруссии. До каких пределов простиралось соглашение, можно только догадываться. Как бы то ни было, господин фон-Винке вдруг выпалил, что центральную власть следует вручить австрийскому принцу. Трудно сказать: не получил ли он из Берлина указаний, как ему надо держаться, Винке полагал, что государи должны назначить директора для союза. Вся правая думала так же, но она знала, что нет никакой надежды на проведение соответствующего постановления. И дипломатически предусмотрительная, она воздержалась от внесения таких предложений, не желая испытать поражение. „Я думаю,—сказал Винке,—что среди членов австрийского дома есть один, который пользуется особенно горячими симпатиями Германии, что его заслуги завоевали ему любовь не в одной только Штирии, что и Германия еще вспоминает возвышенные слова, которые он некогда сказал за королевским столом: „*Ни Пруссии, ни Австрии, а единая свободная Германия, крепкая, как ее горы!*"

Таким образом лидер черно-белой партии указал на старого эрцгерцога австрийского, как на искомого носителя центральной власти. Раз хотели вообще навязать принца, этот выбор был очень удачен, потому что приведенный сейчас тост, а также и другие обстоятельства сделали эрцгерцога Иоганна очень популярным во всей Германии.

Визнер из Вены, оратор со стороны левой, сказал, что неответственная директория или неответственный имперский правитель [1]) угрожают Германии величайшими опасностями, особенно если правительствам будет предоставлено назначать или хотя бы только предлагать лиц на эти посты. В продолжение тридцати лет правительства постоянно отыскивали непригодных людей для своих собственных государств; теперь же они должны предло-

---

[1]) В красивое слово Reichsverweser, имперский правитель, имперский администратор, представляется почти насмешкой, непреднамеренной, или даже злостной, над всем делом конституции.

жить людей для всей Германии. Если выдвигают такие проекты, это доказывает только, до какой степени успела усилиться реакция.

Визнеру возражал Нагенштехер из Эльберфельда, один из „доверчивых": какая бы то ни было узурпация невозможна для ответственной центральной власти; германский народ как в своей массе, так и в лице своих представителей, является достаточным противовесом всякому произволу со стороны главы государства.

То же говорил и Гекшер из Гамбурга. Этот честолюбивый гамбургский адвокат, с „лицом как государственные бумаги" [1]), до того времени разыгрывал из себя дикого республиканца; еще незадолго перед тем, участвуя в загородной прогулке левой, на развалинах одного древнего пфальцского замка он так резко говорил против князей, что пфальцские девицы, бывшие тогда республиканками [2]), увековечили его сильные выражения в своих дневниках. А теперь будущий имперский министр уже склонялся направо,— так быстро испарился хмель пфальцского праздника свободы. Он так некрасиво выступил против демократии, что кто-то из левой крикнул ему прямо в лицо: „Вы нравственно мертвы для нас!". Слова Гекшера потонули в шуме, который разразился против него на левой.

Рейнвальд из Берна и Маммен из Плауэна напомнили собранию гагенское заявление об его суверенитете; они доказывали, что правительства далеко еще не порвали с старой системой.

Везендонк высказал убеждение, что центральная власть, организованная согласно с докладом комиссии, будет органом не собрания, а правительств. Центральная власть должна быть ответственной перед собранием, да она ответственна и теперь, потому что в постановлении о флоте была уже выражена мысль об ответственности [3]).

Бассерман из Мангейма выступил против предложений левой. Правительства, говорил он, уже теперь повсюду являются представителями суверенной воли народа. Но если избрать исполнительный комитет, как бы он стал исполнять постановления собрания? Собрание, оставаясь на почве законности, не может располагать ни единым крейцером денег, ни единым солдатом. Правительства не станут исполнять распоряжений центральной власти, в организации которой они не принимали участия, и тогда центральная власть должна будет призывать к сопротивлению, к перевороту и в конце концов станет формировать полки волонтеров. Миллионы граждан скажут себе: лучше порядок без особой свободы, чем такая свобода без порядка!

Бассерман говорил слишком нескладно и неискусно, и потому трудно предположить, чтобы он был посвящен в планы Винке, Шмерлинга и Гагерна. Но все же реакционеры наградили его шумными аплодисментами, и это так ободрило москотильщика, игравшего роль государственного человека, что он

[1]) Так его характеризует Мориц Гартман в „Reimchronik des Pfaffen Maurizius".

[2]) Те из них, которые еще живы, с того времени, сделавшись добрыми женами, превратились в старых национал-либеральных святош.

[3]) Национальное собрание почти единогласно ассигновало шесть миллионов талеров на германский флот.

добавил еще по адресу левой: она ведет к потрясениям, к расколу, отчасти даже к **т о м у, ч т о о т д а е т н а с и н о с т р а н ц а м** [1]).

Дункер из Галле, неизмеримо премудрый, предостерегал национальное собрание от „вожделений к господству“. Он говорил, что предложение левой ведет на путь Конвента, а потому толкает нацию в пропасть. Итти по такому пути значит предавать народ. „Обратимся за предложениями к правительствам и **п р и м е м** простым голосованием, что предложат они; так мы созиждем для германского народа крепкое здание единства и свободы!“.

Простота или хитроумие говорило устами оратора, но всяком случае реакционеры пришли в бурный восторг. Еще бы! Ведь им было воздано должное.

Тем не менее правая сторона оставалось в высшей степени непоследовательной. Она восторженно встретила заявления Бассермана, что парламент не располагает ни грошем денег, ни единым солдатом, и несмотря на то, член правой, Кольпарцер из Нейгауза внес предложение: считать нападение сардинского короля на Триест объявлением войны Германии. „Немец должен действовать!“ воскликнул он, и его предложение было принято, как будто собрание хотело само себя поднять насмех.

Рэ из Дармштадта, красноречивый адвокат, вспомнил о жертвах 1813 г. и окончил таким заявлением: „Много жертв принес народ государям, те нерь, наконец, и князья, как достойные дети Германии, должны принест жертву народу. Мы плывем между двух скал; на одной мы можем потерпет крушение, если у нас есть мужество, на другой,—если мы охвачены стра хом. Я обращаюсь к вам с призывом: „мужество!“ и миллионы призывают к тому же. В эти дни решается судьба Германии!“.

Фон-Вюрт из Вены полагал, что, если национальное собрание высту пит в роли германского правительства, это поведет к республике, но наро не хочет республики,—это обнаружилось во время мартовских бурь.—Веде кинд из Брухгаузена резко выступил против дальнейшего существования со юзного сейма.

Прениям все еще и конца не предвиделось. Поэтому, после призыв Арнольда Руге к патриотизму, некоторые депутаты, внесенные в список ора торов, решились принести жертву отечеству и отказались от слова. 20-і июня взял слово главный оратор левой, Роберт Блюм из Лейпцига. В эт день он достиг зенита своей политической карьеры. Он говорил долго и сильно произвел огромное впечатление, какое едва ли когда-нибудь, раньше или позж удавалось производить какому-либо другому оратору собрания. Блюм, і своим воззрениям стоявший на середине между демократами-конституцион листами и республиканцами, доказывал, что парламент, которому нац вверила свое всемогущество, для возвещения своей воли нуждается в и **п о л н и т е л ь н о м к о м и т е т е**. Комитет не приведет Германию к внутре нему разложению; он должен вмешиваться своей охраняющей рукой. Все г

[1]) Отсюда видно, что современные национал-либералы, которые всякого, кто в ступает против них, так охотно обвиняют в „симпатиях к загранице“ получили нау у знаменитого „фигуровщика“.

ударство должно быть единой „республикой" только затем, чтобы предоставить отдельным частям возможность самостоятельного развития. „Если равительства,—говорил Блюм,—действительно представляют то, что о них так асто утверждают, если они являются благожелательными исполнителями и отовы приносить жертвы, когда того требует общее благо, тогда дело государственного устройства так просто, что проще и быть не может. Если ке правительства неблагожелательны—другая сторона тоже часто говорит это о них и в подтверждение ссылается на отдельные явления, которым она, может быть, приписывает слишком большее значение,—если так, тогда не будем утаивать наших мыслей. Тогда комитет должен поставить требования времени выше правительств, тогда он должен выступить против них и не приносить нацию в жертву отдельным интересам, а *напротив—скажем открыто!—разбить вдребезги противодействующих*. Если мыслим такой случай—я хочу думать, что он не мыслим!—тогда это был бы воистину изумительный строй: мы вручили бы исполнительную власть или временное правительство, в которое она должна превратиться, вручили бы эту власть тем, против кого она должна и обязана будет действовать". Относительно директории Блюм заявил: „У вас нет конституции, нет фундамента, на котором должна стоять эта власть, вы не наметили границ, в пределах которых она должна действовать, у вас нет даже средств, чтобы удерживать ее в границах; поэтому она представляет деспотию, является диктатурой безграничной диктатурой, угрожающей свободе, как едва ли что-либо другое. Вы призваны верховной властью народа, и вы останетесь верны своим полномочиям лишь до тех пор, пока охраняете суверенитет народа. Вам *не предоставлено вступать в переговоры*; скорее вы обязаны сложить свои полномочия, чем отступить перед задачей, которая сделалась вашей... И пусть не толкуют больше о почве исторического права,—продолжал Блюм.—В Германии было государство, которое тоже крепко стояло на почве своего исторического права,—и было потрясено до самого основания ногою танцовщицы [1]); и многое другое может казаться прочным в германском отечестве, что при ближайшем рассмотрении оказывается не крепче, чем строй, ниспровергнутый Францией". „Не следует,—сказал дальше Блюм,—постоянно ссылаться на Францию. Позор для человечества, что снова и снова приходится говорить о 80.000 голодающих братьев, которых вынуждено кормить это государство: деспотия Луи-Филиппа оставила Франции в наследство такую нужду. Что касается того исторического права, на почве которого стоим мы,—воскликнул Блюм,—голодающих скорее бросили бы в жертву голодному тифу". Он закончил так: „*Если вы хотите видеть, как закроются небесные очи свободы, если вы хотите, чтобы над нашим народом опять распростерлась прежняя ночь, тогда создавайте свою диктатуру!*."

Эти слова навеки врезались в память тем, кто слышал их. Они воспламенили левую, привели ее в восторг; не могли не произвести они глубокого

[1]) Лолы Монтес.—Выше в другой связи, уже упоминалось об этом месте из речи Роберта Блюма (стр. 109).

впечатления и на центр, но все же это были слова, и где же им было разрушить тонкие интриги дипломатов и реакционеров!

Людвиг Симон из Трира, самый цветистый оратор левой, утешался иллюзиями, утверждая, будто войска преданы парламенту. Впоследствии ему пришлось убедиться в другом. Кто противится постановлениям парламента, говорил он, тот бунтовщик, кто бы он ни был. „То, к чему вы стремитесь,—воскликнул он,—есть спокойствие и порядок. Так не отшатывайтесь пугливо в прошедшее, так шествуйте смелым шагом на последнюю преграду, которую опрокинуло наше время. Там воздвигнете здание и тогда обретете спокойствие и порядок!“.

Велькер в сущности повторил заявление Бассермана и в особенности предостерегал от ходячих выражений, как „суверенитет народа“, которые сам он, впрочем, употреблял очень часто. „Прошли времена,—воскликнул он, когда гром трубы разрушал иерихонские стены. Необходима реальная сила, а реальная сила имеется в тех случаях, если все правительства исполняют охотно и добровольно, добровольно делают то, что вы здесь постановите, и правительства сделают так, если вы предварительно осведомитесь об их мнении“.

Правая приветствовала щедрыми аплодисментами эти пустые фразы. Но вот на трибуну поднялся Адольф фон-Трюцшлер, которому предстояло пасть жертвой контр-революции, богато одаренный молодой аристократ из Саксонии, по своим воззрениям опередивший свое время, социалист почти в современном значении этого слова. „Идеал братства и самой простой организации правительства безраздельно господствовал над ним, безграничным приверженцем всеобщей свободы и братства“,—говорит о нем один из его товарищей по партии. Трюцшлер высказал убеждение, что всякий человек является в мир как суверен, что всякий человек имеет право самоопределения. Его ближние имеют право налагать на него ограничения только в том случае, если это необходимо для общего блага. „Если вы,—говорил он,—отречетесь от суверенитета, как предлагает комиссия, вы тем самым совершите преступление, которое уложения обыкновенно называют именем государственной измены. Нет такого суда, который привлек бы к ответственности тех, кто высказывается за предложение комиссии; но может случиться, что народ сам потребует к ответу и вынесет обвинительный приговор тем людям, которые хотят поставить границы его верховной власти“.

Левая аплодировала, правая кричала: „К порядку!“ Но Суарон, председательствовавший в заседании, не призвал оратора к порядку.

Беккерат из Крефельда пытался опровергнуть доводы Блюма. Он иронически поблагодарил его за откровенность. Исполнительный комитет, полагал он, должен привести к господству террора; это Блюм открыто признал своим „раздробить“. Он вспомнил об избиениях, которые совершались во время восстания в Неаполе, и высказал убеждение, что Германии народу никогда не угрожает что-либо подобное. Центр и правая аплодировали ему, громче всех те, кто позже обнаружил наибольшую кровожадность. Беккерат продолжал, что он опасается, не могут ли в Германии найтись Мараты и

Робеспьеры. Он рекомендовал мудрую умеренность и настаивал на принятии предложений комиссии,—тогда „свобода не закроет небесных очей". „Может быть, мы погибнем, защищая истинную, законную свободу, но из священной близости этой свободы пусть исчезнет всякое дерзновение анархии".

Вопреки всем красивым фразам справа и слева, собрание, как целое, представляло далеко не возвышенную картину, когда оно спорило о том, должно ли оно само организовать центральную власть или нет. Между тем еще раз пришлось сократить список ораторов, потому что прениям конца не предвиделось.

Вильгельм Иордан из Берлина, тогда еще занимавший место на левой в остроумной речи сравнил Дальмана и его друзей с Архимедом, который погрузился в раздумье над своими фигурами и не замечает опасности. „Они все чертят на песке свои фигуры,—воскликнул он,—а когда подходят к ним и кричат в самое ухо: „Отечество в опасности!", тогда единственное их чувство—досада, и единственный ответ от них: „Не смешай мне мои фигуры!".

Правая пришла в ярость, левая смеялась, и по собранию прокатился громовый хохот, когда Иордан воскликнул: „Привидение продиктовало этот проект". Все повернулись в сторону Дальмана, который, действительно, походил на привидение. Но Иордан придал своим словам другой оборот и сказал, что привидение—это страх перед республикой. „Однако,—спросил он,—неужели уж так невозможно открыто признать принцип конституционной королевской власти для отдельных государств, если власти всего государства дана республиканская форма?" [1]).

Эйзенштук из Хемница сказал, что, если исполнительную власть избрать не через национальное собрание, а как-нибудь иначе, это будет контр-революция. Он дальше напал на прусский таможенный союз, косвенные налоги и таможенные пошлины. Говорят, что эта система должна просуществовать до 1850 года; но до того времени народ, при самой свободной конституции, наполовину вымрет от голода. „Хотят сохранить систему, которая явно рассчитана на то, чтобы до крайних пределов облагать налогами предметы первой необходимости и ежегодно уплачивать Англии тридцать миллионов талеров заработной платы, в то время как германские ткачи голодают".

Шодер из Штутгарта, который сам испытывал колебания в вопросе о центральной власти, призывал правую и левую к таким же колебаниям и к взаимной уступчивости; он предлагал неответственного президента.

---

[1]) Вильгельм Иордан, известный рапсод, перекочевал с левой на правую и был произведен в „члены морского совета". По распродаже германского флота союзный сейм назначил ему пенсию, размером, как сообщают, в тысячу талеров. Такое политическое прошлое очень способно испортить вкус рапсодий господина „морского советника". Но несмотря на то или благодаря этому, Иордан до сих пор остается одним из „святых" германских национал-либералов, и не дальше как в 1902 году вышла маленькая книжечка по истории реставрации и революции (в серии „Aus Natur und Geisteswelt") с почтительнейшим посвящением Вильгельму Иордану.

За ним последовал Бейслер, бывший баварский министр исповеданий, который в тоне дедушки уговаривал левую: „Бросьте вы агитацию, в ней нет необходимости,—реакция теперь уже невозможна!“. И потом этот хитроумный старец рекомендовал директорию из трех особ княжеского происхождения.

Правая все время издевалась над страхом перед реакцией и уверяла, что она невозможна. Винке даже как-то сказал, что он внесет предложение, чтобы всякий упомянувший слово „реакция“ вносил шесть пфеннигов штрафа в пользу германского флота. Слабые души из центра и на самом деле дали обморочить себя такими клятвенными уверениями; у многих доверчивость еще более возросла вместо того, чтобы упасть.

Клауссен из Киля постарался исцелить собрание от страха перед республикой; он сослался на „республику“ Шлезвиг-Голштинии, как например, заслуживающий подражания. Этот маленький фокус благополучно сошел с рук, хотя следовало бы знать, что движение в Шлезвиг-Голштинии было монархически-конституционным. В общем же Клауссен выступил против неответственности центральной власти.

Ласco из Мюнхена, известный профессор, ультрамонтан и исследователь древностей, говорил о республике, как о безвозвратно погибшей юношеской любви; он полагал что собрание суверенно—в обсуждении конституции. „Но мы не суверенны в делах управления, исключая случаев самой крайней нужды, для которых нет никаких заповедей“. Такое постыдное непонимание дела не встретило надлежащего отпора.

Фон-Дискау из Плауэна, председатель суда, признавал за национальным собранием право самостоятельно организовать центральную власть.

Виденбругк, государственный человечек из Веймара, полагал, что единственная правовая почва—то новое право, которое будет создано собранием. При этом он успешно скользил между правой и левой.

Венедей, „белокурый мечтатель“, отверг лозунги французской революции. Он говорил, что правовая почва только в церкви св. Павла, но, с другой стороны, он ничего не имел и против того, чтобы избрать какого-нибудь принца, и, типичнейшее воплощение немецкого либерального филистера 1848 г., долго еще писал вилами на воде.

После того как Шмидт из Силезии энергично выступил против утверждения Винке, будто собрание должно вступить в соглашение с правительствами относительно конституции, Циц из Майнца попросил слова, чтобы апеллировать к мужеству парламента. „Не сомневайтесь в том, что все ваши постановления будут исполнены. Перед нами отрицали, что они будут исполнены. Если бы это было так, вся наша деятельность была бы пустой и самое положение наше фальшивым. Мы должны проникнуться убеждением, что наши решения суверенны, и, если бы существовала в Германии какая-нибудь настолько крепкая сила, чтобы оказать противодействие нашим решениям, то единство Германии, развитие свободы, основание единого союзного государства было бы только грезой, и напрасны были бы все наши совещания здесь, вся наша деятельность“. Из этого видно, что даже

майнцские происшествия не исцелили от иллюзий Цица, предводителя разоруженного майнцского гражданского ополчения.

Фон-Радовиц, хитрый друг иезуитов, очень искусно повернул дело. „В этом собрании нет реакционеров", начал он. Он говорил о пороках старого полицейского государства и обратился с призывом: „Судите нас по нашим делам; то же самое мы всякому скажем и относительно вас!" Таким началом он привлек на свою сторону даже часть левой. Но потом он выступил с предложением, чтобы центральную власть назначали государи; обосновывая предложение, он утверждал, что сами государи не изберут никого, кто не мог бы рассчитывать на всеобщую поддержку. „При теперешнем положении вещей это для каждого правительства означало бы копать себе яму; но ведь вы должны допустить, что у всякого правительства есть инстинкт самосохранения".

В это время уже было известно, что правительства и некоторые политики в парламенте пришли к соглашению и остановились на эрцгерцоге Иоганне. Но Радовиц все же добавил, что было бы величайшей глупостью предполагать, будто в такое время могут обнаружить свое действие какие бы то ни было сепаратные интересы. Наконец, он завершил дело мороченья следующими словами: „Передавая это право правительствам, национальное собрание только передает его отдельным германским народам, ибо правительства являются их представительством". Само собой разумеется, что такая апелляция к „ограниченному разуму управляемых" имела несравненно больший успех, чем призыв Цица к их мужеству.

Арнольд Руге, республиканец, сказал: „Всякая власть, кроме находящейся в этом зале, чуждая власть. Здесь германская нация. Когда мы действуем, это действует германская нация". Послышался саркастический смех; это смеялся Лихновский. Арнольдом Руге овладел гнев, и он воскликнул: „Здесь нет ничего смешного: на том, кто там смеется, я усматриваю facies hippocratica [1]); будущее произнесет над ним приговор. Этот смех издевательства—смех предсмертных судорог" [2]).

Фон-Заукен-Тарпучен повторил то же самое, что сказал Радовиц, но только с меньшим искусством. Мориц Моль из Штутгарта предлагал положить конец нужде рабочих при помощи таможенных пошлин,—фантазия, с которой он носился всю свою жизнь. Вайтц из Геттингена, историк-реакционер, желал, чтобы имперский правитель был указан государями; напротив, Циммерман из Штутгарта, депутат от швабского Галля, историк-демократ, выступил в пользу исполнительного комитета.

Эдель из Верцбурга говорил о стезе Конвента, на которую хотел бы ступить Роберт Блюм; он высказал мнение, что республиканская верхушка будет очень спокойно взирать на распространение демократической пропаганды, но очень решительно выступит в тех случаях, когда в дело будут заме-

[1]) Выражение лица умирающего.

[2]) Это замечательное пророчество оказалось ужасающе верным: не прошло и трех месяцев, как Лихновский пал жертвой народной мести.

нимы реакционеры или конституционные монархисты; остаток силы, которым еще располагают отдельные государства, быстрее пойдет на убыль, а они и без того очень слабы.

Блюм говорил еще раз, но он только ослабил впечатление своей первой речи. „Сделать старый союзный сейм другим—свыше сил человеческих,—сказал он;—он останется у вас, этот старый союзный сейм, с о с в о и м и и с к л ю ч и т е л ь н ы м и з а к о н а м и, пока вы не уничтожите его старые акты" [1].

На трибуну поднялся Лихновский, который поставил себе целью всегда говорить после Блюма. На этот раз он держался не так вызывающе, как в других случаях; с какой целью он изменил своей обычной манере, разгадать было нетрудно. Он высказал убеждение, что, если бы волею Божией все тридцать четыре германских суверена со своими фамилиями разом исчезли с лица земли, то пришлось бы собраться и поставить во главе этой страны новых суверенов, хотя и не в таком большом количестве. В то же время он советовал своим друзьям сделать уступки,—значит, он уже был посвящен в закулисные махинации. Зато его наградили аплодисментами со всех сторон.

Фогт из Гиссена на этот раз серьезнее, чем вообще, говорил о том, что меньшинство обязано признавать постановления большинства, однако меньшинству нельзя запрещать стремиться к тому, чтобы сделаться большинством. Он высказался за ответственного президента.

Раво, колеблющийся и доверчивый, заявил, что недурно было бы предоставить правительствам наметить центральную власть. Потом он продолжал: „Сохраните тот слабый мост, который мы построили для связи с правительствами. Этим мы ведь не выпускаем власти из своих рук!" В продолжение своей речи он застал собрание врасплох, когда вдруг воскликнул: „Национальное собрание Франции выразило свои симпатии нашему; не должны ли мы ответить на братский привет, который был принят единогласно? М и л о с т и в ы е г о с у д а р и, в с т а н ь т е с о с в о и х м е с т, п о к а ж и т е ч т о в ы—е д и н а я н а ц и я!" И среди шумных возгласов все собрание встало. Правая с кислой миной смотрела на эту демонстрацию.

Потом говорил еще Мати против левой и за дальнейшее существование союзного сейма; впрочем, он не произвел особенного впечатления. Приближался решительный момент. Человек с всклокоченными бровями, Генрих фон-Гагерн, торжественно взошел на трибуну: в воздухе чувствовалось, что начинается „государственное деяние".

„В настоящее время, если кого-нибудь обвиняют, будто он хочет диктатуры,—так начал фон-Гагерн,—это результат заблуждения, безразлично, предлагают ли пять или трех лиц, или же всего одного. В эти дни, когда

[1]) Князь Бисмарк, говорят, как-то сказал, что Роберт Блюм со временем сделался бы национал-либералом. Как можно было бы доказать это? Во всяком случае Блюм никогда не обратился бы в пламенного защитника исключительных законов (1878—1890), которые Бисмарк, как будто бы современный государственный человек, переволок из эпохи союзного сейма в объединенную Германию.

над Германией господствует дух, который проявляется в парламенте, диктатура просто-напросто невозможна. Он еще раз перечислил все „за" и „против" и заявил, что в принципе он не против того, что правительства должны принять известное участие в организации центральной власти. Но потом он продолжал: „Милостивые государи, я делаю смелый удар и говорю вам, что мы сами должны организовать временную центральную власть. Я полагаю, что правительства будут нам благодарны, если мы скажем, что за человек должен быть имперским правителем. Найден человек высокопоставленный, который уже показал и впредь покажет, что он достоин того, чтобы нация выдвинула его на такое высокое место. Имперского правителя мы должны избрать из высших сфер. Мы нуждаемся в человеке, который занимает высокое положение и может быть уверен в беспрекословной поддержке всех государств. Высший пост в империи должен занимать государь, не потому, что он государь, а хотя он государь. Мы таким образом не поступаемся свободой и создаем единство нашего народа и отечества, к чему мы уже так долго стремились".

Как удачно сошло это с рук! Буря восторга разразилась под высокими соборными сводами и казалось конца ей не будет. Центр был в восхищении, и даже левая была отчасти увлечена „смелым ударом". Это ведь разрешение большого вопроса, из-за которого так долго шли споры, и притом оно исходило от фон-Гагерна, на которого „доверчивые" взирали, как на оракула. Только крайняя правая и крайняя левая сохранили полную холодность.

Дальмана, которому, как докладчику, принадлежало заключительное слово, теперь едва ли кто-нибудь слушал. Он говорил очень долго и высказывал очень абсурдные вещи. Ему даже кричали: „кончайте!" Но „привидение" было упрямо и не уходило, пока не произвело на свет по меньшей мере часовой речи.

Все это разыгралось 24-го июня. В ближайшие дни закон о центральной власти был подвергнут голосованию и прошел среди зубовного скрежета неуклонных реакционеров,—для них „смелый удар" шел слишком далеко, они, сделанные из слишком грубого материала, не могли уразуметь все его значение. Между тем, при ближайшем рассмотрении, ни реакционеры не имели поводов приходить в печаль от „смелого удара", ни конституционалисты—торжествовать.

Закон о временной центральной власти был принят 403 голосами против 135. Основания его таковы:.

1. Пока не будет окончательно организована правительственная власть Германии, учреждается временная центральная власть для всех общих дел германской нации. Эта власть a) должна исполнять функции исполнительной власти во всех делах, касающихся общей безопасности и благоденствия германского союзного государства; b) должна взять на себя высшее заведывание всеми вооруженными силами и в частности назначить для них высших начальников; c) должна играть роль представительства Германии

во всех международных и торгово-политических сношениях и с этой целью назначать посланников и консулов.

2. В круг деятельности центральной власти не входит участие при выработке конституции.

3. Относительно войны и мира, а также договоров с иностранными державами, решает центральная власть по соглашению с национальным собранием.

4. Центральная власть возлагается на имперского правителя, который избирается национальным собранием.

5. Имперский правитель исполняет свои функции посредством назначенных им министров, ответственных перед национальным собранием.

6. Власть имперского правителя неответственная.

7. С того момента, как начинается деятельность временной центральной власти, прекращается существование союзного сейма.

8. Исполняя дела управления, центральная власть должна входить, насколько возможно, в соглашение с уполномоченными союзных правительств.

9. Деятельность временной центральной власти прекращается, коль скоро закончится выработка конституции для Германии и она вступит в силу.

Закулисная история „смелого удара", благодаря которому прошел пресловутый закон, не выяснена до настоящего времени и, может быть, никогда не сделается известной. Но из дебатов с полной несомненностью вытекает, что „смелый удар" был наполовину делом дипломатов в роде Шмерлинга и Винке и наполовину махинацией конституционалистов-аристократов. Чрезвычайная популярность фон-Гагерна заставила избрать его руку для этого „удара"; и действительно, он был самым подходящим лицом, чтобы провести немцев, которые в своем большинстве принадлежали к „доверчивым". При тогдашней политической неопытности и наивности немцев, комедия должна была увенчаться успехом; в настоящее время оказалось бы невозможным так одурачить целый народ. „Смелый удар" отнял у франкфуртского парламента, верховенство которого сам Гагерн провозгласил в таких напыщенных выражениях, последний остаток его власти. „Смелый удар" окончательно похитил у собрания его "суверенитет", насколько таковой был, и собрание, как будто для того, чтобы само себя высмеять, в лице своего большинства смотрело на новую центральную власть, как на великое завоевание. Теперь неответственный имперский правитель захватил полномочия, которые левая хотела возложить на исполнительный комитет. Трусливым и простодушным людям, которые составляли конституционное большинство, это было тем более на-руку, что они не совсем хорошо чувствовали себя под сводами Павловской церкви, куда они явились только „милостью мятежа"; у них не было никакой охоты, они не чувствовали в себе никакого призвания делать всемирную историю. Да и помимо того, они пришли ведь только затем, чтобы защитить будущее Германии против „анархии". И если в таком деле принц явился к ним на помощь, это было им очень приятно.

Так хитрость, направлявшая руку Гагерна, сделала „смелый удар", и глупость, которой у „доверчивых" было столько, что хоть отбавляй,

приветствовала его бурей восторгов. Забавно, что потом в числе обманутых оказался и сам Гагерн: после того как „смелый удар“ окрылил реакцию, она безжалостно и безвозвратно разбила радужные конституционные мыльные пузыри господина фон-Гагерна.

29-го июня наступил день избрания имперского правителя. Как и следовало ожидать, оно пало на эрцгерцога Иоганна Австрийского. Он получил, при 579 членах собрания, 436 голосов, один голос был подан за эрцгерцога Стефана, 52 голоса получил Генрих фон-Гагерн, 32 голоса — Адам фон-Ицштейн, 33 члена отсутствовали, 25 членов крайней левой воздержались от голосования, потому что не хотели выбирать неответственного правителя

Президент Гагерн возвестил результат выборов,—и Франкфурт, древняя республика аристократов и капиталистов, опять облачился в праздничное одеяние. Звонили колокола, грохотали пушки, и обманутый народ ликовал вместе с национальным собранием, которое само отняло у себя свою верховную власть. „Теперь ладно!“ говорили крепколобые „патриоты“. „Теперь у нас есть человек, который сказал: ни Пруссии, ни Австрии!“. На высотах сияли праздничные огни. Они должны были бы казаться побежденной демократии факелами у гроба германской свободы.

Действительно, демократия потерпела такое полное поражение, что она уже никогда не могла оправиться от него. И что в особенности заслуживает упрека, так это то, что демократия совершенно не сознавала всех размеров своего поражения.

Избрали депутацию из семи членов, чтобы официально сообщить эрцгерцогу об его избрании. В числе депутатов находились Раво и Гекшер.

Черно-желтые историки утверждают, что эрцгерцогу Иоганну Австрийскому ошибочно приписывали застольный тост: „Ни Пруссии, ни Австрии, а единая Германия, крепкая, как ее горы!“. Он вообще не обладал свойствами, которые могли бы восторгать разумных людей. Тем больше годился он в герои германских филистеров, натура которых такая же деревянная, как была его собственная натура. Он не отличился в войнах с первой французской республикой и с империей; но именно то обстоятельство, что он претерпел неудачу, в глазах мещанства окружило сиянием его лысую голову, потому что он был принц: „обыкновенного“ человека высмеяли бы, как неудачника. В 1800 году, когда знаменитый эрцгерцог Карл решительно отказался от командования, пока управление принадлежит интригану Тугуту, Иоганн, брат Карла, в то время восемнадцатилетний юноша, заставил признать себя достаточно подготовленным, чтобы вести последнее австрийское войско против победоносного генерала Моро. И он и члены придворного австрийского совета, надо полагать, питали твердую уверенность, что Провидение избрало его, как принца, чтобы одержать победу над буржуазным вождем республиканского войска. К нему приставили совершенно неспособного генерала, по имени Лауэра. При Ампфинге принц напал врасплох и потому имел некоторый успех; но при Гогенлиндене Моро разбил его наголову. Однако это не могло вразумить Иоганна, что он вовсе не полководец. В 1805 году он опять уже командовал, на этот раз в Тироле, где одержал

маленькие победы, что следует приписать не столько его талантам, сколько храбрости тирольцев. В 1509 году он стал во главе войска из центральной Австрии; после первых успехов Иоганн был вытеснен из Италии, а потом, при Раабе, окончательно разбит вице-королем Евгением. В битве при Ваграме он пришел слишком поздно и таким образом сделался виновником ужасного поражения, понесенного его братом Карлом; это послужило причиной жестокой ссоры между ними.

После этих деяний Иоганн избрал другую арену. Мещанство, которому он был известен только своими поражениями, вдруг открыло, что он „демократичен“ и „либералев“, так как он теперь совершил, по понятиям добрых бюргеров, воистину геройское дело: женился на девице „обыкновенного“ происхождения. Счастливицей была Анна Плохль из Аурезэ. Она была дочь почтмейстера; о способе, каким она приобрела своего „Иоганна Безземельного“, рассказывают различно. Согласно одной версии, когда на станции в Аусзэ не было почтальонов, там проезжал эрцгерцог Иоганн; он во что бы то ни стало хотел ночью отправиться дальше, и потому прелестная и смелая дочка почтмейстера надела на себя мундир почтальона и повезла эрцгерцога. Анна Плохль со своими полными бедрами, обтянутыми в кожаные почтальонские панталоны, так понравилась эрцгерцогу, что он сделал ее своей женой и заставил возвести в звание графини фон-Меран. Этот „мезальянс“ принудил его удалиться от двора, но слава его среди добрых граждан от этого только выиграла. Кожаные штаны из Аусзэ были, пожалуй, той скалой, на которой потерпело крушение дело конституции 1848 года. Ибо, не будь их, Иоганн не достиг бы такой популярности, его не произвели бы в имперские правители, не могли бы сделать „смелого удара“. Маленькие причины—великие следствия! Таковы причуды всемирной истории.

В конце концов приходится думать, что он произнес застольный тост в Кельне не в такой форме, как этот тост впоследствии разгуливал по людям. „Ни Пруссии, ни Австрии“—это Иоганн едва ли сказал: для этого он был слишком уж Габсбург и черно-желтый австриец. Но восхищенные филистеры просто признали, что произнесение тоста установлено непоколебимо, и с этого времени Иоганн пользовался их почитанием [1]).

Фон-Гагерн возвестил об Иоганне как о „восстановителе порядка и спокойствия“; поэтому ликование буржуазии, привязанной к порядку, нуждающейся в спокойствии, достигли крайних пределов. В городах, которыми проходила депутация, восторгам конца не предвиделось; а в самой Вене они превзошли всякую меру вероятия, особенно когда Раво и Саукен обратились к массе с речами. Двор, буржуазия, бюрократия, помещики и попы приняли участие в ликованиях: они видели в Иоганне св. Георгия, которому предопределено умертвить дракона „анархии“. Поэты тоже воспевали имперского правителя, и даже граф Ауэрсперг (Анастасий Грюн),

1) В одну прокламацию Иоганна к войскам, конечно, не без намерения, внесено место: „Создание немецкого единства, крепкого, как ваши горы“. Это служило как будто подтверждением кельнской легенды.

вообще не обделенный разумом, в стихах возвеличивал побежденного при Гогенлинделе как самого удивительного героя.

Как в триумфальном шествии, ехал Иоганн через Германию во Франкфурт-на-Майне; случилось только одно происшествие—к боли сердечной всех добрых буржуа. Какой-то студент из Галле подскочил к дверям кареты и возбужденно крикнул: „Ответственный или неответственный?“ Славный малый, очевидно, не читал закона о центральной власти. По случаю прибытия „высокого путешественника“, как именовали газеты имперского правителя, Франкфурт еще раз проявил шумный восторг. Иоганну пели, кричали „ура“, говорили речи и утверждали, что его прошлое служит ручательством за прекрасное будущее. Действительно, прекрасное будущее!

12-го июля имперского правителя торжественно ввели в церковь св. Павла, где благородный фон-Гагерн в своей речи воскурил ему фимиам. Иоганн надел очки, вынул из кармана бумажку и прочитал заявление, согласно которому он вступил в исполнение своей должности имперского правителя.

Бурные „ура“ сопровождали его, когда он уходил.

Союзный сейм закрылся. Президент его Шмерлинг во дворце сейма торжественно совершил еще один тайный государственный акт, возложив на Иоганна „исполнение конституционных функций и обязанностей союзного собрания“ (сейма). Следовательно, эти господа полагали, что Иоганн должен явиться простым продолжателем союзного сейма, тот самый Иоганн, которого эти же господа, действуя вне сейма, перед нацией, добыли посредством „смелого удара“. Это недурно и со всех сторон освещает комедию. Государственный акт, совершенный во дворце сейма, был разоблачен только впоследствии. На первое время для публики сделалось известным только поздравительное послание союзного сейма, в котором он заявлял, что еще до окончания прений относительно центрального правительства им было получено полномочие высказаться в пользу избрания Иоганна. Это озадачило левую; Роберт Блюм поднял тревогу, но не достиг ничего, кроме грубого ответа от Шмерлинга, который, разумеется, опять набрался надменности.

Когда во Франкфурт прибыла супругу Иоганна, опять наступил день ликований,—девушки, одетые в белое, шпалеры гражданского ополчения, звон колоколов. У Иоганна было две квартиры: одна в Бокенгейме и другая во Франкфурте, на Эшенгеймской улице. Благодарные немцы должны были для его содержания предоставить ему цивильный лист, но он, не желая создавать для демократов каких-либо поводов к нападкам, отказался, и такое бескорыстие еще больше подогрело ликование буржуа. О нем говорили, что он хочет сделаться германским императором, в молодости он действительно обнаруживал большое честолюбие. Но пока что он только окружил себя облаками новых имперских бюрократов и имперских писцов и сформировал свое „ответственное“ министерство, сначала временное, а потом окончательное. Состав его определился так:

Президент: князь фон-Лейнинген.

Внутренние дела: барон фон-Шмерлинг [1]).

Иностранные дела: Гекшер.

Юстиция: Роберт фон-Моль.

Военное министерство: фон-Пейкер.

Финансы: Беккерат.

Торговля: Дуквиц.

Младшие статс-секретари в министерстве внутренних дел: Бассерман, фон-Вюрт.

Младшие статс-секретари в министерстве иностранных дел: Макс фон-Гагерн, фон-Бигелебен.

Младший статс-секретарь в министерстве юстиции: Виденман.

Младший статс-секретарь в министерстве финансов: Мати.

Младшие статс-секретари в министерстве торговли: Фаллати, Мефиссен [2]).

Это министерство отличалось от союзного сейма только тем,—не даром же Шмерлинг, президент союзного сейма, сразу сделался имперским министром,—что в его лоне нашли себе приют перебежчики левой. Оно с большим рвением принялось за исполнение своей задачи: всеми возможными средствами тормозить дело конституционного устройства и выравнивать пути для реакции. Большинство собрания было так простодушно, что аплодисментами встретило заявление министра-президента о том, что министерство рассчитывает на активное содействие всех германских правительств. Казалось, что собрание теперь прямо страшится своего былого „суверенитета“.

Имперский правитель издал воззвание к народу, полное трескучих фраз, доставил возможность выслушать несколько „патриотических“ тостов, а во всех остальных отношениях вел во Франкфурте такую же жизнь, как и раньше,—разумеется, насколько это поддавалось наблюдениям. Но за кулисами он развил энергичную деятельность; что делал он, проницательные легко могли представить себе, а масса доверчивых не ломала над этим своей головы.

Левая видела, что издалека надвигается реакция. Но, что должна была и что намеревалась делать левая? Прусское правительство заявило, что средством, направленным против стремлений парламента, послужит созыв государственных чинов, т.-е. сословных собраний в отдельных государствах. Левая задалась целью противопоставить этому плану свою собственную организацию. С 14-го по 17-е июня во Франкфурте заседал демократический конгресс; 88 демократических союзов было представлено 192-мя делегатами. Был учрежден центральный комитет, составленный из Фребеля, Рау и Крига; но комитет не мог создать широкой организации.

Волна народного движения в то время поднималась еще очень высоко. Во многих местах вспыхнули демократические восстания, обусловленные

---

[1]) Позже Шмерлинг занял место князя фон-Лейнингена.

[2]) Должность младшего статс-секретаря соответствует должности товарища министра.

отчасти быстро нараставшим недоверием народа к парламенту. Однако левая не сумела воспользоваться этими движениями, которые во многих случаях запугали реакционеров. Центральная власть с своей стороны делала все, чтобы задушить всякое сопротивление народа. С того времени, как учреждена была центральная власть, местные восстания подавлялись с величайшей решительностью; у реакции теперь был план и некоторая организованность, между тем как до сих пор она старалась использовать только случайные обстоятельства.

При таких условиях многие члены левой только после тяжелой внутренней борьбы, решили и впредь оставаться в парламенте. Некоторые из них скоро ушли, напр., Капп из Гейдельберга и Арнольд Руге. Они считали борьбу безнадежной [1]).

Это было справедливо. И вообще позволительно сильно сомневаться, можно ли видеть особенную заслугу левой в том, что она упорствовала и, несмотря ни на что, оставалась в парламенте. Поток, захвативший большинство собрания, наполовину реакционное, наполовину убаюканное доверчивостью, должен был пригнать его к той же скале, на которой потерпел крушение и корабль одураченного Гагерна и К°.

Между тем подавляющее большинство членов левой и левого центра веровали в силу своих речей, думали, что они должны потрясать мир. Надо же было им освободиться от всего запаса фраз, накопленных ими. Получить аплодисменты от публики, собравшейся в галлереях, прочитать потом свои речи в дословной стенографической передаче или в газетах извлечениях, слышать, как их обсуждают,—нет, требовать отречения от таких наслаждений значило бы требовать слишком многого от большинства демократических лилипутов. И этим превосходно сумела воспользоваться реакция в своей закулисной работе. Она постаралась выкинуть голую кость болтунам, чтобы они могли глодать ее, пока безвозвратно не пройдет драгоценное время для создания единой и свободной Германии. Этой жалкой, злосчастной костью был проект о с н о в н ы х п р а в г е р м а н с к о г о н а р о д а.

Если бы парламент хотел работать с некоторой надеждой на успех, он должен был со всей возможной быстротой обсудить конституцию и потом подумать о средствах для ее проведения. Это понимали тогда самые простые люди, не понимало, да и понимать не хотело, только высокоумное собрание ученых и буржуа. Вспоминали при этом, что учредительное национальное собрание 1789 года предпослало выработанной им конституции декларацию прав человека. Теперь то же самое должна сделать Германия. Забывали только одно: французы набросали, обсудили и возвестили права человека в самое короткое время.

[1]) Из парламента ушли также Гервинус, известный историк, Генрих Лаубе и граф Ауэрсперг (Анастасий Грюн). Причиной выхода первых двух, несомненно, было оскорбленное самолюбие: им не удалось играть той роли, на которую они считали себя призванными всемирной историей. Лаубе воспользовался случаем, чтобы излить свое неудовольствие в реакционном памфлете; Гервинус начал прорицать в гейдельбергской „Немецкой Газете", органе расслабленно-доверчивой профессуры.

Предполагалось, что „основные права" должны заключать права и завоевания германского народа, упорядоченные в чинных параграфах; за ними должна была последовать имеющая быть выработанной конституция. Среди основных прав было, несомненно, много прекрасных и хороших вещей: они знаменовали невероятный прогресс по сравнению с домартовским временем [1]). Но все эти вещи пока что стояли исключительно на бумаге. Если бы собрание формулировало этот кодекс гражданской свободы в какие-нибудь восемь суток,—что было бы вполне возможно для практичных и разумных людей,—то основные права получили бы совершенно иное значение. Но здесь, при обсуждении прав, опять сделали свое дело классовые интересы буржуазии: либеральная и конституционная буржуазия выдвигала их с такой неизменной настойчивостью, что это значительно содействовало подготовке путей для реакции. Если основные права должны были, с одной стороны, закрепить новые завоевания, то, с другой стороны, они же должны были послужить хорошей смирительной рубахой, приготовленной буржуазией для революции. До сих пор, говорили конституционалисты, но не дальше.

С основными правами открылось безбрежное море для болтовни; все парламентские партии бултыхались в нем с одинаковым удовольствием. Люди хоть сколько-нибудь проницательные пришли в положительный ужас. Доктор Гискра, один из самых юных членов собрания, представил такое вычисление:

„Первоначальный проект основных прав содержит 48 параграфов, экономический—40; уже внесено 350 поправок, что составляет в общей сложности 438 параграфов. Считая на каждый из них по 10 ораторов, получим 4.380 ораторов. По 15-ти ораторов на заседание—даст 292 заседания.

---

[1]) „Основные права германского народа" провозглашают равенство всех перед законом, уничтожение дворянского сословия, отмену всех сословных привилегий, всех титулов, поскольку они не связаны с занимаемой должностью, всеобщую воинскую, повинность, неприкосновенность личной свободы. Последнее право гарантируется следующим образом (§ 8): задержание какого-либо лица, если только оно не накрыто на месте преступления, может воспоследовать лишь в силу обоснованного приказа судьи, каковой вручается арестованному не позже как через 24 часа по задержании. По истечении этого срока полицейские власти должны или освободить задержанного, или передать его в распоряжение судебных властей. Суд обязан освободить арестованного под залог или поручительство, если против него нет серьезных улик в совершении тяжкого преступления. В случае противозаконного задержания виновный в том, а при необходимости и государство должны дать потерпевшему удовлетворение и вознаграждение. § 9 отменяет смертную казнь, наложение клейм, телесное наказание. Согласно § 10 домашние обыски допускаются лишь в силу судебного приказа, излагающего причины этой меры. Согласно § 11, такими же условиями обставлен просмотр писем и бумаг. § 12 гарантирует тайну переписки по почте. § 13—право свободно выражать мнение устно, письменно, печатно и при помощи иллюстраций. Свобода печати ни при каких условиях и никакими способами—при помощи цензуры, разрешений, залогов, ограничений, налагаемых на типографии или книжные магазины, отказа почты от пересылки изданий—не должна быть ограничиваема, приостанавливаема или отменяема. Все проступки по делам печати разбираются судом присяжных.—Следующие параграфы провозглашают полную свободу вероисповедания и совести и намечают, хотя не вполне ясно, нечто в роде

При трех заседаниях на неделю это составит 98 недель. Следовательно, первое чтение основных прав закончится в апреле 1850 года".

Это подействовало, и собрание обнаружило некоторое ускорение, но далеко не достаточное. Притом трех заседаний в неделю было слишком уж мало. Однако этот революционный парламент не допускал, чтобы его мещанский комфорт что-нибудь нарушало, и 1848 год, действительно, почти целиком был убит на обсуждение основных прав.

Между тем народные силы постепенно расточались в местных восстаниях и мятежах; центральная власть, действуя в согласии с другими властями, постаралась воспользоваться моментом, чтобы окончательно задушить все движение.

Каждый день, проведенный собранием в пустой болтовне, капля за каплей уносил у него силу. „Доверчивые" этого не замечали; проницательные не могли ничего с этим поделать. Уже поведение Эрнста-Августа, ганноверского короля, который не желал обуздать своих самодержавных тенденций и своего заскорузлого партикуляризма, должно было бы, казалось, раскрыть глаза парламенту. Еще 7-го июля в собрании ганноверских сословий от лица Эрнста-Августа было объявлено, что он не войдет в ожидающее новой организации германское союзное государство, ибо при наличности центрального правительства государи будут являться „как бы подчиненными некоего другого монарха". Франкфуртское собрание предложило центральной власти потребовать от Ганновера, чтобы он признал постановления парламента. Иоганн и его Шмерлинг сделали это с величайшей готовностью, но, разумеется, дело так и остановилось на требовании. Конечно, Иоганн и Эрнст-Август слишком хорошо понимали друг друга для того, чтобы вступать в

отделения церкви от государства. Вот некоторые положения этого отдела: никто не обязан исповедывать свои религиозные убеждения. Вероисповедание не должно служить причиной к ограничению гражданских и политических прав. Для признания действительности брака требуется только совершение гражданского акта; лишь после того допускается церковный брак. Различие вероисповеданий не должно служить препятствием к вступлению в брак.—Следующий отдел гарантирует свободу обучения, бесплатность начального обучения, бесплатность для несостоятельных—обучение во всех общественных учебных заведениях. На родителей возлагается обязанность давать своим детям элементарное образование.—Далее всем гарантируется право подачи петиций и жалоб, единоличных и коллективных. В связи с этим провозглашается, что для возбуждения судебного преследования против должностного лица не требуется предварительного разрешения со стороны начальства последнего §§ 29 и 30 гарантируют право устраивать собрания и союзы, не испрашивая разрешения администрации. § 31 распространяет это право на войско и флот. Дальнейшие параграфы говорят, главным образом, об отмене различных феодальных прав и привилегий. § 41 и следующие провозглашают отмену всяких особых судов (помещичьих, административных, полицейских), гарантируют судьям несменяемость и независимость от других форм административного давления, расширяют компетенцию суда присяжных на все более тяжкие уголовные преступления и решительно на все политические преступления и проступки, при чем судебное разбирательство всегда должно быть публичным. Закрытие дверей при разборе дел допускается исключительно лишь по соображениям нравственности.

серьезный конфликт. Теперь для всех сделалось ясно, какую роль должен играть Иоганн, занимая место имперского правителя; только для „доверчивых" это не было ясно.

Обсуждение основных прав множество раз прерывалось внесением запросов; но запросы имели мало значения и только увеличили болтовню без плана и цели. Вопрос о войске остался в сущности не разрешенным. Правда, Иоганн поручил Пейкеру, имперскому военному министру, сделать правительствам сообщение, что он, Иоганн, взял на себя „высшее заведывание боевыми силами Германии"; но это были совершенно пустые слова, и правительства, особенно сильные, обошли это дело. Фактически Иоганн не мог командовать ни прусскими, ни австрийскими, ни баварскими, ни какими бы то ни было другими войсками в Германии. Только когда задача заключалась в том, чтобы подавить демократию силой оружия,—тогда в распоряжение центральной власти давались войска.

Казалось, парламент был поражен слепотой. Комиссия обороны, на разрешение которой был передан вопрос о вооружении народа, выступила с таким предложением: потребовать от правительств Германии, чтобы они увеличили вдвое численность своих войск. Блюм решительно выступил против предложения; он указывал на расходы, каких потребует это, и заявил, что, вопреки нередким утверждениям, нет никаких оснований опасаться нападения со стороны Франции; время завоевательных войн вообще миновало [1]). Радовиц утверждал, напротив, что при нападении со стороны Франции или России у Германии не окажется достаточных боевых сил для защиты,— необходимо вооружиться. Радовиц и компания превосходно знали, что, если Россия и вмешается, то лишь для восстановления домартовского порядка, как некоторое время спустя это действительно и было с Венгрией. Но они хорошо знали своих конституционалистов. Когда в дополнение ко всему этому Лихновский обратился с призывом к национальной гордости, дело было выиграно. Это собрание, у которого для защиты не было ни одного батальона, но которое можно было бы разогнать при помощи всего одного батальона,— это самое собрание увеличило боевую силу германских правительств более чем на 900.000 человек! Правительства, разумеется, ничего не имели возразить против такого решения. Реакционеры должны были немало смеяться между собой, когда парламент 303 против 149 голосов решил поставить на ноги против себя самого такую огромную боевую силу. Что эти войска при случае могли послужить для того, чтобы воспрепятствовать исполнению постановлений парламента,—на этот счет уже заявление ганноверского правительства не оставляло никаких сомнений [2]).

---

[1]) События, которые разыгрались в течение почти семидесяти лет, прошедших с того времени, опровергли это утверждение Блюма.

[2]) Заявление от лица ганноверского короля было сделано в таких выражениях: „Ни благо, ни свобода народов, ни собственная честь государя не позволяют признать конституцию, которая не обеспечивает необходимого значения за самостоятельностью германских государств; поэтому король решился скорее пойти на все, чем приложить свою руку к мерам, которые имели бы вид отречения от долга и чести".

Но мечтатели в церкви св. Павла, как бы нарочно стремясь вызвать насмешки целого мира, не давали сбить себя с толку. Они нашли еще время обстоятельно обсудить и разрешить вопрос о цветах флага для флота Германии, которого пока совсем не было.

Можно ли удивляться, что при таких обстоятельствах сознательные реакционеры уже предвкушали полноту своего будущего торжества. „Теперь-то мы уж справимся с революцией,—за нами стоит 900 тысяч солдат!" ликовал кое-кто по ночам, упоенный парами вина, в городе Франкфурте.

Центральная власть, когда это входило в ее виды, выступала очень импозантно. К иностранным дворам и в правительственные резиденции она отправляла послов, которые нередко держались там с комической надменностью и компрометировали немецкое имя. В самом Франкфурте около Иоганна составился двор дипломатов; здесь были посланники: прусский, австрийский, английский, французский, бельгийский, нидерландский, североамериканский, неаполитанский, сардинский и даже венгерский. Во Франкфурте жилось приятно и интересно; господа дипломаты, присутствуя при зрелище гибнущей германской революции, почерпали из этого пикантное удовольствие.

Шмерлинг, один из испытаннейших дипломатов старой школы и фанатический враг демократии, плел свои интриги. Иоганн помогал их выполнению. В это самое время Гагерн и компания, преисполненные великих надежд, отправились в Кельн на празднование закладки собора (15 августа), куда прибыли прусский король и имперский правитель. Гагерн обратился с речью к прусскому королю; президент национального собрания провел не особенно удачное сравнение между кельнским собором и единством Германии. Фридрих-Вильгельм IV отвечал на обращение благородного фон-Гагерна: „Проникнитесь убеждением, что я никогда не забуду, к основанию какого великого дела призваны вы; точно так же я убежден, что вы никогда не забудете, что в Германии есть государи, и что я принадлежу к их числу!".

Король в этом случае был несравненно откровеннее, чем заоблачные мечтатели-конституционалисты. Своими словами он со всей возможной ясностью дал уразуметь, что осуществление конституционного устройства мыслимо для него только при условии соглашения с государями. Между тем Гагерн и компания все еще предавались грубому заблуждению, будто парламент, у которого сами они отняли последние силы, попрежнему обладает верховной властью, попрежнему остается „суверенным" собранием. Теперь каждый мыслящий человек без труда мог предвидеть исход работы над конституционным устройством. Падение парламента и его роли совершалось быстро, неудержимо; он сам навлек на себя свою злосчастную судьбу.

При всем том он был любопытен, этот первый парламент Германии. Небезынтересно дать описание его внешности, как она отпечатлелась в памяти одного члена левой [1]), который оставил парламент до заключительной катастрофы. Пусть современник рассказывает, как ему представлялось

---

[1]) Доктора Вильгельма Циммермана, депутата от швабского Галля.

собрание,—не следует только упускать из виду, что местами он становится слишком восторженным и изливает свое благоволение на людей, которые этого не заслуживают.

„С того времени, как мир узнал немецкое имя,—говорит Циммерман,—не случалось еще, чтобы вместе собралось такое изобилие знаменитых и известных имен, талантов и характеров, профессий и различных сфер деятельности. Там рядом с депутатом из отдаленнейших частей Пруссии, оттуда, где на страже стоят казаки, сидел депутат из романского Тироля, который говорит ломаным немецким языком, а языком страны апельсинов—как родным; там сидел богатейший землевладелец из Верхней Швабии, который еще носит княжескую мантию и отец которого еще был сувереном, а недалеко о него бравый крестьянин, возделывающий свою ферму своими собственными руками; там на одной и той же скамье сидели пламенный рыцарь католицизма и холодный, рассудочный проповедник германской католической общины, и друг просвещения, и философ, и епископ, и пиэтист, и иезуит. Все вероисповедания Германии имели своих представителей, еврейское тоже довольно многочисленных, притом последнее в лице выдающихся талантов и характеров. На скамьях сидело из всех мест, немецких, а также и не немецких, около шестисот депутатов. Какое богатство физиономий, какое многообразие! Окидывая глазом сотни их, не найдешь ни одной, которая не была бы чем-нибудь замечательна, не возвышалась над заурядностью. Там были всякие фигуры: юношески-нежные и старцы с посеребренными локонами; там один, ловко скользя, поднимается на трибуну, как будто он входит в дамский будуар; а другой, надломленный долгим заключением в тесной тюрьме и сохранивший эластичность только в сердце и голове, полурастянул свои измученные члены на камышевом стуле, на котором он полулежит. Но кто этот человек с античной головой философствующего Катона, кто это с двумя костылями под мышками пробирается к своему месту около высокой колонны? Это человек, который семнадцать лет прожил изгнанником во Франции, это либеральнейший, благороднейший, остроумнейший депутат баварской палаты 1831 года, это—Шюлер из Цвейбрюкена. Рядом с ним сидит Сильвестр Иордан из Марбурга, которого много преследовали и в Тироле, на родине, и в Кургессене. Дальше Штедман, Рюдер, Бриглеб и еще множество других имен, получивших известность по преследованиям, которые они претерпели за благо своей родины [1]). Иордан,—какими морщинами покрыто, как престарело его лицо, которое судорожно передергивается только скрытою страстью! Впереди сидит юноша по сравнению с ним, его старый учитель и наставник Миттермайер, с прекрасной светозарной главой,—образ, проникнутый мудростью и благородством. Дальше, вправо от него, сидит другая знаменитость—Дальман. Какой контраст между ними! В мире нет другого такого лица, воскликнул кто-то, увидав его. А там, выше, около средней колонны, кто это может быть,—с огромной

[1]) Некоторые, напр., Рюдер, позже, благодаря преследованиям же, опять получили известность, но уже в роли преследователей.

седой бородой, длинными седыми волосами, в черной бархатной шапочке, в древне-германском камзоле и с широчайшими откинутыми белыми воротничками,—кто это, как не развалина старого Яна, учителя гимнастики? Там, дальше, на крайней левой, сидит тоже пруссак, с несколько германским налетом [1]),—статная фигура собственника многочисленных поместий в Восточной и Западной Померании, ревностный член прусского союза Густава Адольфа и депутат соединенного ландтага; это—граф Шверин. Недалеко от него сидит другой граф, с тонкой, подвижной фигурой, сельский хозяин, как и первый, но, кроме того, также известный писатель-политик и экономист, граф Дейм из Праги. Дальше, в середине, сидит юный сравнительно граф, изящный и остроумный, популярный поэт Ауэрсперг, который под псевдонимом Анастасия Грюна семнадцать лет был жаворонком свободы для Австрии [2]); однако в настоящее время его лицо выражает разочарование во многих надеждах. Почти рядом с ним—подвижный человек с крупной головой, внутренне более либеральный, чем по внешности, протестант и в то же время член совета клерикального мюнхенского министерства, преподаватель теперешнего короля, в высшей степени рассудительный и практичный, оратор-юморист; это—профессор фон-Герман. Прямо против него тоже ученый из Мюнхена; но вот уже восемнадцать лет, как он живет больше в Турции, в Азии и в Африке, чем в Мюнхене или в своем родном Вейлерсе, в горах Тироля. Трудно сказать, что делает привлекательнее его голову, прекрасную еще и в его преклонных годах: богатый ум или образование ориенталиста. Это—знаменитый путешественник по Востоку Фальмерайер. Там, по другую сторону, возбуждает интерес голова, прекрасная физической и духовной красотой; это—Гервинус. Дальше фон-Беккерат с его тонкой духовной организацией, потом плотный, с короткой шеей, берлински-остроумный, обходительный фон-Винке, который никогда не полезет за словом в карман, с маленькими глазами и живым колоритом на выдающихся скулах. [Винке, а также Беккерату и другим в церкви св. Павла повредила раздутая Берлином репутация их красноречия, с которой они явились во Франкфурт. Многие ожидали и искали у обоих ораторов большей сжатости, большей возвышенности мышления, вообще другого, чем оба они давали и могли дать. Поэтому, вопреки крупным достоинствам обоих ораторов, почувствовалось разочарование. В речах Винке не слышалось человека. Ему не хватало возвышенности настроения и преданности непреложным принципам. Беккерату недоставало силы убеждения; правда, в нем говорил человек, но скорее эстетик, чем политик; ему также не хватало того мощного энтузиазма, которым на правой, впрочем, никто не обладал, но которое было не у одного члена левой и зачастую давало им такую политическую дальнозоркость. Там, один возле другого сидели представители науки или литературы: Гюлих, Штенцель, Ведекинд, Гильдебранд, Дройзен, Вайтц, фон-Раумер, Захария, Блюмрэдер, Бери-

---

[1]) Циммерман был непримиримым врагом Пруссии, но не прусского народа, а юнкеров и аристократов, поскольку они выступали представителями Пруссии.

[2]) Полет этого „жаворонка свободы“ был не особенно продолжителен.

гарди, Теллькамиф, Эсмарх, Гагенмюллер, Эйтелес, Фишер, Кольб, фон-Линде, фон-Линденау, братья Мориц и Роберт Моли, Мати, Велькер, Пауверк [1]), одна из самых замечательных физиономий, Генрих Симон [2]), Вагнер, Виннерман, Бидерман, Безелер [3]), фон-Мейерн, Арндт, Яун, Мефиссен, Дэйтерс, Филлипс, Деллингер, Беда Вебер, Гфрорер, Бусс, фон-Реден, Шуберт, Архер, Фрэзе, Гаген, Мориц Гартман, Руге, Вильгельм Шульц, Гюнтер, Карл Фогт, Россмесслер, Гейбнер, Симсон, Кюнеберг, Людвиг Уланд и Яков Гримм. И этот последний—какая прекрасная голова была у него, как должна она была приковывать к себе взоры всякого художника! И сколько еще других людей, замечательных в той или другой области, попадалось здесь на глаза! Сколько людей, имена которых, как представителей народных интересов или борцов за родину, сотни раз упоминались в газетах за последние десять, двадцать, тридцать лет и превозносились во всей Германии: депутаты из Саксонии Ганновера, из Гессена и Нассау, из Бадена и Мекленбурга, из Вюртемберга и Баварии,—в особенности из последней целый ряд стойких борцов и страдальцев за народное дело. То здесь, то там останавливали внимание и заинтересовывали живописные фигуры: дюжие, сохранившие первобытные силы сыны Шварцвальда, как Кюнцер и Бусс, или напоминавшие о доисторических временах, как грузный и жовиальный Рейнгард из Мекленбурга,—такими, надо полагать, были тевтоны, один вид которых нагонял страх на римлян. Немецкие французы, как Раво и Целль и даже Людвиг Симон; немецкие славяне, Колачек; настоящие немцы, как Мор, еще юноша при всей своей старости, или как молодой Шварценберг. Другие замечательные имена недолго пробыли в церкви св. Павла и скоро опять из неё исчезли, напр.: Поль Пфицер, Вирт, Янышевский и Либельт, или исчезли впоследствии, как Юлиус Фребель, Темме и многие другие. Смена лиц была очень быстрая.

„Физиономист, который привык разбираться в выражениях лица, мог бы легко решить, кто принадлежит к левой и кто к правой, если бы перед ним были обе партии; но не так легко он определил бы каждую партию в отдельности. Среди обеих крайних партий, когда они были в церкви св. Павла, преобладали хмурые, серьезные лица; только на крайней правой молчалива была масса, а на крайней левой—лишь отдельные депутаты.

„Тот, кому захотелось бы найти физиономии государственных людей, остановился бы не столько на графе Арнимс, сколько на рыцаре Шмерлинге,

[1]) Пауверк, поведение которого достойно всяческой похвалы, не заслужил такого пренебрежительного отношения, какое обнаружила к нему пресса—отчасти даже демократическая—по случаю его смерти, последовавшей в 1891 г. В изгнании он терпел жестокую бедность, которая преследовала его до самого конца.

[2]) Иоганн Якоби написал о нем книгу, которая дает любопытную характеристику этого прусского юриста старого стиля.

[3]) Георг Безелер, брат известного члена временного правительства в Шлезвиг-Голштинии, хвалился впоследствии, что он никогда не изменял своих убеждений. Это правда: невыносимая словесная трескотня этого профессора имела всегда одинаково реакционное содержание. В германском рейхстаге он принадлежал к числу тех, которые своими речами разгоняли всех депутатов.

последнем президенте союзного сейма, человеке с сухим, холодным лицом, своего рода маской, на которой написано нечто сокровенное, но ничего не пробегает: ни румянца вдохновения, ни бледности гнева,—и не задерживается никакое выражение. Лицо чистое, как мраморная стена, и весь человек таков же; внешность придворного, хотя известно, что он никогда не был при дворе; наружность энергичная, без огня, упрямая, замкнутая,—так он худ, тонок и мал. Его любезность может завоевать Генриха фон-Гагерна, но отнюдь не какого-нибудь депутата левой. Последние говорят: это мастер ставить ловушки и выковывать планы, коварный, хладнокровный, художник по части притворства и потому такой самоуверенный. Во Франкфурте Шмерлинг действовал совершенно как немец, но вслед за тем в Вене уверял венцев, что он постоянно остается прежде всего австрийцем и уже только потом является немцем. Казалось, он никогда наперед не загадывал и не рассчитывал, он был беззаботный, легкомысленный венец; но, встречаясь с явлениями, он с быстротой молнии охватывал их, становился лицом к лицу перед ними, подступал к ним, подчинял их себе. Но все это не потому, чтобы он обладал мужеством, а напротив, все это в тех случаях, когда он видел, что перевес силы на его стороне и сам по себе отдает ему в руки победу над слабыми противниками.

„Помещение, в котором заседало это собрание, было убрано с еще большим вкусом и блеском, чем для предпарламента. В ослепительно белой высокой церкви каждая фигура казалась окруженной сияющим светом. Исполинские оконные ниши завешены зеленым сукном, а бюро президента великолепно задрапировано красными занавесами.

„Не было дня, когда бы верхние галлереи были наполнены только умеренно. Даже в дни, когда происходили одни лишь голосования, они ломились под напором слушателей, которые при вызове депутатов старались заметить, кто как голосует, и пускались в критику, то очень громко, то тихо. Внизу, сейчас же за скамьями депутатов, для слушателей были отведены обширные помещения. Справа и слева от бюро эти галлереи для публики охватывали собрание, как две исполинские руки. Здесь нередко теснилось до тысячи слушателей—мужчин и женщин, впрочем, отделенных одни от других.

„К правой стороне, прямо над бюро собрания, помещалась так называемая дипломатическая галлерея. Там присутствовали посланники от Франции и Англии, от России и Северной Америки, от королей и государей всякого ранга. Оттуда они смотрели и слушали, как родится и вырастает германская нация. Вокруг них сидели банкиры и биржевики из Франкфурта и из многих других мест. На бирже, расположенной прямо против церкви св. Павла, часто целыми часами, переходя то туда, то сюда, толпились люди, делающие огромные денежные обороты; они выжидали результатов голосования национального собрания, как приговора над жизнью и смертью. Несколько раз случалось, что, когда голосование производилось вставанием, слушатели на этих галлереях тоже вставали, как будто они были тоже члены национального собрания. Однажды, при самых решительных обстоятельствах, это

было доказано с трибуны и названо имя вмешавшегося в голосование слушателя; возражений не последовало".

Дамы были представлены на галлереях многочисленными усердными слушательницами. Франкфуртские дамы-патрицианки помещались в галлереях над правой; но несравненно больше симпатий прекрасный пол обнаруживал к левой. Циммерман говорит об этом следующее:

„Собственно дамская галлерея помещалась главным, образом, слева. В разгар битвы умов, когда сотни шли друг на друга, боролись совместно, и мысли сталкивались, как мечи, зачастую обоюдоострые, дамы сидели и стояли на скамьях, которые пятью рядами тянулись слева от бюро и до самой крайней левой, до так называемой Горы. Сердца их пылали; они сами переживали все перипетии борьбы и следили за каждым выпадом своих любимцев; победитель не награждался, правда, венком, но зато часто получал цветы, нежную улыбку, даже рукопожатие: так тесно охватывалась левая нижней дамской галлереей, словно пестрой цветочной гирляндой".

В этих галлереях Лихновский назначал свои свидания с дамами из аристократии. Его частенько встречали в одной оконной нише [1]). Но больше всех дамам-аристократкам импонировал благородный фон-Гагерн со своей высокой и сильной фигурой и своими всклокоченными бровями. Аристократки знали и понимали, что цель этого человека—вовсе не эта ужасная свобода, а всего лишь пустое единство Германии.

Вне церкви св. Павла депутаты старались по возможности приятно провести те четыре дня в неделю, когда не было заседаний. Развилась трактирная, бездельная жизнь; ее дурное влияние на многих депутатов не заставило себя ждать. По вечерам члены отдельных фракций собирались в определенных ресторанах. Среди правой в пользу развития „корпоративного духа" энергично работал Юргенс из Штадтольдендорфа, брауншвейгский пастор, ловкий интриган; там же адвокат Детмольд из Миндена пускал в обращение свои остроты и свои карикатуры. Правая собиралась в „Казино" и в „Кафе Милани"; сюда приходили Винке, Радовиц и Лихновский. На собраниях реакционеров не курили, члены собраний нередко являлись во фраках. Для австрийских реакционеров Шмерлинг нанял на средства австрийского правительства ложу „Сократ", в которой эти господа были достаточно защищены от проникновения демократического ветерка. Монархисты-конституционалисты с Дальманом и Гагерном во главе, собирались в „Вейденбуше", переименованном после в „Отель Унион"; левая, с Фогтом и Блюмом, устраивала собрания в „Немецком Отеле", позднейшей „Гармонии". Крайняя левая заседала в „Доннерсберге", а потом в „Церингер-Отеле", куда приходили Шлеффель, Трюцшлер и Циц. В противоположность аристократическим демократические собрания проходили без всяких стеснений: здесь курили, располагались за столами в жилетах. Нельзя не упрекнуть левую в том, что она

[1]) Один очевидец рассказывает: „Лихновский нередко встречал здесь одну из своих приятельниц. Это было пикантное зрелище,—дама сидит, скрытая в нише, Лихновский прикорнул на ступеньке, приклонив голову к одной ее ноге, а другую шутливо захватив руками".

на пустяки убивала драгоценное время. Конечно, никто не будет в претензии на членов франкфуртского парламента за то, что они после заседаний благодушествовали в трактирах. Но, к несчастью, многие члены, и особенно с левой стороны, проводили в кабаках, повидимому, почти все время, свободное от заседаний, и совсем не понимали серьезности переживаемого момента[1]). Мир обогатился массой удачных карикатур и острот. Фогт играл роль шутника у левой, как Детмольд у правой. Людвиг Симон рассказывает об „юмористических основных правах", проект которых набросали государственные люди левой [2]). Депутат Реслер из Эльса расположился главной квартирой в отеле „Зеленое Дерево", он всегда был в желтом костюме и потому получил прозвище „имперской канарейки". Здесь Реслер с партийными единомышленниками публично обсуждал перед завсегдатаями трактира вопросы партийной тактики. Некоторые из преобразователей Германии слишком некстати, не во время страдали муками любви. Прелестная кельнерша в „Зеленом Дереве", вероятно, укротила не одного дикого демократа, наливая ему стакан превосходного рейнского вина и бросая при этом нежные взоры своих пламенных глаз.

В этой атмосфере, слишком уж мирной, приятной, не могли возникнуть новые, спасительные идеи. Так то и случилось, что собрание потонуло в болтовне об основных правах и потом преподнесло их немцам в ряде абстрактных положений, с которыми никто не считался. Если бы в парламенте господствовало более энергичное настроение, он в надлежащее время придал бы основным правам форму закона, ввел бы их во всех государствах Германии и устранил бы все, что стояло с ними в противоречии. А так основные права остались прекрасными словами, напечатанными на бумаге, и ничем более.

„Благодушные" парламентские революционеры левой не видали, что в народе начинает исчезать доверие к ним. Некоторые из пигмеев топорщились очень усердно; их тщеславие выростало благодаря тому, что пресса, даже демократическая, приписывала великую важность речам в церкви св. Павла. Только немногие газеты во-время увидали ту наклонную плоскость, по которой скатывался парламент. Подавляющая часть ежедневных газет, само собой разумеется, тоже пробавлялась избитыми фразами, а решительно демократическая пресса не могла противодействовать влиянию целого роя филистерских изданий. Профессорская „Немецкая Газета", издававшаяся в Гейдельберге, задавала тон для ряда газет такого же стиля. Сравнительно большие газеты, как „Кельнская" на Рейне и „Фоссова" в Берлине, служили выразительницами полуреакционерного либерализма и дряблого конституциона-

[1]) Один из известных членов парламента охотно, часто и надолго засиживался за вино и потом, как сообщает его друг, обыкновенно „ощущал внутреннюю потребность в опоре".

[2]) Они таковы: „Независимость гражданина: § 1. Независим каждый гражданин, у которого есть ключ от дома.—Свобода обучения: § 2. Воспрещается принуждать к ученью. § 3. Размеры ассигновок на карманные деньги увеличиваются.—Право петиций: § 4. Запрещается просить милостыню с оружием в руках". И так далее.

лизма. О речах „государственных деятелей“ конституционалистов они говорили с величайшим благоговением и преклонением, как о каком-то новом евангелии. Берлинская демократическая „Реформа“, издаваемая Арнольдом Руге и Г. Б. Оппенгеймом, энергично выступала против мелодий „доверчивости“. Но никакая другая газета не давала места такой резкой критике парламента, как „Новая Рейнская Газета“, издававшаяся в Кельне Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом и считавшая в числе своих постоянных сотрудников Фердинанда Фрейлиграта, Вильгельма Вольфа и Эрнста Дронке. Газета называлась органом демократии. В действительности это был главный орган социалистического движения и единственная для Германии большая газета, которая боролась против капитализма и возрастающей силе капитала противопоставляла идеи научного социализма. Газета осыпала язвительными насмешками франкфуртских болтунов—„Шнапихановского“ (от Schnapp—вдруг и Hahn—курок; по своему значению ближе всего подходит к этому прозвище „пистолет“), т.-е. князя Лихновского, Карла Фогта, Якова Венедея. Венедей, под именем „кельнского паука“ увековеченный Генрихом Гейне для насмешек потомства, раз даже жаловался на „Новую Рейнскую Газету“ и возмущенно, и плаксиво. А „Крестовая Газета“, основанная около этого времени прусскими помещиками-феодалами, призывала полицию выступить против органа рейнских социалистов и уверяла, будто парижский „Moniteur“ 1793 года представляется бледным по сравнению с этой газетой.

Но никто не слушал предостерегающих голосов. С летом 1848 года исчезли последние надежды народа, что с достаточной ясностью доказывается вспышками отчаяния и восстаний, которые разразились осенью этого года. Непоколебимое доверие сохранили только профессора, адвокаты, буржуа,—короче, все мечтатели-конституционалисты Павловской церкви. Но ведь эти люди, действительно, жили мечтой, что в их языках таится больше силы, чем в штыках монарших солдат.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Прусская палата соглашения.

Весной и летом 1848 года политическая жизнь Берлина приняла тот характер, который на языке нытиков назывался „анархией“. Каждый день приносил с собой новые собрания и новые плакаты. Клубы и газеты росли, как грибы. Свобода мнений и союзов была до известной степени осуществлена, хотя еще и не обеспечена конституцией. Правда, власти уже тогда старались по мере сил положить этой свободе пределы, как доказывает процесс младшего Шлеффеля: однако в общем приходилось ждать более удобного времени для того, чтобы окончательно сокрушить „анархию“. Буржуазию, аристократию и бюрократию особенно возмущали ежедневные собрания, имевшие место во всех частях города. Народные собрания происходили на улицах Города Фридриха — на Кенигштрассе, на площадях Александра и Денгоф, особенно же часто „под Липами“. На углу Лип и Фридрихштрассе каждый вечер составлялось собрание, так называемый „клуб лип“. В то время, как изысканная публика лакомилась в ресторане Кранцлера мороженым и ликерами, за дверями его, на улице, народ обсуждал вопросы дня. Здесь держал свои речи некий Линденмюллер (его звали собственно просто „Мюллер“) [1]) или „дядюшка Карбе“, один из тех народных ораторов, которые с большим искусством упражнялись в берлинском остроумии, но не могли помочь массе доработаться до политического сознания, так как сами страдали отсутствием последнего. На углу Лип и Шарлотенштрассе имели место подобные же собрания, вследствие чего и сам перекресток получил прозвище „политического угла“. Впоследствии вмешалась полиция и постаралась уничтожить собрания; был создан особый отряд констэблей, чтобы положить конец уличным скопищам; разумеется, это привело к стычкам и вызвало серьезные волнения. Реакционерам, с глубокою скорбью созерцавшим крушение старого полицейского государства, пришлось на некоторое время вооружиться терпением: пока еще не было возможности вполне удовлетворить их фанатическую жажду порядка. Для всякого здравомыслящего человека

---

[1]) Непереводимый каламбур: „Мюллер“, фамилия оратора, значит по-немецки „Мельник“. „Линденмюллер“ — „мельник под Липами“ или „липовый мельник“.

не представляет ничего удивительного тот факт, что при внезапном переходе от строгой опеки над народом к сравнительной свободе приспособление к новым условиям жизни сопровождается по временам несколько бурными движениями. Однако в данном случае эти движения были вполне невинны, и только перепуганные филистеры могли усмотреть в пробудившемся чувстве свободы анархию; для филистера „анархия“ — все, что отступает от привычного ему жизненного уклада, халата и туфель. Под Линами, где прежде виднелись лишь гвардейские офицеры, веселящиеся буржуа и придворные кареты, теперь стали появляться пролетарии; в глазах известного сорта людей уже одно это было явным доказательством, что мир перевернулся вверх ногами. Здесь же Бассерман впоследствии увидал свои знаменитые „фигуры“.

Действительную „анархию“ очень часто вызывало в Берлине лишь суровое вмешательство полиции и гражданского ополчения.

Что касается рабочих, то в этот момент они до известной степени имели занятия благодаря уступчивости хозяев и общественным работам, хотя и не чувствовали себя удовлетворенными; они делали тщетные попытки организоваться и все снова и снова волновались, возбуждаемые мерами полиции, которая для борьбы против наплыва рабочих из других мест пускала в ход самое элементарное средство—высылку всех безработных из Берлина. Жалобы против этого оставались безрезультатными, и гражданское ополчение было всегда готово привести в исполнение и поддержать полицейские меры. Не раз рабочие требовали, чтобы им на-ряду с буржуазией было роздано оружие. В этом им, разумеется, отказывали; да впрочем, как мы уже видели, у большинства рабочих не было свободного времени, чтобы заниматься регулярными военными упражнениями и смотрами.

Буржуазия возлагала все свои надежды на „палату соглашения“ и на франкфуртский парламент. В то время, как буржуа занимались военными упражнениями, держали караулы, маршировали на парадах перед королем и к великому восхищению своих дам и девиц шествовали по улицам в блестящих мундирах с миной властелинов нового мира, в это самое время придворная камарилья осторожно, но упорно вела свои мины. Это уже не была та старая „камарилья“, которая властвовала во дворце во время катастрофы 18 марта: та была разбита потоком революции. Лишь к концу марта образовалась новая камарилья, деятельность которой наложила такой сильный отпечаток на весь дальнейший ход событий в Пруссии. Она составляла „маленькую, но могущественную партию“, сгруппировавшуюся впоследствии вокруг только что возникшей газеты „Kreuzzeitung“ („Крестовая Газета“); членами этой партии были исключительно представители непреклонного феодального, исконно-прусского дворянства, для которых не было мысли ненавистнее той, что Пруссия предстоит раствориться в Германии. Идеалом этих господ было, напротив, растворение Германии в Пруссии; но среди них имелись фанатики, которым всего приятнее было бы растворить Германию в Восточной Померании. Во главе клики стоял генерал-адъютант Фридриха-Вильгельма IV Леопольд фон-Герлах, который в своих мемуарах, изданных впо-

следствии его дочерью, откровенно разоблачил все происки руководимой им камарильи. Брат его, Людвиг фон-Герлах, был известным „обозревателем“ „Kreuzzeitung“ (псевдоним—„Герман Вагенер“); впоследствии он стал социально-политическим „Мефистофелем“ Бисмарка; это—первый редактор благочестивой феодальной газеты, ежедневно изливавшей горячую смолу и серу на демократические Содом и Гоморру. Клейст Ретов, Бисмарк-Шенгаузен, фон-Массов и другие представители высшего дворянства принадлежали к „партии Kreuzzeitung“. Более всего им был ненавистен тот либерализм, который воплощало министерство Кампгаузена. Бисмарк уже тогда был известен откровенностью, с какой он возвещал свои средневековые воззрения. Однако в 1848 году его роль была второстепенной; „дела“ камарильи не им направлялись. Он лишь время от времени оказывал ей маленькие услуги, по большей части в качестве сотрудника „Kreuzzeitung“. В общем он остался навсегда верен своим тогдашним взглядам, и немногие уступки, сделанные им духу времени, объясняются соображениями чисто практического характера. Дело его жизни—пресловутое объединение Германии,—в которое серьезно верить может только слепой национал-либерализм, является в гораздо большей степени растворением Германии в Пруссии, чем растворением Пруссии в Германии; да и в таком виде оно могло быть доведено до конца только благодаря исключению Австрии. Как раз люди, наиболее свободные от подозрений в партикуляризме, не находят возможным признать дело Бисмарка действительным объединением Германии. Во всей внутренней и внешней политике Бисмарка нет ни одной новой творческой мысли; бисмарковское объединение осуществило лишь то, что в виде „идеи“ сложилось в головах бранденбургского и померанского феодального дворянства еще в 1848 году.

Леопольд Герлах был, по его собственным словам, „в тупом отчаянии“ в мартовские дни, когда король в Потсдаме сказал офицерам гражданского ополчения, что решения его свободны и что он никогда не чувствовал себя в такой безопасности, как теперь, под защитой берлинских граждан. В Берлине Герлах старался сгруппировать вокруг себя своих единомышленников. Он пишет в своих мемуарах: „30 марта первая попытка образования тайного министерства“.

Король был в это время мало восприимчив к советам камарильи. Но тем более восприимчива была королева, оказывавшая огромное влияние на своего мужа. Еще в 1852 году король говорил, что он смертельно влюблен в свою жену. Леопольд фон-Герлах употреблял все усилия к тому, чтобы при помощи тесных придворных кружков, особенно во время так называемых кофейных собраний, склонить короля на сторону „маленькой, но могущественной партии“ и таким образом обеспечить возврат к абсолютизму. „Kreuzzeitung“ взяла на себя высокую задачу расписывать радужными красками домартовское положение дел, называя последовавшие перемены величайшим несчастием всемирной истории. Однако Радовиц, уже упомянутый депутат франкфуртского парламента, защищавший там дело специфически-прусского абсолютизма, и Иосия фон-Бунзен, известный друг короля, тогда посланник в Лондоне, имели в рассматриваемый период больше влияния на короля, чем

Герлах. Они побуждали его сопротивляться натиску камарильи и выжидать для „поворота назад“ более благоприятного момента.

Романтически настроенный король мечтал о великой германской империи, конечно, под его верховным главенством. Но то, что носилось перед его умственным взором, была не единая Германия, покоящаяся на свободном представительстве германского народа: это была старая Римская Империя Германской Нации, глава которой избирался князьями. Он от души ненавидел либерализм, пожалуй, еще больше, чем демократию [1]). С другой стороны, и дворянам камарильи он порой говорил вещи, которые те лишь с трудом могли переварить. „По сравнению с Радовицем и Бунзеном,—пишет Герлах 19 ноября 1848 года—король считает нас совершенными остолопами; я передал это Рауху, но и он заметил что поскольку дело касается его, он готов с этим примириться“. И даже в следующем году 9 июня 1845 г., Герлах пишет: „Король считает нас за ослов, а Бунзена и Радовица за великих государственных людей“.

Как сам король относился к мартовским событиям, как объяснял он возникновение катастрофы, явствует из письма, написанного им 13 мая 1848 года в Лондон Бунзену, того самого письма, в котором заключается вышеприведенное место о либерализме и о болезни спинного мозга. Бунзен заметил как-то раньше, что вера в существование заговора равносильна вере в привидения. „У меня бессильно опустились руки перед этим привидением,—пишет король.—Мог ли я ждать, что доказательство его реальности будет начертано кровью на домах Берлина! Знаете ли вы, что в Берлине более чем за две недели до события все было приготовлено к п о з о р н е й ш е м у и з б у н т о в, который когда-либо обесчестил какой-либо город. Во всех домах собственно Берлина, Нового Города и Города Фридриха собирались камни, чтобы избивать ими моих верных солдат. Равным образом давно уже была замечена заготовка кусков дерна, послуживших впоследствии для укреплений против огня войск, при чем никто не мог понять, откуда взялась эта своеобразная потребность в камнях и дерне. Далее все чердаки на главных улицах были соединены между собою, чтобы можно было из слуховых окон осыпать камнями и выстрелами наступающие или отступающие войска. Было доказано, что в Берлин в течение нескольких недель стеклось более 10.000 человек отвратительной сволочи (и наверное вдвое большее число осталось незамеченным), состоявшей из отброса французов (galeriens), поляков и южных немцев, особенно маннгеймцев; но тут

---

[1]) В одном письме к Бунзену король дает следующую характеристику либерализму: „Либерализм—это болезнь, точь-в-точь сухотка спинного мозга. Известными симптомами последней являются следующие: 1) сильно выпуклый мускул у большого и указательного пальцев становится вогнутым при давлении; 2) слабительное возбуждает запор; 3) закрепляющие средства производят понос, и на позднейшей стадии: 4) ноги высоко подымаются, но способность ходить утрачивается. Притом такой больной зачастую и сам себя считает здоровым и окружающие не замечают его болезни. С о в е р ш е н н о т а к ж е л и б е р а л и з м д е й с т в у е т н а д у ш у. Отрицается самое очевидное выполнение последствий, вытекающих из искони ясно установленных посылок, отвергается, как суеверие“.

были и люди, весьма опытные в военном деле, будто бы миланские графы, купцы и т. п. Весь этот народ был тщательно спрятан, так что полиция с ее слабыми средствами никого не могла разыскать. Один богатый маннгеймский купец нашел свою смерть на Кенигштрассе после того, как солдаты моего христолюбивого первого гвардейского батальона уже раз даровали ему жизнь, но он затем снова напал на них с тылу с аллебардой в руке. Среди преступников „великого дня", убитых и преданных земле, нашлось 40—50 человек, относительно которых никто не мог сказать ни одного слова, никто не мог назвать ни их отечества, ни их имени. И мне уже официально известно, что главари движения в Париже, Карлсруэ, Маннгейме и Берне 18 марта открыто заявляли: „Сегодня падет Берлин!". Так говорили Геккер, Гервег и многие другие из этой шайки негодяев".

Кто именно рассказывал королю эти сказки, исходят ли они от камарильи в тесном смысле слова, в настоящее время нет возможности установить. „Иностранцы" появляются уже в прокламации „К моим дорогим берлинцам!" от 19 марта. „Маннгеймский купец", предательски напавший на гвардейский батальон, 10.000 „отвратительной сволочи" делают честь фантазии неизвестного изобретателя. Очень возможно, что вольнонаемные полицейские шпионы представили дело своим доверителям в таком освещении; известно, что шпионы всегда сочиняют самые нелепые истории только для того, чтобы доказать свою необходимость на будущее время. Возможно далее, что полицейское начальство в свою очередь несколько „редактировало" эти отчеты и передало их двору. Не надо, однако, забывать, что Берлин был тогда и в самом деле переполнен самыми ужасными слухами. Это и понятно: в такое горячее время верят совершенно невероятному. В 1848 году лёгковерие характеризует все партии: среди демократов распространяются и встречают веру такие же нелепости, как и среди аристократов. Стоит только перелистать демократические и аристократические газеты того времени, чтобы убедиться в этом. Либералы подняли большой шум по поводу писем короля к Бунзену, когда они были опубликованы, главным образом потому, что там была дана слишком нелестная характеристика либерализма. Вообще же говоря, либералы должны были бы вспомнить, что в 1848 году вся политическая атмосфера была насыщена баснями и фантазиями; и лишь одно из созданий фантазии представляла уверенность, что собравшиеся во Франкфурте либеральные профессора и буржуа в состоянии создать своей болтовней германскую конституцию.

„Тайное министерство", несмотря на озлобление короля против мартовских событий, не могло достигнуть успеха в своих реакционных планах и обратилось за помощью в Лондон к проживавшему там принцу Вильгельму Прусскому. Герлах в своих письмах убеждал принца „не марать себя участием в этом правительстве" (мартовском министерстве Кампгаузена). Но принц отклонил услуги камарильи. Его ответ гласит:

„В самом деле, что сталось с Пруссией с тех пор, как мы в последний раз беседовали с вами рядом с той батареей у фонарного столба?

(вечером 18-го марта перед берлинским дворцом). Кто мог думать, что через двенадцать часов старая Пруссия будет похоронена и возникнет совсем новая? Какую позицию займу я по отношению к этой новой Пруссии, сейчас еще трудно предвидеть, сопротивляться ей, отказать ей в моих услугах представляется невозможным; на каких условиях я примкну к ней, покажет время. Если конституция, как и конституанта (учредительное собрание), станет совершившимся фактом, если король будет ограничен, могу ли я остаться в стороне, если я вообще захочу когда-либо вернуться на родину.

С этого времени камарилья заняла выжидательную позицию, подстерегая удобный случай, чтобы вмешаться. Случай представился, но не так скоро.

Между тем 10-го мая министерство ходатайствовало перед королем, чтобы он „посоветовал принцу Прусскому сократить свое пребывание в Англии". Король ответил, что он вполне согласен с этим, тем более, что принц неоднократно высказывал свое сочувствие тому новому пути, на который ступило правительство.

Когда известие о предполагаемом возвращении принца Прусского дошло до публики, оно возбудило страшное волнение в Берлине. Толпа считала принца главным противником перемен в Пруссии. Демократия тотчас же обнаружила усиленную деятельность. На воскресенье, 14-го мая, было назначено народное собрание в „Палатках", куда все, имеющие право носить оружие, приглашались явиться вооруженными. Были приглашены все противники возвращения принца. Гражданское ополчение и студенты, хотя и высказались против приглашения принца обратно в Берлин, однако старались отговорить народ от вооруженной демонстрации.

Несомненно, впрочем, что демократия гораздо больше заботилась о низвержении ненавистного ей министерства Кампгаузена, чем о том, чтобы воспрепятствовать возвращению принца. Уже неудачная демонстрация 20-го апреля имела целью низвержение этого реакционного правительства. Теперь обстоятельства казались более благоприятными, и попытка была возобновлена.

Собрание перед Шенгаузскими воротами, созванное конституционным клубом, высказалось как против возвращения принца, так и против всякой демонстрации. Несмотря на то, целые тысячи устремились на воскресное собрание в „Палатках". Газетные отчеты определяют число участников в 15—20 тысяч. Вооруженными явились лишь немногие.

Собрание было открыто Эйхлером, и „берлинский Мирабо", Гельд, держал главную речь. Он побуждал народ двинуться толпой к жилищу министра-президента Кампгаузена на Вильгельмштрассе. Дело идет о том, сказал Гельд, чтобы помешать возвращению принца Прусского; почти все население Берлина единодушно в этом вопросе. Пусть демонстрация будет мирной, но мы желаем ясного ответа: да или нет!

Составилась депутация из господ Гельда, Эйхлера, Шрамма, Брасса[1], ...анна, Прутца[2]) и Салиса; к ней примкнул также Арнольд Руге, находившийся в Берлине проездом во Франкфурт.

Вооруженным членам собрания был дан совет устраниться от шествия, ...бы не нарушать его мирного и законного характера, и демонстрация ...алась. Впереди двигалась депутация, за ней тысячная толпа народа, к ...орой в городе присоединились новые тысячи. Густая толпа заполнила ...ьгельмштрассе, где обыкновенно царствовала аристократическая тишина; ...кнах и на балконах также теснился народ. „Старые львы на портале ...мера,—пишет один очевидец,—обыкновенно зевавшие только от скуки, ... теперь разинувшие свои пасти от удивления, были оседланы дюжиной ...их укротителей зверей“. Толпа поддерживала образцовый порядок. Депу...ия вошла в дом, занимаемый Кампгаузеном; на дворе дома виднелись ...руженные люди; последние, однако, поспешно исчезали при первом же ...ажении неудовольствия со стороны толпы. Битый час не показывалась ...утация, и народ терпеливо ждал ее на улице. Депутация не застала дома ...истра-президента, но нашла в его квартире двух министров, Шверина и ...уэрсвальда. „Что вы называете народом?“ спросил насмешливо ...ерин, в ответ на что депутаты пригласили его выйти на балкон. Оба ...истра в сопровождении всей депутации появились на балконе. Шверин ..., очевидно, поражен видом толпы; он попытался сказать народу несколько ...в, но его прервали оглушительные крики снизу: „Отставка, отставка!“. ...том возгласе вполне выразилась истинная цель демонстрации. Затем взял ...во Гельд и сообщил собравшимся громовым, далеко разносящимся голо..., что депутация не застала министра-президента, так как он уехал в ...дам. Депутация, сказал он далее, была принята министрами Ауэрсвальд... и Шверином и потребовала от них, чтобы министерство за своей ответ...нностью объявило, что принц Прусский возвратится не раньше, чем его ...зовет назад палата соглашения; министры, голосовавшие за возвращение ...нца или несогласные сделать требуемое заявление, должны подать в от...вку. На это оба присутствующие министра заметили, что вследствие ...утствия министра-президента они не в состоянии сегодня решить это ...о, но завтра к 4 часам дня министерство объявит свое решение во все...

[1]) Впоследствии редактор „Norddeutshe Allgemeine Zeitung“. В 1848 г. он был ...итогом и певцом баррикад, сочинил, между прочим, гимн в честь красного ...мени.

„Wir färben's echt, wir färben's gut,
Wir färben's mit Tyrannenblut“.
(„Окрасим мы ярко, окрасим мы смело,
Мы кровью тиранов окрасим его“.)

Он был руководителем демократической агитации среди прусского гражданского ...лчения. Его позднейшая деятельность в когорте тех официозных журналистов, ...орых сам Бисмарк называл „свинопасами“, достаточно известна. На долю Брасса, ...омненно, приходится часть вины за то, что Бисмарк так презрительно говорил ...оих литературных оруженосцах.

[2]) Известный поэт, член конституционного клуба.

общее сведение. Итак, воскликнул Гельд, пусть собравшиеся потерпят 4 часов будущего дня; в течение этого времени депутация позаботится сохранении порядка, но если министры не уступят столь ясно выраженн желанию народа, да падет на их голову ответственность за возможные п следствия.

Масса казалась озадаченной; раздались возгласы неудовольствия; т не менее она последовала приглашению Гельда, и вся толпа стала спокой двигаться назад, большинство опять к „Палаткам". Тогда Гельд поблагодар собрание за образцовое поведение и стал было говорить о „великой побед но не встретил сочувствия и был даже поднят насмех. Было решено завтра снова собраться.

В назначенное время появилось заявление министерства, в котором возвращении принца министры говорили следующее. „В целях всеобщ успокоения сим заявляем: его королевское высочество может вернуться вернется в отечество никак не ранее, чем через 2 недели, следователь во всяком случае после назначенного на 22 мая открытия собрания нар ных представителей. Предварительно принц,—что всегда разумелось са собою,—публично заявит свое полное согласие с вступающей в си новой конституцией". Выйти в отставку, говорится дальше, министры данный момент не могут, так как некоторые группы выразили доверие и потому они должны остаться на своем посту по крайней мере до открыт собрания народных представителей.

На следующий вечер собрание в „Палатках" началось с того, ч многие ораторы один за другим стали обвинять „народного вождя" Гель в отсутствии твердости и вероломстве; другие требовали низвержения мин стерства; в конце концов дело дошло до свалки, так как консерваторы фанатики порядка, явившиеся в значительном числе, прерывали демократ ческих ораторов криками: „долой!" Гельд утверждал на другой день, ч его жизнь была в опасности. Комиссия, созвавшая собрание в „Палатках выпустила еще одно воззвание против министров. Что касается возвращен принца, то спор об этом разыгрывался в дальнейшем только на столбц газет,—опять доказательство, что „возвращение" не было действительн причиной демонстрации. В поэзии и прозе многочисленные голоса высказ вались и за и против возвращения; из провинции, в частности из Мюнх берга, приходили адреса, требовавшие возвращения.

Вечером 15-го мая произошел скандал в политическом клубе. Разб рался доклад одного из членов о том, как побудить народных представ телей признать революцию 18-го марта со всеми ее последствиями. Нескольк присутствовавших реакционеров подняли шум; явилось гражданское опо. чение, и президент закрыл заседание. Несколько дней спустя клуб приня имя „демократического клуба".

Неудачная попытка демократов низвергнуть министерство настольк одушевила президента полиции фон-Минутоли, что он выступил с циркул ром против „незаконного" распространения печатных произведений,—и эт в самом разгаре новорожденной „свободы". Со времени неудачной демо

рации везде снова поднимают голову реакционные элементы и порой с льшой смелостью и настойчивостью.

Во время шествия перед дворцом министра на Вильгельмштрассе особно выдвинулся своей энергией союз ремесленников под предводительством ювелира Биски. Многочисленный и сильный союз машиностроителей решительно держал сторону Гельда. О ребериках „великий демагог" не считал жным беспокоиться. Он достиг поразительной популярности благодаря оему уму, ораторскому таланту и своей ловкости опытного журналиста. ем не менее со всех сторон начало подниматься против него недоверие. дин плакат гласил:

„Герой (ein Held—„Гельд") должен быть человеком дела,
Горластую глотку имеют многие" [1]).

16-го мая Гельд публично разразился против берлинского народа целым рядом упреков; он упрекал его в недостатке „политического такта, политического образования и политического сознания", он заявил, что время его „демагогической деятельности" среди народа Берлина еще не наступило, а потому он оставляет свой прежний пост, находя его несовместным с своими планами народного благосостояния и народной свободы. Отныне он ограничит свою деятельность участием в прессе и посвятит свои силы разработке социального вопроса. Быть может, его объявят трусом или подкупленным, но он решил снести даже такое обвинение.

„Национальная Газета" и „Реформа" осыпали „демагога" градом насмешек. „Уже не подкупили ли господина Гельда рыбаки", — писала „Реформа", — чтобы он своими громовыми речами в „Палатках" не распугивал карпов в соседней Шпре? В самом деле, с какой стати стало бы подкупать его министерство? Ведь он и без того работал в его интересах!". В своей книге „Революционная эпоха" Гельд сам сознается в своей непорядочности. Он называет там всю агитацию 13 и 14 мая, „бессмысленной". Если она действительно казалась ему такой, зачем же он стал в таком случае во главе движения? Его тайные переговоры с реакционными партиями и его измена демократии раскрылись впоследствии, отчасти благодаря его собственным признанием. Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Между тем магистрат издал новый „регламент для подмастерьев", согласно которому рабочие могли быть наказаны тюрьмой за простое опоздание на работы. Стефан Борн в центральном комитете рабочих в своей газете „Народ" подверг эту разновидность буржуазной мартовской свободы резкой критике. В то время, как либеральная буржуазия содействовала ограничениям свободы рабочих, консервативные противники либерализма образовали „Союз пруссаков для защиты конституционного королевства". Этот союз заявил, что он намерен с одинаковой решительностью выступать „как против республиканских, так и против абсолютистских тенденций". В союзе объединились знать и чиновники, придворные сапожники и придворные мяс-

[1]) „Ein Held muss sein Mann mit der That,
Das grosse Maul gar Mancher hat!"

ники, частные лица, генералы в отставке, банкиры и коммерции советник Конституционализм служил союзу лишь временной маской, в действительности он был средоточием непримиримых реакционеров. Демократия пыталась усилить свою позицию устройством новых клубов, как, напр., „Народного клуба“, „Союза для защиты народных прав“ и т. п.

Таким образом, когда собралась палата соглашения, реакционные элементы уже наступали. Палата была открыта 22 мая в Белом зале [1]). Открытию предшествовало оживленное обсуждение вопроса, должны ли депутаты явиться в Белый зал или же им следует настаивать на том, чтоб заседания были открыты в помещении, предоставленном собранию консерваторией; вообще говоря, против Белого зала протестовали. В конце концов впрочем, соглашение было достигнуто, и около 300 депутатов явились Белый зал; уклонилось не более десяти человек, в числе их Беренде, Юнг наборщик Брилль и прокурор Кирхман.

Король прочитал тронную речь, в которой заявил, что правительств предложит проект конституции. Я охотно подождал бы, сказал он, результатов франкфуртского собрания прежде чем созвать собрание прусское, н „потребность в скорейшем установлении правового порядка в собственно нашем отечестве“ этого не позволяет. Появление и уход короля сопровождались троекратным „ура“ собрания. Затем министр-президент объявил заседания открытыми.

Тотчас же почувствовалось, что разработка прусской конституции является помехой для общего объединительного движения. Невольно возникало опасение, что при независимой работе обоих учредительных собраний между имперской конституцией и конституцией отдельных стран легко могут получиться неразрешимые противоречия. Поэтому Раво предложил во Франкфурте отсрочить обсуждение местных конституций собраниями сословий отдельных государств, пока не будет закончено главное дело во Франкфурте. Однако Винке с товарищами апеллировал к доверию: он утверждал, что германские правительства подчинятся франкфуртским постановлениям. I господа конституционалисты позволили себя усыпить, не пожелали настоять на строгом проведении принятого предпарламентом постановления, гласившего что обсуждение и окончательное установление государственного строя Германии должно быть исключительно и всецело делом франкфуртского парламента; конституционалисты удовольствовались бесцветной резолюцией. Попытка левой подставить ножку принципу соглашения таким образом окончилась неудачей. Необходимо, впрочем, заметить, что если бы австрийский и прусский парламенты стали дожидаться завершения франкфуртской конституционной работы, им, конечно, никогда не пришлось бы собраться.

---

[1]) Это собрание обыкновенно называют прусским национальным собранием,— по нашему мнению, неправильно. Как стали бы смеяться, если бы, напр., Гамбург назвал гамбургским национальным собранием свое учредительное собрание, которому тоже приходилось принять новую конституцию! И тем не менее у Гамбурга было бы для этого такое же право! В новейшее время о „прусской нации“ говорил фон-Путткамер да и вообще такой термин искони в ходу у помещиков.

В состав прусского собрания вошли 16 рыцарей и дворян, 98 судейских чиновников, 48 чиновников министерства внутренних дел, 28 городских служащих, 52 духовных, 27 учителей, 31 купец, 28 ремесленников, 68 крестьян, 11 врачей, 3 литератора, 4 офицера, 1 коммивояжер, 1 ремесленник и 1 поденщик.

Все наиболее значительные парламентарии Германии собрались во Франкфурте. В прусском собрании заседали по большей части люди без имени. Только левая могла указать в своих рядах известных политиков или людей, которые впоследствии сделались таковыми. Здесь сидели Вальдек, Иоганн Якоби, Темме, тогда еще прусский прокурор, д'Эстер из Кельна и Циглер, занимавший в то время должность обер-бургомистра в Бранденбурге. Собрание разделилось на две почти равные части; конституционалисты колебались между аристократией и демократией, а аристократы в тех случаях, где это было им выгодно, поддерживали дело конституционалистов. При таких условиях нетрудно было предвидеть, что „соглашение" прусской конституции с прусским королем потерпит фиаско, как только уляжется поток революционного движения. Франкфуртское собрание объявило себя учредительным, но в его руках не было силы, необходимой для того, чтобы действительно обеспечить за собой учредительный характер, и оно не заботилось о приобретении такой силы. Прусское собрание не осмелилось объявить себя учредительным и продолжало держаться за принцип соглашения. Оно полагало, что берлинское гражданское ополчение в союзе с народом дает ему фактическую силу и поддерживает его. Ему еще предстояло убедиться на опыте, что вооруженная буржуазия не есть вооруженный народ; гражданское ополчение, этот мыльный пузырь, в конце концов лопнул, после того как он столько времени очаровывал народ и собрание переливами своих обманчивых красок.

Предложенный правительством проект конституции не удовлетворил даже тех, которые, вообще говоря, были склонны рассматривать все, исходящее от начальства, как проявление высшей мудрости. Проект устанавливал систему двух палат, выборы предполагались двустепенные; 160 членов первой палаты должны были избираться выборщиками; остальные места ее проектировалось заполнить принцами королевского дома и 60 мест назначенными королем наследственными членами из лиц, обладающих доходом не менее, чем в 8.000 талеров. Способ избрания выборщиков обеих палат правительство обещало установить впоследствии в особом законопроекте.

Демократия резко напала на проект; даже гражданское ополчение, которое пользовалось таким благорасположением двора и благонамеренность которого возрастала с каждым новым лучем милостивого внимания со стороны двора, даже гражданское ополчение обнаружило строптивость, а „Vossische Zeitung" советовала собранию, совершенно не вдаваясь в детальное обсуждение проекта, немедленно передать его в комиссию для полной переработки. Рабочие направили в парламент адрес, составленный, видимо, Бор-

ном; рабочие требовали в адресе права на труд и обеспечения инвалидов, труда. Конституция представлялась им совершенно неудовлетворительной. Из провинции тоже приходили в большом количестве протесты против новой конституции.

В Берлине в это время было очень оживленно. Вот как рисуется физиономия города из описаний очевидцев. Гаркорт [1]) пишет: „Под Липами прогуливались молодые люди с красными петушиными перьями на шляпах и охотничьими ножами на боку; мне сказали, что это школьники-латинисты изучающие в настоящее время политику и приводящие в порядок финансы своих родителей. Все деревья от корней до веток заклеены афишами, прославляющими благословения свободной печати и призывающими сохранять добрые нравы и приличия; мне положительно казалось, что я на бульварах Парижа. Юные книготорговцы без сапог и патента наглядно доказывали, что Берлин стал средоточием просвещения. Так как я приехал в Берлин из Брюсселя, мне было интересно сравнить берлинскую деловую жизнь с тамошней; но в лавках я встретил лишь унылые лица, везде квартиры, отдающиеся в наем, огромные массы товаров без движения... ну, подумал я, дела пока идут не важно, однако добрые берлинцы держат себя тихо в ожидании будущих благ. С этими мыслями я опустился в постель, моля Бога, чтобы он утешил всех обремененных. Ночью я внезапно вскочил; можно было подумать, что мы горим, или что русские напали на город. Страшный гвалт, как будто пятьдесят ночных сторожей сразу затрубили в свои трубы, генерал-марш, обыватели выскакивают на улицу с оружием в руках, вдали сливающийся гул, как от кваканья мириада лягушек. Я поспешно надел сапоги, чтобы погибнуть вместе с отечеством, если берлинцам действительно пришел конец. Месяц смотрит с неба так тускло и уныло, как будто он оплакивает судьбу мудрой столицы. Вдруг входит мой хозяин; в страхе я готов подумать, что он ранен, что баррикада уже погибла. „О, дорогой господин,—говорит он:—ради Бога не беспокойтесь, это совсем пустяки, это только обычная ночная кошачья музыка“. Да, могу сказать, берлинцы все умеют устроить на славу, не умеют они только привлечь к себе доверие и деньги“.

При всем своем филистерстве письмо это прекрасно характеризует гражданское ополчение, которое формально взяло на себя отправление службы ночных сторожей. Кошачьи концерты в Берлине, как и в Вене, были тогда в большой моде. Начальник гражданского ополчения генерал фон-Ашоф, президент полиции и магистрат действовали таким образом, как будто бы эти ночные безобразия действительно грозили гибелью всем основам государства.

Присоединим сюда еще картинку с натуры из одного демократического листка.

„В стенах нашего города кипит в настоящее время поразительная жизнь. Народные собрания, клубы, союзы, кошачьи концерты, гражданское ополчение, шныряющие повсюду книготорговцы, министры, заслуживщие того, чтобы им подали карету, охраняемые полицией народные вожди, сею-

[1]) Известный депутат, бывший также членом палаты соглашения.

ие смуту ревнители спокойствия, революционные реакционеры и консервативные революционеры, мертвые тайные советники, действительные тайные зносьчики, полицейские в форме, живые карикатуры свободы и равенства,— ие это так прихотливо перемешивается между собой, что пивным филистерам в халатах и ночных колпаках становится не по себе. А теперь сюда присоединилось еще национальное собрание и настолько увеличило гром речей, серенад, барабанов, флейт, трещеток, труб, криков левых, фосвеских завываний и причитаний, спенеровского храпа и прочих милых звуков, что по сравнению с этим даже оперы Спонтини кажутся небесной гармонией".

Агитация Брасса и других среди ландвера вызвала контр-агитацию со стороны консервативных офицеров; распространялись слухи о заговорах в ландвере. На одном собрании последнего в арсенале ландвера у потсдамской дороги генерал фон-Веберн обратился к ним с следующей речью: „Товарищи, кому же мы собственно обязаны революцией? Ведь никому другому, как французским и польским эмиссарам и беспутным писакам, которых всех следовало бы вздернуть. Я, право, не нахожу слов, чтобы назвать по достоинству этих негодяев (здесь почтенный оратор остановился, как бы в раздумье, и затем продолжал), одним словом, это — сволочи, еще раз сволочи и трижды сволочи!" Эта принятая с энтузиазмом „ядреная" речь служит прекрасным образчиком того духа, который царствовал в известных кругах и находил себе выход в выражениях настолько крепких, что по сравнению с ними даже самые сильные места демократической прессы кажутся пресными.

Гражданское ополчение должно было 23 мая произвести перед королем так называемый „парад доверия" и создать таким образом настроение в пользу проекта конституции; однако, несмотря на все усилия генерала Ашофа, парад оказался неудачным. В то время как буржуазия видела в конституции важнейший предмет общественного интереса и вела по поводу ее пространнейшие дебаты, среди рабочих начались волнения: среди них снова появилась нужда, а спазмы пустого желудка заставляют, как известно, забыть все конституции мира. Недостаточность учреждений, дававших заработок безработным, обнаружилась очень скоро; наплыв ищущих работы был очень велик, и власти делали выбор среди них, очень многих оставляя за флагом. До сих пор, согласно данным министра общественных работ господина фон-Патова, за десятичасовой рабочий день уплачивалось 15 зильбергрошей вознаграждения. Теперь, под предлогом некоторых несогласий с рабочими, последние подверглись „отбору", и была установлена сдельная плата. Сотни голодных рабочих осаждали ратушу, к ним присоединялись все новые и новые и, наконец, толпа возросла до двух тысяч человек. Все они были страшно возмущены теми придирками полиции, которые начались с тех пор, как была установлена проверка видов на жительство; депутация, направленная в главное полицейское управление, была встречена надменным окриком одного полицейского чиновника: „И не стыдно вам искать работы такого сорта?". Некоторые горячие головы заговорили о взятии штурмом

ратуши, но один юный рабочий взял слово и обстоятельно доказал, что эт дало бы только новое оружие в руки реакции, и толпа немедленно успокоі лась. Было постановлено применять только мирные и законные средства, также апеллировать к гражданам, если не удастся оказать давление н власти. 29 мая 8.000 рабочих собирались в манеже перед Пренцлаускими воротами, двинулись оттуда многолюдной толпой к ратуше, где и потребс вали, чтобы уволенные работники были немедленно вновь приняты на работ; Магистрат сначала не хотел им уступать; рабочим говорили, будто увольнс ния вызваны „неприличным поведением“ уволенных. Наконец, рабочим обс щали снова дать работу всем уволенным, было предположено также дать за нятия новым 3.000 рабочих.

Однако обещания эти были выполнены лишь отчасти, и в следующи дни 2.000 человек все еще оставались без работы. Они собрались на плс щади Донгоф и вечером появились перед ратушей. Бургомистр заявил, чт берлинская коммуна не может дать работу большему количеству людеі Тогда часть рабочих двинулась к дому министра труда фон-Патова. Гра ждане Гофман и Закс вызвались быть ораторами. В шествие постаралис включить наиболее нуждающихся, преимущественно отцов семейств. Депута ция с Гофманом и Заксом во главе вошла к министру и изложила ему же лания рабочих. Господин фон-Патов заметил, что в данный момент он ниче не может помочь; но в ближайшие дни, по его словам, положение должн улучшиться, так как будет приступлено к устройству канала и, кроме тог начнутся различные работы в Шарлоттенбурге. Затем благородный минист предложил из собственного своего кармана целых 20 талеров на 700 рабс чих. Депутация не приняла этого подарка, заметив что она не просит милостыні Когда рабочие узнали, что предложил им министр. они были страшно возму щены, и человек тридцать ворвались в дом, по словам господина фон-Па това, „с громким криком“, и сорвали одну дверь с петель [1]. Министр да письменное заявление, что работы предвидятся, но Закс и Гофман объяснил ему, что такими обещаниями нельзя накормить рабочих, которые действительн голодают. Тогда в виде задатка рабочим было роздано 300 талеров, чт временно их успокоило. Между тем явился один член магистрата и увері рабочих, что с следующего дня работа им будет доставлена. Большинствс действительно, получило работу. Господин фон-Патов считал 300 талерон выданных рабочим, простым подарком, однако Браге. распределявший эт сумму, рассказывает, что рабочие были намерены возвратить их назад и в самом деле приносили ему деньги.

Молва страшно преувеличила эти события, хотя всякому беспрі страстному человеку не трудно было бы понять, что устами рабочих говорил только крайняя степень нужды. Господин фон-Патов был „бледен, как по лотно“, описывая в собрании, как безработные ворвались в его дом. Н случись этого, он, пожалуй, вовсе не поверил бы в существование нужд

[1] В доме рабочие вели себя очень благопристойно и, между прочим, старательн отставили к стене все бархатные кресла, чтобы как-нибудь не испортить их.

рабочих. Нет ничего удивительного, что у рабочих, которые посреди новой „свободы“ подверглись увольнениям и должны были голодать с женами и детьми, мартовское одушевление испарилось очень скоро.

Демократические союзы решали „социальный вопрос“ так же просто, как и правительство, они тоже ограничивались доставлением безработным благотворительных пособий, конечно, весьма недостаточных. Но зато в другом направлении демократия обнаруживала энергичную деятельность. Она требовала всеобщего вооружения народа, так как снова появились тревожные слухи о собирающейся с силой реакции: рабочие машиностроительного производства возбужденной толпой явились перед арсеналом, когда распространился слух, что находящееся там оружие будет убрано и передано в армию. 500 ружей были розданы рабочим машиностроительного и железоделательного промысла.

4 июня демократический клуб постановил устроить торжественное шествие на Фридрихсгайн, чтобы почтить память погребенных там мартовских борцов. Демонстрация должна была в то же время побудить собравшихся народных представителей держаться за революцию и ее приобретения. Мысль демонстрации встретила всеобщее сочувствие, хотя в это время реакционеры уже не скрывали своей ненависти к „мартовским борцам“ [1]). Народный клуб, клуб гражданского ополчения, студенты и даже конституционный клуб с большим рвением готовились к демонстрации [2]); комендант гражданского ополчения разрешил, правда, своим подчиненным принять участие в шествии „в качестве частных лиц“, однако „на случай возникновения беспорядков“ принял свои меры. В палате Несс фон-Эзенбек, занимавший место на левой, известный естествоиспытатель, подвергнутый впоследствии тяжелым гонениям за свои радикальные и социалистические взгляды, внес предложение, чтобы все собрание приняло участие в шествии к Фридрихсгайну. Но собрание вотировало простой переход к очередным делам, за что и подверглось резкой критике со стороны демократической прессы.

Дамы демократического клуба со всей возможной поспешностью вышили знамя, которое Люцилия Ленц, стоявшая 18 марта на баррикаде, преподнесла клубу, сказав при этом очень пышную речь. Об этом „красном“ знамени много было разговора впоследствии [3]).

---

[1]) Как смотрели в военных кругах на защитников баррикад 18 марта, видно из следующих слов графа Лэттихау в его „Воспоминаниях об уличной борьбе“ (во время последней он командовал батальоном стрелков): „В прежние времена трупы их были бы сожжены и пепел развеян по ветру, чтобы навсегда стереть у всех людей воспоминание о них, воспоминание об этом отбросе всех наций и подонках берлинской черни, самое существование которых есть наглое оскорбление для человечества“. Черно-красно-золотое знамя тот же граф называет **французским** трехцветным!

[2]) Конституционный клуб решился, впрочем, принять участие в демонстрации лишь после того, как, господин Фрозе заверил его, что с этим предприятием не связано ни малейшей опасности.

[3]) Знамя было сделано из темно-красного шелка с золотой каймой и черными лентами с надписями: „Демократический клуб“ и „18 и 19 марта 1848“. Во времена реакции его пришлось старательно припрятать.

Импозантная процессия 4 июня двинулась с Жандармской площади к Фридрихсгайну по тем самым улицам, как в свое время погребальное шествие с павшими мартовскими борцами. Дома были разубраны черно-красно-золотыми флагами. Около полутораста депутатов, клубы и рабочие союзы, гражданские ополченцы, группа дам, многочисленные иногородние депутации и действительно колоссальная масса народа составили шествие, посреди которого виднелось множество знамен и эмблем. По газетным сведениям, от одной четверти до двух третей всего берлинского населения было в этот день на ногах. Пятнадцать ораторов говорили на могилах, между прочим Борн, Гельд, демократические депутаты, граф Рейхенбах, капелан фон-Берг и Юнг, несколько рабочих и студентов. Много говорилось о реакции; некоторые ораторы высказывали довольно печальные предположения,—доказательство, что они питали не слишком много доверия к палате соглашения. Так как в этот день ни гражданское ополчение, ни какая-либо другая полицейская организация не вмешивались, то демонстрация прошла в полном порядке.

На этот раз только народ, рабочие и буржуа выразили свои симпатии павшим в мартовские дни. Магистрат, бюрократия, профессора и все вообще господа со звездами на фраках, 22 марта участвовавшие в шествии, теперь остались в стороне. 4 июня поворот в этих кругах стал уже очень заметен. Скоро он проявился еще решительнее; наступило даже время, когда высказывать героям мартовских дней свое презрение стало признаком хорошего тона.

Вечером этого дня было собрание типографщиков, и рабочий Диттмак резко нападал на реакционеров, стремящихся уничтожить мартовские завоевания. Было решено поручить берлинскому делегату на майнцском съезде всех типографщиков провести постановление, чтобы на будущее время на всем протяжении великого отечества не давать правительству ни одной буквы набора, ни одного печатного листа для ограничения свободы печати. Мысль, без сомнения, недурная, но, к сожалению, уже в то время среди типографщиков имелось более чем достаточно „черноногих“, всегда готовых за хорошую плату заместить отказывающегося работать товарища.

Между тем палата соглашения открыла свои заседания в консерватории. Первые собрания, на которых председательствовал, как старший [1]), бывший министр Шен, старший член Тугендбунда, были бурны и беспорядочны; консервативная партия в особенности выдавалась своим шумливым и буйным поведением. Было ясно, что господа консерваторы зачуяли рассвет. В протоколах заседаний то и дело встречаются отметки: „сильный шум“, „постоянное возбуждение“, „сильные крики и беспорядок“, „отчаянный шум“ и даже „непрерывный скандал“. Бреславльский фабрикант Мильде, бывший член соединенного ландтага, был избран президентом, советник юстиции

---

[1]) До выбора председателя по парламентским обычаям председательствует старший из наличных членов собрания.

Эссер из Кельна первым, тайный советник верховного трибунала Вальдек из Берлина вторым вице-президентом. Предложения лились дождем; между прочим „благороднейший из всех тайных советников", Абегг, некогда „либеральный" президент полиции в Кенигсберге, выступил с предложением, чтобы собрание уполномочило чинов полиции и судебного ведомства с большей энергией бороться против „злоупотреблений свободой слова и ассоциаций". Однако теперь, едва лишь открыв заседание, среди обсуждения вопроса о закреплении завоеваний мартовских дней, собрание нашло все же слишком неумеренным требование превратиться в прислужника полиции, в ночного сторожа; предложение Абегга было отклонено. Несс фон-Эзенбек предложил собранию назначить комиссию, уполномочить ее выработать самостоятельный проект конституции, руководствуясь точкой зрения общенародных интересов, и затем обсудить в собрании этот проект одновременно с тем, который будет предложен королевским министерством. Было также предложено воздвигнуть памятник в честь мартовских борцов.

В то время, как большинство нерешительно колебалось туда и сюда, левая сделала попытку побудить собрание точно определить свое государственно-правовое положение и объявить себя учредительным. По мнению депутата Отто, собранию следовало внести в устав, определяющий порядок его занятий, параграф, согласно которому оно не может быть распущено правительством или короной; таким образом Отто рассчитывал отбросить принцип соглашения. Кампгаузен высказался против предложения, и большинство согласилось с министром. Отклонив предложение Отто, собрание тем самым фактически приняло принцип соглашения, а вместе с тем признало за правительством право в каждом частном случае действовать вопреки постановлениям собрания. День спустя после этого поражения, левая потерпела еще одно: она безуспешно боролась против предложения Дункера ответить на тронную речь адресом. „Дело—лучший адрес", заметил, между прочим, один член левой; „но адрес есть дело", возразил министр Ганземан. Огромное большинство постановило выработать адрес, которого решительно требовало министерство.

Вместо того, чтобы возможно энергично приступить к обсуждению конституции, собрание занималось целой массой второстепенных вопросов и попусту тратило время. Депутат Брилль, рабочий, заметил раз, что каждый день заседание стоит стране 1.200 талеров и большинство этих дней пропадает даром [1]). И в самом деле потребность в болтовне сказывалась в берлинской консерватории столь же сильно, как и во франкфуртском соборе св. Павла, и здесь ораторы не в меньшей мере придавали своим речам мировое значение.

4-го июня принц Прусский снова ступил на родную землю. Он был избран депутатом от Вирзица. 8 июня он появился в заседании и произнес речь, в которой особенно подчеркивал, что собрание должно выработать кон-

---

[1]) Депутаты получали диэты по 3 талера на человека в день (около $4\frac{1}{2}$ руб.).

ституцию по соглашению с королем. „Конституционная монархия,— сказал он,—есть та форма правления, которую наш король предначертал даровать нам“. В заключение принц заметил, что он не в состоянии регулярно посещать заседания и просит пригласить на его место другое лицо. Правая сопровождала эту речь знаками одобрения, левая демонстрировала против нее шиканьем.

Было ясно, что правая желала осуществить конституцию лишь на почве соглашения, в то время как огромное большинство колеблющихся конституционалистов давало правой увлечь себя. Конституционалисты были настолько близоруки, что не предвидели конфликтов, которые неизбежно должны были возникнуть из принципа соглашения, а между тем уже появились весьма недвусмысленные предвестники этих конфликтов.

Левая сделала еще третью попытку обеспечить за собранием хотя бы некоторую независимость. Депутат Беренде внес предложение: „Высокое собрание благоволит в знак признания революции занести в протокол, что борцы 18 и 19 марта стяжали себе великую заслугу перед отечеством“.

Предложение это в сущности не имело особенного значения, так как, если бы оно даже было принято, принцип соглашения никоим образом не был бы еще устранен. Поэтому и сам г. Кампгаузен заметил, что он не считает возможным противоречить предложению, поскольку оно констатирует важность тех перемен, которые были внесены в государственную жизнь 18-м марта; однако предложение должно быть отвергнуто, если оно имеет тот смысл, что существующая государственная власть не покоится более на почве права. Иоганн Якоби был за предложение; Шульце-Делич просил присоединить, что берлинский народ стяжал себе заслугу перед отечеством также своим поведением после борьбы, против чего возражал Якоби. Между тем депутат Захарии предложил такую резолюцию: „Принимая во внимание, что значение совершившейся революции и ее борцов бесспорно, и что собрание видит свою задачу не в произнесении приговоров, а в том, чтобы по соглашению с королем выработать конституцию, собрание переходит к очередным делам“.

Напрасно Якоби указывал на пример Гагерна, провозгласившего верховенство франкфуртского собрания. 9 июня, после двухдневных дебатов, предложение Захарии было принято большинством 196 против 177 голосов.

Впрочем, если бы даже большинство оказалось на стороне предложения Берендса, постановления собрания обогатились бы лишь одной звонкой фразой, и, конечно, последняя имела бы столь же мало практического значения в Берлине, как во Франкфурте-на-Майне гагерновское провозглашение верховной власти народа.

Между тем среди массы результаты этого голосования пробудили новые опасения реакции; народ и без того уже давно видел угрозу мартовским завоеваниям в реакционных адресах и воззваниях из провинции, ежедневно появлявшихся в газетах. Яростно возбужденная толпа теснилась вокруг дома

едаиий. Депутация, посланная народом к президенту собрания, была до-вно грубо отправлена назад. Когда депутаты покидали залу собрания, адресу некоторых членов правой, особенно Сидова, раздались далеко не гные крики; в неприятное положение попал также министр фон-Арним, орый, по словам одного очевидца, крикнул толпе довольно вызывающим ом: „Чего вы тут стоите? Чего вам надо?“ Кучка народа окружила ми-гра, но он был благополучно проведен несколькими депутатами и студен-и через волнующуюся толпу к университету. Никому не было причинено илия, и все же этот инцидент дал „охранителям“ достаточный повод кри-, что свобода собрания в опасности: президент полиции и шеф гра-нского ополчения совместно заявили, что они принуждены будут вмешаться, і повторится что-либо подобное.

Из Померании приходили уже манифесты, возвещавшие, что поста-ления собрания нельзя рассматривать, как свободные, а следовательно, ак обязательные для кого бы то ни было. Манифесты эти исходили от более непримиримого померанского дворянства; в рассматриваемое время еще не встречали сочувствие. Пропасть между городом и деревней зерзалась все шире и шире, и предпринятая Гельдом „попытка прими-ия“ только подлила масла в огонь. Недоверие к Гельду быстро росло, что, когда он попробовал выставить свою кандидатуру на пост командира кданского ополчения, его со всех сторон встретил град желчных на-пок.

Целый ряд обстоятельств раздувал возбуждение среди народных масс, в бенности среди рабочих. Министр труда фон-Патов поставил своей задачей э-по-малу удалять из Берлина рабочих, как наиболее опасный револю-нный элемент. Они массами высылались в провинции, где имелась работа. ако мероприятие это не удалось осуществить с желаемой быстротой, режде чем выполнение было закончено, в Берлине еще раз разразилась дстрофа. В воздухе носились неопределенные слухи о готовящемся дарственном перевороте в реакционном духе. И вдруг было обнаружено, правительство, опасаясь нападения народа на арсенал, охраняет здание солдатами: каждую ночь рота пехоты располагалась внутри арсенала. возбудило негодование даже среди благонамеренной буржуазии и гра-нского ополчения, которое так кичилось тем, что все в Берлине поста-ю под его охрану. Узнали также, что по ночам из арсенала сплавлялось юдках по Шпре оружие и снаряжение для армии. Рабочие, давно уже гущенные тем, что они не получали оружия, задержали несколько таких ок.

В периоды всеобщего возбуждения достаточно часто ничтожного оятельства, чтобы раздуть тлеющую искру в настоящее пламя. Утром июня оказалось, что дворы королевского дворца заперты решетчатыми тами,—это дало повод для народного возмущения. Берлинцы привыкли одно проходить по дворам дворца; даже самые лойяльные, благонамеренные куа негодовали на запертые ворота. Возбужденный народ сорвал с петель рки решетчатых ворот и одну из них бросил в Шпре.

Это происшествие привлекло огромную массу народа, собравшуюся на площади перед арсеналом. Здание последнего защищалось изнутри ротой пехоты, снаружи—отрядом гражданского ополчения.

В собрании некоторые трусы все еще не могли успокоиться после события 9 июня, когда толпа, по их мнению, угрожала депутатам насилием, и Рейхеншпергер предложил меры для защиты собрания. Предложение это встретило энергичный отпор со стороны Бухера, Юнга и др. и было отклонено, несмотря на угрожающее движение народа на улицах. Собрание положилось на гражданское ополчение.

Возмущение охватило весь город; возмущенные массы народа вступали в стычки с гражданским ополчением, требуя то хлеба, то очищения арсенала от солдат. Перед арсеналом рота гражданского ополчения, со штыками наперевес, бросилась на народ, но другая его рота стала между нападающими и толпой; гражданские ополченцы этой второй роты не хотели „терпеть такого обращения с народом". Опасение реакции, как видим, охватило отчасти и вооруженную буржуазию.

Депутации, посланные к командиру гражданского ополчения и к военному министру с требованием очищения арсенала от войск, не имели успеха: часть их была еще по дороге рассеяна гражданским ополчением. Это обстоятельство, конечно, только усилило возбуждение масс. Ветеринар Урбан, два молодых купца и механик Зигерист говорили к народу; Зигерист произнес свою речь с пушки в Каштановой роще. Ораторы будто бы убеждали народ овладеть оружием из арсенала и построить баррикады [1]).

Гражданское ополчение принимало свои меры: ворота были заняты караулом и возвращающиеся „ребергцы" остановлены; усилены были также отряды, защищавшие арсенал.

Раздался генерал-марш. Из толпы, окружавшей арсенал, кто-то выстрелил в гражданских ополченцев, но выстрел этот не причинил никому вреда; одновременно с этим было брошено 30—40 больших камней, поранивших некоторых гражданских ополченцев. Тогда загремели выстрелы из рядов гражданского ополчения в густо стеснившуюся толпу: двое рабочих были убиты, двое других тяжело ранены. Затем толпа была отброшена назад штыковой атакой.

Кровь и трупы возбудили яростное негодование масс; некоторые смачивали свои платки кровью и поднимали их вверх на палках; раненых и убитых, между прочим, одну женщину, несли по улицам; отовсюду раздавались призывы к мести; во многих местах была сделана попытка построить баррикады, а именно на Егерштрассе, Обервальштрассе и на площади Александра. Оружейные лавки были разгромлены; толпа разрушила дом майора гражданского ополчения Бенды, который, как говорят, перед арсеналом отдал приказ стрелять.

---

[1]) Зигерист сказал впоследствии на суде, что он убеждал лишь добиваться отставки командира гражданского ополчения Блессона и замещения этой должности Берендсом: „Берендс сумел бы позаботиться о вооружении народа".

Наступило всеобщее смятение. Во дворце из начальствующих лиц зовался комитет безопасности. Когда последний увидел трупы, проноле по дворцовой площади, и народную массу, воспламененную гневом аждой мести, он подумал, что начались дни республики и готов был призвать на помощь военные силы. Однако этот план рушился благо- сопротивлению членов магистрата. Между тем демократы, считавшие ууженное столкновение неустранимым и ожидавшие нового 18-го марта, али из всех своих союзов нечто в роде комитета общественного спаія, в котором находился, между прочим, и знаменитый господин Брасс, итет этот должен был взять на себя руководство борьбой. Но и комитет пришел ни к какому решению.

В центральном бюро гражданского ополчения находились командир ссон и прокурор Темме; прокурор был в то же время членом палаты ашения и сидел там на скамье левой. Множество депутаций ворвалось оро. Во главе той из них, которая явилась от арсенала, стояли доктор лер и кандидат на судебные должности Густав Раш; они требовали эгого расследования, „так как пролита кровь"; народ настаивал на удаии войск и занятии арсенала гражданским ополчением. Темме уверял, он немедленно назначит судебное расследование. Буржуа, студенты, еслешики, депутаты являлись один за другими, заклиная выполнить бование народа, чтобы предотвратить кровопролитие. Командир гражданго ополчения Блессон отдал, наконец, приказание, чтобы один вооружені союз ремесленников занял нижнее помещение арсенала; что касается звание войск, то он рекомендовал обратиться с этой просьбой к воену министру. Но от последнего не было возможности добиться надлежаго распоряжения уже по одному тому, что его не было дома. Оставалось очистить площадь перед арсеналом от гражданского ополчения и занять студентами.

Гражданское ополчение, столько раз братавшееся в этот день с народом, свавшее штыки наоборот или завертывавшее их платками, отступило; ако вооруженный союз ремесленников не мог немедленно проникнуть рсенал, так как там находилось 150 человек пехоты под начальством итана Нацмера. Лейтенант Техов, человек, пользовавшийся большим жением в военных кругах, кандидат на должность командира гражданского олчения, явился к арсеналу, чтобы уладить дело. Он выступил посредюм и передал капитану Нацмеру приказ Блессона. Тогда Нацмер оставил кний этаж арсенала и передвинулся со своим отрядом наверх. Вместе оюзом ремесленников в здание протеснилась масса народа; ворота были ломаны, и широким потоком народ разлился по всем нижним помещениям сенала.

Наступила ночь, зажгли факелы; ремесленники и студенты сошлись количестве 200 человек; кроме того, сбежалось еще много народа снова ступила опасность жестокого кровавого столкновения; оно было почти избежным, если бы народ ворвался в верхние помещения, занятые солами. Техов взял на себя задачу побудить капитана Нацмера к отсту-

плению; другие поддерживали его в этом. Не верно, будто бы он, как о рассказывали впоследствии, передал капитану „ложное приказание"; и с другой стороны, несомненно, что в этот критический момент было пуще в ход нечто в роде военной хитрости; некоторые старались уверить кап тана, что в Потсдаме вспыхнула революция и король бежал. Точно так положение дел в Берлине изображалось в таком свете, как будто для пр вительства все безвозвратно потеряно. Увещание Техова побудили, након капитана отступить и предотвратить таким образом кровавую баню. Пос отчаянной борьбы между своей совестью и сознанием служебного долга кап тан в конце концов сдался; народу было объявлено через окно об отступлен войск и последние действительно оставили арсенал.

Народ жадно набросился на запас оружия. В арсенале находилс много нового вооружения, между прочим значительный запас игольчат ружей, которые были совершенно бесполезны народу, так как последний имел и не мог изготовить патронов для них. Но ворвавшиеся старали только о том, чтобы как можно скорее взять в руки хоть какое-нибу оружие. Было взято, между прочим, несколько украшений, немало старс оружия и других военных реликвий; Техов говорил впоследствии, что, ес бы он мог предвидеть подобные вещи, он никогда не посоветовал бы кап тану отступить. Надо впрочем заметить, что значительная часть упомянут предметов была возвращена в ближайшие дни; количество пропавших вещ едва ли достигало и десятой части того числа, которое указывалось в ре ционной печати.

Большинство „самовольно вооружившихся" были обезоружены союз ремесленников и студентами; кроме того, едва известие о занятии арсен народом достигло гражданского ополчения, последнее вместе с батальон 24 полка двинулось на толпу и отняло оружие у ворвавшихся внутрь ар нала. Войско выгоняло народ наружу, а гражданское ополчение взяло себя отобрание оружия у каждого отдельного лица, при чем в большинс случаев дело не обходилось без заушения. Но пусть нам нарисует картину очевидец, профессор Гнейст, человек, „который все может доказат и который в то время был гражданским ополченцем. „Хотя сцена разыгр валась в прекрасную лунную ночь,—пишет он в своих „Berliner Zustände" тем не менее в ней было что-то жуткое. Перед воротами тускло мерц несколько факелов. Внутри арсенала глубокий мрак, и только смутный заставляет предположить, что там движутся значительные массы люд Ряды солдат стоят некоторое время неподвижно. Очевидно, офицеры со щаются, как всего целесообразнее проникнуть дальше с имеющимися у 200 человек. Но вот капитану Фогелю пришла в голову чрезвычай счастливая мысль: приказать барабанщикам отбивать дробь перед вход в арсенал. Среди ночной тиши внезапно раздался адский грохот, тр барабанов гулко отпрядывал от стен арсенала; грохот этот возбудил во в нас если и не воинственное, то во всяком случае очень оживленное строение. Этот акт имел решительные последствия и моментально изме всю картину. Тотчас самовольно вооружившиеся стали выпрыгивать в о

и с удивительной быстротой удирать вдоль стены. Едва успели скрыться пять или шесть из них, как гражданские ополченцы моего отделения не могли уже дольше выдерживать. Они пустились наперерез бегущим; такое рвение внезапно овладело нами, что три ополченца бросились разом со штыками на одного семнадцатилетнего юношу, вздумавшего рассуждать. Я прыгнул между ними, однако дело обошлось вполне благополучно. Нам не представлялось надобности пустить в ход оружие, даже если бы мы этого пожелали. Из окон непрерывно один за другим прыгали люди. Первых мы попытались арестовать; но так как не было людей для переправы арестованных, мы охотно предоставили спасаться бегством каждому, кто хотел бежать. Однако все более и более стало появляться лиц, пытавшихся унести с собою оружие. Впрочем большая половина, отдавала вооружение по первому требованию; некоторые были удивлены таким распоряжением, некоторые пытались даже рассуждать и получали пощечины, после чего оружие беспрекословно выдавалось; очень немногие, наконец, делали попытки прорваться силою, но после хороших пинков под ребра и они отдавали оружие... Между тем со стороны Каштановой рощи прибыло несколько новых рот гражданского ополчения, которые, однако, не принимали, повидимому, деятельного участия в разоружении. Недостаток в определенном плане действий простирался до такой степени, что время от времени мы оказывались окруженными превосходными силами толпы, которая, впрочем, повидимому не питала серьезных намерений. Некоторые из толпы с величайшим изумлением спрашивали меня и моих товарищей, каким образом могли мы дойти до того, чтобы препятствовать вооружению народа. Порой возникал обстоятельный диспут по этому вопросу, но чаще дело разрешалось пощечиной. Очень редко требовалось серьезно прибегать к силе, чтобы разоружить кого-либо. В то время, как мы занимались этим, батальон 24 полка с развернутым знаменем и барабанным боем прошел мимо министерства финансов в Моллерситрассе и остановился в открывающегося туда входа в арсенал. Между тем беглецы то и дело устремлялись из арсенала на улицу, так что нижний этаж был уже почти пуст, когда подошел с барабанным боем линейный батальон. Это послужило сигналом навострить лыжи и для тех 100—200 человек, которые забрались в верхний этаж. Все окна отворились, и один за других люди стали появляться на широком карнизе под окнами, и пробирались вдоль карниза к пожарной лестнице, по которой некоторые спускались вниз. Многие даже и из этих беглецов наивно захватывали с собою оружие, которое отбиралось у них, разумеется, в обмен на пощечины".

Таким жалким финалом закончился штурм арсенала, начавшийся кровопролитием и возбудивший столь сильное волнение.

Господин Блессон явился козлом отпущения для всех партий и вынужден был сложить с себя командование гражданским ополчением, чтобы уступить место ничтожному Риммлеру. Относительно Техова и Нацмера мнения сильно расходились; реакционеры требовали строжайшего наказания для них обоих, в то время как демократы ставили им в заслугу спасение Берлина от нового побоища. Техов был приговорен к 15 годам заключения

в крепости и изгнан из армии [1]), Пацмер к увольнению со службы и 10 годам крепости. Он просидел некоторое время в Кольберге, но в 1849 г. был помилован, так как проявил „искреннее раскаяние". По делу о штурме арсенала к суду привлекли, кроме того, целый ряд лиц [2]); ораторы, говорившие перед арсеналом, были в первой инстанции приговорены к суровому наказанию, но вторая инстанция вынесла оправдание двусмысленному Урбану и приговорила Зигериста к четырем, Корна к двум годам заключения в крепости [3]).

Неудачный штурм арсенала реакционеры постарались использовать в своих интересах и не без успеха. Хотя гражданское ополчение и воспротивилось попытке „самовооружения", но некоторые роты его все же обнаруживали сочувствие к народу; в известном лагере момент был признан подходящим, чтобы возложить на гражданское ополчение ответственность за все событие, объявить его неспособным к поддержанию порядка и требовать усиления войск. И в самом деле в Берлин стали стягиваться войска, так что по прошествии некоторого времени в городе снова находилось семь батальонов. В окрестностях также собирались войска, главным образом те, которые раньше сражались в Шлезвиг-Голштинии.

На демократов посыпалась грубейшая ругань, против них выставлялись нелепейшие подозрения: не стыдились даже утверждать, будто демократы воспользовались штурмом арсенала, чтобы похитить секрет игольчатого ружья и продать его французскому правительству. Число пропавших вещей и размеры повреждений арсенала были бессовестно преувеличены [4]),

---

[1]) Ему удалось бежать из места своего заключения в Магдебурге, после чего он с оружием в руках принимал участие в революции баденской и пфальцской; впоследствии он переселился в Австралию. В 1888 г. Техов явился в Швейцарию и запросил оттуда в Берлине, может ли он снова увидеть отечество. В ответ на это ходатайство был возобновлен изданный за сорок лет до того приказ о поимке его, как беглого преступника.

[2]) Была арестована также Люциния Ленц, передавшая демократическому клубу собственноручно изготовленное знамя; ее задержали на площади Молькен, переодетую в мужское платье, с оружием, похищенным из арсенала. Впрочем, президент полиции был настолько галантен, что тотчас же освободил эту пламенную республиканку.

[3]) В скором времени суды стали вообще очень энергичны. 14 июня один студент, взявшийся отнести неоднократно упомянутое „красное" знамя демократического клуба в безопасное место, был остановлен у баррикады на Ландсбергской улице при кликах толпы: „Да здравствует республика!". Толпа старалась убедить его водрузить знамя на баррикаде; он не согласился; знамя было отнято вмешавшимся гражданским ополчением, но потом снова возвращено назад. Против этого студента—его звали Фридрих—было возбуждено судебное преследование, и прокурор, обвиняя его в государственной измене, требовал **смертной казни через колесование**. Однако суд вынес оправдательный приговор.

[4]) На основании того факта, что одному члену национального собрания случайно попало в руки ружье из арсенала, один провинциальный адрес счел возможным выкрикивать: „Чего ждать нам от национального собрания, считающего в числе своих членов проходимцев и воров".

Гражданское ополчение производило обыски в поисках за оружием, в то время как из прусской „Вандеи", из Померании и Бранденбурга, хлынул в Берлин целый поток адресов, изливавших чувства в самых ярких выражениях. Реакционные клубы возникали массами; пиэтисты вопили „караул" и плакались на мартовские дни и их результаты. Этот наглый вопль, с таким искусством поощряемый реакционерами, запугал гражданское ополчение; благомыслящие обыватели окончательно потеряли голову от страха и смятения.

Вместе с тем употреблялись все средства, чтобы избавиться от рабочих. Значительное число их отправилось на работы на Восточную дорогу, где, как рассказывали им, самые приятные условия труда соединяются с весьма высокой заработной платой. Однако многие, потерпев полное разочарование, возвращались снова в Берлин.

Гнейст раньше энергично протестовал против того, чтобы гражданское ополчение играло роль полицейского института. Теперь он предложил в муниципалитете совершенно подчинить гражданское ополчение городским властям, что возбудило величайшее негодование многих гражданских ополченцев, не хотевших стать „слугами города". Городские гласные постановили, между прочим, отклонить ходатайство демократического клуба, предлагавшего организовать на свой счет для охраны порядка отряд граждан, вооруженных пиками. Так как демократический конгресс, заседавший во Франкфурте, избрал центром своей организации Берлин, то заговорили о „необходимости учреждения директориальной власти"; особенную силу приобрели контр-мероприятия и контр-агитация, когда в Берлине образовался республиканский клуб, в котором видную роль играл уже упомянутый доктор Г. Б. Оппенгейм из Франкфурта [1]).

Посреди этих шумных стычек между революцией и реакцией, демократией и аристократией, палата соглашения заседала сосредоточенная, глубоко погруженная в свою конституционную работу, как Архимед перед своими фигурами. Отклонив вооруженную защиту, она приняла предложения Ульриха, известного проповедника свободной религии, и особой резолюцией поставила себя „под защиту берлинского народа". На другой день после штурма арсенала обсуждалось предложение Вальдека назначить комиссию для выработки проекта конституции прусского государства. От имени правого центра Ваксмут внес аналогичное по существу предложение. Министры возражали против этого, но нерешительно, аристократы правой— довольно энергично. Несс фон-Эзенбек подчеркивал, что проект должен затронуть социальный вопрос, так как в противном случае движение, называемое революцией, будет продолжать свой кровавый путь. Этот призыв неопределенные либералы и буржуа собрания пропустили, конечно, мимо ушей. Была принята комбинация из предложений Вальдека и Ваксмута и назначена конституционная комиссия. Ее первым председателем был Вальдек, вторым Родбертус, известный экономист, принадлежавший к левому центру.

---

[1]) В то время это был фанатик республиканец; впоследствии—фанатик национал-либерал.

На следующий день собрание объявило своих членов неприкосновенными, и закон этот был санкционирован королем,—первый плод принципа соглашения.

Несколькими днями позднее министерство Кампгаузена вышло в отставку. Оно начало чувствовать себя неловко на своем посту, главным образом, благодаря тем событиям, которые подготовлялись „в высших сферах". Его место заняло министерство Ауэрвальда, известное также под названием министерства Ганземана по имени оставшегося у должности министра финансов. Военный министр Рот фон-Шрекенштейн также не сложил своих полномочий. Президентом и министром иностранных дел был Ауэрвальд, министром труда—Мильде, председательствовавший до сих пор в палате соглашения, министром вероисповеданий—Родбертус, министром юстиции—Меркер, министром сельского хозяйства—Гиеке, министром внутренних дел Кюльветтер. Это наполовину аристократическое, наполовину парламентское министерство, стяжавшее себе имя „министерства дела", задалось целью провести ряд реформ в духе конституционной монархии. Первая палата, согласно министерскому плану, должна была получить более демократический характер; предполагалось далее выработать законопроекты относительно гражданского ополчения, уничтожения феодальных повинностей, преобразования коммунального устройства, юстиции, системы налогов с устранением налоговых изъятий для феодалов, наконец, имелось в виду принять меры для укрепления кредита и содействия торговле и труду.

Однако блестящие мыльные пузыри реформаторских планов не могли уже теперь обольстить народную массу; только доверчивая буржуазия приняла их кликами ликования. Остальные с надеждой обращали свои взоры на Франкфурт; они ожидали спасения от храма Павла, утратив веру в консерваторию. 4 июля прусское правительство сделало заявление, после которого у людей сколько-нибудь проницательных исчезли всякие сомнения и относительно миссии Франкфурта. Правительство признает, гласит это замечательное заявление, что угрожающее положение Германии и убеждение в согласии правительств послужило причиной, побудившей национальное собрание назначить центральную власть без содействия правительств. Из отношения правительства к этому исключительному случаю *не следует, однако, делать какие-либо выводы относительно будущего времени.*

Это было достаточно ясно даже для наиболее ослепленных надеждами и доверием.

Иоганн Якоби предложил палате соглашения заявить, что, хотя она не одобряет назначение неответственного правителя империи, тем не менее признает за франкфуртским парламентом *право* принимать подобные постановления без согласия правительств. *Это предложение было отклонено огромным большинством.* Предложение было направлено к тому, чтобы противопоставить заявлению правительства заявление представителей народа, или, как выразился Якоби, обеспечить за парламентом право принимать свободные, независимые постановления. Но для этого у палаты соглашения не было ни охоты, ни силы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Общее положение в Европе.

Демократическое движение, как мы знаем, расстроило свои силы в изо-ованных попытках натиска и не было в состоянии объединить свои центры совместной планомерной деятельности; тем скорее согласились между ою правительства. Австрийское правительство не скрывало ни своей ан-атии к франкфуртскому парламенту, ни своего намерения воспротивиться ществлению его постановлений; прусское правительство делало то же ое, но лишь в более изысканной форме: оно воздерживалось от выраже-і своего согласия с постановлениями парламента. Извне грозила опасность стороны России; демократы опасались, что в случае крайней необходи-сти правительство сумеет добиться военного содействия России. Завер-ть при таких обстоятельствах конституционное преобразование Германии демократическом духе, обеспечить суверенность народного представитель-а и в то же время уберечься от опасности извне,—для выполнения этой ачи нужны были люди такой духовной мощи и решительности, какой не падали ни юные демократы, ни пустоголовые либералы 1848 года. К это-присоединилось еще легкомысленно-пренебрежительное отношение к ду-ным силам реакционных элементов; тонким интригам и подвохам, в ко-ых последние были мастерами своего дела, не придавалось никакого зна-ния, в то время как пустая болтовня тщеславных профессоров превозно-лась до небес.

Сначала в придворных кругах верили в интернациональную организа-ю или, по крайней мере, в интернациональное соглашение демократии раз-чных стран. Как было представлено положение дел с этой точки зрения усскому королю, явствует из письма последнего к своему другу Бунзену Лондон от 30 мая 1848 года.

„В Берлине,—гласит письмо,—подготовляется новое 18-е марта. Огром-е число всякого сброда из французов и поляков скрывается в кабачках, гребах и на дворах. Лживыми слухами кишит вся атмосфера. Фран-узские деньги обращаются среди народа, как то было и в мартов-кие дни. Одним словом, если только предполагаемый переворот не разо-ется о трусость иностранного сброда и штыки гражданского ополчения,

вам еще придется увидеть крупные события. Неужели вам до сих пор не бросилось в глаза, что все попытки переворота и действительно осуществленные перевороты в Берлине, Пари: Вене, Неаполе имели место в один и тот же день? [1]) Это силь аргумент в пользу моего мнения".

Что различные народные возмущения произошли в один день, было, нечно, просто игрой случая. 15-го мая, после того как исполнительная власть пала в руки буржуазии, парижские социалисты сделали попытку разогнать на пальное собрание и поставить у власти правительство, составленное из і верженцев различных социалистических учений. Попытка эта не удалась разумеется она отнюдь не находится в прямой связи с демонстрациями восстаниями в Вене, Берлине и Неаполе.

Однако французские события имели огромное влияние на всю оста ную, затронутую движением Европу. Когда в Париже антидемократичес реакционные группы захватили в свои руки кормило государственного рабля, пример этот сильно ободрил правительства остальных стран; они ст энергичнее выступать против демократии. Между тем до сих пор вели демократическая республика Запада одним своим существованием, без в кого прямого вмешательства, повсеместно сдерживала реакционные элемен

Февральский переворот 1848 г. во Франции дал толчок революци ному движению во всей области германского союза и далеко за его пре лами; не менее широкое европейское значение имела та катастрофа, котоі постигла Францию в июне того же 1848 г. и отдала демократическую рест блику во власть военщины и претендентов на монархическую власть.

Организуя праздник братства 21-го мая, буржуазное правительство Фр: ции тщетно старалось прикрыть тот раскол, который разъединял все фр: цузское общество. Столкновение классовых противоречий неизбежно долж было повести к бурному взрыву.

В то время, как Луи Блан в Люксембургском дворце предавался сво декламациям относительно утопической „организации труда", рабочие м: сами стекались в национальные мастерские. Общее число лиц, занятых этих учреждениях, возросло к июню 1848 г. до 117.310 человек. В упі влении национальными мастерскими царствовала полнейшая беспорядочнос денежные средства, и сами по себе ничтожные, тратились с удивительн расточительностью. Само собой разумеется, французская буржуазия не мог симпатизировать национальным мастерским. Охотно пользуясь обильной і сударственной поддержкой в форме таможенных пошлин и тому подобн мер, буржуазия не могла простить рабочим той сравнительно неболь суммы, которая была выдана государством в момент острой нуж для того, чтобы хотя несколько смягчить нищету масс [2]). Люди, живш на счет труда рабочих, утверждали, что мастерские воспитывают тунея

[1]) 14 и 15 мая в Берлине, 15 мая в Париже, Вене и Неаполе.

[2]) По 24 мая на национальные мастерские израсходовано около 8 милл. франк (3 милл. рублей).

цев; предприниматели опасались, что при государственной поддержке безработных они не будут в состоянии понижать заработную плату, как им хотелось бы. Словом, вся промышленная буржуазия заключила союз против национальных мастерских и всеми силами старалась препятствовать сбыту изготовляемых мастерскими товаров. Предприниматели и оптовые торговцы спускали свои произведения по баснословно низким ценам для того только, чтобы продукты национальных мастерских не находили покупателей и потом кричали о тех высоких приплатах, которые приходится делать государству для поддержания мастерских. Буржуазные члены национального собрания также были фанатизированы против национальных мастерских. 15-го июня, когда один буржуазный республиканец, Гудшо, воскликнул в национальном собрании: „национальные мастерские должны быть немедленно уничтожены!"—большинство покрыло его речь громом одобрений, хотя министр Трела настойчиво предупреждал против излишней поспешности. Тщетно рабочие обращались к Гудшо с запросом, в котором они между прочим спрашивали, куда же им деваться, если закроются мастерские. Уже в начале июня были приняты подготовительные меры для закрытия мастерских; в Париж стянули войска. 21-го июня по распоряжению исполнительной комиссии министерство труда издало декрет, в котором рабочим предлагалось или поступить в армию, или отправиться в провинцию на земляные работы, выполняемые сдельно.

Этот способ действий с полной очевидностью раскрывает духовную нищету буржуазного либерализма. Сначала эти политические кретины создают для устранения народной нищеты недостаточное, гнилое в самом основании, учреждение, а затем, когда обнаружились ими же самими вызванные неустранимые недостатки в организации национальных мастерских, они поспешно уничтожают все предприятие. Таким образом они лишь обострили ту катастрофу, для предупреждения которой должны были послужить национальные мастерские.

Рабочие, разумеется, не чувствовали желания ни уезжать в провинцию, ни поступать в армию; они ясно видели, что ни то, ни другое не ведет к разрешению социального вопроса, которое им было обещано. Еще раз сделали они попытку достигнуть соглашения мирным путем. К буржуазному республиканцу, члену правительства Мари была отправлена депутация с требованием отмены декрета 21-го июня. Мари грубо ответил, что если рабочие не желают уезжать добровольно, их увезут силой.

Негодование охватило рабочие массы, когда они убедились, что февральские обещания грубо нарушены, что классовая республика начинает без малейшего стеснения предлагать им камень вместо хлеба. 23-го июня разразилось восстание, известное в истории под именем июньской бойни. В несколько часов Париж был покрыт сетью баррикад, широко раскинувшейся по обоим берегам Сены и захватившей в свою область площадь Бастилии, предместья Сан-Мартин, дю-Тампль, Сент-Антуан, Пуассоньер, Сан-Жак, Ситэ и Пантеон. Около 40.000 вооруженных пролетариев соединились на баррикадах в этой первой битве—битве отчаяния против буржуазии. У рабочих не было вождя, не было другого плана, кроме стремления воздвигать бар-

рикады в наиболее населенных частях города. Красные знамена развевались над баррикадами, а на знаменах можно было прочитать старый лозунг лионских ткачей: „Жить работая или умереть сражаясь!".

Рабочие сражались с отчаянным мужеством и яростью, пробужденной в них их обманутыми надеждами и их безвыходным положением; национальная гвардия, эта вооруженная мелкая и крупная буржуазия, боролась с злобой и фанатизмом, которые вызывались в ней страхом перед красным призраком и перед революционно настроенным пролетариатом. Войска избивали народ так же хладнокровно, как африканских кабилов. Уличное сражение скоро превратилось в побоище, которое на всю Европу навело ужас [1]).

Военным вождем буржуазии был генерал Евгений Кавеньяк [2]), грубый солдат, прошедший свою военную школу в Африке, к тому же в политическом отношении человек ограниченный. Он не препятствовал возникновению баррикад, так как рассчитывал блестящим усмирением революционных предместий подновить славу французского оружия. Поэтому все попытки примирения не привели ни к чему, и скоро Париж превратился в поле битвы, на котором раздавался гром пушек и треск ружейной пальбы.

Кавеньяк, а вместе с ним и другие генералы, прославившиеся беспощадным преследованием африканских кабилов, с превосходными силами энергично атаковали баррикады, но 23-го июня они не могли добиться решительного успеха, и ночью восстание развернуло все свои силы. Утром 24-го июня инсургенты с разных сторон придвинулись со своими баррикадами почти к самой мэрии.

Сцены, разыгрывавшиеся в то время среди буржуа национального собрания, объятых страхом за свою собственность, не поддаются никакому описанию. Всякий, кто осмеливался возвысить голос благоразумия, заглушался диким ревом большинства; заседания превратились в сплошную оргию тупого ужаса и фанатизма.

В то время как гром баррикадной борьбы еще доносился до ушей собрания с правого берега Сены, республиканец профессор Паскаль Дюпра предложил объявить Париж на осадном положении и назначить военным диктатором генерала Кавеньяка. И во Франции профессорам было, повидимому, свыше предопределено делать величайшие глупости. Предложение Дюпра было принято все и голосами против шестидесяти.

Подкрепления, прибывавшие одно за другим, дали, наконец, Кавеньяку возможность овладеть восстанием. Войска потерпели значительные потери,

---

[1]) Об июньских инсургентах распространялась масса самых бесстыдных выдумок; говорили, что это „отбросы человечества", подкупленные Бонапартом, чтобы бороться против республики. Правда, бонапартистские агенты всеми силами старались разжечь вражду между пролетариатом и буржуазией; Луи-Наполеон Бонапарт прекрасно понимал, что после усмирения рабочих республика легко станет жертвой ловкого претендента,—тем не менее июньская борьба была вызвана всеми окружающими условиями, а отнюдь не агитацией.

[2]) Он был сыном члена Конвента; своей репутацией истинного республиканца он, по всей вероятности, обязан тому обстоятельству, что брат его, Годфруа Кавеньяк († 1845), был действительно ревностным республиканцем.

нако им мало-по-малу удалось занять все наиболее укрепленные позиции еставших. Особенно кровопролитно было сражение у Пантеона, где инсурренты защищались с величайшей настойчивостью.

Пленных расстреливали массами. Архиепископ парижский, вздумавший іступить посредником в Сент-Антуане, был по недоразумению смертельно інен пулей одного солдата. Генерал Бреа, также пожелавший взять на себя ль парламентера, был убит несколькими инсургентами, опасавшимися предательства. Обстоятельство это дало, конечно, повод поднять обычный в ких случаях крик против будто бы предательского вероломства побежденых. Войска буржуазии, в особенности так называемая летучая гвардия, ли себя как дикие звери. Борьба кончилась только 26-го июня, после того, ік предместья Сент-Антуан и Биллер подверглись настоящей бомбардировке.

После победы начались „наказания“ пленных. На площади Гренелль, а Монпарнасском кладбище, в каменоломнях Монмартра и у монастыря в. Венуа производились массовые казни пленных. Остальные пленники, ислом до 25.000, были брошены в отвратительные тюрьмы, где с ними бращались с неслыханной жестокостью. Далее национальное собрание приняло бесчеловечное решение сослать пленных без всякого судебного разбирательства в Касну; решение это было приведено в исполнение по отношению к 10.000 лиц. Единственный признак человечности, проявленный ациональным собранием, состоял в том, что оно разрешило женам и детям сыльных последовать за ними на зараженную злокачественной лихорадкой очву Касны. Попавшие в плен „зачинщики“ предстали перед военным удом.

Сколько погибло инсургентов, нет возможности установить хотя бы приблизительной точностью. Потери войск были также значительны: одних енералов пало шесть. Париж был залит кровью. Буржуазия, всего месяц азад праздновавшая „праздник братства“, теперь по-турецки расправлялась о всеми, осмелившимися поднять оружие против строя, открыто заявившего, что для „избыточных“ нет места на жизненном пиру. Современный филистер охотно прославляет „культуру“ XIX столетия; но это не препятствует ему порой посрамлять монголов и татар своей жестокостью, особенно когда ему кажется, что его собственность в опасности. Лучшая иллюстрация этого— июньская битва.

Кавеньяк очень широко воспользовался своей диктатурой; он закрыл клубы, казавшиеся ему опасными, и прекратил целый ряд газет. 28-го июня Кавеньяк сложил с себя власть и передал ее в руки собрания, но представители народа были так глубоко признательны бравому генералу за его чрезвычайные заслуги перед отечеством, что поспешили продлить его диктатуру, возведя его в сан „президента совета министров“. В этой новой должности Кавеньяк сформировал свое министерство, и собрание всецело отдалось сладкой мечте, что под защитой военной силы всего лучше окрепнет новая республиканская конституция. Конституция эта, само собой разумеется, была скроена как раз по вкусу буржуазии. Ненавистное „право на

труд", обещанное пароду февральским временным правительством, не нашло себе там места[1]). Национальные мастерские были закрыты еще 3-го июля

Однако Кавеньяк, как и его товарищи, сильно ошибался в оценке положения дел. Этот ограниченный солдат воображал, что он спасает республику, но в скором времени ему с ужасом пришлось убедиться, что он лишь всеми силами подготовлял почву для ее окончательной гибели.

Крупная и мелкая буржуазия до такой степени была преисполнена слепого страха перед крайними элементами, что во всяком самостоятельном движении народа тотчас усматривала опасность для общества и государства. Реакционеры, аристократы, попы и политические интриганы в роде Тьера пользовались каждым удобным случаем, чтобы еще больше одурачить трусов и склонить их к самым нелепым мероприятиям. Свобода печати скоро стала вполне призрачной, и от февральских завоеваний почти ничего не осталось. Буржуазные „партии порядка" плясали под дудку скрывавшихся за кулисами реакционеров; последние набирались силы, чтобы захватить в свои руки бразды правления, как вдруг явился, задрапировавшись в наполеоновскую легенду, „племянник своего дядюшки" и вырвал у них из рук добычу которую они готовы уже были проглотить[2]).

Июньская битва оказала свое влияние далеко за границами Франции. Этот страшный взрыв классовой борьбы наполнил ужасом буржуазию всех стран. Немало людей, до сих пор решительно становившихся на сторону тех или других социалистических теорий, теперь внезапно перешли в лагерь реакционеров. Социальная реакция достигла после июньской битвы своего апогея; филистеры разом увидали в социализме таинственный, чреватый злополучиями призрак, за которым стоят заговорщические организации. Они дрожали за свою собственность. Правительства и „партии порядка" соединились, чтобы подавить всякие самостоятельные движения среди рабочих и по возможности удалить из больших городов скопившиеся там массы рабочего люда. Меры эти не встретили серьезных препятствий, так как рабочие были тогда неорганизованы и за немногими исключениями не имели опытных вождей; да и по численности они значительно уступали реакционно настроенным средним классам. С подавлением рабочих народные движения утратили свою главную движущую силу; одна радикальная буржуазия не могла заменить собой массы рабочих.

Таким образом исход июньской битвы неблагоприятно повлиял на германское народное движение, но в то же время ободрил реакционные элементы. Когда на место французской демократии стала „благородная" военная власть с ее реакционными стремлениями, европейская реакция почувствовала себя свободной от тяготевшего над ней кошмара демократической Франции.

И вот из всех щелей стали выползать домартовские совы, запрятавшиеся туда после революционного взрыва.

---

[1]) Тьер в особенности боролся против изобретенного мелко-буржуазным социализмом „права на труд", которое он признавал „коммунистическим".

[2]) См. об этой фазе в развитии Франции известную работу Маркса: „18-е Брюмера Луи Бонапарта" (о предыдущей фазе—Маркс: „Борьба классов во Франции").

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Рост осложнений в Австрии.

После шумных майских движений в Австрии наступило некоторое затишье; демократия бесцельно растрачивала свои силы в демонстрациях по второстепенным поводам. В упоении достигнутой свободой прессы были забыты остальные более высокие и общие цели. Печать всецело отдалась невинному удовольствию показать приверженцам низвергнутой системы, что теперь выдвинулись на арену новые силы.

После того как 26-го июня произошли выборы в австрийский рейхстаг, который должен был собраться 22-го июля, венская демократия сочла мартовские приобретения вполне гарантированными и спокойно предоставила парламенту преобразование столь запутанных австрийских отношений. Реакционные элементы старались извлечь из бездеятельности демократии возможную выгоду и мало-по-малу им удалось забрать в свои руки всю правительственную власть.

После венского восстания 26-го мая, которое так быстро вынудило министерство Пиллерсдорфа к уступкам, начались волнения среди чехов в Праге, и губернатор Богемии, граф Тун, заявил 29-го мая, что благодаря сложившимся обстоятельствам сношения с венским министерством прерваны. Палацкий, Баррош, Браунер, Ригер, Штробах и граф Постиц образовали богемское временное правительство, и под их покровительством в Богемии пышно расцвел панславизм. Временное правительство не могло, конечно, устранить господствовавших среди населения Богемии внутренних противоречий, и национальный спор разразился со всей своей силой: богемские немцы склонны были ждать лучшего будущего только от великогерманской конституции, в то время как чехи встали во враждебное отношение к ней. Чешский национальный фанатизм ярче всего проявился в известном стихотворении „Schuselka nam pise", игравшем в то время роль национального чешского гимна [1]).

---

[1]) Стихотворение называется собственно „Песнь Шусельки к германскому парламенту". Вот его начало: „Шуселька нам пишет о священной римской империи; он пишет, чтобы мы поскорее помогли немцам, у которых страшно расстроились желудки. Но нам нет никакого дела до союза германских Михелей! Пусть сами расхлебывают ту кашу, которую заварили".

Замечательно, что австрийские власти в Праге не принимали никаких мер против временного правительства; совершенно спокойно отнеслись он также к конгрессу славян, собравшемуся в Праге 2-го июня. На конгресс явилось около 300 славянских депутатов: тут были поляки, сербы, словаки, черногорцы, русские. Казалось, что снова воскресло средневековое славянств с его пестрыми красками и фантастическими костюмами. В Праге появились блестящие, яркие наряды: красные шаровары и лиловые или белые мантии особенно бросались в глаза чешские дамы в одежде амазонок; в своих коротких белых юбках, с пистолетами за красно-бело-голубым поясом, они заставляли вспоминать легендарные времена воинственных дев и королевы Любуши Чешская буржуазия и аристократия соперничали между собой в национальном фанатизме.

Председательствовал на конгрессе известный панславист Палацкий. В числе членов находились, между прочим, поляк Либольт, освобожденный 18 марта из одиночного заключения в Берлине, и Бакунин, русский, высланный в 1847 году из Парижа за то, что он пытался осуществить союз польской и русской демократии. Из запутанных дебатов конгресса, напоминавшего благодаря различию диалектов вавилонское столпотворение, выяснилось только одно, а именно, что все его члены сходятся в мечтах о великом славянском государстве и в ненависти к Германии.

Немало болтали нелепостей, и мистическая форма речей Бакунина не способствовала, конечно, уяснению вопросов. Была принята резолюция против мадьяр; поляки сначала воспротивились ей, но потом были увлечены Либельтом, который, повидимому, не совсем понимал, ради чего мартовские борцы выпустили его из темницы.

Конгресс выпустил манифест, возвестивший равноправие всех национальностей, чем, впрочем, не было сказано ничего нового. На том пока и закончилось все зрелище, доставившее немало удовольствия представителям русской дипломатии. Однако революционный дух времени не мог и здесь не прорваться наружу. Пылкая молодежь крупной и мелкой пражской буржуазии, особенно студенчество, сильно негодовала на немецких филистеров, организовавших в Праге союз „для защиты спокойствия и порядка". У чехов на-ряду с национальным фанатизмом немало было и демократического радикализма, а князь Виндишгрец, командовавший в Праге австрийскими войсками, был как раз человеком, наиболее приспособленным к тому, чтобы возбудить этот пылкий народ. Виндишгрец был известен как типичный представитель непримиримого дворянства старого закала; ему приписывали изречение: „человек начинается только с барона"; говорят, он же как-то сказал, что „дети буржуа и рабочих не рождены, а выкинуты". Возможно, что в этих рассказах, как часто бывает в подобных случаях, многое преувеличено; несомненно, однако, что Виндишгрец по всем своим взглядам и поступкам являлся чистокровным аристократом. Как славянин, он не действовал таким вызывающим образом против своих пражских соотечественников, как впоследствии в Вене против немецкого движения; но все же он служил черно-желтой политике венской и иннсбрукской камарильи.

Трудно указать непосредственный повод пражского восстания; хотели ли демократические вожди чехов помешать планам чешской аристократии или чехам просто надо было разрядить охватившее их революционное настроение,—как бы то ни было, восстание вспыхнуло. Народ был вооружен, так как уже раньше начальство роздало несколько тысяч ружей; и вот утром 12-го июня, на второй день праздника Троицы, толпа буржуазии, студентов и рабочих собралась перед статуей св. Венцеля, покровителя чехов. Была отслужена чешская обедня. Черно-желтый аристократ Виндишгрец изображался в речах представителем „германской политики"; в конце концов было решено устроить мирную демонстрацию, и народ двинулся к дворцу князя. В знак того, что демонстрация действительно мирная, в ней приняли участие женщины и дети. При этом пелась враждебная немцам песнь Шусельки. Днем раньше народная депутация требовала у князя 2.000 ружей, 12 пушек и 80.000 патронов для национальной гвардии, но получила решительный отказ. Демонстрация имела непосредственной целью поддержать это требование. Перед дворцом князя были выставлены войска, и дело дошло до столкновения с ними. Кем было вызвано последнее, трудно сказать: на этот счет существуют различные мнения: впрочем, спор в данном случае лишен всякого значения, так как столкновение при сильном возбуждении обеих сторон все равно было неизбежно. Войска успели уже возбудить негодование населения, грубо врезаясь в толпу на разных улицах. Перед дворцом они сделали несколько выстрелов, народ бросился бежать в соседние улицы, взывая к мести. С неожиданной быстротой выросли баррикады, в неизмеримом количестве покрыли они и заперли узкие улицы старого города. Началась яростная борьба; многие чешские женщины и девушки в своих коротких платьях амазонок оставались на улицах и храбро сражались на баррикадах. Пражские немцы не принимали участия в этой борьбе. При атаке баррикад войска потерпели большие потери, хотя Виндишгрец пустил в ход все свои силы. Из окон и с крыш войска осыпались градом камней и обливались горячей водой. Княгиня Виндишгрец, выглянувшая из окна своего дворца, была убита, сын князя также был ранен.

Успехи войск были ничтожны, и уже начались переговоры о перемирии; однако переговоры эти не привели ни к чему, и уличная борьба началась с новой яростью, при чем разыгрывались ужасные сцены. Когда Виндишгрец увидел, что не в состоянии овладеть все усиливающимся восстанием, он вывел свои войска из города и начал бомбардировать Прагу с окрестных укреплений и возвышенностей. Сопротивление сконцентрировалось в рабочих кварталах, главным образом, в Подскале.

Когда оказалось, что надежды инсургентов на помощь со стороны сельского чешского населения напрасны, защитники баррикад принуждены были признать свое дело погибшим. Впрочем, они стойко держались еще один день—17-го июня; затем баррикады были оставлены, войска очистили улицы, и в Праге было объявлено осадное положение. Из вождей восстания удалось арестовать очень немногих. Хотя Виндишгрец был страшно раздражен, тем не менее он обошелся с усмиренными инсургентами с поразительной кро-

тостью. После того как наиболее горячие элементы чехов были укрощены в уличной борьбе, чешские аристократы быстро завязали дружеские сношения с венской камарильей, и Палацкий, глава панславистов, движимый ненавистью к Германии, пустился в интриги, послужившие только интересам реакции.

Габсбурги бросились в объятия чехов, желая с их помощью скрутить немецкий и мадьярский элементы государства; несчастные реакционные споры и национальная ненависть были настолько сильны, что те самые люди, которые с негодованием выступали против Виндишгреца, нередко впоследствии принимали участие в великом реакционном походе правящей Австрии. В лице Виндишгреца они боролись только с мнимым защитником германского дела.

Перемена в политике венско-иннсбрукского двора скоро обнаружилась с полной очевидностью. Император Фердинанд заявил раньше, что он сам откроет венский рейхстаг. Но уже во время пражского восстания он объявил, что лично явиться не может по причине болезни и пошлет в рейхстаг своего заместителя, эрцгерцога Иоганна.

Но заговор, составленный двором и славянскими элементами с целью подавления венгров и немцев, пока не обнаруживался открыто. Только наиболее проницательные умы опасались тайных мин, но и они не имели никакого представления о широте реакционных планов. В Австрийской империи славяне жили не только в Богемии, но также по Дра и Дунаю, и все они были единодушны в своей ненависти к мадьярам и немцам. Камарилья умела прекрасно пользоваться этими благоприятными обстоятельствами и плела тончайшую сеть интриг.

Провозглашение принципа национальной самостоятельности привело в движение также южных славян, кроатов, родственные с ними сербские и др. элементы. Все они старались разорвать старую связь с мадьярами. Своими громадными размерами южно-славянское движение в значительной степени обязано гордости венгров, которые без всяких разговоров отвергали все требования южных славян. Мадьяры были объяты в то время фантастической мечтой, что именно они призваны подчинять себе другие национальности и стать господствующим элементом всей Австрийской империи. Кошут при всех его политических талантах был также сторонником этой утопии, которая толкнула венгров на путь узкой своекорыстной политики и привела их к поражению вместе с немцами; только тесный союз немцев и венгров мог бы составить достаточный противовес славянскому натиску. Кошут и его мадьяры питали убеждение, что монархия разлагается от внутренней смуты, и что только Венгрия достаточно прочна и сильна, чтобы стать центром государственного новообразования. Так как южные славяне не могли, конечно, примириться с этим воззрением, то естественно распри между мадьярами и кроатами скоро разгорелись в яркое пламя.

Пока камарилья в Иннсбруке была еще не уверена в успехе своего предприятия, надежды венгров все возростали. 10-го июня императора Фердинанда заставили в Иннсбруке подписать манифест, который между прочим гласит, что южные славяне могут не опасаться притеснений со стороны

дьяр. В то же время кроатский бан барон Иосиф Еллачич был объявлен ещенным, и у него затребовали объяснение по поводу его отношений к яграм. Обвиняемым явился он в Иннсбрук, союзником двора уехал оттуда. 5 этой метаморфозе ходили смутные слухи, однако, кроме самих заговорщиков, никто пока еще не мог сказать ничего определенного.

Этот Еллачич не был способен играть выдающейся роли ни в качестве енного вождя, ни в качестве государственного человека [1]). Но в великой луте расовой борьбы между немцами, славянами и мадьярами он приобрел ачение в качестве орудия иннсбрукской камарильи. Расовый вопрос вляется выдающимся моментом в этой великой борьбе. Австрийское восстание ончилось неудачей в одинаковой степени благодаря как расовой вражде, ак и классовым противоречиям.

Комитет венской демократии не был способен твердой рукой защищать зое дело среди смут Австрийской империи. 8-го июля он принял постановление далить из кабинета „носителей старой системы" и поручить Доблгофу оставление нового министерства. У комитета не хватало инициативы, чтобы бразовать из своей собственной среды популярное министерство. Заместитель мператора эрцгерцог Иоганн политично уступил желаниям наивных деморатов и дал им министерство Доблгофа, которое, конечно, было как раз астолько реакционно, насколько это считала необходимым придворная амарилья. В сущности отставка Пиллерсдорфа для двора была еще приятнее, ем для демократии, так как Бомбеллес с товарищами не считал Пиллерсорфа, как „немецкого" мартовского министра, вполне пригодным для новой лавянской политики. Новое министерство состояло из аристократов и зусмысленных „либеральных" политиков. Министр-президент барон фон ессенберг, занявший в то же время пост министра иностранных дел оенный министр граф Латур и министр внутренних дел Доблгоф были вполн, пределенными реакционерами, хотя Вессенберг и являлся в то же время ротивником Меттерниха; министр торговли Горнбостль и бывший журналист, теперь министр труда Шварцер представляли из себя очень неопределенное вление с весьма слабым „либеральным" налетом; сюда присоединялся еще инистр юстиции Бах, которого глупые люди считали тайным приверженцем емократии, но который при обсуждении конституции прекрасно умел тстаивать интересы аристократов и впоследствии развился в абсолютиста амой чистой воды. Одним словом, демократия променяла кукушку на ястреба о, к сожалению, слишком поздно убедилась в этом.

22-го июля собрался рейхстаг и был открыт эрцгерцогом Иоганном. Последний сказал при этом не мало прекрасных слов. Необходимо открыто независимо трудиться всем вместе, говорил он, чтобы упрочить вновь авоеванную свободу в конституции, которую нам предстоит создать. Все ациональности стоят одинаково близко к сердцу императора; что касается пециально Венгрии, то, принимая во внимание рыцарское благородство

[1]) Его образование было жалкое, а его военные операции были так же плохи ак и его стихи.

мадьярского национального характера, надо надеяться на благоприятный исход разногласий. Война с Италией направлена не против освободительных стремлений итальянцев,—она имеет целью лишь добиться почетного мира для австрийской армии.

Эрцгерцог прекрасно понимал свое дело, а в рейхстаге было достаточно доверчивых простаков, которым после таких слов все представлялось окрашенным в розовый цвет, и которых не отрезвило даже объявление о „чрезвычайных финансовых мероприятиях“.

Сам рейхстаг, существование которого для конституционного переустройства Германии было, пожалуй, еще более вредно, чем существование прусской палаты соглашения, был пестрой смесью представителей всех возможных национальностей; впрочем преобладал славянский элемент. Председателем был избран венский адвокат по имени Шмитт, но вице-президенты, чех Штробах и поляк Смолка, совершенно оттеснили на задний план этого ничтожного человека. Из родовитой знати в этом парламенте присутствовали немногие: австрийские, галицийские и польские крестьяне поняли, что теперь наступило время сбросить с себя феодальный гнет. 92 крестьянина заседали в австрийском рейхстаге, в том числе 36 из Галиции. Из Тироля явилось духовенство и его сторонники; последние шли рука об руку с черно-желтыми, а этот союз в свою очередь объединился с чехами, как только габсбургская политика стала опираться на славян. Ригер и Палацкий были вождями чехов в рейхстаге; все эти реакционные элементы вместе составляли стену, о которую разбивались всякие попытки немецкой и демократической левой. На левой, где сидели Шуселька, Фишгоф, Гольдмарк и Ленер, было много доброго желания, но далеко недостаточно политических талантов, а также не слишком много энергии.

Прения сильно страдали от смешения языков; представители разных народностей часто не понимали друг друга. Тем не менее вначале собрание обнаруживало некоторое единство; оно приняло программу министерства Вессенберга, провозгласившую принцип равноправия всех национальностей. Что к такой программе нельзя было относиться вполне серьезно, об этом представители народа пока не думали; они постановили однако пригласить императора Фердинанда вернуться назад в Вену. После очень скучной и очень мелочной болтовни по поводу формальностей, необходимых при этом акте, приглашение увидело свет, и Фердинанд последовал ему. Правда, очень сомнительно, вернулся ли бы он, если бы как раз в это время положение дел в Италии не приняло такого благоприятного для Австрии оборота. Он поселился в Шенбрунском дворце и наблюдал оттуда дальнейшее течение событий, в то время как камарилья продолжала плести свои сети. Любопытно, что влиятельнейшим членам камарильи считалась одна придворная дама императрицы

В рейхстаге возвращение императора рассматривалось как событие первостепенной важности, хотя в действительности этим лишь облегчалась работа камарильи.

Если австрийский парламент подобно франкфуртскому и берлинскому собраниям и не был свободен от ошибок, присущих парламентаризму, то

все же он осуществил в эти дни нечто действительно значительное, а именно освободил крестьян от средневековых оков феодальных отношений. Ганс Кудлих, молодой, только что оставивший университетскую скамью депутат из австрийской Силезии, предложил собранию объявить: „Отныне все крепостные отношения со всеми вытекающими из них правами и обязанностями отменяются, при чем собрание оставляет за собой выработку узаконений относительно того, в каких случаях должен быть уплачен выкуп и какой именно". Крестьяне, все еще обремененные разными видами оброка, конной и пешей барщиной, с восторгом приняли это предложение; казалось пережитки феодализма должны подвергнуться той же участи в Австрии, как и во Франции в знаменитую ночь 4 августа 1789 года. Однако дело произошло здесь не совсем так, потому что большинство рейхстага не согласилось с предложением в первоначальной редакции и его противники начали длинные, утомительные дебаты. Крестьяне, бывшие в собрании, энергично протестовали против всякого выкупа повинностей, который, как они говорили, противоречит здравому человеческому смыслу. Сам Кудлих в течение дебатов пришел к предположению, недалекому от истины, а именно, что крестьяне присоединятся к консервативным элементам, как только с их шеи будет снято феодальное ярмо. Он пытался поэтому затянуть разрешение вопроса о выкупе. Однако реакционеры постарались поскорее покончить с этим вопросом для того, чтобы склонить крестьян на свою сторону.

Большинство рейхстага, наконец, сдвинулось с места и декретировало уничтожение феодальных повинностей, однако с выкупом в пользу помещиков. Такому решению особенно способствовал черно-желтый господин Гельферт, дезертировавший из лагеря либералов направо. Министр Бах заявил, что министерство остается у власти или выходит в отставку в зависимости от того, будет ли решен вопрос о выкупе в положительном или в отрицательном смысле. Кудлих и его сторонники, убедившись, что выкупа не избежать, хотели по крайней мере возложить его на государство; однако и это не прошло, и в конце концов было постановлено, что новые землевладельцы должны заплатить „небольшое вознаграждение" своим прежним господам, владельцам земли, десятин и представителям сельской полицейской власти. Если бы славянские крестьяне больше разбирались в том, что говорилось кругом, подобное постановление вряд ли могло бы пройти; смешение языков оказало таким образом феодальной знати немалую услугу.

Постановление рейхстага было признано правительством и вступило в законную силу. Для этого правительство имело очень веские основания.

Бурные выступления крестьян в рейхстаге, их нападки на жестокость благородных землевладельцев, их угрозы прибегнуть к революционному способу действий напугали двор и правительство. Необходимо было во что бы то ни стало удовлетворить этот опасный элемент. И крестьяне удовлетворились, когда им объявили свободу от крепостной зависимости. Правда, они устроили в честь юного Ганса Кудлиха большое факельное шествие, в котором приняли участие до 10.000 человек, но, начиная с этого момента, уже не беспокоились о дальнейшем ходе движения. Таким образом успех

демократии был искусно использован реакционерами и превратился в успех черных тирольцев, славян и черно-желтых из всех национальностей.

Венская демократия, благодушно предоставив министерству Вессенберг-Доблгофа дела правления и рейхстагу с его славянским большинством реорганизацию Австрии, занималась разрешением рабочего вопроса,—вопроса, который, вследствие его трудности, и правительство и рейхстаг охотно передали в руки демократов. Но и в этой области венская демократия обнаружила только свою полнейшую неспособность.

У рабочих еще не выработалось того классового самосознания, которое составляет характерный признак социального движения нашего времени. Ремесленные подмастерья, фабричные рабочие, землекопы держались отдельно друг от друга. Подмастерья организовались в „рабочий союз", где они упражнялись в искусстве владеть оружием; но во всех остальных отношениях „союз" был очень похож на современные кружки самообразования и носил даже несколько филистерскую окраску. Социальный вопрос он хотел разрешить путем „касс взаимопомощи".

Фабричные рабочие так же сторонились от землекопов, как ремесленные подмастерья сторонились от них. Они были сорганизованы в союз поляком Хассе или Хайзесом, которого называли обыкновенно „доктор Хассе". Вследствие раскола Хассе основал „радикальный" или „либеральный" клуб выставлявший своей целью демократическую монархию. Хассе был неутомимым оратором этого клуба; но социально-экономическая мудрость, проповедником которой он являлся, была не особенно высокого полета. Если бы демократические вожди имели ясно определенную цель, они прежде всего постарались бы, конечно, сплотить воедино все категории рабочих. Но так как демократы сами не знали, чего они хотят, они оставили рабочее дело в том положении, в каком. оно находилось в то время.

Землекопы были наиболее радикальным, движущим элементом венских событий. Скоро число их сильно возросло. Народные волнения вызвали кризис в хозяйственной жизни; разразились многочисленные банкротства, и многие фабрики вынуждены были распустить своих рабочих. Само собой понятно, что безработные массами устремились на земляные работы. Министр финансов оказался в большом затруднении: государственная касса была истощена, так как требовались большие средства для снаряжения армии, посланной в Италию усмирять движение за независимость. Министерство объявило просто, что оно не в состоянии дать занятие всем приливающим рабочим, и массы, оказавшиеся без всяких средств к существованию, обратились за помощью к демократическому комитету.

Комитет понимал, что своей силой и самым своим существованием он обязан рабочей армии, 15 и 26-го мая поддержавшей студентов. Он не мог указать дверь потерявшим заработок рабочим. Взяв на себя их дело, он усиливал свое могущество. Если бы среди демократов был хоть один ловкий и искусный политический деятель, комитету несомненно удалось бы захватить в свои руки власть, низвергнув министерство, обнаружившее свою полную неспособность удалить рабочий вопрос. Большого сопротивления демо-

краты не встретил бы в этот момент. Таким образом только благодаря незрелости и неспособности венской демократии министерство, а вместе с ним и придворная камарилья удержали власть в своих руках.

Центральный комитет выделил из своей среды особый рабочий комитет, который и должен был заняться „организацией труда". Так как министерство отказало в денежных средствах, необходимых для того, чтобы дать заработок впавшим в нищету рабочим, комитет обратился к венской коммуне за средствами, необходимыми для нового предприятия.

В рабочем комитете наибольшее влияние имел молодой студент юриспруденции, по имени Вилльнер. Среди рабочих, перед которыми он часто произносил большие речи, он был так популярен, что его называли даже „королем рабочих". Этот молодой человек, который выступал как защитник рабочих, нередко позволял себе обращаться к массе с суровым словом порицания. В общем это было весьма мало утешительное, а порою и прямо грустное зрелище: важнейшие задачи всего движения находились в руках совершенно неопытного юноши. Это явление как нельзя более ярко отражает всю неразвитость общественных отношений в Австрии. „Король рабочих" был призван доказать миру, насколько несостоятельно было то предприятие, которое называлось тогда „организацией труда".

Комитет постановил, что оставшиеся без хлеба рабочие имеют право требовать работы у государства; государство должно доставить им работу, уплачивая обычную поденную плату. В то время взрослый работник получал 25 крейцеров, подросток старше 12 лет и женщина — 18 крейцеров ежедневно. Рабочие были разбиты на роты, под начальством студента-техника каждая; роты в свою очередь разделялись на взводы, которыми командовали сами рабочие. С целью дать занятия рабочим венский магистрат предпринял работы по линиям Мацлейнсдорф и Веринг, а также на Пратере по Дунаю.

Сначала эта „организация труда" казалась сносной, и рабочие, обрадованные, что они, наконец, получили хоть какие-нибудь работы, производили впечатление вполне довольных людей в своих бараках, наскоро возведенных у места работ.

Однако промышленный кризис и соединенная с ним безработица охватили и провинцию. Провинциальные рабочие, оставшиеся без куска хлеба, слышали, что в Вене организуются работы за общественный счет, и массами устремлялись в столицу. Среди этих масс находились элементы, которые не только „добрым гражданам" и демократам, но и самим рабочим внушали некоторый ужас; это было вполне естественно: в таком государстве, как Австрия, где хозяйничанье велось неслыханным образом, нищета и преступления не могли не проявляться в наиболее ужасающих формах. Подозрительные личности в рядах безработных усилили дурное расположение духа благомыслящего мещанства, которому расходы на поддержание безработных и без того уже казались слишком высокими. Замечательно, что благомыслящие обыватели приходят в неописуемое волнение каждый раз, когда общественные средства тратятся на рабочих; в других случаях, имеющих не-

сравнению меньшее отношение к интересам большинства народа, в сто и в тысячу раз большие расходы не кажутся им слишком значительными.

Комитет мог бы, вероятно, улучшить положение дел, если бы он обратил свое внимание на те работы, которые действительно были полезны для государства или коммуны; однако об этом никто не думал. Желание освободиться от наплыва провинциальных рабочих натолкнуло комитет на путь обычных в таких случаях внешних мероприятий, заранее обреченных на неудачу. Комитет заявил, что венская коммуна обязана дать занятие лишь местным рабочим; на провинциальных коммунах лежит то же самое обязательство, а потому иногородние должны вернуться домой и там искать себе работы. Но этим несчастие еще не было устранено. Многие иногородние рабочие истратили последние деньги, чтобы явиться в Вену, и не имели средств добраться до дому. Полицейским путем ничего нельзя было предпринять, так как венцы в то время не так еще добродушно относились к полиции, как берлинцы. Комитету пришлось выдать каждому отъезжающему иногороднему рабочему 10 гульденов на дорогу.

Хотя таким образом удалось, наконец, удалить из города избыток приехавших извне рабочих, тем не менее созданная комитетом „организация труда“ вскоре разрушилась. Рабочие увидели, что организованные коммуной работы никому не нужны, и многие стали бездельничать. Прекрасная в начале дисциплина разрушилась. Кроме того, снова начался прилив желающих стать на работы. Не поладившие с хозяевами фабричные рабочие, слуги, повздорившие с господами, вообще все неуживчивые элементы устремились к общественными работам. Нередки были случаи, что в наиболее важных отраслях производства чувствовался острый недостаток рабочих рук, в то время как на земляных работах некуда было девать людей. Комитет, заваленный жалобами граждан, работодателей и рабочих, постановил, наконец, что ни один рабочий, оставивший своего работодателя без достаточных оснований, не может быть принят на земляные работы; равным образом каждый занятый на земляных работах не должен уклоняться от работы, предлагаемой ему кем-либо из венских граждан, в противном случае он вычеркивается из списков.

Само собой понятно, что это постановление оказалось весьма мало действительным. Среди землекопов началось все более и более нароставшее возбуждение.

Мало-по-малу число землекопов возросло до 50.000. Они все еще составляли главную опору демократии, в них видели революционную армию, всегда готовую к бою. Пугливые люди не могли спокойно спать, пока не распущена эта могучая, но мало сознающая свою мощь масса. Скоро найдено было средство разъединить эту массу. Правительство нуждалось в рекрутах для итальянской армии Радецкого; оно решило произвести набор среди землекопов и организовало с этой целью особые бюро, в которых раздавались крупные задатки в счет жалованья. У того самого правительства, которое не могло найти денег, чтобы дать занятия впавшим в нищету рабочим, оказались вдруг значительные средства для набора.

Комитет обнаружил в эти дни самую жалкую беспомощность и незрелость. Вербовка рабочих в правительственную армию испугала его; он понимал, что такая мера рассеет кадры рабочих и приведет к гибели демократии. Поэтому среди рабочих появились студенты и разъяснили им, что их потребят на борьбу против итальянской независимости, если они согласятся вступить в армию. Возбужденные речами студентов, рабочие двинулись массами к бюро, разрушили их и прогнали расположившихся там офицеров и солдат. Для демократов это было уже слишком решительно; они порицали в своей прокламации действия рабочих, вызванные их же собственными посланцами. Такое отношение не могло не вызвать негодования рабочих; в то же время усилились столкновения между рабочими и благомыслящими гражданами, главным образом потому, что „деловые люди", руководствуясь обычными соображениями своей личной выгоды, доставляли рабочим скверные продовольственные продукты. Реакционеры делали все, чтобы раздуть эти несогласия; комитет пытался примирять их, но он беспомощно колебался туда и сюда, не будучи в состоянии установить прочного порядка. Всякий чувствовал, что такое положение дел должно привести к катастрофе.

На Троицу 1848 года действительно произошло открытое столкновение. Одна часть рабочих получила плату за праздничные дни, другая нет, и так как комитет не соглашался выдать деньги этой последней части, полагая, что уступка поколебала бы его авторитет, среди рабочих начались беспорядки.

Буржуа гражданского ополчения сочли этот момент подходящим для того, чтобы решительно выступить против рабочих; их поддерживали капиталисты, большие и маленькие; последние давно уже стремились обезопасить себя от возможных неприятностей со стороны беспокойных рабочих. К комитету являлись депутации, требовавшие энергичного вмешательства. Комитет совершенно не знал, что предпринять. Пропитанный мещанскими взглядами, он не хотел резко оттолкнуть фанатиков порядка; но, с другой стороны, он понимал, что, поражая рабочих, он будет рубить тот сук, на котором сидит. Поэтому комитет старался успокоить страсти и избежать борьбы.

Между тем известия из Парижа, где только что началось кровавое столкновение между буржуазией и пролетариатом, возбудили брожение в Вене. В городе появилась значительная масса вооруженных рабочих; последние имели ряд столкновений с гражданским ополчением, и гражданское ополчение решило показать рабочим всю свою силу. 24-го июня все гражданское ополчение не только города, но и предместий двинулось на гласис и выставило там свои орудия. Рабочие вооружились, как и чем могли. Но к ним бросились студенты, убеждая смириться перед внушительной силой гражданского ополчения; эти увещания так сильно повлияли на рабочих, что они не только обещались впредь держаться спокойно, но даже выдали зачинщиков.

Триумф „честной" буржуазии над рабочими был в высшей степени на руку реакции, так как комитет с этого времени окончательно утратил до-

верне рабочих, и конфликт между буржуазией и пролетариатом стал глубоким и непримиримым.

Теперь, наконец, реакция почувствовала себя достаточно сильной, чтобы отнять у комитета его власть. Уже давно раздавалось требование учредить „министерство труда", и вот был назначен министр труда в лице господина Шварцера. Последний тотчас взял в свои руки заведывание общественными работами, устранив комитет; в этом, как и следовало ожидать, он не встретил препятствия. Таким образом комитет покорно уступил власть, которой он не умел пользоваться.

Шварцер знал, что ему обеспечена поддержка „честной" буржуазии против рабочих, и действовал быстро и решительно. Уже 22 августа он издал распоряжение, согласно которому дневной заработок землекопов уменьшался на пять крейцеров. Он не мог не знать, что это вызовет беспорядки. И в самом деле рабочие заволновались; они стеклись на Пратер и там вздернули на виселицу соломенное чучело человека, в рот которого был всунут кусок бумаги с надписью: „пять крейцеров". Чучело это, изображавшее министра труда, было предварительно провезено по улицам на осле. Вмешалась полиция, гражданское ополчение явилось ей на подмогу. Вспыхнуло настоящее сражение; гражданское ополчение открыло огонь, и немало рабочих было убито и ранено [1]). Рабочие, вооруженные только своими орудиями были везде обращены в бегство. Демократия и студенты держали себя спокойными зрителями этой борьбы.

Сила демократии была сломлена; комитет сам убедился, наконец, в своей ненужности и объявил себя распущенным. Студенческий комитет также прекратил свое существование. Академический легион был сильно ослаблен наступлением каникул, когда молодые революционеры устремились по домам. Для того чтобы разделаться с рабочими, правительство открыло общественные работы в других местах и массами препровождало туда рабочих из Вены.

Так легко была отнята власть у неспособной венской демократии, потому что она не понимала положения и беспомощно колебалась из стороны в сторону между антагонистическими классовыми интересами.

Реакция чувствовала в эти дни особенный подъем духа благодаря победам Радецкого в Италии.

Смуты в Неаполе и Сицилии продолжались; „либеральный" и „конституционный" папа Пий IX приподнял, наконец, свою маску и выступил против национального движения в церковной области; между тем восстание в верхней Италии все еще было в полном разгаре. Карл-Альберт обнаружил во время похода свою полную неспособность. Позиция, занятая Радецким при Вероне, была настолько выгодной, что он мог угрожать оттуда даже Ферраре.

Король Сардинии до сих пор упускал все благоприятные моменты; теперь он разъединил свои боевые силы, образовав из них два корпуса: один расположился при Риволи, другой у Ровербеллы. Радецкий воспользовался

---

[1]) Число убитых определяют в 20, число раненых в 200 человек.

этой ошибкой, напал на армию, стоящую у Ровербеллы, разбил ее, взяв приступом высоты Соммакампаньи, и занял прочную позицию у Минчио. Карл-Альберт поспешил ему навстречу, и 25 июля 1848 года произошла кровопролитная битва при Кустоцце, в которой Карл-Альберт безуспешно старался выбить австрийцев из занятых ими позиций. Он был отброшен и вынужден перейти в отступление, которое после битвы при Вольте превратилось в беспорядочное бегство.

Среди этих разгромов сардинский король заключил договор, по которому город Венеция вместе со своей областью соединялся с Сардинией и Ломбардией в одно королевство. Но эта мечта быстро рассеялась, потому что Радецкий со всеми своими силами преследовал сардинского короля по пятам, так что последний бросился, наконец, в Милан. В Милане разыгрались ужасные сцены; народ кричал о предательстве и требовал от короля дальнейшего сопротивления Австрии. Король выполнил это требование, вступив 4-го августа в сражение перед Миланом, но был снова разбит и обратился в позорное бегство. Милан капитулировал, и в верхней Италии восстановились старые порядки почти в полном объеме. Модена была занята, и бежавший оттуда герцог вернулся обратно; Болонья подверглась бомбардировке за убийство нескольких австрийских офицеров, обвиненных в шпионстве.

9-го августа Карл-Альберт заключил перемирие с Радецким, при чем тот и другой полководец обещались держаться каждый в пределах своего государства. Однако Венеция отложилась от Карла-Альберта и 10 августа 1848 года провозгласила себя республикой. Было назначено временное правительство с энергичным адвокатом Манином во главе. Поражение сардинского короля снова открыло республиканской партии, Молодой Италии, больше простора для деятельности, и как раз в Риме партия эта проявила особенную энергию, стремясь захватить в свои руки общественную власть.

В то время как Радецкий поразил в образе сардинского короля объединительное движение Италии, в Австрии разразился другой великий конфликт, потрясший здание империи до самых его основ.

После того как славяне завязали дружбу с венской или, что то же, иннсбрукской камарильей, политика правительства поставила своей целью уничтожение самостоятельности Венгрии. Славяне слепо следовали за этой политикой, так как и в Богемии демократические элементы были поражены национальной ненавистью и манией величия. Мадьяры быстро догадались о том, что творится за кулисами, и постарались заблаговременно обезопасить себя от всяких случайностей. Политика мадьяров была проникнута тем же самым национальным эгоизмом, как и чешская политика. Таким образом в Австрии сталкивались два сильных течения: чешское, примыкавшее к славянству, и мадьярское, сливавшееся с немецким. Руководящие сферы венгров столь же мало были проникнуты демократическим духом, как и чехи; в венгерском парламенте истинная демократия также составляла лишь ничтожное меньшинство, и даже Кошут, во время своих припадков

высшей государственной мудрости, частенько называл демократов „смутьянами“ и „бунтовщиками“. Венгры, подобно другим народностям, добились во время мартовских восстаний обычных уступок в области политических вольностей и уничтожили феодальные тягости, давившие крестьян. С этого момента движение, во главе которого стояли аристократия и буржуазия, остановилось; крестьяне были удовлетворены; сознательного рабочего класса еще не существовало; либеральная буржуазия удовольствовалась мартовскими завоеваниями, а аристократия, повидимому, примирилась с ними. Но для венгерского дворянства и буржуазии самым важным приобретением была вырванная у Габсбургов независимость, самостоятельное министерство, в котором аристократия была представлена Баттиани, буржуазия—Кошутом. Весь народ видел в независимости наиболее прочное обеспечение мартовских завоеваний. Поэтому, когда правительство в союзе с чехами и кроатами вознамерилось снова уничтожить независимость, на защиту ее встала вся венгерская нация. Живые воспоминания о домартовской системе угнетения и эксплоатации воспламенили мадьяров к отчаянному сопротивлению. Их борьба, столь же героическая, как и несчастная, быстро привлекала к себе всеобщие симпатии. Строго говоря, венгерские войска боролись не за свободу и благосостояние всего народа, но главным образом за привилегии имущих классов, хотя мартовские приобретения вообще были крупным шагом вперед. Справедливость вышесказанного лучше всего доказывается современными венгерскими неурядицами, возникшими уже после того, как Венгрия стала до известной степени самостоятельной. Венгерский дворянин, надутый как индюк, ярый преследователь немцев и антисемит, в такой же степени реакционен, в какой испорчен венгерский буржуа, немало способствовавший тому, что венгерское государственное хозяйство обременено теперь неоплатными долгами.

Кошут играл в Венгрии руководящую роль. 11-го июля он произнес в венгерском рейхстаге большую речь, в которой указывал на опасность, грозящую Венгрии от союза двора со славянами, и утверждал, что венгерская независимость уже колеблется. Он требовал вооружение 200.000 человек и кредита в 42 миллиона гульденов, „чтобы добиться почетного мира или начать почетную борьбу“. 24-го июля воодушевленный рейхстаг единодушно принял это предложение, но при этом ясно обнаружилась двойственная политика венгров. Баттиани и Деак требовали, чтобы Венгрия деньгами и людьми поддержала Австрию в ее итальянском походе. Кошут, так часто публично выражавший свою радость по поводу побед итальянцев, колебался, но в конце концов стал на сторону этого предложения. Было постановлено поддерживать Австрию в борьбе не против Италии, а против Карла-Альберта, — уловка, которая, разумеется, никого не могла обмануть.

Мадьяры хотели играть ту же роль, как и славяне. Если бы император принял их с распростертыми объятиями, они стали бы поддерживать его против всех его врагов и таким образом сделались бы господствующим элементом в империи; в случае же сохранения союза императора со славянами

адьяры решились завоевать себе независимость. Между тем двор продолжал идти старым путем; постановление венгров поддержать Австрию против Италии не могло отклонить его в сторону. Напротив, как раз в это время союз с баном Еллачичем, попавшим было в отставку, но потом снова стяжавшим себе милости двора, был расширен и упрочен. Двор заискивал у кроатов и поддерживал Еллачича, где и насколько было возможно. В то время как рейхстаг в своем простодушии заботился лишь об уничтожении феодальных повинностей, Еллачич держал себя по отношению к венграм все более и более вызывающе и корчил из себя исполнителя императорской воли, требуя, чтобы Венгрия отказалась от самостоятельности и мартовских приобретений. В прокламациях Еллачича, настаивавших на новой организации Австрии, говорилось, что все национальности, следовательно, также и венгры, должны управляться из Вены. Это было как раз то, чего хотел двор, и чтобы устранить всякие сомнения, австрийское министерство издало 31-го августа памятную записку, объявившую, что Венгрия во всех своих учреждениях должна сообразоваться с требованиями всей монархии. По существу это уже равнялось уничтожению самостоятельности.

Теперь уже каждому стало более или менее ясно, куда направляется политика двора, но чтобы просветить даже наиболее слепо верующих и доверчивых, 4-го сентября бан Еллачич, еще летом именовавшийся „бунтовщиком", был торжественно восстановлен во всех должностях и отличиях, при чем объявивший об этом императорский указ восхвалял его верность и приверженность Габсбургскому дому и всей монархии.

Мадьярские государственные мужи попытались еще раз отвратить приближающийся кризис путем переговоров. Баттиани и Деак отправились в Вену, чтобы получить согласие императора на постановление рейхстага от 24-го июля, но они не добились даже аудиенции. 9-го сентября император принял в Шенбрунне депутацию от рейхстага, состоявшую из 120 членов; однако это не имело никакого значения, так как к тому времени восстановление Еллачича в должности было уже объявлено. К тому же Фердинанд, в выражениях, исходящих от камарильи, отклонил требование депутации, указывавшей на союз Габсбургского дома с Венгрией, как на средство к устранению кризиса. Депутация вернулась в Пешт ни с чем. Таким образом открытая борьба стала неизбежной; она разразилась уже 11-го сентября, когда Еллачич во главе кроатских войск перешел венгерские границы. В велеречивом манифесте поучал он венгров, как они должны поступать. Он утверждал, что венгерское министерство стремится к гибели всей монархии, и что этому стремлению надо воспрепятствовать с оружием в руках.

Трудно описать гнев венгров, когда они поняли ту игру, которую вел с ними двор. Впрочем, государственные люди Венгрии не имели, строго говоря, оснований для нравственного негодования, так как их собственная игра по своему характеру не особенно отличалась от политики инсбрукской и шенбруннской камарильи. Но народ был одушевлен готовностью защищать свою свободу и независимость, и когда министерство (14-го сентября) издало призыв к оружию против кроата Еллачича, готовая к бою молодежь массами

устремилась под знамена: Венгрия скоро приняла вид военного лагеря. Кошут добился от министерства финансов экстренного выпуска ассигнаций, достоинством в 5 гульденов. Палатин Стефан оставил Пешт и направился в Вену; однако венгерский рейхстаг послал еще раз депутацию в Вену, теперь уже, как выразился Кошут, „не к предательскому двору, а к народу“. Депутация должна была изложить жалобы венгров перед австрийским рейхстагом. Славянское большинство рейхстага употребило все силы, чтобы помешать мадьярам высказаться, и после длинных и жарких дебатов рейхстаг большинством 186 против 108 голосов отклонил предложение выслушать венгров. Напрасно левая настаивала на том, что поражение Венгрии будет равносильно порабощению всей Австрии; министр Бах увлек за собой всех колеблющихся, и черно-желтый Гельферт провел свое предложение не выслушивать венгров [1]).

Но венский народ в собственном смысле слова великодушно готов был ради общего блага забыть все слабости и ошибки мадьяров. Перед гостиницей, где поместились депутаты, собралась тысячная толпа и Таузенау возвысил свой громовой голос; он проклинал „жалкий“ рейхстаг, министерство и упрекал последнее в политике недостойных интриг. От имени венского народа обещал он мадьярам поддержку в их борьбе на жизнь и на смерть.

Венский народ честно держал слово, данное от его имени его оратором, но венгерцы не решались прямо принять протянутую им руку и потому потеряли все.

Между тем в Пеште дряблый либерализм отступил назад: поток событий вынес на поверхность радикальное течение. 25-го сентября появился императорский манифест, которым генерал Ламберг назначался главнокомандующим Венгрии. Но венгерский рейхстаг объявил манифест недействительным. Он имел на это даже формальное право, так как указ не был подписан ответственным министром. Генерал Ламберг, решившийся показаться в Пеште, был убит возмущенным народом на Пештском мосту. В тот же самый день, 28-го сентября, венгерский рейхстаг назначил временное правительство и

---

[1]) Дебаты о допущении венгров обнаруживают, насколько обострились уже тогда отношения между славянскими и немецкими элементами в австрийском рейхстаге.

Ригер говорит: Всемирный дух возжег эту войну в Венгрии, чтобы восстановить попранные права“ (страшный шум). Палацкий утверждает, что Боррош оскорбил славян, и требует, чтобы его гарантировали от повторения подобных инцидентов. Боррош хочет возражать, но не получает слова. Гольдмарк вскакивает, ударяя обеими руками по столу и кричит: „Я протестую против этого!“—Президент: „К порядку!“—Гольдмарк: „Что? К порядку? Я не хочу обращать на это внимание. Это позор призывать к порядку, когда на карту ставится благо миллионов!“ (громовое одобрение слева).—Президент трижды призывает к порядку. Гольдмарк резко продолжает. Президент: „Когда я призываю к порядку, вы должны замолчать и сесть на место, милостивый государь!“—Гольдмарк: „Я не хочу!“ Шум возрастает до такой степени, что президент вынужден прервать заседание на полчаса.

сети членов с Кошутом во главе, при чем последний был облечен диктатор-кой властью. Этим актом война между Габсбургским домом и мадьярами ыла формально объявлена.

Жестокая борьба, начавшаяся с этого момента, легко могла бы окон-иться поражением двора и полнейшим разрушением Австрийской империи. том, что этого не случилось, виноват национальный фанатизм, которым, же давно ловко пользовались политики камарильи, которым и теперь они умели воспользоваться не менее искусно.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

„Черно-белые“ и „черно-красно-золотые“.

Берлинская демократия скоро убедилась, что ей нечего ждать от собрания в консерватории. В то же время реакция в провинции и в самом Берлине все дерзновеннее подпимала голову и не могла не возбуждать самых серьезных опасений за существование мартовских завоеваний. В Померании в Бранденбурге и Саксонии все чаще раздавались голоса, требовавшие покончить с берлинской „анархией“ силой оружия [1]).

Рыцари „Kreuzzeitung“ соединились в „дворянский парламент“ и возвели в систему фанатизирование крестьян против городов [2]). Берлинские богачи были до такой степени напуганы фантастической картиной „коммунизма“, свившего себе будто бы „гнездо“ в Берлине, что массами покидали город. Это, правда, не слишком еще беспокоило демократов; гораздо неприятнее для них было массовое выселение рабочих. По слухам, около 20.000 рабочих направились на Восточную жел. дорогу и в провинцию. Возможно, что эти цифры преувеличены, но во всяком случае массовый отлив наиболее радикального элемента был очень серьезным предостережением для демократии. Последняя пыталась укрепить свое положение, стараясь по возможности упорядочить и сплотить свои организации. Образовался центральный комитет, в который все клубы и союзы демократов посылали уполномо-

---

[1]) Это настроение хорошо выражено в известной реакционной песне, последняя строфа которой гласит:

По ночам земля кишит
Силой злобною нечистой.
Но она стремглав бежит,
Крест увидевши пречистый.
Запоет в полночь петух,—
Исчезает смрадный дух.
Так и против демократа
Подавайте нам солдата.

[2]) В окрестностях Берлина особенно реакционным настроением отличались Шарлоттенбург и Тельтов. Поэтому про Тельтов в 1848 г. говорили, что там гораздо успешнее всходят семена репы, чем семена разума.

ченных[1]), и демократический клуб разделил весь Берлин на 22 округа с одним представителем в каждом. Говорили, что клуб насчитывает до 3.000 членов, но это по всей вероятности преувеличено. Рабочие машиностроительного производства, так же как и все организации, основанные Борном, в виду надвигающейся реакции теснее примкнули к демократам.

6-го августа все немецкие войска должны были присягнуть правителю империи; этот акт, превратившийся в жалкую комедию, дал демократам повод к устройству большой демонстрации. Демократы вовсе не желали выражать этим своей симпатии регенту; целью демонстрации было подчеркнуть необходимость растворения Пруссии в Германии. Около здания оперы собралось до 20.000 человек, которые составили колоссальное шествие, тянувшееся по Фридрихштрассе к Крейцбергу. Дорогой толпа сорвала много черно-белых (прусских) флагов. На Крейцберге было собрано много народа из окрестных сел; предполагалось натравить народ на демократов и таким образом расстроить демонстрацию. Однако перед необозримой толпой демократов реакционеры вынуждены были отступить. Демонстранты остановились перед чугунным памятником на Крейцберге; Гельд вскарабкался наверх и произнес оттуда речь, после чего на вершине памятника было выкинуто трехцветное знамя. Знамя, впрочем, было скоро сорвано гражданским ополчением.

Кошачьи концерты и столкновения „Клуба Лин“ с констеблями давали демократам неисчерпаемый источник для разговоров, за которыми были совершенно забыты более важные дела. Констебли вели себя крайне грубо[2]), однако им не удалось справиться с народом, и 21-го августа снова произошло одно из тех бурных возмущений, в которых растрачивались силы демократии. Повод был дан в Шарлоттенбурге. В этом городе, где преобладали реакционеры, жили между прочим братья Бруно и Эдгар Бауэры, свободомыслящие демократические писатели, основавшие один демократический союз. Реакционеры, раздраженные их деятельностью, подкупили несколько оборванцев с тем, чтобы те хорошенько проучили демократов. Подкупленные негодяи, чернь в самом низком смысле этого слова, напали на демократов, избили их с зверской жестокостью и позволили себе дикие издевательства, при чем ни полиция, ни гражданское ополчение не сочли нужным вмешаться. Эдгар Бауэр, пылая местью, бросился в Берлин, где он пользовался в то время значительным влиянием среди рабочих; масса народа, и без того уже возбужденного поведением констеблей и различными реакционными мероприятиями, собралась перед домом министра внутренних дел на Вильгельмштрассе. Министра господина фон-Кюльветтера не было дома, и толпа под предводительством Эдгара Бауэра и немецко-католического проповедника Довиата двинулась к дворцу министра-президента Ауэрсвальда, куда скрылся

---

[1]) Центральный комитет заседал в сохраняющемся еще и теперь ресторане Вассмана на Лейпцигской улице.

[2]) От них пострадали и министры Берг и Родбертус,—который недолго оставался в министерстве исповеданий,—и вообще пострадало много людей, ни к чему не прикосновенных. Однако насилиями констеблей возмущались меньше, чем повторными кошачьими концертами.

министр юстиции Меркер, которого собственно искала толпа. У Ауэрсвальда как раз было много гостей. Довиат, взявшийся говорить от имени народа, потребовал освобождения всех политических арестантов и наказания шарлоттенбургских негодяев или же отставки министерства. Между тем на улицу подоспели констебли и началась жестокая схватка [1]). Констебли врезались в толпу; народ сломал решетку у дворца, вооружился железными прутьями и, разобрав мостовую, стал бросать камни в окна министра-президента, так что находившееся у последнего дамы и господа должны были поспешно оставить стол, спасаясь от летящих булыжников. На соседней Беренштрассе под руководством асессора Рудольфа Шрамма была выстроена баррикада. Раздались выстрелы, многие были ранены. Народ в конце концов бежал, и цель всего предприятия—низвержение министерства—осталась недостигнутой. Рабочие машиностроители явились со своими ружьями и дали несколько холостых выстрелов, чтобы разогнать констеблей, преследовавших народ; баррикада на Беренштрассе была разрушена гражданским ополчением.

Довиат был арестован и приговорен к шести годам заключения в крепости; Эдгар Бауэр пробыл некоторое время в Берлине, где рабочие скрывали его от преследований полиции; в конце концов он бежал за границу. Впоследствии Бауэр, как и его брат, перешел в лагерь консерваторов; строитель баррикады Шрамм сделался почитателем Бисмарка и занял пост консула [2]).

Эта неудачная попытка низвергнуть министерство Ауэрсвальда была искусно использована реакционерами и только повредила демократии. Вскоре после описанных событий Гельд был изобличен в предательстве. Уже со времени неудавшейся демонстрации против министерства Кампгаузена ему не доверяли, полагая, что он вступил в тайные отношения с феодальной партией. Однако до сих пор этого не удавалось доказать, и Гельд не без успеха защищался против всех обвинений, утверждая, что вожди демократов наговаривают на него по злобе, из зависти к его влиянию на массы. Впоследствии, в 1865 году, он сам признал, что подозрения демократов были вполне справедливы. На публичном собрании рассказал он следующий эпизод [3]).

---

[1]) Бравое гражданское ополчение как раз в то время было на банкете и потому опоздало.

[2]) Оба Бауэра были завсегдатаями известного в то время кабачка Гиппеля на улице Доротеи; там же появлялись Людвиг Буль и Макс Штирнер (Каспар Шмидт). Этот философский кружок с величавым презрением взирал сверху вниз на политиков дня, объявляя безнадежной глупостью все, что они ни делали, но к сожалению, сам не был в состоянии предложить что-либо лучшее. Макс Штирнер был еще наиболее скромным среди них. По их мнению, пишет один современник „нет поэзии, она—ложь; нет науки—она бесплодна; нет государства—оно прогнило; нет школы—она прогнила вдвойне; нет любви—она лишь подавленный половой инстинкт; нет дружбы—она фраза!" Подробнее об этом забавном кружке см. в книге Роберта Шпринтера: „Berlins Strassen, Kneipen und Klubs im Jahr 1848". Любопытно наблюдать анархические годы бури и натиска, пережитые Эдгаром Бауэром, позднейшим сотрудником „Kreuzzeitung". В общем оба брата вполне заслужили те язвительные насмешки, которые излил на них Карл Маркс в своей книге: „Святое семейство".

[3]) См. „Berliner Reform" от 12-го декабря 1865 г.

Однажды его пригласил к обеду комендант гражданского ополчения генерал Ашоф, его бывший начальник. На обеде он „случайно" встретил тайного советника Мантейфеля, впоследствии министра-президента. Они легко столковались между собою и дали обещание щадить друг друга в предстоящей борьбе аристократии с демократией. Позднее Гельд получил приглашение на чашку чая от одной высоко-аристократической дамы, госпожи фон-Гаке, при чем ему было сказано, что с ним желает познакомиться одна высокопоставленная особа женского пола. „Случайно" столкнулся он там с президентом реакционного союза пруссаков, господином фон-Каттэ. Госпожа Гаке описала происшествие некоему Дому, непримиримому врагу Гельда, и Дом немедленно предал гласности всю интригу. Вскоре после этого Гельд развил публично свой „великий план": назначить диктатора, разогнать парламенты, октроировать предложенную им конституцию и растворить Германию в Пруссии. Этим была уже ясно доказана справедливость всего того, что раньше говорилось о Гельде и что казалось особенно правдоподобным после разоблачений Дома и госпожи фон-Гаке, а именно, что он отдал себя на службу феодальным и реакционным элементам. Доверие народа исчезло как дым, и Гельд не мог уже более оказывать аристократии тех услуг, которых она от него ожидала. Утратив в нем нужду, реакционеры спокойно смотрели на его падение. Что касается рассказов Гельда о попытках подкупить его, которые будто бы часто делались, но которые он отверг, то справедливость всего этого не может быть проверена. Гельд пал, осыпанный насмешками; его освистывали со сцены, над ним издевались летучие листки [1]). Когда он впоследствии впал в нужду, он обратился, по его собственным словам, за поддержкой к Мантейфелю и получил всего 1.000 талеров и, наконец, еще 300, как „самый последний ультиматум" („Ultimatissimum"). От Отто фон-Бисмарка, в то время уполномоченного союзного сейма, он также получил, по собственному признанию, 450 талеров за литературные работы; этим с достаточной ясностью освещается политическая физиономия „берлинского Мирабо" [2]).

[1]) Когда в Берлин стали стягиваться войска, Гельд в одном плакате советовал народу запасать продовольствие. Некий доктор Копфельдт, издававший различные летучие листки под псевдонимом Буддельмейера, осмеял это предложение в стихах:

„Berlin, verproviantire dir,
Dein grosser Held hat Hunger!"
(„Берлин, запасайся продовольствием,
Твой великий Герой (Held—Гельд) проголодался!")

[2]) Наиболее были преданы Гельду машиностроительные рабочие; но после интриг с Гаке и они изгнали его из своего союза. Роберт Шпрингер так рассказывает об этом:

„Если доводилось видеть, как эти отважные и преданные рабочие теснились вокруг политического жонглера, как их дикий (!) глаз, выдерживавший яркий блеск плавильной печи, впивался в уста их апостола, то нельзя не выразить скорби, что эти бравые и пре данные люди были вынуждены отказать в своем доверии человеку, к которому они относились с полным доверием, и который во всякий момент мог бы послать их на смерть".

Сравнение Гельда с Мирабо удачно во многих отношениях: он напоминал его своим демагогическим талантом, своим вероломством и слабостью характера; сходство простирается вплоть до патетической фразеологии и громового голоса. Только в одном, в отсутствии политического гения, Гельд не был похож на славного и обесславленного француза.

Камарилья, или—что то же—„тайное министерство" Герлаха с товарищами, немало потрудилась за это время над выработкой планов спасения гибнущего отечества. Герлах уже 28-го июня написал королю письмо, в котором выражал свои сожаления по поводу того, что штурм арсенала не был использован для военного вмешательства. Он старался внушить королю убеждение, что суверенитет народа обозначает республику и что палата соглашения желает „низвергнуть трон" так называемым конституционным путем. Герлах негодовал на Радовица за то, что тот решил дожидаться нового восстания, чтобы приступить к решительным действиям. Если король, писал он, утвердит постановления национального собрания относительно народного вооружения, поземельной собственности и т. п., то ожидаемый Радовицем момент не наступит.

Радовиц предложил королю совсем иной план. Он рекомендовал поддерживать рабочих в их борьбе против буржуазии; даже „коммунистический" подоходный налог не останавливал Радовица. Он надеялся отнять у движения всю главную силу, отколоть от него рабочие массы. Король, по словам Герлаха, нашел эту мысль „вовсе уж не такой страшной". Мы видим, что Бисмарк лишь выдал копию за оригинал, когда с миной глубочайшей государственной мудрости величаво провещал свое „Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo" [„Если я не могу подчинить себе небожителей (т.-е. буржуазию), я приведу в движение ад" (т.-е. пролетариат)].

Король все еще не принимал никакого определенного решения, и Герлах вынужден был удовольствоваться наговорами на министров, которые, по его словам, „уже теперь дерзко и заносчиво нарушают существующий правовой порядок". Постоянное влияние в одном направлении, тонко рассчитанные нашептывания, не могли не оказать своего действия на короля; многие ядовитые замечания оставляли в его душе свое жало, и к тому времени, как палата соглашения приняла ряд постановлений, казавшихся королю недопустимыми, он уже был почти готов к предстоящему конфликту в том смысле, в каком этого желала камарилья.

Между тем палата соглашения продолжала свои работы. Что она не много сделала, в этом несправедливо было бы ее обвинять; ей приходилось обсуждать массу вопросов, кроме конституции. Реакционеры оспаривали у нее право заниматься чем-либо другим, кроме выработки конституции, демократы признавали за ней это право [1]). Строго говоря, как раз различные постановления собрания по „посторонним" вопросам имели наибольшее значе-

---

[1]) Даже „Vossische Zeitung" называет в своих отчетах палату „учредительным национальным собранием". Таким словесным самообманом либералы старались отделаться от тех сомнений, которые возбуждались в них принципом соглашения, признанным самим собранием.

ние. В вопросе о феодальных повинностях палата, правда, не обнаружила особенной решительности, но все же так или иначе покончила с ним. Крестьяне восточных провинций уже сами освободили себя от барщинных работ, но собрание не сочло возможным безвозмездно даровать всему крестьянскому населению свободу от средневековых повинностей; свобода была обусловлена тяжелыми обязательствами. Условия выкупа предполагалось, правда, облегчить. Но эти работы собрания не были завершены.

Для характеристики оппозиционного либерализма 1848 года чрезвычайно интересен один, сам по себе незначительный эпизод, разыгравшийся в новом Потсдамском дворце. На 30 июля король пригласил туда всех членов собрания, и почти все приняли это приглашение, не исключая и тех, которые в собрании выступали против двора и монархии во всеоружии трескучей демократической фразеологии. Быть приглашенными ко двору чрезвычайно льстило самолюбию этих парламентских выскочек, так высоко ставивших свое значение. Со станции Вильдпарк они отправились на лошадях через королевский парк и при этом были до такой степени покрыты пылью, что, поднявшись на ступени нового дворца, имели весьма жалкий вид, менее всего приличествующий посетителям двора. „Демократы были напудрены, как придворные времен Людовика XIV“ [1]). Так как придворные лакеи нимало не заботились о напудренных представителях народа, последние сами должны были почистить друг другу сюртуки,—лакеи лишь насмешливо наблюдали эту картину. Наконец депутаты были приглашены к королю, который и беседовал с ними около часа времени. „После трех-четырех часов пыли, жары и жажды“ им подали прохладительное питье, а затем надо было спешить опять на вокзал. „Каким бы незначительным ни казался этот факт на первый взгляд,—писал впоследствии Унру,—для проницательного наблюдателя он знаменовал собой очень многое“. Это несомненно; жаль только, что среди членов собрания было слишком мало проницательных наблюдателей. Они должны были бы понять, что прием во дворце, о котором они так много кричали, свидетельствовал о презрении к ним.

Когда обсуждался вопрос об отмене смертной казни, министр юстиции Меркер выступил с длинной речью против этого вида наказания. Отмена была принята значительным большинством. Если это обстоятельство дало камарилье повод выступить с новыми интригами против ненавистного ей „либерального“ министра, то, с другой стороны, оно не могло предотвратить неизбежного конфликта между министерством и собранием. Конфликт разразился, когда собрание приступило к обсуждению военных дел. Отношения обострились после того, как собрание ввело выборное начало при назначении офицеров ополчения, до капитана включительно; уже это постановление шло вразрез со всеми дворянско-прусскими традициями, и многие считали его осуществление равносильным полной гибели военной организации Пруссии. К этому присоединилось еще предложение Штейна.

[1]) Так описывают инцидент Петр Рейхеншпергер и фон-Унру, принимавшие в нем участие.

Последнее возникло следующим образом. В Швейднице господствовали в то время в высшей степени натянутые отношения между войском и гражданским ополчением. 31-го июля главноначальствующий генерал запретил гражданскому ополчению употреблять барабаны. Вечером того же дня кучка народа устроила генералу кошачий концерт, осыпая его окна камнями. Войско рассеяло толпу; одновременно с ним явилось гражданское ополчение, выполняя свои полицейские обязанности. Одна рота солдат дала залп по гражданским ополченцам, положивший на месте 14 человек. По некоторым источникам, раньше этого было сделано несколько выстрелов в войско. Гражданское ополчение, повидимому, не ответило на залп. Это событие, вызвавшее повсеместно страшное возбуждение, дало бреславльскому депутату Штейну повод выступить 9-го августа в палате соглашения с требованием, чтобы военный министр в особом циркуляре предписал офицерам держаться в стороне от реакционных стремлений; тем из офицеров, которые не согласны с новыми конституционными учреждениями, надо, по мнению оратора, дать понять, что долг их чести выйти в отставку. Обосновывая это предложение, Штейн заметил, что Пруссия может быть названа конституционным государством не ранее, чем все представители власти, а к числу их относятся и офицеры, станут приверженцами конституционных принципов. Само по себе это было верно, ошибочно со стороны Штейна было лишь приписывать своему предложению и прусскому собранию силу, необходимую для проектированных им перемен.

Собрание приняло предложение Штейна, но министр Шрекенштейн отнесся к этому постановлению как к пустой бумажонке и вовсе не думал выполнять его на деле. Только 4-го сентября министерство сочло нужным дать объяснение по этому поводу и заявило, что оно попросту не желает исполнять постановления. Легко было понять, что министерство заняло эту решительную позицию под прямым влиянием высших сфер, тем не менее левая приняла вызов. Штейн предложил заставить министерство выполнить постановление, и 7-го сентября палата приняла это предложение. Гражданское ополчение, насчитывавшее в своих рядах до 25.000 человек, через своего командира Римплера заявило президенту собрания Грабову, что оно рассматривает постановления собрания как выражение воли прусского народа и потому всеми средствами будет содействовать их осуществлению.

Второе предложение Штейна было принято большинством 219 голосов против 143.

Левая была положительно опьянена радостью победы и чувствовала себя так, как будто власть находилась уже в ее руках. „Народ и его представители единодушны; сохраним это единодушие, и мы можем презирать те пушки, которые расставлены перед воротами Берлина“, так вечером 7 сентября говорил перед народными массами граф Рейхенбах, крупный землевладелец Силезии, принадлежавший к левой.

С внешней стороны успех демократии также крайне импонировал; за моральной силой собрания стояла материальная сила гражданского ополче-

ния. И все же обе эти силы были недостаточны, чтобы удержать за собою позицию. Если в 1848 году кто-либо обнаружил свою „незрелость", то в первую голову отнюдь не народные массы, а либеральная буржуазия.

Конфликт поразил прежде всего „министерство дела"; господа Ауэрсвальд, Ганземан и компания вышли в отставку 11-го сентября.

Во дворце камарилья ликовала; она имела, наконец, перед собой желанное столкновение, которым можно было воспользоваться совершенно так же, как и революционным бунтом. Народное ополчение, повидимому, мало импонировало Герлаху с товарищами. Они хотели поставить во главе нового министерства энергичного генерала, который решился бы в случае надобности с оружием в руках разогнать собрание. Однако король придерживался на этот счет особого мнения. Сначала он сделал попытку поручить составление нового министерства Беккерату, поспешно прибывшему в это время из Франкфурта в Берлин, но вскоре оказалось, что от этого либерального фабриканта не многого добьешься, и пришлось действительно образовать министерство с генералом во главе. Но это еще не был генерал, способный к государственному перевороту, — пока это был только старик Пфуль. Он был назначен одновременно президентом и военным министром, Эйхман — министром внутренних дел, фон-Бонин—финансов, граф Дёнгоф взял на себя иностранные дела, Кискер—юстицию. Пфуль заявил в собрании, что он будет строго придерживаться конституционной программы и всеми силами противиться реакционным стремлениям как в гражданском управлении, так и в войске; но в то же время он намерен твердо подавлять всякие вспышки анархии и противозаконности. Он думал направлять тот поток, игрушкой которого был.

Предложение Штейна было выполнено Пфулем и таким образом конфликт временно устранен. Унру составил проект приказа офицерам, и Пфуль принял его; само-собой разумеется, господин фон-Унру так написал проект, что Пфуль мог его принять. Приказ, как и следовало ожидать, был совершенно безрезультатным.

Министерство Пфуля старалось держаться очень демократично, так что Герлах вначале казался совершенно убитым. До какой степени эта политика министерства была маской не представляет интереса расследовать, так как именно в это время выступил на сцену новый могущественный фактор, не дававший себе труда скрываться. „Пушки перед воротами", о которых говорил граф Рейхенбах, заняли, наконец, действительно угрожающую позицию. Вернувшийся из Шлезвиг-Голштинии генерал Врангель был назначен главнокомандующим Бранденбурга. Мера эта имела явно военный характер и не оставляла уже никакого сомнения, что войска подготовляются к борьбе против внутреннего врага. К Берлину было стянуто около 50.000 солдат и значительное число орудий. Однако „усмирение" не было возможности осуществить с такой быстротой, как это было бы желательно камарилье. 17-го сентября Врангель издал угрожающий приказ по армии и вступил в Берлин, где гражданское ополчение приняло своего будущего усмирителя с такой пышностью, что он, по его словам, чувствовал себя почти триумфато-

ром. В Берлине Врангель сказал речь, в которой заявил между прочим, что на него возложена обязанность употребить военную силу в случае нарушения порядка и законов, однако лишь тогда, когда силы гражданского ополчения окажутся недостаточными. Его задача — защищать свободу против анархии. Берлинские обыватели встретили эти слова громом одобрений, и генерал сказал: „Войска надежны, сабли остро отточены, пули наготове". После нового взрыва одобрений он продолжал: „В каком печальном состоянии вижу я вновь Берлин! Улицы поросли травою, дома обезлюдели, лавки полны товаров, но нет покупателей. Трудолюбивые граждане не находят работы, не имеют заработка; ремесленник впадает в нищету. Этому надо положить конец; анархия должна прекратиться, я обещаю вам это; Врангель еще никогда не нарушал своего слова".

Опять дикий рев ликования со стороны недальновидных филистеров! Однако в собрании тотчас же многие почувствовали серьезное беспокойство, выслушивая угрозы этого прямолинейного солдата. Кирхман запросил министерство, в каком смысле следует понимать заявление Врангеля. Пфуль ответил, что нельзя ставить всякое лыко в строку и что, кроме того, Врангель всегда находится в его, военного министра, распоряжении.

Через два дня Врангель отдал своим войскам приказ приготовиться к выступлению. Однако они пока еще не выступили. В руководящих сферах полагали, что благоприятное время для этого еще не настало.

Всякий проницательный человек должен был понять, что рука, которой предстояло нанести великий удар, уже занесена. Реакционеры видели, что гражданское ополчение, встретившее Врангеля триумфом и покрывшее его пресловутую речь криками ликования, не может представлять для них никакой опасности. А ведь поведение гражданской милиции отражало собой настроение большинства.

Собрание перешло к обсуждению проекта конституции. Оно было осуждено злым роком непрерывно наполнять бездонную бочку Данаид.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Ремесленники и рабочие.

Все, что волновало рабочий мир, что воспламеняло его к энергичной борьбе, встречало себе решительное сопротивление со стороны цеховых ремесленников. В 1848 году из всех классов германского общества старозаветные ремесленники и цеховые мастера менее всего понимали смысл современного им движения. В домартовские дни они, правда, часто возмущались действиями полиции и бюрократии, но когда пришла желанная свобода, они продолжали сохранять унаследованную узость взглядов и не могли перешагнуть за границы интересов своего маленького прихода. Они пытались даже воспользоваться революцией, чтобы оживить старые, давно уже отжившие свой век учреждения. Они демонстрировали против свободы промышленности, сущности которой не понимали, не будучи в состоянии заглянуть дальше своего носа.

В апреле 1848 года лейпцигские цеховые мастера обратились с открытым письмом к товарищам всей Германии, в котором убеждали последних твердо держаться за цеховое устройство, это незаменимое „сокровище". По их мнению, с уничтожением цеховых организаций, и семья, и домашнее хозяйство, и община, и государство,—одним словом, все общество должно неизбежно погибнуть. Они выступили также против избирательного права из опасения, что мастера будут побиты голосами своих подмастерьев, так что в конце концов подмастерья будут предписывать законы мастерам. Это комичное самомнение мастеров соединилось с тупой ненавистью против евреев. Мастера боялись, что эмансипация евреев создаст опасную для них конкуренцию, и были причастны ко всем еврейским погромам „безумного года".

Ко всему, непосредственно касавшемуся собственно их интересов, мастера были очень чутки, в этом нельзя им отказать. В комиссию пятидесяти во Франкфурте на Майне в апреле поступило ходатайство бременских столяров, в котором они просили комиссию внести в парламент предложение, чтобы он не решал ни одного касающегося ремесла вопроса, „не запросив предварительно совета самих ремесленников". Это было бы, конечно, очень разумно, если бы сами мастера доразвились до разумных воззрений.

Толчок, данный в Бремене, привел в движение всех ремесленников, и в результате 2 июня 1848 г. в Гамбурге состоялось „собрание делегатов

северо-германского ремесленного и промышленного сословия". Общий дух этого конгресса был настолько реакционным, что даже мартовская революция в Берлине изображалась, как следствие свободы промышленности. По предложению делегата Селенки из Брауншвейга было постановлено между прочим созвать на 14-е июля во Франкфурте на Майне конгресс всех немецких ремесленников. Комиссия, избранная для подготовки конгресса, обратилась к франкфуртскому парламенту с адресом следующего содержания:

„1) Мы высказываемся с величайшей решительностью против свободы промышленности и требуем, чтобы эта свобода, поскольку она существует в Германии, была отменена особым параграфом имперских законов. 2) Мы объявляем себя достойными и способными самостоятельно управлять своими делами, а потому нам же должно быть предоставлено решение социального вопроса. 3) Мы доводим до сведения высокого парламента, что на основании общего закона о собраниях мы созываем на 15 июля сего года собрание представителей ремесленного и промышленного сословия всего отечества с тем, чтобы выработать проект всеобщего ремесленного и промышленного устава и затем представить его на усмотрение высокого парламента".

Во Франкфурте на Майне собралось 166 делегатов, пожелавших „разрешить социальный вопрос". Среди них находились десять подмастерьев, но господа мастера сочли несовместным со своим достоинством заседать вместе с подмастерьями и не допустили последних на заседание конгресса. Делегаты-подмастерья были приглашены отправиться домой и там ожидать окончания дела: мастера сами сумеют позаботиться об интересах подмастерьев. Однако подмастерья не были так глупы, чтобы подчиниться притязаниям цеховых мастеров: они решили созвать во Франкфурте особый конгресс подмастерьев. Это было, конечно, очень неприятно мастерам, рассчитывавшим без всякой помехи забрать в свои руки „решение социального вопроса". Поэтому мастера предложили подмастерьям принять участие в конгрессе, но не с решающим, а лишь с совещательным голосом; предполагалось кроме того образовать из мастеров особую комиссию для исследования нужд подмастерьев, при чем в эту комиссию должны были войти и подмастерья с правом решающего голоса. В обмен на эти уступки подмастерья должны были отказаться от собственного конгресса. Но подмастерья отклонили это предложение, и таким образом на ряду с конгрессом мастеров заседал конгресс подмастерьев.

Мастера корчили из себя важных особ и присвоивали себе право полновластно разрешить вопросы, составлявшие программу конгресса. Комитет конгресса заседал совместно с народно-хозяйственной комиссией парламента, но это не привело ни к каким результатам, так как цеховые мастера упорно настаивали на отмене свободы промышленности, на что, разумеется, не могла согласиться народно-хозяйственная комиссия. На постановления конгресса оказал большое влияние один литератор, по имени Винкельблех (псевдоним Карл Марло), решительный противник новейшего капитализма. Взгляды его

представляли смесь, составленную из кусочков социалистического и цехового мировоззрения. Он был противником свободы промышленности, не понимая, что только она и может разрушить оковы старого карликового производства и подготовить почву для крупной промышленности, соответствующей потребностям современного общества. Он хотел учреждения „социальной камеры“, которая была бы составлена из представителей всех профессий и выработала бы социальное законодательство, обеспечивающее каждому члену общества заработок, сообразный с его рабочей силой. Винкельблех хотел спасти мир от „коммунизма“ при помощи своей социальной теории, в которой значительную роль играли религиозно-национальные элементы; он проектировал новое социальное устройство, построенное на союзе цеховых организаций, с обще-германской промышленной палатой во главе, законодательно регулирующей всю промышленность и заседающей одновременно с имперским парламентом. Таким образом рассчитывал он спасти ремесло [1]). Вылазки против капитала сделали Винкельбреха мишенью резких нападок, и либеральная пресса не иначе называла его, как агентом Англии.

Постановления конгресса ремесленников были враждебны в одно и то же время и крупному капитализму и пролетариату; они носили ясную печать влияния Винкельблеха. Выставлено было требование сделать цеховую организацию обязательной, запретить разносчикам торговать предметами ремесленного производства, не допускать государственных коммунальных мастерских. Фабрики предлагалось обложить особым налогом и предоставить ремесленному сословию исключительное право торговли своими произведениями. Особенно подчеркивалась желательность высоких таможенных тарифов, вывозных премий для немецких товаров и покровительствующих отечественному производству торговых договоров; равным образом настойчиво указывалось на необходимость организовать представительство цехов в специальных палатах и проектированную Винкельблехом всеобщую германскую ремесленную палату. Наконец в списках пожеланий господ цеховых мастеров находились бесплатные и улучшенные народные школы, профессиональные ремесленные училища, кассы для вспомоществования, банки мелкого кредита и „целесообразное законодательное регулирование кредита“.

Народно-хозяйственная комиссия парламента отвергла эти требования, как реакционные, и несомненно была вполне права. В самом деле, неужели же можно было питать смешную иллюзию снова заковать производство в средневековые цепи цехового устройства [2]). Мещанство ремесленного конгресса представляло мелко-буржуазный элемент, враждебный всякому решительному прогрессу, всякому истинно освободительному движению.

---

[1]) Материал по истории ремесленных и рабочих стремлений той эпохи рассеян в разных местах и может быть собран только с трудом. В „Neue Zeit“ (III. Jahrg., 1885) имеются, напр., три обстоятельных статьи Г. Шлютера: „К социальной истории 1848 года“. В них хорошо изложены между прочим и теории Винкельблеха.

[2]) Но и в настоящее время от этой иллюзии еще не вполне освободились некоторые консервативные и клерикальные туманные головы.

Ограниченные фанатики цехов захлопывали дверь перед носом рабочих с тем трепетом и с тою жестокостью, которые всегда пробуждаются в этих прекрасных душах, когда им кажется, что их собственность или их „сословные интересы" находятся в опасности.

Рейнско-вестфальский ремесленный союз и „союз для защиты отечественного труда" действовали совершенно в том же направлении, как и франкфуртский конгресс ремесленников; они требовали главным образом высоких покровительственных пошлин.

Мелкое ремесло, которым в то время существовали гораздо более значительные массы чем теперь, создавало атмосферу, препятствовавшую рабочим ясно понять свое социальное положение. Впрочем, все стремления цеховых мастеров остались безрезультатными. Если бы даже их предложения и были приняты, это мало изменило бы положение дел. Социально-экономического развития нельзя устранить декретами, и мощная конкуренция крупного капитала быстро разрушила бы те искусственные и слабые загородки, которые мечтал воздвигнуть Винкельблех с товарищами.

Лишь там, где фабричное производство уже создало обширные кадры пролетариата рабочий класс пытался организоваться и эмансипироваться. Однако он не имел еще за собой никакого опыта и естественно обнаруживал зачастую самую печальную незрелость.

Произошло значительное число отдельных вспышек и беспорядков, много было крика и шума, но почти все выставленные рабочими требования были пригодны лишь к тому, чтобы удовлетворить наиболее настоятельные потребности минуты. Если исключить рейнское движение, в основе которого лежал научный социализм, мы нигде не найдем сколько-нибудь продуманной теории относительно задач, стоящих перед современным обществом и государством.

„Новая Рейнская Газета" посвящала не мало сил распространению социально-экономических знаний и освещению великого процесса современного общественного развития. Незадолго до гибели этой газеты в борьбе с реакцией Маркс попытался дать там популярный трактат об отношениях наемного труда и капитала [1]). Однако эти попытки прошли незамеченными в окружающем злободневном шуме, и рабочие попрежнему позволяли одурачивать себя разными звучными лозунгами в роде „право на труд", „организация труда", „министерства труда" и т. п. Цеховые мастера старались вогнать современный рабочий класс в старые средневековые рамки, а утописты с своей стороны полагали, что их час настал. Вейтлинг, повидимому, верил, что революция открыла перед человечеством двери рая. В июле 1848 года он появился в Берлине и стал издавать там еженедельный листок „Избиратель", который, впрочем, скоро прекратился за недостатком подписчиков. В октябре он принял участие в берлинском демократическом конгрессе, но не имел там успеха. Высланный из Берлина, Вейтлинг направился в Гамбург и Альтону, где положил начало секциям основанного им в Северной Америке

---

[1]) Эта статья („Наемный труд и капитал") представляет новую переработку лекций, прочитанных Марксом в 1847 году в брюссельском рабочем союзе.

„союза освобождения“. Полиция выгнала его и оттуда, и он снова направился в Северную Америку [1]).

Рейнские пионеры научного социализма совершенно иначе смотрели на современное им движение; они видели в нем борьбу новейшего буржуазного общества против феодализма и бюрократизма. Они участвовали в этой борьбе, быть может, более энергично, чем сами буржуа, так как понимали, что дорога к „социальной гармонии“ ведет современное буржуазное общество. Поэтому члены союза коммунистов [2]), отбросив всякие заговорщицкие приемы, везде принимали участие в демократической борьбе: в Берлине, в Бреславле, в Нассау, в Гессене и т. д. Противоречия между ними и чисто буржуазной демократией нередко проявлялись очень ярко, тем не менее они делали все для того, чтобы побудить пролетариат к участию в великой борьбе.

Захваченные общим движением рабочие там, где они сосредоточивались в значительном числе, пытались организоваться для защиты своих интересов. Мещанство, не признававшее за ними этого права, высмеивало их „притязания“. В Лейпциге это вызвало один совершенно неожиданный инцидент. Там объединились почти все профессии: каменщики, плотники, сапожники, портные, типографщики, рабочие табачных фабрик и др.; члены союза часто устраивали собрания для обсуждения своих дел. Как вдруг в „Leipziger Tageblatt появилось объявление, назначавшее на Вербное воскресенье собрание служанок. Буржуа рассчитывали таким образом высмеять стремление рабочих, но дело получило неожиданный для них оборот. На приглашение откликнулись 300 служанок и три из них произнесли речи. Они обрисовали крайне тяжелое положение прислуги, особенно нянек. Последние должны до 10 часов вечера ходить за детьми, а потом им приходится еще стирать белье; между пятью часами утра и обедом многие из них вынуждены довольствоваться одним маленьким бутербродом и т. п. Никакого постановления собрание не приняло; однако „шутка“ не удалась: лейпцигские буржуа не

---

[1]) Небезынтересно будет привести здесь некоторые данные, показывающие, как относились друг к другу Карл Маркс, представитель научного, и Вейтлинг, представитель утопического социализма. Карл Маркс писал в 1844 г.: „Найдется ли у немецкой буржуазии—причисляя к ней всех ее философов и писателей—труд, подобный вейтлинговским „Гарантиям гармонии и свободы“, т.-е. труд, в котором с такой же силой говорилось бы об эмансипации буржуазии? Сравните мелочно-трезвую посредственность германской политической литературы с этим грандиозным и блестящим дебютом немецкого рабочего; сравните гигантские шаги новорожденного пролетариата с жалкими политическими шагами карлика-буржуазии, и вы не удержитесь от пророчества, что этот замарашка-ребенок со временем превратится в могучего атлета“. Вейтлинг менее беспристрастно отзывался о Марксе: „Голова Маркса мне представляется лишь хорошей энциклопедией но я не нахожу в ней гения“. Вейтлинг вообще отличался крайним самомнением. В 1869 году он писал Шиллингу: „Мне необходим издатель для моей астрономии, наиболее ценной книги из всех, которые когда-либо появлялись и когда-либо появятся в мире“.

[2]) Коммунисты—опять-таки, как упоминалось уже выше, в противоположность буржуазным социалистам.

нашли ничего остроумного в том, что их публично обрисовали в таком свете.

Типографщики первые попытались устроить широкую профессиональную организацию. Между 11 и 14 июня они собрали конгресс в Майнце и там основали национальный союз типографщиков имени Гутенберга. Надежды свои они возлагали прежде всего на франкфуртский парламент и обратились к нему с ходатайством учредить выборное министерство труда, наполовину из представителей работодателей, наполовину из рабочих; далее они просили ограничения машинной работы, „поскольку последняя, обогащая отдельных лиц, не приносит пользы всему обществу и не может даже предотвратить заграничной конкуренции“; наконец, ходатайство требовало надзора за ученичеством, учреждение с помощью государства инвалидных, похоронных, вдовьих касс, касс для помощи больным, отмены исключительных законов, ограничивавших для рабочих свободу передвижения и оседлости, и воспрещения полиции произвольно высылать „агитаторов“ среди рабочих.

Эти требования, вообще говоря, вполне соответствовали окружающим условиям. Что касается специально ограничения машинного производства, то в этом требовании типографщики выразили лишь то, что особенно угнетало их в данный момент; несомненно однако, что подобные требования обнаруживают непонимание сущности капиталистического хозяйства и неразрывно связанного с ним современного промышленного развития. Здесь сказывается влияние цеховых взглядов. В Любеке последнее было еще сильнее. Когда тамошняя буржуазия высказалась за всеобщее избирательное право, цеховые мастера постарались убедить рабочих, что всеобщая подача голосов равносильна свободе промышленности и приведет их к гибели. Одураченные рабочие требовали сословных выборов и даже подвергли осаде собрание буржуа, оказали сопротивление гражданскому ополчению и вызвали в конце концов занятие города ольденбургскими войсками. В настоящее время ни один рабочий—по крайней мере ни один городской рабочий—не даст провести себя так грубо.

Упомянутый уже нами конгресс ремесленных подмастерьев, заседавший во Франкфурте рядом с конгрессом мастеров, был довольно многочисленным. Рабочим не было никакой возможности договориться с комиссией о подмастерьях, назначенной мастерами, хотя в отдельных случаях мастера, повидимому, действительно желали принять во внимание желания подмастерьев. В общем комиссия отличалась обычным для мастеров непримиримым своекорыстием и самомнением [1]).

Члены конгресса подмастерьев были очень несведущие люди; в значительной мере они подражали тому, что делали мастера, и поддались влиянию Винкельблеха.

---

[1]) Когда подмастерья внесли в комиссию предложение, чтобы на будущее время мастера не имели права держать более двух учеников, это возбудило величайшее „негодование“. Добрые мастера, конечно, отнюдь не хотели ограничения своего права эксплоатировать учеников.

Они также хотели разработать „промысловый устав“. Но так как конгресс мастеров успел раньше их представить свой проект в народно-хозяйственную комиссию парламента, то конгресс подмастерьев ограничился выработкой памятной записки к проекту мастеров.

Замечательно, что в существенных пунктах конгресс подмастерьев согласился с мастерами, - доказательство, насколько мало понимали рабочие того времени свое социальное положение и вытекающие из него интересы. Не менее решительно, чем мастера, протестовали они против свободы промышленности. Винкельблех старался убедить подмастерьев, что все их интересы вполне тождественны с интересами мастеров; однако это не вполне ему удалось. Рабочие выступали против рабочих книжек и обложения фабрик специальным налогом, но зато они вполне присоединились к требованию обязательной цеховой организации, охранительных пошлин и ограничения браков. „Человек, основывающий новую семью, должен доказать, что он может прокормить ее“, наивно заявили подмастерья, упустив из виду, что подобного рода доказательства создали бы только совершенно невозможную волокиту в чисто средневековом духе. Они требовали, кроме того, „права на труд“, с чем были согласны и мастера, и десятичасового рабочего дня.

Гораздо больше значения, чем эти проекты, имела попытка создать организацию. Потратив время на пустые разговоры об „общегерманской рабочей кокарде“, ремесленники назначили центральное правление. Оно состояло из типографщика Франца, столяра Мюллера и столяра Линке. Было издано воззвание, приглашавшее рабочих образовать всеобщий рабочий союз, который ограничил бы свою деятельность разрешением социального вопроса, касаясь политики лишь в тех случаях, когда она непосредственно соприкасается с „интересами сословия“. Этим, очевидно, хотели удержать союз в стороне от партийных раздоров. В основу организации предполагалось положить местные союзы, соединяющиеся в окружные, из которых, наконец, составляется всеобщий союз. 26 городов были избраны как местопребывание окружных союзов, Франкфурт на Майне предполагалось сделать местом заседаний центрального правления. Взносы были определены в 1 крейцер, и членом мог быть всякий, „ставящий своей задачей поднятие рабочего класса и восстановление среднего сословия“. Второе воззвание приглашало союз установить общее для всех его подразделений знамя [1]).

В парламент рабочий конгресс послал свою программу, в которой требовалось учреждения „социальной палаты“ и восстановления цехового устройства. Конгресс закрылся 20-го сентября, назначив комиссию для выработки „социальной конституции“ и „всеобщего германского промышленного устава“.

*) Воззвание это гласило: „Соединимся под знаменем надежды. Зелено его поле и украшено золотыми символами; дубовый венок обозначает, что федерация выросла на германской почве; восходящее солнце—что она—свет будущего; сомкнутые руки—что только наш братский союз дает ему силу и бытие, а буквы A. D. F. V.—что мы уже образовали Всеобщий Германский Союз Федералистов“.

Стоит отметить, что в эту комиссию попал между прочим Винкельблех. Комиссия создала общий орган союза „Всеобщую германскую рабочую газету“, издававшуюся во Франкфурте, не имевшую, однако, особенного успеха.

Ремесленные подмастерья были вполне проникнуты мелко-буржуазными взглядами и шли на помочах у мастеров. Подобно мастерам, они хотели решить социальный вопрос, освободить Германию от „пролетариата“, не сознавая, что сами они были пролетариями. Настроение мастеров слегка заражало их, так как многие из них могли надеяться со временем стать мастерами.

Почти везде рабочий класс употребляли как таран в борьбе против свободы промышленности, и в то же время, особенно после июньской битвы в Париже, его на-ряду с другими классами удалось привести в трепет перед красным призраком. Последнее доказывается, например, адресом мюнхенского рабочего союза самообразования, поданным тамошнему магистрату [1]).

В Берлине 18-го июня, следовательно, тотчас же после штурма арсенала, также собрался конгресс ремесленников, не приведший ни к какому определенному результату. Семь делегатов его созвали в Берлин на 23 с августа 1848 года рабочий конгресс. К участию в последнем были приглашены все рабочие, ремесленные и образовательные союзы Германии, а равным образом немецкие союзы в Швейцарии, Париже, Брюсселе и Лондоне. В приглашении указывалось, что до сих пор все конгрессы рассматривали рабочий вопрос слишком поверхностно. Необходимо поэтому, чтобы „возможно лучше организованное“ собрание представителей трудящихся классов взяло дело последних в свои руки и достигло соглашения по всем важнейшим пунктам, „касающимся освобождения рабочих от цепей капитала, личной зависимости и материальной нужды“. Проектированный рабочий парламент должен был создать социальную „народную хартию“, „которую миллионы подавленных и эксплоатируемых ничтожной кучкой должны постараться сделать законом страны, объединившись в тесный братский союз и приложивши к достижению этого все свои силы“.

Мы видим, что здесь выступает на сцену гораздо более решительное течение, чем то, которое было представлено конгрессом подмастерьев во Франкфурте на Майне. Направление это называло себя социальной демократией; его вождями были Стефан Борн и Несс фон-Эзенбек. Борн пошел по дорожке, протоптанной Луи Бланом. В „народной хартии“ он предполагал поместить следующие пункты: „гарантия труда“ и государственная поддержка самостоятельных промышленных ассоциаций рабочих; государственное призрение всех неспособных к труду; ограничение рабочего времени; высокий прогрессивный подоходный налог; даровое обучение и даровые суды; учреждение свободно избираемого министерства труда.

---

[1]) Точное содержание адреса дано в книге Бернгарда Беккера. (стр. 53). В этой работе имеется богатый материал, который мы использовали во многих случаях.

Конгресс состоял из 40 делегатов, явившихся из всех крупных городов Германии; от франкфуртского конгресса подмастерьев также был послан один представитель. Председательствовал Христиан-Готфрид Неес фон-Эзенбек, состоявший, как было уже упомянуто, членом прусской палаты соглашения; сюда он явился в качестве представителя бреславльского рабочего союза. Этот знаменитый ботаник и естествоиспытатель всегда особенно близко принимал к сердцу дело рабочих. Тотчас же после мартовского восстания он опубликовал статью, в которой рекомендовал учреждение министерства труда и организованные государством производительные товарищества. Он был филантропом в самом благородном значении этого слова и социалистом, хотя еще и не достигшим ясности научного социализма [1]). Вице-президентом был назначен Борн, стяжавший себе громкую известность в качестве руководителя центрального комитета рабочих в Берлине.

Рабочий конгресс создал прежде всего организацию немецких рабочих, при помощи которой он надеялся устранить их разрозненность и сплотить в крупную силу. В 26 городах предполагалось образовать местные комитеты, поручив им основывать филиальные отделения, вести текущие дела, созывать собрания и т. п.; над местными комитетами по проекту должны были стоять окружные, а управление целым сосредоточиваться в центральном комитете, заседающем в Лейпциге.

До сих пор постановления довольно практичны, но в дальнейшем конгресс погружается в непроглядный туман чистейшей утопии. Местные комитеты он хотел устроить таким образом, чтобы при помощи их рабочие данного города соединялись не только в профессиональные союзы, но и в одну общую „свободную ассоциацию"; местные комитеты должны были также организовать бюро труда, прибегая в случае необходимости к помощи государства или коммуны. Им же предоставлялось устанавливать минимум заработной платы, получать заработок от предпринимателя и выдавать его рабочим. Но вершин утопизма достиг конгресс с своим „кредитным банком" или кассой ассоциаций, напоминающей соответственный проект чартистов и, вероятно, заимствованной у них. Средства кассы должны были составляться путем вычетов из заработной платы примкнувших к ассоциациям рабочих, при чем местным комитетам предполагалось предоставить право определять размеры этих вычетов, не свыше однако 10% всего заработка. Конгресс надеялся, присоединяя проценты к добытому таким образом капиталу, в течение 10 лет накопить необходимый для ведения дела фонд. По проекту функции и организация кассы определяются следующим образом. Каждый

¹) Неес фон-Эзенбеку в то время было уже 72 года. Он пережил время великой французской революции и впитал в себя ее идеи братства и равенства. Его радикализм был настолько ярок, что даже известность первоклассного ученого не спасла его от преследований. Человек, которого в 1817 г. венская академия естествоиспытателей избрала своим президентом, был в 1849 изгнан из Берлина, в 1851 устранен от своей должности профессора естественных наук в Бреславле и в 1852 году формально лишен ее на основании судебного приговора. Он до конца остался верен своим убеждениям и в 1858 г. умер в Бреславле в нищете, на 82 году своей жизни.

член становится участником в прибылях ассоциации соответственно размерам своего вклада. Члены могут получать из кассы беспроцентные ссуды на четыре недели; когда нет ничего другого, обеспечением может служить просто рабочая сила. Деньги ассоциаций вкладываются в дома и земли, при чем последние раздаются мелкими участками членам, уплачивающим следующие с них суммы по частям из дохода с участков. Все это было очень тщательно определено в „регламентах", особенно правила о выдаче заработной платы и вычетах из нее, лежавших на обязанности каждого местного комитета.

Сюда присоединили еще целый ряд других требований, как, например, признание прав рабочих комитетов государством, доставление производительным ассоциациям машин на государственный счет, установление нормального десятичасового рабочего дня и т. п. Дурные и хорошие, практичные и утопичные, трезвые и фантастические предложения были смешаны здесь в одну кучу.

И этот конгресс обратился к франкфуртскому парламенту за осуществлением своих требований, в числе которых между прочим значилось созвание на государственный счет свободно избранного „конгресса сведущих людей для представительства интересов всех немецких промыслов". Франкфуртскому парламенту рекомендовалось включить требование берлинского рабочего конгресса в основные законы, т.-е. в имперскую конституцию. Ходатайство к парламенту сопровождалось длинной запиской, в которой конгресс излагал свои взгляды на государство и общество, на труд и капитал. [1]).

Франкфуртский парламент в общем отнесся отрицательно к предложениям рабочих. Он даровал, правда, рабочим избирательное право, начиная с 25-летнего возраста, в остальном же у него были для них лишь прекрасные слова и никакого дела; это, впрочем, характерно для него и во многих других случаях. Слова, которые он посвящал рабочим, были порой действительно очень хороши. Так, например, известный экономист, профессор Бруно Гильдебранд из Марбурга, сказал во франкфуртском парламенте (17-го февраля 1849 г.) следующее: „Подобно тому, как в природе все великое вырастает снизу, из земли, точно так же в истории человеческой каждое крупное движение, каждый крупный прогресс цивилизации исходит от массы народной. Эти, обдаваемые презрением „низшие" слои общества являются таинственной мастерской человеческого духа. Здесь рождаются гении и великие реформаторы, здесь создается всемирная история; всякая цивилизация, не воспринимающая новой пищи из этих слоев, стынет и отмирает".

8 февраля 1849 года франкфуртский парламент обсуждал § 173 имперской конституции; параграф этот гласил:

---

[1]) Сопроводительная записка отпечатана в уже упомянутой статье „К социальной истории 1848 года".

„Обложение (государственными и коммунальными налогами) должно быть организовано так, чтобы положить конец всяким привилегиям отдельных сословий и отдельных имений".

Левая, требуя упорядочения помощи бедным, попыталась вместе с этим пунктом провести в имперскую конституцию „и право на труд". Симон из Трира, Пауэрк из Берлина и Россмеслер из Таранда внесли соответственные предложения. Кирульф из Ростока и Вуттке [1]) из Лейпцига требовали отклонения всех этих предложений и принятия параграфа в том самом виде, в каком он был выработан комиссией. После длинных и интересных дебатов последний был действительно принят большинством 317 против 114 голосов [2]). Храбрые парламентарии отступили перед „правом на труд", за которым им мерещился призрак ужасного „коммунизма".

Наиболее важным результатом берлинского рабочего конгресса был тот факт, что он положил начало способной к развитию рабочей организации. Комитет франкфуртского конгресса подмастерьев получил предложение послать своего делегата в лейпцигский центральный комитет,—одним словом, были употреблены все усилия, чтобы соединить в одно обе рабочие организации.

Центральный комитет состоял из Борна (Берлин), Швеннингера (Гамм) и Кика (Лейпциг). Борн прекратил свою берлинскую рабочую газету „Народ" и, переселившись в Лейпциг, стал издавать орган новой рабочей ассоциации „Братство", первый номер которого вышел 3 октября 1848 года. Впоследствии, когда Борн был вынужден бежать, эта газета редактировалась Швеннингером.

Центральный комитет „Братства рабочих", как стали называть новую организацию, был очень деятелен и не без успеха пытался приобрести влияние среди рабочих масс. В феврале 1849 года имели место тюрингенский и гамбургский рабочие конгрессы, при чем на последнем председательствовал Швеннингер. На гамбургском конгрессе, имевшем особенно крупное значение, было между прочим предложено устроить общественные столовые и организовать союзы в деревне. В апреле 1849 года заседал баварский рабочий конгресс в Нюренберге под председательством Борна. Конгресс требовал народных библиотек, общедоступных образовательных курсов и всеобщего избирательного права для всех, достигших 21 года; в общем представители баварских рабочих вполне присоединились к лейпцигскому центральному комитету.

В июне 1849 года, согласно постановлению центрального комитета в Лейпциге должен был собраться конгресс всех германских рабочих союзов. Движение мало-по-малу определялось и возможно, что при благоприятных обстоятельствах ему удалось бы в конце концов выработать вполне ясную

---

[1]) Как известно, в позднейшее время Генрих Вуттке открыто соглашался с Лассалем.

[2]) Автор подробно изложил эти дебаты в 1883 г.

и отчетливую программу. О последнем особенно старалась рейнская группа. Кельнский комитет, в котором находились Карл Маркс, Карл Шаппер и Вильгельм Вольф, созвал на 6 мая 1849 года провинциальный конгресс, на котором предполагалось вновь организовать рабочие союзы рейнско-вестфальской области, избрать делегатов на лейпцигский конгресс и снабдить их точно установленными и обстоятельно мотивированными предложениями.

Конгресс этот несомненно привлек бы к себе массу рабочих. Но он уже не мог состояться.

Восстания на Рейне, в Дрездене, в Пфальце и Бадене совершенно изменили внешние условия; большинство вождей движения должно было покинуть родину, многие попали в тюрьму, другие нашли себе смерть на поле битвы. Когда восстания были подавлены, всякое самостоятельное движение подавлялось без малейшего колебания. „Братство рабочих" продержалось до 1850 года, некоторые его филиальные отделения, казавшиеся правительствам менее опасными, еще долее. Но мало-по-малу все это было поглощено реакцией. В то время, как французский пролетариат после июньских дней с постоянством, достойным лучшей участи, пытался вести борьбу с подавляющей силой капитала и с этой целью, занимался экспериментами с производительными ассоциациями, основанными на самопомощи, в Германии все оставалось неподвижным; только в 1852 году пресловутый процесс коммунистов напомнил о том, что в Германии еще оставались люди, помышлявшие об освобождении пролетариата. Если им не удалось бежать во-время, они на долгие годы были запрятаны за тюремные стены [1]).

В настоящее время трудно сказать с уверенностью, насколько было возможно создание в 1848 году самостоятельной рабочей партии. Во всяком случае эта возможность не вполне исключалась. И если только удалось создать хотя бы только зачатки организации, тем самым, может быть, было бы предотвращено возвращение рабочих к полной несамостоятельности и использование их буржуазным либерализмом в качестве своего придатка. Несамостоятельность рабочей массы была настолько велика, что даже Лассаль при всей его энергии сомневался сначала в возможности организовать независимую рабочую партию. Лишь значительно позже несамостоятельность эта исчезла, чему больше всего содействовало, конечно, само капиталистическое развитие.

---

[1]) Среди наиболее известных обвиняемых в этом процессе были, кроме Фрейлиграта, Генрих Бюргерс, впоследствии депутат прогрессистской партии, и известный „красный Беккер", позднее обер-бургомистр Кельна и член палаты господ. Чтобы прикрыть измену своим убеждениям, оба впоследствии уверяли, будто они пострадали невинно. О махинациях Штибера в этом процессе см. работу Карла Маркса: „Разоблачения о процессе коммунистов в Кельне".

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Восстание во Франкфурте на Майне.

Франкфуртский парламент делал все, чтобы лишить себя доверия народа. Бесконечные и утомительные дебаты об основных законах прерывались шумными сценами, в которых колеблющиеся элементы обнаруживали все большую ограниченность, в то время как реакционеры становились все более и более наглыми. Собрание покончило с польским вопросом, одобрив просто-напросто все, что Пруссия делала в Позвани; точно так же оно стало на сторону Австрии в борьбе последней против итальянского восстания. Во время польских дебатов господин Вильгельм Иордан успешно достиг своими речами должности „флотского советника“; с другой стороны, Арнольд Руге сравнивал фельдмаршала Радецкого с Тилли и открыто выражал желание, чтобы он был разбит [1]). Это, разумеется, подняло в заседании целую бурю. Но еще больше шума возбудило обсуждение вопроса об амнистии для политических преступников Бадена. Собрание, только что отменившее смертную казнь, оказалось неумолимо строгим по отношению к участникам геккеровского и гервегского похода. Когда Брентано из Бруксаля, друг Геккера, высказавшись за амнистию, позволил себе напасть на принца Прусского, на правой поднялась буря: несколько дворянчиков окружили Брентано, осыпая его ругательствами, а один даже угрожал пистолетом. Вице-президент Суарон закрыл заседание [2]). На следующий день беспорядок продолжался, и в конце концов галлереи были очищены от публики. Амнистия была отвергнута всеми против 90 голосов, а избрание Геккера в Тингене объявлено недействительным всеми против 116 голосов.

Народное движение, особенно в южной, западной и средней Германии, временами еще проявлялось то там, то здесь в резких вспышках, и это пугало филистеров собрания, вместо того, чтобы внушить им больше уверенности на том новом пути, на который они ступили. Трусы боялись быть проглоченными тем движением, благодаря которому они имели свои мандаты.

[1]) Сравнения с Тилли Радецкий, впрочем, не заслуживал.

[2]) Этот инцидент подал повод к следующей карикатуре: Суарон в виде лягушки влезает на трибуну; подпись внизу гласит: „если она влезла наверх—жди бури“.

Особенный ужас они испытывали перед республиканскими стремлениями, хотя и в то время уже нетрудно было заметить, что республиканцы составляют не особенно значительное меньшинство всего населения Германии. Республиканские вспышки обнаружились с особенной силой в маленьких государствах, где имелась грубая аристократия, и где крестьяне сильно страдали от феодальных тягостей и охотничьих привилегий благородных господ.

Многие из этих маленьких восстаний (летом 1848 г.) были совершенно невинны по своим результатам, хотя и сопровождались большим шумом. Так, например, было в Альтенбурге, где правительство приняло против народного движения суровые меры и призвало военную силу. Когда демократия потребовала удаления войск, а правительство ответило попыткой арестовать всех известных демократов, народ ударил в набат, и Альтенбург покрылся баррикадами [1]). Все гражданское ополчение вместе с городскими и сельским обывателями готово было бороться против правительства; по рассказам, около 12.000 вооруженных людей стеклись в город. Явились саксонские войска, и борьба казалась неизбежной, но тогда выступили посредники. Правительство уступило, войска были отозваны, и Круцигер, один из вождей демократии, был принят в состав министерства. Другие вожди ее, Эрбе и доктор Адольф Дуэ, должны были впоследствии удалиться за границу [2]).

Не так мирно закончилось дело в Гере, где крестьяне были возмущены арестом Краузе, члена сельско-хозяйственного совета. Крестьяне, чтившие в этом человеке защитника своих прав, массами явились в город и освободили Краузе, что, конечно, не обошлось без кровопролитных столкновений. Эти события послужили источником дальнейших беспорядков, хотя центральное правительство послало саксонского министра Оберлендера в качестве посредника и он добился амнистии. Рабочий вопрос здесь также играл некоторую роль. Значительное число рабочих было занято на государственный счет дорожными работами. Мещане были, как и везде, возмущены этой „государственной помощью“ и рабочим приписывали массу всяких безобразий. Насколько все эти рассказы были верны, теперь нет возможности установить. Всегда трепещущие при таких обстоятельствах капиталисты угрожали выселением, и правительство воспользовалось случаем, чтобы призвать в страну чужие войска, что было одобрено и Оберлендером. Явились сначала саксонские, а потом и ганноверские войска. Последние вели себя крайне грубо и пользовались всяким удобным случаем, чтобы насильничать над населением Геры. До марта 1849 года эта маленькая страна была занята имперскими войсками, содержание которых она принуждена была уплачивать из своих средств.

---

[1]) Основанием главной баррикады послужила богатая карета гофмаршала Мюнхгаузена.

[2]) Дуэ впоследствии получил известность в Северной Америке, как замечательный педагог и один из выдающихся членов социал-демократической партии.

Иной исход имело движение в карликовом государстве Рейсс-Лобенштейн-Эберсдорф, где правил Генрих LXXII, приключения которого с Лолой Монтес были уже упомянуты выше. В марте 1848 года он обещал много реформ, но не провел пока ни одной. Народ обнаружил нетерпение и под предводительством учителя Тиме [1]) до такой степени напугал своего князя петицией натиска, что он отказался от престола. В своей прощальной прокламации он следующим образом объясняет причины, заставившие его уйти. „Прежде всего полнейшая неспособность и слабость гражданских властей, позволивших взойти семенам преступной агитации, которая затем, конечно, широко разрослась и заразила собою все. Разработанная мною до мельчайших подробностей система обороны осталась без применения. Мое дальнейшее пребывание становится немыслимым, так как я не хочу властвовать наполовину и так как вообще, раз Германия желает стать единой, существование мелких государей более невозможно. Мое решение сложить с себя дела правления тем более непоколебимо, что бесстыдная петиция натиска в Гере обесчестила мой старейший дворец. И там все то же печальное состояние властей. Гражданское ополчение, в количестве 1.200 человек, покинуло меня на произвол судьбы!"

Таким образом он отказался от престола, и уже 1 октября 1848 года его маленькое государство было присоединено к княжеству Рейсс-Шлейц. Генрих семьдесят второй, никогда не изменявший своей непримиримой принципиальности и получивший за это прозвище „Prinzipienreiter", стоит бесспорно в центре одного из наиболее забавных эпизодов 1848 года.

При всех этих событиях национальное собрание неуклонно показывало народу филистерскую и реакционную физиономию. Вскоре оно вынуждено было пойти еще дальше.

В сентябре в парламенте разбирался шлезвиг-голштинский вопрос, и постановления, относящееся к этому вопросу, были как нельзя больше приспособлены к тому, чтобы радикально исцелить всякого здравомыслящего человека от тех иллюзий, которые были возбуждены парламентом.

Характер шлезвиг-голштинского движения мы уже очертили. Со стороны Пруссии война велась без особенной энергии, так как европейская дипломатия постоянно вмешивалась во все, касавшееся Шлезвиг-Голштинии. Англия и Россия особенно заботились о том, чтобы у берлинцев уши выше лба не росли, так как для этих государств расширение Пруссии было нежелательно. Волонтеры сражались в Шлезвиг-Голштинии с большим мужеством [2]) и в битве при Гонтруне одержали под предводительством майора фон-дер-Танна [3]) блестящую победу над превосходными силами датчан. Но

---

[1]) Впоследствии депутат во франкфуртском парламенте, потом журналист в Северной Америке.

[2]) Берлинские волонтеры, среди которых находились многие борцы баррикад 18-го марта, отличились в нескольких сражениях. В качестве сестры милосердия при них находилась красавица леди Астон (урожденная Хохе из Магдебурга), потерпевшая много преследований поэтесса „дикой розы", впоследствии раненая детской пулей в руку.

[3]) Впоследствии известный баварский генерал.

господа за зелеными столами отнюдь не радовались этому; пыл волонтеров был искусными мерами подавлен и мало-по-малу совершенно испарился.

Вскоре решительно вмешались „великие“ державы. Руководитель английской политики лорд Пальмерстон побуждал Россию оказать на Пруссию давление в том смысле, чтобы временное перемирие 15-го июля превратить в окончательное. Пруссия готова была отказаться от всего предприятия, так как Россия и Швеция обещали Дании в случае продолжения войны свою прямую поддержку; Франция и Англия держались по отношению к Пруссии настороже, и даже Австрия поддерживала с Данией добрые отношения. При таких обстоятельствах берлинскому правительству пришлось серьезно заняться вопросом, стоит ли ради интересов Шлезвиг-Голштинии навлекать на себя опасность большой войны.

Переговоры относительно заключения перемирия велись в Мальмэ, при чем центральное правительство мало или даже вовсе не принималось во внимание. 26-го августа был заключен договор на семь месяцев, т.-е. как раз на то время, когда, вследствие замерзания моря, датский флот не представляет опасности. В договоре было указано, что блокада германских берегов должна прекратиться, а пленники и задержанные корабли должны быть возвращены. Немцы обязались вывести из Шлезвиг-Голштинии все свои войска, оставив только один прусский корпус в Альтоне. Датчане в свою очередь дали обязательство очистить Шлезвиг-Голштинию; шлезвиг-голштинские войска предполагалось разбить на отдельные отряды, чтобы новое правительство могло употребить их для поддержания „порядка“, другими словами, для подавления всякого демократического движения. Впоследствии и это число войск должно быть уменьшено. Далее, договор требовал отставки временного правительства и замещения его новым из пяти членов, из которых два назначаются королем прусским, два королем датским и один обоими вместе. Члены нового правительства были известны уже заранее; между прочим был намечен особенно непопулярный в Шлезвиг-Голштинии граф Карл фон-Мольтке.

Договор отдавал Шлезвиг-Голштинию датчанам и делал обе эти провинции беззащитными; все достигнутое до сих пор с такими трудами и жертвами было потеряно, и Шлезвиг-Голштинии приходилось трепетать мести датчан.

Конечно, можно поставить вопрос, стоило ли Пруссии ссориться со всеми европейскими державами из-за Шлезвиг-Голштинии? Разумеется нет; но, с другой стороны, бесспорно справедлив упрек, что немецкие дипломаты причинили Германии тяжкий вред, заключив такое бесславное перемирие.

Немецкая публика спокойно относилась к польским делам и обнаруживала мало сочувствия к Венгрии и Италии, хотя движение в обеих этих странах исходило тоже из принципа национальной независимости и имело для немецкой свободы несравненно больше значения, чем движение шлезвиг-голштинское. Но именно потому, что последнее носило династический характер, шум, поднятый по поводу договора в Мальмэ, был так велик. Каждый филистер колотил себя в грудь, заявляя о своей „германской национальной гордости“; горячие патриоты негодовали на „предательство“, а демократия вмешалась в это дело с тем, чтобы демонстрировать в пользу

уверенности" парламента, который, по ее мнению, один только мог решать добные вопросы. События времени действительно пробудили в Германии которую национальную гордость, и немцы ощущали, как позор, тот факт, о „маленькая Дания" навязала им договор, продиктованный русскими и глийскими дипломатами. Под совокупным действием всех этих обстоятельств годование по поводу перемирия глубоко охватило обширные массы. Комичю роль играло при этом пресловутое центральное правительство. Ненужность бессилие его никогда не выступали с такой яркостью, как в этот момент; о было, пожалуй, еще комичнее, чем то „патриоты", которые тысячу раз вторяли за бутылкой песни об „объятой морем Шлезвиг-Голштинии" и перь, опять-таки за бутылкой, показывали „надменной" Дании кукиш в рмане. Как бы то ни было, во Франкфурт направился целый поток адресов; представителей народа требовали отвергнуть позорное перемирие.

Заседавшее в Киле шлезвиг-голштинское национальное собрание спешно постановило, что против его желания никто не в праве ни распстить его, ни отсрочить заседание; все заседания в деле управления раной могут совершиться только с его согласия; только с его согласия гут быть отменены законы, изданные со времени марта 1848 года, без его не может быть издан ни один новый закон, не может быть введен ни ин новый налог. Это было уже формальным протестом против перемирия Мальмэ. Это же собрание показало, что при желании можно очень быстро здать конституцию: к восьмому сентября оно успело закончить всю учретельную работу и опубликовать конституцию, согласно которой Шлезвиглштиния входила в состав германских союзных государств, управлялась ной палатой, при чем выборы основывались на цензе, и получала наместка на случай отсутствия государя. Впрочем, конституция эта была клочком маги, не имевшим никакого действительного значения. Слабое временное авительство под давлением центрального парламента рекомендовало нациольному собранию отсрочить свои заседания как раз в этот критический мент. Демократ Ольсгаузен вышел вследствие этих махинаций из состава авительства, и заседание собрания были действительно отсрочены.

В то время как шлезвиг-голштинцы отчаянно бились в этой сети триг и слабостей, франкфуртский парламент также вынес решение не в их льзу. Решение это было связано с кризисом, распространившим свое яние на всю Германию. 4 сентября франкфуртскому парламенту было нциально доложено о заключении перемирия, при чем Гекшер заметил, э условия сильно разнятся от тех, которые были намечены в соглашении жду центральным и прусским правительствами. 5-го сентября начались дебаты том, следует ли парламенту признать перемирие. Споры были очень жарки; только демократы, но и „патриот" Дальман со своими единомышленниками зко нападали на договор при Мальмэ. Дальман полагал, что перемирие зрушит единство Германии,—он забыл только, что единство это вовсе еще было осуществлено. Симон из Бреславля патетически воскликнул: „Час обил, в людях не будет недостатка!" Наконец, Роберт Блюм азал, что при решении этого вопроса выяснится, должна ли Германия

раствориться в Пруссии или Пруссия в Германии. Лихновский и Дегенкольб, точно так же, как Бассерман, были за принятие перемирия; Шмерлинг угрожал своей отставкой в случае отрицательного вотума. Однако это несчастие, повидимому, не слишком пугало собрание; 5-го сентября незначительным большинством голосов оно приняло постановление, направленное против перемирия, правда, довольно уклончиво и нерешительно: оно решило, что наступление перемирия должно быть временно отсрочено.

Министерство Шмерлинга в тот же день вышло в отставку, и в рядах оппозиции царствовало великое ликование по поводу этой мнимой победы. Но разочарование наступило очень быстро. „Муж оппозиции“ и имперский профессор Дальман получил от правителя империи предложение составить новое министерство. „Привидение“ не могло сформировать никакого министерства и в этой всеобщей беспомощности пришлось снова прибегнуть к министерству Шмерлинга, как единственно возможному выходу; однако Шмерлинг заявил, что он лишь в том случае вернется к отправлению своей должности, если перемирие будет принято парламентом.

Пустые министерские скамьи внушали нескончаемый ужас фанатикам конституционной формы, и в эти дни путаницы все колеблющиеся элементы были подвергнуты решительному воздействию. 14-го сентября возобновились прения по вопросу о перемирии, снова произошли резкие столкновения между представителями различных партий. Вильгельм Иордан, низвергнувший некогда в одном из своих стихотворений „трон датчан в море“, теперь стоял за перемирие, и правая особенно подчеркивала то соображение, что отклонить перемирие нельзя, не вредя международному положению Пруссии. Колеблющиеся элементы центра боялись вызвать, отклонив перемирие, опасный конфликт с Пруссией; кроме того, они полагали, что их конституционная игра потерпит существенный ущерб, если не будет немедленно составлено новое министерство. Левая говорила в этот день необычайно бледно; тем смелее выступал имперский министр Гекшер, уверенный, что без него обойтись невозможно. Карл Фогт привел собранию пример Конвента. Этим он только вселил в душу всех филистеров леденящий трепет, да и сам вряд ли имел в виду действительное дело и по всей вероятности заботился лишь о риторическом эффекте. Роберт Блюм казался в этот день сильно подавленным; он полагал, что после принятия перемирия движение, сосредоточенное до сих пор в руках левой,—по крайней мере, последняя так думала,—перейдет в другие руки, „которые находятся далеко от нас по ту и по другую сторону“. Он угрожал таким образом радикализмом и умолял парламент отклонить перемирие, чтобы предотвратить развитие более радикальных течений. Эти обороты речи очень не понравились радикальной саксонской демократии и были истолкованы в таком смысле что Блюм желает положить узду на народное движение [1]).

---

[1]) В одном народном собрании в Саксонии литератор Екель напал на Роберта Блюма за эту речь; предполагают, что Роберт Блюм очень близко принял это к сердцу и он устроил так, что его отправили в Вену. Мы не можем останавливаться на вопросе, так ли это. В „Истории германского движения 1848 года“, появившейся

Лихновский и Винке выступили при шиканьи галлерей за перемирие; Лихновский крикнул наверх: „это не мнение Германии!“ Этот надменный аристократ отличался способностью раздражать массу при каждом своем появлении.

Несамостоятельные члены парламента были искусно обработаны; им в конце концов сумели внушить убеждение, что, голосуя против перемирия, они помогают „противникам всякого государственного порядка“. В результате 16-го сентября прошло, наконец, злополучное постановление: парламент 258 голосами против 236 принял перемирие. Правда, центральному правительству было вменено в обязанность внести в условие договора некоторые „модификации“, изменения, но датское правительство уничтожило всякое значение этого фокуса, решительно заявив, что оно не согласно ни на какие „модификации“.

Приняв такое постановление, собрание навсегда лишило себя уважения в глазах народа; никто уже больше не питал к нему ни малейшего доверия, никто не надеялся, что этот парламент, как тростник, ветром колеблемый, в состоянии решить германский вопрос в демократическом духе. Парламент, так много толковавший о своей „суверенности“, трусливо склонился перед реакционными властями,—вот что, а не шлезвиг-голштинский вопрос сам по себе, вызвало бурю народного негодования.

Франкфуртских болтунов со всех сторон обдавали насмешками и презрением [1]).

После таких событий левая должна была бы выйти из парламента. Но она этого не сделала; она решилась остаться на своем посту до конца, все более и более погружаясь в болото парламентской пародии в церкви св. Павла.

Уже вечером в день голосования во Франкфурте было неспокойно [2]). Левая собралась в „Deutscher Hof“ и обсуждала, нельзя ли добиться новых

в 1864 году, Бернгард Беккер рассказывает, что в Гросваберне, близ Берна, где воспитывались сыновья Блюма, вдова последнего говорила ему, резко подчеркивая, чт Екель виновен в смерти Роберта Блюма. Мы упоминаем об этом мимоходом, не приписывая этому особенного значения.

[1]) В „Reichstagszeitung“, газете, издававшейся Робертом Блюмом и его зятем Гюнтером, появились тогда стяжавшие себе впоследствии такую известность стихи

Fünfundsiebzig Bureaukraten—
Schöne Worte, keine Thaten!
Fünfundsiebzig Aristokraten—
Vaterland, du bist verrathen!
Fünfundsiebzig Professoren—
Vaterland, du bist verloren.

„Семьдесят пять бюрократов — много фраз, да мало дела. Семьдесят пять аристократов—родина, ты предана! Семьдесят пять профессоров—родина, ты погибла“.

[2]) В помещении Гекшера в „Englischer Hof“ толпой были разбиты стекла. Гекшер бежал в Соден. Узнанный там, он направился далее в Гёкст, где снова был узнан одним гамбургским ремесленником, окружен разъяренной толпой и с трудом спасся в ратушу, а затем скрылся в Майнце. По рассказам очевидцев, с ним обошлись довольно круто; Гёкст подвергся за это военной экзекуции. В то же самое время во Франкфурте старик Ян, объятый страхом перед бунтующим на улицах народом, совершил свое последнее „гимнастическое путешествие“ под столом гостиницы „Westendhalle“. Впоследствии рассказывали, что кельнер позволил себе зло подшутить над старым „французоедом“.

выборов. Огромная масса народа собралась перед домом собрания и требовала контр-парламента; франкфуртские рабочие союзы отдали себя в распоряжение левой. Депутаты левой пытались успокоить народ и пригласили всех желающих на следующий день (17-го сентября) на большое народное собрание. После этого толпа рассеялась; в ту же ночь были разосланы гонцы во все окрестные города, чтобы приглашать всех и каждого на собрание.

Если действительно, как это утверждали, с самого начала было задумано поднять восстание и разогнать парламент, то план этот выполнялся крайне искусно. Крупную роль в этом движении играл известный майнцский демократ Герман Меттерних, крикун, типичный трактирный демократ, не многого стоивший, несмотря на атлетическое сложение. Он велел разрушить телеграфные проволоки и железнодорожные рельсы, ведущие в Майнц, но не сумел воспрепятствовать появлению военной подмоги из Майнца и Дармштадта, как только движение во Франкфурте приняло угрожающие размеры. В самом Франкфурте находился всего один батальон гессенцев; естественно было бы воспользоваться этим и немедленно же поднять восстание. Уже одно то обстоятельство, что этого не случилось, заставляет усомниться в существовании проекта восстания.

Собрание 17-го сентября было очень оживленным. Сообщения о числе участников дают цифры между 20 и 40 тысячами. Заметно было присутствие иногородних, особенно из Майнца, Оффенбаха, Ганау; не мало виднелось оружия и шапок с красными перьями. Был предложен адрес парламенту, произнесены очень резкие речи. Из депутатов говорили: Циц, Везендок, Симон из Трира, Шлеффель и Гентгес из Гейльбронна [1]). Циц сказал, что дело идет о резком переломе; Шлеффель заслужил шумное одобрение, процитировав стихи:

„Wem vom Kanonenschlund ein rasches Schicksal blitzt,
Der stirbt den raschen Tod im frischen Lauf der Stunden;
Doch auf wem Liliput mit tausend Nadeln sitz,
Der stirbt Millionen Mal an Millionen Wunden!“ [2]).

И все же депутаты говорили лишь то, что публика давно уже привыкла от них слышать. Выступали и другие ораторы; особенно обратил на себя внимание один малоизвестный молодой человек, отличившийся своими яро-республиканскими фразами [3]).

---

[1]) Гентгес впоследствии проникся национально-либеральным благомыслием и остался верен этим новым взглядам до самой смерти.

[2]) „Кто должен пасть в бою, ядром сраженный,
Смерть быстрая того на поле брани ждет,
По миллион смертей, миллионы раз пронзенный,
Узнает тот, кто жертвой карликов падет“.

[3]) Это был не кто иной, как Фридрих Капп, впоследствии национально-либеральный депутат. В начале борьбы он не выдвигался, а потом бежал в Америку. Оттуда он вернулся до такой степени „исправленным“, что даже Бисмарк при одной перебаллотировке дал пароль: „Избирайте Каппа!“

В конце концов был вотирован адрес, в котором 258 депутатов, головавших за перемирие, были объявлены изменниками свободе и чести эманского народа. Это решение должна была передать парламенту депуция. Толпа двинулась к дому, где помещался клуб левой. Но последняя iралась умерить народный пыл своими увещаниями и добилась удаления x, кто приехал на собрание из окрестных городов; многие иногородние правились на место жительства потому, что потеряли доверие к левой, торая как раз в это время постановила оставаться в парламенте.

Франкфуртский сенат, напуганный собранием, призвал из Майнца тальон австрийцев и батальон пруссаков, которые и явились к трем часам ра. Войска заняли церковь св. Павла; таким образом парламент пришлось щищать от того самого народа, отстаивать интересы которого он был изван.

Утром 18-го сентября не только галлереи церкви св. Павла были переполнены народом, но огромная масса толпилась снаружи, особенно у входа здание. Народ, очевидно, не знал, что предпринять, а парламентские мократы старательно держались вдали от него. У дверей произошла давка, некоторым трусам (особенно Риссеру из Гамбурга), столкнувшимся с этой массой, показалось, что жизнь их находится в опасности. Самые вероятные слухи носились в воздухе. Один прусский офицер распорядился теснить толпу штыками; несколько человек было ранено; ко всему этому исоединилось известие, что городские ворота заняты войсками. Народ ал строить баррикады, но не с яростным возбуждением, не с криками о сти, нет,—совсем медленно и почти благодушно. Войска не вмешивались, тя баррикары вырастали на их глазах. Очевидно, хотели вызвать бунт и потом усмирить его, чтобы таким образом оправдать насилие над мократией [1]).

Баррикады поднялись близ Тюркеншюсса на Цейле, на Газенштрассе, пургассе, Тонгесгассе, Аллергеймегенгассе, Фаргассе и на Грабене. Около 0 человек стояло за баррикадами, почти исключительно рабочие, которые iаялись в обещанной свободе и решили начать борьбу, которая не сулила iexa. И на этот раз, как всегда, на дверях домов было написано: обственность священна!“ и во время борьбы не было похищено ни одного еннига частного имущества. Старик Ротшильд, дом которого попал в ки восставших, был не мало этим удивлен.

Парламент продолжал между тем обсуждение основных законов и iрался сделать вид, что его вовсе не касается все то, что происходит i, снаружи, на улицах. Неустранимое министерство Шмерлинга снова ступило к отправлению своих обязанностей. Рюль, демократический бургостр из Ганау, и Грицнер из Вены от имени крайней левой внесли [пред-

[1]) Один депутат увидел офицера, расположившегося со своим отрядом в двасти шагах от строящейся баррикады. На его вопрос, почему войско так спокойно отрит на это, офицер ответил: „Я не имею никаких других приказаний, оме как стоять здесь“.

ложение распустить парламент и назначить новые выборы, так как народ, очевидно, не питает доверия к этому собранию. Оба предложения не были признаны настоятельными и таким образом вовсе не подвергались обсуждению. В конце заседания председателю был передан адрес народного собрания 17-го сентября; адрес был тут же прочитан, не вызвав особенного внимания депутатов. Около двух часов Гагерн закрыл заседание.

В два часа баррикады были атакованы войсками, к которым поминутно приходили подкрепления. Борьба была очень упорной, так как войска не располагали орудиями и действовали штыками. Неумолчный треск ружейной пальбы наполнял город. Некоторые баррикады были взяты войсками не без существенных потерь; особенно сильное сопротивление имело место в узких улицах старого города. На улице Всех Святых и на Проезжей улице, где баррикада загораживала Заксенгейзерский мост, войска были встречены сильным ружейным огнем и отброшены назад.

Повстанцы еще до начала сражения заявили, что они сами уберут баррикады, если из города удалятся прусские войска. Некоторые члены левой, Трюцшлер, Раво, Роберт Блюм и Людвиг Симон, воспользовались этим предлогом, чтобы выступить посредниками. Взяв на себя эту—обыкновенно мало благодарную роль, они прежде всего поспешили к правителю империи с просьбой прекратить огонь со стороны войск. Иоганн наговорил им кучу ничего не значащих фраз и в конце концов отослал посредников к министрам [1]). Военный министр фон-Пейкер принял их с высокомерной холодностью и направил к австрийскому генералу Нобили, как к коменданту. Этот последний с величайшей готовностью согласился на полуторачасовое перемирие, если только восставших удастся убедить прекратить огонь. Демократы должны были добиться этого, при чем к ним был присоединен прусский майор фон-Боддин, позволивший себе ряд насмешливых замечаний по адресу посредников. Шлеффель, Мориц Гартман, Карл Фогт, Людвиг Симон, Реслер из Эльса, Трюцшлер и Рюль взяли на себя роль посредников и направились к баррикадам,—предприятие, не лишенное опасности, так как ни войска, ни инсургенты не обращали в пылу битвы внимания на махающих платками посредников, и последние очутились таким образом между двух огней. Некоторые из них, говорят, остались при свисте пуль не слишком-то хладнокровными, за что впоследствии вытерпели не мало насмешек; другие обнаружили большое мужество, напр., „имперская канарейка" Реслер из Эльса. С большими трудами и опасностями парламентерам удалось, наконец, добиться заключения перемирия на три четверти часа. Повстанцы были полны ярости и упорства; они соглашались вообще слушать только Трюцшлера и Симона из Трира. Когда Симон заговорил о силе войск и о неизбежном поражении инсургентов, один почерневший от порохового дыма рабочий ответил ему: „Мы решили пасть на баррикадах. После того как национальное собрание предало честь Германии, мы не желаем жить; мы

---

[1]) Как излагали юмористические листки, на взволнованный вопрос одного из демократов, что же теперь делать, Иоганн будто бы ответил: „Да не знаю же я".

не желаем вместе с ним нести этот позор; мы хотим умереть, как наши братья, с оружием в руках!" При последних словах оратор указал на убитых и их кровавые раны. Да, этот пролетарий был из иного материала, чем краснобаи парламента; в нем было больше гордости и упорства, чем в самом либеральном или самом демократическом буржуа, он не так-то легко поступился бы мартовскими завоеваниями.

В конце концов однако удалось добиться соглашения. Повстанцы обещали сдаться, если будет гарантирована всеобщая амнистия. В переговорах протекло не мало времени. Подмоги из Майнца и Ганау не явилось благодаря увещаниям левой; между тем из Дармштадта пришли войска с сильной артиллерией. Вечером в городе собралось не менее 12.000 солдат, и Шмерлинг насмешливо отверг требование амнистии, ссылаясь на то, что три четверти часа протекли, а баррикады еще не убраны. „Мы обмануты,— сказал после этих слов Леве-Кальбе Морицу Гартману: все перемирие служило лишь к тому, чтобы выиграть время и дождаться орудий". И в самом деле, баррикады были подвергнуты самому свирепому штурму; это произошло бы, конечно, и без перемирия, но во всяком случае посредники левой, как и всегда, были проведены.

Загремели двенадцатифунтовые дармгессенские пушки против баррикад, защищавшихся с упорством отчаяния. Многие инсургенты намеренно бросались на верную смерть: так горячо принимали они к сердцу несчастие Германии. Только в 10 часов ночи пала последняя баррикада на Шнургассэ. Борцы отступали от одной баррикады к другой, проламывая стены домов. „С холодным спокойствием и презрением к смерти,—пишет один член парламента [1],—защищали они еще около часу эту последнюю и сильнейшую из баррикад, направлявшуюся наискось через Шнургассэ от Цигельгассе к „Нюрнбергскому Двору". Здесь в черной бархатной куртке командовал красивый молодой рабочий из Гейдельберга, пользовавшийся большой известностью среди товарищей в обширном округе по Рейну и Майну. Он один стоял за баррикадой. Направо и налево в домах засели блузники, принадлежавшие, несомненно, к самым решительным и фанатичным. Когда командир взмахивал шпагой, из двадцати двух мушкетов сверкал огонь, и пули метко осыпали густо стеснившихся за орудиями чехов. Вот с обеих сторон раздается команда: „пли!" Грохот залпа, несколько секунд тишины, затем доносится шум насосов, подающих воду для раненых, раздается смутный гул голосов, потом снова несколько мгновений мертвой тишины и беспросветного мрака. Картечь, отскакивая рикошетом, осыпала дома по правую и левую сторону улицы. Когда нападающие убедились, что за баррикадой никого нет, пушки были прямо направлены на дома. И перед баррикадой и позади нее рабочие видели врагов, но продолжали бороться. Царит непроглядная тьма. Лишь на мгновение вспыхивающие жерла пушек временами выступают из мрака, и тогда красный отблеск их пламени ярко освещает высокие пятиэтажные дома вплоть до самой крыши и отбрасывает длинные

[1]) Депутат Вильгельм Циммерман из Штутгарта.

черные тени, мрачные, как гнев и лица народных борцов, как тот гнев который гнал их на верную смерть или в темницу"...

Покидая последнюю баррикаду, пал юный вождь из Гейдельберга, после того как он использовал свой последний патрон.

Со стороны народа было убито в этот день 37 человек, много взято в плен; пленники должны были выносить грубейшие издевательства со стороны чешских солдат. Большинству из них благодаря помощи франкфуртского населения, особенно женщин, удалось бежать через Майн. Потери войск, как и всегда, не были официально объявлены.

Инсургенты 18-го сентября были осыпаны грубыми клеветами. Лишь немногие историки воздали по достоинству одушевлявшим их стремлениям. „Сердце,—говорит между прочим Циммерман,—горячо билось у них ради чести и свободы Германии, горячее, чем у тех сотен, которые заседали в соборе св. Павла. Эти дети народа видели, как большинство парламента стало враждебным народу, хотя многие депутаты совершили этот поворот не сознательно и не по доброй воле, но лишь по недомыслию или по слабости. После этого крушения церкви св. Павла, похоронившего их надежды, они запылали гневом. Вместе с ними боролась истекающая кровью Германия, так как национальное собрание само себя осудило на бессилие. Жаль только, что здесь немцы дрались с немцами".

Во время описанного сражения разыгрался еще один трагический инцидент. Лихновский вместе с другим аристократом, прусским генералом Ауэрсвальдом, выехал верхом как раз в то самое время, когда в городе восставшие демократы боролись с войсками не на жизнь, а на смерть. Они были узнаны и подверглись преследованию кучки народа. Близ Фридбергских ворот им удалось укрыться в доме одного садовника. С криками: „Где шпионы! Вот мы сейчас расправимся с ними!" толпа ворвалась в дом и вытащила обоих на улицу. Первым был убит Ауэрсвальд; Лихновского толпа решила удержать в качестве заложника, по совету одного врача, хотевшего спасти таким образом этого столь ненавистного народу человека. Кто-то из толпы пожелал оторвать себе кусок сюртука Лихновского „на память", но Лихновский, думая, что его хотят убить, отскочил назад и бросился на обидчика, после чего был смертельно ранен несколькими выстрелами. Он умер в тот же самый день. Говорят, что еще утром в день смерти он крикнул какому-то блузнику: „Не далее, как сегодня вечером, вы будете мишенью для выстрелов".

Реакция с особенной энергией и с большим успехом использовала этот кровавый инцидент против демократии. Это и не удивительно, так как Лихновский принадлежал к сливкам аристократии и, как говорят, вместе со своей приятельницей, известной герцогиней Саган, выработал план раздела Германии между Пруссией и Австрией, взяв за границу Майн,—очень упрощенное решение германского вопроса.

Убийство Ауэрсвальда и Лихновского принадлежит к числу тех фактов, которые часто случаются при столкновении враждебных общественных сил, когда так сильно разыгрываются все человеческие страсти. Несомненно,

подобные кровавые катастрофы достойны величайшего сожаления, и все же реакционные историки не имеют оснований концентрировать свое „нравственное негодование“ именно на этом факте. Как мы увидим, кровь побежденной демократии лилась в совсем ином количестве.

На другой день после восстания правитель империи объявил Франкфурт на осадном положении.

Само собой разумеется, что большинство парламента выразило свое доверие министерству Шмерлинга. Ему была гарантирована поддержка „в его дальнейших мероприятиях для поддержания германского единства“, а войска получили благодарность „за умеренность, проявленную ими при подавлении бунта“. Левая также участвовала в этом,—до того она стала трусливой. Только Шаффрат предложил присоединить к „единству“ „свободу“, как будто бы министерство перемирием при Мальмэ и гессенской картечью спасло свободу! Предложение благодарить войска за умеренность исходило от „имперской канарейки“, Реслера из Эльса. Предложение это прошло, и таким образом господа на левой благодарили войска за то, что они „с умеренностью“ избивали на улицах их товарищей по партии.

После этих событий не могло уже оставаться сомнения относительно того, что большинство парламента враждебно демократии. Франкфуртское собрание вступило после сентябрьского восстания в новую фазу. Ранее, по крайней мере, соблюдался вид, что собрание ставит своей задачей охранять мартовские приобретения; теперь стало совершенно ясно, что большинство играет на руку реакционным властям, при чем колеблющиеся элементы всегда становятся в конце концов на сторону решительных реакционеров.

Левая была жестоко наказана за то, что не решилась выйти из собрания. Все более и более поднимавшие голову реакционеры пользовались каждым удобным случаем, чтобы осыпать ее оскорблениями. Министры также не скрывали своего настроения [1]). 20 сентября Роберт Моль внес „законопроект касательно охраны национального собрания“,—его без того уже охраняли 12.000 человек,—а Штавенгаген требовал преследования прессы и особенно газеты „Reichstagszeitung“ Роберта Блюма. На „Новую Рейнскую Газету“ правая была также страшно раздражена за историю о Шнапханском [2]).

По новому закону за всякое действие, направленное против национального собрания, назначались тяжелые наказания, и народные собрания не могли созываться ближе, чем на расстоянии 5 миль от парламента. После того, как парламент достаточно защитился таким образом от народа, министр Шмерлинг 5-го октября внес предложение об аресте и наказании тех

---

[1]) Известно из самых достоверных источников, что Шмерлинг, сказал по адресу депутата Шмидта из Левенберга, в то время как последний произносил речь: „Это тоже одна из тех канальй, которых нам надо вышвырнуть вон“.

[2]) Т.-е. о Лихновском, приключения которого были там рассказаны в юмористическом освещении.

депутатов, которые выступали на народном собрании 17-го сентября [1]. После горячих дебатов парламент согласился на судебное преследование против означенных членов, но арест их был отклонен. Следствие ни к чему не привело.

Поведение национального собрания вызвало еще некоторые революционные судороги. На швейцарской и французской границах скопилось значительное число беглецов, ожидавших там благоприятного поворота событий. Большинство из них было не менее проникнуто духом доверия, чем члены парламента.

В то время как парламент, не сделав еще ничего замечательного, кроме создания реакционной центральной власти, поспешил выковать парламентскую медаль с именем Иоанна, беглые республиканцы напали на удивительную мысль сделать пятипроцентный заем за счет будущей германской республики. Предприятие встретило более сочувственный отклик, чем можно было бы думать. Возврат ссуженных капиталов, с присоединением 5 процентов, должен был произойти на другой день после учреждения германской республики. Требовалась значительная доза оптимизма, чтобы верить подобным вещам, и все же им верили.

Но если от имени будущей республики уже выпускались бумажные деньги, отчего же не попытаться основать ее немедленно? Менее всего перед таким планом мог бы остановиться Густав Струве: ведь он был уверен, что мир обязан принимать те самые формы, которые, при строжайшей вегетарианской диэте, складывались в его собственном черепе, исследованном по всем правилам френологии.

Франкфуртские события оказали особенное действие на баденцев, и во многих местах, как, например, в Маннгейме, возбуждение народных масс проявлялось в бурных собраниях. Струве полагал, что настало время для нового восстания. 20-го сентября он находился в Базеле, где издавалась его газета. К нему явилось несколько баденских демократов, обрисовавших настроение страны в свете в высшей степени благоприятном для плана нового восстания; из Лерраха, например, сообщалось, что тамошнее гражданское ополчение ждет только сигнала, чтобы подняться. Струве быстро решился; он дал знать в Леррах, что на следующий день он явится туда, чтобы провозгласить республику. Так и случилось: 21 сентября 1848 года Струве в сапровождении 8 или 10 единомышленников явился в Леррах [2]. Учреждение германской республики не встретило на своем пути никаких трудностей; Струве провозгласил ее с высоты ратуши, а гражданские ополченцы, под предводительством Пфлюгера и Мейзингера, арестовали членов местной администрации. Струве немедленно стал во главе новой республики,

---

[1] Старик Ян требовал исключение из состава парламента. Он заметил при этом: „Я не даю и не требую пощады!" Так говорил этот старый хвастун, когда ему удалось выкарабкаться из-под стола, куда он залез при первом же уличном шуме 18-го сентября.

[2] Возможно, что этот день казался ему наиболее подходящим еще и потому, что 53 лет тому назад, 21 сентября 1792 г., была учреждена первая французская республика.

яв себе в секретари молодого журналиста Карла Блинда из Маннгейма [1]. „Правительственном Вестнике Германской республики“ тотчас же появилось иедующее воззвание:

„К германскому народу! Борьба народа против угнетателей началась. а улицах самого Франкфурта, в резиденции бессильного центрального)авительства и болтливого учредительного собрания, в народ стреляли артечью. Только меч может спасти теперь германский а р о д. Стоит победить реакции во Франкфурте, и так называемый „закон-ый“ путь принесет Германии больше гнета и эксплоатации, чем это могла бы целать самая кровопролитная война. К оружию, германский народ! Только эспублика приведет нас к цели, к которой мы стремимся. Да здравствует эрманская республика! От имени временного правительства: Густав С т р у в е. омендант главной квартиры В. В. Л е в е н ф е л ь с. Секретарь Карл Б л и н д. еррах, 21 сентября 1848 года“.

Воззвание, как видим, было очень энергично составлено; но этим счерпывалось все, что был способен дать Струве. Все дальнейшее носит онстине трагикомический характер.

В тот же самый день Струве и Блинд „от имени временного прави-ельства Германии“ издали указ, согласно которому уничтожаются все юодальные повинности и выкупные платежи, а равным образом всякие латежи государству или церкви, за исключением таможенных сборов [2], и водится на место их прогрессивный подоходный налог. Вся земельная соб-твенность государства, церкви и реакционеров должна была перейти к оммунам. „Отныне,—гласит указ,—господствует закон войны до тех пор, ока германский народ не завоюет себе свободы!“ Далее воззвание пред-агает бить повсеместно в набат, подниматься с оружием в руках и конфи-ковать деньги во всех казначействах.

Явились кое-какие подкрепления из окрестностей Лерраха и из Швей-царии; прибыли также некоторые из вождей геккеровского похода. Но как аз люди, сведущие в военном искусстве, Зигель и Иоганн-Филипп Беккер, стались в стороне: они считали предприятие безнадежным.

Повстанцы разделились на две колонны, которые предполагалось оединить перед Фрейбургом, чтобы совместными силами напасть на этот ород. Во время похода республиканские отряды несколько усилились, хотя е особенно значительно. Данные о числе их очень неопределенны: они олеблются между 10 и 3 тысячами. Очевидно, пришлось присоединиться

---

[1]) Блинд называл себя тогда социал-демократом, конечно, не в современном мысле этого слова. Политические колебания этого политического болтуна достаточно звестны; в 1870 году он уже выступил ярым сторонником присоединения Эльзас-Лотарингии, после того, как в 1866 году его пасынок совершил покушение на Бисмарка.

[2]) Эта трогательная заботливость о филистерах, жаждущих таможенного покро-вительства, всегда отличала Струве; она и впоследствии еще очень долго сохранялась у буржуазной демократии, до тех самых пор, пока Бисмарк не открыл ей глаза на истинный смысл высоких таможенных ставок.

многим из такого сорта людей, которые после поражения тотчас же обратились против демократов; при этом демократы прибегали к опасному средству распространения вымышленных известий о своих победах [1]). Колонны действовали без всякой связи между собою и без общего плана.

Правитель империи, решительно выступавший вперед, когда требовалось усмирять демократию, издал приказ об энергичном подавлении восстания. Железные дороги во многих местах Бадена были разрушены, так как народ в значительной степени симпатизировал восстанию. Но лишь очень немногие примыкали к инсургентам. Баденский генерал Гофман, знавший это, не стал дожидаться имперских войск и двинулся против восставших с 1.000 человек, находившихся в его распоряжении [2]). 24 сентября между Фрейбургом и Мюльгеймом, близ Штауфена, он натолкнулся на республиканскую колонну под предводительством Левенфельса; последняя подошла сюда через Шлинген и Мюльгейм; в ней находились: сам Струве, его жена, Карл Блинд и зять Струве, Педро Дюсар. Ядро инсургентов, оба батальона лоррахского гражданского ополчения, было в это время уже за горами, двигаясь по направлению к Фрейбургу. Когда Левенфельс, солдат по призванию, увидел приближающиеся войска, он бросился с своими волонтерами к Штауфену. Город был забаррикадирован, Струве из ратуши призывал население Штауфена к борьбе. Но едва баденская артиллерия открыла огонь, штауфенцы поспешили укрыться в свои дома. Сражение продолжалось не более часу; войска взяли город штурмом, и республиканцы, оставив 11 человек убитыми, обратились в бегство. Войска были страшно раздражены и перебили пленных [3]).

Струве, жена его, Блинд и Дюсар были арестованы близ Шопфгейма; настроение быстро изменилось, и те самые филистеры, которые только что кричали „ура“ республике, теперь оказали поддержку реакционному гражданскому ополчению. Пленников отвезли в Зекинген, где Струве на этот раз уже не нашел друга, который освободил бы его. Затем их перевезли в Мюльгейм и предали военному суду, который однако объявил себя некомпетентным, так как Струве и Блинд были арестованы до объявления военного положения. Только благодаря этому оба они избежали расстрела. Их содержали потом под стражей в Раштатте. Мужественная молодая жена Струве была подвергнута строгому заключению в башне во Фрейбурге.

Республиканцы, не принимавшие участия в сражении под Штауфеном, быстро рассеялись. На голову Струве, неудачное предприятие которого

---

[1]) Впрочем, сам Струве, по всей вероятности, в этом не был повинен. См. на этот счет Mögling, „Briefe an meine Freunde“, стр. 112.

[2]) Баденский министр Бекк определяет число их всего в 800 человек.

[3]) Баденский министр Бекк сам рассказывает об этом в следующих выражениях: „Так, например, утром 25 сентября (стало быть, уже через день после сражения!), когда из одного дома в Штауфене снова раздались выстрелы в войско, последние застрелили на месте забравшихся туда бунтовщиков“. Демократические газеты утверждают, что при этом были убиты 6 музыкантов, спрятавшихся в амбаре. „Так, например“ в рассказе министра заставляет предполагать, что происходили и еще подобные же инциденты, о которых он не упоминает.

получило название „бунта Струве", посыпался град насмешек и клеветы. Историк Гейссер обвиняет его в своей книге о баденском восстании в том, что он двинулся в путь с 16.000 гульденов, „награбленных денег"—клевета, которую г. Гейссер с истинно профессорской беззастенчивостью повторил еще раз в 60-х годах, когда Струве вернулся из Америки.

Приверженцы Струве сваливают вину за поражение на Левенфельса. Конечно, Левенфельс не был полководцем; но когда говорят, что он не должен был вступать в сражение „со своими неопытными волонтерами", спрашивается, что же ему оставалось делать при Штауфене. В связи с восстанием Струве стояли лишь немногие местные движения; остальные сентябрьские восстания не были, как это утверждали реакционеры, планомерно каждый раз выступающие против революции, результатом общего революционного плана.

В конце сентября произошло восстание в Вюртемберге. Летом тамошние войска в значительной мере принимали участие в движении. Расположенный гарнизоном в Гейльбронне восьмой полк вюртембергской пехоты возмутился, выработал на общем собрании свои требования и поручил фурьеру Гартману представить их начальству. Начальство арестовало Гартмана. Среди солдат и горожан это произвело необычайное волнение. В то же время появились новые войска, которые препроводили 8-й полк в Людвигсбург. Там дело едва не дошло до сражения. В конце концов восьмой полк, лишенный всякого руководства, позволил себя разоружить; шестьдесят человек из него были уведены в Асперг и присуждены впоследствии к тяжелым наказаниям.

Швабская демократия всегда отличалась полным отсутствием единодушия [1]) и потому попыткая восстания, предпринятая Рау из Гайльдорфа в сентябре 1848 года, еще вернее была обречена на неудачу, чем бунт Струве. Рау, пылкий демократ с несколько неопределенными социалистическими аллюрами, попробовал поднять восстание в области верхнего Неккара. Он встретил сочувствие лишь в Роттвейле и Шрамберге. Убедившись в слабости движения, он сам отказался от своего предприятия. Он был арестован и отвезен в Асперг. Мысль использовать в интересах восстания каннштатский народный праздник, на который ежегодно стекались тысячи народа, также оказалась невыполнимой.

В Кельне в сентябре имели место очень резкие столкновения между, горожанами и войсками. Образовался комитет общественной безопасности. „Благомыслящие" пытались выступить посредниками. Но возбуждение росло так как к этому времени подоспели еще известия об угрозах Врангеля, направленных против берлинской демократии. Был произведен ряд арестов;

---

[1]) Среди швабских демократов тогда было не мало крайне „ярых". К последним принадлежал между прочим доктор Оскар Вехтер, который в 1848 г. ходил в блузе и красном галстуке и участвовал в потоплении портрета прусского короля в Фейерзэ в Штутгарте. Теперь он, как и многие из его тогдашних товарищей, благомыслящий национал-либерал. Известный Иоганн Шерр тогда тоже принадлежал к числу самых „ярых".

между прочим был задержан и „красный Беккер“. 25 сентября на Старом Рынке должно было состояться народное собрание. Оно состоялось, несмотря на запрещение начальства; „Вольф казематов“ занял председательское место. Раздались горячие речи. Гражданское ополчение, стоявшее кругом, в значительной части симпатизировало народу. Внезапно пронесся крик: „Пруссаки идут!“ Толпа бросилась строить баррикады, ударили в набат. Войска быстро разогнали народ, разрушали баррикады и произвели аресты. Гражданское ополчение благоразумно удалилось...

Кельн был объявлен на осадном положении и гражданское ополчение разоружено. Начальство закрыло все союзы „с политическими или социальными задачами“, запретило собираться более 20 человек днем и более 10 ночью; трактирщикам было предписано запирать свои заведения в 10 часов вечера. Всем, кто попытался бы оказать сопротивление, угрожал военный суд. „Новая Рейнская Газета“, орган социалистической партии, была запрещена; той же участи подверглись три другие газеты; изданы были приказы об аресте некоторых редакторов „Новой Рейнской Газеты“.

Неудача кельнских баррикад была тяжелым ударом для всей рейнской демократии [1]). Осадное положение было отменено 4-го октября, и „Новая Рейнская Газета“ стала выходить снова.

Усмирение этого восстания и других местных вспышек принесло большое удовлетворение парламентариям во Франкфурте на-Майне; теперь они снова получили возможность спокойно испускать из себя целые потоки красноречия.

В Шлезвиг-Голштинии также наступило желанное затишье. Правда, шлезвиг-голштинское национальное собрание обнаружило упорную несговорчивость, но и оно уступило, когда договор был ратификован, и комиссары, назначенные совместно Германией и Данией, посадили новое правительство, состоявшее из Мольтке, Ревентлова, Гейнце, Прейссера и Бойсена.

Между тем собрание счастливо закончило обсуждение основных прав и — через пять месяцев после начала заседаний — приступило к выработке конституции. В то же самое время центральное правительство делало Швейцарии строжайшие представления по поводу баденских беглецов; оно требовало даже „удовлетворение за побеги германских республиканцев из Швейцарии“. Однако это центральное правительство, смотря по обстоятельствам то мягкое, то грубое добилось от маленькой Швейцарии лишь ничтожных уступок.

---

[1]) Из Дюссельдорфа, где в это время находился юный Лассаль, появилась от 25 сентября в реакционной „Vossische Zeitung“ следующая заметка: „Третьего дня здешний республиканский клуб стал предметом всеобщих насмешек, так как два носильщика, Ведекинд и Мец, палками разогнали его собрание, обсуждавшее благодарственный адрес героям франкфуртских баррикад. В результате сегодня на улице среди белого дня в присутствии графини фон-Гацфельд, главы упомянутого клуба, произошел ряд драк между членами цеха носильщиков, что, впрочем, не вызвало дальнейшего нарушения порядка в городе“. Итак, позднейшая основательница „женской линии лассальянцев“ пережила еще в то время период республиканской бури и натиска. Впрочем, в заметке события, очевидно, в значительной степени искажены; интересно только, что реакционеры выступили героями палочной расправы.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

„Черно-желтые“ и „черно-красно-золотые“.

Убийство Ламберга в Пеште дало черно-желтым (черно-желтый—национальные цвета Австрии—сделались символом ее старого строя; черно-красно-золотой—символ единой, новой Германии) реакционерам повод к энергическим вылазкам против Венгрии; реакционеры всегда умеют ловко воспользоваться такими моментами, когда народ, выведенный из себя вызывающим поведением своих врагов, набрасывается на первого попавшегося представителя ненавистной системы и расправляется с ним. В шенбруннском дворе не мало имелось людей, проливавших крокодиловы слезы по поводу смерти Ламберга; но втайне они радовались, что полный разрыв с Венгрией стал, наконец, совершившимся фактом благодаря кровавому инциденту на Пештском мосту.

Впрочем, сначала камарилья не слишком-то радовалась. Правда, Еллачич, вождь кроатов,—которые не только своими красными мантиями, но и своей дикой расправой с населением напоминали своих предков из эпохи свирепого Тренка,—Еллачич разбил отряд венгерских волонтеров, но 29-го сентября он натолкнулся при Веленче на венгерское войско, занявшее очень сильную позицию. Он попытался прорвать линию венгров. Генерал Мога, командовавший последними, очевидно, старался уклониться от битвы, вовсе не желая серьезно драться с защитником дома Габсбургов. Но мадьяры с одушевлением бросились в битву, и Еллачич должен был отступить. Его арьергард был неделю спустя окружен венграми и взят в плен.

Австрийский военный министр Латур всеми силами старался поддержать отступавшего перед венграми Еллачича. Это вывело венскую демократию из ее беззаботно-доверчивого настроения. Теперь, наконец, демократы окончательно убедились, что камарилья бросилась в объятия славян. 4-го октября императорский манифест объявил венгерский рейхстаг распущенным и назначил бана Еллачича главнокомандующим военными силами Венгрии. Этот манифест произвел в Вене чуть ли не большее впечатление, чем в Пеште. Возбужденная толпа сновала по венским улицам; газеты говорили о грандиозном заговоре между придворной камарильей и чехами, документальные доказательства которого будто можно были найти у военного министра

Латура; народные ораторы в самых резких выражениях нападали на правительство и черно-желтый рейхстаг. Всем было ясно, что поражение Венгрии будет равносильно гибели всех завоеванных Австрией вольностей.

Часто утверждают, что венцы во время октябрьского восстания сами толком не знали, чего они собственно хотят [1]). В действительности они знали это очень хорошо. Поддержать Венгрию было для них в высшей степени важно, раз они хотели нанести решительный удар реакции. Неудача предприятия в значительной степени должна быть приписана неспособности вождей. Как бы то ни было, венцы правильно определили положение дел, иначе они не стали бы подымать восстание. Для простого препровождения времени таких восстаний не устраивают.

Возбуждение достигло высшей степени, когда стало известно, что многие немецкие полки получили приказание двинуться в Венгрию, чтобы усилить собою войска бана Еллачича. Народное движение выросло в настоящую бурю, но министры не обращали на него внимание. Уже из дебатов в рейхстаге Латур мог бы убедиться, что у него не много друзей, но ненависть к Венгрии сделала его слепым [2]). Он считал движение в Вене настолько ничтожным, что решился даже ослабить имевшиеся в Вене военные силы, чтобы только поскорее увидать желанное поражение Венгрии.

5-го октября в Венгрию отправился итальянский полк, к чему его удалось побудить только насильственными мерами. На следующий день должен был выступить немецкий батальон гренадер, так называемый батальон Рихтера. Еще накануне, вечером 5-го октября, этот батальон, расквартированный в предместьи Гумпендорф, дал заметить, что он не расположен драться с венграми; еще раньше он не раз высказывал свои симпатии рабочим и гражданскому ополчению предместий. 5-го октября состоялось народное собрание, высказавшееся в том смысле, что союз двора со славянами угрожает приобретениям мартовских дней. „Если Венгрия будет порабощена,—воскликнул один оратор,—граждане, поверьте мне, мало-по-малу похитят свободу и у всей Австрии; не надо быть даже австрийцем, чтобы высказать это пророчество“.

Уже из этих слов видно, что венцы очень хорошо понимали, в чем тут дело.

Собрание единогласно постановило всеми силами препятствовать отправке войск в Венгрию.

Лойяльные буржуа Гумпендорфа послали депутацию к Латуру, советуя ему взять назад приказ о выступлении; но этот самолюбивый старик упорно стремился к собственной гибели и не хотел слушать никаких предостережений.

---

[1]) В одной карикатуре тех дней Господь смотрит на Вену с облаков и говорит: „Хотя я, как известно, всеведущ, но чего желают венцы, я не знаю!“ Шутка не дурна, но за остроумие здесь расплачивается истина.

[2]) Чех Ригер между прочим крикнул ему при всеобщем одобрении: „Вы должны подчиниться постановлению палаты!“ Господин Ригер умел быть энергичным, когда хотел этого.

Утром 6-го октября к северному вокзалу со всех сторон стекались вооруженные люди: часть академического легиона, гражданское ополчение из редместья и масса рабочих, вооруженных кирками, топорами, лопатами железными стержнями. В городе раздавался генерал-марш. Батальон Рихэра, смешавшись с гражданским ополчением, также явился к вокзалу; было ыставлено несколько эскадронов кирасир и один галицийский батальон четырьмя орудиями, чтобы в случае надобности принудить батальон Рихера к выступлению. Генерал Бреди командовал войсками.

Около 11 часов произошло столкновение. Гренадеры батальона Рихтера делали вид, что желают перейти к народу, а рабочие попытались овладеть рудиями. Когда генерал Бреди увидел, что рабочие приближаются к пушкам он приказал галицийскому батальону открыть огонь. Раздался залп—и несколько рабочих упало. Академический легион и гражданское ополчение тотчас же ответили на выстрелы. Генерал Бреди и его адъютант были убиты, закипела кровавая битва, длившаяся около часа. Батальон Рихтера перешел на сторону народа, орудия были взяты, и одно из них выстрелило,— один рабочий догадался употребить спичку вместо фитиля. Кирасиры бросились на восставших, но вместе с пехотой были обращены в бегство.

Во время сражения волнение охватило весь город; раздался набат, улицы кишели народом. Войска по большей части выступили из города. Что касается гражданского ополчения, то большая часть его направилась к актовому залу университета; некоторое время казалось, что среди него одержали перевес черно-желтые элементы; городские ворота были закрыты, и на стенах приготовлены орудия, чтобы отрезать сообщение с предместьями. Но картина резко изменилась, когда явилась победоносная толпа с головой убитого генерала Бреди на пике. Пушки были тотчас же захвачены студентами и рабочими.

На площади Стефана, где расположилось черно-желтое гражданское ополчение, произошла жаркая стычка. Черно-желтые забаррикадировались в церкви св. Стефана; восставшие взяли ее приступом. Сражение продолжалось внутри церкви, пока черно-желтые не были окончательно побеждены. Между тем на улицах кипела борьба с войсками; везде выросли баррикады. При неумолчном громе пушек и звуках набата восстание все росло и росло, так что войска в конце концов были подавлены превосходными силами повстанцев. Они вынуждены были очищать улицу за улицей, и, наконец, главнокомандующий граф Ауэрсперг отказался от дальнейшего сопротивления, так как значительная часть войска стала ненадежной.

С большим мужеством атаковали венцы арсенал; солдаты защищались храбро. Академический легион обстреливал его из пяти пушек. Борьба, стоившая множества жертв, продолжалась всю ночь напролет. Только в шесть часов утра на следующее утро арсенал был взят, и весь народ снабдил себя оттуда оружием.

В то же утро собрались министры, беспомощные, не зная, что предпринять. Рейхстаг не был в сборе, и президент Штробах уклонялся от созыва заседания. Только к 4-м часам вечера он уступил, но тотчас же поспешил

скрыться. Большинство министров также исчезло; только военный министр Латур и министр финансов Краус остались. Краус в течение всей революции пребывал в Вене, сохраняя свой пост императорского министра,—факт чрезвычайно характерный. Вожди венской демократии, несмотря на пушки, баррикады и набат, продолжали относиться к окружающим событиям с тем же благодушием, как и в течение всего лета,—в противном случае министр Краус не мог бы, конечно, спокойно сохранять в Вене свою должность, в то время как императорские войска бомбардировали город.

Ярость народа, понесшего во время борьбы за революцию сильные потери, целиком направилась на несчастного военного министра Латура, на которого, как на орудие ненавистной камарильи, взваливали всю вину за катастрофу. Взволнованная толпа бросилась к военному министерству. Министры Добльгоф, Бах и Вессенберг в самый последний момент убежали оттуда вместе с другими сановниками; Латур остался с несколькими адъютантами. В военном министерстве находилось около 150 гренадер, которые, повидимому, симпатизировали народу. Латур после колебаний и нерешительности, так характерных для него, сам приказал им не пускать в ход оружие.

Толпа заполнила двор военного министерства. „Где военный министр? Он нужен нам!"—пронесся угрожающий крик. Если бы Латур вышел в этот момент, его бы лишь взяли в плен и передали кому-либо из вождей; но он поспешно скинул свою генеральскую форму и спрятался. Это было принято за доказательство виновности, и негодование против него возросло. Явилась депутация от рейхстага с Боррошем во главе. „Латур должен выйти в отставку!"—„Бах тоже!"—кричали ему сотни голосов. Боррош взял слово и обещал отставку министров. Он считал это достаточным для успокоения народа. Депутат Смолка убедил Латура подписать свою отставку. Затем Латура хотели провести через раздраженную толпу под защитой нескольких национальных гвардейцев и депутатов. Но это не удалось. Как только министр показался на дворе, к нему бросилась рассвирепевшая толпа, и он был убит сабельными ударами и штыками. Как часто бывает при подобных обстоятельствах, среди толпы нашлось несколько дикарей, зверски изуродовавших труп и потом вздернувших его на газовый фонарь.

Событие это было, конечно, использовано реакцией по мере сил и возможности. Смерть Латура явилась для нее прекрасно помещенным капиталом, принесшим большие проценты. Смерть Латура дала очень удобный предлог для оправдания всяких жестокостей. Впрочем, и без этого предлога реакция, конечно, не была бы мягче.

В то время, как гром пушечных и ружейных выстрелов у арсенала разносился по всему охваченному восстанием городу, рейхстаг под председательством Смолки обсуждал положение дел. Он назначил комитет безопасности, убеждал сохранять спокойствие и принял составленный Пиллерсдорфом адрес, в котором к императору обращена просьба назначить новое „дружественное народу", „популярное" министерство, с оставлением однако в составе его Добельгофа и Горнбостля. Поздно ночью депутация направи-

лась в Шенбрунн, чтобы передать этот адрес императору. Другая депутация направилась к генералу Ауэрспергу, главнокомандующему расположенными в Вене войсками, и потребовала от последнего ничего не предпринимать против города. Генерал и без того не мог перейти в наступление

Фердинанд согласился назначить „дружественное народу" министерство, и депутация в восхищении возвратилась в Вену. Но тут вмешалась камарилья, успевшая несколько оправиться от своего страха. Рано утром 7-го октября она уже совершенно склонила императора на свою сторону. Он подписал манифест, звучавший совсем иначе, чем те обещания, которые были даны депутатам; после этого двор вместе с императором со всевозможной поспешностью отбыл в Ольмюц. Итак, на этот раз он отправился не к верным тирольцам, а к славянам, чтобы проявить по отношению к ним особую императорскую милость и показать, какое высокое место отводится им отныне в империи. Во время бегства крестьяне повсюду с почетом встречали Фердинанда, что вовсе не удивительно, особенно если вспомнить, что в самой Вене было не мало лойяльных революционеров.

В рейхстаге появился министр Краус и заявил, что у него имеется бумага, содержащая проект манифеста, уже скрепленный собственноручной подписью императора. Однако он с своей стороны не считает возможным подписать манифест, так как содержание его противоречит его конституционному образу мыслей. Он передает поэтому бумагу высокому дому, предоставляя ему сделать из нее „какое угодно употребление" [1]).

Эта мило разыгранная маленькая комедия привела рейхстаг в такой восторг, что он поспешил утвердить для ловкого Крауса налоги и кредиты. При дворе комедия была прекрасно понята и оценена, и Краус сохранял свою должность до самого 1851 года. Для двора было, без сомнения, очень важно сохранить в течение всей революции своего министра в Вене [2]).

В манифесте Фердинанд говорит, что его любовь и доброта, наконец, исчерпаны. Он сделал все: созвал рейхстаг, вернулся в Вену. „Но, — говорится там далее,—небольшая кучка заблудших угрожает гибелью надеждам всех истинных друзей отечества; анархия достигла крайних пределов. Вена охвачена убийствами и поджогами. Мой военный министр, которого должны бы защитить уже его преклонные лета [3]), убит руками разбойничьей шайки. Возлагая надежды на бога и мое право, я покидаю окрестности моей столицы, дабы найти средство пособить порабощенному народу. Все, кто любит Австрию, кто любит свободу, сплотитесь вокруг вашего императора",

---

[1]) Относящийся к тем дням анекдот рассказывает как рабочий вечером 6-го октября, измученный борьбою, вздыхал: „ну, и приходится же стараться для своего императора! Анекдот неудачен, так как рабочие были настроены меньше всего в пользу императора. Очевидно, рабочий был путаник.

[2]) Краус так ловко играл свою роль, что впоследствии, когда он вел переговоры с Виндишгрецем, он дал отвести себя в лагерь фельдмаршала с завязанными глазами. В Вене нашлись люди, придававшие этому огромную важность.

[3]) Мы не знаем ни одного случая, когда бы старость защищала от преследований реакции.

И они стеклись, все те, которые, по словам манифеста, „любят свободу“: царедворцы и придворные дамы, духовенство и дворяне, солдаты и бюрократы и толпа чешских черно-желтых депутатов рейхстага. Ригер тотчас же вступил в соглашение с Виндишгрецем, и последний соединил вместе все расположенные в Богемии и Моравии войска. Двор дал Виндишгрецу совет не вступать в переговоры с рейхстагом. Виндишгрец уже ранее был „на всякий случай“ назначен главнокомандующим всех войск монархии; но официально особые полномочия были сообщены ему только 16-го октября.

Начиная с 7-го октября, дороги, ведущие в Вену, представляли очень оживленную картину. „Добрые граждане“, капиталисты, рантье, одним словом, люди, которым было за что бояться, массами бежали из столицы. Мостовая Вены жгла им ноги, и вся атмосфера стала для них слишком душной. Они захватывали с собою по возможности все ценное и очень огорчались, что невозможно увезти дома. Города и деревни в окрестностях Вены были переполнены „веселыми“ венцами, стремившимися удалиться с театра борьбы; в одном Бадене их, говорят, приютилось до 20.000.

Теперь-то обнаружилось, какую ошибку сделала демократия, допустив выслать массу рабочих из Вены, а оставшихся укротить пулями вооруженного мещанства. Рабочие утратили былое доверие и уже не обнаруживали готовности всей массой защитить демократию, хотя 6-го октября и приняли энергичное участие в движении. Вождей их тоже уже не было, и этим затруднялось сближение с ними.

Раз демократия отважилась на такой смелый шаг, как открытое восстание, ей необходимо было, если она только не хотела погибнуть наверняка, решительно взять в свои руки кормило правления, у которого к тому же в данный момент никто не стоял. Демократии следовало сформировать правительство, организовать сопротивление камарилье и Виндишгрецу и всеми силами постараться укрепить союз с мадьярами. Необходимость такого союза была яснее дня; и в Вене и в Пеште он одинаково навязывался самым ходом событий.

Но демократия, когда в руки ее попала власть, обнаруживала детскую наивность и беспомощность. Не умея удержать власть в своих руках, она предоставила захватывать ее всякому желающему. А ведь от этой демократии в значительной степени зависела судьба всей Германии, так как в случае победы венской демократии движение в пользу германского единства стало бы непобедимым. Напротив, в случае победы черно-желтой реакции единая Германия становилась вообще невозможной.

Ауэрсперг, стоявший под Веной, не был уверен в своих войсках: они начали проникаться симпатией к венцам и были раздражены задержками жалованья.

Исход дела зависел от того, смогут ли венцы помешать соединению войск Виндишгреца, Ауэрсперга и Еллачича. Но в Вене не было человека с смелой инициативой, и Ауэрспергу позволили спокойно стоять со своими

войсками под Веной. Герой Еллачич между тем не решался приблизиться и старался скрыть свою трусость громкими фразами [1]).

Войска Ауэрсперга и Еллачича соединились уже 11-го октября, так что получилась в общем армия около 50.000 численостью; однако они еще не решались перейти в наступление, имея в тылу у себя венгров. Они дождались приглашения со стороны Виндишгреца. Последний издал прокламацию к чехам, в которой высказал уверенность, что спокойствие и порядок не будут нарушены в Праге. Доверие его не было обмануто, ибо Виндишгрец теперь участвовал в заговоре с теми самыми чехами, которых он с таким кровопролитием усмирял в июне.

В Вене, где еще не решались напасть на генерала Ауэрсперга и Еллачича, двигавшихся со своими войсками вокруг города без всякого определенного плана, национальная гвардия избрала своим главнокомандующим бывшего лейтенанта Венцеля Мессенгаузера, и рейхстаг утвердил его. Выбор был очень неудачен, так как Мессенгаузер был прекраснодушным мечтателем, почти флегматиком по темпераменту. В такое время нужен был человек с железной энергией, между тем как Мессенгаузер с трогательной преданностью силе рока шел навстречу своей печальной судьбе. Наиболее удачным шагом во всей его деятельности была передача польскому офицеру Иосифу Бему дела организации укреплений и защиты от внешнего врага. Бем вполне отвечал тем ожиданиям, которые на него возлагали [2]). Он сделал Вену способной к самозащите, забаррикадировал все входы и восстановил старые укрепления, насколько это было возможно. Вена несомненно могла бы долго выдерживать натиск неприятеля, если бы только она имела достаточное число защитников и более энергичных высших руководителей. Ничтожные подкрепления из Зальцбурга, Брюнна и некоторых других городов не могли особенно увеличить ее силы; крестьяне оставались в стороне от движения, особенно после того, как особым императорским манифестом им было гарантировано сохранение всего того, что они, как сословие, приобрели в мартовские дни. Этим они были вполне удовлетворены и предоставляли „горожанам“ справляться со своим делом на свой собственный страх и риск [3]). Одним словом, военные силы венцев исчерпывались 25.000

[1]) Депутации рейхстага, требовавшей, чтобы он оставил почву Австрии, на которую он принужден был вступить, вытесненный венграми, он ответил: „Как слуга государства, я обязан укрощать анархию, как солдат, я намечаю путь моего похода громом пушек“. Однако, пока что, он не спешил двигаться на гром пушек.

[2]) Бем участвовал еще в наполеоновском походе 1812 года. Преследуемый русскими, подвергавшийся ужасному тюремному заключению, он сделался пламенным врагом России. Во время польского восстания 1830—31 гг. он отличился блестящим артиллерийским нападением в битве под Остроленкой. Бем, очевидно, надеялся, что победа венской демократии и мадьяр приведет к восстановлению Польши; поэтому он поспешил в Вену и в качестве члена лембергской национальной гвардии отдал себя в распоряжение рейхстага. Он сумел достигнуть уважения и доверия войск несмотря на то, что едва изъяснялся по-немецки.

[3]) Крестьяне из окрестностей Вены воспользовались случаем для того, чтобы во время кризиса требовать с венцев непомерно высокие цены за продовольственные продукты.

человек, в то время как императорское войско было почти вчетверо многочисленнее.

Пока еще не летали пули, Вена была заполнена потоком прокламаций. Рейхстаг пожелал выступить посредником и предложил императору созвать из всех народностей Австро-Венгрии конгресс мира; между тем находящиеся в Праге чешские представители рейхстага объявили все его постановления недействительными и обвиняли левую в участии в убийстве Латура. Эти чешские национальные фанатики играли самую печальную роль в великой смуте. Император заявил, что он вынужден выступить против венского восстания, наказать убийц Латура и „вместе со свободой обеспечить также порядок",—и все это в согласии с рейхстагом. Впоследствии он прибавил, что дарованные права и вольности останутся неприкосновенными и дело конституции будет продолжено. Венграм он также обещал равноправие, но лишь после того, как будет восстановлен „порядок".

Венский рейхстаг приписывал себе огромную важность и все же не имел мужества взять в свои руки руководство движением. Еще 20-го октября он призывал народы Австрии поддержать Вену „моральной силой" и заклинал императора назначить „дружественное народу" министерство и отозвать войска.

Центральное правительство во Франкфурте на Майне тоже вмешалось в распрю и по постановлению парламента командировало в качестве имперских комиссаров Велькера и Мосле с целью посредничества. Это была одна из многих великолепных комедий, разыгранных „центральною тенью"[1]). Комиссары явились в Ольмюц к бежавшему двору, и там их попросили не мешаться во внутренние дела Австрии. С этим они принуждены были удалиться, но решили попытать еще счастья у Виндишгреца; последний пригласил их к столу и в виде десерта сообщил, что ему нет никакого дела до центрального правительства и его комиссаров. Велькер пожал здесь лишь то, что он посеял; однако другим пришлось сильнее расплачиваться за его глупости, чем ему самому.

После того как предложение, направленное к поддержке Вены, не собрало большинства во франкфуртском парламенте, левая решила послать от себя депутацию в Вену. Она избрала для этой цели Роберта Блюма, Морица Гартмана, Юлиуса Фребеля и некоего Трампуша, который вскоре постарался исчезнуть. Депутация левой явилась в Вену 17-го октября. Роберт Блюм, принятый с шумным восторгом, сказал в Вене на торжественном собрании одушевленную речь; однако вскоре он убедился, что всякие речи уже излишни[2]). Когда началась борьба, Блюм, Гартман и Фребель вступили в отряд избранных, находившийся под командой бывшего императорского офицера Гаугка.

---

[1]) Так называли в народе центральное правительство.

[2]) „Если Вена не победит, от нее останется лишь куча пепла и развалин", писал он своей жене.

В то время как ноты разносили по миру прекрасные слова, венцы на деле узнали, с каким врагом они имеют дело. После поспешного отступления корпуса Ауэрсперга 12-го октября на месте его лагеря было найдено несколько трупов, между прочим труп одного студента академического легиона, страшно обезображенный. Вся Вена была охвачена негодованием. Толпа принесла труп к рейхстагу, взывая о мести. Шуселька старалась успокоить народ [1]).

Как и обыкновенно бывает при народных восстаниях, о так называемом „неистовстве черни" распространялись самые смелые небылицы. Взрыв ярости венского народа нашел себе жертву в лице Латура; но потом волнение улеглось и порядок в городе не нарушался. Даже дворцы, боровшейся против Вены, аристократии не были повреждены; замок Виндишгреца остался нетронутым. Все, позволявшие себе насилия, подвергались наказанию. Венцы и не думали воспользоваться богатствами банка, хотя, если бы они их забрали себе, они несравненно чувствительнее поразили бы врагов, чем своими пулями.

Но благодушие и беспечность венцев, не заботившихся о назначении сильной диктатуры и все предоставивших слабому рейхстагу, привели их к гибели. Из всех многочисленных манифестов, нот и парламентских постановлений тех дней для венцев имело значение лишь одно: заявление венгерского рейхстага от 10-го октября, предложившее венскому рейхстагу помощь венгров. Венгерский рейхстаг объявил императорский указ о распущении, не подписанный к тому же ни одним венгерским министром, противным конституции и недействительным и постановил продолжать свои заседания. Венский рейхстаг, провозгласивший себя бессрочным, совершил почти невероятную глупость, а именно вступил в связь с венским коммунальным советом в переговоры относительно предложения венгров и таким образом бесконечно затянул дело. Пылкие мадьяры, раздраженные этим, приняли необдуманное решение ограничить операции своей армии только своей собственной областью. Ведь они должны же были знать, что такое венский рейхстаг, известно им было также, что венский народ восстал за венгров и в надежде на их поддержку. Падение Вены должно было стать падением Венгрии, точно так же как поражение венгров—поражением всей Германии. Мадьяры должны были в своем собственном интересе предложить руку помощи венцам, не обращая внимания на нерешительный рейхстаг.

Таузенау, по поручению тайного комитета пяти, образованного венской демократией, поспешил в Венгрию и постарался побудить Кошута отправить военные силы из Венгрии в Вену. Когда вождь венской демократии увидел, что дело идет не так, как бы ему хотелось, и что предприятие его не удалось, он сказал Кошуту: „Всемирная История будет судьей между мною и вами!" Фраза эта была, впрочем, не вполне справедлива, так как ответственность за падение Вены лежит на рейхстаге и на

[1]) Реакционеры сочинили впоследствии нелепую басню, будто демократы сами так ужасно обезобразили труп, чтобы сильнее возбудить народ.

венской демократии, по крайней мере в такой же степени, как на венграх [1]).

Кошут был настолько проницательным политиком, что должен был понять необходимость двинуть войска на Вену. Ему следовало лишь сделать это как можно раньше. Не надо однако забывать, что ему приходилось считаться с очень серьезными препятствиями. Двусмысленное поведение венского рейхстага, вызванное этим возмущение венгров, упорство венгерских офицеров, все еще колебавшихся прийти на помощь австрийцам,—все эти обстоятельства связывали Кошута по рукам и ногам. Обе стороны относились друг к другу с недоверием. Несчастный национальный фанатизм сказался и здесь.

Тем не менее Кошут неустанно работал в направлении своей цели. 16 и 21 октября венгры, под начальством генерала Мога, предприняли наступательное движение к Вене. Но каждый раз они снова возвращались за Лейту. Этот злосчастный генерал Мога, очевидно, не имел никакого представления о сущности возложенной на него задачи. Кошут не уступал. Он выставил еще 12.000 человек и несколько батарей и созвал большой военный совет в Никельсдорфе. Здесь он произнес речь, в которой сказал, что венцы—самые верные союзники Венгрии против реакционных генералов Австрии; венцам венгры обязаны величайшей благодарностью, и долг чести повелевает нации оказать помощь Вене. Офицеры молчали; наконец, Артур Гергей взял слово и заметил, что в политике он ничего не понимает, военные же соображения все говорят против движения на Вену. Около Вены сосредоточены 100.000 человек с 265 орудиями; венгерская армия насчитывает 20.000 регулярных войск и столько же народной милиции, она располагает всего 50 орудиями. Кошут спросил, как высоко Гергей ценит то одушевление, которое будет вызвано его речами. „В лагере,—ответил Гергей,—очень высоко, после тяжелых переходов в виду неприятеля—очень низко".

Мнение Гергея восторжествовало, и венгры не двинулись дальше. Преобразование Германии, поскольку оно тогда еще было возможно, всецело зависело от своевременного вступления венгров в Вену. Явись они туда раньше соединения Виндишгреца и Еллачича, войско последнего должно было бы уступить объединенным силам венгров и венцев. Виндишгрец один также не был бы в состоянии справиться с победителями, тем более, что он отличался совершенным отсутствием всякого стратегического таланта. Италия получила бы новый импульс, и во всей Германии движение окрепло бы снова; возможно таким образом, что конституционная работа,

---

[1]) Таузенау не вернулся назад в Вену. За это его обвиняют в трусости; но для этого нет никаких оснований,—трусом он не был. Несомненно во всяком случае, что возвращение его не изменило бы положения дел. Он уже со времени майских восстаний не знал, что делать; и вряд ли он сумел бы что-нибудь сделать в последние бурные октябрьские дни в Вене. Он бежал в Лондон, где ему жилось очень недурно, и где он умер в семидесятых годах.

предпринятая свежими силами, доведена была бы до конца, до окончательного растворения Пруссии в Германии. Но довольно предположений.

На военном совете в Никельсдорфе впервые выступило влияние Гергея, этого замечательного человека, ставшего впоследствии злым гением Венгрии; что касается данного случая, то с чисто военной, технической точки зрения он, пожалуй, был прав. Тридцатилетний майор Гергей пользовался большим уважением; его главной заслугой до сих пор было взятие арьергарда Еллачича. Его военный гений скоро развернулся в полном блеске, так что венгры готовы были видеть в нем прирожденного национального полководца. Он обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы вести свой народ к победам, если только он этого действительно хотел. Его несокрушимая энергия обнаружилась еще в сентябрьские дни, когда он отдал под военный суд и без всяких колебаний повесил графа Евгения Зичи, обвиненного в измене [1].

После того как пештский рейхстаг назначил новое министерство с чрезвычайными полномочиями, Кошут—глава этого министерства—опять сделал попытку вступить в переговоры с Виндишгрецем; он требовал распущения войска кроатов, признания венгерской конституции и снятие осады с Вены, обещая, что на этих условиях венгры не перейдут через Лейту. Виндишгрец дал свой обычный ответ: „С бунтовщиками я не веду переговоров“, а Еллачич арестовал венгерского парламентера. Тогда только венгры убедились, наконец, насколько серьезно их положение, и 28-го октября двинулись на Вену.

Было уже слишком поздно. 20-го октября Виндишгрец из Лунденбурга объявил Вену на осадном положении; 22-го октября его главная квартира была уже в Штаммерсдорфе, где он объявил депутации парламентеров от венского коммунального совета, что он требует безусловной сдачи города. Мессенгаузер боролся против него прокламациями и наивно требовал, чтобы он не препятствовал подвозу жизненных припасов в Вену и не тормозил „великого дела примирения между монархом и народом“.

В то время как Мессенгаузер занимался этой детской игрой, Бем подготовлял Вену к обороне. Академический легион составлял ядро боевых сил

---

[1]) Гергей, ранее гусарский лейтенант, много занимался химическими опытами. Человек, прилежно работавший в лаборатории с подвязанным на груди фартуком, умел на поле сражения воспламенять пылких мадьяр своей рыцарской осанкой. Верхом на коне, в сверкающей на солнце красной мантии, с развевающимся белым пером на шляпе, бросился он во время большого сражения при Коморне в самую гущу сечи с криком: „Вперед, мадьяры! Пули сегодня попадут только в меня!“ Таков и должен быть, по понятиям венгров истинный герой. Он презирал людей, относясь ко всему в мире с ядовитой иронией. В юности он с глубоким негодованием видел, как неспособные аристократы получают систематическое предпочтение перед ним, несмотря на все его таланты; ему пришлось затем перенести жестокую нужду; впоследствии свобода родины также не могла внушить ему бескорыстного воодушевления; движущей пружиной всей его деятельности было неукротимое честолюбие. Здесь лежит ключ к пониманию всей его жизни.

Вены; остальные войска Бем разделил на постоянную и летучую гвардию. Постоянная гвардия состояла из отцов семейств, по большей части представителей мелко-буржуазного слоя; члены ее главное внимание обращали на парадную, выставочную сторону дела; они целые вечера проводили в кабачках, больше всех гремели по мостовой своими длинными саблями, больше всех произносили речей. Во время сражений они делали немного и по большей части держались в стороне от битвы; многие уже заранее подготовлялись к тому, чтобы в случае поражения выставить себя жертвами революции, а не участниками ее. Летучая гвардия достигала 10.000 человек, состояла почти исключительно из рабочих и, по словам одного современника, она собственно и составляла все войско, защищавшее Вену; „она сражалась на укреплениях и охраняла спокойный сон постоянных“. Офицерами летучей гвардии были студенты и перешедшие на сторону народа унтер-офицеры; каждый член ее получал ежедневно 25 крейцеров жалованья, бутылку вина, хлеб и немного табаку [1]). Вдовам павших в бою предполагалось выдавать 200 гульденов пенсии, детям их 30 гульденов ежегодного пособия на обучение.

22-го октября появился императорский декрет, закрывший „постоянный и не подлежащий распущению“ рейхстаг и приглашавший его, начиная с 22-го ноября, перенести свои заседания в Кремзир, где работам собрания ничто не мешать. Когда этот декрет стал известен рейхстагу, последний отправил к императору адрес, в котором убеждал не отсрочивать заседаний и в то же время оспаривал, что в Вене господствует „анархия“ и „мятеж“. Все эти словесные ухищрения не имели, конечно, никакой цены теперь, когда начали говорить пушки, и бессильный парламент утратил всякое значение. Провозглашение парламентом, что действия князя Виндишгреца незаконны и „враждебны правам трона“, не имело также ни малейшего практического смысла и в лучшем случае свидетельствовало о некоторой путанице понятий.

Отдельные стычки давно уже происходили перед городом; теперь Виндишгрец выдвинул тяжелые орудия. Войска могли подвигаться лишь очень медленно, так как венцы сражались с отчаянной храбростью. Пули и ядра не могли прогнать их с баррикад; большинство последних, точно так же как и укрепленные дома, приходилось очищать в конце концов штыковой атакой. Роберт Блюм, Фребель и Мориц Гартман участвовали в сражении. Блюм в большой речи, сказанной в университетской актовой зале, заявил, что долг франкфуртских народных представителей взять в руки оружие [2]),

---

[1]) Продовольствие и снабжение армии были поставлены очень плохо. Один старик, бывший член венской летучей гвардии, живший впоследствии на Боденском озере, рассказывал автору, как он с несколькими сотнями других гвардейцев должен был проводить ночи на площади Стефана. Было очень холодно. Бем велел доставить гвардейцам солому, но привезли так мало, что на каждого пришлось едва ли не по соломинке.

[2]) В газете „Радикал“, выходившей под редакцией Бехера и Еллинека, Блюм обращается к князю Виндишгрецу со словами: „не повесишь, пока не захватишь“! Это еще больше увеличило ненависть, которую фельдмаршал и без того питал к „газетным писакам“.

26 октября битва кипела по всей линии между Нусдорфом и Сент-Марксом. Императорские войска сильно подвинулись вперед, хотя и натолкнулись на сопротивление, гораздо более решительное, чем ожидали, особенно в тех местах, где непосредственно распоряжался Бем. Виндишгрец мог бы уже вечером в этот день вступить в город, но не решился этого сделать и даже вывел часть своих войск назад из занятых ими позиций. 28 октября Виндишгрец, квартира которого находилась теперь в Гецендорфе, начал решительный штурм. В десять часов утра он открыл бомбардировку, осыпавшую город целым градом бомб, гранат, картечи и разрывных снарядов. В то время как императорские войска под прикрытием своих пушек строились в штурмовые колонны, в городе барабаны били тревогу и разносились звуки набата. Глоггницкий вокзал был взят императорскими войсками при четвертом натиске, при чем они потерпели значительные потери; защитники были частью перебиты, частью погибли в пламени. Затем атакующие направились против баррикад на Егерцейле, где командовал Бем и боролся цвет радикального юношества Вены, Зальцбурга, Брюнна и Граца. Осыпаемые гранатами и картечью баррикады держались более двух часов, и императорские войска после троекратного приступа были отбиты с большими потерями. Боевое одушевление достигло здесь высшего пункта. Но в это время войска взяли соседние улицы и окружили баррикады со всех сторон. Защитникам, обойденным сзади, едва удалось спастись во внутренний город, тем не менее благодаря хладнокровию и мужеству Гаугка они сумели еще захватить с собой часть пушек. Леопольдштадт не мог уже после этого сопротивляться. Войска стояли таким образом прямо перед внутренним городом. Общий вид Вены производил самое зловещее впечатление: везде к небу поднимаются огненные языки, атмосфера полна дыму и копоти. Город, по словам одного очевидца, имел такой вид, как будто вы его рассматриваете через красное стекло.

В этот же вечер чешские солдаты показали себя во всей красе. Предместья были разграблены, многие дома нарочно подожжены; из одной только улицы вынесли впоследствии 57 трупов людей, вовсе не участвовавших в сражении. Захваченные в плен инсургенты, как говорят, целыми толпами расстреливались на полях перед городом [1]).

Положение Вены стало безнадежным, хотя мужество ее защитников, особенно летучей гвардии, осталось несокрушимым. Эти храбрецы не хотели и слышать о сдаче. Боевых припасов и провианта оставалось очень мало. Между тем часть населения, не принимавшая участия в борьбе, настоятельно требовала сдачи города. Мессенгаузер заявил, наконец, на совете вождей, что дальнейшая защита Вены невозможна, и что поэтому необходимо послать депутацию к Виндишгрецу. Коммунальный совет почувствовал, что наступило его время вмешаться и отрядил из своих членов трех депутатов: к ним присоединилось еще четверо.

---

[1]) После такой ярости, проявленной славянами, нет ничего удивительного в том, что военное положение, введенное после падения Вены, вырвало не так много жертв, как опасались сначала.

29 октября депутация явилась к князю на главную квартиру и должна была перенести от него все высокомерие победителя. Он даровал перемирие на двенадцать часов в ожидании, что город в течение дня сдастся. Один из депутатов был настолько наивен, что просил о сохранении академического легиона. „Нет,—воскликнул Виндишгрец,—это хозяйничанье конюхов должно прекратиться“.

В городе между тем царствовало полное смятение. Везде кричали об измене. Филистеры, державшие себя весьма двусмысленно во время сражения, подняли голову и угрожающе требовали немедленной сдачи города. Перешедшие на сторону восстания солдаты не хотели и слышать об этом; они сговаривались между собой пристрелить друг друга, если город будет взят. Блюм и Фребель были также за сдачу: они видели, что все пропало.

Вожди восстания держали совет, на котором разразились очень бурные прения. В конце концов Мессенгаузер произвел подсчет голосов и объявил, что большинство высказалось за капитуляцию. Поднялся невыразимый шум. Мессенгаузеру кричали в лицо, что он предатель. Бедняга совершенно потерял голову, убедившись, что его все обвиняют в несчастии, в котором на самом деле, кроме него, было не мало и других виноватых. Он выпустил прокламацию с заявлением, что все припасы исчерпаны, и что боевых снарядов хватит всего на четыре часа [1]).

Возбуждение народа все возрастало, и если бы Мессенгаузер попался в руки разъяренной толпы, его, вероятно, постигла бы столь же печальная участь, как и министра Латура. Под влиянием гнева и отчаяния люди, в обычное время столь решительные, совершенно обезумели; ведь венцы прекрасно знали, какого сорта враг стоит перед воротами города. Было предложено в виде мести за опустошение, произведенное бомбардировкой, поджечь императорский Гофбург. Феннер фон-Феннеберг [2]) занял дворец отрядом летучей гвардии и помешал его разрушению.

Вена превратилась в хаос, в котором люди с беспорядочным криком метались из стороны в сторону; коммунальный совет ночью 30 октября отправил новую депутацию к Виндишгрецу, заявляя о сдаче города. Колеблющиеся между страхом и надеждой отцы города просили князя как можно скорее ввести свои войска; очевидно, они боялись до крайности раздраженного народа. Они замолвили, кроме того, словечко за перешедших на сторону демократии солдат и просили свободного пропуска для всех, желающих покинуть Вену. Виндишгрец, не скрывая уже более своей свирепой радости, презрительно отверг все эти предложения и попросил депутацию позаботиться о том, чтобы „зачинщики“ не спаслись бегством. Под этим именем он разу-

---

[1]) „Мы погибаем не от недостатка боевых припасов, а от избытка предательства“, говорил между тем народ.

[2]) Феннер фон-Феннеберг был сыном одного австрийского фельдмаршал-лейтенанта; он служил офицером в австрийской армии и перешел на сторону демократов. Он выступал также в качестве журналиста. Убеждения его были очень радикальны, но военными талантами он не отличался.

мел Мессенгаузера, Бема, Феннеберга, Гаугка, народного оратора доктора Шютте и с дюжину других.

30 октября Виндишгрец должен был занять город, как бы застывший в тупом ожидании своей судьбы. Уже начали исчезать калабрийские шапки, в которых ходили революционеры, и трусы стали выдвигаться на первый план. На площади Стефана теснилась масса пораженного отчаянием народа. Вдруг раздается крик: „В е н г р ы и д у т!“ С колокольни св. Стефана, где был учрежден постоянный наблюдательный пункт, упала записка, на которой было написано это радостное известие.

Как мощный толчок, подействовало это известие на покоренную Вену; она снова поднялась для ожесточенной, отчаянной борьбы. Масса нисколько не смущалась тем, какое соглашение состоялось между Виндишгрецом и коммунальным советом. Перед ней блеснул луч надежды—и с валов опять началась пальба из пушек по императорским войскам; борьба разразилась с прежней силой.

Венгры действительно приближались; 28 октября они перешли Лейту. Но движение их было настолько медленно, что Виндишгрец прекрасно мог подготовиться к их появлению. Естественно, что когда, наконец, 30 октября венгры подошли к Вене, они натолкнулись (при Швехате) на превосходные силы Еллачича. В различных источниках силы венгров указываются различно; по всей вероятности, в их распоряжении было около 15.000 регулярных войск и до 30.000 ополченцев: пушек у них было более 50. Венгерская кавалерия состояла всего из 1.000 человек. Войска Еллачича определяют в 50.000 человек; столько же оставалось под Веной, так что соединенные силы австрийцев равнялись почти 100.000, против такой массы венгры, даже соединившись с венцами, мало могли бы сделать.

Командовал венграми все тот же неспособный Мога; распоряжения его в этот день были до такой степени неудачны, что некоторые утверждали, будто он нарочно дал разбить свои войска неприятелю. Но Еллачич также не был лучшим полководцем, и оба они некоторое время оставались в нерешительности, предоставляя друг другу начать сражение. Наконец Кошут, находившийся при венгерском войске, побудил венгров к наступлению.

В начале венгры сражались не без успеха, особенно на правом фланге. Безумно храбрый гонвед-майор Гюйон [1]) с батальоном пештских волонтеров и батальоном шеклеров (румынских венгров) с такой силой напал на занятую Еллачичем деревню Мансверт, что последняя тотчас же сдалась, и красные мантии Еллачича были совершенно выбиты из позиции. Центр венгров двигался к Швехату, и Еллачич начал отступать. Но трепет все сильнее и сильнее обнимал Могу: он боялся быть окруженным конницей Еллачича. Таким образом движения венгров были приостановлены, хотя натиск австрий-

[1]) Натурализовавшийся в Венгрии англичанин: до 48 года служил в Португалии, но тут поспешил принять участие в борьбе за освобождение Венгрии. Когда в сражении при Мансверте была убита его любимая лошадь, он воскликнул: „Д о р о г о ж е п о п л а т я т с я з а э т о а в с т р и й ц ы“! И они действительно поплатились не дешево.

ской кавалерии был отбит. Казалось, Мога совсем потерял голову: в полном замешательстве отдавал он свои приказания. Картина сражения скоро изменилась. Венгерские ополченцы, отрезанные артиллерией Еллачича, обратились в бегство [1]), и Кошут напрасно старался остановить панику. Смятение в рядах венгров все усиливалось, так что пришлось, наконец, отдать приказ об общем отступлении. Попытка освободить Вену не удалась, город был окончательно отдан на произвол врага. На следующий день венгры уже опять стояли за Лейтой.

Если бы в городе еще остались энергичные руководители, они несомненно напрягли бы все силы, чтобы подать руку помощи венграм. Но сила сопротивления уже была сломлена. Бем, единственный человек среди вождей обороны, способный выполнить такой маневр, убедился в безнадежности дальнейшего сопротивления и исчез; он не присутствовал при обсуждении условий капитуляции. Впрочем, так как он не был главнокомандующим, вряд ли бы и ему удалось оказать действительную помощь венграм. Впоследствии венгры сваливали вину за неудачу своего похода на бездеятельность венцев. Спор этот не имеет никакого смысла для того, кто знает, как в действительности произошло дело и какие обстоятельства оказали при этом свое влияние.

Во время битвы при Швехате и впоследствии, когда лихорадочно возбужденный народ Вены снова схватился за оружие и начал пальбу с укреплений, Мессенгаузер находился на колокольне св. Стефана и наблюдал за ходом сражения. От времени до времени вниз на толпу, кипящую на площади Стефана, слетали с колокольни записки; первые благоприятные известия были приняты народом с шумным ликованием. Когда в первые моменты казалось, что венгры победоносно наступают по всей линии, с колокольни было отдано приказание, чтобы каждый стал под ружье, на случай, если разбитое войско приблизится к стенам города.

Это не являлось нарушением капитуляции, так как формально капитуляция не была еще подписана. Но Виндишгрец пришел в величайшую ярость, когда со стен Вены снова открыли огонь. „После этого Мессенгаузера необходимо повесить!“—говорят, воскликнул он. Между тем, Мессенгаузер ни за что не соглашался сделать вылазку.

Наконец, с колокольни Стефана заметили отступление венгров. Мечтатель Мессенгаузер посреди адского шума битвы, грома пушек, звуков набата, посреди этого всеобщего смятения, разговаривал с литератором Бертольдом Ауэрбахом о будущих драматических трудах. Явились посланцы и требовали разрешения напасть на Леопольдштадт. Но от Мессенгаузера ничего нельзя было добиться. В конце концов отряд студентов принудил этого злополучного военачальника отказаться от своего поста и поставил на его место „террориста“ Феннера фон-Феннеберга. Коммунальный совет

---

[1]) Неподражаемый Мога, вместо того чтобы всеми силами стараться удержать бегущих, в беспомощном отчаянии обратился к Кошуту: „Ну, вот видите! Ведь я же говорил, что так будет. Теперь они бегут—и все пропало“!

просил между тем Мессенгаузера не слагать с себя командования. Мессенгаузер и Феннеберг в течение ночи сговорились между собой, но к утру им уже некем было командовать: покинутый и проданный народ боролся на свой риск и страх.

Да, проданный! потому что ночью коммунальный совет просил князя Виндишгреца как можно скорее вступить в город, чтобы защитить последний от „эксцессов черни". Благородные отцы города должны были испытать большой страх, когда им впоследствии довелось узнать, что чернь, несущая с собой эксцессы, в данное время находилась не в черте города, а перед городскими стенами.

Виндишгрец требовал безусловной сдачи, и Мессенгаузер, Феннеберг и Гаугк издали воззвания, в которых объявили всякое дальнейшее сопротивление тщетным. Но вооруженный народ не покидал стен. Позади депутации коммунального совета, направившейся к фельдмаршалу заявить о сдаче города, ворота были закрыты и забаррикадированы. Снова раздался набат, и загремела канонада с городских стен.

31 октября, в 3 часа пополудни, Виндишгрец начал бомбардировку. Она была беспощадна; снова несчастный город был осыпан градом снарядов; на улицах, на крышах домов сотнями разрывались гранаты, а ракеты во всех направлениях бороздили воздух. Там и сям вспыхивали пожары [1]). „Вена имела такой вид, как будто через нее пронеслись один за другим двадцать опустошительных ураганов", говорит депутат патер Фюстер. Башня церкви августинцев и библиотечный флигель Гофбурга были объяты пламенем; бомбардировка не щадила того, что пощадил венский народ. Перед зданием заседаний рейхстага также падали один за другим снаряды, по всей вероятности намеренно направленные туда, так как постоянная комиссия рейхстага не расходилась. „Надо было обладать крепкими нервами, чтобы сохранять спокойное состояние духа", говорит Шусселька, присутствовавший при этом.

Эта ужасная канонада сломила слабое и неорганизованное сопротивление, в котором участвовало значительное число женщин. Укрепления и улицы покидались инсургентами. Многие, впрочем, мужественно выдерживали до конца [2]). В пять часов вечера кроаты бурно прорвались сквозь развалины разрушенных городских ворот. Наступил финал; в окнах появились белые флаги, и малодушные филистеры предложили победителю свои услуги в качестве шпионов. „Это—вороны над нашими трупами", сказал кто-то Морицу Гартману.

---

[1]) Мориц Гартман рассказывает, что он сам видел, как в музей попадали снаряды, поджегшие это здание. Впоследствии защитников Вены обвиняли в поджоге музея: совершенно так же, как опустошения, произведенные бомбардировкой г. Тьера в Париже 1871 года, поставили в вину коммуне. „Партии порядка всегда остаются одинаковыми".

[2]) Один отряд летучей гвардии торжественно пел за баррикадой кантату „Боже, спаси короля Франца", в то время как кругом свистели гранаты и ракеты.

Гартман, депутат и поэт, принимавший участие в борьбе и лишь с большим трудом избежавший плена, был очевидцем последних минут венской революции; мы процитируем его классическое описание этого момента [1]).

„На Крестьянском рынке,—рассказывает Гартман,—мы внезапно услышали звук тревоги; среди грома пушек, треска лопающихся гранат и отовсюду летящих обломков треск барабана производил в высшей степени тревожное и в то же время возбуждающее впечатление. На Гогенмаркте мы увидели, откуда раздавался этот треск. Гогенмаркт был пуст, как и все остальные площади и улицы в тот момент. Жители попрятались в подвалах или держались во внутренних комнатах домов, где они считали себя в большей безопасности от ядер. Через большую, точно вымершую площадь шел один пятидесятилетний рабочий, впереди которого марширован маленький мальчик лет десяти. Ребенок нес большое черно-красно-золотое знамя, старик бил в барабан. Он не смотрел ни направо, ни налево; бомбы перелетали через его голову, разрывались за ним, перед ним; он шел вперед размеренным шагом и бил генерал-марш; он бил с такой силой, как будто хотел пробудить от смертного сна погибший мир. Мальчик со знаменем спокойно шел впереди, а старик все шагал и бил в барабан. Мы замерли при этом зрелище, слезы выступили у нас на глаза. „Дорогой друг,—сказали мы ему,—бросьте это, теперь уже все кончено".—„Нет,—отвечал старик,—они должны выйти, они должны еще раз выйти; не может быть, чтобы дело погибло!" Говоря так, он все шел вперед, все бил в барабан, а мальчик спокойно нес свое знамя, оглядываясь по сторонам, не идут ли „они". Они не пришли!..

„Уже вечерние сумерки тихо спускались на город, когда мы снова пришли в Грабен. Пушки внезапно замолкли и стало совершенно тихо. Минут через десять человек тридцать студентов и рабочих приблизились от Кольмаркта и быстро пробежали через Грабен по направлению к площади Стефана. На бегу они оглядывались назад, как бы ожидая преследования. Еще через несколько минут появился Бехер с обнаженной саблей в руке в сопровождении совсем маленькой кучки людей [2]). Они также осматривались, проходя быстрыми шагами через Грабен. Очевидно, они бежали от австрийцев. И в самом деле, как оказалось впоследствии, некоторые национальные гвардейцы открыли ворота императорским солдатам; Бехер со своей кучкой стоял на бастионе; если бы они быстро не отступили, они были бы отрезаны и окружены. Через какие-нибудь две минуты после Бехера показались на площади и австрийцы. Прежде всего явился небольшой отряд человек в 12

---

[1]) „Bruchstücke revolutionärer Erinnerungen. III. Wiener Octobertage, abgedruckt in den „demokratischen Studien" von Ludwig Walesrode (1861) и в собрании сочинений Гартмана, т. 10.

[2]) Уже упомянутый редактор „Радикала", музыкальный и тонкий литературный талант друг Николая Ленау. На такие жертвы черно-желтая реакция набрасывалась с особенной любовью. Кстати сказать, в эти дни одна шальная граната попала в дом для умалишенных в Деблинге, где в своей камере сидел несчастный Николай Ленау. Как трагично было бы, если бы граната сразила сумасшедшего поэта.

с ружьями на-перевес; впрочем, по правде сказать, трудно было определить, в каком положении они старались держать свое оружие. Они буквально дрожали с головы до ног, так что ружья то подкидывались кверху, то опускались вниз. При этом они пугливо посматривали направо и налево на окна и непрестанно вскрикивали: „здорово, друзья! здорово, друзья!“ То же самое делала вся рота, следовавшая за ними по пятам, простые солдаты точно так же, как и офицеры. Последние опускали свои шпаги перед окнами в знак привета и тоже кричали: „здорово, друзья! здорово, друзья!“ Можно было почувствовать только сострадание к этим бедным солдатам, так трепетавшим перед ожидаемым нападением. Народ, внезапно окруживший их со всех сторон, держал себя тихо. Но тут произошло нечто поразительное. Словно по сигналу сразу открылись сотни окон, так закрытых и завешенных в течение последних трех недель, как будто население домов все сплошь вымерло, в окнах показались человеческие фигуры, сотни носовых платков замахали по направлению к солдатам и отовсюду раздалось громовое: „да здравствует император!“ Это, в свою очередь, послужило сигналом для народа; оглушительный свист совершенно покрыл лойяльные крики даже в среде победителей, которые как раз в этот момент начали свое победоносное вступление, правда, пока очень осторожно и боязливо. Свистящая толпа сопровождала победителей вплоть до Шток-ам-Эйзенплац. Оттуда раздалось несколько выстрелов. Их выпустил Бехер. Он снова успел засесть со своими товарищами в засаду и принял победителей посреди побежденного города залпом. Потом наступила тишина. Спустилась ночь. Вместе с ней спустился занавес над великой драмой и началась оргия мести“.

Вскоре черно-желтое знамя развевалось над башней св. Стефана.

Виндишгрец опять объявил Вену на осадном положении; академический легион и национальная гвардия были распущены, союзы и собрания запрещены, печать подчинена цензуре, за каждое сопротивление властям угрожал военный суд. Затем предприняты были многочисленные обыски в поисках за людьми и оружием и все подозрительные дома осмотрены до последнего закоулка. Арестов была такая масса, что уже через несколько недель пришлось многих снова выпустить на свободу; были задержаны сотни людей, против которых не имелось решительно никаких данных.

Город со своими опустошенными бомбардировкой улицами имел ужасный вид; но еще ужаснее были циркулировавшие кругом темные слухи. Нет, разумеется, никакой возможности установить, насколько они соответствовали истине, правда ли, что перед городскими воротами массами без всяких формальностей расстреливались восставшие, взятые в плен как во время самого сражения, так и после него. Известно, насколько все преувеличивается в момент такого общего возбуждения. Однако стоит, повидимому, вне всяких сомнений тот факт, что в частях города, где расположились кроаты и другие славянские братушки, повторились все ужасы Тридцатилетней войны с ее убийствами, грабежами, поджогами и изнасилованиями. Мы не станем обращаться к сомнительным по своей достоверности отчетам тогдашних газет, мы будем черпать наши сведения из совершенно иного источника.

В заседании франкфуртского парламента 24 ноября 1848 года депутат Циммерман из Шпандау предложил избрать комиссию для расследования тех злодеяний, которые были произведены в Вене войсками, а равным образом для того, чтобы установить, в какой мере виновные понесли наказание. Циммерман особенно настаивал на том, что не только кроаты и другие славяне, но также немецко-австрийские солдаты участвовали в зверствах. Сведения о зверствах, доставленные депутату из вполне достоверного источника, были сгруппированы им в 16 пунктов. Здесь приводятся многочисленные факты краж, уличного грабежа, убийства раненых и безоружных, искалечения женщин и мужчин еще при жизни, нахождения женских трупов со следами самых зверских истязаний [1]). Особенно часто встречается обесчещение и изуродование женщин и детей. Циммерман говорит далее, что коллекции знаменитого анатома Гиртля также были испорчены расходившимися солдатами. Многие дома были оцеплены, чтобы уничтожить следы зверских сцен. И о каннибалах, совершавших такие вещи, черно-желтые утверждали, что они были необходимы, как оплот против „эксцессов черни"; между тем за все время восстания, если не считать исключительного случая с Латуром, имущество и жизнь черно-желтых не подвергались в Вене ни малейшей опасности.

Возможно, что в отчете Циммермана есть, как это часто бывает, некоторые преувеличения; но во всяком случае приводимые им факты, несмотря на многократные попытки черно-желтых отрицать их, ни разу не были опровергнуты.

Франкфуртский парламент, всецело находясь в это время во власти реакционеров, не признал неотложности предложения и передал его в комиссию для австрийских дел; последняя обратилась к центральному правительству с представлением относительно проверки фактов, указанных в записке. Впрочем, если бы парламент и принял предложение Циммермана, при общем положении дел это тоже не имело бы значения.

Согласно произведенному подсчету, число инсургентов, погибших во время осады и при взятии Вены, определяется от пяти до шести тысяч человек. Столько народа; если только эта цифра правильна, не могло пасть в сражениях; особенно невероятно это по сравнению с официальными данными о потерях войск. Если верить официальному отчету, армия потеряла 56 офицеров, 1.142 солдата убитыми и ранеными и 70 лошадей.

Вождям движения не всем удалось спастись. Феннер фон-Феннеберг, по рассказам, был вынесен из города в квашне под тестом, Бем—в гробу, по другой версии, Бем в австрийской форме неузнанным пробрался через австрийский лагерь. Гаугк также бежал, но в Венгрии снова попался в руки австрийцев и был расстрелян по приговору военного суда.

Мессенгаузер, который мог бы бежать, сам отдался в руки победителя. Этот человек, вознесенный волнами бурного времени на вершину революции, был так наивен, что верил в свое „право" и в свою „невинность" пред лицом беспощадного победителя.

---

[1]) Таких, как совершенные в 90-х годах XIX века „Джеком-потрошителем".

Утром 9 ноября Вену облетело потрясающее известие, что в Бригиттенау расстреляли по приговору военного суда Роберт Блюм.

В последние дни октября Блюм уже не верил в успех восстания [1]). Движение венгров, как он заметил еще на колокольне церкви Стефана, он с самого начала считал бесплодным. 29 октября Блюм и Фребель выступили из гаугкского отряда избранных; таким образом их нельзя было даже обвинять в нарушении заключенного с Виндишгрецом договора о капитуляции, поскольку о последнем может быть вообще речь [2]). Блюм и Фребель спокойно оставались в гостинице „Город Лондон“, откуда 1 ноября они написали письмо генералу Зоричу с просьбой о свободном пропуске. Они надеялись на декретированную франкфуртским парламентом 30 сентября неприкосновенность депутатов,—надежда, понять которую весьма трудно перед лицом победоносного стотысячного войска с раздраженным Виндишгрецом во главе. Трудно понять, каким образом Блюм, обычно столь скептический и трезвый, мог ожидать, что бумажное постановление франкфуртского парламента остановит перед собой завоевателя Вены,—и это после того, как Блюм и Фребель занимали у инсургентов положение вождей и участвовали в вооруженных столкновениях.

Мориц Гартман, напротив, слишком хорошо знал этих людей, чтобы не полагаться на бумажные постановления о неприкосновенности. Между тем генерал Зорич пока ничего не предпринимал [3]). Он ответил только обоим депутатам, что им следует обратиться к генералу Кордону. Когда этот последний получил просьбу, он тотчас же написал на обратной его стороне приказ об аресте. 4 ноября Блюм и Фребель были арестованы и заключены в тюрьму военного штаба. 5 ноября они написали послание к франкфуртскому парламенту, но последнее не дошло по назначению [4]); 8 ноября они направили протест в венскую центральную следственную комиссию, апеллируя к своей депутатской неприкосновенности. В ответ на протест, Блюма повели к допросу; время, употребленное на это, было как раз достаточно для того, чтобы направить протест в Гецендорф на главную квартиру Виндишгреца и привести обратно ответ. В пять часов утра Блюм, еще ранее отделенный от Фребеля, был разбужен и ему прочитали смертный приговор. Когда он заметил, что не верит в исполнение приговора, аудитор посоветовал ему оставить на этот счет всякие сомнения.

---

[1]) Он вообще не был оптимистом. Уже в мае писал он одному другу, которому не малое огорчение доставляли охранители и трусы: „Относительно республики эти господа могут успокоиться,—они ее не получат; зато они наверное получат реставрацию всего старого свинства в новом издании“

[2]) Блюм и Фребель были поставлены на опасные посты; Блюм с пятью орудиями стоял против кроатов, но имел решительное приказание не пускать в ход пушки. По мнению Фребеля, это было явным признаком предательства со стороны высших руководителей.

[3]) В канцелярии этого генерала, очевидно, царствовал, употребляя выражение одного венского социалиста, „деспотизм, смягченный халатностью“.

[4]) Так говорит Фребель, рассказу которого перед франкфуртским парламентом 18 ноября мы здесь следуем.

Роберт Блюм с полным самообладанием и мужеством предался своей ужасной судьбе; немного времени, оставшегося ему, он употребил на то, чтобы написать своей жене трогательное письмо, которое навсегда запечатлеет в сердце каждого, не вполне еще огрубевшего человека, память об этом мученике демократии [1]).

В шесть часов утра 9 ноября 1848 года Блюм в извозчичьей карете под конвоем отряда кавалерии был отвезен в Бригиттенау. „Освободите меня по крайней мере от ваших цепей,—сказал он, когда его хотели было заковать,—будьте покойны, я не сделаю нелепой попытки к бегству". Его повезли незакованным. Он не обнаружил слабости; только раз во время путешествия из глаз его скатилась слеза, и он заметил: „Не депутат Блюм плачет, а муж и отец". 2000 человек войска окружали место казни. Блюму хотели завязать глаза; он сначала протестовал, но потом, по совету офицера, командовавшего отрядом, которому было поручено привести в ис-

[1]) Вот это письмо.

„Моя верная, дорогая, милая жена, прощай! Я прощаюсь с тобой на время которое называют вечностью, но которое не будет ею. Воспитай из наших—теперь только твоих—детей благородных людей,—тогда они не покроют позором памяти своего отца. Наше маленькое имущество продай при помощи наших друзей. Бог и добрые люди, да будут вам защитою! Все мои чувства выливаются теперь в потоке слез; еще раз прощай, дорогая жена! Пусть наши дети будут для тебя самым дорогим завещанием твоего мужа. Прощай, прощай! Тысяча тысяч последних поцелуев.

От твоего Роберта.

Вена, 9 ноября 1848. 5 часов
утра,—в 6 меня уже не станет.

„Я забыл о кольцах,—я запечатлеваю мой последний поцелуй тебе на обручальном кольце. Мое кольцо с печаткой передай Гансу, часы Роберту, бриллиантовую булавку Иде, цепочку Альфреду на память обо мне. Остальные вещи на память ты раздашь по собственному усмотрению. Идут! Прощай, прощай!"

Карлу Фогту обреченный на смерть вождь левой писал:

„Умирающий обращается к тебе и ко всем немецким друзьями моей несчастной семьи. Я был их единственным кормильцем. Перенесите вашу любовь с меня на них и тогда я умру спокойно. Всем тысячу раз привет!

Блюм.

Вена, 9 ноября, половина шестого утра".

Карлу Крамеру в Лейпциго, соредактору „Vaterlandsblätter", он писал:

„Дорогой друг! Теперь пять часов, в шесть я буду расстрелян. Итак, только два слова: Всяких благ тебе и всем друзьям! Подготовь постепенно мою жену к этой судьбе... войны. Пошли Гюнтеру мой последний поклон. Я умираю, как мужчина,—так должно быть. Прощай, прощай!

Блюм.

Вена, 9 ноября 1848 г.".

Между вещами Блюма, привезенными в Лейпциг несколькими неделями спустя, найдена записка следующего содержания.

„Мою жену зовут Евгения Блюм, Эйзенбаннштрассе. № 8. Само собой разумеется, я ей завещаю все оставшееся после меня имущество, у нее ничего нет. Вещи мои еще остаются в „Городе Лондоне". Пользуюсь случаем послать сердечный привет Фребелю. Пусть он по возвращении во Франкфурт-на-Майне передаст мои поклоны, а также посетит жену и детей.

Блюм".

полнение приговор, сам надел на себя повязку и воскликнул в сильном возбуждении: „Я умираю за свободу; пусть родина не забудет меня!“ Когда офицер опустил шпагу, раздался залп, и Блюм беззвучно упал на землю, пораженный в голову и в сердце.

На следующий день в официальной венской газете появилось сообщение, что Роберт Блюм, „книготорговец из Лейпцига“, за возмутительные речи и вооруженное сопротивление императорским войскам приговорен к смертной казни через повешение, но, „за неимением палача“, казнь совершена 9 ноября при помощи пороха и свинца.

Фребель был также приговорен к смертной казни через повешение, но тотчас же помилован. По его собственному мнению, причиной помилования была одна его брошюра, в которой он предостерегал против раздробления Австрии; но гораздо вероятнее, что Виндишгрец просто счел возможным удовольствоваться одной жертвой и притом наиболее значительной; менее значительную он в припадке великодушия оставил в покое [1]). К тому же, застрелив Роберта Блюма, он достиг всего, чего хотел: кровавыми буквами написал он резкий вызов черно-желтой Австрии, франкфуртскому парламенту и его конституции. Выстрелы по приговору военного суда в Бригиттенау были наглым разбойничьим протестом ольмюцской камарильи против конституционной работы во Франкфурте-на-Майне.

Пламя негодования по поводу этой жестокой расправы с депутатом охватило всю Германию; даже самые бледные либералы были глубоко возмущены таким наглым попранием всех конституционных гарантий. Только „суверенное“ собрание в церкви св. Павла обнаружило в этом деле так же мало достоинства, как и в других случаях. Симон из Трира в своем предложении, поддержанном 60 другими членами, назвал казнь Блюма убийством, и рекомендовал центральному правительству „предпринять необходимые шаги, чтобы косвенные и непосредственные виновники убийства были наказаны“. Предложение это не имело смысла: Симон из Трира должен был знать, что бессильное центральное правительство не сумеет, да и не захочет наказывать победителя Вены, стоявшего во главе стотысячной армии. Предложение было передано австрийской комиссии, и последняя 16 ноября снова внесла его на всеобщее обсуждение в следующей форме:

„Национальное собрание торжественно указывает на совершенное перед глазами всей Германии с нарушением имперского закона от 30 сентября сего года задержание и убийство депутата Роберта Блюма, и предлагает имперскому министерству принять самые решительные меры к наказанию непосредственных и косвенных виновников преступления“.

Президент Гагерн заметил, что нарушение прав собрания должно получить воздаяние, „если вообще существует хотя тень права“. Без дебатов единогласно было постановлено „торжественно указать“. Реакционеры охотно

[1]) Фребель, этот некогда красный республиканец, защищал впоследствии черно-желтые, а потом и черно-белые интересы (черно-желтый—цвета Австрии, черно-белый—цвета Пруссии). В период расцвета национал - либерализма он перешел на его сторону и был вознагражден за свои заслуги местом консула в Смирне.

доставили левой это удовольствие, так как такое постановление всего лучше обнаруживало перед всей Германией полное бессилие и беспомощность собрания. Отношение центрального правительства к казни Блюма достаточно выяснилось 17 ноября, когда Шмерлинг насмешливо заметил: „кто рискует, тот погибает“.

Комиссарам Пауру из Нейссе и Пецлю из Мюнхена, которых центральное правительство послало в Австрию, министр юстиции Бах сказал с грубой насмешкой, что закон 30 сентября относительно неприкосновенности депутатов никогда не был опубликован в Австрии, а потому в Австрии никто не может становиться под его защиту. Подобный же ответ получил Шуселька, который в кремзирском рейхстаге запросил министра юстиции по поводу казни Блюма. Бах на этот раз прибавил только, что вообще говоря, подобные законы не могут иметь никакого значения до тех пор, пока не установлены, путем взаимного соглашения, новые отношения между Австрией и Германией. После того, как начало „взаимному соглашению“ положил военно-полевой расстрел, это было достаточно ясно.

В Германии трагическая смерть Блюма вызвала целый ряд демонстраций [1]; в многочисленных, иногда хороших, чаще очень дурных, стихах прославлялся Роберт Блюм, „он, который твердою рукою проложил свой крутой и суровый жизненный путь вплоть до врат франкфуртского парламента“ [2]), как пел о нем Фрейлиграт. Его имя до сих пор пользуется популярностью, и народ чувствует себя особенно привязанным к памяти этого человека, поднявшегося собственными усилиями из пролетарского существования, но не заразившегося, как это часто бывает, тлетворным влиянием господствующих классов.

Для семейства Блюма среди демократов были собраны деньги, и дети его получили воспитание в Швейцарии [3]).

Венский военный суд продолжал свою работу вплоть до мая 1849 года. Расстрел, тяжелое тюремное заключение, виселица, каторжные работы—таковы были его приговоры. 24 смертных приговора были приведены в исполнение. 16 ноября расстреляли Мессенгаузера, 23 — Бехера и Еллинека, редакторов „Радикала“.

22 ноября в Кремзире снова собрался австрийский рейхстаг, но теперь он превратился в полное ничтожество. Его левая все еще продолжала

---

[1]) До недавнего еще времени каждую годовщину смерти Роберта Блюма на франкфуртском соборе таинственным для полиции способом взвивался черный флаг.

[2]) „Er, der sich seinen Zebensweg, den steilen und den rauhen,
Auf bis zu Frankfurts Parlament mit starker Hand gehauen“.

[3]) Как известно, Ганс Блюм, старший сын мученика в Бригиттенау, не пошел по стопам своего отца. Он воспитывался на счет демократов, называл себя „студентом неотчуждаемых прав человека“ и все же потом перешел к национал-либералам. Он, сын казненного, голосовал в рейхстаге за смертную казнь и отличался слепой ненавистью к демократам и социалистам и столь же слепым преклонением перед Бисмарком.

ждать до конца", т.-е. все еще не излечилась окончательно от своих ллюзий.

Взятые в плен венские инсургенты были забраны в солдаты и отправлены в армии, сражавшиеся против венгров и итальянцев; таким образом населенне Вены было очищено от революционных элементов. Между тем образовалось новое министерство. Во главе его стоял князь Феликс фон-Шварценберг, дипломат из школы Меттерниха; граф Стадион, также реакционер старого закала, взял министерство внутренних дел, генерал Кордон—военное. Манифест нового правительства, украшенный несколькими полуконституционными фразами, позволял тем не менее слишком ясно прочитать между строк, что кабинет твердо решил в союзе со славянами воспротивиться обще-германской конституции. Отзывать из Франкфурта австрийских депутатов, очевидно, представлялось теперь уже делом, не стоящим труда; им спокойно предоставили удовольствие продолжать свои словесные турниры.

Император Фердинанд был вынужден подписать еще один манифест, полный угроз против венгров, и затем 2 декабря 1848 года он отказался от престола. В какой степени это было вызвано влиянием камарильи, нет возможности сказать с уверенностью. Престол Фердинанда унаследовал племянник его Франц-Иосиф I. Восемнадцатилетний император был объявлен совершеннолетним; теперь влияние эрцгерцогини Софии и планы камарильи не встречали при дворе уже никаких препятствий. Венгерский рейхстаг отказался признать Франца-Иосифа императором.

В декабре начался поход против Венгрии. Командование было поручено князю Виндишгрецу, который на ряду с Еллачичем получил от российского императора и от Кавеньяка из Франции выражения признательности за подавление венского восстания. Виндишгрец подождал зимы, которая в этом году была необычно суровая. Естественные средства самозащиты Венгрии, озера, реки, топи и болота, замерзли и сделали возможным быстрое вторжение враждебных войск в страну, Генерал Шлик, стоявший у Карпат, взял Эперьес и Кашау; сам Виндишгрец во главе главных боевых сил, разделенных на две колонны, из которых первой командовал Еллачич, а второй Нугент, быстро двинулся в Венгрию. Отряды мадьяр частью были опрокинуты, частью отступили без борьбы. Пресбург и Рааб попали в руки неприятеля, и в ночь на Новый год венгерское правительство покинуло Пешт и перенесло свою резиденцию в Дебречин. Кошут захватил с собой весь аппарат правительственной машины со всеми ее приспособлениями; он взял даже станки для печатания банковых билетов. Он массами выпускал бумажные деньги различного достоинства, так называемые ассигнации Кошута или попросту „кошутки". Таким путем правительство постоянно имело в своем распоряжении запас денежных средств и сумело связать интересы всех венгров с успехом революции.

Сила сопротивления венгров развилась в течение самой кампании.

———

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Государственный переворот в Пруссии.

Палата соглашения в Берлине беспомощно носилась туда и сюда по волнам этого бурного времени; не было сильной руки, которая могла бы направить ее в гавань. Справа и слева терпела она одинаково сильные нападки, да ничего другого и нельзя было ожидать при ее исполненной противоречий политике. Демократия была раздражена реакционным законом о национальной гвардии, и 5 октября демократический союз национальной гвардии организовал демонстрацию, в которой приняли участие и рабочие. По улицам в торжественной процессии провели осла, на хвосте которого висела дощечка с надписью: „Закон о гражданском ополчении 4 октября"; перед драматическим театром доска эта была сожжена и, если верить „Vossische Zeitung", той же участи подверглось черно-белое знамя. Национальная гвардия явилась слишком поздно, а „дядюшка Карбе" убеждал народ спокойно разойтись по домам, что и было исполнено.

Дворянство негодовало на принятый собранием закон об охоте, который, наконец, окончательно уничтожил привилегию охотиться на чужой земле [1]). Но не это дало решительный толчок тому конфликту короля с собранием, вызвать который безуспешно старалась до сих пор камарилья в потсдамском дворце. Отмена смертной казни—вот что возбудило решительное неудовольствие короля. Он не хотел уступать, и так как министры были за отмену смертной казни, король вступил в переговоры с графом Бранденбургом и предложил ему пост министра-президента. Горлах поехал с этой целью в Бреславль. Бранденбург, гордый аристократ и дворянин до мозга костей, сын Фридриха-Вильгельма II и графини Денгоф, как раз соответствовал желаниям камарильи; она употребила все старания, чтобы провести его в министры, надеясь с его помощью нанести решительный удар палате соглашения и демократии. Из других сфер старались повлиять на короля в смысле бо́льшей уступчивости в вопросе о смертной казни. Даже русский посланник полагал, что смена министерства по этому поводу могла бы иметь

[1]) Впрочем, как раз благородные землевладельцы-дворяне побуждали собрание поскорее покончить с новым законом об охоте, чтобы получить покой от возбужденных крестьян.

опасные последствия; придворный проповедник Штраус также стоял за уступчивость. Но нашептывания Герлаха одержали верх; король сказал: „*Я знаю и без попов, в чем состоит мой долг!*“ Отмена смертной казни не привела еще, правда, к открытому разрыву; по этому вопросу было достигнуто соглашение. Но Герлах продолжал свою работу. Он написал Браденбургу, что король безнадежно запутался в сетях либералов. Настало время, по его мнению, открыто заявить, что глава страны—король, а не „собрание в доме комедиантов“; те подданные, которые еще остались верными, и еще верная своему долгу армия сумеют взять на себя последствия такого заявления!

12 октября собрание приступило к обсуждению проекта конституции. И оно таким образом очень поздно взялось за решение своей главной задачи. Уже самые первые параграфы послужили поводом к резкому столкновению старой и новой Пруссии. Депутат левой Шнейдер внес предложение зачеркнуть в титуле короля слова „Божиею милостию“. Министр Эйхман выступил за сохранение этих слов, утверждая, что не только король, но и решительно каждый, до самого последнего человека в народе, существует лишь милостию Божией; иначе и быть не может. Если короли называют себя „милостию Божией“, то это служит знаком не гордости, а ответственности и преданности воле Божией. Шульце-Делич при обсуждении этого вопроса был охвачен сильным припадком республиканизма и высказался за уничтожение „Божиею милостию“. В результате собрание большинством 217 против 134 голосов зачеркнуло слова „Божиею милостию“.

После такого постановления король почувствовал себя лично оскорбленным. Два дня спустя во дворце Бельвю, куда явился президент Грабов, чтобы поздравить короля с днем рождения, король высказался вполне открыто. Грабов сказал обычную фразу, что новые учреждения упрочат союз между народом и троном. „Не забывайте однако,—заметил король,—что мы имеем некоторое преимущество перед другими народами, у нас есть *наследственный глава государства Божиею милостию!* Благодарите Бога, что вы его еще имеете!“ Депутации от национальной гвардии король сказал: „Не забывайте, что *оружие вы имеете от меня!*“ Теперь уже не могло оставаться никаких сомнений; камарилья вполне завладела королем и ей оставалось только поставить у кормила правления своего человека.

Вскоре после этого собрание постановило уничтожение дворянства, при чем Якоби заметил: „Не все ли равно, *какую эпитафию напишем мы на его надгробном камне!*“ Этот шаг довел начавшийся конфликт до крайних пределов, так как юнкерство, само собой разумеется, подняло невероятный шум по поводу отмены дворянского титула. Камарилья прекрасно знавшая, насколько слабы демократия и палата соглашения, чувствовала себя у желанной цели и горела нетерпением вступить в открытый бой. Последний, быть может, произошел бы и раньше, если бы как раз в конце октября не началась в Вене последняя великая борьба. Необходимо было дождаться ее исхода. Меж тем иллюзии палаты соглашения, считав-

ней свои слова и бумажные постановления всемогущими, достигли апогея. В президенты после отставки Грабова она избрала господина Унру. В такой критический момент недоставало как раз лишь того, чтобы этот герой „пассивного сопротивления“ появился на президентском месте [1]).

Конфликт между рабочими и мещанством в средине октября еще раз привел к кровавой катастрофе. На Кепеникской площади рабочие, работавшие над проведением канала, разрушили ненавистную для них машину, предназначенную для выкачивания воды из канав. После этого на площади расположились несколько отрядов национальной гвардии, снабженные боевыми патронами. Рабочие были настолько добродушны, что без протеста примирились с этим полицейским надзором; совершенно невольно вызвали они резкое столкновение. 16 октября, после освящения новой шахты, рабочие со знаменем в руках двинулись к национальной гвардии, желая устроить ей торжественную овацию [2]). Но национальные гвардейцы приняли это за нападение и заперлись в манеже. Один рабочий оторвал дверь и получил от национального гвардейца, булочника Шульца, удар саблей в руку. Послышались яростные крики, но дело уладилось, когда Шульц обещал вознаградить раненого несколькими талерами. Явился начальник национальной гвардии Римплер, к которому рабочие обратились с запросом, почему место работ занято вооруженными гвардейцами. Начиная с этого момента, показания источников расходятся. По одним — рабочие стали кидать в национальную гвардию камнями, по другим — толпа просто устремилась к национальной гвардии с криками „ура“. Как бы то ни было, вооруженные буржуа дали залп, ранивший и убивший значительное число людей. Десять рабочих остались на месте, между прочим один, спокойно сидевший в стороне за завтраком; жена, подававшая ему есть, получила рану в плечо. Приказание стрелять отдал, как говорят, булочник Шульц.

Эта грубая расправа привела рабочих в ярость; они собирались толпами. В то время как национальная гвардия била генерал-марш, рабочие строили баррикады на Кепеникской улице и на углу Конной и на Яковлевской. Гражданское ополчение атаковало баррикаду на Яковлевской улице, но было встречено ружейными выстрелами и отброшено назад, при чем один ополченец был убит. Депутат Беренде, Карбе и Линденмюллер напрасно старались убедить рабочих убрать баррикаду. Рабочие не хотели забыть кровопролития, учиненного над их товарищами, и не отступали. Гражданские ополченцы вторично атаковали баррикаду, при чем капитан Фогель [3]) был тяжело ранен, но баррикада устояла и на этот раз. Переговоры также ни к чему не при-

---

[1]) „Конституционный“ господин Унру стал впоследствии вождем национально-либеральной партии; он утверждал, что бисмарковская [германская империя вполне осуществила его лучшие идеалы. Ему-то мы в этом можем поверить.

[2]) Мы следуем изложению Роберта Шпрингера в Berlins stassen, Kneipen und Klubs im Jahre 1848“. Сообщения „Фоссовой Газеты“ тенденциозны.

[3]) Тот самый, который 14 июня приказал отбивать дробь перед арсеналом, занятым народом.

покинули ее и, говорят, в них стреляли еще и в то время, когда они снием религиозных гимнов уносили своих раненых. Кучка народа, пышаяся разрушить дом булочника Шульца на Розенталерштрассе, была ановлена национальной гвардией, и Карбе удалось успокоить ее. Убитых жественно похоронили несколько дней спустя на кладбище перед Галльми воротами. Левая, взяв на себя примирительную миссию, принимала стие как в похоронах рабочих, так и в похоронах ополченцев. Демократии ю очень важно склонить опять на свою сторону рабочих. Ведь боевые ы Врангеля там — в провинции, „в Марках", — достигли 48.000 человек 0 орудиями. Но разрыв между буржуазией и пролетариатом, совершивйся 16 октября, уже не удалось загладить.

Камарилья действовала необычайно энергично и поспешно выписала в тедам своего человека, графа Бранденбурга. В Сансуси происходили сощания, и король окончательно подчинился влиянию камарильи; он говорил, › теперь видит опасность перед собой и рассчитывает только на Бранденэга. Вопрос был исключительно в том, следует ли Бранденбургу действовать а помощи министров, находящихся в данный момент в должности, или же чше подобрать себе новых. По словам Герлаха, король хотел дать Бранібургу старых министров, „из уважения к жалкому, едва доигнутому большинству собрания". Но члены министерства)уля поставили свои условия. Они требовали, чтобы король не издавал ни ного закона без согласия собрания и чтобы он, с другой стороны, не накадывал свое „вето" ни на одно постановление, принятое собранием[1]). осле этого были начаты переговоры с тайным советником Мантейфелем и сподином Ладенбергом относительно вступления их вместе с Бранденбургом новое министерство. У господина Мантейфеля рассчитывали найти на ряду необходимой энергией и „государственный" ум для предстоящих шагов. интейфель был государственным человеком в духе старо-прусской бюроатии: он прекрасно ознакомился со всеми изворотами дипломатии. Бранибург предложил свое средство; он проектировал отсрочку заседаний палаты глашения на две недели и затем переселение ее в город Бранденбург. от тонко задуманный проект понравился, и Бранденбург полагал, что все ло перемещения надо вести „как можно спокойнее", чтобы оно не приняло рактера государственного переворота.

Сама палата соглашения, повидимому, вовсе не замечала, что она уже оит на краю пропасти. Левая могла поэтому доставить себе роскошь — изывать на помощь другим ту самую палату, которая сама больше всех ждалась в помощи. На это ее толкнул открывшийся в Берлине демократический конгресс.

На этот конгресс съехались радикальные демократы со всех частей эрмании. Шлеффель старший, Эрбе и граф Рейхенбах от франкфуртского и

[1]) Так рассказывает Герлах. Трудно поверить, чтобы Пфуль с товарищами поавили такие высокие требования, — разве только тут не было ловкой интриги.

берлинского парламентов, Байргоффер из Марбурга, Вислиценус из Г Руге и Бенари из Берлина, Людвиг Бамбергер из Майнца и др. выступали здесь в качестве ораторов[1]). Здесь разговаривали очень много и очень красиво; между тем вся наличность кассы демократов равнялась, как сообщил доктор Гекзамер, четырем талерам, четырем зильбергрошам, девяти пфеннигам (около 7 рублей). В общем с июля до октября поступило в кассу 586 талеров, было израсходовано 582. Демократическая организация, в такой степени преисполненная „самопожертвованием", не могла, конечно, быть опасной никакому правительству.

В то время, как демократы держали свои речи, правительство выработало проект закона о „защите фабричных рабочих", направленный против расплаты вместо денег товарами; за нарушение закона в проекте предполагались штрафы в размере от 5 до 100 талеров. Правительство рассчитывало таким образом склонить на свою сторону симпатии рабочих, и без того уже сильно раздраженных против буржуазии; между тем демократический конгресс совершенно устранился от обсуждения рабочего вопроса, который поднял-было на нем Борн.

Конгресс, на котором между прочим выступил в качестве скандалиста, казалось, окончательно похороненный Гельд, обнаружил самую жалкую беспомощность; неспособные крикуны и фразеры в роде венского писаки Зильберштейна, впоследствии сильно угомонившегося, наполняли своими речами собрания. Арнольд Руге, видя это, попытался перенести центр тяжести демократической деятельности в массы вне стен собрания. „В Палатках" было назначено народное собрание, которое и состоялось, несмотря на все препятствия со стороны полиции. Было постановлено устроить демонстрацию в пользу Вены, за что в числе других выступил и Арнольд Руге. Демонстрацию предполагалось организовать в форме процессии к драматическому театру с целью передать палате соглашения петицию натиска и побудить ее таким образом выступить на защиту угрожаемой Вены.

Предприятие было заранее обречено на неудачу; каким образом, в самом деле, могла бессильная палата помочь венцам?[2]) Повидимому, Руге, как и прочие, убаюкивал себя детскими иллюзиями. Он понимал, что во Франкфурте корабль демократии разобьется о подводные камни, но он почему-то еще надеялся на палату соглашения.

Шествие, состоявшее из 1.000 человек буржуа и рабочих, с Руге Карбе и Линденмюллером во главе, подвигалось от Александровской площади к Жандармскому рынку, где собралась значительная толпа народа. Руге с парадной лестницы драматического театра объявил народу, что он переда.

---

[1]) Бамбергер, известный впоследствии национал-либеральный, а потом свободомыслящий депутат, принадлежал в то время к той фракции демократии, которая по выражению секретаря ее центрального комитета, стремилась установить „демократическо-социальную республику". Последний термин не имеет, конечно, ничего общего с теперешним значением слова „социал-демократический".

[2]) В этот самый момент Вена, чего берлинцы, конечно, не знали, была взят Виндишгрецем после отчаянного последнего сопротивления.

петицию депутату д'Эстеру, и убеждал толпу разойтись. Но толпа не послушалась; значительная ее часть еще оставалась перед зданием, когда в 5 часов вечера собралась палата соглашения. Едва последняя приступила к обсуждению предложения Вальдека об оказании поддержки Вене, с улицы раздались громкие крики. Линденмюллер и Карбе напрасно старались восстановить спокойствие среди взволнованного народа. Там и сям мелькали зажженные факелы; говорят также, что кое-где попадались люди с веревками в руках; из этого вывели, что они хотят перевешать реакционных депутатов[1]). Опять появились слухи, раздувавшие все до невероятных размеров. Царил ужасный шум; говорили, что народ не хочет выпустить депутатов из драматического театра, пока последние не вынесут требуемого постановления; выходы были заняты густой толпой, отдельные депутаты подверглись угрозам. Рассказывали даже, что двери были заколочены гвоздями[2]).

Наконец вмешалось гражданское ополчение с своей обычной грубостью, и смятение среди народа еще увеличилось. Рабочие-механики, как они сами рассказывали, выстроились в ряды и с белыми флагами, без оружия, бросились между национальной гвардией и народом; в результате несколько рабочих было переколото национальными гвардейцами; по имеющимся данным, один рабочий-механик был убит, девять ранены. Беспорядки продолжались до поздней ночи.

В это время собрание обсуждало предложение Вальдека, гласившее: „потребовать от правительства королевства употребить все имеющиеся в распоряжении государства средства, чтобы как можно скорее притти на помощь угрожаемой в Вене народной свободе". Это означало не более, не менее, как требовать, чтобы Пруссия объявила войну Виндишгрецу. Трудно отыскать выражение, которое могло бы по достоинству охарактеризовать наивность, продиктовавшую этот проект. Собрание отвергло его и приняло предложение Родбертуса и Берга; согласно принятой резолюции, собрание требует от правительства немедленно и со всей энергией оказать давление на центральное правительство в том смысле, „дабы пострадавшая в Австрии народная свобода и рейхстаг, угрожаемый в своем существовании,

[1]) Впоследствии говорили, что в этом смысле старались подействовать на толпу агенты реакционеров.

[2]) Многие, особенно Варнгаген фон-Энзе, решительно утверждали, что большинство этих рассказов — реакционная ложь: никто не видал веревок, и двери вовсе не были забиты гвоздями. Штрекфус слышал только, что депутатов не хотят выпустить из здания, пока они не произведут голосования. Господин Брасс притащил даже одного „агитатора" в полицию; последний, говорит Варнгаген, оказался дворянином-реакционером. Если припомнить, как реакционеры впоследствии использовали эти события, легко можно поверить, что в них принимали участие реакционные агенты; остальное довершила фантазия трепещущих филистеров. Когда в 1853 году депутату Брюнneку заметили в первой палате, что от веревки его спас дворянин, он ответил, что он не видал перед драматическим театром ни верёвок, ни спасителей-дворян. Меж тем господин Вильгельм Иордан фантазировал во франкфуртском парламенте. „Были разграблены канатные лавки, — говорил он, — на веревках навязали петли и совали их в лицо депутатам, называл эти петли с отвратительной шутливостью венскими колбасками и галстучками". Недурно для рапсода!

получили действительную и надежную защиту и таким образом был бы восстановлен мир". 261 голосом против 52 предложение прошло, и левая сочла это своей победой. Надеяться, что Иоганн защитит народную свободу от Виндишгреца! Как это глупо!

Пфуль также голосовал за предложение; он мог себе это позволить, так как знал, что его все равно скоро уберут[1]).

Постановление это было так же бессмысленно, как и демонстрация. Но оно имело свои последствия, которые сказались очень скоро.

2 ноября Пфуль заявил в собрании, что „по слабости здоровья" он вынужден подать в отставку. Само собою понятно, что со времени переговоров с Бранденбургом в Сансуси здоровье министерства Пфуля пришло в самое критическое состояние. Демократия этого не знала и удивлялась выходу в отставку министерства, имевшего за собой большинство палаты. Да и где было демократам догадаться о том, что делалось за кулисами! „Большинство", — вот то волшебное слово, из-за которого они ничего не видели.

В то же самое время генерал Бранденбург заявил, что ему поручено составление нового министерства.

Тогда, наконец, палата соглашения пробудилась от своего мечтательного усыпления. Она припомнила угрожающий указ генерала Бранденбурга против бреславльского гражданского ополчения. Как раз в этот момент и в Берлине по всем углам была расклеена прокламация выходящего в отставку министра Эйхмана, приглашавшая начальство обращаться к помощи войск во всех тех случаях, когда гражданское ополчение окажется не в состоянии „своевременно и удовлетворительно" выполнить свою обязанность.

Левая предлагала собранию объявить себя постоянным и издать воззвание к народу, но собрание решило ограничиться адресом к королю. В последнем палата протестовала против министерства Бранденбурга, заявляя напрямик, что министерство это неминуемо вызовет открытый взрыв народного возбуждения, который будет иметь „бесконечно печальные, напоминающие судьбу соседней Австрии последствия". Далее возбуждалось ходатайство о назначении „дружественного народу" министерства. В составлении адреса наибольшее участие принимает Лотар Бухер.

Депутация с господином фон-Унру во главе в тот же вечер доставила этот адрес в Потсдам. Король сначала вовсе не хотел ее принять; наконец, он вышел, мрачный, не произнося ни одного слова. Унру подал адрес, король взял его и, кивнув головой, хотел удалиться. Тогда выступил Иоганн Якоби и сказал: „Ваше величество, мы посланы сюда не только для того, чтобы передать адрес, но и для того, чтобы осведомить вас об истинном настроении

---

[1]) Относительно полудемократических симпатий Пфуля Варнгаген рассказывает целый ряд очень пикантных вещей; так, например, после заседания 21 октября Пфуль, по его словам, вместе с Иоганном Якоби и Юнгом отправился на квартиру последнего и там свел „близкое знакомство" с обоими этими депутатами. В общем министерство Пфуля конечно, ни в каком случае не было демократическим,— оно имело лишь слабо либеральный оттенок.

страны. Угодно вашему величеству выслушать нас?“ Король ответил: „Нет!“— и удалился[1]). Но Якоби успел еще прокричать ему вслед: „В том-то и состоит несчастье всех королей, что они не хотят слышать истины!“

Эти мужественные слова как нельзя лучше подходили к данному моменту и сделались знаменитыми; но со стороны бесцветных либералов, полудемократов и полных реакционеров на Якоби посыпались тотчас же по уходе короля резкие упреки.

Трем депутатам, Кюльветтеру, Гирке и Мецке, удалось еще в этот вечер получить аудиенцию у короля; он сказал им полушутя, что, как конституционный король, он ничего не может сделать без министров, и таким образом министры также были приглашены в Потсдам.

Депутация пошла в своей лойяльности так далеко, что решила вовсе не упоминать в своем отчете о сцене, разыгравшейся между королем и Якоби. Какая трогательная заботливость! Особенно, если принять во внимание, что у городских ворот стоял в это время генерал Врангель со своими „пулями на-готове“ и „остро-отточенными мечами!“

Унру, давая собранию отчет, действительно пропустил слова Якоби королю. Но д'Эстор взял слово и дополнил отчет. Едва он передал выражения Якоби, на правой поднялся яростный крик, левая аплодировала. Якоби пришлось выдержать жестокий натиск. Ему говорили, что он вовсе не был уполномочен произносить подобные слова. Пельцер, один из застрельщиков правой, воскликнул: „Даже ботокуды и арабы не оскорбляют хозяина в его доме!“ Родбертус заявил, что он просил адъютанта допустить его к королю, чтобы попросить его величество различать слова адреса и слова отдельного депутата. Якоби защищался с обычным своим хладнокровием[2]).

Король отверг требования собрания, заметив, что он ни в коем случае не откажется от министерства Бранденбурга, „которое посвятит свои силы утверждению и развитию конституционных свобод“.

На следующие дни собрание снова погрузилось в свое полусонное состояние и занималось второстепенными вопросами, в то время как Бранденбург подыскивал членов в свое новое министерство и велел приготовить казармы для размещения войск.

9 ноября, в тот самый день, когда Блюм был расстрелян в Бригиттенау под Веной, в палате соглашения выступило новое министерство и прочитало королевское послание, подписанное Бранденбургом; в послании говорилось, что члены палаты и ранее уже неоднократно подвергались оскорблениям за те или другие постановления, но с особенной резкостью проявилось это 31 октября, когда „здание заседаний палаты было осаждено разъяренной толпой, имевшей республиканские эмблемы и

---

[1]) По словам „Vossische Zeitung“, король удалился „с приветливым поклоном“.

[2]) Демократический клуб поднес ему на большом плакате благодарственный адрес от имени отечества и устроил в честь его факельное шествие.

старавшейся запугать депутатов своей преступной демонстрацией". При столь часто повторяющихся анархистских движениях собрание не имеет в настоящее время такой внушительный охраны, которая исключала бы всякую мысль о возможности запугать депутатов извне. Посему король считает необходимым перенести заседания палаты в Бранденбург, и собранию предлагается немедленно разойтись, чтобы 27 ноября собраться снова в Бранденбурге.

Тотчас же по прочтении этой декларации министр-президент начал говорить, но председатель Унру при бурном одобрении левой прервал его, заметив, что он еще не дал ему слова. Тогда Бранденбург попросил слова. Он заявил, что королевское послание предписывает немедленное прекращение заседаний, а потому, если заседание продолжится, оно будет незаконным, и он протестует против этого от имени короны. Немедленно после этого он в сопровождении всех министров покинул зал; часть правой последовала за ними. С трибуны раздавались крики появившихся там членов гражданского ополчения: „арестовать! арестовать!" Этот благоразумный совет не встретил однако сочувствия в собрании. Палата, так же как и гражданское ополчение, была слеплена не из такого теста, чтобы на „спасительный подвиг" министерства Бранденбурга ответить столь же решительным „спасительным подвигом". Собрание постановило не расходиться и продолжать обсуждение; оно не признало за короной права переносить заседания в другое место и объявило действия министерства грубым нарушением долга по отношению к короне и стране. Приняв такие постановления, члены собрания удовлетворенно разошлись по домам, уверенные, что они все сделали, что нужно. Президенту дано было полномочие созывать собрание в любом помещении, которое он найдет подходящим.

В этот день Берлин казался совершенно спокойным, тем не менее курс бумаг на бирже сильно упал, и многие филистеры, объятые страхом, уже поспешили убраться, чтобы избежать всех ужасов ожидаемой уличной борьбы. Левая в особой прокламации протестовала против „государственного переворота" и приглашала к сопротивлению. Оставившая собрание правая стала на сторону министерства.

Министерство обратилось к гражданскому ополчению с запросом, решится ли оно насильственно распустить национальное собрание, „незаконно" продолжающее заседать; в то же время самой палате оно заявило, что отныне все ее постановления не имеют никакой силы. Командир гражданского ополчения Римплер ответил министерству, что ополчение считает своим долгом охранять конституционную свободу. Тогда от него потребовали оцепить здание заседаний палаты и не пропускать внутрь ни одного депутата. Римплер отклонил это, и министерство Бранденбурга-Мантейфеля получило, наконец, „повод" прибегнуть к призыву войск. Не совсем понятно впрочем, для чего ему был нужен этот повод; ведь он только затягивал „дело".

В 5 часов утра палата соглашения снова собралась в драматическом театре; Унру прочитал бумагу Римплера, в которой последний заявил, что национальная гвардия будет защищать собрание, чтобы „предотвратить кро-

вое столкновение". Тогда же было прочитано послание, подписанное рачим по золоту Биски от имени Братства рабочих. Рабочие 30 профессий енцали свою поддержку. Послание гласило: „Рабочие Берлина готовы с ужием в руках откликнуться на ваш призыв, если кто-либо осмелится нашить права народа и его представителей. Они отдают в ваше распоряжение свои руки и свою кровь, кто бы ни был тот враг, торый покусится предать вас и народную свободу".

Рабочие механического производства также изъявляли готовность защищать палату. К начальству гражданского ополчения явились две рабочие путации, одна из них от 3.000 строительных рабочих. Депутаты были позаны черно-красно-золотыми шарфами и просили оружия, но их ни с чем правили назад.

Таким образом гражданское ополчение и рабочие готовы были снова ти рука об руку, забыв перед лицом надвигающейся грозы свои старые сири. Но если господин Римплер был совершенно неспособным человеком, доросшим до той ответственной роли, которую заставила его играть дьба, то господин Унру со своими приверженцами был еще того хуже. ни блестяще доказали миру, что либеральная буржуазия, хотя и обладает откой, способной выпускать потоки эффектных фраз, но в решительный омент натиска реакционных сил способна лишь спрятаться за кулисы. настоящем случае этими кулисами было „пассивное сопротивление".

„Пассивное сопротивление!"—торжественно провозгласил Унру, и сорание восторженно присоединилось к нему. Затем оно перешло к обсуждению закона о безвозмездной отмене различных повинностей, ожидая чудес, торые должно было произвести „пассивное сопротивление" [1]).

Мы, конечно, не упускаем из вида, что у Берлина, окруженного хваченными реакцией провинциями, не было шансов успешно провести вооруженное сопротивление. Но палата в значительной степени должна была винить самое себя за то, что она попала в такое печальное положение. Политика „пассивного сопротивления" придала ее гибели характер трагикомедии и отняла у нее последние следы достоинства.

В послеобеденное время 10-го ноября через различные городские ворота без малейшего сопротивления вступили в Берлин 20.000 человек войска. Собрание само позаботилось о том, чтобы никакого сопротивления казано не было. Войска маршировали под „Липами", и Врангель с особен-

[1]) Ночью офицеры гражданского ополчения обсуждали, должны ли они оказать оруженное сопротивление войскам. Вальдек, присутствовавший здесь в числе мних других депутатов левой, заметил, что он юрист и в военных делах ничего не нимает; Темме со слезами на глазах советовал воздержаться от сопротивления лой. Явились депутации от отдельных рот, а также от рабочих организаций, жду прочим от рабочих механического производства с требованием вооруженного противления; решено было в конце концов держаться спокойно. Гражданское ополнение было слишком сильно разбито на партии, чтобы действовать солидарно. Только дчиниться разоружению оно не хотело; но когда разоружение действительно нача-сь, о серьезном сопротивлении нельзя было уже и думать.

ной выразительностью демонстрировал народу свои пушки. Уличные маль чишки приветствовали его криками „ура". Кричали ему также: „Смотрите не вытопчите нашу прекрасную траву!" — намек на слов Врангеля, что улицы Берлина поросли травой. Врангель забавлялся чте нием „Ulk'a" и казался совершенно нечувствительным к тем насмешкам ругательствам, которыми порой осыпала его толпа.

Жандармский рынок был занят пехотой и артиллерией. Гражданско ополчение, оцепившее драматический театр, было совершенно окружен войсками. Римплер пешком подошел к Врангелю, который разговаривал ним с высоты своего верхового коня. На вопрос Врангеля, для чего стоя здесь гражданское ополчение, Римплер ответил: „Для защиты собрания".— „Для защиты собрания!—заметил Врангель.—Но ведь для этого же пришл сюда и войска". Озадаченный командир гражданского ополчения спроси. сколько же времени Врангель намерен здесь стоять; на это последний о ветил, что войска его привычны стоять на бивуаках, а он, он намере оставаться здесь до тех пор, пока собрание не разойдется, хотя бы эт продолжалось целую неделю!

Эти слова Римплер передал собранию, которое заявило, что оно пр тестует против насилия и расходится лишь вследствие применения к нем военной силы. Тогда „пассивный" господин Унру вместе с героем граждан ского ополчения Римплером оставили здание заседаний, за ними последова все собрание и гражданское ополчение, сопровождаемые бурными крикам толпы народа. Врангель со своими войсками занял драматический теат Когда на следующее утро депутаты явились к драматическому театру, просто не пустили туда. Таким образом „дело" совершилось без всяко кровопролития, и Врангель обнаружил значительно больше ловкости, че от него ожидали. Трусливые филистеры и значительная часть гражданск ополченцев не скрывали своей радости по поводу того, что состояни которое они по-полицейски называли „анархией", наконец завершилось и смену ему явилась „твердая" военная власть. Впоследствии, когда дворя почувствовали себя снова на вершине общественной пирамиды и дали бу жуазии почувствовать это, последняя начала охать и ахать под гнет реакции, которую она сама же накликала на свою голову.

12-го ноября, когда собрание, прогнанное из драматического театр собралось в манеже, некоторое время казалось, что дело все же дойдет борьбы. На улицах виднелось значительное число вооруженных людей, многих на шляпах красные кокарды; со всех сторон стекаются рабочи делегаты из провинции обещают подмогу. Но господин Унру убедил толп рассеяться, разъяснив ей те блестящие перспективы, которые открывает е гениальное изобретение—„пассивное сопротивление". Народный союз в п следний раз собрался в „Палатках" под председательством Карбе; вечер Берлин уже был объявлен на осадном положении, и вышел указ о разор жении гражданского ополчения. Все клубы и союзы были распущены, дем кратические газеты закрыты,—одним словом, воцарилась военная диктатур Войска, занявшие важнейшие части города, срывали все плакаты; в нек

торых из этих плакатов были резкие нападки на Врангеля, министерство и правую часть палаты. На следующий день начались обыски с целью отобрать у обывателей оружие. Гражданское ополчение спокойно дало себя обезоружить[1]). Очевидно, палата успела уже сделать популярным свой принцип „пассивного" сопротивления. Во многих домах, где мужчины отказывались выдать оружие, женщины отдавали его или указывали, где оно лежит. Игра в солдатики привела к тому, что многие солидные отцы семейств совсем забросили свои дома; трактиры посещались также очень усердно, так что у значительного числа обывателей дела пришли в серьезное расстройство; поэтому не одна жена испытывала искреннюю радость, видя, что теперь „сам" снова должен вернуться к домашнему очагу и солидному образу жизни. Мещанство всегда одинаково у мужчин и у женщин. Демократия скрылась со сцены, словно ее стерли с лица земли. Уже одно это доказывало, что внутренней силы у демократов было немного. Некоторые отдельные вожди демократии в следующие годы снова появились на сцену в южно-германских восстаниях.

Палата соглашения осталась одна и продолжала „пассивное сопротивление". Войска разгоняли ее каждый раз, когда она пыталась собраться. Снова и снова рота солдат разгоняла этих людей, воображавших, что они воплощают верховную власть, суверенитет прусского народа. В палате произносились очень энергичные, иногда действительно прекрасные речи; жаль только, что при данных условиях они не могли уже иметь ни малейшего значения. В особенности Шульце-Делич, переживавший тогда еще период бури и натиска, старался энергичными речами привести в движение народ; он делал в то время как раз то, что впоследствии, став филистером, он называл „пробуждать зверя".

13-го ноября палата приняла нелепое решение обратиться к прокурору Сето с тем, чтобы он возбудил против министерства судебное преследование за государственную измену. Прокурор, разумеется, не имел ни охоты, ни силы начать такое дело, не говоря уже о том, что ответственность министерства не предусматривалась ни в каком законе; таким образом постановление палаты осталось только на бумаге.

Депутации и адреса в большом количестве направлялись к палате, 16-го ноября депутаты, собравшись в количестве 226 человек в отеле „Миленц", обсуждали вопрос об отказе в платеже налогов[2]). Кирхман от лица комиссии заявил, что на насилия правительства следует ответить отказом от платежа налогов. Многим редакция предложения показалась слишком решительной. Тогда Шульце-Делич, Филипс и Шорнбаум предло-

[1]) „Фоссова Газета" называла распущение актом неблагодарности, так как гражданское ополчение стяжало великие заслуги поддержанием „порядка". С гражданским ополчением сделали то же, что само оно делало с рабочими.

[2]) Крестьяне из округов Ошерслебен и Нейгальденслебен саксонской провинции, настроенные в то время иначе, чем теперь, послали депутацию с заявлением, что они не будут платить ни гроша налогов до тех пор, пока не будет назначено дружественное народу министерство.

жили постановить, что „министерство Бранденбурга не в праве взимать налоги до тех пор, пока палата поставлена в невозможность беспрепятственно продолжать свои занятия в Берлине".

Во время заседания войско ворвалось в дом; майор в сопровождении четырех офицеров и пикета появился в зале собрания. Унру вступил в переговоры с майором, и последний заявил, что ему приказано употребить силу, если собрание не разойдется добровольно. Унру произнес: „Я опять подчиняюсь силе!" Вальдек поднялся и негодующим голосом воскликнул: „Так давайте сюда ваши штыки и заколите нас! Изменник родине тот, кто оставит зал!" Офицер казался смущенным; он оставил на несколько мгновений зал, и этим временем воспользовались для того, чтобы принять постановление об отказе в платеже налогов. Когда майор появился снова, отказ в налогах был уже проголосован, и Унру закрыл заседание. Депутаты имели такой вид, как будто ими только что одержана великая победа. Это было последнее заседание палаты соглашения в Берлине.

Франкфуртский парламент обратился к прусскому правительству с предложением взять назад приказ о перенесении заседаний палаты в Бранденбург; но это предложение было оставлено без всякого внимания. Когда комиссар центрального правительства Бассерман явился в Берлин, он увидел на улицах последнего свои знаменитые „фигуры" и поспешно вернулся назад во Франкфурт. Еще менее смысла, чем в этом предложении было в последовавшем за ним постановлении франкфуртских доктринеров, объявивших, что отказ от платежа налогов незаконен.

Народ совершенно не знал, как отнестись ему к этому бумажному постановлению, которое одна палата объявила законным, а другая незаконным; между тем правительство проводило свой план, пуская в ход все имевшиеся в его распоряжении силы. Единственным результатом постановленного прусской палатой отказа от платежа налогов был целый ряд процессов против лиц, выполнивших это постановление.

27-го ноября палата собралась в Бранденбурге, в тамошнем соборе. Только через два дня собралось достаточное число членов, чтобы собрание стало законным, но не было еще президента, знаменитого автора „пассивного сопротивления", господина Унру. Предложено было отсрочить заседания до 4-го декабря. Когда это было отвергнуто, значительное число депутатов оставило собрание, и оно опять стало незаконным. Беспорядочные и бесцельные дебаты этого остова собрания, лишенного главы, производили в высшей степени жалкое впечатление, и правительство решило, наконец, что пришел момент окончательно распустить палату. Это и было сделано 5-го декабря 1848 года; „хартия Вальдека", проект конституции, выработанный палатой, была заменена „хартией Мантейфеля", т.-е. конституция была октроирована, как „подарок короля".

Новая конституция оказалась более либеральной, чем можно было ожидать. Она представляла из себя шедевр государственного искусства

Мантейфеля. Осуществляя ряд демократических требований, конституция старалась отнять почву у демократической критики. Свобода прессы и собраний, религиозная свобода, ответственность министерства, всеобщее избирательное право и ряд других мартовских требований получили осуществление в конституции; в то же время трусливые и реакционные души были успокоены системой двух палат и тому подобными учреждениями. Но самое главное было то, что правительство тут же поспешило обеспечить за собой право пересмотра конституции. Таким образом конституция сразу упрочила преобладающее влияние правительства в стране и в то же время давала возможность незаметно, путем последовательных „пересмотров", исключить из нее все неудобные „завоевания".

Камарилье уступки конституции представлялись слишком значительными; король также долго не хотел подписывать эту „бумаженку", как он называл конституцию. Но иного средства поддержать спокойствие в стране и утешить волнения, возбужденные насилием над палатой, не было. Герлах утешился, наконец, замечанием: „Да и стоит ли придавать столько значения какой-нибудь бумажной конституции?" [1]). Отсюда видно, что демагогическое искусство консерваторов противопоставлять себя оппозиции и в особенности социал-демократии, как охранителей существующей конституции, приобретено ими в позднейшие времена. В сорок восьмом году они были очень не прочь от „переворотов".

Конституция была произведением той традиционной прусской политики, которая всегда до известной степени уступает назревшим требованиям времени, но вместе с тем оставляет себе маленькую лазейку, через которую, незаметно для близоруких филистеров, легко протащить все средневековые реакционные поползновения.

Так бесславно пала радикальная и либеральная буржуазия перед политикой насилия министерства Бранденбург-Мантейфеля; осыпаемая насмешками со стороны вновь усилившихся реакционных элементов, она убралась со сцены вместе с своим уродливым детищем—„пассивным сопротивлением". Она не в силах была отстоять приобретения, завоеванные народом. „Пассивное сопротивление раскрылось во всей своей жалкой беспомощности" (Иоганн Шерр) [2]). Если бы в Берлине буржуазный либерализм обладал действительной решительностью, не трудно было бы, даже без кровопролития, избежать такого жалкого поражения и хоть несколько обуздать высокомерие Врангеля. Ведь и „высшие сферы" далеко не были уверены в своих силах.

Между тем, в провинции имелось немало людей, решительно отвергавших „пассивное сопротивление". Во многих местах произошли беспорядки, особенно сильные в Эрфурте, где 21 ноября дело дошло даже до кровавого столкновения между войсками и демократией. Рейнский комитет демократов, в котором заседал между прочим Карл Маркс, призывал народ к вооружен-

---

[1]) Запись под 23 ноября 1848 года.

[2]) Так пишет Иоганн Шерр в своей книге: „Von Achtundvierzig bis Einundfünfzig". Написанная сама по себе хорошо, она страдает отсутствием определенной точки зрения и свидетельствует о близоруком преклонении перед Радецким.

ному сопротивлению против насильственного сбора налогов министерством Бранденбурга, лишенным этого права палатой. Фердинанд Лассаль за подобную же деятельность был в эти дни арестован и подвергся судебному преследованию. Любопытно, что социалисты всеми силами старались защитить права той самой палаты, от которой так трусливо отступилась буржуазия [1].

Камарилья снова принялась в Пруссии за свою работу. Герлах писал Бранденбургу, что надо как можно скорее приступить к пересмотру конституции, что теперь следует допускать к государственной службе только „вполне надежных лиц“, способных к решительным действиям. По его мнению, не следует также бояться так называемых крайних: ультрароялистов, пиэтистов, абсолютистов.

Однако реакция подвигалась вперед не так быстро, как это хотелось пылкому Герлаху; сразу нельзя было стереть с лица земли все результаты революции. Их совсем нельзя было бы стереть, если бы германская буржуазия имела такую же крепкую выю, как английская, с которой она так любила себя сравнивать. Англичане были менее проникнуты уважением к неписанной бумаге, но у них было больше гордости, чем у немцев. Потому-то эти обе страны так мало похожи одна на другую.

---

[1]) Маркс и Лассаль были отданы под суд. У судебного ведомства были стари ные счеты с Лассалем (из-за процесса графини Гацфельд). Поэтому он был арестова и при помощи всевозможных нарушений закона просидел в подследственном закл чении около 6 месяцев. При своей боевой натуре он и в тюрьме не прекращал борьб Напр., у него вышло жестокое столкновение с директором тюрьмы по вопросу о то кто кого должен приветствовать первый при входе директора в камеру заключенног заключенный директора или наоборот, как требовал Лассаль. Дюссельдорфский с присяжных вынес Лассалю оправдательный приговор. Памятником этого судебно разбирательства осталась „Речь перед присяжными“, в которой Лассаль доказыва что действительные преступники—Врангель, министры и т. д., а он только исполн свой гражданский долг. Посредством нового нарушения закона Лассаль был пред суду исправительной полиции, и тот приговорил его к 6 месяцам тюремного закл чения. Маркс вместе с Шаппером и Шнейдером был оправдан кельнскими присяж ными. Защитительная речь Маркса обратила на себя меньше внимания, чем о того заслуживала; в настоящее время она является документом исторического зн чения. Маркс доказывал, что он стоит перед представителями буржуазии в качест обвиняемого за действия, совершить которые есть долг этой самой буржуазии. Пр курор говорил о потрясении основ и нарушении законов. Маркс заметил: „Общест не покоится на законе. Это—юридическая фикция. Скорее закон покоится на общест является выражением общественного интереса, вытекающего из производствен отношений данного времени, в противовес произволу отдельной личности“.

- ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Перед концом 1848 года.

По мере приближения 1848 года к концу упования народов все более более шли на убыль. Реакция почти везде победоносно двигалась вперед. Филистеры порядка не замечали этого и громко ликовали, а демократия не могла уже оправиться от понесенных ею поражений.

Во Франции буржуазия уже очень скоро пожала плоды того, что она посеяла во время кровавых июньских дней. Кавеньяк со своим маленьким разумом не мог раскрыть ту тонкую и лицемерную игру, которую вели с ним реакционеры. Он был настолько прост, что принял в свое министерство отъявленных роялистов. 4 ноября учредительное собрание закончило новую конституцию Франции. Франция была объявлена единой и нераздельной демократической республикой,—фраза, звучавшая злым сарказмом в устах руководителей старых партий, снова пробивавшихся теперь к власти. Президент республики избирался по новой конституции всеобщим голосованием всего народа. Жюль Греви, впоследствии президент третьей республики, и социалист Феликс Пиа напрасно старались провести параграф, по которому президент избирается самим национальным собранием. Они слишком хорошо знали настроение страны. Тем самым они признали в сущности, что республика невозможна после июньских дней, когда рабочие, создавшие ее, были так жестоко подавлены.

Кандидатами на пост президента республики выступили: принц Луи-Наполеон Бонапарт, Кавеньяк, Ламартин, Ледрю-Роллен и Распайль. Выборам предшествовали самые беззастенчивые и грязные происки реакционеров, сгруппировавшихся вокруг принца Луи-Наполеона. Этот авантюрист не нуждался никаких демагогических приемов; по его указке его агенты выставляли себя почти социалистами, чтобы склонить на свою сторону рабочих, после июньской бойни исполненных негодованием против буржуазии. Этот фокус в значительной степени удался Луи-Наполеону [1]).

---

[1]) Любопытным прологом избирательной борьбы было наделавшее в свое время много шума в парижских салонах соперничество Бонапарта и Кавеньяка из-за благосклонности мадам Калержи. Кавеньяк получил от нее длинный нос, между тем как Бонапарт добился своего. Мадам Калержи—это та чудная красавица, которую Гейне

На выборах победил Луи-Наполеон Бонапарт с шестью миллио...... голосов, в то время как Кавеньяк получил около полутора миллионов, Ледрю-Роллен 350.000, а остальные кандидаты совсем ничтожное число голосов. Таким образом буржуазная республика попала в руки искателя приключений,—претендента, который расправился впоследствии с буржуазными республиканцами совершенно так же, как те с пролетариатом. Еще не совсем угасший ореол наполеоновского имени помог добиться власти этому человеку, который до того времени вел жизнь настоящего авантюриста. Он был сыном Гортензии Богарнэ, повенчавшейся с братом Наполеона I, Людовиком, и ставшей таким образом королевой Голландии. По отцом Луи-Наполеона был не Людовик Голландский, а адмирал Веруэль, как отцом его сводного брата Морни был генерал Флаго. Во время большого заговора итальянских карбонариев Луи-Наполеон, будучи еще юношей, дважды—в Страсбурге и в Булони—пытался овладеть французским троном. В Булони он прикрепил к своей шляпе кусочек сырого мяса и кормил им сидящего у него на плече ручного орла. Здесь автор этих безвкусных комедий попал на несколько лет в тюрьму и бежал оттуда, чтобы потом, в 1848 году, стать во главе французской республики. 20 декабря 1848 года он присягнул республиканской конституции, а 2 декабря 1851 года изменил ей и совершил насильственный переворот, потопив обломки республики в потоках крови.

С президентом Луи-Наполеоном во главе французская республика могла рассчитывать на симпатии европейских дипломатов. Европа знала, что он стремится к престолу, и французам, поверившим его присяге, предстояло пережить горькое разочарование.

Превращение буржуазной республики в господство претендента не оставляло уже сомнений в том, что Франция из опоры революции и демократии становится опорой реакции. Этому обстоятельству предстояло сыграть крупную роль в дальнейшей европейской истории. Правительства не скрывали своей радости по случаю возвышения претендента; на этот раз имя Бонапарта воплощало не французскую революцию, а дело „порядка".

В Италии реакция не могла так быстро подвигаться вперед, потому что после поражения Карла-Альберта республиканская пропаганда нашла себе очень благоприятную почву. Когда Венеция объявила себя республикой, в Риме также обнаружилось сильное республиканское движение. Правда, римским республиканцам не удалось втянуть папу в войну против Австрии, но они все же мало-по-малу расшатали устои его власти. Министерству Росси поручено было предотвратить надвигающуюся бурю. Но уже выборы в палату дали враждебное министерству большинство, и сам Росси был

воспел в своем „Белом слоне", где он сравнивает ее с Дианой Эфесской. Гейне говорит между прочим:

„Er trampelt im Mondenschein oft umher
Und seufzet: Ach, wenn ich ein Vöglein wär'."

(„При лунном сияньи он топчется на месте и томно вздыхает: „Ах, если б я был птичкой!"). Является искушение предполагать, что здесь гениальный юморист имеет в виду диктатора буржуазной республики Кавеньяка с его несчастной любовью.

в Риме вспыхнуло восстание, инсургенты остались победителями, и папа должен был назначить демократическое министерство Мамиани. Между тем, „отцу христианского мира“ стало очень не по себе в Риме, и он бежал в Гаэту, откуда издал негодующий протест против всего совершившегося. Республиканцы в это время окончательно захватили власть в свои руки и учредили правительственную комиссию из трех членов под главенством Корсини; комиссия должна была созвать в феврале 1849 года учредительное собрание для выработки конституции римской республики.

Неаполитанские войска с успехом боролись с восставшей Сицилией; 7 сентября они взяли штурмом Мессину. Итальянское освободительное движение не обладало той внутренней силой и единодушием, которые были необходимы, чтобы оно могло одержать победу. Заранее можно было предвидеть, что реакционеры со всей энергией набросятся на демократию, как только им удастся несколько развязать себе руки. Демократия дала им достаточно времени, чтобы собраться с силами.

В то время как Италия, охваченная беспорядками, напоминала кипящий котел, а Венгрия находилась в самом разгаре борьбы с Габсбургским домом, в Германии к концу 1848 года стало спокойнее.

Когда все восстания, крупные и мелкие, были, наконец, подавлены, франкфуртское национальное собрание добралось до обсуждения конституции. Профессиональные болтуны, пять месяцев потратившие на обсуждение основных прав и др. вопросов, были очень довольны, что реакционные правительства пока предоставляли им необходимый покой, чтобы с желательной полнотой и обстоятельностью дебатировать представленный комиссией проект конституции. 19 декабря начались дебаты, при чем сразу обнаружилось, что трудности, стоящие на пути конституционного преобразования Германии, стали почти непреодолимыми. И прежде всего германско-австрийский вопрос встал, как грозное привидение, между Веной и Франкфуртом. Черно-желтая и габсбургская политика препятствовала включению Австрии в общегерманское союзное государство, как это проектировали во Франкфурте. Причина понятна: после такой реформы Австрия перестала бы играть роль великой европейской державы. Черно-желтые настойчиво отстаивали нераздельность всех составных частей австрийского государства; стремления отдельных народов к самостоятельности несомненно выиграли бы, если бы исторические устои Австрийской империи были несколько расшатаны ее вступлением в новое союзное государство. Но, с другой стороны, черно-желтые и Габсбургский дом не хотели оставаться и вне союзного государства, чтобы не утратить того влияния, которым Австрия пользовалась в германских делах. Поэтому Шмерлинг с товарищами втихомолку старались разрушить все дело конституционного преобразования Германии. Все их германские речи были лишь той данью, которую дипломатическое лицемерие всегда уплачивает господствующему течению времени. Шмерлинг и Гагерн, работая, первый в интересах Австрии, второй в интересах Пруссии, противодействовали один другому. Насколько тут было простое лицемерие, трудно

сказать; можно однако думать, что Гагерн был до известной степени одурачен. Игра со строителями конституции напоминала во многих отношениях ту комедию „смелого удара", которую давно уже совместно разыгрывали черно-желтые и черно-белые дипломаты [1]).

Трудолюбивая, но заранее обреченная на неудачу работа строителей конституции производит в высшей степени грустное впечатление, если ее сопоставить с политикой Австрии, наполовину лицемерной, наполовину откровенно-грубой.

27 октября парламент приступил к разрешению австрийского вопроса. Дебаты были очень длинны. Граф Дейм сделал утопическое предложение присоединить всю Австрийскую империю, как она есть, к новому союзному государству. Уланд заметил, что „Австрия отдала кровь своего сердца для цемента, которым будет скреплено здание германской свободы". Парламент однако постановил, что никакая часть Германской империи с немецким населением не должна быть присоединена к новому государству. Если ненемецкая страна имеет то же самое правительство, как и немецкая, то такой союз должен быть преобразован в чисто личную унию.

Как раз в эти дни столь храбро боровшаяся Вена принуждена была пасть перед штурмовыми колоннами Виндишгреца, а казнь Роберта Блюма послужила ответом на постановление 27 октября. И все же находились люди, верившие в силу бумажных постановлений собрания, поставленного лицом к лицу с победоносными полководцами Австрии. Программа нового австрийского правительства, опубликованная в Кремзире, уже не пыталась скрывать истинные цели руководящих сфер. Шварценберг открыто высказал, что Австрия намерена соединить в единое государственное тело все свои земли и народности; в то же время он предвидит необходимость „государственного регулирования взаимоотношений между обновленной Германией и обновленной Австрией", когда обе эти стороны упрочатся в своих новых формах.

Так играли австрийские дипломаты с общегерманской конституцией; они отталкивали ее от себя, но все же не выпускали ее из рук. Само собой разумеется, такое поведение Австрии привело строителей конституции в большое замешательство; они совершенно перестали понимать, в чем же, наконец, дело. Австрийский вопрос остался неразрешенным, а в парламенте произошел новый раскол. Образовалось велико-германское течение, которое желало союзного государства только со включением Австрии.

Генрих фон-Гагерн, проникнутый величайшим уважением к своей государственной мудрости, решил, что именно он призван покончить с этим трудным вопросом, т.-е. вернуть парламент, ставший к этому времени очень неудобным, в его прежнее состояние слепой доверчивости. Насколько он при этом действовал в союзе с дипломатами, трудно сказать; перед народом он выступал как ярый приверженец Пруссии, как вождь того мало-герман-

---

[1]) Публично Шмерлинг и Гагерн с величайшим пафосом называли друг друга друзьями.

юго течения, которое стремилось создать единую Германию без Австрии од главенством прусского королевства. Гагерн поставил своей задачей приизительно то же самое, что Бисмарк осуществил в 1866 году. Однако в 348 и 1849 гг. гагерновская идея малой Германии встречала на своем ути почти неодолимые препятствия. Россия, Франция и Англия, противойствовавшие даже присоединению Шлезвиг-Гольштинии к Пруссии, разуеется, никоим образом не допустили бы поглощения Пруссией всей неавприйской Германии. Идеи Гагерна, точно так же, как идеи Бисмарка в 1866 оду, могли быть осуществлены только путем войны Пруссии с Австрией и жно-германскими государствами. Бисмарку удалось в 1866 году добиться йтралитета России и Франции; без этого он имел бы не больше успеха, эм в свое время Генрих Гагерн. Однако, ближайшие результаты гагерновкой „идеи" как раз соответствовали вожделениям реакционеров; они произели раскол среди объединителей в церкви св. Павла, и злосчастные строили конституции запутались в сетях австрийско-прусского дуализма, в то ремя как правительства Австрии и Пруссии выработали вполне единообразую тактику по отношению к церкви Павла.

В ноябре Гагерн получил в Потсдаме и Берлине необходимые инрукции, и как раз в это время Шмерлинг сложил с себя пост президента мперского министерства, заявив, что при теперешних обстоятельствах отошение имперской власти к Австрии должно быть реорганизовано на ноых началах, а ему, „как австрийцу", неудобно взяться за решение этого опроса. Министерство единогласно постановило предложить правителю имерии заменить Шмерлинга Гагерном. Правитель так и сделал, и Гагерн змедленно составил новое министерство, в котором сам он занял место резидента и министра иностранных дел, Пейкер взял на себя военное министерство, Беккерат финансы, Роберт Моль юстицию и Дуквиц торговлю. Імерлинг сделался австрийским посланником при имперском правителе, тобы охранять австрийские интересы в тех случаях, когда они не соглаовались с прусскими.

Во всем этом деле была та пикантная черта, что Гагерна рекомендоило само министерство Шмерлинга. Государственный муж Гагерн, которого прежней должности заместил Эдуард Симсон из Кенигсберга, выступил эперь со своей программой решения австро-германского вопроса. После эго как австрийское министерство заявило,—гласила эта программа,—что встрия останется нераздельной, имперское министерство полагает, что отошение между Австрией и Германией должны быть регулированы в том ысле, чтобы дело союза в общем было упрочено и в то же время олучило признание обособленное положение Австрии; последняя не может аким образом войти в состав вновь организуемого союзного государства. тношения между Германией и Австрией должны регулироваться особым оговором об унии, заключаемым дипломатическим путем и, следовательно, е касающимся имперской конституции.

Парламент принял эту программу, но вероломная черно-желтая полиика и теперь еще сумела оттянуть окончателное решение австрийского во-

проса. Министерство Шварценберга заявило, что Австрия вовсе не думае отрекаться от своего положения германской союзной державы. Австрия ни когда от этого не отказывалась. Напротив, она только ждет соглашени между правительствами относительно слияния всех составных частей Гер мании и надеется встретить себе содействие в имперском министерстве.

Гагерн был уполномочен парламентом вступить на путь этого „со глашения".

Но довольно об этих интригах и недоразумениях, в которых никто і открывал своих истинных планов и которые вели все к одному и тому же- к полной катастрофе конституционно-объединительного движения. Распута: эти хитросплетения не могли ни дипломаты,—если бы они даже и захотели,- ни проникнутые самомнением государственные мужи конституционалисто ни неумолчно и неустанно болтающие строители конституции; лишь ве народ энергичным ударом мог бы разрубить этот узел. Но этого не случило и не могло уже случиться. По сотням причин, указанных выше, народн движение шло на убыль, и краткий подъем его в следующем году не бі достаточно силен, чтобы создать решительный поворот событий в интерес: народа.

Парламент полагал, что он совершил великий подвиг, опубликовав концу года часть конституции под названием „Основных прав ге манского народа". Правитель империи охотно сделал удовольств парламенту и поместил „основные права" в имперской официальной ı зете [1]). В этих основных правах, формулировавших права человека и гр жданина вообще, было немало прекрасных параграфов. Вновь добыт права и вольности народа были тщательно перечислены; правда, они не і ходили за буржуазный горизонт, но все же являлись огромным прогресс по сравнению с домартовским положением дел. И тем не менее новогодн подарок парламента германскому народу не имел никакой цены. Из осн ных прав правительства отдельных стран взяли впоследствии те пунк которые они считали неизбежной уступкой духу времени. В целом же ни не обращал внимания на этот документ, на обсуждение которого парлам потратил столько времени.

Немецкий народ, поскольку он вообще занимался подобными вош сами, совершенно не знал, какое употребление он может сделать из э бумажных прав. С очень тяжелыми предчувствиями вступил он в 1849 ı между тем как реакция повсеместно поднимала голову.

---

[1]) Вошли, как часть, в имперскую конституцию. См. в приложениях.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

1849 год.

После поражения прусской и австрийской демократии, после крушения итальянского объединительного движения и воцарения бонапартизма во Франции не могло уже быть ни малейшего сомнения, что реакция одержала победу по всей линии. Венгрия, казалось, была подавлена, и оба парламента, франкфуртский и кремзирский, как наседки, высиживали свои конституции. Внутренняя сила революции исчезла, и народное движение там, где не было объявлено осадного положения, проявлялось лишь в многочисленных, но безрезультатных протестах против торжествующей реакции. Народная масса становилась все более равнодушной, хотя последствия событий истекшего года все еще давали знать о себе. Крестьяне по большей части чувствовали себя удовлетворенными. Даже в тех странах, где они не добились полного уничтожения феодальных повинностей, правительства сумели успокоить их искусными мероприятиями и рядом менее значительных уступок. Как мы видели, в мартовские дни крестьяне оказались самыми необузданными, и потому в правительственных сферах их опасались больше всего. Поэтому им постарались сделать все необходимые уступки и с успехом спекулировали на их эгоизм. Полным враждебного недоверия взглядом смотрел „свободный“ крестьянин на городские элементы, не желавшие успокоиться. Консервативное требование „спокойствия и порядка“ нашло себе полное сочувствие в крестьянстве, и апатия деревни свинцовой гирей повисла на народном движении. Дворяне-демагоги и фанатические попы сумели во многих местах создать из крестьян грозную оппозицию городу, как это мы видели, например, в Берлине. При огромном перевесе сельского населения настроение деревни должно было тогда явиться решающим моментом для всего дальнейшего хода движения, Однако не везде деревня выглядела так, как в Пруссии, где крестьяне были реакционны, или как в Австрии, где они были апатичны и враждебны демократии, хотя тяготевший на них гнет был устранен в значительной степени благодаря этой последней. В средних и мелких государствах крестьяне, проникнутые глубоким недоверием к бюрократии, дворянам и всем их приспешникам, обнаруживали большую строптивость.

Рабочие были обмануты во всех своих ожиданиях, после того как выяснилось, что всеми приобретениями мартовских дней воспользовалась исключительно буржуазия. Скудная милостыня в форме государственных и городских общественных работ не могла, конечно, прочно улучшить материальное положение широких рабочих масс; между тем каждая попытка рабочих выступить с самостоятельными требованиями и добиться хотя бы некоторого улучшения своего положения наталкивалась на несокрушимое сопротивление вооруженной буржуазии, которая снова „полюбила порядок" и ружейными выстрелами начала гнать пролетариев под власть эксплоататора-капитала. Возникший отсюда классовый раздор уже сам по себе был достаточен для того, чтобы окончательно обессилить движение, если бы даже не было непримиримого противоречия между городом и деревней. Тем не менее наиболее сознательные элементы среди рабочих не поддавались на заигрывания реакционеров; они продолжали энергично отстаивать буржуазные свободы, хотя они знали, что и при этих свободах их класс остается угнетенным классом. Они видели в развитии буржуазных свобод неизбежную стадию общего прогресса. Что же касается широкой массы рабочих, то она скоро погрузилась в полной равнодушие, и бумажные приобретения парламентов менее всего могли бы привести ее в движение.

В Вене буржуазная демократия была, как мы видели, уже неспособна взять в свои руки бразды правления, — она была побеждена в открытой борьбе. В Берлине она потерпела поражение вследствие „пассивного сопротивления", дав себя одурачить конституционалистам и поверив вместе с ними в этот смешной фантом. Она была не в состоянии создать жизнеспособную и дееспособную организацию, охватывающую всю Германию. „Красный призрак" сковывал ее движения; значительное число буржуазных радикалов, так „беспокоившихся" в мартовские дни, были охвачены страхом, когда увидали выступление пролетариата и услыхали его требования. После июньской битвы движение вправо стало особенно интенсивно. Немногие сильные духом демократы, устоявшие против этих влияний, составляли ничтожное меньшинство, бессильное защитить мартовские приобретения.

После всех конфликтов и расколов реакционное течение одержало решительный верх над демократическим и поглотило значительную часть гражданских завоеваний. Буржуазия была подавлена так же, как раньше она подавила рабочих.

В то время как в Германии демократическое движение шло на убыль, в Италии вздымалась новая его волна. Республиканское течение, овладев Римом, настолько усилилось, что захватило и другие государства. 7-го февраля великий герцог Тосканский, уступив республиканцам, покинул страну и бежал к папе в Гаэту, после чего во Флоренции была провозглашена республика и созвано учредительное собрание. В Риме 9 февраля уничтожена светская власть папы и окончательно установлена республика. Новое правительство начало свою деятельность с конфискации церковных имуществ, против чего энергично протестовал папа. Народ в массе стоял в этом вопросе скорее на стороне папы, чем на стороне республиканцев.

Идея объединения была принята в программу республиканцев, и перед ними встала задача привлечь к движению Сардинию и Ломбардию. Война с Австрией становилась после этого неизбежной. Но тут республиканцам пришлось столкнуться с сардинским королем Карлом-Альбертом, который после миланского перемирия совершенно успокоился. Мадзини, составивший себе грозную славу своим заговорщицким искусством, с таким успехом занялся в Сардинии республиканской пропагандой, что Карл-Альберт не видел другого способа отстоять свою власть от натиска республиканцев, как продолжение войны с Австрией. Первые победы венгров, одержанные как раз в это время, укрепили его надежды, и он быстро решился. 12 марта он заявил о прекращении перемирия, и война между старым Радецким и сардинским королем началась снова.

Сардинское войско, находившееся под командой поляка Иржановского, насчитывало в своих рядах более 80.000 человек, но было недостаточно вооружено. Рим и Тоскана обещали вместе 70.000 чел. подмоги; республиканцы быстро поняли, что поражение сардинского короля будет также и их собственным поражением; они подчинились силе обстоятельств и вступили в союз с Карлом-Альбертом, несмотря на всю свою антипатию к нему. Но вооружение тосканских и римских войск совершалось слишком медленно для того, чтобы они могли оказать какую-нибудь помощь сардинскому королю.

Радецкий, имевший в своем распоряжении 70.000 прекрасно вооруженных солдат, с величайшей решительностью напал на своих противников. Он быстро двинулся из Милана в Павию, совершенно неожиданно появился перед пьемонтцами, уже выступившими в поход против Милана, и заставил их отступить и занять оборонительное положение. Борьба длилась недолго. 21 марта в битвах при Мортаре и Вигерано пьемонтцы были опрокинуты и отступление им отрезано. 23 марта произошло решительное сражение под Новарой, где Карл-Альберт занял со своим войском выгодную позицию. Значала счастье склонялось на сторону сардинцев, но когда все силы австрийцев вступили в битву, им удалось после кровопролитной и упорной борьбы смять пьемонтские войска бурным натиском на неприятельский центр. Поражение Карла-Альберта было ужасно; в конце сражения он нарочно подставлял себя под неприятельские пули.

Новара, куда бежало разбитое войско, в течение всей ночи представляла картину полного смятения и хаоса; там открыто грабили и многие дома были подожжены. В тот же вечер Карл-Альберт отрекся от престола, назначив своим преемником на сардинском и пьемонтском престоле сына своего Виктора-Эммануила; вскоре после этого он умер.

Радецкий согласился на перемирие с новым королем, а потом и на мир на сносных условиях. Таким образом Австрия отделалась от одного врага— Сардинии. В шесть дней сардино-пьемонтские силы под предводительством неспособного Карла-Альберта были совершенно рассеяны 82-летним Радецким. Виктор-Эммануил не чувствовал в данный момент никакого желания итти по стопам своего отца; он это сделал лишь впоследствии. Пока он обеспечил за собой трон, дав обезоружить себя Австрии.

Битва под Новарой нанесла сильный удар республиканцам. В Бресчии и Генуе они подняли восстание; Генуя, прогнав сардинский гарнизон, объявила себя республикой. Бресчию взял австрийский генерал Гайнау, стяжавший себе за свою жестокость прозвище „бресчианской гиены“. Генуя спустя несколько дней сдалась сардинскому генералу Ламарморе. В Тоскане был назначен диктатором республиканец Гверацци, но реакционная буржуазия Флоренции восстала, и изгнанный великий герцог вернул себе обладание Тосканой, куда уже вступали австрийские войска. Теперь в руках республиканцев оставались только Рим, управляемый диктаторской властью триумвирата, в составе которого находился между прочим Мадзини, и Венеция с диктатором Манином во главе. Против Венеции двинулись австрийцы; что касается Рима, то папа старался организовать против него крестовый поход, что, как увидим впоследствии, удалось ему до известной степени.

Борьба в Сицилии весной того же года пришла к концу. В битве при Катании (2 апреля 1849 года) неаполитанцы победили находившийся под начальством Мирославского легион иноземцев, снаряженный на средства сицилийского национального парламента. После этого весь остров был занят неаполитанскими войсками.

Сопротивление Венеции и Рима было заранее обречено на неудачу; гибель объединительного движения повлекла за собой полнейшее крушение демократии и республиканизма. Итальянский народ, подавленный, забитый, обнищавший и отупевший, равнодушно смотрел на ничтожную кучку, боровшуюся с чужеземными войсками и отечественными реакционными властями. Но эта кучка сражалась с истинным мужеством и самопожертвованием и стоит выше перед судом истории, чем пьемонтский король, спокойно дождавшийся благоприятных обстоятельств и проглотивший Италию без всякого труда, листок за листком, как артишоки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

сударственный переворот в Австрии и в Венгрии.

Цель ольмюцской камарильи состояла в том, чтобы соединить все рас-шиеся части Австрийской империи или, по выражению манифеста импера-а Франца-Иосифа, „с Божиею помощью соединить в одно вели-е государственное тело все отдельные страны и народ-сти монархии". Для достижения этого нужно было прежде всего по-ить венгров и итальянцев; в самой Австрии препятствием являлся рейх-г, все еще продолжавший влачить свое существование в маленьком горо-ке Кремзире. В уединенном Кремзире разыгрывались поистине идилли-кие парламентские дебаты. Депутаты могли там спокойно, без всяких пре-ствий, обсуждать свою конституцию; ни волнующиеся народные массы, гул набата, ни грохот пушек, ничто не мешало им. И они с большой об-ятельностью занялись своим делом. Камарилья смотрела на них взглядом ш, уже разинувшей пасть, чтобы проглотить свою жертву.

Рейхстаг под давлением обстоятельств совершил небольшое передвиже-е влево. Высокомерие старой аристократии проснулось снова, дух Меттер-ха господствовал в высших сферах. Воинствующие реакционеры требовали ичтожения рейхстага, который как приобретение революции, был им в душе гда ненавистен. Рейхстаг забыл уже, что он сам стал на зыбкую почву согла-ния, и в своем доктринерстве верил в возможность обуздать притязания ре-ции бумажными постановлениями создаваемой им конституции. В проекте иституции, выработанном рейхстагом, первый параграф гласил: „Всякая сударственная власть исходит от народа". Министр Стадион ступил против этого постановления, предостерегая от „подобного рода нципов". В то же самое время правительственный орган писал: „Для встрии абсолютизм—единственно пригодная форма пра-ения". Палата хотя и отвергла первоначальную редакцию параграфа, не могла согласиться и с протестом министерства. Уже отсюда видно, на-олько мала была надежда добиться соглашения между этим правительством этим рейхстагом. Чехи, понявшие, наконец, что после окончательной по-ды реакции они как „мавр, сделавший свое дело", могут итти куда угодно, арались по возможности скорее довести до конца выработку конституции.

Но правительство предупредило рейхстаг. После первых же побед Виндишгреца в Венгрии решено было как можно скорее распустить рейхстаг. Когда пришло известие, что венгры в битве при Каполне вынуждены к отступлению, план этот вполне созрел. Ирония истории была в этом случае действительно великолепна. Рейхстаг перенесли в Кремзир, чтобы он мог обсуждать конституцию „на свободе"; и вот теперь сюда является баталион солдат и разгоняет депутатов.

6 марта, когда рейхстаг почти уже закончил свою учредительную работу, из Ольмюца явился министр Стадион и, созвав на частное собрание представителей правой и центра, предложил им принять выработанный правительством проект конституции, которую должны были октроировать. Депутаты выразили энергический протест против такого способа действий, и Стадион дал обещание предложить министерству отсрочить это дело. Но явившись на следующее утро к зданию заседаний, депутаты нашли, что оно занято солдатами; на углу было прибито распоряжение короля Франца-Иосифа, объявлявшее рейхстаг распущенным.

Депутаты разъехались из Кремзира, так как против силы они, конечно, ничего не могли предпринять. Государственный переворот не возбудил особенных волнений; народам империи была тотчас же объявлена новая окатроированная конституция.

Конституция эта, никогда не вступавшая в силу, была сколком с различных подобнаго рода произведений; она объединяла все земли короны в единое государство, так что территории различных народностей отделялись друг от друга лишь как административные округа. У венгров было отнято самостоятельное устройство, хотя это и старались затушевать, итальянцы были оторваны от Италии, а немцы устранены от ожидаемой единой общегерманской конституции. Конституция включила в себя часть мартовских приобретений, поскольку последние не слишком противоречили видам камарильи и рассматривались ею как необходимая уступка духу времени [1]).

Если бы этой конституции суждено было жить, венгерская конституция, гарантировавшая своему народу самостоятельное министерство, должна была бы умереть; таким образом борьба между победоносной австрийской реакцией и Венгрией шла действительно из-за вопроса о жизни и смерти.

Кошут и другие руководители мадьяр были уже 6 ноября объявлены государственными изменниками. Для австрийских властей, разогнавших рейхстаг штыками, такой шаг был, разумеется, очень к лицу. Между тем венгерские политические деятели старались опираться на почву права. Они борются, говорили они, за ту конституцию, которую даровал им Фердинанд I; камарилья же, низвергнув Фердинанда, покушается теперь на их законно добытую венгерскую конституцию. Государственно-правовой спор, возникший по этому поводу, не имел в ходе событий сколько-нибудь существенного значения. Борьба между венграми и Австрией приняла такой характер, при ко-

[1]) Законодательная власть по новой конституции вручалась рейхстагу, состоящему из аристократической верхней палаты и нижней палаты с очень высоким избирательным цензом.

тором юридические доводы отступили на задний план и решающая роль принадлежала силе. Не подлежит никакому сомнению, что формальное право было на стороне венгров. В высшей степени удивительно только, что перед этой „почвой права" преклонялись как перед перед фетишем [1]); какое дело было Виндишгрецу до почвы права? Без венгерских пушек почва права, на которой стояли венгры, не имела никакого значения.

В начале 1849 года дело мадьяр казалось уже потерянным. 5 января Виндишгрец вступил в Пешт. Он держал себя со всем высокомерием победителя. Депутация от правой венгерского рейхстага с Людвигом Баттиани во главе, пытавшаяся завести с ним мирные переговоры, была им грубо отвергнута. Победитель Вены приказал вешать каждого пленника, захваченного с оружием в руках, сравнять с землею города, обнаружившие враждебность, и объявил, что каждое начальствующее лицо, оказавшее противодействие, отвечает своей головой. Казалось, дух кроатов вселился в главнокомандующего. Была произведена масса арестов; у военных судов и палачей не переводилась работа.

Венгры сгруппировали свои силы внутри страны и на юге и скоро добились поворота в ходе войны, изумившего весь мир. Хотя генералы их не были единодушны, тем не менее они почти повсеместно од. ржали блестящие победы [2]).

Поворот впервые наметился в Трансильвании. Там свирепствовала жестокая расовая ненависть между мадьярами и саксонцами. Войска австрийского генерала Пухнера, командовавшего в Трансильвании, были разделены горами. Польский генерал Бем, благополучно спасшийся из Вены, явился сюда по поручению Кошута и сумел заново сорганизовать венгров и шеклеров (т.-е. трансильванских венгров), обнаружив много ловкости и такта в вопросах, затрагивавших расовые противоречия. Бем в это время окончательно рассорился с польскими демократами. В Трансильвании он достиг вершины своей военной славы. Партизанская война была его призванием, движение его отрядов поражали своей быстротой. В несколько дней Бем отнял большую часть Трасильвании у медлительного Пухнера. Отбитый при Германштадте, Бем быстро перешел опять в наступление, обратил австрийский корпус в беспорядочное бегство и прогнал его в Буковину, так что

---

[1]) Даже бравый генерал Аулих, представ перед своими судьями и палачами, сказал: „По повелению моего короля я клялся в верности венгерской конституции и должен до последнего вздоха соблюдать присягу".

[2]) Гергей, который вскоре начал свои интриги, уже 4 января издал прокламацию от армии верхнего Дуная; в ней говорилось между прочим следующее: „Армия верхнего Дуная остается верной своей клятве энергично бороться против всякого внешнего врага, угрожающего санкционированной королем Фердинандом I конституции королевства". Далее прокламация обрушивается против „республиканских происков" и заявляет, что всякое соглашение с врагом может быть принято лишь в том случае, если оно гарантирует конституцию. В этом заявлении военная партия делает вид, что она совершенно серьезно берет на себя роль защитницы „законного" короля Фердинанда I против „узурпатора" Франца-Иосифа, и что она действительно считает республиканцев более опасными врагами венгерской конституции, чем Шварценберга и Виндишгреца.

Пухнер, совершенно уничтоженный, обратился за помощью к русским. Русские, в количестве 6.000 человек, двинулись на Кронштадт и Германштадт. Сначала Бем принужден был отступать перед превосходными силами неприятеля, но скоро ему снова удалось перейти в наступление, подняв повсюду восстание и вооружив народ. 11 марта он взял Германштадт и прогнал соединенные силы австрийцев и русских в Валахию. К концу марта Трансильвания была очищена как от австрийских, так и от русских войск; во власти австрийцев оставалась лишь маленькая крепость Карлсбург.

Внутри Венгрии мадьярские отряды под командой Гергея, Перчеля и Гюйона первое время везде терпели поражение от австрийских войск. Быстро набранное и плохо дисциплинированное ополчение еще не привыкло к войне. Главная сила венгров состояла в прекрасной кавалерии, особенно гусарских; артиллерия была также очень сильна. Регулярной пехоты в их распоряжении было очень немного; но тем многочисленнее были „гонведы", или ополченцы. Даже пастухи степных табунов составили особые военные отряды. В начале кампании войско венгров насчитывало всего 58.000 человек с 122 орудиями, в то вр мя как Виндишгрец располагал более чем 110.000; но силы венгров быстро росли.

Шлик оставил Карпаты, чтобы двинуться на Дебречин, где находились венгерский рейхстаг и комитет национальной обороны. Под Токаем он был разбит мадьярами под начальством молодого талантливого полководца Клапки. Гергей придвинулся со своим корпусом от Вайцена, после того как храбрый Гюйон взял приступом считавшийся неприступным Браницкий проход; он соединился с Клапкой, и они принудили Шлика к быстрому отступлению от Кашау к Пешту. Австрийцы считали это беспорядочное отступление, почти бегство, через трудно проходимые горы, покрытые снегом и льдом, удивительно тонким стратегическим маневром. Если бы не соперничество между венгерскими генералами, Шлик несомненно попался бы в плен.

Главнокомандующим венгерскими войсками был назначен польский генерал Дембинский, прошедший военную школу Наполеона I и предложивший, подобно другим польским эмигрантам, свою шпагу венгерской революции [1]).

Гергей, бывший раньше главнокомандующим, возбудил недоверие Кошута после упомянутой выше прокламации, ратовавшей за Фердинанда I и монархию. Гергей почувствовал себя обиженным, когда на место главнокомандующего был назначен Дембинский; он старался раздуть вражду между вождями, обвиняя Дембинского в том, что тот умышленно дал спастись генералу Шлику.

Дембинский решил между тем двинуться на Пешт, соединив для этого все находившиеся вблизи от него отдельные корпусы венгров. Виндишгрец также двинулся вперед, и таким образом обе армии столкнулись 26 февраля,

[1]) В 1831 году Дембинский, как генерал польской революции получил известность за свое отступление из Литвы. Вскоре после того он сделался диктатором вместо Скржинецкого. Из Венгрии, Сербии и Кроации он хотел создать буфер против России. Это обстоятельство, а также его резкость, приводила его к частым столкновениям. Кошут предпочел его, и это в значительной степени увеличило недовольство Гергея

жде чем Дембинский успел собрать все венгерские силы. Говорят, что гей намеренно запоздал. При Каполне произошла битва, оставшаяся в вый день нерешенной; на другой день Шлик, подоспевший форсирован-і маршем, энергично напал на правый фланг Дембинского. Дембинский рвал сражение и отступил. Виндишгрец снова избрал Пешт своей главной ртирой.

Битва при Каполне, строго говоря, не была поражением венгров, так . она ничуть не изменила положение дела; но Гергей воспользовался ею интриги, провести которую было тем легче, что мадьярские генералы осились с известной недоброжелательностью к „чужестранцу" Дембин-му. Многие мадьярские полководцы при первом вторжении австрийцев Венгрию потерпели гораздо более жестокие поражения, чем Дембинский і Каполне; тем не менее командиры корпусов с Гергеем во главе заявили, они не желают более служить под начальством Дембинского. Последнему шлось отказаться от поста главнокомандующего. Однако Кошут назначил его место не Гергея, а Феттера. После блестящей победы над австрийцами іброго серба Дамьянича новый главнокомандующий сконцентрировал глав-о венгерскую армию при Тиссе и приготовился к энергичному движению этив Виндишгреца, но заболел, и таким образом командование всем вой-м все же оказалось в руках Гергея.

Дальнейшие военные операции в такой же степени обнаруживают ланты венгерских генералов, как неспособность Виндишгреца, все еще эдолжавшего стоять под Пештом. Шлик, подвинувшийся со своим корпусом леко на восток, был обращен в бегство венграми под начальством Пельта к-Пельтенберга; Еллачич был вынужден к отступлению. 6 апреля венгры, звшие всего 50.000 человек и 182 орудия, напали под Изасегом на вную армию Виндишгреца и благодаря энергическому вмешательству гене-ла Аулиха [1]) отбросили Виндишгреца назад к Пешту; победитель Вены Праги вызвал справедливые насмешки тем, что, давая в своем бюллетене ют об этом бегстве, смягченно говорит, что он „приблизился к ре-рвам".

Венгры решили освободить от осады угрожаемой австрийцами Комори; лих остался под Пештом, а Гергей двинулся на северо-запад к Вайцену, торый и был взять штурмом Дамьяничем, при чем австрийский командую-й генерал Гец был убит. При Наги Сарло Гергей натолкнулся на гене-ла Вольгемута, занявшего с 20.000 австрийцев сильную позицию. Храбрые игры бурно атаковали австрийцев и после двенадцатичасовой кровопролитной твы нанесли им страшное поражание. Остатки армии Вольгемута бежали Ваагу.

Теперь, наконец, в Вене решились сменить неспособного Виндишгреца, к ни тяжело это было сердцу руководителей камарильи. На его место гупил генерал Вельден; но и этот последний, угрожаемый с тыла Гергеем, мог достигнуть успеха и принужден был отступить, оставив в Офенской

---

[1]) Прозванного за свое смелое нападение „военным бульдогом".

цитадели генерала Генци с 4.000 человек. Еллачич, дискредитированный перед глазами всего мира не менее Виндишгреца, отступил к югу. Там в это время победоносно действовал начальник отряда мадьярских волонтеров Мориц Перчель, освободивший от осады Петервардейн. Южные крепости с успехом сопротивлялись всем попыткам Еллачича.

24 апреля Аулих с триумфом вступил в Пешт, а 22 апреля венгры показались под Коморном, освободили его от осады и прогнали за границы Венгрии расположившиеся здесь остатки австрийской армии. Верный Коморн принял венгеров с неописуемым ликованием.

Гордость и надежды мадьяр безгранично росли вместе с этими блестящими военными успехами. И в самом деле, в военной истории не много найдется подобных страниц. „После отступления в течение многих недель,— пишет один известный венгр [1]), и по различным направлениям, отступление, которое должно было лишить бодрости даже наиболее дисциплинированное войско, венгерские войска быстро бросаются на преследующего их врага, разбивают его во всех стычках и победоносно гонят перед собой по той самой дороге, которую они только что прошли в своем отступлении“.

Кошут, убедившись, что астрийцы сломлены, принял смелое решение. Объявленный государственным преступником, вождь венгерского восстания понял, что никакие компромиссы более невозможны. Маска лойяльности по отношению к „конституционному“ королю Фердинанду, которую до сих пор носили венгры, представлялась теперь совершенно излишней, тем более что австрийская конституция 4 марта декретировала уничтожение самостоятельности Венгрии. Да и независимо от этого держаться за отказавшегося от престола Фердинанда не имело никакого смысла. Радикальное течение венгерского рейхстага всегда относилось с иронией к термину „законное сопротивление“ и было в этом отношении вполне право. Мы видели выше, до какой степени эта иллюзия „законного“ сопротивления сковывала силы венгров, когда надо было освободить осажден ую Виндишгрецем Вену. Теперь, наконец, игра в лойяльность была отброшена. Пламенное красноречие Кошута увлекло за собой весь рейхстаг, и последний 14 апреля постановил, что Венгрия образует самостоятельное, независимое государство, от управления которым Лотарингский дом устраняется на вечные времена. Пока не будет установлена новая форма правления, страной управляет губернатор и министерство. Этим губернатором был избран, конечно, Людвиг Кошут, который не едленно составил министерство из Семере (президент и внутренние дела), графа Казимира Баттиани (иностранные дела), Ксантя (т рговля), Душека (финансы), Гергея (военный министр), епископа Горвата (министерство вероисповеданий) и Буковикса (юстиция).

Таким образом Венгрия была временно преобраз вана в республику; тем не менее не подлежит сомнению, что, если бы венграм удалось впоследствии окончательно установить по своему желанию форму правления,

---

[1]) Генерал Клапка в своих мемуарах.

ана вернулась бы к системе конституционной монархии. Кошут не был спубликанцем.

Реакционные историки сплошь да рядом утверждают, что эта реформа зела смуту в „правовое сознание“ венгеров и отняла у них симпатии угих стран. Что может быть смешнее этого утверждения! „Правовое сознние“ каждого беспристрастно мыслящего человека оскорблялось Австрией, торая военной силой отняла у венгров свободу и конституцию, совершенно конно дарованные им в мартовские дни. „Правовая почва“, на которой игры стояли до 14 апреля, не могла спасти от руки палача тех жертв, торых впоследствии потребовала себе австрийская мстительность. Другие раны не хотели пальцем шевельнуть для венгров, все равно, стояли или стояли они на „правовой почве“.

Но в этот момент венгры держали в своих собственных руках судьбу оей страны и, если бы захотели, могли бы даже дать решительный толчок чти совсем заглохшему преобразованию всей Германии. Подобного рода едприятие никому не показалось бы странным: напротив, весь мир ожидал такого государственного человека, как Кошут, и от такого полководца, ак Гергей, что они быстро и решительно используют все выгоды своего езвычайно благоприятного положения, созданного победами над австрийами.

Ольмюцская камарилья была совершенно подавлена, видя, как ее эспособные генералы один за другим бегут из Венгрии. На победу над энграми уже нельзя было рассчитывать; расположенные в Италии войска эльзя было направить против венгров, так как отступление Радецкого эсомненно снова подняло бы там республиканское движение. Впрочем, если ы только двор отказался от идеи единого государства, ему не трудно было ы сговориться с военной партией, руководимой Гергеем. Но камарилья редпочла поступить иначе: она призвала варварские орды русских для одавления венгров, вся провинность которых заключалась в том, что они е хотели отречься от законно установленной конституции. Священный союз, живший на развалинах мартовских свобод, еще раз проявил свое действие. встрийская камарилья обратилась за поддержкой к России, войска которой, ак мы видели, уже сражались с венграми в Трансильвании. Россия обещала вою поддержку, и уже 2 мая заключен был договор, согласно которому русская армия должна была вступить в Венгрию; 21 мая молодой австрийский мператор встретился в Варшаве с царем Николаем I, и они договорились тносительно плана кампании. Император Николай уже 27 апреля разослал воим иностранным посланникам циркуляр, гласивший, что Россия, вмешиваясь в войну в интересах Австрии, преследует не агрессивную, а только боронительную задачу: подавить революционное движение на русской границе. Россия выступала с величайшим высокомерием, и камарильи пришлось ройти через все ступени унижения, пока не было достигнуто соглашение [1]).

[1]) В начале мая в австрийских газетах появилась официальная статья, утверждавшая, что венгерское восстание „приняло характер союза всех сил вропейской партии переворота“ и что поэтому все государства одинаково

Внутренние и внешние русские могли начать свои общие операции только в июне, так как России требовался целый месяц, чтобы привести армию в боевую готовность. До этого времени венгры могли бы еще успеть все выиграть. Перед ними в расстоянии нескольких дней форсированного марша лежал незащищенный город Вена, сердце Австрии; движение венгров несомненно снова подняло бы силы венской демократии, которая приняла бы своих избавителей с распростертыми объятиями. „Вена,—говорит Клака,— и в стратегическом и в политическом отношении была важнейшим пунктом обладение ею открыло бы нам неисчерпаемый источник силы для продол жения нашей священной борьбы и в то же время подрезало бы жизненны нерв наших угнетателей". Занятие Вены должно было иметь действительн важные последствия. Падающее германское народное движение не могло н оживиться; отраженное влияние на Италию было также неизбежно, и кама рилье пришлось бы послать русские войска против Вены. Все это имел бы огромные результаты, и трудно сказать, кто остался бы победителе в этой борьбе. Во всяком случае Вена, освобожденная от своих черно желтых палачей, усилила бы шансы венгров, ослабляя в то же время шанс австрийцев.

Никаких сомнений этот план не должен был бы вызывать у венгерски вождей, раз Австрия решила обратиться за помощью к иностранной держав Однако у Гергея, от которого зависело направление дальнейшей войн в этот решительный момент были свои сомнения. Этот человек был прежд всего честолюбив и властолюбив; до идеалов ему не было никакого дел Кроме того, он, столь быстрый и смелый в пылу сражения, странны образом обнаруживал некоторую нерешительность и неуверенность в се после победы. Конфликт между Кошутом и Гергеем был неизбежен; с кажды днем он назревал все больше и больше; честолюбивый солдат не хоте подчиняться предписаниям гражданского губернатора. Гергей ненавидел вс что хотя бы по внешности напоминало демократию или республику. Бы может поход на Вену казался ему слишком рискованным предприятием, бы может он хотел окружить свое имя большим блеском в глазах мадьяр-н ционалистов, возвратив старую столицу страны, Офен. Как бы то ни был 29 апреля, после нескольких дней бездействия под Коморном, Гергей дв нулся к Офену. Никакого военного значения занятие Офена иметь не мог между тем благоприятный момент был упущен,—и упущен навсегд Австрийцы могли снова собрать свои силы, реакция в Вене попрежне торжествовала.

Кошут работал в эти дни почти с нечеловеческой энергией. Он только концентрировал в себе все правительственные и административн функции, требовавшие чрезвычайного напряжения сил, не только обсужд вместе с генералами стратегические планы и сам заботился о снабжен

заинтересованы в том, чтобы поддержать австрийское правительство в его бор против совершающегося в Венгрии „разложения всякого общественно порядка". Язык реакционеров всегда остается одинаково наглым и лживым,—х бы восстановителями „общественного порядка" выступали казаки.

армии боевыми припасами,—он находил время разъезжать по стране, призывая народ к оружию. Несмотря на свое слабое здоровье, он выдерживал эту ужасную работу. Его сильное и пылкое красноречие не одну тысячу привлекло под знамена, не одной тысяче дало энтузиазм и решимость бороться до последней капли крови.

Гергей был призван Кошутом в военное министерство. Таким способом Кошут надеялся укротить самовластие генерала и подчинить его влиянию всего правительства. Однако Гергей сумел остаться при армии, назначив на свое место заместителя; он сумел сосредоточить в своих руках такую власть, что действовал независимо, а иногда и вопреки распоряжениям и планам правительства. 20 мая правительство обратилось с строгим наказом к генералам, которые действовали на свой собственный риск и страх, в чем, кстати сказать, были повинны также Бем и Перчель; но мера эта не имела никакого успеха и создала только почву для недовольства. Несогласие между Кошутом и Гергеем приняли угрожающий характер; слава Гергея ослепляла офицеров, солдат и народ; и те немногие офицеры, которые были действительно преданы правительству не могли бороться с его влиянием [1],

Кашут был в высшей степени неприятно поражен движением Гергея на Офен. „Я боюсь,—сказал он Клапке,—что под Офеном мы только потеряем драгоценное время, и благодаря этому погибнем". Слова эти оказались пророческими.

Часто говорят, что отступление от Коморна обратно к Пешту и отказ от вторжения в Австрию были началом измены Гергея. Насколько образ действий Гергея может быть назван изменой, мы еще увидим впоследствии. Пока достаточно отметить, что поведение Гергея уже с самого начала является в неприглядном свете. Если объявление независимости и правительство Кошута противоречили его убеждениям, если он действительно желал бороться только за „конституционного короля" Фердинанда, перед ним открывались лишь два пути: или сложить с себя командование армией и сойти с арены общественной деятельности, или подчиниться правительству из любви к своему народу, сознавая, что венгров может спасти лишь единодушие, а всякие раздоры неизбежно влекут их к гибели. Но этот человек при всех своих огромных способностях обладал мелкой душой. Он был полон не бескорыстного энтузиазма, а лишь честолюбия, и оттого-то мы видим вместо единодушной совместной работы правительства и войска лишь конфликты и интриги. Что это так случилось, вина за это падает прежде всего на Гергея.

---

[1]) Это были по большей части республиканцы, как молодой, пылкий Клапка, храбрый Наги Сандор и решительный Аулих.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Реакция в Пруссии.

„Мы никогда не скрывали,—писал 10 декабря 1848 года Карл Маркс, главный редактор „Новой Рейнской Газеты“,—что мы стоим не на почве права, а на почве революции. В настоящий момент правительство также отказалось от лицемерия правовой почвы. Оно стало на революционную почву, так как и контр-революционная почва есть революционная почва“.

„Новая Рейнская Газета“ больше всех других настаивала на отказе от платежа налогов; в ноябре и декабре каждый номер ее начинался призывом; „б о л ь ш е н и г р о ш а н а л о г о в!“ В целом ряде статей радикальный орган доказывал, что с точки зрения самой конституционной и либеральной буржуазии отказ от платежа налогов является „законным“, платеж налогов „незаконным“. По в то время как рейнский орган совершенно справедливо видел в вопросе об отказе платить налоги вопрос силы, парламентерские авторы этого постановления, Шульце-Делич с товарищами, утвердившись на позицию своего пресловутого „пассивного сопротивления“, спокойно предоставляли событиям течь их естественным порядком. Народ, само собой разумеется, не мог при отказе от налогов провести „пассивного сопротивления“; происходили беспорядки и усмирения с экзекуциями, во многих местах пускались в ход войска, так что сборщики налогов под охраной штыков делали свое дело. В результате—целый ряд судебных преследований и процессов против лиц, отказывавшихся платить налоги,—процессов, представлявших грустную картину самой недвусмысленной тенденциозности со стороны судей и властей. Прусская юстиция не могла стяжать себе уважения этими процессами, тем более, что было в высшей степени трудно факт отказа от платежа налогов подвести под понятие преступления. Принцип соглашения, на котором, как известно, покоилась распущенная палата, совершенно спутал юридические понятия, и в делах лиц, уклоняющихся от налогов, суды в совершенно аналогичных случаях нередко выносили различные приговоры [1]).

[1]) 8 апреля 1850 года берлинские присяжные разбирали дело 42 депутатов палаты соглашения, в том числе Шульце-Делича и Лотаря Бухера, обвинявшихся в составлении прокламации к избирателям, в которой они убеждали последних не пла-

В то время как Берлин стонал под осадным положением с его бес-эстанными арестами и высылками, правительство октроировало новую конституцию, и 5 декабря сделало опыт ее применения; результаты опыта ока-лись не совсем благоприятными, по крайней мере король писал Бунзену, о они причинили ему „некоторое расстройство желудка". И в мом деле, выборы во вторую палату не могли доставить особенного удо-льствия двору. Демократия была представлена там настолько значительным ислом депутатов, что могла состязаться с конституционалистами и аристо-атами, и решения палаты ничтожным большинством голосов склонялись то ту, то на другую сторону.

При осадном положении, при военной диктатуре Врангеля народное эедставительство, конечно, не могло быть свободным; тем не менее только рвая палата, как и следовало ожидать по ее составу, безусловно поддер-ивала правительство, вторая же оказывала ему решительное сопротивле-ie. Октроированная королем конституция была, правда, принята обеими алатами, но параграф о пересмотре конституции, который был особенно жен для правительства, вторая палата отказывалась принять. По именно тот пересмотр составлял ядро мантейфелевской внутренней политики, так ак при помощи его он рассчитывал мало-по-малу уничтожить все неудобные воевания мартовских дней. Конфликты между второй палатой и правитель-вом были таким образом неизбежны; разрыв ускорялся еще благодаря рманскому вопросу, в котором вторая палата решительно отстаивала точку рения франкфуртского парламента. Несмотря на то, что король относился рицательно к вырабатываемой во Франкфурте конституции, Родбертус 21 ап-эля провел в палате постановление (принятое большинством 175 против 59 голосов), согласно которому франкфуртская конституция объявляется меющей законную силу, а изменение ее могут совершаться лишь тем путем, эторый она сама укажет. Во время дебатов прусское дворянство бурно эставало против принципа, провозглашенного в мартовские дни самим ко-элем,—против принципа поглощения Пруссии Германией; господин фон-лейст-Рецов воскликнул даже, что он скорее даст себя растерзать, чем танет голосовать за франкфуртскую конституцию; Бисмарк-Шенгаузен также ысказался против франкфуртской конституции. Мантейфель заметил, что ерманиия в течение шести столетий падает, в то время как Пруссия в те-ение четырех столетий непрерывно растет. Как мы видим, дворянство старо-русского закала в то время не скрывало своей антипатии к общегерман-кому отечеству; только в последнее время оно вынуждено было принять национальную" позу.

ть налогов. Все они были оправданы, за исключением Лотаря Бухера, которого за зыв к восстанию приговорили к 15 месяцам заключения в крепости и лишению элитических прав. Он бежал в Англию, откуда вернулся лишь после амнистии. осле небольшого социалистического интермеццо, в течение которого он вошел в близ-ю сношения с Лассалем, Бухер, счел за лучшее „примириться с правительством". аньше Лассаль казался ему слишком умеренным; по его мнению, лассалевские про-зводительные ассоциации должны были создать лишь „новых буржуа"; теперь Бухер тал автором политических произведений Бисмарка.

Вторая палата старалась, кроме того, устранить тяготевшее над Берлином осадное положение; она постановила, что осадное положение без ее согласия незаконно, что она своего согласия дать в настоящий момент не может и потому предлагает министерству снять осадное положение. Лотарь Бухер был докладчиком назначенной с этой целью комиссии; Унру внес указанное предложение. Господин фон-Мантейфель попытался нарисовать перед парламентом картину, полную ужаса; он приводил такие свирепые речи [заговорщиков, что у доверчивых людей волосы становились дыбом, прочитал воззвание, подписанное „Вулленвебером", в котором головы князей были оценены, рассказал о „семи свинцовых ручных бомбах", найденных у сапожника Гецеля и оставленных ему депутатом д'Эстером, чтобы с помощью их положить начало социал-демократической республике, наконец вызвал красный призрак для оправдания осадного положения. Однако палата отнеслась ко всем этим ужасам, почерпнутым из докладов изобретательных полицейских чиновников, с заслуженным презрением и приняла то, что предлагал Унру [1]).

Министерство „спасительного подвига" не нашло иного способа помочь себе, как распущение второй палаты; последнее и совершилось 27 апреля, в то время как первая палата продолжала свои заседания. Распущение мотивировалось просто тем, что палата превысила свои полномочия; совершенно так же было мотивировано распущение второй палаты в Ганновере, последовавшее 26 апреля.

Распущение второй палаты вызвало в Берлине сильное возбуждение. Народ собрался на Денгофской площади; произошли столкновения с войсками. Были даже попытки построить баррикады. Войска дали залп, и несколько человек из народа, в том числе одна женщина, были убиты. Толпу разогнали штыками. Таким образом к насилию над парламентом присоединилось вооруженное насилие над народом, и необходимость осадного положения была достаточно наглядно иллюстрирована пролитой кровью.

„Демократы,—писала одна очень радикальная газета [2]),—радуются как будто они одержали великую победу; теперь, думают они, у многих откроются глаза". И в самом деле, глаза у народа открылись; он убедился, что реакция стала всемогущей и демократия окончательно побеждена.

Прусское правительство, так смело действовавшее своим закованным в броню кулаком против демократии с ее „пассивным сопротивлением", пускавшее в ход ретивого Врангеля при малейшем скоплении народа, покорно склонялось перед иной силой, с которой нельзя было расправиться т[ак]

[1]) Унру и Бухер, столь энергично выступавшие в данном случае против „осадного положения", признали совершенно целесообразным „военное положение" против социал-демократии. Одна маленькая консервативная брошюра, появившаяся в 1848 у Деккера, в Берлине, рассказывает, как выступал тогда Бухер. Там говорит[ся]: „Он объявил, что давность—произвольное учреждение, и что положение о с[вя]тости собственности—анахронизм".

[2]) „Новая Германская Газета" доктора О. Люнинга в Дармштадте.

росто, как с невооруженной демократией. Силой этой была Россия. Русская дипломатия, как всегда, совалась со своими руками в дела всей Европы; и самодержавное самомнение царя не в малой мере укреплялось сознанием, что Россия будет последним оплотом реакции в Германии и Австрии, если последние не сумеют пошабашить с демократией.

В то время как Ольмюцский двор с эрцгерцогиней Софией во главе унижался перед Россией, слезно моля ее о помощи против победоносных венгерских инсургентов, Пруссии пришлось перенести унижение в шлезвиг-голштинском вопросе. Русские дипломаты побуждали Данию напасть на Пруссию в Шлезвиг-Голштинии и в то же время старались помешать Пруссии сопротивляться агрессивным действиям датчан. Картина получалась почти такая же, как в 1803 году, когда французы и русские по своему усмотрению разрезали карту Германии и потом произвольно соединяли опять воедино отдельные ее лоскутки. Ни министерство Шварценберга, ни министерство Мантейфеля, как ни грубо выступали они против демократии, не имели основания гордиться своей ролью в международных отношениях.

Не дать Германии вырасти в великую державу было одинаково в интересах России и Англии. Хотя и было очевидно, что попытки создать новую великую державу окончились неудачей, хотя бессильное центральное правительство во Франкфурте представляло из себя лишь карикатуру великой державы, тем не менее Англия и Россия старались особенно унизить Пруссию, в лице ее и всю Германию. „Патриотические“ немцы так это и приняли, несмотря на то, что прусское дворянство, составлявшее в данный момент командующий класс, не чувствовало себя, как мы видели, особенно германским и вовсе не старалось этого скрывать.

Пруссия очень желала бы выпутаться из петли, накинутой на нее английской и русской дипломатией. Но, как известно, русские и англичане были всегда мастерами дипломатического искусства, и в данном случае им легко удалось заставить Пруссию переживать одно унижение за другим. Если прусские государственные мужи имели когда-либо случай основательно излечиться от зуда, заставлявшего их корчить из себя представителей великой державы, так именно в рассматриваемое время. При этом не могло, конечно, не пострадать германское имя.

Пруссия охотно превратила бы временное перемирие с Данией в постоянный мир, и в этом смысле она вела переговоры в Лондоне. Между тем Россия обещала датчанам свою поддержку, а Англия выдала им субсидию в 300.000 фунтов стерлингов [1]). После этого Дания усвоила очень высокомерный тон и заявила Пруссии, что перемирие могло бы быть продолжено лишь в том случае, если бы заинтересованная сторона предложила это не позже, как за месяц до истечения срока. Россия поддержала Данию энергичной нотой, отправленной в Берлин. Тогда датчане еще повысили свои тре-

---

[1]) Эти данные мы заимствуем из истории шлезвиг-голштинской войны графа Адальберта фон-Бодиссена.

бования; они требовали очищения острова Альзена, занятия последнего датскими войсками и, кроме того, даже занятие Регенсбурга шведами и содействия Пруссии при подавлении шлезвиг-голштинского восстания.

Пруссаки делали одну уступку за другой, пока, наконец, Дания не превзошла всякую меру и Пруссия не прервала переговоров. Пруссия решила возобновить войну, дождавшись лишь конца перемирия, после того как без всякой надобности обнаружила перед маленькой Данией все свои слабые стороны.

Вместе с перемирием истекал и срок полномочий общего шлезвиг-голштинского правительства. Германское центральное правительство во Франкфурте назначило регентство из Безелера, Ревентлова и Гарбу, которое должно было взять в свои руки управление страной от имени центрального правительства. Шлезвиг-голштинское национальное собрание дало свое согласие на назначение регентства.

Перемирие кончилось 3 апреля, и датчане немедленно перешли в наступление. Боевые силы их достигали 30.000 человек. В герцогствах стояла под начальством генерала Бонина двадцатитысячная шлезвиг-голштинская армия, в которой находились многие прусские офицеры; кроме того, в распоряжении пруссаков было 45.000 имперских войск из различных германских отечеств под начальством прусского генерала Притвица [1]).

Датчане, рассчитывая на могущественных союзников, надеясь, что последние сумеют в случае необходимости приостановить операции имперских войск, повидимому, не боялись превосходства сил неприятеля; кроме того, они надеялись на флот, который теперь можно было снова пустить в дело, так как море вскрылось от льда. 3 апреля они с двух сторон напали на Шлезвиг, но встретили очень энергичное сопротивление и решили со своим флотом напасть с тыла на шлезвиг-голштинские и имперские войска и принудить их к отступлению.

5 апреля датский капитан Палюдан во главе эскадры, состоявшей из сильного линейного карабля „Христиан VIII“, фрегата „Гефион“ и двух пароходов, напал на Экернферде. При благоприятном ветре („Христиан VIII“ и „Гефион“ были парусные суда) вошел он в Экернфердскую бухту. Неприятель был защищен двумя окопами, на которых находились две береговые батареи;—одной командовал капитан Юнгман, другой—унтер-офицер Прейссер. Датские корабли тотчас же открыли страшную бомбардировку, на которую энергично отвечали береговые батареи. К последним присоединилась еще нассауская батарея и также вступила в бой. Результат сражения был бы, вероятно, неблагоприятен для береговых батарей, защищенных всего двумя батальонами, если бы внезапно переменившийся ветер не сделал парусные суда совершенно беспомощными. Он все дальше и дальше загонял их в бухту; „Христиан VIII“ попал на мель, а „Гефион“ потерпел тяжкие

[1]) Того самого, который 18 марта 1848 года руководил наступлением на баррикады. Теперь имперский министр Генрих фон-Гагерн клятвенно обязал его уничтожить неприятельскую армию „одним ударом, приставив штык к ребрам“. См. Бодиссен, стр. 359.

повреждения от огня батарей. Пароходы делали тщетные попытки взять на буксир оба колосса и вывести их из-под выстрелов. Линейный корабль загорелся, и в конце концов Палюдан вынужден был спустить паруса. Оба парохода удалились. Экипаж „Христиана VIII" и „Гефиона" сдался в плен. Горящий линейный корабль был полон ранеными. Шлезвиг-голштинцы поплыли спасать их; но едва они достигли борта корабля, раздался оглушительный треск, и корабль взлетел на воздух; при этом взрыве погиб и храбрый унтер-офицер Прейссер, командовавший одной из береговых батарей.

Счастливым исходом этого сражения шлезвиг-голштинцы были в значительной мере обязаны стихиям. Храбрость защитников Экернфердской бухты никем никогда не отрицалась; тем не менее тот крик торжества, который разнесся по этому поводу по всей Германии, несомненно, был страшным преувеличением. Филистеры опять договорились и допились до высших степеней энтузиазма, возможных только в деле „охваченной морем" Шлезвиг-Голштинии; ведь тут борьба шла не за те вольности, которые выставило своей первоначальной целью германское движение.

Генерал Притвиц медленно подвигался вперед и, повидимому, не имел намерения тотчас же приставить Дании „штык к груди". Некоторые передовые отряды имперских войск были отброшены, но 13 апреля баварцы и саксонцы взяли приступом Дюппельские укрепления; датчане отступили в Альзен, и все их попытки взять назад Дюппельские укрепления не имели успеха. Шлезвиг-голштинцы двинулись вперед и 20 апреля взяли приступом Кольдинг. 23 апреля значительные силы датчан снова подступили к Кольдингу с намерением взять его обратно. Произошла кровопролитная битва; шлезвиг-голштинцы не только удержали за собой Кольдинг, но и принудили датчан к отступлению.

Генерал Притвиц, отдавший генералу Бонину приказ не двигаться вперед и разыгравший, следуя указаниям берлинской дипломатии, роль кунктатора[1]), в конце концов все же подошел к театру войны и переступил границу Ютландии. Между генералом и регентством произошло характерное столкновение, из которого между прочим выяснилось, что инструкции из Берлина на самого Притвица производили в высшей степени удручающее впечатление.

В то время как Бонин разбил датчан при Гудзоэ, Притвиц вынудил их к отступлению в сражениях близ Фейле. Датчане с такой поспешностью отступали к Фридериции, что движение их всего более напоминало бегство.

Русская дипломатия, ведя на своих помочах прусскую, позаботилась о том, чтобы радость немцев по поводу этих успехов не переходила известных границ. Правительства поступали так, как будто бы победы шлезвиг-голштинцев причиняли им величайшие огорчения. Между тем как Бонин готовился к осаде Фридериции, Пруссия начала новые переговоры с Данией:

---

[1]) Согласно Водиссену, в 44 дня он продвинулся всего на 21 милю.

и, соглашаясь на чрезвычайно высокие требования последней, достигла только еще большего повышения требований [1]).

Центральное правительство играло во всем этом деле чрезвычайно комическую роль, так как Пруссия забрала в свои руки шлезвиг-голштинский вопрос и не обращала почти никакого внимания на регента империи, его министров и комиссаров. После того как прусский король отклонил предложенное ему национальным собранием императорское достоинство, отношения Пруссии к центральной власти, конечно, изменились.

Переговоры не привели ни к каким результатам; между тем недостаток провианта заставил Притвица занять Аргуус. Это произошло 21 июня. В то время как Притвиц неподвижно стоял со своими войсками вокруг Аргууса, шлезвиг-голштинцы продолжали бесплодную осаду Фридериции, которую нельзя было окружить со всех сторон, не имея флота. Датчане втихомолку получали с моря подкрепления, и в ночь на 6 июля энергичный генерал Рие, командовавший крепостью, обрушился на осаждающих. Шлезвиг-голштинцы в числе 10.000 человек должны были сдерживать натиск 25.000 датчан. После отчаянного сопротивления шлезвиг-голштинцы должны были уступить; их центр был смят атакой датчан, левый фланг почти совершенно уничтожен; осадные орудия попали в руки неприятеля. Генерал Рие был убит, но Бонину едва удалось спасти свое войско от полного уничтожения.

Это сражение, стоившее массы жизней, принесло много горя обеим сторонам; датчане не были рады своей победе.

10 июля в Берлине при посредстве Англии был заключен, наконец, договор между Пруссией и Данией. Герцогства были разделены: Голштиния должна была остаться членом германского союза, Шлезвиг—получить особое временное правительство по назначению трех вступивших в договор держав; до окончательного учреждения нового правительства Шлезвиг отделялся от соседа демаркационной линией, при чем в южной его части предполагалос[ь] расположить 6.000 пруссаков, а северную занять нейтральными войскам[и] Прелиминарии мирного договора определяли, что Шлезвиг получит особу[ю] конституцию, останется отделенным от Голштинии, не считаясь с политическими притязаниями датской короны.

Таким образом Пруссия оставила шлезвиг-голштинское дело совершенн[о] на произвол судьбы.

Регентство протестовало против условий договора; оно полагало, чт[о] раз восстание было признано пруссаками правомерным, оно не может быт[ь] вдруг объявлено неправомерным. Национальное собрание также протестовал[о]. Однако постановления договора были выполнены; имперские войска очистил[и] страну, демаркационная линия проведена; прусские и шведские войска за[-] няли Шлезвиг; шлезвиг-голштинская армия отступила в Голштинию, а р[…]

---

[1]) Отношение прусского дворянства к шлезвиг-голштинскому вопросу всего то[ч]нее отражалось в статьях „Крестовой Газеты". Газета эта выражала надежду, ч[то] Пруссия освободится, наконец, от позора плестись на буксир[е] революции. Под „революцией" здесь разумелось, конечно, шлезвиг-голштинск[ое] восстание.

ытство спаслось бегством в Киль. Новое шлезвигское правительство (Граф Эленбург от Пруссии, Тиллиш от Дании, полковник Годжес от Англии) вступило в отправление обязанностей, и когда, наконец, шлезвиг-голштинское национальное собрание подчинилось берлинскому трактату, „как вынужденной необходимости", правительство Шлезвига формально, от имени датского короля, взяло в свои руки управление страной.

Сливки германской буржуазии не пролили по поводу гибели германской свободы и десятой части тех слез, какими они оплакивали несчастие Шлезвиг-Голштинии. Конечно, шлезвиг-голштинское дело представляет одну из наиболее печальных страниц прусской истории. Но может ли германский народ указать в истории тех дней хоть одну страницу, которая доставила бы ему радость?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Имперская конституция и выборы императора.

В течение зимы франкфуртское национальное собрание энергично работало над своей имперской конституцией. Дело медленно подвигалось вперед, так как ни один параграф не принимался без того, чтобы не подарить Германии целый поток тщательно построенных, глубокомысленных речей, в которых, правда, не заключалось ничего нового, но которые, по мнению ораторов, были необходимы для блага германского народа. Сам народ, впрочем, давал все яснее заметить, что ему давно уже надоели многочисленные и продолжительные речи.

Правительства отдельных германских государств и центральное правительство, а также правительства отдельных государств между собою обменивались множеством нот. Австрия и Пруссия старались заранее выработать совместный план действий по отношению к имперской конституции, и Фридрих-Вильгельм IV заверял австрийского посланника, что он горячо желает и в будущем видеть Австрию членом Германского союза. Он обещался твердо противостоять искушению стать главой союза. Но австрийские и прусские дипломаты все же не могли согласиться между собой; они относились друг к другу с недоверием подозрительных барышников. Что общегерманскую конституцию необходимо провалить, в этом, впрочем, все были согласны; разногласие касалось лишь вопроса, что̀ должно стать на ее место.

Между тем Гагерн с товарищами прямо-таки ставили своей целью прусскую империю. Гагерн вполне освоился с мыслью о своем всемирно-историческом призвании создать императора; он воображал, что держит в своих руках императорскую корону и может отдать ее, кому захочет.

Фридрих-Вильгельм IV достаточно ясно дал ему понять, что он не хочет и слышать об императорской короне „милостию парламента“, но Гагерн не сдавался. Он верил в свою историческую миссию и горел желанием осчастливить Германию на свой манер; он, министр бессильного центрального правительства, в своих мечтах был распорядителем судеб Германии. Гагерн, действительно, питал к себе почтение, которое приписывает ему поэт[1])

[1]) Мориц Гартман в „Reimchronik des Pfaffen Mauritius“.

„Ich mit der Persönlichkeitsbewusstseinsaufgeblasenheit,
Ich bin ich, in ganzer Grösse, wie Sie sehen jeder Zeit,
Ich bin ich, das ist gewiss doch bin ich selber noch mit mir in Streit
Ueber das, was ich denn bin, denn ich selbst... (Ungeheure Heiterkeit!)" [1]).

Что прусский король думал об имперской конституции и покоящемся в ней императорском достоинстве, это он вполне откровенно высказал еще 13 декабря 1848 года в письме к другу своему Бунзену. Письмо это является интереснейшим памятником своего времени, и мы процитируем из него наиболее замечательные места.

„Мой дорогой Бунзен, — писал король, — ваши последние письма окончательно убеждают меня в том, что я заметил еще в Брюле и что всеми силами старался предупредить, а именно, что в Германиаде мы не понимаем друг друга, или вернее, вы не можете меня понять. Это тяжелый упрек, — я чувствую, — но друг должен снести его от друга. Я понимаю вас и ваши резоны, но вы не понимаете моих, иначе вы не могли бы так писать, т.-е. вы не смотрели бы так легко на абсолютные препятствия, стоящие между мной и **этой**(!!!) императорской короной. Вы говорите (точь-в-точь так же, как говорил мне господин Гагерн 26 и 27 числа прошлого месяца): „Вы хотите согласия князей; хорошо, вы будете его иметь!)"

„Но, мой дорогой друг, в этом-то и загвоздка. Я не хочу ни согласия князей на **это** избрание, ни **этой** короны. Понятны вам подчеркнутые слова?

„Я хочу разъяснить вам это как можно короче и как можно ярче. **Эта** корона, во-первых, вовсе не корона. Корона, которую мог бы принять Гогенцоллерн, если бы обстоятельства это позволили, не может быть делом рук собрания, хотя и признанного князьями, но выросшего на почве революции (dans le genre de la couronne des pavés de Louis Philippe) [2]) такая корона должна носить на себе печать Божию, должна, после священного миропомазания, делать того, на кого она возложена, императором „милостию Божиею", как она уже раньше сделала более чем 34 князей королями немцев „милостию Божиею", присоединяя каждого из них к ряду предшественников. Корону, которую носили Оттоны, Гогенштауфены и Габсбурги, мог бы надеть на себя Гогенцоллерн, она принесла бы ему величайшую честь своим тысячелетним блеском. Но та корона, которую вы, к сожалению, предлагаете, принесла бы величайшее бесчестие с своим привкусом революции 1848 г., этой отвратительнейшей, глупейшей и скернейшей, хотя, благодарение Богу, и не злейшей из рево-

---

[1]) Я, сознавая все величье личности моей,
Я каждый миг являюсь вам во всей красе своей.
Я — я, но сам с собой я вечно в спорах
О том, что я такое, ибо... (хохот, шум на хорах!)

[2]) „В роде дарованной улицей короны Луи-Филиппа". Мы видим, что в Берлине революционное происхождение июльской монархии не было забыто, хотя Фридрих-Вильгельм IV и называл короля Луи-Филиппа „щитом европейских династий". При известии о падении Луи-Филиппа принц прусский сказал, что это, в сущности, вполне естественно: баррикады возвели его на престол, баррикады же и низвергли.

люций нынешнего столетия. И такую-то воображаемую корону из грязи и глины вы предлагаете надеть законному королю пруссаков, которого Бог благословил носить, если не самую древнюю, то, во всяком случае, самую благородную корону, никогда еще не попадавшую в руки вора!

„Спросите свое собственное сердце, дорогой Бунзен! Что сказали бы вы, старый член прусского дипломатического корпуса и мой действительный тайный советник, следовательно, облеченный придворным званием, что сказали бы вы, если бы, вернувшись в Корбах, получили от вальдекского суверенного собрания титул превосходительства? Вот вам точная картина моего положения vis-a-vis Гагерна и его фракции. Вы, конечно, со всей деликатностью написали бы суверенным вальдекцам: „Вы сами не обладаете тем, что хотите мне дать, я же имею уже это из более надежного источника!“ Именно так отвечу и я... Я говорю вам прямо. Если тысячелетняя корона германской нации, отдыхавшая 42 года, должна быть снова кому-либо дарована, то лишь я и равные мне могут ее даровать. И горе тому, кто присвоивает себе то, что ему не принадлежит“.

Между тем Гагерн с товарищами неутомимо работали во Франкфурте над своей империей будущего. Австрийский вопрос был оставлен пока открытым, при чем государственное искусство Гагерна целую массу австрийских депутатов бросило в объятия Шмерлинга. На великую словесную битву из-за главы империи записалось чуть ли не сто ораторов, но из этого ливня политической мудрости, снова разразившегося над терпеливой Германией, вытекли лишь очень нерешительные постановления. 258 голосами против 211 было постановлено, что сан главы империи должен быть дарован одному из ныне правящих германских государей. Императорский титул для этого главы был принят лишь большинством девяти голосов. Но по вопросу о том, на какой срок должно быть даровано будущему главе государства императорское достоинство, соглашение не было достигнуто. Наследственная империя, предложенная профессорами Дальманом из Бонна и Рюмелином из Нюртингена была отклонена, после того как Уланд сказал против нее свою знаменитую фразу: „Поверьте мне, над Германией теперь уже не может воссиять глава, не помазанная капелькой демократического мира“. Предложения сделать императорское достоинство пожизненным, назначить сроком его 12 и 6 лет, были также отвергнуты. Таким образом решение этого вопроса пришлось отложить до второго чтения.

Образ будущего конституционного императора, которому должны подчиниться 36 немецких государей, как видим, все более и более расплывался в воздухе. Между тем либеральная и конституционная буржуазия симпатизировала империи; она охотно погружалась в романтические грезы об Оттонах и Гогенштауфенах. Наоборот, радикальная вторая палата Саксонии почти всеми голосами высказалась против неответственного наследственного главы государства и требовала разрешения вопроса в демократическом духе.

Те поучительные уроки, которые дает германская история в виде постоянных распрей между императорами и имперскими князьями, пропали даром для парламента.

В течение января большинство менее крупных и совсем мелких князей ɔрмании изъявили свое согласие на избрание императора. Та необычайная ɩдость, с которой парламент принял это согласие, ясно указывала на то, го точка зрения суверенности, когда-то столь гордо возвещенная Гагерном, ɔлько что избранным в президенты, теперь была совершенно оставлена ɔбранием. Однако радость большинства депутатов по поводу княжеского ɔгласия скоро превратилась в уныние. Пруссия поступила так, как от нее жидали все, кроме увлеченных игрой в жмурки государственных мужей в еркви св. Павла. Не требовалось особенной проницательности, чтобы заранее редсказать, что министерство Мантейфеля отнюдь не намерено преследовать национальной" политики в смысле Гагерна и компании; для этого доста-очно было ознакомиться с дипломатией России и почитать „Крестовую 'азету". В ноте от 23 января 1849 года, отправленной прусским правитель-твом своим посланникам в других германских государствах, было ясно казано, что Пруссия считает имперскую конституцию возможной лишь под 'словием согласия князей, и что учреждение нового сана германского импе-ɔатора не является для дела объединения необхо-ɩимым.

Государственный муж Гагерн, который прежде так великолепно пред-восхитил согласие князей на имперскую конституцию, решил теперь быть рассудительным, и 28 января обратился к германским князьям с предложе-нием дать свои заключения по поводу принятых уже статей конституции. Он не подумал, что этим он лишает парламент последних следов его и без того уже низко павшей „суверенности" и даже отрезывает ему всякую воз-можность вернуться к старой точке зрения.

Ответы явились чрезвычайно быстро и поражали своей отчетливостью. Австрия 4 февраля заявила себя противницей всякого унитарного государ-ства и открыто высказала, что ее император никогда не подчинится цен-тральному правительству, во главе которого стоит какой-либо другой князь; она советовала парламенту вступить на путь „соглашения". Саксония высказалась за Пруссию, Ганновер и Бавария держали руку Австрии. На-конец, Пруссия требовала от имперского министерства точного ограничения компетенции союзной власти и гарантий существования отдельных государств. Австрия предложила кроме того передать центральую власть директории, состоящей из наиболее сильных государей союза.

„Гениальный" политик Гагерн сумел, как мы видим, настолько осно-вательно расшатать имперскую колесницу, что лучше нельзя было и выдумать. Собрание топталось на месте точно с завязанными глазами. С высоты былой „суверенности" оно окончательно спустилось на почву „соглашений" и без-надежно завязло в них. Что ему было делать? На кого опереться? Когда гражданское ополчение и войска усмиряли рабочих, оно нашло, что это вполне в порядке вещей; когда затем национальная гвардия была разоружена войсками, оно бессильно протестовало или молчаливо, порою даже с сочув-ствием, созерцало это зрелище; теперь реакция поглотила дело конституцион-ного преобразования родины. Иначе и не могло случиться.

В этом печальном положении „великому государственному мужу" Гагерну пришел на помощь другой „великий государственный муж", а именно пресловутый Велькер. Его план еще превзошел по гениальности гагерновский опрос князей. Велькер предложил собранию принять en bloc, что Австрии предоставляется вступать или не вступать в союз по усмотрению, и затем передать все остальное будущему рейхстагу, избрав наследственным германским императором короля Пруссии. Государственный переворот в Кремзире так напугал Велькера, стоявшего прежде за присоединение Австрии, что он моментально превратился из великогерманца в сторонника наследственной императорской власти.

Хотя предложение Велькера и не прошло, но вытекающая из него тактика была в значительной мере принята к руководству. Мечтатели в церкви св. Павла думали, что все дело в том, чтобы как можно скорее закончить выработку конституции, и в самом деле в немного дней они завершили свою работу. Этим они доказали между прочим, насколько излишня была вся их прежняя болтовня. Разногласия по вопросу о наследственной или выборной империи были устранены решительным компромиссом; а именно, умеренная левая согласилась на наследственную империю, а сторонники наследственной империи обязались голосовать за ограниченное (задерживающее, суспенсивное) veto и всеобщее избирательное право. Кроме того, значительное число приверженцев наследственного принципа — между прочим Гагерн — письменно обещались признать конституцию в полном размере и не допускать никаких изменений или уступок. На почве этого замечательного соглашения имперская конституция была, наконец, создана, и парламент чувствовал себя спасителем отечества.

Имперская конституция 28 марта (ее текст дан в приложениях) ставит во главе государства неответственного наследственного императора, разделяющего законодательную власть с парламентом, состоящим из двух палат. Первая палата, „палата государств", должна была состоять из депутатов от отдельных государств, назначаемых местными палатами и правительствами; вторая палата „народная палата", покоится на всеобщем избирательном праве.

Компетенция центральной власти ограничивается делами, касающимися всей Германии, каковы: война и мир, войско, монета, общее законодательство в области уголовного, гражданского, торгового права и т. п.[1]).

Тонкие политики левой были убеждены, что при помощи своих соглашений с конституционалистами они достигли очень выгодной мены. Но скоро им пришлось воочию увидеть всю невыгоду их бесславного компромисса.

28 марта 1849 года парламент, под председательством Симсона из Кенигсберга, в самом приподнятом настроении постановил: собрать под ко

[1]) Нашлись люди, способные даже на эту конституцию молиться как на фети Оригинал конституции, как говорят, и теперь еще хранится в Швейцарии, при че все, знающие место, где он спрятан, обязались честным словом не выдавать эт тайны. Как будто в настоящее время кому-нибудь может притти в голову уничтожи этот документ, и в 1849 году не имевший никакого значения.

туцией подписи членов и затем немедленно опубликовать ее, чтобы, как ıетил Симон из Трира, положить конец всяким соглашениям. Значит, мон также верил в магическую силу клочка исписанной бумаги, именуе-ˌо конституцией. По предложению Морица Моля было постановлено, что ıиональное собрание не разойдется до тех пор, пока не будет созван ійхстаг на основании новой конституции. Затем были произведены выборы эманского императора, при чем, как и следовало ожидать, был избран роль Фридрих-Вильгельм IV прусский.

Присутствовало всего 538 депутатов: из них 290 голосовали за прус-эго короля и 248 воздержались от голосования, так что избранник полу-л ничтожное большинство в 42 голоса. Левая соблюдала условие, заклю-нное с приверженцами наследственной империи, многие ее члены подали лос за Фридриха-Вильгельма IV. Среди последних находились Леве-Кальбе мме, Генрих Симон из Бреславля, Шодер из Штутгарта, Реслер из Эльса. эллинг из Евера, граф Рейхенбах из Силезии, Циммерман из Шпандау и другие. Из членов левой, воздержавшихся от голосования, некоторые мо-вировали свое поведение; старый Мор из Обер-Ингельгейма воскликнул: I не выбираю наследственного!"—„Главы государства", докончило со сме-м собрание; Шлеффель из Силезии и Рейнгарт из Бойценбурга заявили, о они не желают избирать какого бы то ни было государя, а Трюцшлер скликнул: „Я не избираю главы!" Австрийцы все воздержались от голосо-лния, при чем граф Дейм заметил: „Я не имею мандата!" Князь фон-ıльбург-Цейль ответил: „Я не курфюрст!" а Зепп, впоследствии национал-іберальный профессор сказал: „Я не выбираю контр-императора!"

Снова во Франкфурте трезвонили колокола, гремели выстрелы, и прези-нт Симсон в елейной речи превозносил важность совершившегося события.

Выбор императора был везде отпразднован конституционной буржуа-ıей с колокольным звоном и пушечными залпами. Правитель империи вече-эм 28-го марта разыграл комедию, вручив свою отставку президенту собра-ıя Симсону. Господин Симсон однако до такой степени был проникнут эзнанием высокого значения личности имперского правителя, что „почти-эльнейше" просил его остаться у власти, на что последний согласился, ıразив надежду, что его освободят от должности, как только это станет воз-ожным „без ущерба для общественного спокойствия и блага Германии". Госпо-ıи Симсон, повидимому, совершенно серьезно относился ко всей этой комедии.

Была избрана депутация из 33 членов, чтобы преподнести королю ruссии корону. Симсон стоял во главе депутации и должен был произнести ечь; из остальных ее участников назовем Арндта и Дальмана из Бонна, ıеве-Кальбе, Бидермана из Лейпцига и Рюдера из Ольденбурга, Шодера и ɔедерера из Штутгарта, Рюмелина из Нюртингена, Мерка и Риссера из 'амбурга и Ре из Дармштадта.

В городах с преобладанием демократии депутация была принята очень олодно; там, где перевес был на стороне конституционалистов, ее встречали величайшим ликованием. В Берлине, где все еще господствовало осадное юложение, прием оказался далеко не таким грандиозным, как расчитывали

проникнутые важностью своей всемирно-исторической миссии депутаты. Некоторые прусские дипломаты имели жестокость убедить депутатов, что король готов принять императорский сан.

3-го апреля король принял депутацию во дворце в присутствии принцев и министров[1]). Симсон в высокопочтительной речи предложил ему принять павшее на него избрание.

Король ответил:

„Я признаю в постановлении национального собрания голос представителей германского народа. Я готов доказать на деле, что не ошиблись те люди, которые искали себе опоры в моей преданности, верности и любви к нашему общему отечеству, Но я не оправдал бы этого доверия, я вступил бы в противоречие с духом германского народа, я нарушил бы интересы объединения Германии, если бы я, нарушив священные права и мои прежние решительные и торжественные обещания, без свободного соглашения коронованных правителей, государей и вольных городов Германии принял решение, которое должно иметь для них и для управляемых ими германских племен столь важные последствия. Правительствам отдельных германских государств предстоит теперь решить по взаимном обсуждении, соответствует ли конституция интересам целого и отдельных его частей, и смогу ли я, воспользовавшись предначертанными для меня правами, твердою рукой, как того требует столь высокое призвание, направлять судьбы великого германского отечества и выполнить надежды его народов".

Депутаты стояли, словно окаченные холодной водой, и долго не могли отдать себе отчета в происшедшем. Отказываться от такой прекрасной короны! Это казалось им тем более непонятным, что многие из них считали себя способными и призванными управлять Германией. Они не понимали той роли, которая им была отведена; король охотно воспользовался случаем основательно унизить столь ненавистных ему либералов.

Впрочем, большую часть депутации составляли будущие национал либералы, а мы знаем из эпохи Бисмарка, с какой легкостью эти мужественные души умели сносить величайшее унижение, сохраняя на своих лицах преданную улыбку верноподданных.

Депутация уехала в полном недоумении, передав прусскому правительству в высшей степени несуразную ноту. На нее градом сыпались насмешки, с одной стороны, дворян и реакционеров, с другой стороны, республиканцев.

Пруссия, пользуясь случаем, искала союзников, так как с гибелью имперской конституции австро-прусский дуализм с новой силой сказался в Германии. 3-го апреля к правительствам была отправлена прусская нота, в которой говорилось. что вследствие решения имперского правителя сложить с себя полномочия прусский король согласен по поручению правительств

[1]) Уже то обстоятельство, что один нахальный лакей отказался подать стакан воды членам депутации, ясно показывало, как относились во дворце ко всему этому делу.

согласия национального собрания взять на себя временное руководство германскими делами. Король решился также, гласила нота, стать во главе союзного государства, имеющего составиться из тех государств, которые свободно присоединятся к нему. В то же время правительствам было предложено послать уполномоченных во Франкфурт, снабдив их вполне определенными инструкциями.

Итальянские победы подняли самоуверенность австрийской камарильи. Шварценберг решил, что наступило время не только смирить национальное собрание, но и с большей резкостью выступить против Пруссии. 5-го апреля к правителю империи была отправлена нота, убеждавшая его остаться на своем посту и в то же время отзывавшая австрийских депутатов из франкфуртского парламента. Национальное собрание, говорилось там, не оправдало возлагавшихся на него надежд, задалось целью создать „идеальное государство“, покинуло путь соглашения и задумало исключить Австрию из Германии. Поэтому участие австрийских депутатов в его заседаниях не может более иметь места.

Бессильный парламент не мог оказать действительного сопротивления этому грубому натиску Шварценберга. 8-го апреля пришла вторая австрийская нота, в которой Австрия прямо и открыто высказалась против руководящей роли Пруссии в обще-германском движении, и великий государственный муж Гагерн снова решился на „дело“. Он созвал во Франкфурте конференцию представителей правительств. 14-го апреля 29 германских правительств—все самые мелкие—высказались за имперскую конституцию. Баден, Нассау, три Гессена, Шлезвиг-Голштиния, оба Мекленбурга, три Ангальта, два Рейсса, Ольденбург, Брауншвейг, Саксен-Веймар, Саксен-Гота, Саксен-Мейнинген, Саксен-Альтенбург, два Шварцбурга, два Гогенцоллерна, Вальдек, Липпе, Гамбург, Любек, Бремен и Франкфурт на Майне заявили, что, хотя имперская конституция удовлетворяет их не во всех пунктах, тем не менее эти сомнения отступают на задний план перед той опасностью, с которой связано дальнейшее оттягивание конституционного преобразования Германии. Точка зрения соглашения, на которой настаивала Пруссия и другие правительства, легко могла погубить все дело. Мелкие правительства, не раз заранее выражавшие свое согласие с постановлениями собрания, отчасти боялись восстаний, отчасти опасались, что могущественные правительства выработают „соглашение“, слишком невыгодное для мелких государств. Потому-то они и приняли имперскую конституцию.

Но гагерновские маневры не могли, конечно, запугать могущественные правительства. Один удар за другим обрушивался на беспомощный парламент. Бавария высказалась против имперской конституции, Ганновер и Саксония распустили свои палаты за то, что последние высказались за имперскую конституцию [1]). 28-го апреля появилось новое заявление Пруссии, в

[1]) Первая саксонская палата высказалась всеми голосами против одного за имперскую конституцию, вторая—всеми голосами против 12. Последние принадлежали как объясняет Чирнер, республиканцам, не желавшим признать монархического главу, предположенного конституцией.

котором король решительно отклонял предложенную парламентом императорскую корону. В той же ноте указывалось, что конституция с ограниченным правом veto и „ничем не сдерживаемым избирательным правом“ может явиться лишь средством устранить верховную власть в пользу республики. Вторая прусская палата накануне была распущена за то, что она высказалась за имперскую конституцию.

Вюртемберг принял имперскую конституцию. Сначала казалось, что в Вюртемберге ее постигнет та же судьба, как в Саксонии, Ганновере и Баварии. Но министерство Ремера энергично настаивало перед королем Вильгельмом на принятии конституции. Король сопротивлялся; он хотел иметь конституцию по соглашению с государями и, кроме того, не был согласен с национальным собранием в вопросе о главе империи. Разногласия между королем и министерством Ремера обострились. Дело дошло до министерского кризиса, распространились слухи о предстоящем назначении реакционного министерства. Швабы пришли в волнение, узнав, что у них намерены отнять их мартовского министра; лишь впоследствии им пришлось испытать, что Ремер не тот человек, за которого он себя выдавал и за которого его считали. 22-го апреля депутация от сословий высказала королю свое согласие с точкой зрения министерства Ремера и получила ответ, что король признает имперскую конституцию, за исключением пункта о верховной власти. „Дому Гогенцоллернов я не подчиняюсь“, сказал он и затем прибавил: „Если все германские государи сделают это, я также принесу эту жертву Германии, хотя и с сокрушенным сердцем. Меня могут также вынудить к этому ваши настояния, восстания в стране. Но если вы становитесь на почву революции, если вы принуждаете меня дать свое слово, то последнее не свободно. С этим согласитесь вы сами, но этого вы не можете желать, так как вынужденное слово не было бы для меня обязательным. Я имел бы право взять его назад, когда моя воля снова станет свободной“. Дому Габсбургов,—заметил король,—я бы подчинился.

Тогда палата, вопреки возражениям члена государственного совета Дювернуа, приняла предложение Штоккмайера, согласно которому имперская конституция объявляется действующим в Вюртемберге законом, каждый вюртембержец, статский или военный, обязан защищать ее и руководствоваться ею, и каждое нарушение ее рассматривается как государственная измена.

Возбуждение в стране быстро возрастало; войско, повидимому, стояло на стороне конституции, так же как и национальная гвардия; все предвещало неизбежную катастрофу. Король оставил Штутгарт и направился в Людвигсбург. Когда он и там увидел, что почти никто не стоит на его стороне, он уступил. Сначала он хотел принять имперскую конституцию с некоторыми ограничениями, но Ремер оставался непреклонным, и 24-го апреля король дал, наконец, свое согласие на имперскую конституцию целиком, включая ее постановление относительно верховной власти и избирательный закон.

Торжество победителей не поддается никакому описанию; они преувеличивали свою победу и свою силу; им казалось, что они дают совершенно [illegible]е направление делу конституционного преобразования отечества. Это [illegible] справедливо лишь постольку, поскольку в народе снова пробудились [illegible]атии к франкфуртскому парламенту, наталкивавшемуся на такое вра[illegible]бное отношение правительств. Карл Фогт посвятил во франкфуртском [illegible]аменте вюртембергским событиям непомерно длинную речь, призывая [illegible]ституционалистов к энергии, которой у него самого было так же мало, [illegible] у них. Конституционалисты боязливо отклонили совет вступить на [illegible]золюционный" путь.

Пруссия разослала правительствам новое приглашение прислать своих [illegible]лномочённых в Берлин, чтобы положить предел революции [illegible]оздать „соответствующую своему назначению", т.-е. угодную государям, [illegible]ституцию. Между тем парламент все еще делал напрасные потуги сдви[illegible]ь вперед безнадежно засевшую в земле конституционную колесницу. [illegible]жду демократами и конституционалистами пролегала глубокая пропасть [illegible] вопросу о том, к каким средствам теперь следует прибегнуть; в этом [illegible]рудительном положении речи полились такой многоводной рекой, как [illegible]то от их изобилия зависел ход всемирной истории. Значительное число [illegible]утатов оставили парламент. Порой левой удавалось влить в собрание не[illegible]торую энергию. Но это приводило лишь к тому, что парламент снова и [illegible]ова убеждался на фактах в своем полном бессилии. 26-го апреля консти[illegible]ция снова была провозглашена действующим законом, и правительствам [illegible]дложено принять все меры к ее признанию и проведению в жизнь, но, [illegible]зумеется, постановление это не принесло никаких результатов.

Левая внесла целый ряд революционных предложений, например, на[illegible]ачить исполнительный комитет и временного правителя империи, привести [illegible]ско к присяге конституции, поднять народ на защиту ее и т. п., но все [illegible] было отклонено; да если бы предложения левой и были приняты, они [illegible] имели бы, конечно, ни малейшего практического значения. 30-го апреля [illegible]рламент постановил, что собрания его законны уже при 150 членах, и [illegible]о президент имеет право созывать собрания в любое время и в любом [illegible]сте. 4-го мая по предложению Виденбругка было постановлено призвать [illegible]авительства, законодательные палаты, коммунальные представительства и [illegible]сь народ к проведению конституции; далее, на 22-го августа были назна[illegible]ны выборы в новый рейхстаг, и если Пруссия, гласило другое постано[illegible]ение, не примет конституции, то имперский наместник, именно глава круп[illegible]йшего из признавших конституцию союзных государств, должен стать на [illegible]сто императора.

Радикальные и революционные проекты один обгонял другой, произноси[illegible]ись негодующие речи. Так, господин Зепп предложил отнять верховную власть [illegible] государей, не признавших конституции, и разделить их земли. Такие шу[illegible]овские проекты имели лишь один результат: делали собрание смешным.

Парламент попал со своей конституцией в совершенно беспомощное [illegible]оложение, и благородный Гагерн был, конечно, менее всего способен вы-

вести его из затруднения. Он напал в конце-концов на истинно-гагерновскую мысль, что сама центральная власть должна взять в свои руки осуществление конституции. Это был вариант знаменитого рецепта Мюнхгаузена: самому вытащить себя за волосы из болота. Правитель империи, бывший в сущности лишь представителем австрийского двора, отклонил, конечно, этот путь, а великий государственный муж Гагерн воспользовался случаем, чтобы выпутать из затруднения свою собственную драгоценную особу. 10-го мая он сложил с себя должность имперского министра.

Это было принято конституционалистами как дурное предзнаменование. Они стали толпами утекать из собрания.

Каждая партия старалась свалить вину за такой поворот на другую. Они все были правы, так как каждая из них имела свою долю вины.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Борьба за конституцию.

По мере того, как стремление правительств уничтожить конституционную аботу Франкфурта становилось все более и более явным, все сильнее пробуждались политические интересы народа. Беспрерывное, однообразное журчанье парламентских речей отчасти уже усыпило Германию. Однако огда мартовским завоеваниям, стоившим столько борьбы и жертв, стала грожать серьезная опасность, возбуждение начало охватывать широкие круги аселения, и безрезультатность всяких примирительных попыток имела своим ледствием насильственные взрывы.

Общее революционное движение уже стихало. Крестьянская масса почти ся вновь стала консервативной; рабочие считали себя обманутыми в своих жиданиях относительно результатов восстания, а большая часть буржуазии анатически преклонялась теперь перед идеей „порядка". Не успокоились ще только радикально-демократическая и республиканская партии. Мартовские союзы, на обязанности которых лежало отстаивать завоевания мартовких дней, выступавшие с большим революционным задором, еще раз попробовали организовать германскую демократию, к чему раньше тщетно стремился емократический конгресс. Существовало, повидимому, около 3.000 отдельных оюзов. Но мартовские союзы в действительности не обладали той силой, оторой они располагали на бумаге.

Демократы и республиканцы думали воспользоваться имперской конституцией, чтобы, основываясь на ней, поднять в народе демократическое движение. Несомненно, что конституция сама по себе весьма мало занимала их[1]).

---

[1]) Феннер фон-Феннеберг, участвовавший в собраниях мартовских союзов во ранкфурте, замечает по этому поводу: „Меня мало беспокоило то, что поднято было намя защиты имперской конституции; я уверен был, что знамя это скоро будет заенено другим, республиканским... Мы не скрывали друг перед другом, что национальное собрание, собственно говоря, никуда не годится, что доверие к нему народа трачено; несчастная, в муках рожденная имперская конституция, у колыбели коорой произошла грозная встреча венценосцев и пролетариев, тоже немногого стоит; на не была достаточно демократической; мы презирали избирательную плутню, созданную гражданином Фогтом по поводу вопроса об императоре, и все же решено ыло держаться за конституцию и национальное собрание. Ведь в случае нооды мы всегда сумели бы перешагнуть через все это!"

Таким образом действительно произошло несколько восстаний якобы на конституционной почве, в которых смешались все радикальные, демократические, республиканские и социалистические элементы с группами, которые только пассивно вовлечены были в общий поток движения и, в сущности, вполне удовлетворились бы проведением конституции. Более энергичная часть рабочих поддерживала здесь, как и всегда в подобных случаях, радикальную буржуазию. Баденское восстание показывает нам, как мало демократия была занята собственно имперской конституцией[1]). В Бадене правительство признало имперскую конституцию, и получившееся таким образом противоречие восставшие старались затушевать требованиями „проведения имперской конституции". Одним словом, демократия восстала против сил, препятствовавших завершению конституционной работы; конституция сама в действительности сыграла здесь второстепенную роль и была лишь средством для иных целей.

То обстоятельство, что некоторые правительства признали имперскую конституцию, лишало так называемые конституционные восстания общего характера. Таким образом демократия мало выиграла от того, что в Вюртенберге признана была имперская конституция; этим вызвано было только отпадение вюртембержцев от баденских повстанцев.

Если бы восстание увенчалось успехом, то партия, одержавшая победу, немедленно распалась бы на свои первоначальные составные части, что вызвало бы в свою очередь новые столкновения, новую борьбу. Несомненно ведь, что республиканцы и демократы поспешили бы немедленно после победы устранить ту самую конституцию, за которую велась борьба, потому что эта имперская конституция находилась в противоречии с демократическими и республиканскими принципами.

Движение в пользу имперской конституции повело к вспышке прежде всего в Саксонии. Там, как уже было упомянуто, палаты были распущены. Мартовское министерство Браун-Оберлендера, которое в лице своих популярных членов облечено было задачей вселить возможно больше доверия в души граждан и имело даже в этом деле большой успех, оставило свой пост 24 февраля. Его сменило министерство Гельд-Бейста. После окончания конституционной работы в Саксонии начались волнения в пользу проведения конституции; происходили многочисленные собрания и к королю обращались со множеством петиций. Большинство министерства стояло за признание и проведение конституции, но так как король решительно противился этому, то министерство подало в отставку, и Циншкий образовал новое, в которое также вошел и Бейст. Появление этого реакционного министерства усилило движение в пользу имперской конституции. Руководящая роль всецело перешла к демократам и республиканцам; это далось им без особого труда

[1]) Мегдинг, которому принадлежит крупная роль в баденском восстании, высказывал надежду, что баденское восстание выйдет за пределы баденских границ и примет республиканский характер. „Я бы пальцем не пошевельнул из-за самой конституции, этой жалкой игрушки!", говорил он. (Письма его к друзьям, стран. 137).

благодаря тому, что Саксония издавна была очагом радикализма. Гражданское ополчение и городская администрация высказались за имперскую конституцию и решили требовать у короля ее принятия. Дрезденский рабочий союз, при посредстве стоящего во главе его Грилле, тоже выпустил заявление, в котором он требовал немедленного принятия имперской конституции, „хотя она и оставляет еще для будущего много работы над материальным благосостоянием народа“. Повидимому, рабочий союз прекрасно понимал свое положение по отношению к буржуазии.

Король наотрез отказался дать свое согласие на введение конституции. Войска стояли на готове; было послано за подкреплениями; говорили, будто стянуты будут сюда также и прусские войска. Городская администрация 3 мая образовала комитет обороны, который впоследствии превратился в комитет безопасности.

Все растущее возбуждение народа вскоре привело к столкновению. Густая толпа народа окружила арсенал, выбиты были деревянные ворота, но здесь пораженная неожиданностью толпа остановилась [1]). Выстроенная внутри двора арсенала пехота открыла огонь, и четыре человека были убиты.

Толпа пришла в ярость, каменный дождь посыпался на войско; подоспевшие на помощь вооруженные гимнасты стали стрелять в солдат, один офицер был ранен на смерть. Подошедший в это время батальон гражданского ополчения попытался было рассеять массу, но тут внезапно распахнулись ворота арсенала и оттуда был дан залп картечью; 20 человек, из них 14 убитые наповал, остались на месте. Из окон арсенала направлялись выстрелы в гражданское ополчение.

На всех улицах раздавались крики: „измена“! „к мести“! Трупы убитых провозились мимо дворца, депутации одна за другой приходили к дворцу, одна депутация на коленях умоляла о даровании конституции, — король оставался непреклонным. В этот день до столкновений не дошло, но всюду толпа вооружалась и строила баррикады [2]). Реакционный командир гражданского ополчения был смещен, и его место занял бывший греческий офицер Гейнце.

В то время как в Пруссию были отправлены гонцы за подкреплениями, которых правительство ожидало с таким страшным нетерпением, король 4 мая, рано утром, бежал из города в крепость Кенигштейн. Министерство сопровождало его; расположенные в Дрездене войска казались не вполне надежными.

Рано утром 4 мая уже кипела битва. Улицы были усеяны многими крепкими баррикадами, из которых некоторые являлись действительно про-

---

[1]) Pockel: Sachsens Erhebung und das Zuchthaus zu Waldheim.

[2]) На многих баррикадах укреплен был портрет Роберта Блюма, что, конечно, не могло остановить вражеских пуль. Большее впечатление произвел портрет Блюма, когда, несколько лет тому назад, на одном лейпцигенском собрании его поставили перед глазами национал-либерального сына Блюма. Почетный господин оратор, взглянув на портрет своего отца, действительно, потерял нить своей речи.

изведениями искусства[1]). Войска, занимавшие Новый город, а в Старом Городе замок и арсенал, в этот день не имели никакого успеха.

После бегства короля образовано было временное правительство, избранное бывшими членами палаты. В состав правительства вошли Гейбнер, Чирнер и Тодт. Чирнер был стойкий республиканец, Гейбнер менее решителен. Во франкфуртском парламенте он голосовал против выбора короля Пруссии и вообще воздержался от избрания. Впоследствии утверждали, будто он вступил в Дрездене во временное правительство лишь с тем, чтобы не допустить до власти наиболее „крайних". Тодт, бывший прежде доверенным лицом от правительства в союзном сейме, встречен был недоверием. Чирнер, красноречивый адвокат, прежде президент второй палаты, был главой этого правительства, которому приходилось бороться с большими трудностями, несмотря на доверие и покорность народа.

Восставшие имели глупость заключить перемирие с войсками, ожидавшими подкреплений. Гражданское ополчение с самого начала обнаруживало некоторую двусмысленность, вступая с войском в особый договор относительно совместного занятия здания арсенала, при чем ему досталась явно менее выгодная позиция. Перемирие, продолженное с ночи 4 мая на 5 мая, принесло подмогу обоим лагерям, восставшим, однако, не в тех размерах, как рассчитывали их вожди. Множество гонцов было разослано во все стороны с воззваниями о помощи. В Лейпциге местными демократами произнесены были громовые речи; за исключением этого, ничего не было предпринято в пользу Дрездена. Жители Лейпцига допустили даже, после некоторой борьбы отбытие стоявшего в их городе гарнизона к Дрездену и послали потом адвоката Цихориуса... с представлениями к центральной власти. Из Хемница пришли отряды рабочих-механиков, из угольных копей господина фон-Бургка явилось несколько сот горнорабочих, привезших с собой пять 4-фунтовых пушек, находившихся во владении этого господина[2]). Это были все орудия восставших; арсенал остался недоступным для них.

Коммунальная администрация сделала еще одну попытку взять на себя посредническую роль и добиться примирения, но министры Бейст и Рабенгорст поставили столь суровые условия, что после полудня 6 мая на улицах Дрездена вновь кипела борьба. Тем временем к саксонским отрядам присоединились еще два прусских батальона пехоты и прусская артиллерия; кавалерия отрезала кругом все проходы, и против баррикад направлены были тяжелые орудия. Теперь выяснилось, зачем войска заключали перемирие.

[1]) Особенно хороша была одна баррикада, воздвигнутая знаменитым архитектором Земпером. В этом восстании участвовали еще многие другие художники и артисты. Между ними особенно замечательны капельмейстер Реккель и впоследствии столь знаменитый Рихард Вагнер, которого потом преследовали за государственную измену. Артисты вообще были сильно представлены в рядах демократии. Знаменитая певица Шредер-Девриен горько оплакивала Роберта Блюма и однажды в разговоре с саксонскими дипломатами очень резко высказалась по поводу расправы, учиненной над ним Виндишгрецем.

[2]) Горнорабочими сделана была попытка устроить подкоп под дворцом, занятым войском, но они потерпели неудачу.

нужно было выиграть время, выйти из растерянного положения, в котором і находились, и обезопасить себя до прибытия пруссаков от нападений стороны восставших.

Борьба была ужасной, потому что защищавшиеся обнаруживали изумительную стойкость. Войска врывались в дома, где разыгрывались потрясающие сцены. После того как лица, занимавшие и защищавшие дома, были гнаны или убиты, группы войска водворялись у окон и оттуда пускали пы в баррикады. Действия прусской артиллерии сопровождались страшными устошениями; мелкие орудия горнорабочих Бургка не могли состязаться нею. Генерал Гомилиус, начальник саксонской артиллерии, был убит выролом одной из бургкских пушек.

Массой восставших командовал Бакунин, и его распоряжения носили в сшей степени диктаторский и даже террористический характер [1]. Благоря численному превосходству войска мало-по-малу подавляли сопротивление ставших, несмотря на все мужество, с которым отстаивались некоторые фрикады. 7 мая отряды войск вступили по главным улицам в центр города здесь у баррикады в большей Frauengasse у „Города Рима" ожесточенная рьба достигла своего апогея. Пруссаки и саксонцы, которые принуждены лли несколько раз отступать с тяжелыми потерями, лишь с крайним напряжением сумели взять штурмом прочную позицию народных борцов. Когда 'ород Рим" был, наконец, взят, войска так неистово хозяйничали в нем, го в пылу увлечения убили даже принца Шварцбург-Рудольштадтского, встрийского офицера, который лежал больным в этом отеле [2]).

Гражданское ополчение вскоре удалилось с места сражения; в концеэнцов последними остались на баррикадах почти исключительно одни раэчие. О командире гражданского ополчения Гейнце говорили, что он умышзнно отдался в плен солдатам.

Во время уличных битв многие части города были охвачены пожаром: гарое здание оперы и часть построек, примыкающих к королевскому замку,

---

[1]) Автор как-то раз в Саксонии спросил одного старого горнорабочего, сражавшегося на дрезденских баррикадах, видел ли он Бакунина, и каков был последний. Э—отвечал старик,—видал-то я его несколько раз, да вот в нем-то не видал ничего, роме огромной бороды".

[2]) Прусский полковник фон-Вальдерзее выпустил сочинение о дрезденском восгании, в котором он говорит, что прусским солдатам показалось, будто на дрезденких баррикадах они узнают берлинских мартовских борцов. Несомненно, конечно, то в этом их постарались уверить для того, чтобы возбудить в них ярость. Дальше том же сочинении говорится: „Таким образом прусские солдаты, без всякого поуждения к тому со стороны своих начальников, как бы молчаливо согласились между обою заменить в предстоящей битве юридический процесс, столь сомнительный по воим результатам и во всяком случае чрезвычайно скучный и длительный, быстрой амостоятельной расправой. Своими планами они поделились с саксонкими товарищами. И как это обыкновенно бывает, что прозелиты нового ученья ровностнее поклоняются ему, чем учителя, и скорее принимают его со всеми извращениями, так случилось и здесь". И действительно, ученики превзошли учителей". Характерно, что прусские спасители отечества сначала должны были изображать „учителей".

сделались добычей пламени. Допытываться, кто поджег здание, здесь, как и всегда в подобных случаях, совершенно бесполезно, потому что при такой борьбе возникновение пожаров является почти неизбежным. Само собой ра зумеется, что реакционеры утверждали, будто народные борцы „нарочно" подложили огонь; по другим сведениям, причиной пожаров был артиллерий ский огонь.

Вечером 8 мая, в то время, как на улицах еще шла битва и борьба достигла такого ожесточения, что даже женщины и девушки сражались и падали на баррикадах, вожди восстания пришли к убеждению, что сопроти вляться бесполезно. Все выходы из города, за исключением одного, был заняты войсками. Решено было перенести борьбу в Рудные горы, в горо Фрейберг. В полночь народные борцы покинули Дрезден и, следуя по Дип польдисвальдской дороге, старались достичь Фрейберга. В Дрездене нескольк баррикад и домов все еще занимали повстанцы; причиной этого могло быт или то, что защищавшие ни за что не хотели отступить, или же то, что от ступление не было достаточно организованным. Эти последние позиции был взяты войсками утром 9 мая после отчаянного сопротивления их защитнико Дрезден и его окрестности на 3 мили в окружности были объявлены н осадном положении.

К Дрездену направлялись многочисленные вооруженные, которые, ко нечно, повернули обратно, узнав, что Дрезден взят. Теперь борьбу счита проигранной. И действительно, после потери Дрездена сила восстания был сломлена. Гейбнер с довольно сильным отрядом подошел к Фрейбергу, н городская администрация так жалобно умоляла его не подвергать гор ужасам борьбы, что он отступил и направился к Хемницу. Вместе с Бак ниным он поспешил вперед, чтобы сделать в Хемнице необходимые пригот вления, но изменническим образом был предан властям и вместе с Бакунин привезен в Дрезден. Раньше еще был схвачен Реккель; Чирнеру удалось п ребраться в Баден, а Тодт, очень быстро удалившийся во Франкфурт, дост Швейцарии [1]).

Восставшие быстро рассеялись. Поведение их во время борьбы бы образцовое, обычный девиз: „собственность священна"!—был написан повсюд По тем ужаснее расправлялись победители, ожесточенные долгим сопротивл нием. Даже такой реакционный листок, как „Иллюстрированная Газета писал тогда: „Мы не можем не пожалеть о том, что торжество победы з конного порядка во многих местах омрачено грабежами и другими п ступками со стороны солдат. Правда, это может быть объяснено ожесто чением, вызванным у них упорным сопротивлением мятежников, но толь объяснено, не оправдано".—„Другие поступки",—это означало убиен пленных и беззащитных и иные насилия над пленниками. Сначала взятых плен приводили через мост на Эльбе в „Tuchhalle" в новом Городе; ког

[1]) Вюртембергский демократ, Л. Б., принявший у себя Тодта во время бегства в Геппинген и переправивший его через Боденское озеро в Роршах, рас сказывал, что Тодт, вступив в Роршах, поцеловал „свободную швейцарскую землю".

это помещение было переполнено, их привозили в Frauenkirche и в Gewandthaus. Особенно ужасные страдания им пришлось пережить в Frauenkirche [1]).

В этой борьбе со стороны народа пало 178 лиц, из которых только 70 узнаны, 108 остались неизвестными. Потери войска по официальному заявлению равнялись 34 убитым и 36 раненым.

Над пленными, среди которых находился целый ряд лучших и наиболее уважаемых лиц страны, был учинен строгий суд. Гейбнер и Реккель были приговорены к смертной казни, которая, однако, королевским помилованием была заменена пожизненной каторгой; Гейбнер отбыл 10, а Реккель 11 лет каторжных работ. На долю других тоже выпали суровые приговоры. Каторжная тюрьма в Вальдгейме стала местом ужаса. Заключенных наказывали не только голодовкой, карцером и другими мучениями, но и таким способом: к одной ноге цепью приковывалось тяжелое дубовое бревно и заключенный всюду должен был таскать его за собою [2]).

Саксонский народ относился к заключенным, в особенности к Гейбнеру, с безграничным преклонением [3]). С наибольшим участием относились к Бакунину, приговоренному сначала к смертной казни, затем к пожизненной каторге и выданному затем Австрии, которая обвиняла его в участии в июньском восстании в Праге. Австрия, в свою очередь, выдала его России; здесь он некоторое время содержался в Шлиссельбургской крепости, отсюда препровожден в Сибирь. В 60 годах после удачного, фантастического побега из Сибири, он появился в Северной Америке. Роль, которую он играл впоследствии в Западной Европе, возбуждает самые многоречивые толкования.

Одновременно с дрезденскими волнениями восстание вспыхнуло также в Бреславле. Местная городская буржуазия шла на демонстрации только в пользу имперской конституции; рабочие намеревались задержать батарею, предназначенную к отправке в Дрезден для усмирения народа. Народное собрание под открытым небом было воспрещено. После этого состоялось очень многолюдное собрание в зале ресторана „Германский император"; на этом собрании ораторы высказывались в том смысле, что проведение конституции является теперь делом народа. Началась постройка баррикад, и дело дошло до столкновения с войсками. Последние стреляли в народ, и несколько человек поплатились жизнью. Важнейшие пункты были заняты

---

1) См. Pockel, Sachsens Erhebung, стр. 74.

2) Говорят, что у секретаря торговой палаты Кирбаха фон Плауена до 90-х годов были видны следы от ношения такого бревна на ноге. Удивительно только, как такое, имея подобную памятку, можно было сделаться врагом социалистов.

3) Гейбнер, в настоящее время (1891 г.) член партии свободомыслящих, недавно праздновал свою 80-ю годовщину, которую свободомыслящие превратили в торжество. При всем том саксонские свободомыслящие неустанно борются против социал-демократии, как против партии переворота,—хотя возвеличивают бывших революционеров в своих собственных рядах.

войсками и благодаря захваченной ими позиции на главном проспекте города последний вообще был в их руках. На следующий день, 7 мая, после полудня, произошло серьезное сражение, после того как утром имело место несколько менее значительных стычек. Было воздвигнуто множество баррикад. Войска быстро напали на них, и после упорной и кровавой борьбы они были взяты. Особенно яростны были сражения у „Красного оленя“ и на улице Николая. Войска потерпели большие потери, пало также несколько офицеров. Бреславльская буржуазия показала себя тут в своем настоящем виде: двери ее домов оказались запертыми перед борцами, ранеными на баррикадах; по некоторым сведениям, фанатики-филистеры коварно нападали на боровшихся на баррикадах с тылу, в то время как с фронта на них наступали войска. На баррикадах все же было меньше раненых и убитых, чем среди войск. Около полуночи войска оказались победителями, и утром следующего дня Бреславль и его окрестности на две мили кругом были объявлены на осадном положении.

На севере все осталось спокойным. Правда, демократическая партия и здесь выпустила массу высокопарных прокламаций. Но это было слишком обычным явлением. Воззвание франкфуртской левой к народу, апеллировавшее к силе оружия, на большую, слишком большую массу народа тоже не произвело никакого впечатления.

Совершенно иную картину представляла жизнь на Рейне. Здесь существовали области с сильно развитой промышленностью, где многотысячная рабочая масса беспрестанно волновалась. Что касается рейнской буржуазии, то она относилась, конечно, к самостоятельным стремлениям рабочего класса с обычными, характерными для буржуазии, ужасом и отвращением. Имперская конституция пришлась ей очень по-сердцу; она надеялась, что проведение конституции вызовет подъем торговли и поможет создать германский военный флот для защиты торгового флота. По этим причинам буржуазия обратилась к массам; последние кое-где восстали, хотя для них конституция сама по себе не имела почти никакого непосредственного значения. Народ поднялся против общей реакции и не заботился о том, какое название дадут восстанию. В Кёльне все обстояло тихо, но в Эссене брожение достигло такой силы, что взрыв казался неизбежным. В Эльберфельде и Дюссельдорфе дело дошло до сражений. Демократическая агитация увлекла на свою сторону ландвер. 7 мая в Эльберфельде имело место собрание ландвера, которое объявило первый призыв ландвера,— приказ о чем был издан министерством Мантейфеля,—противозаконным и решило отказать этому министерству в повиновении. За этим последовали аналогичные заявления других частей ландвера. Заявления эти расклеивались по городу, но полиция всюду срывала их; возбуждение росло, и вскоре в Эльберфельде произошло столкновение с местным гарнизоном. Последний, после нескольких стычек с народом и после того как один офицер был убит, удалился из города. 10 мая в Дюссельдорфе дрались на баррикадах, при чем войско одержало победу. Прямые улицы Дюссельдорфа оказались невыгодными для уличной борьбы. Газеты того времени переполнены ужа-

нощими подробностями этой борьбы и в особенности последовавшего за ею хозяйничанья войск в побежденном городе [1]).

В Эльберфельде образовался комитет безопасности, в котором господствующую роль играла буржуазия. Сюда стекались тысячи народных борцов; з Золингена прибыл даже отряд вооруженных девушек. Из Грефратского и игбурского арсеналов взято было оружие. Так как все находящиеся в распоряжении правительства отряды войск были заняты, то у Эльберфельда ыло достаточно времени, чтобы подготовиться к борьбе. Город был усеян ножеством баррикад. Боевое настроение царило среди рабочих, пролетариат ыставил свои массы для борьбы. Этим воспользовались, чтобы настращать уржуазию. Началась агитация разных темных личностей, и, действительно. а филистеров удалось нагнать такой страх перед „коммунизмом", что равящим комитетом безопасности изгнаны были из города слишком ярые емократы и „инородцы" [2]). В этом характерном эпизоде, разыгравшемся в льберфельде, яснее, чем где бы то ни было, обнаруживается трусость и божество буржуазии.

Рабочие, оставшиеся теперь без предводителей, обнаруживали нерешительность. Когда вскоре после этого к городу подошел большой отряд сильной артиллерией, распространился слух, что имперская конституция ринята королем. После этого баррикады были снесены, и народные отряды од предводительством старого офицера Отто фон-Мирбаха [3]) бросились в оры, где они частью были взяты в плен, частью рассеялись.

Таким образом это движение закончилось без дальнейшей борьбы; днако оно имело еще эпилог, разыгравшийся в Вестфалии. Сильные рабочие той страны восстали в Гагене и Изерлоне. У них не было подходящих ождей, но случайно в их руки попал большой транспорт пороха. Центром орьбы стал Изерлон, сильно укрепленный баррикадами. В качестве артиллерии осставшим служили две шестифунтовые пушки и несколько мортир. Против их посланы были главным образом бранденбуржцы. И здесь, как в остальных городах, буржуазия в решительный момент отделилась от рабочих.

---

[1]) Мы не могли проверить правильности этих сообщений, написанных, как это видно из них, в величайшем возбуждении. Если верна хотя бы только половина, все ке остается достаточно ужасов.

[2]) Такая судьба постигла между прочим и Фридриха Энгельса, посетившего из Кельна в Эльберфельд, где он проявил энергичную деятельность. Ему было сказано, что эльберфельдская буржуазия опасается с его стороны агитации за „красную республику", и затем ему препровожден был указ о его изгнании, исходящий от „демократического" комитета безопасности. В этом любопытном документе говорится, что он вследствие проявленной им деятельности должен оставить город, „так как присутствие его могло бы подать повод к ложным толкованиям о характере движения". (См. „Новая Рейнская Газета", 17 мая 1849 г.). 18 мая появился отпечатанный красными буквами знаменитый последний № „Новой Рейнской Газеты" с поэтическим прощальным словом Фрейлиграта в заголовке. Редакторы газеты почти все находились в изгнании, некоторые из них преследовались за государственную измену; Карл Маркс был выслан из Пруссии.

[3]) По предложению Энгельса комитет безопасности возложил на него предводительствование.

Войско окружило город и со всех сторон перешло в наступление. Борьба велась с страшным ожесточением, так как рабочие защищались со всем тем мужеством и упорством, к которому вынуждало их положение. Обе стороны насчитывали большие потери. Побежденным пришлось испытать на себе гнев победителей, и реакционные голоса извиняли это тем, что солдаты были возбуждены смертью одного обер-лейтенанта. Каково же в таком случае должно было бы быть возбуждение рабочих и демократов!

В восставших городах было введено осадное положение. Рейнская область и Вестфалия стонали под игом военной диктатуры.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Майская революция в южной Германии.

Движения в Пфальце и Бадене, которые следует причислить к так зываемым конституционным восстаниям, хотя имперская конституция и не ла их целью, а играла лишь роль знамени, были гораздо упорнее и ачительнее, чем восстания в Саксонии и Рейнских землях, носившие олее местный характер.

В Пфальце протест против реакции прежде всего вылился в форму осстания.

В 1848 году жители Пфальца обнаружили гораздо больше спокойствия, ем ожидали от них. Но когда баварское правительство решительно заявило, то оно против имперской конституции, то даже смирные конституционные либеральные буржуа обеспокоились, а демократы и республиканцы дали альнейший толчок движению. В Кайзерслаутерне 1 и 2 мая состоялись ольшие народные собрания, во время которых избран был комитет для защиты страны. В этот комитет попало несколько членов франкфуртской левой. Собрание решило требовать у правительства, общин и чиновников признания имперской конституции, в случае же отказа пфальцские солдаты должны были быть отозваны с баварской службы, народ вооружен, прекращен взнос податей и все казначейства опечатаны. Заметно было стремление придать этой революции возможно более „законный" характер. Одно собрание в Нейштадте высказалось за проведение республики, но, не отказываясь от республики, повстанцы все же приняли знамя имперской конституции. Войско проявило большое сочувствие движению и вскоре большими группами стало присоединяться к нему.

Имперский правитель послал из Хемница в Пфальц депутата Бернгарда Эйзенштука. Необходимо было послать „левого", так как всякого другого в Пфальце просто высмеяли бы. Эйзенштук открыто выразил свое согласие на меры, которые решено было предпринять в пользу проведения конституции, и этим подтвердил права комитета, организованного для обороны страны. Ему удалось также склонить к возвращению прусские батальоны, посланные центральной властью из Майнца в Ландау [1]). Разумеется, Эйзенштука вскоре отозвали назад, и реакционеры жестоко напали на него.

[1]) Это сообщается Эйзенштуком в его отчете франкфуртскому парламенту.

Пфальцская революция протекла очень мирно; за исключением крепостей Ландау и Гермерсгейма, вся страна примкнула к движению. Чтобы создать сильно укрепленный центр, надо было возможно быстрее организовать боевые силы и овладеть этими двумя крепостями. Дело это не представляло большой трудности, в особенности в Ландау, где войска были очень склонны перейти на сторону инсургентов.

По вожаки пфальцского восстания были так же вялы, как и вся народная масса. В то время как руководящие круги выпустили несколько совершенно бесцельных прокламаций и за исключением этого почти или даже совершенно ничего не сделали, народная масса вместо энергичной деятельности стала предаваться кабацкому разгулу и хвастливой болтовне за выпивкой, что не могло не вызвать безалаберного, бестолкового настроения. Враг беспрерывно уничтожался в речах и песнях, но когда действительно подошли пруссаки, то налицо оказалась лишь ничтожная кучка борцов и сопротивление было очень слабо. Серьезные, энергичные люди ничего не могли поделать против такого порядка вещей; „крикуны" изображали из себя первую скрипку до тех пор, пока не раздались выстрелы; тогда он очень быстро попрятались по углам.

Временное правительство, учрежденное в мае, состояло отчасти из очень умеренных людей; оно не обладало ни достаточной энергией, ни мужеством для проведения собственных своих постановлений. Главнокомандующим военных сил назначен был знакомый уже нам по венским событиям Феннер (фон-Феннеберг [1]), который проявил полнейшую бездарность. Правительством был выпущен принудительный заем, но, не обладая способностью создавать доходы, правительство вечно переживало самые унизительные денежные затруднения. Наскоро собранное народное представительство провозгласило отпадение от Баварии, что не имело никакого значения, в виду того, что отпадение уже было совершившимся фактом.

Хотя 5 мая крайняя левая, собравшаяся в клубе Доннерсберг, указывая на Пфальц, призывала Германию к оружию, а парламент набрался даже такой смелости, что объявил вступление прусских отрядов в Саксонию нарушением имперского мира, тем не менее слабое само по себе пфальцское возмущение неминуемо быстро улеглось бы, если бы не произошло возмущения соседнего Бадена и не дало нового толчка пфальцскому движению.

Бунт Струве с его исходом не обескуражил в Бадене демократическую партию; она создала, благодаря, главным образом, деятельности Аманда Гётта, обширную организацию и покрыла страну целой сетью народных союзов, число которых превышало 400 [2]).

---

[1]) Самым важным для него было—сняться в парадной форме. Впоследствии он написал брошюру, в которой взваливает на других все свои промахи и ошибки, так же поступали ведь и многие другие, занимавшие во время этих движений места, до которых они не доросли.

[2]) Основанные под покровительством министра Бекка „патриотические союзы" очень плохо прививались. Демократы в насмешку называли их баптистскими союзами по имени Бекка, которого звали Баптистом.

Движение захватило и войско, которое сыграло во время восстания эшительную роль. Повидимому, не без влияния на баденскую армию казалось поведение пфальцских войск. Весной 1849 года должны были роисходить судебные процессы против политических обвиняемых, против чиклера, Струве, Блинда и др. Общественное мнение стало на сторону бвиняемых и не допустило обычной расправы правительства с его полиическими противниками, как с преступниками. Выступив перед присяжными, чиклер, Струве, Блинд и другие обвиняемые превратились в обвинителей равительства, а защитники, между которыми находился талантливый рентано из Бруксала, отличавшийся блестящим красноречием, произнесли еред присяжными такие энергичные и убедительные речи, что почти все риговоры оказались направленными против правительства. Повсюду ыступили теперь республиканские стремления, и национальный комитет ародных союзов пользовался в стране большим уважением, чем праительство.

Сначала предполагалось только прийти на помощь Пфальцу в его орьбе за имперскую конституцию. Но Аманд Гёгг еще в начале мая, во ремя тайного свидания с крайней франкфуртской левой в Мангейме, редполагал провозгласить в Оффенбурге на предстоящем большом наодном собрании республику[1]). В Мангейме большинство высказалось против этой идеи, но одобрило созыв народного собрания в Оффенбурге. Іосле этого Гёгг созвал на 12 мая в Оффенбург национальный конгресс елегатов всех народных союзов, и на 13 мая было назначено большое народное собрание.

Национальный конгресс решил отправить в Карлсруэ депутацию, которая должна была предъявить его требования; на случай, если бы требования встретили отказ, решено было объявить национальный комитет постоянным и уполномочить его апеллировать к народу и созвать учредительное собрание.

Делегаты конгресса не желали, однако, итти так далеко, как Гёгг и пылкая республиканская молодежь страны. Как уже было замечено выше, имперская конституция была признана великим герцогом, и принесение присяги ей войском и гражданским ополчением было назначено на 13 мая. Поэтому большинство конгресса требовало лишь отставки министерства Бекка, которое только слыло „либеральным", но не пользовалось никакими симпатиями среди народа; требовали также распущения палат, созыва баденского учредительного собрания и амнистии политических заключенных и эмигрантов.

На следующий день в Оффенбурге, куда со всех сторон стекался народ, преобладающее значение получило решительное направление. Ночью Гёгг с некоторыми другими молодыми демократами выработал радикальную программу, которую он предложил народному собранию. Он отказался от провозглашения республики.

---

[1]) См. „Nachträgliche authentische Aufschlüsse über die badische Revolution von 1849". Цюрих, 1876.

Министерство Бекка довольно резко отклонило требования оффенбургской депутации. Легко было предвидеть, что возвращение депутации ознаменует начало бури. Тем временем в Оффенбург прибыла депутация солдат из Раштатта с сообщением, что гарнизон союзной крепости Раштатта восстал и изгнал реакционных офицеров и коменданта крепости. Солдаты вместе с прочими гражданами собирались на собрания, но ораторы были арестованы. Их освободили силой. Когда аресты повторились, вспыхнуло восстание, крепость перешла в руки повстанцев, которые отдали ее в распоряжение национального комитета. Военный министр Гофман, прибывший на следующий день из Карлсруэ в Раштатт с отрядом конницы и несколькими кавалерийскими эскадронами, был обращен в бегство.

Таковы были полученные вести, когда Гётт со своей программой явился на большое народное собрание. Программа его провозглашала борьбу против сил, враждебных франкфуртской имперской конституции, враждебных германской свободе вообще. Ясно, что эти силы не остановятся ни перед чем, что они способны обратиться за помощью даже к иностранной державе. Народ находится в крайней опасности, он должен объединиться ради спасения свободы. Баденцы всеми возможными средствами будут поддерживать народное движение в Пфальце.

Эта программа шла дальше всех других программ, выставленных буржуазной демократией в 1848 и 1849 годах. Она требовала проведения имперской конституции, ухода министерства Бекка и образования нового министерства, порученного гражданам Брентано и Петеру; созыва учредительного собрания, „которое было бы носителем всей законодательной и исполнительной власти баденского народа“; народного вооружения на государственный счет; амнистии; уничтожения военного судопроизводства; свободного избрания офицеров; безвозмездного уничтожения всех повинностей, тяготеющих на земле; самостоятельности общин; суда присяжных; уничтожения бюрократической администрации; учреждения национального банка для промышленности, торговли и земледелия с целью защиты их против преобладания крупных капиталистов; уничтожения старой податной системы; введения вместо нее прогрессивного подоходного налога на-ряду с сохранением таможенных пошлин; учреждения национального пенсионного фонда для поддержки каждого гражданина страны, утратившего работоспособность. Из этого сама собой вытекает ненужность особого пенсионного фонда для лиц, состоящих на государственной службе.

Эта программа, которая собранием на Базарной площади в Оффенбурге, где присутствовало около 35.000 человек, была принята с бурным восторгом, ясно показывает, как ничтожно было значение имперской конституции в этом движении. Программа эта для данного момента являлась удачной попыткой объединить различные партии в одном движении. Принимая во внимание обстоятельства, сопровождавшие ее возникновение, ее следует назвать радикальной.

Гёгг предпринял целый ряд революционных мер, захватил железную дорогу и не обращал никакого внимания на Раво, присутствовавшего здесь в качестве имперского комиссара. Раво играл вообще странную роль, вступая в переговоры то с инсургентами, то с министром Бекком. „Мы не желаем теперь произносить речи, мы хотим действовать", говорил Гёгг. После того, как собрание приняло его программу, он предложил всей толпой двинуться в Раштатт и здесь соединиться с солдатами.

Вновь избранный национальный комитет объявил себя постоянным. Сюда вошли, за исключением Брентано, которого нельзя было обойти, лишь наиболее решительные деятели [1]). Национальный комитет в сопровождении группы наиболее энергичных повстанцев поспешил в Раштатт, но здесь, к своему изумлению, нашел ворота запертыми; ему предлагали уйти из-под крепости. Оставшиеся в Раштатте офицеры, по большей части реакционно настроенные, успели за это время добиться некоторого поворота. По энергии Гёгга удалось победить и это препятствие, и в конце концов канониры крепости стали грозить, что они прострелят ворота, если национальный комитет не будет впущен. Наконец его впустили в город. В городской думе царствовало страшное смятение, бургомистр совсем потерял голову [2]). Перед зданием городской думы собралось много солдат; Гёгг в темноте обратился к ним с пламенной речью и привлек их на свою сторону. Еще в тот же вечер реакционные офицеры попытались было устроить столкновение; они скомандовали генерал-марш, наступило смятение; но в конце концов, главным образом благодаря решительности артиллерийского вахмистра Гейлига из Пфуллендорфа, реакционные офицеры были арестованы, и национальный комитет остался бесспорным господином положения.

Военные восстания охватили почти всю страну. В Бруксале войско и народ восстали одновременно и освободили политических заключенных, между которыми находились Струве и Блинд [1]). Последние поспешно направились в Раштатт.

В Карлсруэ, где войско с сочувствием относилось к народу, 13 мая вступил отряд из Бруксала с красными перьями на головных уборах. Тогда поднялся гарнизон и в Карлсруэ и прогнал своих офицеров. Не присоединились только драгуны; они напали на пехоту. Ротмистр Ларош и три драгуна были убиты ружейным залпом, остальные бежали. Позже они тоже

---

[1]) Членами национального комитета были: Брентано из Маннгейма, Фиклер из Констанца, Гёгг из Маннгейма, Петер из Констанца, Вернер из Оберкирха, Реманн из Оффенбурга, Стэй из Гейдельберга, Вильман из Пфорена, Штейнмец из Дурлаха, Вернваг из Кеннингена, Рихтер из Ахерна, Деген из Маннгейма, Риттер из Карсау, Штарк из Лотштеттена. Эти два последние были солдатами раштаттского гарнизона. „Умеренные" сторонники Брентано, как юрист-практикант Флориан Мёрдес из Маннгейма и трактирщик Тибот из Эттлингена, не были выбраны.

[2]) Саллингер, тогда демократ, впоследств. национал-либерал.

[1]) По указаниям Густава Рана, заключенные освобождены были молодым Шлеффелом. Нам неизвестно, верно это или нет. Шлеффель, бежавший из заключения в Магдебурге, присутствовал в Оффенбурге и принимал участие в составлении программы Гёгга.

соединились с повстанцами, которые напали теперь на арсенал. Арсенал защищался против восставших солдат реакционным гражданским ополчением из Карлсруэ, которое впоследствии превратилось в брентановскую лейб-гвардию. Арсенал сдался лишь на следующий день, утром. Ночное сражение стоило нападавшим нескольких убитых и раненых.

В то время, как ночью ружейные залпы гремели на улицах столицы, великий герцог, сидя на передке пушки, бежал в Гермерсгейм. Его сопровождал военный министр Гофман с 16 орудиями и отрядом человек в 50. Господин Гофман, штауфенский победитель, не пожелал дожидаться, пока мятежники возьмут его в плен, точно так же, как Гервег в Доссенбахе не хотел дожидаться того же со стороны вюртембержцев. Разница между ними лишь в том, что Гервег был встречен насмешками, в то время как поступок великого полководца Гофмана казался всем вполне понятным и естественным [1]).

В Леррахе, приозерном округе, и Фрейбурге тоже началось движение в гарнизонах. „Имперский генерал" Миллер, стоявший с вюртембергскими батальонами у Фрейбурга, сделал-было попытку усмирить восстание и грозил даже бомбардировать Фрейбург; настроение его батальонов было однако таково, что ему пришлось отступить. В Мангейме Флориан Мердес сумел привлечь войско на сторону революционной партии и образовал комитет безопасности. Впрочем, он действовал при этом исключительно в интересах буржуазии Мангейма, которая, подобно филистерам Карлсруэ, при первой возможности приступила к подготовке контр-революции.

За исключением одного кавалерийского отряда, который однако через несколько дней тоже отдался в распоряжение нового правительства, вся баденская армия перешла на сторону демократов.

В Карлсруэ после бегства великого герцога великая смута воцарилась в административных кругах. Муниципальный совет обратился к министрам и главным образом к Бекку, но застал их, как буквально значится в протоколе, в состоянии полнейшей беспомощности". Тогда совет решил послать депутацию в Раштатт объяснить национальному комитету, что город Карлсруэ не будет противиться ему, если он явится в Карлсруэ, предполагая, что комитет позаботится о защите города.

Этот факт имеет существенное значение. Муниципальный совет не мог добиться помощи у беспомощного правительства и обратился к национальному комитету, что весьма похоже на приглашение последнего явиться в

---

[1]) Великий герцог вскоре также покинул Гермерсгейм, так как по доклад[у] Бекка и в этой крепости стали замечаться „угрожающие явления". Он удалился [в] Эренбрейтштейн. Генерал Гофман с 16 орудиями хотел дойти до Гессена или Вюр[-]темберга. Так как он не мог достигнуть Гессена, то он направился к вюртембергско[й] границе. Застигнутые в Фюрфельде и Бонфельде баденскими и вюртембергским[и] инсургентами, беглецы должны были выдать орудия, которые были возвращен[ы] баденскому правительству. Солдаты возвратились в Баден; офицеры частью попал[и] в плен, частью бежали. Один застрелился.

рлсруэ [1]). Впрочем, национальный комитет, независимо от приглашения, с равно явился бы в Карлсруэ, и факт приглашения приводится здесь шь для того, чтобы показать „преданную порядку" буржуазию и обыкновенно столь решительную бюрократию во всем блеске их беспомощности.

Струве, только что очутившийся на свободе, совершил тотчас же необдуманный шаг, имевший роковое значение. У Струве, обладавшего мужеством, честностью, доброй волей, в то же время совершенно отсутствовали практическая смекалка, уменье сообразоваться с обстоятельствами, самообладание. Благодаря какому-то случаю или недоразумению не впущенный в аштатт, он тотчас же отправился в Баден-Баден, где тогда находился Брентано, и уговорил последнего стать во главе революционного движения. ретано не скрывал своего несочувствия новому восстанию. И революционеры, хотя считали себя обязанными выбрать его в Оффенбурге в национальный комитет, все же надеялись, что после победы радикального направления он отстранится от дел и уйдет. И вдруг Струве, известный в качестве вождя радикального направления, настойчиво упрашивает его принять а себя руководство движением. Высокомерный и честолюбивый адвокат почувствовал себя незаменимо нужным и явился, чтобы взять на себя роль диктатора.

14 мая он вступил в Раштатт и проявил себя вполне сторонником партии порядка, заявив, что, следуя предложению муниципального совета Карлсруэ, он намерен направиться в столицу, чтобы здесь „положить конец анархии".

Солдаты с изумлением выслушали эти избитые фразы, которыми реакционеры обыкновенно старались оправдывать свои насилия. Тем не менее первым впечатлениям пока что не придавали значения и бодро двинулись в Карлсруэ.

С двумя батальонами пехоты, тремя орудиями и тремя драгунскими эскадронами национальный комитет под звуки торжественного марша направился в Карлсруэ. Буржуа, бюрократы, гофраты и придворные поставщики,— все склонялись перед новой властью и встречали ее приветственными кликами, в благодарность за что Бретано с балкона городской ратуши обратился к ним с речью, в которой он подчеркивал, что решил действовать только в защиту имперской конституции и порядка. Брентано умалчивал об

---

[1]) Таким представлялось дело также имперским комиссарам Раво, Целлю и Христу. (См. Раво, Mitteilungen über die badische Revolution, стран. 19). Само собой разумеется, министр Бекк оспаривает, что поручение, переданное депутацией, носило характер приглашения. Он посоветовал муниципальному совету, как он сам рассказывает, обождать немного, чтобы знать, с какой силой явится национальный комитет. Но сам он был настолько хитер, что не остался дожидаться национального комитета, а предпочел исчезнуть вместе с остальными министрами. Если же и городской голова впоследствии оспаривал, что депутация передала в Раштатт приглашение, то это вполне соответствует поведению буржуазии города Карлсруэ, которая хлопотала о том, чтобы обеспечить себя со всех сторон, и всегда стояла на стороне партии успеха.

оффенбургской программе и последняя была прочитана Гофманом из Маннгейма, но, повидимому, совсем не понравилась высшим слоям населения.

В Карлсруэ национальный комитет увеличился еще на 24 члена и образовал исполнительную комиссию, в которой Брентано в качестве президента взял на себя внутренние и внешние дела. Управление финансами досталось Гёггу, юстицией—Петеру и военными делами—Эйхфельду, бывшему баденскому офицеру.

Брентано, несмотря на все старания, которые он внес в свою роль диктатора, не имел для этой роли никаких данных. Энергия у него всегда являлась там, где она совсем не требовалась. Лицемерная буржуазия и бюрократия встречали в нем столько же снисходительности, сколько радикальные демократы и республиканцы грубости. С самого начала он держал себя так, как будто считал дело проигранным, и становилось непонятным, почему же в таком случае он взял на себя роль руководителя движения. Несомненно, что не все нападки его противников на него справедливы, но несомненно также, что его деятельность не только не содействовала успеху баденского восстания, но, наоборот, ослабила его. Не без некоторого основания его называли могильщиком баденской революции; действительно, революционное движение было обречено на гибель, когда руководство революцией перешло к нему и его сторонникам.

Остальные члены правительства—большинство из них были очень молоды—были бессильны в сравнении с ним, так как он обладал огромной популярностью. Многие из них пугались, когда он угрожал своим уходом. А с этой угрозой он выступил очень скоро. Брентано с самого начала стремился облегчить положение бюрократов, которых он в большинстве случаев оставлял на их местах. Он требовал от них не безусловного подчинения новому правительству, но лишь такого, „которое не нарушало бы обязательств, принятых при старом государственном строе страны". Грозя своим уходом, Брентано удалось вынудить у национального комитета согласие на эту половинчатую меру. Бюрократия не преминула воспользоваться своим положением, и различные административные учреждения, между прочим также верховная судебная палата, отказали новому правительству в присяге.

Быть может, Фиклер с его популярностью и энергией мог бы с успехом выступить против Брентано. Но он действовал главным образом вдали от центра, где заседало правительство, а затем, будучи послан в Вюртемберг, он больше не возвращался оттуда.

Петер был искренний демократ, но у него не хватало энергии для успешной борьбы с интригами буржуазии. Личность Эйхфельда была слишком ничтожна, наиболее важный пост, пост военного министра, был ему не по плечу; он даром потерял первое драгоценное время и затем принужден был отступить. Но то, что было им упущено, было непоправимо.

Гёгг, министр финансов, только благодаря настояниям Струве согласился принять этот многотрудный пост. В государственном казначействе он

шел наличными неполных три миллиона гульденов и около миллиона гульденов в еще невыпущенных государственных бумагах. Гёгг самым добросовестным образом трудился над приведением в порядок финансов. Управление о встретило больше всего порицаний со стороны тех, кто был бы не в состоянии справиться с задачей лучше или так, как он. Нападая на него, бывают очевидно, что приведение в порядок финансов в такое короткое время—в половине июня Гёгг ведь уже оставил министерство финансов—в стране, где революция прервала нормальную жизнь, является совершенно невозможным. Если иногда и ощущался недостаток в средствах, то во всяком случае не о безденежье разбилось баденское восстание. Осторожность мероприятий Гёгга объясняется его нежеланием отпугивать мелкую буржуазию, которая принимала такое значительное участие в этом восстании. Принудительный заем, для которого Гёггу нужно было заручиться согласием учредительного собрания, не мог быть проведен вследствие военных событий; ход событий опередил также выпуск бумажных денег. Конечно, теперь, все взвешивая спокойно, легко указать на различные промахи и упущения, но среди кучи велких дел, среди тревог и волнений тех дней было много труднее найти верный путь. Вообще же среди вождей этого движения немного было людей, которые с таким жаром, с таким самозабвением, как Аманд Гёгг, ринулись в водоворот революции. Многие из тех, кто упрекал его тогда в „умеренности“, впоследствии подчинились торжествующей силе и стали перебежчиками, в то время как Гёгг всю свою долгую, богатую лишениями, но незапятнанную жизнь оставался верен своему делу [1]).

Исполнительная комиссия обратилась к Фридриху Геккеру с официальным приглашением вернуться из Америки. Он принял приглашение и явился, но когда он прибыл в Страсбург, все дело было уже проиграно, и Геккер с проклятиями отправился обратно в Америку. 17 мая заключен был с пфальцским правительством договор, по которому Баден и Рейнский Пфальц в военном отношении решено было признать единой страной и баденское военное министерство про озгласить общим для обеих стран. Уничтожены были мостовые пошлины, и на жителей обеих стран смотрели теперь как на подданных одного и того же государства. Редакция этого договора была весьма неудовлетворительна в дипломатическом отношении, и в результате между революционным Баденом и революционным Пфальцем часто обнаруживался весьма комический дуализм.

Между тем шли приготовления к выборам в баденское учредительное собрание согласно оффенбургской программе. 19-го мая появился манифест, где говорилось, что баденский народ взялся за оружие против сил, враждебных имперской конституции. К этому воззванию присоединились депутаты Брюцшлер, Эрбе и Раво; Раво всецело перешел на сторону революции.

[1]) Про Гёгга говорили, что во время его управления финансами бежавшему великому герцогу было послано 50.000 гульденов; об этом рассказывает и Раво в своем уже помянутом сочинении. Гёгг называет это утверждение абсурдом и объясняет, что это могли быть только деньги, отложенные до вступления его на пост министра.

После того как баденская демократия завладела правительственной властью и гордо бросила перчатку врагам конституционного дела и, по заявлению оффенбургской программы, начала борьбу „за свободу вообще“, она могла рассчитывать на успех лишь в том случае, если бы сумела вынести революцию за пределы маленького Бадена и увлечь за собой широкие массы германского народа.

По Брентано разрушал всякие начинания в этом направлении и повидимому особенно озабочен был тем, чтобы движение сохранило специфически баденский характер. Лично он ничего не предпринимал и ничего не дозволял делать другим; единственное, что было им сделано, это отправка Блинда и Шюца в Париж за оружием и офицерами. Радикальные демократы хотели поправить дело тем, что рассылали по всей стране ораторов. Но ясно, что при таких обстоятельствах успех не мог быть значительным. В Нюрнберге состоялось большое народное собрание, которое однако по выслушании длинной, местами остроумной болтовни господина Карла Фогта разошлось без дальнейших результатов. Франконский центральный комитет в Вюрцбурге готов был присоединиться к баденскому движению, но предложения его встретили отказ в Карлсруэ. В Гессене, на баденской границе, народные собрания подверглись нападению войска и были рассеяны. В Рейнском Гессене, гдеЦиц и Бамбергер из Майнца призывали к восстанию, народ обнаружил большую готовность, но вожди оказались неспособными собрать силы и объединить их. После собрания в Верштадте, ознаменовавшегося многими странными и делающими мало чести вождям происшествиями, они с толпой из 1.500 человек направились в Пфальц и, следовательно, оставили Рейнский Гессен. Правда, впоследствии предводителю группы инсургентов Бленкеру удалось было занять Вормс, но через некоторое время Вормс пришлось снова очистить.

Баденское движение не могло не коснуться соседнего Вюртемберга. Вюртембергское правительство при помощи военных сил усиленно охраняло границы; особенно много войска было стянуто в Гейльброн. Часть гейльброн-ских гимнастов примкнула к баденскому восстанию. Но настроение швабов было иное, чем представляли его себе в Бадене. Собственно говоря, не могло быть и речи о возмущении швабов. В Рейтлинге на Троицу состоялось большое народное собрание, на котором председательствовал Бехер и в качестве ораторов выступили Гофф и Фиклер. Бехер еще во время оффенбургского собрания старался действовать против радикальных демократов; теперь в Рейтлингене он приложил все усилия к тому, чтобы принятые собранием резолюции состояли лишь из требований, обращенных к франкфуртскому парламенту и вюртембергской палате. Была послана в Штутгардт депутация из 64 доверенных лиц, занимавших высшие должности. Но депутация эта была отвергнута и палатою, и министром Ремером, последним даже очень грубо. Этим закончилось демократическое движение Швабии, и демократическому национальному комитету не удалось впоследствии ни вновь сорганизоваться, ни вообще сделать что-либо мало-мальски значительное. Фиклер был в Штутгардте арестован, посажен в Гогенасперг

таким образом у баденского правительства был отнят этот важный ион [1]).

Арест Фиклера,—который, как надеялся сангвинический Струве, подымет весь Вюртемберг,—вызвал со стороны баденского правительства объявление войны Вюртембергу; вызов этот был совершенно бесполезен, и Ремер назвал его в вюртембергской палате „безумием“. Таким образом движение по-прежнему сосредоточивалось лишь в пределах Бадена и Пфальца.

Массы беглецов демократов появились в Бадене, и из Германии тоже целый ряд энергичных личностей, вполне сочувствовавших движению, стекался в Баден. Брентано, собиравшийся бороться за единство германского народа, терпеть не мог „иностранцев“, т.-е. не-баденцев. Много талантливых людей оставалось без дела потому только, что родились они за пределами баденской границы, и в то же время много важных должностей занято было лицами, которые только что служили министерству Бекка; реакционность образа мыслей последних была вне всяких сомнений, несмотря на то, что они принимали совершенно иной вид.

Национальный комитет чувствовал, что благодаря, главным образом, произволу Брентано, положение становится все более и более критическим. Не решаясь стать прямо в оппозицию к Брентано, он объявил себя распущенным и избрал временное правительство, куда вошли Брентано, Гёгг, Фиклер, Петер и Зигель.

В это время Брентано готов был, повидимому, проявить несколько более энергичную деятельность: очевидно, он рассчитывал на переворот во Франции. Явился Струве с требованием, чтобы его сделали министром иностранных дел и дали бы в его распоряжение фонд в 60.000 гульденов. Гёгг высказался в его пользу, Брентано был против [2]) Струве, желавший влить новую жизнь в движение, обратился теперь к клубу радикального прогресса, где сосредоточивались решительные демократы. Здесь были Чирнер из Дрездена, Макс Дорту из Потсдама, Шрамм, Вильгельм Либкнехт, Мартини из Фридланда, Оппенгейм [3]) и другие. В присутствии Гёгга клубом был составлен адрес к правительству, требующий от него энергичных мер. Правительство в общем согласилось на такие меры, но в это время произошел конфликт, который чуть было не кончился кровавой катастрофой. Со

---

[1]) Когда Фиклера арестовали в Штуттгардте, он воскликнул, обращаясь к народу: „Граждане, передайте Зегеру и Бехеру, что Фиклер арестован!“ Тогда комиссар полиции заметил ему, что Зегер и есть начальник города, по распоряжению которого производится арест. „Прекрасно,—ответил на это Фиклер.—В таком случае сообщите об этом д е п у т а т у Зегеру“. Фиклер сильно идеализировал „демократа“ Зегера. Молодой Шлеффэль, который 16 июня тоже находился в Штутгардте, обратился к Раво с письмом, в котором он высказывает, что горько разочаровался вообще в вюртембержцах. Меглинг всегда утверждал, что большинство вюртембержцев мало восприимчивы к демократическим стремлениям.

[2]) См. Aufschlüsse über die Badische Revolution von 1849, стр. 122.

[3]) Оппенгейм, основатель республиканского клуба в Берлине, сделался редактором „Газеты Карлсруэ“, официального органа временного правительства. После событий 6 июня он оставил этот пост.

стороны буржуазии стали исходить разные смутные и зловещие слухи о группах волонтеров, находившихся в Карлсруэ; говорилось будто они хотели бы свергнуть правительство и провозгласить „красную республику". Брентано, который был довольно труслив и подобно Бассерману обладал способностью видеть „фигуры", пришел в большое возбуждение и, опираясь на реакционное гражданское ополчение, издал распоряжение об аресте Струве, предводителя народных отрядов, Иоганна-Филиппа Беккера, предводителя эмигрантского легиона Беннига, Вильгельма Либкнехта [1]) и зятя Струве.

Это вызвало страшное волнение; группы волонтеров и народное ополчение выстроились для сражения; правительственные полки и гражданское ополчение города Карлсруэ выстроились против них в боевом порядке. Брентано велел направить пушки против отрядов волонтеров. Кровавая борьба казалась неизбежной. Однако ни волонтеров, ни народное ополчение нельзя было запугать, а Брентано побоялся доводить дело до крайнего исхода. Приступили к переговорам, и в конце концов дело было улажено благодаря посредничеству Гёгга, который с большим мужеством вмешался в партийную распрю. Арестованные были освобождены, ополченцы и волонтеры вновь отступили к театру войны, и спокойствие было водворено. Конечно, весь этот эпизод еще более увеличил пропасть между Брентано и радикальными демократами, но пока что грохот оружия заглушил на короткое время этот конфликт, в котором на долю Брентано досталась такая жалкая роль.

Произошло это 6 июня, а 10 июня было открыто учредительное собрание. В дом сословий в Карлсруэ явилось 63 депутата. Председателем в качестве старейшего избран был пастор Шлаттер [2]); президентом был избран директор гимназии Дамм из Таубербишофсгейма. Вопреки предложению Юнганса, желавшего провозглашение Брентано „регентом" Бадена, собрание решило образовать временное правительство, предоставив ему диктаторские полномочия. Избранными оказались Брентано, Гёгг и Вернер. Благодаря принятому заранее нелепому решению о том, что тот из диктаторов, который получит наибольшее количество голосов, назначит министров, наибольшее влияние опять оказалось у Брентано, который имел большинство на своей стороне. Разумеется, в распределении должностей он руководствовался лишь своим вкусом. Закс получил министерство иностранных, а Мердес—министерство внутренних дел. Назначением Мердеса недовольна была демократия, так как известны были его связи с мангеймской буржуазией, а против предоставления Гейнишу вместо Гёгга управление финансами роптала вся

---

[1]) В сентябре 1848 года Либкнехт был арестован за участие в восстании Струве и заключен в фрейбургскую тюрьму. Вследствие майского восстания прокурор отказался от обвинения. Брентано велел перевести Либкнехта в Раштатт, где судебный следователь все-таки не мог открыть его вины и отпустил его на свободу. Впоследствии автор познакомился со следователем и узнал от него всю интересную историю этого призрачного заговора.

[2]) Он должен был заплатить заключением в каторжной тюрьме за свою революционную деятельность и написал работу об одиночках в Брухзале.

рана. Гейнишу не доверяли за какой-то проступок, совершенный им юности. Военным министром сделан был оффенбургский адвокат Вернер — к будто у Брентано в распоряжении не было офицеров; Вернер, кроме го, одновременно был и диктатором. Таким образом учреждением диктатуры бственно ничего не было выиграно; Брентано продолжал свою политику и рмозил движение. Гофф из Мангейма внес в собрание предложение прозгласить Баден республикой, что и было принято [1]). Собрание объявило бя постоянным.

Гёгг и Вернер отправились в армию, Брентано остался в Карлсруэ.

Несмотря на слабость и беспорядок среди правительства и админирации, баденская демократия могла бы еще надеяться на успех, если бы эмия предприняла какой-нибудь быстрый и решительный шаг.

Правда, недостаток энергии у правительства должен был ослабляюще йствовать и на армию, но все же военные силы были довольно значительны они действовали плодотворнее, чем трусливые политики в Карлсруэ, ожиавшие всего от Брентано и компании.

Баденская армия к началу революции насчитывала 15.000 человек; вестная резолюция франкфуртского парламента определяла численность ее 28.000 человек, но эта цифра еще не была достигнута. Наибольшую эданность революции выказала артиллерия; драгуны и жандармы оказались ало надежными. Полки гражданского ополчения составляли тысяч 14—15; о они мало были приспособлены к военным действиям; часто они являлись эакционной силой, и во всяком случае реакционные элементы играли в них реобладающую роль; особенно заметно это было в Мангейме, Карлсруэ, эйдельберге и Фрейбурге. У народа не было оружия. Национальным комитом учрежден был военный сенат, в котором заседал опять-таки совершенно незнакомый с военным делом Струве [2]); впрочем, сюда вошли также дин офицер и один унтер-офицер. Военный сенат опубликовал резолюцию б учреждении народного ополчения „Верхне-рейнского военного союза“, котором должно было принять участие все способное носить оружие аселение Бадена и Пфальца. Пфальц должен был поставить 25.000 человек. езолюция эта осталась только на бумаге.

Брентано сохранил в войсковой администрации группу реакционных фицеров, между ними некоего Майергофера, обнаружившего великую виртуоз-

[1]) Депутат Стэй заявил впоследствии в собрании, что его целью могла бы быть олько социал-демократическая республика. Это интересно отметить, потому что эже тот же Стэй, в качестве редактора национал-либеральной „Магдебургской азеты“, в течение многих лет пытался доказать, что стремление 1848 и 1849 гг. ыли „великолепно осуществлены бисмарковским режимом.

[2]) В своей всемирной истории Струве, говоря о знаменитом Карно, — „организаторе обеды“, весьма высокомерно замечает: „Карно принадлежал к той категории людей, эторые могут успешно подвигаться лишь в рамках какой-нибудь определенной пециальности; вне этих рамок они являются только нулями. го специальностью была война“.—Из вышеприведенного позволительно было бы делать заключение, что и Струве лучше бы сделал, если бы не выходил из своей специальности“—журналистики.

ность в устройстве смут [1]). Далее офицеры с демократическими убеждениями тщетно добивались каких-либо должностей; на арену выступили интриганы и крикуны. Появилась вообще масса разнообразных личностей весьма претенциозного вида, которые наполняли воздух шумом и трескотней, но неспособны были к полезной работе и часто предпочитали находиться на почтительном расстоянии от выстрелов и боевых стычек. Они могли бы пригодиться в качестве простых солдат, но эта роль приходилась им не по вкусу.

Армия, как говорит Беккер в своей уже упомянутой книге, „находилась в упадке не только внешним образом,—она насквозь проникнута была также внутренней деморализацией". Для того, чтобы хоть несколько водворить порядок внутри ее, требовалась масса усилий [2]). Лишь на поле битвы усиливалась дисциплина; даже врагами было признано, что баденское войско и народные борцы превосходно держались.

Иоганн-Филипп Беккер, военные способности которого пользовались всеобщим признанием, предложил свои услуги правительству. Основным принципом в военных делах он провозгласил величайшую строгость и в своей упомянутой книге говорит, что „право солдат на избрание своих вождей вплоть до штаб-офицера исключает возможность иметь правильное и дисциплинированное войско" [3]). Демократия пользовалась этим правом выбора начальника как агитационным средством среди солдат и собственно для этого и ввела такой порядок.

Лишь благодаря содействию Струве, Беккер получил назначение г главнокомандующие всего народного ополчения, организацией которого ог занялся с большим рвением. Работа его была не из легких; особенно затру дняли его деятельность гражданские комиссары Брентано. В бюро Беккер: работали Тидеман из Гейдельберга, находившийся прежде на греческо: службе, Михель из Бамберга и Макс Дорту. Несомненно, что, если бы Беккеру не ставили таких препятствий и трудностей в деле вооружени и обмундирования войск, то ему удалось бы сорганизовать значительны силы. И все же он сумел сделать очень многое, гораздо больше, чем это: можно было ожидать при тех обстоятельствах.

Образовался целый ряд корпусов волонтеров; главными из них был легион эмигрантов под предводительством Бенинга, который раньше служ: в Греции, немецко-польский легион с Фрейндом во главе, немецко-венгерск: с Тюрром, стрелки с Гейбергером—очень храбрый отряд,—волонтеры горо, Карлсруэ с Дрегером, рабочий батальон из Мангейма, начальником кот

[1]) Деятельность его увековечена в книге Корвина: „Aus dem Leben eines V kskämpfers".

[2]) Вот что сообщается в интересной брошюрке „Жизнеописание одного бад: ского солдата в эпоху восстания 1849 г.". „Новоиспеченные офицеры и унтер-офице были прекраснейшими людьми в мире; они были лучше даже, чем нам хотел Перед учением они всегда осведомлялись предварительно у нас, желаем ли : или нет. Но мы всегда желали, потому что мы делали это из развлечения и р: 2-х крейцеров прибавки, которые нам давало временное правительство". Эта а: биография солдата выпущена Хр. Редером, звестным гейдельбергским юристом.

[3]) „История южно-германской майской революции", стран. 149.

го был столяр Якоби, гимнасты из Ганау и стрелки из Пфорцгейма Шертнером, швабский легион, волонтеры Виллиха и батарея блузников под командой Боркгейма.

Сильнее всего и лучше всего вооружены были гимнасты из Ганау; когда вспыхнула революция, они ушли из Ганау и направились в Баден. Уходу их из Ганау содействовали местные трусливые демократы; они надеялись, что, отослав из города наиболее радикальные элементы, они обезопасят свою родину от революционных бурь.

Когда начался поход, боевые силы Бадена составляли несколько больше 0.000 человек и 70 или 80 полевых орудий.

В Пфальце Бленкер из Вормса[1]), бывший прежде на греческой службе, еще до образования временного правительства взялся за организацию народного ополчения. С одним отрядом ополчения он подошел к Людвигсгафену, расположенному против Мангейма. Ему удалось добиться того, что расположенное здесь у моста баварское войско перешло к нему и заняло предмостное укрепление. Благодаря присоединению баварских солдат войско его быстро усиливалось. Но предпринятое им нападение на Ландау было неискусно выполнено и окончилось неудачей.

Дело организации пфальцских военных сил было отнято у неспособного Феннера фон-Феннеберга и передано комиссии, в которой находились Гохов, ставший известным со времени захвата барланского арсенала, Аннекке, Зейст и др. Комиссия усердно работала, но успех ее не мог быть значительным, так как в стране „крикунов" все хотели повелевать, никто не желал слушаться, денег не было и население воодушевлялось преимущественно во время выпивки. Вино сыграло в пфальцской революции вообще большую роль, чем порох. Наконец, явился и новый главнокомандующий, поляк, по имени Шнайда (очевидно, Шнейдер); по словам очевидцев, он представлял из себя весьма комичную фигуру. В 1831 году он в качестве кавалерийского офицера отличился в польской революционной борьбе. Шнайде хотелось образовать три укрепленных лагеря и в них сосредоточить защиту Пфальца. Командование рейнско-гессенским корпусом волонтеров Шнайда поручил поляку Рупперту, или Рауперту, вся военная мудрость которого, повидимому, исчерпывалась фразой; „former des pelotons" („стройся повзводно"). Шнайда проявил было некоторую энергию, но Пфальц трудно было подвинуть к народной обороне; пфальцские граждане предпочитали подвизаться на революционном поприще в кабаках и трактирах. На помощь Бадена была плохая надежда, так как здесь господствовала политика Брентано, парализующая движение. Лишь позже баденское правительство уступило пфальцскому несколько орудий и послало ему подкрепление: корпус волонтеров города Карлсруэ под предводительством Дрегера.

Таким образом пруссаки, вступившие с значительными военными силами в Пфальц, встретили здесь лишь несколько тысяч человек, по большею

---

[1]) Тот самый, который сделался известным после битвы при Буль-Рене во время северо-американской гражданской войны.

частью плохо вооруженных и плохо обученных военному искусству В сущности пруссакам оставалось лишь сделать „военную прогулку“ через весь Пфальц.

Таковы были средства защиты восстания, против которого изгнанный великий герцог призывал помощь германского центрального и прусского правительств. И центральное правительство и Пруссия обнаружила одинаковую готовность. Правитель империи в воззвании к немецким солдатам увещевал их храбро бороться с „мятежниками“, желающими защищать имперскую конституцию. Составлена была имперская армия из полков тех государств, которые признали имперскую конституцию, как, напр., Гессен, Нассау, Мекленбург и т. д. и эта армия должна была сражаться прот в баденских отрядов, восставших в защиту имперской конституции. Против Пфальца, восстание которого носило уже несколько чересчур „конституционный“ характер, употреблены были только прусские войска; против „республики“ Бадена двинуто было также имперское войско.

Для победы над восстанием, кроме имперской армии, призваны были также два прусских корпуса под верховным предводительством принца прусского; командовали ими генералы фон-Гиршфельдт и фон-дер-Гребен.

Однако войска эти нельзя было быстро мобилизовать, хотя бы вследствие того только, что беспорядки вспыхивали одновременно в разных местах. У Бадена было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к обороне. Но военный министр Эйхфельд, человек без энергии и самостоятельности, даром упустил это время.

В двух направлениях движение с успехом могло бы перейти баденские границы. Баденская армия должна была бы или проникнуть в Вюртемберг и попытаться вовлечь эту страну в движение, или же следовало нанести удар в направлении к Франкфурту на Майне.

Положение дел в Вюртемберге нам уже известно. Раво, с началом борьбы всецело перешедший на сторону революции и назначенный гражданским комиссаром в Нижне-Рейнском округе и комендантом города Маннгейма, отправился в Штутгарт, чтобы спросить у министра Ремера, какую позицию намерен занять Вюртемберг. Ремер, слывший тайным республиканцем и проделывавший соответствующие аллюры, обещал **строгий нейтралитет** в том случае, если баденцы не будут вторгаться в Вюртемберг; по его словам, уже отдан был приказ об отступлении вюртембергских войск из Шварцвальда. Раво рассказывает, что на его вопрос, не думает ли вюртембергское правительство отозвать свои отряды, входящие в состав имперской армии, Ремер утверждал, что **он намерен сделать это**; он поручил даже Раво поставить в вюртембергской палате соответствующий запрос; **тогда правительством официально будет заявлено об отзыве вюртембергского войска из имперской армии.**

Лицемерные уверения господина Ремера произвели на баденскую и вюртембергскую демократию расслабляющее действие. Среди вюртембергских демократов было вообще не мало трусливых элементов, с ужасом думавших о том, что революция, о которой они так хвастливо толковали за бутылкой

ва, в один прекрасный день перешагнет границы и вторгнется в их возлюбленную Швабию. Когда франкфуртское собрание решило перебраться в Штутгарт, они жадно ухватились за этот предлог, чтобы объявить о том, что они всего ждут от этого собрания. Арест Фиклера очень быстро раскрыл демократии глаза относительно лойяльности убеждений господина Ремера.

Теперь оставался только удар на Франкфурт, за что стояли все энергичные элементы. Национальному собранию много раз предлагали в виду возможности насильственного акта вызвать для своей защиты во Франкфурт баденско-пфальцские войска. Но собрание не сделало этого; не внесено было даже соответствующего запроса, хотя Раво приглашал к этому левую. Группа более решительных настойчиво требовала отправки баденской армии во Франкфурт, не дожидаясь приглашения со стороны парламента [1]).

Действительно, занятие Франкфурта могло бы обеспечить баденскому движению крупный успех: вместе с этим городом были бы захвачены удобное центральное положение и несравненные ресурсы. В движение был бы вовлечен Кургессен и подобная же судьба была бы неизбежной для Вюртемберга. Баденские войска превратились бы в парламентскую армию, и конституционное дело приняло бы совершенно новый оборот. Если бы движение и не завершилось полной победой, то все же во Франкфурте силы настолько возросли бы, что ему не могло быть нанесено такое позорное поражение, какое являлось неминуемым, когда движение оставалось в баденских и пфальцских границах.

Под влиянием реакционных офицеров Эйхфельд продолжал стоять в бездействии у Неккара. Гессенское правительство воспользовалось этим временем, чтобы усилить военные силы, стянутые им на гессенско-баденской границе у Геппенгейма немедленно после того, как вспыхнула баденская революция.

25-го мая главнокомандующим баденской армией был назначен Франц Зигель, известный по восстанию Геккера. Он тотчас же принялся за план наступления, не выполненный Эйхфельдом. План этот принадлежал Раво [2]). При энергичном выполнении он должен был увенчаться успехом. Бленкер должен был отправиться в Вормс, туда же надлежало явиться и Цицу из Вейнгеймболандена с рейнско-гессенским корпусом волонтеров. Оба вместе они должны были переправиться через Рейн и действовать в тылу гессенской армии. Предполагалось, что они образуют подвижные отряды для переправы через Оденвальд в Ашаффенбург и Ганау. Рассчитывали на то, что Гессен восстанет и примкнет к этим отрядам, которые должны были встретиться во Франкфурте. Тем временем баденская армия с фронта атаковала бы гессенцев, которые таким образом очутились бы между двух огней. Пора-

[1]) Маркс и Энгельс в Мангейме тоже энергично высказались за этот шаг. Фридрих Энгельс участвовал в баденском походе в качестве адъютанта Виллиха в его корпусе волонтеров.

[2]) Раво служил в Испании во время карлистской войны и дослужился до чина полковника.

жение гессенцев или переход их в ряды революционной армии казался несомненным.

Зигель немедленно принялся за осуществление этого плана. 25-летний полководец обладал мужеством, энергией, сообразительностью и преданностью делу; он был также решительным республиканцем. Реакционные офицеры старались по возможности затруднить ему его задачу; многие выступали со вздорной претензией, что они не могут подчиняться такому юному главнокомандующему [1]). Но с этим трудностями Зигелю удалось справиться. Симпатии солдат были на его стороне, когда он повел их против врага.

Диверсией у Геппенгейма он хотел занять гессенцев. Тем временем главные силы баденской армии должны были переправиться через Фюрт в Оденвальд и таким образом обойти позицию гессенцев. Одновременно с этим, как и раньше предполагалось, должны были двинуться Бленкер в Вормс, Цин в Оппенгейм, Меттерних из Эбербаха в Берфельден. Все эти действия совершались по предварительному мангеймскому уговору со Шнайдой, Теховым и другими командующими корпусов.

30 мая как раз в то время, когда парламент по предложению господина Фогта решил перенести свою резиденцию в Штутгарт, Зигель с музыкой и развевающимися знаменами перешел гессенскую границу [2]).

Первое столкновение произошло с гессенской кавалерией, которая залпом баденской пехоты была обращена в бегство. Зигель, адъютантом которого был только что вернувшийся из изгнания Меглинг, заметил две гессенские пушки, которые под прикрытием отделения пехоты снимались с передков. Главнокомандующий думал дать армии пример мужества отнятием этих орудий и выиграть моральную победу. С эскадроном драгун он бросился к пушкам. На расстоянии 20 шагов они встречены были картечью и ружейным огнем прикрытия. Один драгун был ранен, одна лошадь убита. Несмотря на это, драгуны легко могли бы взять орудия, но, как это бывает почти всегда при первых столкновениях в начале войны, панический страх овладел ими, они повернули и бросились бежать [3]). Зигель и Меглинг должны были вернуться, а драгуны в диком бегстве помчались обратно по дороге в Вейнгейм.

Бегство драгун вызвало смятение; ядро баденской армии двинулось теперь к Геппенгейму вместо того, чтобы пойти к Фюрту, где Зигель с изумлением увидел приближение как раз тех полков, которые с фланга должны были подойти к неприятелю. Сначала удалось было принудить гессенцев к отступлению, на затем к ним присоединились гессенские войска из

---

[1]) Каково пришлось бы французам в 1793 году, если бы они стали роптать на юность таких полководцев, как Гош и Марсо!

[2]) Корвин несправедлив по отношению к Зигелю, утверждая, что тот выступал „как во сне“.

[3]) Меглинг несколько иначе рассказывает это происшествие: по его словам, Зигель неожиданно наткнулся на батарею, имевшую очень сильное прикрытие; остальные же изложения совпадают. Гессенские офицеры в своих рассказах признают, что было сильное прикрытие.

Эрбаха, откуда Эйхфельд, взяв этот пункт, преждевременно удалился со своим корпусом, дав таким образом неприятелю возможность вновь собраться с силами. Зигель, которому пуля пробила шлем, опять повел в битву свое войско, и гессенцы снова возвратились на свои прежние позиции.

Хотя Зигелю и не удалась его конная атака, все же нельзя не признать, что только он и исполнил свою обязанность. Ни Рупперт, командовавший главным корпусом и перешедший впоследствии к Пруссии, ни Эйхфельд не выполнили отданных им приказаний, и если бы это было не так, то, несмотря на неудачную атаку, все же удалось бы обойти гессенцев. Остальные вожди тоже не сделали того, что было на них возложено: Меттерних не двигался с места, Бленкер еще днем раньше отступил из Вормса, не явился также и Циц, которому пфальцское правительство дало контрприказ не двигаться с места.

Баденская армия отступила за Неккар. Реакционные офицеры, которых следовало бы судить военным судом, всю вину взваливали на Зигеля; последний и был отставлен Брентано, явившимся в лагерь с неограниченными полномочиями. На место Зигеля Брентано назначил главнокомандующим капитана фон-Бекка, реакционного и неспособного офицера. Но Зигель так неопровержимо оправдал себя перед национальным комитетом в Карлсруэ, что не только был принят в национальный комитет, но и получил пост военного министра во временном правительстве. Капитан фон-Бекк, не ознаменовавший себя ничем, кроме того, что 5 июня в Вейнгейме им было допущено нападение имевшего численный перевес гессенского войска на авангард баденской армии—на оффенбургское народное ополчение,—лишен был начальствования над армией.

В течение этих дней гессенцы получили сильные подкрепления. Мекленбуржцы, кургессенцы, баварцы и другие „имперские войска" примкнули к ним. Тем не менее Зигель не отказался от плана нанести удар в направлении к Майну. Ему удалось водворить порядок в армии, так как теперь реакционные офицеры уже не решались предпринимать что-либо против него. По его распоряжению дивизия под предводительством Иоганна-Филиппа Беккера заняла оборонительную позицию в Оденвальде и на Неккаре, и сам Зигель уже был готов к выступлению, когда вдруг явился новый главнокомандующий, призванный временным правительством—генерал Людвиг Мирославский. Мирославский только что оправился от ран, полученных в сражении при Катании в Сицилии. Это был без сомнения очень способный и мужественный полководец, но его преследовали несчастья, да и самому ему иногда случалось делать непростительные ошибки. Часто казалось, что на поле сражения он производит какие-то военно-научные эксперименты [1]). Не мало вреда принесло его незнание немецкого языка, а также предпочтение, оказываемое им полякам. Все же в общем он проявил много энергии и ловкости и ему удалось добиться доверия армии.

[1]) Говорят, будто он потерял несколько дней в Карлсруэ, занятый своей экипировкой.

Между тем крупные боевые силы окружили со всех сторон Баден. На Неккаре численность имперской армии, боровшейся от имени франкфуртского центрального правительства против защитников имперской конституции, достигла 20.000; командовал ею бывший имперский министр генерал фон-Пейкер, который обнаружил в этом походе мало стратегических талантов; в Пфальц явился Гиршфельд с 20-тысячным корпусом, а Гребен повел 20-тысячное войско к Неккару. Главнокомандующий всей армией, принц Вильгельм Прусский, находился при корпусе Гиршфельда. Когда он из Майнца в карете направлялся в Крейцнах, у Нижне-Ингельгейма из виноградников направлен был в него выстрел, ранивший почтальона. Суду присяжных в Мангейме был предан некий Шнейдер, обвиняемый в том, что стрелял он, но его оправдали [1]).

Сильный баварский корпус составлял резерв для пруссаков. Вюртембержцы в количестве 8.000 человек мало-по-малу перешли из Гейльбронской области в Шварцвальд и выстроились на границе. Австрийцы сделали было попытку высадить свои отряды в Фридрихсгафене, но мужественное фридрихсгафенское гражданское ополчение под начальством своего командира Ланга после довольно кровопролитной схватки принудило их к отступлению. Если австрийцы тем и ограничились, то причина лежит в действиях прусской дипломатии.

Мирославский решил сохранить оборонительное положение и держаться линии Неккара. Войско свое он растянул таким образом, что его правый фланг под командой Иоганна-Филиппа Беккера стоял в Эбербахе на Неккаре, центр—в Ладенбурге на Неккаре, а левый фланг—в Мангейме.

Пруссаки попытались окружить Мирославского.

Уже 12 июня войска Гиршфельда вошли в Пфальц. В Кирхгеймболандене стоял слабый рейнско-гессенский легион с Цицом и Бамбергером, их военачальником все еще был неспособный Рауперт. Когда—14 июня—8.000 пруссаков атаковали Кирхгеймболанден, рейнско-гессенский легион отступил с такой поспешностью, что на баррикаде в Шлоссгартене остался один отряд народного ополчения: по всей вероятности, впопыхах их забыли известить об отступлении. Среди них находилась красивая молодая девушка Матильда Хицфельд из Кирхгеймболандена, которая с черно-красно-золотым знаменем в руках мужественно стояла на посту. Защитники баррикады частью были убиты, частью взяты в плен [2]).

Пфальцское правительство бежало из Кайзерслаутерна, и пруссаки быстро проникали в глубь гористой страны, которую, при известной реши-

---

[1]) Несколько лет тому назад этот самый Шнейдер умер в Северной Америке; на смертном одре он уверял, что выстрел был сделан не им.

[2]) Часто утверждают, что взятые в Кирхгеймболандене защитники баррикад были расстреляны; сочинения гессенских и прусских офицеров, описывающие эту схватку, отрицают факт расстреляния. Вообще все это происшествие в свое время породило много неверных слухов. Так, напр., Пауль Штумпф в Майнце, принимавший участие в кирхгеймболанденском деле, во многих книгах приводится в списке павших однако он и до сих пор жив и здоров, несмотря на то, что с тех пор (до 1892 года) прошло уже 43 года.

сти и энергии, легко было бы защитить. Пфальцские военные силы всюду стро отступали. Шнайда и Виллих направились к Рейну и, как Циц и мбергер, поспешили переправиться в Баден. Виллих еще раньше, 17 июня, Анвейлера столкнулся с пруссаками и в этой маленькой стычке, вследше непрактичности своих распоряжений, потерпел большой урон ранеными убитыми, прежде чем дело дошло до настоящего сражения.

Таким образом пруссаки заняли весь Пфальц и появились перед эдвигсгафеном как раз в тот момент, когда Мирославский на Неккаре зобновил борьбу с имперскими отрядами. 15 июня они атаковали забаррикадированный Людвигсгафен и взяли его после ожесточенной двухчасовой рьбы [1]). Еще немного, и они, казалось, перешли бы через Рейнский ст и благодаря этому очутились бы в тылу баденской армии, у которой , было времени развести мост. Но и пруссаки не решались наступать д открытым огнем орудий, выстроенных на баденском берегу. Прусская тиллерия посылала гранаты в Мангейм, на что баденская артиллерия вечала страшным опустошающим огнем; руководил действиями здесь бывший усский офицер фон-Корвин [2]). Рейнский мост, портовые постройки одвигсгафена, а также различные другие постройки,—все сделалось жертвой иамени. Зарево пожара виднелось далеко на небе, и канонада продолжалась течение нескольких дней. Реакционная печать горько жаловалась на то, о баденская артиллерия не осталась спокойной зрительницей того, как аннгейм обстреливался прусскими зажигательными снарядами.

В то время как на Рейне был открыт орудийный огонь, Мирославский эскакал из Мангейма на неккарскую линию, где имперские отряды уже эрешли в наступление. Пейкер прогнал баденский авангард из Кеферталя. ирославский распорядился, чтобы польский полковник Тобиан вновь взял еферталь. Баденские войска с большой смелостью выступили под неприяльским огнем по направлению к Кеферталю и вытеснили оттуда имперские эйска. Тобиан сам был тяжело ранен, но польский полковник Оборский, явший теперь на себя команду, прогнал имперские войска еще дальше. з Ладенбурга баденский центр под предводительством двусмысленно дерявшегося полковника Беккерта тоже сначала был вытеснен неприятельскими силами, но вскоре баденцы вновь перешли в наступление. Ладенбург

[1]) Странно, что в книге Беккера и других демократических сочинениях утверждается, будто Людвигсгафен взят пруссаками благодаря предательству „без единого ыстрела" В дневнике же прусского обер-лейтенанта фон-Старосте рассказывается, го пруссаки взяли Людвигсгафен лишь после двухчасового сражения, при чем у ятежников было до 20, у пруссаков трое убитых—по их сведениям. В других эенных сочинениях тоже отмечается это сражение.

[2]) У Корвина за его дружбу с пресловутым Гельдом было много врагов, ему не эрили. Но предателем он во всяком случае не был. Мы присоединяемся к **Боркэйму**, который говорит о Корвине: „В нем не было решительно ничего бесчестящего. Благодаря своим лейтенантским манерам, прикрывающим его внутреннее эбродушие, и благодаря своей склонности разыгрывать из себя высокородного покровителя революции, Корвин порвал с принципиальными демократами... Его наивное естолюбие оскорблялось тем, что не он, а Зигель был назначен главнокомандующим".

после смелой фланговой атаки Меглинга [1]) так был быстро отнят у неприятеля, что прусский майор Гиндерсин, обозревавший поле сражения с церковной башни, попал в плен. На следующий день Мирославский с отрядами Зигеля, Оборского и Меглинга напал на имперские войска в Лейтерсгаузене и Гроссаксене и оттеснил их с такой силой, что они некоторое время оставались в крайнем замешательстве. Затем, хотя и пришлось вновь очистить Гроссаксен, но и имперская армия „была концентрирована назад“ в Венгейм [2]).

Маннгеймская буржуазия, солидарная с пруссаками, тем временем сделала уже попытку произвести контр-революцию, которая однако была энергично подавлена Мирославским. Гейдельберг был иллюминован в честь удачных столкновений на Неккаре, в то время как у маннгеймских богатых купцов вытянулись физиономии, когда после сражения сюда вступили не желанные прусские войска, а земляки.

Победы на Неккаре свидетельствовали о том, что первоначальная деморализация исчезла из баденских войск и что теперь это были дисциплинированные и мужественные войска [3]). Воодушевление еще усилилось, когда до них дошли благоприятные вести из Парижа: вести о крупной победе, одержанной партией Ледрю-Роллена над принцем-президентом [4]). Вскоре однако пришло также известие о неудачной попытке восстания 13 июня и о полном поражении партии монтаньяров, так что теперь со стороны Франции нельзя было ожидать ничего, кроме контр-революционных действий. Это самым угнетающим образом подействовало на вождей баденского восстания и сильно омрачило радость по поводу побед на Неккаре.

Теперь генерал фон-Пейкер, очень медлительный и малоспособный полководец, отказался от форсирования неккарской линии и этим самым признал победу баденцев, которую он отрицал в своих официальных сообщениях.

---

[1]) Меглинг обнаружил много мужества и военных способностей.

[2]) Прусский обер-лейтенант Староста, дневник которого, описывающий баденский поход, полон военных предрассудков, ненависти и ругательств по адресу демократии, заставляет баденские войска постоянно бежать; бегут они и тогда, когда, по его же собственным словам, ими взяты штурмом Кеферталь и Гроссаксен. Затем с том самом моменте, когда баденцы отбили штыками два неприятельских пункта, он утверждает, будто у баденцев был необыкновенный страх перед штыками,—еще больше, чем перед пулями. Зато мы можем отнестись к нему с полным доверием когда он рассказывает, что в Гроссаксене 20 замешкавшихся народных ополченцев были перебиты, т.-е. им не дали пощады. Что сказал бы он, если бы баденцы таким же образом поступили с замешкавшимся в Ладенбурге майором Гиндерсином. С последним обращались очень корректно.

[3]) Продовольствие было поставлено очень неудовлетворительно. Раво рассказывает, что две роты, прибывшие ночью в Маннгейм, не нашли в казармах ни огня ни пищи. Конечно, они подняли шум. Раво обратился к ним с суровым внушением. Он велел дать им хлеба, сыра, пива и свечей. Но оне отказались от всего этого и заявили, что на этот раз с них достаточно и того, что есть кто-то, кто о них заботится.

[4]) Правды ради необходимо заметить, что в демократической партии враньы было не меньше, чем в реакционной.

Тем не менее неккарская линия не могла долее держаться. Пейкер вместе с имперской армией передвинулся через Форт в горы, желая обойти правое крыло баденской армии; фон-дер-Гребен со своим корпусом двинулся к линии Неккара, а Гиршфельд, после того как Пфальц был весь очищен от мятежников, появился в Гермерсгейме, откуда он намеревался перейти Рейн. Из Гермерсгейма главнокомандующий армией, принц прусский, объявил „все великое герцогство Баден“ на военном положении; виновным в сопротивлении угрожал военный суд. Командующие корпусами уполномочивались подписывать смертные приговоры.

Отступление пфальцских войск, не дождавшихся сражения, внесло деморализацию; 18 июня они—в количестве 6.000 человек с 8-ю орудиями—под предводительством Шнайды, „который тупо посматривал кругом себя“, у Книлингена перешли Рейн. Этому несчастному Шнайде, который в качестве „генерала“ занимался главным образом тем, что ел и пил, суждено было наделать в Бадене еще бо́льшую сумятицу, чем в Пфальце. Циц и Бамбергер, вожди рейнско-гессенского легиона, услыхав о переходе пруссаков через Рейн, на следующий же день бежали в Швейцарию. Нельзя назвать незаслуженным тот град насмешек, который вызвало их быстрое исчезновение [1]).

20 июня прусская армия у Гермерсгейма под пушками крепости перешла через Рейн. Охрана и защита моста была поручена поляку Мниевскому, который располагал войском в 2.500 человек; в его распоряжении были также батареи Блинда и Боркгейма. Мниевский позволил пруссакам напасть на себя. Дело дошло до сражения, которое кончилось тем, что баденский майор фон-Биденфельд, старый служака наполеоновской школы, несмотря на энергичное сопротивление, все же принужден был отступить на Бруксал перед прусской дивизией Бруна. Батарея Блинда была взята [2]).

Дивизия Бруна должна была отрезать баденской армии отступление в Карлсруэ; дивизия Ганнекена должна была двинуться к Неккару и с тылу атаковать неккарскую линию, в то же время Пейкер маневрировал у правого фланга позиции Мирославского. Гребен с севера направился к Мангейму и Гейдельбергу. Таким образом вследствие перехода пруссаков через Рейн Мирославский внезапно увидел себя окруженным с трех сторон неприятелем.

В этом отчаянном положении Мирославский принял быстрое и отважное решение броситься на корпус Гиршфельда, ушедший за Рейн. В случае

---

[1]) Господин Бамбергер выпустил небольшую, изящно написанную брошюру, в которой он пытался оправдать свое поведение, заявляя, что большинство вождей пфальцского и баденского движений были люди без всяких способностей. Но разве сам он чем-нибудь обнаружил свое превосходство? Он признается, что уехал потому, что боялся, что его арестуют, что его забудут в тюрьме и таким образом он попадет в руки пруссаков. Ко всему этому трудно отнестись серьезно; зато можно отнестись с полным доверием к г. Бамбергеру, читая в конце его брошюры уверения в том, что он не страдал „формализмом сопротивления“.

[2]) Пруссаки, гусары которых наступали очень храбро, потерпели в этом сражении—у Визенталя довольно значительные потери; в числе раненых находился также принц Фридрих-Карл прусский.

удачи этого нападения он надеялся порознь разбить также остальные два корпуса. Он стянул свои главные силы—9 батальонов регулярного войска, 8 батальонов ополчения, 10 драгунских эскадронов и 20 орудий, всего 10—12.000 человек—в один пункт и двинулся навстречу пруссакам. При занятом войсками положении баденская армия лицом была обращена к югу, а корпус Гиршфельда—лицом к северу. В Гейдельберге оставлен был Иоганн-Филипп Беккер для прикрытия перехода через Неккар [1]), а в Маннгейме—Мерси для прикрытия неккарского моста. Дивизия Томе отказалась повиноваться приказу старшего генерала и осталась в Гейдельберге [2]).

В то время как Мирославский быстро двинулся навстречу прусской армии, пфальцское ополчение вместе с баденскими отрядами регулярного войска и тремя колоннами под предводительством Виллиха, Бленкера и Твинского подошло к Брукзалу и заняло очень выгодную для поддержки Мирославского позицию [3]). Но главнокомандующий Шнайда не был человеком, способным энергично взяться за дело. Движения его не могли не быть медленными, так как его нельзя было извлечь из трактиров, где он постоянно торчал. И из-за этого стоявшие под его командой 10.000 человек не сумели даже втянуть в стычку и задержать дивизию Бруна, направлявшуюся к Брукзалу, в то время как Мирославский у Ваггейзеля атаковал пруссаков под командой Гиршфельда.

21 июня, рано утром, Мирославский наткнулся на передовые посты прусских войск, выстроившихся к бою у Ваггейзеля и Филиппсбурга [4]). Они предполагали, что Мирославский стоит у Брукзала, и уже готовились отправить туда свои главные силы. Самый тяжелый натиск революционной армии пал на дивизию Ганнекена, которой предписано было двинуться в Маннгейм.

Прусский авангард быстро был опрокинут баденским, во главе которого стоял Моне, получивший при этом столкновении три раны. Затем Оборский, командовавший баденским правым крылом, атаковал Ваггейзель. Пруссаки заняли сахарную фабрику, бывшую прежде замком шпейерских епископов. После четвертой атаки баденские войска взяли штурмом прусское укрепление и откинули пруссаков из Ваггейзеля. Ганауские гимнасты, открыв сильный ружейный огонь, помогали атаке.

Меглинг получил от Мирославского приказ руководить штурмом. Прусская пуля раздробила ему ногу и он попросил молодого Шлеффеля принять от него команду. Шлеффель находился во главе колонны, вытеснявшей пруссаков из Ваггейзеля, когда две пули пробили его грудь. Он гордо пал,

---

[1]) Беккер несенно отозван был из Оденвальда. Там он, соединившись с гимнастами из Ганау, дал сражение баварцам и кургессенцам у Гиршгорна; при этом гимнасты заняли и защищали старый Гиршгорнский замок.

[2]) Томе принадлежал к числу реакционных офицеров.

[3]) Ночью Твинский из трусости или измены двинул свою колонну обратно к Карлсруэ и бежал. Бленкер вернул колонну.

[4]) Во всем корпусе Гиршфельда было около 20.000 человек; лишь резервная дивизия Бруна выдвинулась к Брукзалу.

увенчанный победой, и его смерть покрыла позором интриганов Карлсруэ, отнявших у него пост гражданского комиссара.

Зигель с левым крылом обошел пруссаков и оттеснил их до Визенталя. Ганнекен, преследуемый выстрелами баденской артиллерии, отступил до Филиппсбурга. Теперь энергичным нападением на Филиппсбург Мирославский мог бы обеспечить исход сражения, но он допустил ошибку: он дал своим, правда, усталым войскам час отдыха. В это время пруссаки успели позаботиться о подкреплениях; внезапно появилась дивизия Бруна, поспешившая сюда на грохот выстрелов из Бруксала, и с фланга и с тыла напала на баденское левое крыло.

Зигель, силы которого были слишком слабы для того, чтобы сопротивляться неприятельской артиллерии,—у него были лишь три пушки, из которых одна была снята с лафета,—принужден был удалиться из Визенталя, так как подкрепления со стороны Мирославского не приходили. Собственно говоря, сражение было уже проиграно. Но поражение это стало равносильным полной гибели вследствие измены Беккерта. Мирославский приказал этому сомнительному офицеру пойти с 10 драгунскими эскадронами, стоявшими под его командой, на помощь Зигелю. Беккерт сделал вид, будто готовится исполнить приказание; но вдруг он повернул коня и вместе с своими драгунами обратился в паническое бегство с криком: „Нас обошли!“ В этой дикой скачке он перерезал баденскую пехоту, отряды ополчения, обоз и привел все в смятение. Паника охватила всех, и революционная армия, еще несколько минут тому назад победоносная, мчалась теперь беспорядочной массой в Гоккенгейм, а оттуда ночью обратно в Гейдельберг [1]. Прусские войска, испробовавшие во время этого сражения игольчатые ружья на баденских республиканцах, не преследовали бежавших: они сами были обессилены сражением. Зигель прикрывал отступление.

Главная вина за ваггейзельское поражение падает на „генерала“ Шнайду. Неповоротливый Шнайда мог бы удержать дивизию Бруна в Бруксале, но 21 июня он не выпустил ни одного выстрела в неприятеля. Вместо того чтобы наступать, он отступал, и только его правое крыло под предводительством Биденфельда сделало было движение в направлении к Бруксалу, но было уже слишком поздно. Бруксал, покинутый пруссаками, лишь 22 июня был занят Шнайдою. Его авангард занял деревню Убштадт у Бруксаля. Когда 23 июня на него напали пруссаки, авангард был опрокинут и Шнайда обнаружил полную неспособность руководить сражением; он всюду вносил беспорядок. Гёгг, находившийся при армии, взял в эту критическую минуту на себя руководство и с помощью дельных офицеров, каковы: Техов, Фах, Аннекке, Бейст, Изелин, с артиллерией и народными ополченцами, а также с батареей блузников Боркгейма ему удалось организовать сопротивление, так что пруссаки были оттеснены. Сражение это имеет первостепенное зна-

[1]) Отчеты об этом сражении сильно расходятся и в существенных пунктах противоречат друг другу. Старосте и в этом случае рассказывает о бегстве баденских отрядов; бежали они, по его мнению, и в те моменты, когда победоносно наступали на врага. Бюллетень Мирославского тоже полон неверных указаний.

чение, потому что благодаря ему пруссакам не удалось отрезать пути отступления главной армии, разбитой при Ваггейзеле [1]).

Лишь на следующий день пруссаки двинулись к Бруксалу, и войска Шнайды беспорядочно отступили обратно к Карлсруэ. Ожесточенные солдаты избили Шнайду, и он бежал во Францию.

Пруские генералы действовали неискусно и медленно, иначе Мирославскому не удалось бы провести свои войска замечательным фланговым маршем между тремя неприятельскими армиями. В то время как Мангейм благодаря проискам реакционной буржуазии перешел к Пруссии, при чем был взят в плен депутат Трюцшлер, бывший здесь гражданским комиссаром Иоганн-Филипп Беккер защищал Гейдельберг против пруссаков и с большим мужеством и находчивостью прикрывал отступление разбитой армии через устье Неккара к Зинсгейму. Здесь была отбита атака только что явившегося авангарда имперского генерала Пейкера. Затем армия продолжала отступать через Бреттен на Дурлах. Убштадтское сражение помешало пруссакам отрезать этот путь: в то время как в Убштадте происходила схватка, Мирославский со своими войсками прошел вдоль границы, держась восточного направления. 24 июня, вечером, Мирославский вступил в Дурлах и, не останавливаясь в Карлсруэ, двинулся по мургской линии к Раштатту. 25 июня во время отступления Беккеру для прикрытия отступления пришлось вступить в борьбу в Дурлахе, где он долго держался, несмотря на отсутствие орудий, и причиняя большие потери осаждавшим его пруссакам. Беккер оставил Дурлах, лишь когда явилась опасность быть отрезанным.

Карлсруэ, где тотчас же после поражений армии стало проявляться контр-революционное движение, 25 июня был осажден прусаками. Мирославский сосредоточил свои силы на мургской линии перед Раштаттом. Он сделал здесь смотр 13-тысячной армии, имевшей 70 орудий. Все готовы были к сопротивлению; мургская линия была занята от Штейнмауэрна на Рейне до Гернсбаха. Корпусы Гиршфельда и Гребена с фронта напали на эту позицию, в то время как Пейкер направлялся через Вюртемберг к Гернсбаху. Обещанный Ремером нейтралитет был обязателен лишь для Бадена; имперские же отряды не встретили препятствий при переходе через вюртембергский Шварцвальд.

---

[1]) Вот что говорит об этом походе один участвовавший в нем гессенский офицер: „В деревне (Убштадте), в церковной башне, осталась еще запоздалая группа волонтеров-мятежников, которая продолжала стрелять в войска. Пруссаки взяли штурмом башню и расстреляли найденных там людей; такая же участь постигла многих волонтеров, спрятавшихся в домах. 15 человек расстреляно было на кладбище" („Feldzug gegen badisch-pfälzische Insurrektion", стран. 309). Старосте подтверждает все эти жестокости (стран. 432). Далее Старосте рассказывает, что пруский батальон, при котором было 8 пленных, у Лангенбрюкена нашел искалеченный труп одного пруского гусара. „При виде этого солдаты пришли в невероятное ожесточение, и прежде чем офицеры успели вмешаться, они самостоятельно расправились с 8 пленными". Странно, что в таких именно случаях офицерам никогда не удавалось добиться повиновения! Касаясь этих фактов, мы нарочно приводим свидетельства реакционной стороны.

Мирославский сделал ошибку, послав в Гернсбах, самый опасный пункт той позиции, Бленкера с ненадежными пфальцскими народными ополченцами; осле этого он выстроился перед Мургом, вследствие чего крепостные рудия не могли быть пущены в ход и остались без употребления во время итвы.

28-го июня нападение прусских войск было отражено, 29-го началась орьба по всей линии. Прусские отряды были опрокинуты Зигелем и Беккером. Баденская армия перешла в наступление и ей удалось так далеко ттеснить пруссаков, что в Раштатте уже праздновали победу и город был ллюминован. Но в горах у Ротенфельса Мерси потерпел поражение [1]), и ойска его, обратившиеся в бегство, увлекли вместе за собой также дивизию храброго Оборского [2]). Гернсбах был взят Пейкером, и далеко виднело ь ламя охваченных пожаром домов, загоревшихся во время перестрелки [3]). Это ясно показывало, что нельзя воспрепятствовать обходу мургской линии.

В революционную армию проникло смятение, и на следующий день, 30 июня, мургскую линию пришлось оставить, хотя Беккер у Куппенгейма, защищаясь со своей артиллерией, проявил величайшую храбрость. У Ооса произошла еще энергичная схватка, целью которой было прикрыть отступление, и капитану Михелю из Бамберга, который тут же и пал, удалось еще отнять у мекленбуржцев одну гаубицу [4]). Растерянные войска отступали и к Оффенбургу, и к Фрейбургу; крепость Раштатт вечером 30 июня была уже вполне окружена неприятелем. В ней сидело 6.000 человек, и Бернгард Беккер, стоявший у маннгеймского рабочего батальона, утверждает, что туда вошли бы еще 1.000 человек, если бы он не обратился к ним у ворот, предостерегая их от ловушки.

Мирославский был смещен, роль его была сыграна. По поводу уплаты ему вознаграждения завязался впоследствии отвратительный спор, на котором мы не будем останавливаться.

Командование войсками вновь было передано Зигелю, но сила восстания была уже сломлена. До серьезной борьбы дело больше не доходило.

Во Фрейбурге еще раз сошлись члены учредительного собрания. 28 июня, после того как собрание приняло предложение Струве считать из-

---

[1]) При этом пал Молль из Кельна, известный член союза коммунистов, а поэт Готфрид Кинкель, который вовлечен был в борьбу в качестве солдата народного ополчения, был ранен и взят в плен.

[2]) Последний в отчаянии ушел в Страсбург.

[3]) Об этом сражении Старосте говорит следующее: „Когда удалось занять Гернсбах, ожесточение солдат дошло почти до исступления и ярости, которые едва удалось обуздать, и инсургенты, одиноко бродившие по городу, а также попадавшиеся в домах или погребах, почти все без исключения убивались".

[4]) О майоре швабского легиона Грейнере, взятом здесь в плен. Старосте замечает: „Среди пленных находился также изменник майор Грейнер. Так как он и после того, как взят был в плен, пытался еще воздействовать на солдат, то он был расстрелян".—Грейнер был редактором одной демократической газеты в Рейтлингине.

меной всякого рода сношения с неприятелем, Брентано сложил с себя диктатуру и бежал в Швейцарию, не отдав отчета о своей служебной деятельности. Из Фейерталя у Шафгаузена он бросил демократам, одержавшим над ним верх, яростное объяснение. Это было так же излишне, как и запоздалый „террор“ Струве, с помощью которого последний хотел заставить забыть, что он был главным виновником призвания Брентано. Впрочем, Струве, недовольный, тоже удалился в Швейцарию, после того как его не выбрали на место Брентано диктатором. Вместе с ним бежало и большинство членов собрания; так как в Фрейбурге начала смело подинмать голову контр-революция.

Гёгг, Иоганн-Филипп Беккер и Зигель старались теперь еще раз сорганизовать силы восстания занять позицию в Шварцвальде и приозерном округе. Они мечтали основать укрепленный лагерь у Донауэшингена, собрать войска и броситься в Вюртюмберг. Однако в это время пруссаки и отряды имперской армии, во много раз превосходящие их своей численностью и силой, подступили с трех сторон. Произвести новые наборы революционной армии было очень трудно, и некоторые корпуса ее уже перешли в Швейцарию. Все эти обстоятельства принудили вождей отказаться от продолжения борьбы. У Швейцарской границы, у Балтерсвейля, Зигель и Беккер раскинули лагерь; 11 июля молодой полководец с обломками революционной армии перешел через Рейн. Гёггу удалось произвести набор в Констанце, но 11 июля и он с 1.200 ополченцами решил перейти в Швейцарию. Стоя на балконе констанцской городской ратуши, он обратился еще раз с речью к народу и крикнул „ура“ во славу единой, свободной Германии, в то время как пруссаки уже приближались к городу.

Швейцария отобрала оружие у всех перешедших границу солдат революционной армии взяла с них обещанием, в случае если бы начата была война против Швейцарии, воевать под швейцарскими знаменами. В то время думали, что Пруссия объявит войну Швейцарии.

После всей этой длинной борьбы в руках демократии осталась лишь крепость Раштатт, тесно оцепленная со всех сторон неприятелем, не имеющая никакой надежды на выручку. Комендантом крепости был Тидеман, начальником генерального штаба—фон-Корвин-Виржбицкий. В самые последние дни крепость, хотя и не обильно, все же была снабжена и продовольствием и боевыми припасами. У пруссаков не было тяжелых осадных орудий и они были бессильны против сильной крепостной артиллерии. Из крепости сделаны были четыре вылазки, из которых наиболее важная произведена была 16 июля: из башни А. Орудийным огнем удалось зажечь деревню Нидербюль. Тем не менее надежда на выручку мало-по-малу падала – сангвинические демократы надеялись сначала даже на то, что выручка придет со стороны венгров,—и пруссаки заставили двух парламентеров, Корвина и Ланга, последовать под военным конвоем к Боденскому озеру и убедиться в том, что в Бадене уже не существовало революционной армии. 21 июля парламентеры вернулись, и после их отчетов о положении дел военный совет решил сдаться. Корвину поручено было вести переговоры с целью до-

...иться возможно более выгодных условий сдачи. Взятый в плен майор Гиндерсен был освобожден, „чтобы дать пруссакам знак доверия". Если бы Гиндерсена задержали в крепости, то, может быть, удалось бы добиться лучших условий.[1]).

Пруссаки потребовали безусловной сдачи; командующий прусскими войсками генерал фон-дер-Гребен заявил Корвину, что осажденные не могут ставить никаких условий[2]) но что он будет хлопотать за них и постарается добиться для них той же участи, какая постигла взятые во Фрейбурге команды[3]): последние, благодаря заступничеству генерала фон-Гиршфельда, были немедленно выпущены на свободу. По словам Корвина, генералом было сказано, что некоторых главных вождей намереваются подвергнуть допросу, простые же солдаты, по всей вероятности, тотчас будут отпущены.

Таков был результат переговоров, с которым Корвин явился в крепость, где уже начала обнаруживаться дезорганизация. Сам Корвин рассказывает, что на военном совете он не скрыл своего убеждения в том, что вожаки, по всей вероятности, поплатятся жизнью. После того как Корвин сообщил, что сдача может быть только безусловной, военный совет уполномочил его довести дело до конца, придав ему „возможно более благоприятный оборот".[4])

После этого капитуляция была принята, и постановления, касавшиеся участи осажденных, гласили:

„Осажденные подчиняются безусловно Его Королевскому Высочеству Великому Герцогу Баденскому и сдаются расположенным перед крепостью прусским войскам. При этом они ходатайствуют перед Его Королевским Высочеством о применении к ним той милости, которая, как передают, дарована была другим войскам при сходных обстоятельствах. Никаких обязательств генерал, командующий вторым корпусом армии, взять на себя не может, но он постарается оказать обещанное им вчера содействие".

Отсюда ясно, что капитуляция всецело отдавала осажденных в руки победителей, и что генерал Гребен не обязался ни к чему, кроме „содействия", что значило весьма мало. То обстоятельство, что генерал фон-дер-Гребен не самолично подписал изготовленный для Корвина документ, а предоставил подписать его некоему майору фон-Альвенслебену, начальнику его генерального штаба, весьма маловажно, хотя ему и придают часто существенное значение. Текст капитуляции предоставлял пруссакам право

[1]) Все дело с капитуляцией, о котором говорилось так много, мы излагаем по документам и по тем данным, которые дают Корвин, с одной стороны, и уже упоминавшиеся военные писатели—с другой.

[2]) Korvin, „Aus dem Leben eines Volkskämpfers" Band IV. стр. 46.

[3]) Последние восстали против временного правительства и арестовали несколько офицеров,—вот причина более милостивого обращения с ними.

[4]) Известный своим мужеством, даже отвагой, баденский штабс-адъютант Герман Морс, раненый у Куппингейма и лечившийся в Раштатте, говорит в своих „Воспоминаниях", что он никогда не ожидал ничего другого, кроме безусловной сдачи.

расправляться с осажденными, как им заблагорассудится. Корвин забыл, что капитуляция не что иное, как сделка, при которой участники стараются перехитрить друг друга. В этом случае перехитрили Корвина, а вместе с ним и всех осажденных [1]).

Раштатские осажденные страдали тем избытком доверчивости, который в 1848 году и даже в 1849 году столь часто решающим образом влиял на поведение добрых немцев. После весьма неопределенных заявлений со стороны генерала фон-дер-Гребена и после того как генерал в документе о капитуляции очень ясно предостерегает от всяких преувеличенных выводов из сказанных им слов, многие все же думали, что осажденным позволят свободно покинуть крепость и что офицеров примут в баденскую армию. Корвин утверждает, что он старался рассеять подобное оптимистическое отношение к делу.

Тидеман, несмотря на свое обычное мужество, чувствовал себя, повидимому, несколько растерянным; в своем последнем официальном письме к генералу фон-дер-Гребену он писал, что в Роштатте нет „зачинщиков движения". Во время церемонии сдачи Биденфельд двинулся со своим отрядом под звуки военной музыки. Молодой прусский капитан подскочил к нему и спросил: „По чьему приказанию играет музыка?"—„По моему", добродушно отвечал Биденфель. Тогда капитан закричал на него: „Эй, вы, заткните глотку, чорт вас возьми, плевать здесь на ваши приказания, здесь я приказываю" [2]). Такой прием должен был быстро рассеять иллюзии старого Биденфельда.

Днем 22 июля 1849 года происходила сдача и разоружение осажденных. Тидеман протянул генералу фон-дер-Гребену свою шпагу; Гребен не принял ее и велел взять ее армейскому надзирателю. Такое оскорбление коменданта крепости должно было показать, что пленным нечего возлагать больших надежд на „содействие" генерала фон-дер-Гребена.

Затем пленные были брошены в сырые казематы крепости и оставлены там до вечера следующего дня без пищи и без воды [3]).

Тотчас же после взятия крепости начали действовать военные суды. „Юридические вопросы", возникшие по поводу военных судов, мы не станем разбирать,—работа эта бесполезна. Множество храбрых пали, расстрелянные по приговору военных судов. Казни происходили в Маннгейме, в Раштатте, в Фрейбурге. Всего их было 27. Первой жертвой явился Макс Дорту из Потсдама, командовавший отрядом потсдамского народного ополчения. В марте 1848 года он был на берлинских баррикадах. Отец его, юс-

---

¹) О нарушении условий капитуляции", о чем так часто толкуют старые демократы, конечно, не может быть и речи. Мы не имеем никаких оснований замалчивать поведение победителей, но так же не можем мы поддерживать и эту старую сказку, хотя не сомневаемся, что таким образом навлечем на себя упреки некоторых демократов.

²) Так рассказывает Корвин.

³) Корвин написал фон-дер-Гребену записку: „Я прошу у вас лишь того, в чем я не отказал бы даже собаке моего врага: лишь немного соломы и воды".

ции советник Дорту, тщетно предпринимал разные шаги, чтобы спасти ына. Молодой Дорту с античным спокойствием пал на кладбище у Вирс еред Фрейбургом, произнеся следующие слова: Я умираю за свободу; трелий метко, брат!" На этом же месте расстреляны были военный омиссар Нефф-фон-Рюммингеи и солдат Гебгард Кромер из Бромбаха [1]).

В Мангейме Трюцшлер, принимавший теперь в восстании участие не качестве военного, а в качестве гражданского комиссара, должен был редстать перед военным судом, который приговорил его к смертной казни. Жалкая мангеймская буржуазия издевалась над ним; „благородные" дамы меялись, когда Трюцшлер говорил о своей жене и детях. Даже прусский айор, председательствовавший на суде, сказал во время разбирательства ела, что его охватывает отвращение перед низостью публики [2]).

Трюцшлер был расстрелян 14 августа, рано утром, в Мангейме по ту торону Неккера. Он мужественно встретил смерть, простреленный семью улями. Он отказался от духовника, гордо заметив, что при своем образоании не нуждается в таком утешении.

В назидание гражданам было сделано следующее „официальное сообщение" о его казни:

„Вильгельм-Адольф фон-Трюцшлер из Готы, бывший прежде ассесором аксонского королевского апелляционного суда в Дрездене, примкнул к оследнему баденскому восстанию уже с первых дней его возникновения и т 26 до 22 июня исполнял должность гражданского комиссара в городе Мангейме и правительственного директора в нижне-рейнском округе. Занимая значенные места, названный Трюцшлер проявил самое деятельное старание организации восстания, к созыву первого набора и его обмундировке, к озведению укреплений вокруг означенного города и даже непосредственно частвовал в военных операциях мятежников. Вследствие всего этого он, осле публичного и устного разбирательства дела, приговором военного уда от вчерашнего дня объявлен виновным в государственной измене и оему присужден к смертной казни через расстреляние. Приговор этот риведен в исполнение сегодня, в 4 часа утра. Мангейм, 14 августа 1849 г. От имени следственной комиссии мангеймского военного суда. Бабо".

Таких „сообщений" было опубликовано очень много; некоторые из них мы воспроизводим в приложении.

Кроме того, по приговору военного суда в Мангейме расстреляны были ровельщик Диц из Шиесберга, солдат Лахер из Бруксала, обозный мастор Штрейбер из Мангейма и учитель Гефер из Бремена. Гефер, у которого а глазах жандармы грубо отбросили его молодую беременную жену, броившуюся к нему, чтобы еще раз обнять осужденного на смерть мужа, в

---

[1]) Рассказывают, будто сестры Кромера, пришедшие убрать цветами могилу, рата, схвачены были пруссаками и подвергнуты телесному наказанию (см. „Frankurter Zeitung" 20 сентября 1874 года).

[2]) Темме в своем романе: „Deutsche Herzen und deutscher Pöbel", обрисовал ля потомства эту „благородную" и богатую чернь.

виде милости выпросил, чтобы казнь над ним совершена была в тот же день, и он был расстрелян при свете фонарей.

Понятно, что Раштатт насчитывает самое большое число жертв. Всего казненных было здесь 19 человек: губернатор Тидеман, старый Бенниг, командир эмигрантского легиона, Конрад Гейлиг, командовавший крепостной артиллерией. Все они умерли с мужеством, которое не могло не импонировать их врагов. В этом отношении нам известно только одно исключение [1] В Раштатте расстреляны были: Н. Бауэр, солдат из Гиссингейма, А. Вернигау, офицер из Мюльгаузена, Эрнст фон-Биденфельд, майор из Бюла, Георг Бенниг, офицер из Висбадена, Андре Куниc, драгун из Пфорцгейма, Эрнст Эльзенганс, редактор из Фейербаха [2], Гергард, солдат из Ринтгейма, Гюнтард, солдат из Констанца, Конрад Гейлиг, вахмистр из Пфуллендорфа, Карл Якоби, столяр из Мангейма, Петр Иегер, солдат из Агластергаузена, Иоганн Янсен из Кельна, Килмаркс, солдат из Раштатта, Коленбехер, солдат из Карлсруэ, Конрад Ленцингер, капрал из Дурлаха, Теофил Мниевский, из русской Польши [3], Л. П. Шаде, солдат из Карлсруэ, Шрадер, прусский артиллерист, Г. Н. Тидеман, офицер из Ландсгута, Л. Цепттофер, ружейный мастер из Мангейма [4].

В Ландау 9 марта 1850 года был расстрелян баварский лейтенант граф фон-Фуггер; осужденный вместе с ним майор фон-Фах бежал. 68 осужденных были отправлены в каторжную тюрьму, большинство в Бруксал. Многие были приговорены к 10 годам каторжных работ.

Корвин, приговоренный к смертной казни через расстреляние, был помилован, и смертная казнь заменена 10 годами каторжных работ [5]. Кинкель, сражавшийся как простой рядовой, приговорен был к пожизненному зато-

[1]) Лейтенант Шаде 21 года, бывший прежде кельнером, ночью перед казнью плакал. Честный Боркгейм справедливо замечает о нем: „я прощаю ему эту слабость: в 21 год никого не радует смерть". О слезах Шаде рассказывал только один из надзирателей. Но перед дулами ружей Шаде стоял гордо выпрямившись и встретил смерть так же смело, как и остальные осужденные.

[2]) Эльзенганс издавал в Раштатте „Вестник крепости", и, следовательно, был расстрелян главным образом за несколько газетных статей.

[3]) Сделанный им промах на рейнском мосту у Гермерсгейма он искупил своей смертью.

[4]) У осужденных указана профессия, которой они занимались, когда началась революция. Занимаемые ими впоследствии должности труднее установить, да они и часто менялись.

[5]) Наказание это, замененное 6 годами одиночного заключения, он отбывал в Бруксале до 1855 года. Снова начали говорить о его предательстве при капитуляции Раштатта. На наш взгляд, в этом деле нет ни одного доказательства, что Корвин был предателем, но он действовал легкомысленно. В делах этого рода всегда кричали о „предательстве" и искали козла отпущения. На долю Корвина досталась последняя, далеко не приятная роль. Позднейшие повороты Корвина привели его, автора „Pfaffenspiegel", к национал-либерализму и „культуркампфу", к которому он относился серьезно. Говорят, что Бисмарк сказал в Версале новообращенному Корвину: „За то, что вас привело в тюрьму, теперь стою я". Это изречение может быть поставлено на одну доску с историческим воззрением Бисмарка, будто восстание коммуны в 1871 году явилось борьбой за прусское городское устройство.

нию в крепость, но „Крестовая Газета“ была этим недовольна и требовала о крови. Король прусский изменил приговор так, что Кинкелю пришлось бывать наказание в гражданском учреждении, т.-е. в каторжной тюрьме. 1850 году Кинкелю, жена которого сделала все, чтобы устроить его вобождение, удалось бежать из каторжной тюрьмы в Шпандау, при чем обенную помощь оказал ему Карл Шурц, участвовавший в баденской рьбе,—в настоящее время северо-американский государственный деятель. еглинг, оправившийся от своей раны, был приговорен в Маннгейме военным дом к смертной казни, но, как он сам рассказывает, благодаря заступниству вюртембергского короля, казнь заменена была десятью годами торжных работ. Из тюрьмы он вышел разбитым человеком.

Вернувшееся великогерцогское правительство исчислило убытки, понеиные государством, в три миллиона гульденов, и все участвовавшие в волюции были осуждены на возмещение их под круговой ответственностью. ким образом к казням, к заточениям в тюрьму присоединились конфискация пуществ, продовольствие чужих войск, осадное положение и высокомерное ращение победителей [1]). Вслед за эмигрантами население тысячами выселось за границу. Эмиграция никогда не достигала такой интенсивности, кую она имела в этот послереволюционный период. Баден потерял свое ренное население [2]). Поэтому более чем смешно, если оба офицера, сочинния которых здесь часто цитировались, утверждают, что пруссаки и нерские войска были приняты в Бадене как „освободители“. Как „освободители“ они принимались будто бы теми самыми людьми, отцы, братья и новья которых расстреливались, убивались, заточались в тюрьму или инуждены были покинуть родину!

После поражения Бадена господа профессора еще долго препирались том, имели или не имели пруссаки право вторгнуться в Баден. Они забыли, о во время войны существуют лишь вопросы силы, а не права. Впрочем, же господа основали, ведь, во Франкфурте центральную власть, которая ризывала помочь правительствам лишь тогда, когда правительствам это было добно. Эта центральная власть призвала пруссаков против Бадена. О всем ом надо было подумать, когда учреждали центральную власть во Франкфурте и избрали эрцгерцога Иоганна имперским правителем.

Пока что, господам, изображавшим из себя правительство в Мюнхене, русская помощь была далеко не приятна. Баварские отряды занимали фальц, в то время как баварский придворный листок писал жирным рифтом: „Бавария не домогалась помощи в Пфальце!“

Нам остается лишь подсчитать потери боровшихся партий во время денского похода.

---

[1]) Прусский обер-лейтенант Старосте не может нарадоваться по поводу того, к геккеровские шляпы были запрещены, и что лица, которые продолжали носить, подвергались наказанию.

[2]) Без прусского вторжения, без поражения и массового выселения демократии ционал-либеральный карьеризм не мог бы приобрести такого полного господства Бадене, как это было впоследствии.

Потери обоих прусских корпусов и имперской армии вместе, по официальным данным, определялись в 1.000 человек, в том числе убитые, раненые и пропавшие без вести. Очевидно, это число слишком ничтожно: так, пруссаки утверждают, что у Ваггейзеля у них было убито лишь 20 человек. Повидимому, прусские военные статистики желали с помощью этих цифр возвеличить превосходство пруссаков [1]).

Неизвестный гессенский офицер пишет в своем „Походе против баденско-пфальцского восстания" и т. д. с известною гордостью: „Потери врага несомненно более чем вдвое превышали наши, и, главное, у него всюду было гораздо больше убитых". И прусский офицер Старосте объясняет нам загадку, замечая в своем дневнике (стран. 182): „Войска все охвачены были ожесточением к мятежникам, и потому солдаты лишь редко давали им пощаду!"

Если бы армия мятежников поступала так же, то имперская армия и пруссаки тоже насчитывали бы больше убитых. Но баденские солдаты не претендовали на подобного рода „лавры", и потому история иначе будет судить их.

---

[1]) Впрочем, и противная им партия сильно уклонялась от истины. Так, когда некоторое время тому назад автор посетил могилы расстрелянных в Раштатте, один старый раштаттец рассказывал ему, будто в крепостных рвах в 1849 году было расстреляно более 2.000 поляков, далее будто баденцы во время сражения у мургской линии сбросили в Мург целый корпус прусской армии. Старик сильно рассердился, когда автор смиренно выразил свое сомнение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Окончание конституционной работы.

10 мая франкфуртский парламент объявил, что вступление прусских войск в Саксонию было тяжелым нарушением имперского мира. Прусское правительство ответило на это циркуляром, отзывающим прусских депутатов из парламента. Заявив о том, что депутатские полномочия истекли, правительство Пруссии действовало беззаконно, но оно сделало это потому, что чувствовало за собой силу. Правитель империи тоже счел своевременным сбросить с себя маску добродушия: теперь он, не стесняясь, показывал себя во всей своей грубости. Он образовал новое министерство с генералом Иохмусом во главе; генерал этот был каким-то авантюристом, когда-то служил турецким пашою; кроме него, в министерстве находились еще: князь фон-Сайн-Витгенштейн, Гревель, Мерк и Детмольд. Собрание заявило, что считает это министерство оскорблением германского национального представительства, и внезапно вспомнило, что центральное правительство, согласно закону, после завершения и осуществления конституции должно прекратить свое существование. Несмотря на то, что, собственно, конституционная работа не была еще закончена, собрание постановило избрать наместника империи и возложить на него проведение конституции в жизнь империи.

Иоганн хладнокровно продолжал восседать на троне имперского правителя, а конституционалисты, которых называли также ротою Гагерна, решились покинуть церковь Павла, где им стало чувствоваться весьма не по себе. Они вышли из собрания, находя, что теперь надлежит или стать революционерами, или отказаться от законного проведения конституции. Они почли за лучшее сделать последнее и, по их собственному выражению, вверили конституцию „прогрессирующей самодеятельности нации". И такими жалкими фразами эти людишки хотели скрыть перед народом и свою неспособность к настоящему делу, и свое поражение.

Теперь Пруссия вновь попыталась самолично разрешить конституционный вопрос; в Шлезвиг-Голштинии она уже раньше выступала почти как центральное правительство. В Берлине происходили конференции между Пруссией, Австрией, Баварией, Ганновером и Саксонией. Но Бавария и

Австрия вскоре отказались от участия в них, потому что они не согласны были „на главенство Пруссии". В австрийских интересах, а также чтобы иметь точку опоры, необходимую для сохранения политического равновесия, Иоганн продолжал занимать пост имперского правителя и в то же время вел длинный и в высшей степени скучный обмен нотами с Пруссией. 26 мая Пруссия, Саксония и Ганновер вступили во взаимное соглашение касательно так называемого „союза трех королей", который задался целью дать Германии аристократически - плутократическую конституцию с коллегией государей во главе и с классовым избирательным правом. В этот проект не вошло ни одного демократического постановления, и даже Австрия нашла бы его, по всей вероятности, достаточно реакционным для того, чтобы принять его. Но в проекте роль „главы империи" предоставлялась Пруссии, и вследствие этого старый дуализм вспыхнул вновь. Саксония и Ганновер тоже заявили, что войдут лишь в такое союзное государство, которое будет охватывать всю Германию, а не только группу отдельных частей империи. Бавария и Вюртемберг тоже являлись врагами „конституции трех королей"; со стороны Вюртемберга это объяснялось тем, что вюртембергский король, как известно, не желал подчиняться никому из Гогенцоллернов.

Ясно, что новые три союзника так же мало были в состоянии создать не прусскую, а германскую конституцию, как и франкфуртский парламент. От последнего остались теперь лишь жалкие останки, и парламенту приходилось все более и более опасаться за свою безопасность. О его отношении к „конституционным" восстаниям мы уже говорили. Парламент пальцем о палец не ударил, когда вспыхнули восстания в Пфальце и Бадене, которые подняли, ведь, знамя борьбы за имперскую конституцию. Избегая действия, парламент хотел в то же время обратиться опять к народу с одной из излюбленных им прокламаций, которые так же мало говорили, как и воздействовали. Комиссия предложила два текста на выбор; один из них был составлен Уландом. Оба весьма мало соответствовали положению вещей, так как реакционным силам и их угрозам было посвящено здесь лишь несколько ничего не значащих фраз. Тогда слово взял Вольф из Бреславля[1]) и резко заявил собранию, что, по его мнению, довольно молоть языком. Он издевался над вечным старанием действовать на законном основании, в то время как правительства пускают в ход только силу. „Правитель империи, сказал он, — это — первый изменник народа". Президент Ре призвал его к порядку, и Фогт, который чувствовал, что ему неделикатно помешали предаваться милой болтовне, воспользовался предлогом для личных нападок на Вольфа. К несчастью, ему пришлось проглотить за это резкую отповедь со стороны Вольфа.

24 мая парламент решил облегчить себе условия принятия решений: постановлено было, что достаточно для этого присутствия лишь ста членов. 30 мая решено было перенести заседание собрания в Штуттгардт, где, в виду

---

[1]) Известный Вольф-Казематов и редактор „Новой Рейнской Газеты", который являлся здесь заместителем отсутствующего редактора. Маркс посвятил его памяти первый том „Капитала".

о, что имперская конституция была признана Вюртембергом, надеялись ъ вне опасности от каких-либо насильственных действий. Правитель ерии отказался последовать в Штутгардт.

Вюртембергские депутаты неоднократно предостерегали против переения в Штутгардт, и когда остатки парламента, насчитывающего теперь і членов, явились в Штутгардт, они не встретили здесь желанного приема. авда, в самой стране до известной степени вновь пробудились симпатии парламенту, на который открыто напали теперь реакционные силы. Людвигсбурге на вокзале один унтер-офицер артиллерии выразил парленту симпатии от имени своих товарищей и, как рассказывает Мориц ртман, заявил, что дело народа есть также дело армии. Такого рода являения чувств несколько приподняли настроение парламента, но в цем у него все же мало-по-малу испарялись иллюзии. Швабская столица ьма ясно дала почувствовать парламенту, что его посещение нисколько является для нее желательным. Во Франкфурте парламент, который тогда с поднимали волны безграничных надежд народа, встретили с торжеством: тели Франкфурта почитали честью принимать у себя в доме депутатов. Штутгардте же представителям упадающего конституционного дела едва авалось найти себе квартиры. В среде швабской демократии господовало полное разложение [1]).

Пресловутый „республиканец“ во фраке, мартовский министр Ремер, е еще был членом парламента; тем не менее после ареста Фиклера лжны были рассеяться всякого рода иллюзии относительно личности этого сударственного мужа. Он не сразу заявил о своем выходе из парламента присутствовал еще во время первого его заседания в Штутгардте,—6 июня. цин очевидец замечает о нем, что выглядел он как „нечистая совесть“. ь этом заседании, происходившем в зале вюртембергской палаты депутов, Фогт, пользуясь случаем для новых речей, предложил учредить иперское регентство, состоящее из пяти членов. Предложение это было иинято, и регентство учреждено. Далее решено было, что временное центальное правительство перестает функционировать, что избирательное аво „конституции трех королей“ не имеет законной силы и что всякое именение его является государственной изменой.

Членами имперского регентства избраны были: Франц Раво из Кельна, арл Фогт из Гиссена, Фридрих Шюлер из Цвейбрюкена, Генрих Симон из реславля и Август Бехер из Штутгардта [2]).

Из этих пяти человек лишь Раво обладал энергией и инициативой, но, сожалению, он часто приходил в колебательное настроение; Фогт был

[1]) Подробности об этом см. у Раво: „Mittellungen über die badische Revolution“, гран. 71 ff.

[2]) Людвиг Пфау рассказывает, что избрание Бехера состоялось главным образом лагодаря тому, что „швабский Марат“, некий Даллингер, заставлял слушателей во ремя выбора регентов постоянно выкрикивать: „Бехера!“ Парламент исполнил треование этого „гласа народного“ и избрал Бехера. Последний впоследствии отвернулся г демократии и, повидимому, очень не любил, когда ему напоминали о том коротком ериоде его жизни, когда он был регентом.

не что иное, как болтливый профессор, Генрих Симон постоянно увяз в болоте законности; Шюлер представлял из себя малонадежного либерал а Бехер тогда слыл „сомнительным кантонистом“ в политических делах.

Избрание регентов было провозглашено председателем Лeве-Кальбе совершенно излишним пафосом, так как вряд ли в то время кто-нибу, серьезно относился к учреждению регентства.

Новоизбранные пять регентов обратились с прокламацией к ге манскому народу, в которой они заявляли, что в случае надобности о намерены силой пойти против силы. В то же время они извещали о то что главное командование германской армией из рук центрального прав тельства переходит теперь к ним, и немедленно обратились к различн генералам с приказаниями. Зигель должен был остаться в Бадене, Пейк в Гессене, Притвитцу надлежало побить датчан, а Миллеру отступить. П по меткому замечанию одного современника, имперские генералы более инте; совались обитателями луны, чем этими имперскими регентами в Штутгард

К вюртембергскому правительству имперское регентство, как сообщ Раво в заседании 13-го июня в зале Кольба в Штутгардте, обратилось требованием выставить армию из 5.000 пехоты, двух эскадронов кавалер и двух батарей „для подкрепления осажденных в Раштатте и Ландау (!) Раво жаловался на то, что вюртембергское правительство не дало отве на это требование. Однако ответ последовал еще 8 июня в заявлении все министерства, которым последнее открыто бросило перчатку р гентств В этом искусно составленном заявлении говорилось, что регенты, если дать волю, погубят в неравной борьбе жизнь и добро вюртемберщцев еще более разрушат благосостояние страны; что регенты не имеют пра без согласия правительства и палат распоряжаться вюртембергскими во сками и средствами и что нельзя отдать страну в их распоряжение.

Правда, регентство еще не „расп ряжалось“, а пока лишь требова: но сердца швабских буржуа всецело принадлежали Ремеру, котор прекрасно умел охранять интересы их карманов, и Шодер совершен бесцельно унижался, с усердием и страхом открещиваясь от „республика ских тенденций“. Известный эстетик Фишер превзошел даже его в глумлен над баденской демократией. Напротив, радикальный Мартини заявил, что выходит из парламента, который, „подобно свинцовой тяжест тормозит движение“ Учредительное собрание в Бадене отказало подчиняться постановлениям парламента-охвостья. И ко всему этому стар Иоганн во Франкфурте тоже зашевелился и потребовал у вюртембергско правительства принятия мер против парламента.

После того как министерство Ремера своим заявлением открыто п рвало с признанной в Вюртемберге имперской конституцией, оно ждало ли подходящего момента, чтобы разогнать собрание. Во Франции мог произой поворот в ходе дел, если бы партия Ледрю-Роллена одержала верх, и э несомненно отразилось бы на Германии. Необходимо было выждать событ

Собрание получало много адресов, союзы и собрания выражали с свои симпатии, национальная гвардия часто торжественно выстраивала

перед ним, но этим дело и ограничивалось. Ему приходилось странствовать из одного помещения в другое. В зале сословий ему отказали, оно заседало сперва в зале Кольба, а затем в манеже Фрица, зал которого демократические дамы Швабии постарались разукрасить на скорую руку. Морицу Гартману хотелось, чтобы вход в зал украшали пушки гражданского ополчения. „Но,—рассказывает он,—когда гражданское ополчение приступило было к исполнению этого желания, то оказалось, что правительство опечатало его имущество и конфисковало пушки!“

Когда из Парижа пришло известие, что восстание 13 июня потерпело неудачу, министерство Ремера решило нанести окончательный удар. Президент Леве-Кальбе получил бумагу, в которой ему сообщалось, что вюртембергское министерство не может долее терпеть „заседаний национального собрания и хозяйничанья имперских регентов“. Леве не отвечал. На следующий день, 18 июня, он получил от Ремера записку, предупреждавшую его о том, что против заседания национального собрания будут приняты „необходимые меры“.

Уланд предложил президенту собрать как можно больше членов и стройными рядами отправиться к месту собрания, „чтобы таким образом дать свершиться над собою насилию“ [1]). В 3 часа процессия депутатов двинулась в Казарменную улицу; во главе ее шествовали Уланд и Шотт, тесть Ремера, между ними президент. Улица была оцеплена войсками, в боковых улицах выстроена кавалерия. Великий мастер стратегического искусства генерал Миллер отдавал распоряжения. Когда процессия приблизилась к фронту войск, ряды их раздались и показался гражданский комиссар Каммерер с белым шарфом. Каммерер прерывающимся голосом заявил, что заседания парламента не могут быть долее терпимы, и затем опять исчез в массе солдат. Президент Леве-Кальбе воскликнул: „я заявляю“... но слова его были покрыты оглушительным барабанным грохотом, и этот стук барабанов лишил мир одного из многочисленных словесных „заявлений“, которые, по мнению парламента, должны были заменять дела.

„Штыки на перевес!“—раздалась команда пехоте, но последняя не решалась броситься на безоружных людей. Генерал Миллер крикнул президенту: „прочь!“ и скомандовал кавалерии выдвинуться из боковых улиц. „Штыки в дело! руби! руби!“ вновь прозвучала команда; сабли сверкнули в воздухе и скрестились над седой головой старого поэта, который в свое время пропел солдатам песнь про „славного товарища“ [2]). Но штыки все-таки не были пущены в ход, несмотря на то, что депутат Гюнтер, зять Роберта Блюма, в возбуждении разорвал свое платье и крикнул всадникам: „Ну, рубите же, если вы хотите убить представителя германского народа!“ Депутаты были оттеснены войсками; генерал Миллер

[1]) Странным образом дружба между Уландом и Ремером пережила даже разгон парламента.

[2] Так рассказывает штутгартский „Reobachter“. Старый Шотт непосредственно после того описывал нападение, произведенное на него по приказу его зятя Ремера: „Сабли звенели над нашими головами, и конница оттеснила меня от президента“.

сквозь лорнетку наблюдал эти бурные сцены. Депутаты двинулись обратно к отелю Маркwардт. Народ провожал их криками ура; пущена была в ход кавалерия, чтобы рассеять толпу на глазах у отделения гражданского ополчения, которое оставалось безмолвным и неподвижным свидетелем всего происходившего [1]).

В отеле Марквардта еще раз собрался парламент, но в виду его малочисленности постановления его не могли иметь законной силы. Тем не менее устроили совещание, и господин Шодер произнес здесь последнее слово, вошедшее в официальный протокол заседания: „Заседание закрывается“. Да, оно закрылось—навсегда!

Президент Лёве [2]) предложил депутатам собраться 25 июня в Карлсруэ. Но как раз в этот день пруссаки вступили в Карлсруэ, и большинство депутатов вместе с баденскими инсургентами бежали за границу. Из оставшихся многие преследовались и подвергались заключению, при чем отношение судов к бывшим депутатам зависело от мнения, которого придерживались суды насчет правомерности франкфуртской имперской конституции.

Два члена этого парламента были расстреляны по приговору военного суда: Блюм и Трюцшлер; двое были растерзаны разъяренной толпой: Лихновский и Ауэрсвальд. Многие заочно были приговорены к суровым наказаниям и даже к смертной казни, как, напр., Людвиг Симон из Трира и Раво; Лево-Кальбе, Генриху Симону и др. назначены были пожизненные каторжные работы [3]).

За печальным финалом германского парламента, финалом, вызванным его собственной слабостью, разыгралось еще одно, наполовину комическое, наполовину отталкивающее событие: собрание в Гота 25 июня, на котором сошлась „рота Гагерна“, чтобы обсудить положение дел. К участию в собрании привлечены были еще другие единомыслящие души. После трехдневного заседания при закрытых дверях появилась резолюция, гласящая, что франкфуртская конституция в настоящее время невозможна, и что поэтому народ должен принять конституцию трех королей, которая восприняла в себя ядро франкфуртской конституции: наследственность императорского сана. В таком роде подвизались Гагерн и компания, письменно обязавшиеся во Франкфурте на Майне твердо держаться имперской конституции, а теперь предлагавшие свои услуги прусскому правительству. Итак

---

[1]) Храбрые швабы разрушили зал заседаний собрания. Из черно-красно-золотых знамен, преподнесенных нежными руками демократок, солдаты делали себе портянки.

[2]) Барабанный бой, повидимому, произвел сильно импонирующее впечатление на господина Лёве, так как, вернувшись из изгнания, он вскоре стал таким пламенным почитателем прусского военного государства, что даже национал-либералы казались ему слишком оппозиционными.

[3]) Иоганн Якоби имел редкое мужество добровольно предстать перед судом в Кенигсберге, где сильно высоко поднимались волны реакции. Ему хотелось подать пример стойкости в это темное, мрачное время. Благодаря сокрушительной логике речи, произнесенной им в свою защиту, ему удалось добиться оправдания даже у столь тщательно „просеянного“ состава присяжных, какой заседал в кенигсбергском суде.

национал-либерализм, находящий удовольствие в лакействе и буквально навязывающий свои услуги сильным мира сего, не особенно нов. Собрание в Готе называют парламентским послесловием, и название „готский" превратилось в насмешку.

Народ, подавленный событиями, сделавшийся равнодушным и утративший всякие надежды на лучшее будущее под влиянием печального исхода всех освободительных движений и борьбы, стоившей столько жертв, народ, стонущий под двойным игом политической реакции и экономического разорения, совершенно не интересовался тем, что происходило в высших сферах. Обмен правительств нотами относительно „конституции трех королей" не интересовал никого, кроме самих правительств.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Поражение венгров.

Разлад между Кошутом и Гергеем, причины которого изложены выше, привел вскоре к самым гибельным последствиям; Гергей, ненавидевший правительство Кошута за то, что оно было республиканское, отыскивал поводы для неповиновения ему. Бедственное положение Венгрии не могло заставить этого огрубевшего эгоиста, отказаться от своих интриг, которые всегда шли наперекор планам и решениям правительства и ослабляли последнее. Правительство велело ему с 30-тысячной армией преследовать австрийцев из Коморна и двинуться к Вене, а 10 тысячами солдат окружить Офен; Гергей послал лишь 10.000 человек для преследования—собственно для наблюдения австрийцев—в Рааб. а сам с 30.000 осадил Офен. Осада этого города продолжалась до 21 мая, когда он был взят штурмом. Штурм удался лишь после третьего приступа, сопровождавшегося ожесточенной схваткой, во время которой был убит австрийский генерал Генци [1]).

Кошут, высказавший в письме к Гергею опасение, чтобы Офен не стал Мантуей Венгрии, 6 июня торжественно вступил вместе со всем правительством в освобожденный город. Но, несмотря на радость и ликование народа, Кошут не мог заблуждаться относительно того, в какое рискованное положение попала Венгрия. Австрийцы, которые с ужасом ждали вторжения венгров на Австрию, теперь получили возможность спокойно собирать свои силы.

Австрийское войско, численность которого достигла уже 80.000 человек, стояло в Вааге под предводительством Гайнау [2]). У Еллачича на юге Венгрии было 40.000 солдат, у Клам Галласа в Валахии 12.000. Приближалась также 140-тысячная русская армия. Этой военной силе венгерцы могли противопоставить 141.000 человек, но войска могли быть еще увеличены и, при быстроте действий, возможен был бы даже успех.

---

[1]) Правнук известного швейцарского демократа и заговорщика Генци казненного в 1749 году.

[2]) Этот грубый, но способный солдат был побочным сыном ландграфа Вильгельма IX гессен-кассельского, известного своей жестокостью и сделавшегося впоследствии курфюрстом Вильгельмом I. По своей жестокости Гайнау превосходно годился бы в монгольские предводители.

Правительство сообща с Гергеем составило план военных действий. С ленно надвигавшимися русскими пока что не хотели вступать в реши-ьную борьбу; лишь одному корпусу на верхней Тиссе поручено было рудиять им движение. Гергей же со всей остальной массой войска должен был ситься на австрийцев и в случае победы немедленно двинуться к Вене. отив Еллачича решили послать Бема. В случае поражения на верхнем пас Гергею предлагалось опереться на сильную крепость Коморн и оза-иться о привлечении подкреплений. Думали также в случае поражения нуться с сильной армией в Италию и отсюда с тылу напасть на Австрию [1]).

Гергей, которому план этот, повидимому, пришелся очень по вкусу, шешно направился в Коморн, чтобы атаковать австрийцев. Но удобный мент был уже пропущен; австрийцы были теперь слишком сильны. Прав-Гергею еще удалось произвести нападение и разбить небольшой австрий-ий корпус у Чорна. Но нападение его на встрийцев на острове Шютте имело успеха: 16 мая он был опрокинут австрийскими войсками, и армия спаслась только благодаря Клапке, коморнскому коменданту, который рыл ей отступление через Асподский мост. В то время, как русские не-ходили через венгерскую границу и всюду оттесняли венгерские войска, ргей потерпел еще одно поражение у Переда. 21 июня и Рааб был отнят венгров. Гергей написал в Пешт, что все потеряно; пусть оставят его на оизвол судьбы и пусть правительство ищет спасения в Гроссвардейне.

В эту опасную минуту Кошут обратился с воззванием, призывая к ссовому восстанию; повсюду должен был звучать набат, приглашая ждого здорового гражданина взяться за оружие. Военные силы решено ло сконцентрировать внутри страны. К Гергею посланы были генералы се и Аулих и министр Ксаний, чтобы убедить его отступить внутрь раны. Гергей хотя обещал, но не явился. Он вновь произвел нападение на стрийцев, и хотя ему удалось прогнать их из Ача перед Коморном, все его положение становилось все затруднительнее. Тогда, по приказанию шута, Гергей за свое непослушание лишился должности главнокомандую-его и на его место был назначен Мессарош. За Гергеем предполагалось тавить пост военного министра. Но Гергей, только что одержавший по-ду и раненый в битве, устроил так, что преданные ему офицеры, грозя змущением, „заставили“ его удержать команду над войсками и устранили приятное ему военное министерство. В тот критический момент правитель-во увидало себя вынужденным подчиниться.

К Гергею шло одно приказание за другим, чтобы он ушел из Ко-рна и отказался от своих губительных и упрямых попыток пробить ли-ю обладавших численным перевесом австрийских войск на правом берегу нав. Гергей не слушался. Из-за этого он поссорился даже с своим угом Клапкой [2]). 11 июня он еще раз перешел в наступление, которое

[1]) Последний план является уже продуктом чрезмерно возбужденной фантазии.

[2]) Кошут припи‑ывает генералу Клапке характер римлянина. Но впоследствии лапка должно быть утратил „римский“ характер иначе он вряд ли путался бы с исмарком в 1866 году.

окончилось тем, что после кровавого сражения он был оттеснен обратно под защиту коморнских орудий. Теперь, наконец, он решился отступить; отступление это могло происходить лишь по левому берегу Дуная, так как надвигающиеся полки русских угрожали отрезать линию отступления. В Коморне он оставил Клапку с 18.000 человек [1]).

13 июля Гергей отступил от Коморна; тем временем Кошут с правительством, рейхстагом и станком для печатания банковых билетов принужден был очистить Пешт. Город опять заняли австрийцы, и Гайнау грозил несчастным жителям убийствами и пожаром. Даже у полуиндейских гаучосов Южной Америки в их войнах не было столько свирепости и кровожадности, сколько в приказах, отдаваемых армии Гайнау.

Массовое восстание разливалось все шире и шире; все новые и новы группы, готовые к борьбе, спешили стать под венгерские знамена. Но пла венгерского правительства—создать концентрацию сил—не осуществился Гергею после нескольких схваток с русскими у Вайцена счастливо удалос совершить переход и, описав широкий круг, через Мисхольц достигнут Гроссвардейна. Перешедший опять к наступлению Еллачич 14 июля окол Гегьеса был обращен в бегство генералами Гюйоном и Феттером и оттесне далеко на юг, так что венгры могли укрепить осажденный австрийцами Пе тервардейн. Эта сильная крепость была на юге для венгров такой ж важной точкой опоры, какими являлись Коморн на западе и Арад на вс стоке.

Своевременно собрать все венгерские боевые силы в Сегедине, как эт ранее предполагалось, не удалось. Гайнау двинулся к Сегедину и занял ег 3 августа; рейхстаг, который в Сегедине провозгласил эмансипацию евреє бежал в Арад, завоеванный венграми. Лишь 2 августа русские, подвига шиеся очень медленно и понесшие вследствие нужды и болезней много п терь в негостеприимных областях Тиссы, пришли в Дебречин. Здесь фель маршал Паскевич, известный усмиритель польского восстания, с 60.000 а мией напал на венгерского генерала Наги Сандора, имевшего в своем ра поряжении лишь 10.000 человек. Гергей, стоявший поблизости, не двинул к нему на помощь, и Наги Сандор [2]) после геройской борьбы был разби на голову. Через два дня после этого Дембинский был разбит Гайнау п Сегеге и отброшен к Араду. Во время всех этих действий Гергей соверш бесцельные переходы и отдельные венгерские корпуса терпели поражени Гергей уже вступил тогда в переговоры с русскими, чтобы „выиграть вр мя", как выражались австрийцы [3]).

[1]) Даже австрийским военным писателям, которые—что очень характерно—ст новятся на сторону Гергея против Кошута, „недостаточно ясно", почему Гергей уходил из Коморна. См. составленный, очевидно, офицером, участвовавшим в похо „Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen des Jahres 1849".

[2]) Наги Сандор всегда утверждал, что Гергей сознательно желал погубить е и его корпус. Наги Сандор однажды открыто заявил, что тот, кто осмелится стремить к военной диктатуре, найдет в нем своего Брута. Конечно, Гергей это запомнил.

[3]) См. „Feldzug in Ungarn" стр. 409.

Тем временем Бем с переменным счастьем действовал в Трансильвании; в конце концов он был побежден соединенными силами русских и австрийцев. После того как русские под предводительством Людерса штурмом взяли проход „Красной Башни“, Бем 31 июля был разбит у Шессбурга [1]. У Германдштадта ему еще раз удалось принудить русских к отступлению, но он не мог устоять против численного превосходства австро-русской армии, был разбит на голову и с жалкими остатками своих войск явился 9 августа к Тамешвару, где соединился с Дембинским. К предстоящей решительной битве Гергей опять не явился: он находился в то время в Араде.

Храбро защищаемый австрийцами и страшно бомбардируемый венграми под предводительством Вечея, Темешвар был близок к падению; Дембинский. который получил приказ двинуться к Араду, хотел во что бы то ни стало, если бы не удалось отрезать австрийское подкрепление, увести вместе с собой осадный корпус. Свои запасные боевые припасы он уже отправил в Арад; сражения ему хотелось избегнуть, потому что войска его были совсем обессилены. Но Гайнау, который стремительно надвигался с сильным войском, делал все возможное, чтобы вовлечь осторожного Дембинского в сражение, Когда явился Бем и принял главную команду Кошут поручил ему команду над всеми войсками в банате (наместничестве),—тотчас началось сражение, ставшее решающим для судьбы Венгрии.

Между Бемом и Дембинским перед этим сражением произошла следующая любопытная беседа [2]:

Дембинский: „Что думаешь ты предпринять?“

Бем: „Дать сражение и пойти вперед; ты все время отступаешь, таким образом нас скоро выгонят из страны“.

Дембинский: „Войска измучились и изголодались во время неимоверно трудного перехода; наши кони отказываются служить. При таких условиях сражение должно повлечь за собой неизбежную гибель армии“.

Бем: „Для еды и для отдыха будет время после победы“ (приказывает артиллерии взять пушки на передки).

Дембинский (вкладывая саблю в ножны): „Прощай, Бем!“

Бем: „Но ты ведь не покинешь меня теперь; я думал поручить тебе командование правым крылом“.

Дембинский: „Неси ты один ответственность за то, что ты делаешь“.

Австрийцы рассказывают, будто появление Бема подняло дух среди венгров, возродило их доверие к своим силам, и это вылилось в самые неожиданные формы.

---

[1] Во время этой битвы пропал без вести знаменитый венгерский поэт Петефи, бывший адъютантом у Бема. Жена его, не откладывая дела в долгий ящик, вышла замуж вторично. Нужно надеяться, что он нашел смерть в бою, которую он так настойчиво призывал в одном из своих стихотворений, а не сгнил в каком-нибудь сибирском руднике.

[2] См. „Chronik der Magyaren“ Филиппа Корна, капитана немецкого легиона т. II: „Русские в Венгрии и венгры в Германии“.

У венгров было 50.000 человек и 120 орудий, у австрийцев и русских—70.000 человек и 150 орудий.

Бем, прославившийся блестящими действиями своей артиллерии при Остроленке, начал атаку страшным артиллерийским огнем и привел в смятение австрийские колонны. Затем он начал окружать австрийцев. Венгерская кавалерия, с отчаянно-смелым Гюйоном во главе, диким напором смяла левое крыло австрийцев; в центре русские и австрийцы отступали перед адским огнем венгерских орудий. Бем послал уже курьера в Арад с вестью о победе. Но как раз в критический момент у венгров вышли все боевые припасы: все снаряды и все запасные материалы были отправлены в Арад. Бем велел привезти обратно боевые припасы, но их еще не было. „Постарайтесь держаться до прибытия снарядов", крикнул он командующему артиллерией. Но боевые припасы не являлись, зато явился к австрийцам на помощь князь Лихтенштейн, и это решило исход сражения. Лихтенштейн привел в порядок опрокинутое левое крыло австрийцев и отбросил венгерскую кавалерию. Храбрые гусары не в состоянии были выдержать теперь этого столкновения: они были переутомлены, голодны и у коней их беспрестанно подкашивались ноги „По глотку вина на гусара—и Венгрия была бы спасена", вздыхал Гюйон. Гайнау скомандовал наступление по всей линии; неприятельские массы опрокинули венгерцев, они потерпели полное поражение и бросились врассыпную. Темешвар был освобожден.

9 августа знаменует конец венгерского восстания. До сих пор борьба велась с честью: войска уступали подавляющей силе. Теперь предстояло пережить позор.

Кошут тщетно взывал к европейским державам о помощи против русских. Беспрепятственный пропуск русских через область Пруссии доказывал, что среди держав царствовало единодушие: все они видели угрозу в победах Венгрии. Кошут поручил теперь своим послам за границей говорить не о „старых правах" или „гуманности" или „цивилизации". „Сообщите о том,—писал он,—что здесь совершается ежедневно, и пусть это послужит предостережением для народов запада, потому что после нас очередь придет за ними. Сообщите, что русские не несут ничего, кроме разрушения, что они уничтожают поля, что они грабят и избивают даже женщин и безоружных мужчин. И прежде всего сообщите, что они входят в мирные и освященные места с факелом пожара и все, что встречается на пути, превращают в пепел..."

Но европейская дипломатия, холодно улыбаясь, прислушивалась к этим воплям. Державы спокойно предоставляли русским водворять порядок в Венгрии. Однако по строгости мер русским не уступал и Гайнау.

Слова Кошута еще и теперь звучат, как грозное предостережение. Горе народам Запада, если очередь, действительно, придет и за ними. Тогда они жестоко будут отомщены за то, что поляки и венгры остались покинутыми в своей борьбе против московитов, и горькое раскаяние вместе с германскими казаками почувствуют те ослепленные буржуазные рес-

убликанцы на Сене, которые не стыдятся, в угоду своим шовинистическим упостям, брататься с мастерами кнута.

В Араде вожди венгерского восстания в последний раз собрались на оенный совет. Хотя от Бема и получилось ободряющее письмо, в котором н извещал, что намерен вместе с Гюйоном вновь собрать разбежавшиеся олки, и что в общем положение дел не безнадежное, в действительности енгерское дело было проиграно и у правительства в этот критический омент не было другой опоры, кроме Гергея. Правительство приказало ергею помочь в собирании бежавших, но Гергей и тут не счел нужным овиноваться и скомандовал отступление за Марош, покинув остальных в у ужасную минуту на произвол судьбы. Увидев, что в распоряжении правительства" нет больше никаких сил, он стал выступать как диктатор. еперь он больше не стеснялся явно обнаруживать свою ненависть к ошуту. „Если бы у меня поблизости была сила, которую я хотя бы для идимости мог ему противопоставить, то я собственными руками хватил бы его перед фронтом или дал бы себя разрубить куски. Но я был один, хуже чем один",—так писал впоследствии Кошут з Виддина.

Решено было уполномочить Гергея вести переговоры с русскими; сновным условием при этом должно было быть сохранение венгерской онституции. Но Гергей отклонил полномочия, предложенные ему в такой орме, и потребовал письменного отречения правительства и военной диктатуры для себя. Так ничтожна была душа этого во многих отношениях ыдающегося человека, что он не в состоянии был обуздать своего честолюбия даже в минуту агонии независимой Венгрии. Кошут пережил тяжелую нутреннюю борьбу. Товарищи его уговаривали уступить Гергею. „Если бы не согласился,—говорил он,—и родина моя погибла, то имя мое в истории, уша моя всю остальную жизнь запятнаны были бы мыслью, что, может ыть, Гергею удалось бы что-нибудь спасти для отечества, и что лишь порство, с которым я держался за мою власть, помешало этому".

Таким образом решено было вручить Гергею военную диктатуру. Эта тчаянная мера опубликована была Кошутом в Арадской прокламации от 1 августа; в прокламации говорилось, что ожидать чего-нибудь теперь ожно только от генерала, стоящего во главе армии. Вручая генералу ергею высшую военную и гражданскую власть, он в то же время делает го ответственным перед Богом, перед нацией и перед историей том, что он эту власть по мере всех своих сил употребит на спасение ациональной и государственной самостоятельности своего бедного отечества.

После этого Кошут отправился к остальной части войска, и когда он ерез некоторое время увидел, что все проиграно, он бежал к турецкой ранице. Уже после удаления Кошута Гергей послал ему требование выдать му корону святого Стефана. Но Кошут не дал ему знаков императорского остоинства, а закопал их в землю недалеко от Орсовы, где они в 1853 году айдены были австрийцами. Этот фетишизм по отношению к короне святого

Стефана является одной из самых характерных черт мадьярского национализма.

Гергей принял диктатуру только для того, чтобы закончить свое дело,—дело уничтожения Венгрии. В своей прокламации он говорил, что хочет уменьшить жертвы, устранить преследования, жестокости и убийства. Его совет гражданам—спокойно вернуться к частной жизни, не вмешиваться в дело сопротивления и в сражения. Какова ни будет воля Божья, следует нести судьбу с мужественной решимостью.

Исключение граждан от участия в деле, в особенности же обращение к Богу и смиренный тон явились прекрасным вступлением к дальнейшим событиям.

Еще в тот же день, 11 августа, Гергей написал русскому генералу Рюдигеру и вызвался „безусловно" сдать оружие, но только русскому войску. Гергей писал, что вверяется прославленному великодушию царя [1]), но предпочитает погибнуть в отчаянной битве, чем допустить безусловную сдачу австрийской армии. Он вызвался отправиться в Вилагос, чтобы русские там оцепили его и отделили от австрийцев.

Паскевич, который еще 8 августа оборвал свои переговоры с Гергеем, требуя безусловной сдачи, был теперь удовлетворен. Он принял предложение Гергея, и армия последнего 13 августа в Вилагосе сложила оружие. Сдавшихся было 23.000 человек с 130 орудиями. Крепость Арад с комендантом Дамьяничем во главе тоже сдалась русским. Паскевич писал царю: „Венгрия лежит у ног Вашего Императорского Величества".

Австрийцы слишком поздно явились в Вилагос.

После вилагосской капитуляции один за другим сдавались все отдельные корпуса венгерцев. Большинство вождей были настолько предусмотрительны, что спаслись вместе с Кошутом в Турцию: таковы Бем, Дембинский, Феттер, Гюйон и Перчель. Они предчувствовали, что их ждет виселица, если они попадут в руки австрийцев. Нашлись и изменники. Венгерский министр финансов Душек бежал к австрийцам с венгерской государственной казной, заключавшей в себе несколько миллионов гульденов золота и серебра. Этой суммой он откупился от виселицы. Зато венгерские эмигранты в Турции остались почти совсем без средств.

В войске Гергея распространены были такие же иллюзии, как и среди раштаттского гарнизона. Войска были того мнения, что Гергей обеспечил им защиту русских и, что можно будет свободно вернуться на родину. Многие даже думали, что Россия теперь обратит свое оружие против Австрии чтобы завладеть Венгрией. Предположение, что в бессмыслицу эту верил и Гергей, мало вероятно, хотя он и потребовал корону Стефана у Кошута.

В уже упомянутой австрийской работе [2]) говорится по этому поводу:

Возможно ли, чтобы такие заблуждения возникали и пользовались всеобщим доверием в армии без ведома и желания вождя; возможно ли

[1]) Не поляки ли, подавленные Николаем, прославляли ему это великодушие?.

[2]) Fe dzug in Ungarn etc., стр. 416.

:обы они упорно держались, не будучи им вызваны и поощряемы? ротив воли приходится присоединиться к господствующему среди эгров мнению, будто Гергей сам—вследствие ли близорукости в делах олитики или упрямства и гордости—стремился поддерживать заблуждение своей армии; таким образом он сознательно старался склонить ее к капитуляции перед русской армией, чтобы спасти этим хотя бы собственную жизнь от заслуженной смертной казни; конечно, этественно было предположить, основываясь на великодушии противников, то по отношению к преступлению человека, подавшего пример покорности, удет проявлена снисходительность".

Так рассуждает императорско-королевский австрийский офицер.

Сам Гергей на обвинение в измене, которое после вилагосской капитуляции постоянно подымалось против него, в 1867 году отвечал следующим бразом:

„Вы утверждали и утверждаете еще и теперь, что капитуляция в Зилагосе была актом измены. Ваше утверждение ложно: та катастрофа ыла лишь конкретным, потрясающе верным выражением стинного положения вещей".

Последнее бесспорно. Но в создании такого положения ещей виноват Гергей своим поведением по отношению к венгерскому равительству.

То, что он сделал, не было изменой в обычном смысле слова; обвинение в подкупе — бессмыслица. Но преступление его заключается в том, что он из тщеславия, из мелочной ненависти, из узких предубеждений против демократических и республиканских стремлений способствовал поражению своего народа; такова лежащая на нем вина, и этой вины Венгрия не простила ему до настоящего времени.

Конечно, взятые венгры были выданы русскими свирепому Гайнау.

Однако оргия мести еще не могла начаться; на стенах Коморна еще развевалось венгерское знамя, здесь еще командовал храбрый Клапка, в то время как Петерварцейн уже сдался. Гергей написал Клапке 16 августа письмо и пытался в нем оправдать свое поведение: „До сих пор с нами обращались так, как этого могли ожидать храбрые солдаты от храбрых солдат. Взвесь, как ты можешь и должен поступить" [1]. Так писал Гергей в этом письме, но Клапка не пожелал сунуться в петлю. Он разбил слабый осадный корпус, усилил свое войско и собирался теперь броситься в Австрию. Кошуту он написал, что количество войска, которое он может выставить во время сражения, может быть доведено им до 30 тысяч, что, по сообщениям русских генералов, Гайнау и Паскевич боятся зимы и что, следовательно, война должна быть продолжена до этого времени. Но тут как раз подоспела весть о событии в Вилагосе, и мысль о походе в Австрию пришлось оставить.

---

[1]) Клапка, в мемуарах которого находится это письмо, заявляет, что все другие письма Гергея к нему, появлявшиеся в периодической прессе, выдуманные.

Клапке, осажденному австрийцами, до 27 сентября удалось противостоять силе и хитрости и он уступил крепость не ранее, как выговорив свободный пропуск для себя и для своего войска. 2 октября храбрые коморнские войска сложили оружие; пал последний венгерский бастион.

Теперь вся Венгрия была объявлена на осадном положении, и начали свои действия военные суды. Тюрьмы быстро наполнялись, и потянулся длинный ряд процессов. После русских и австрийских свирепостей и варварства, проявленных во время войны[1], „гиэна Бресчии" бросилась на пленных вождей восстания. Военные суды массами выносили смертные приговоры; жадная австрийская казна с радостью конфисковала имения осужденных, среди которых было очень много богатых помещиков. Кровожадная камарилья была очень огорчена тем, что много мятежных голов спаслось в Турцию, Австрия и Россия требовали у последней выдачи беглецов; некоторые из них, как, например, Бем и Гюйон, перешли в магометанство. Но великий турок Абдул Меджид посрамил „христианские" державы, ответив им, что его религиозный долг не позволяет ему выдавать беглецов. Посредничество Англии и Франции было в пользу Порты. Эмигранты отправились в глубь Турции. Кошут оставался некоторое время в Малой Азии и затем увезен был американским пароходом. Никогда больше не вступал он на венгерскую землю, хотя на всю жизнь остался самым чтимым из мадьяр.

С тем большей яростью Гайнау бросился на жертвы, оставшиеся в руках его клевретов. В Пеште возмутительным приговором был присужден к смертной казни граф Баттиани. 6 октября он должен был быть повешен. Жене его удалось передать ему ночью нож, которым он ранил себя в шею. Поэтому он был не повешен, а „только расстрелян". Гайнау пришел в ярость от того, что Баттиани избег виселицы. В тот же день—день этот был выбран, вероятно, потому, что он был годовщиной смерти Латура,—в Араде тринадцать самых храбрых людей Венгрии, все высшие офицеры, по приговору военного суда были преданы смерти. Девять из них—Аулих, Вечей, Терек, Ланер, Пельт фон-Пельтенберг, Наги Шандор, Кнецих, Лейнинген и Дамьянич—были повешены на девяти виселицах один за другим и один подле другого; остальные четверо—Кисс, Лазар, Дессевфи и Швейдель—были „только" расстреляны. Это были жертвы, сдавшиеся вместе с Гергеем. Гергею назначен был местом жительства Клагенфурт. Он один из всех взятых вождей избег виселицы и пули. Гергей никогда больше не выступал в роли общественного деятеля.

10 октября в Пеште были повешены министр Ксаний и барон фон-Еченах. Позже в Пеште повесили еще: президента венгерской палаты господ Зигмунда

[1]) Вот маленькое извлечение из уже много раз упомянутого сочинения австрийского офицера. Во время борьбы в одном комитете Фюнфкирхен, занятый венгерским ополчением, был взят приступом. „Ополчение,—говорится здесь,—обратилось в отчаянное бегство, многих бежавших догнали и большинство из них было тут же подвергнуто казни".

Перения, депутата Сачвая, советника финансов Черннуса, князя Воронецкого, затем Гиропа и Абанкура.

Все это лишь наиболее известные имена. Всюду в Венгрии назначались жестокие наказания: лишали жизни, бросали в ужасные австрийские темницы, подвергали мужчин и женщин телесному наказанию, иногда публичному сечению [1]). Множество состояний было конфисковано и более 50.000 венгерцев были отданы в австрийскую армию в качестве рядовых.

Крик возмущения пронесся по всей Европе; участие к несчастным венгерцам было потому, в роятно, так необычайно сильно, что большинство жертв принадлежало к венгерской аристократии. Беднота вряд ли возбудила бы к себе столько внимания. Но от сочувствия дело не изменялось.

Гайнау пришлось подвергнуться впоследствии в Лондоне и Брюсселе народной мести в очень мягкой, однако, для него форме: он был встречен толпой, состоявшей главным образом из английских матросов и доковых рабочих.

В то время как, истекая кровью, падала несчастная Венгрия, исчезали одно за другим знамена свободы из своих последних убежищ. Бонапарту, главе французской псевдо-республики, удалось организовать крестовый поход против римской демократии, и 3 июля Рим, геройски оборонявшийся под предводительством Гарибальди более двух месяцев, был сломлен французско-неаполитанско-испанской коалицией. Папа водворен был на место, и все, что мало-мальски напоминало республику, безжалостно попиралось ногами. Венеция, храбро защищавшаяся под командой диктатора Манина и задерживавшая всю армию Радецкого, капитулировала 23 августа под условием свободного пропуска всех своих защитников; после этого „порядок“, т.-е. старый реакционный режим, был восстановлен и во всей Италии.

---

[1]) В английском парламенте во время заседания 7 февраля 1850 г. следующее сообщалось как факт: „Две венгерские дамы, дочь раабского епископа Гаубнера и госпожа Мадерспах из Русберга были публично высечены“. Последняя писала: „я еще в состоянии была написать эти строки, не умирая от стыда; но муж мой не мог пережить позора: выстрелом из револьвера он лишил себя жизни“ (из мемуаров Клапки, стран. 353).

Заключение.

Мы видели, как зародилось германское народное движение 1848 и 1849 гг., как оно развивалось и потерпело крушение. Позднейшие события — время реставрации, когда реакционные силы старались по возможности восстановить старый порядок, — уже выходят из рамок настоящего изложения. Закулисная работа господ за зелеными столами потребовала бы дальнейшей работы.

Мы хотим только вкратце указать, каким образом ход событий в конце-концов вернулся к своей исходной точке, к союзному сейму. Союзному сейму, который республиканцы предварительного парламента так надменно называли трупом, суждено было еще раз воскреснуть и просуществовать еще 15 лет.

Прусская конституция трех королей разбилась о сопротивление Австрии, и дуализм между Веной и Берлином стал проявляться гораздо резче после того, как, подавив революцию, Австрия и Пруссия утратили значительную долю своих общих интересов. Народ потерял всякий интерес к этой низкой игре дипломатических интриг. Сначала Австрия и Пруссия сделали попытку уладить разногласия, назначив центральную комиссию сейма из двух австрийских и двух прусских уполномоченных. Центральная комиссия отстранила, наконец, и имперского правителя Иоганна—эту комичную развалину,—который, не обращая ни на что внимания, произвольно держался на своем посту вместе со своими министрами и писцами [1]).

Пруссия заставила допотопный эрфуртский парламент признать свою конституцию трех королей, при чем примкнувшие к ней государства должны были титуловаться „германской унией". Готцы, содействуя этому делу, взяли на себя роль добровольных лакеев, но новая конституция оказалась нежизнеспособной, так как Австрия, сумевшая своим дипломатическим давлением отклонить одно государство за другим от вступления в унию, созвала чрезвычайное собрание союзного сейма во Франкфурте для „пересмотра союзной конституции". Таким образом Австрия и Пруссия заняли по отношению друг к другу явно враждебные позиции. Народ не хотел ничего слышать ни о прусском, ни об австрийском главенстве над Германией: воспоминание о событиях в Берлине, Дрездене, Бадене и Венгрии были еще слишком свежи в его памяти.

---

[1]) Среди имперских писцов находился также господин Эхельгейзер, который в своих мемуарах сообщает небезынтересные вещи из своих наблюдений. Он рассказывает, что бурный 1848 год вдохновил великого патриота Эхельгейзера к избранию карьеры имперского писца, и при этом им обнаружено было столько стойкости, что он не покидал этой карьеры, пока имелось хоть какое-нибудь местечко.

Пруссия противопоставила франкфуртскому конгрессу конгресс государей германской унии, который происходил в Берлине и учредил даже министерство унии с Радовицем во главе. Австро-прусская рознь еще более обострилась, пока, наконец Австрия открыто не заявила о своем намерении восстановить старый союзный сейм. Все германские союзные государства были приглашены послать своих депутатов ко дню открытия возрождающегося старого союзного собрания—1 сентября 1850 года—во Франкфурте.

Уния или союзный сейм—таковы были лозунги, которые разъединяли партии в германском вопросе. Прусский юнкер Радовиц стоял за унию, так как надеялся, что таким образом он даст толчок тому процессу, который в конце концов растворит большую часть Германии в Пруссии. Зато Австрия, которая в преследовании своих реакционных целей всегда проявляла больше последовательности, с большим упорством добивалась восстановления союза в его домартовском виде, рассчитывая обеспечить этим себе старое влияние на ход политических дел в Германии.

Коституционные смуты в Кургессене и шлезвиг-голштинский вопрос едва не довели старый спор двух держав до военного столкновения. Австрия, став на сторону печального насильственного режима Гассенпфлуга в Кургессене, доказала этим, что ее государственные деятели ничего не забыли и ничему не научились, но Пруссия протестовала против этого вмешательства Австрии—или созванного ею во Франкфурте собрания—в кургессенские дела и выговорила себе право участия в разрешении этого конфликта. Дело зашло так далеко, что обе стороны двинули свои войска в Гессен-Кассель. К счастью, все это было не настолько серьезно, чтобы довести немцев до взаимного кровопролития. Единственной жертвой этой невинной войны был знаменитый белый конь, павший при Бронцелле.

Из шлезвиг-голштинского дела Пруссия постаралась выпутаться как можно скорее. Она заключила мир с Данией и оставила шлезвиг-голштинцев на произвол судьбы. Европейская дипломатия высказалась в Лондоне за то, чтобы датская монархия была восстановлена в том же составе, какой она имела до войны. Шлезвиг-голштинцы, предоставленные исключительно своим силам, были побеждены после храброй борьбы. Тогда Австрия и ее сторонники выступили с утверждением, что берлинский мир между Пруссией и Данией может быть санкционирован только вновь восстановленным союзным сеймом. Пруссия протестовала против этого.

Господин фон-Радовиц отчаялся в осуществимости своих планов и отстранился. Его место заступил Мантейфель, который весьма быстро устроил соглашение с Австрией. По ольмюцскому договору, в составлении которого сыграла свою роль Россия, Пруссия должна была отступить перед Австрией; Пруссия принуждена была предоставить Австрии свободу действий в Кургессене и Шлезвиг-Голштинии. Затем было постановлено, чтобы устраивались свободные конференции с участием всех германских правительств. Конференции эти должны были регулировать кургессенский и шлезвиг-голштинский вопросы, а также обсудить будущую союзную конституцию.

Это ольмюцкое соглашение прусские либералы часто называют „позором“. Мы, конечно, не имеем никаких оснований восхищаться государственной деятельностью Мантейфеля или хоть сколько-нибудь сочувствовать ей, но нам кажется, что вопли либералов по поводу ольмюцкого позора отчасти вытекают из мании величия. Разве в крушении планов унии господина фон Радовица действительно заключалось такое страшное несчастие для немцев? В сущности было довольно безразлично, играл ли первую роль Шварценберг в Вене или Радовиц в Берлине, так как оба они в одинаковой степени являлись выразителями реакционной политики, и германский народ, который незадолго перед тем попытался было снизу создать себе свободу и объединение, мог только желать, чтобы одинаково рушились и австрийские и прусские проекты.

По кургессенскому вопросу резолюция свободных конференций заседавших в Дрездене, была, конечно, в пользу Гассенпфлуга, и протестующие гессенцы с их „пассивным сопротивлением“ были обузданы весьма быстро. В Шлезвиг-Голштинии союзные войска взялись за обезоруживание местной армии. Это печальное событие заставило немецких филистеров пролить гораздо больше слез, чем потеря всех мартовских завоеваний. Впрочем, это были такие же крокодиловы слезы, как и те, которыми немецкие патриоты сопровождали публичную продажу с молотка жалкого „германского флота“; поденщики и портнихи в свое время несли сюда свои крейцеры и гроши, в то время как патриоты, располагающие капиталами, не давали ничего или лишь очень мало [1]).

На дрезденских конференциях была, наконец, вновь принята старая союзная конституция с тем дополнением, что Австрия в полном составе вступает в союз. Союзный сейм был восстановлен точь-в-точь в таком же виде, какой он имел до 1848 г. С присоединением к нему Пруссии уния прекратила свое существование.

Круговорот завершился.

Масса народа осталась совершенно безучастной, когда Союзный Сейм, за три года перед тем сметенный напором революции, воскрес во всей своей домартовской прелести. Для крестьян было совсем безразлично, какой вид имела союзная конституция; при революции они находились в наиболее благоприятном положении, потому что все старались снять с них сохранившиеся от средних веков тяжести или приступить к их выкупу. Крестьянин был фанатиком „порядка“ в большей мере, чем сделался таковым мещанин. Рабочие чувствовали себя обманутыми; они принесли все жертвы делу свободы, понимаемому в буржуазном смысле, и были сурово отброшены и раздавлены, когда стали ожидать от государства и общества хотя бы некоторого облегчения их нужды. Революционные буржуазные элементы, поскольку они не пали в свалках битв или не были постигнуты военными судами, находились в тюрьмах или в изгнании. Обыватели были запуганы „красным призраком“ и в глубине души далеко не отрицательно относились

---

[1]) Единственное воспоминание, которое осталось от печального образа немецкого флота, это было жалованье в 1.000 талеров, которое германский народ должен был ежегодно выплачивать господину Вильгельму Иордану за его заслуги... перед мореплаванием.

ысли о „сильном“ правительстве сабли. Либеральная буржуазия, которая аружила такую беспринципность во всем движении, теперь в парламентх учреждениях оказывала слабое и совершенно безрезультатное сопроление подавляющей реакции и мало-по-малу, за малыми исключениями, чинялась господствующим течениям. Движение 1848 года создало больі простор для буржуазной эксплоатации рабочей силы и, раз повышаь предпринимательская прибыль, либеральные капиталисты очень легко шались при утрате бумажных свобод.

Мы видели, как движение потерпело крах вследствие противоречий, екавших из классовых интересов. Этого не могла понять побежденная ократия; она думала, что все погибло благодаря сопротивлению государ. Пример Франции не вразумил ее, хотя там разыгралась та же драма, в Германии, и реакция разразилась с такой же неудержимой силой. Разца только в том, что во Франции классовые противоречия доразвились до ьшей резкости. В первой стадии движения даже в Пруссии королевская сть не оказывала сопротивления. Оно почувствовалось лишь с того вреи, как короли „настрочили“.

Даже после того, как реакция повсюду взяла верх, господствующие ы признавали необходимыми различные уступки „духу времени“. Этот х времени“ был выражением совокупности изменений, произведенных революцией в Германии. „Клочек бумаги“ о котором Фридрих Вильгельм IV орил, что он никогда не станет между ним и Богом, тем не менее полся и протеснился между небесной и земной властью. Написанное на нем соответствует тому, чего требовали наши отцы в мартовские дни, но великая ремена заключается уже в том, что бумага вообще существует. Эта перемена служила новым и неиссякаемым родником политической жизни, в которой ацы могут использовать опыт, приобретенный ими в 1848 году.

Четырнадцать лет спустя после мартовских дней на арене борьбы полся человек, который, по его мнению, разрешил германский вопрос „кровью железом“. Положение, которое нашел он, было благоприятнее, чем при довице с унией последнего; выбросив Австрию из Германского союза, он виде Северного союза возродил унию. Как видно из истории 1848 года, смарк не принес ни одной новой идеи; даже всеобщее избирательное право, значение которого, вероятно, впервые указал ему Лассаль, он взял, как он м говорил, „со стола, на котором его оставил франкфуртский парламент“. уществляя трактирные грезы германского либерализма, он, несомненно, рассчитывал, что этот либерализм удовольствуется внешней формой своего идеала будет равнодушен к содержанию; на этот счет дебаты в церкви Павла были статочно поучительны для него. Победив Наполеона III и устранив вмешальство французов во внутренние дела Германии, он привел к тому, что та сть Германии, которая осталась по исключении Австрии, растворилась в руссии, и в новой имперской конституции перевес Пруссии признан даже рмально. Таким образом он осуществил лишь то, чего требовали архиеодальные прусские юнкеры 1848 года, когда они яростно протестовали отив конституционной работы франкфуртского парламента. Но он изукрасил

новую историю некоторыми не имеющими серьезного значения либеральными учреждениями и либерализму, который сослужил ему свою „готскую“ служб бросил кость „культуркампфа“, которую либерализм глодал до полного изн можения. Эти несчастные национал-либералы и до сих пор не уразумели т жалкой роли, которую они сыграли в новейшей германской истории, ина они не могли бы теперь, после его падения, чествовать, как „Геркуле нашего столетия“, человека, который бросил им эту кость.

Бисмарк уничтожил обломки старой демократии, за исключением н скольких остатков; „прогрессисты“ и „свободомыслящие“ были и остают лишь выцветшей копией людей демократических бурь и натиска 1848 1849 годов. Зато Бисмарк открыл эпоху милитаризма и теплично-стрем тельного накопления миллионов, в которой нет места даже окончатель полинявшим иллюзиям национал-либерализма.

Но это создание Бисмарка не в силах остановить великий процесс с временного социального развития. Точка зрения архи-прусского юнке который видел в южной Германии только объект завоевания, сделалась такой же мере невозможной, как и точка зрения тех южно-германских па тикуляристов, которые смешивают прусский народ с прусскими бюрократа и ожесточенной ненавистью встречают каждого пруссака. Поскольку герм ское единство оказалось жизненным, оно сделалось таковым не благода той смирительной рубахе, которую Бисмарк надел на немцев, а благода громадным преобразованиям, созданным новой эпохой. Современное круп производство не допускает, чтобы обмен тормозился внутренними рогатка

Из великого процесса капиталистической эпохи, расслояющего об ство, так как он экспроприирует огромные трудящиеся массы и отдает бог ство и власть немногим привилегированным, возникло современное социаль движение, открывающее в существующей форме производства источник че веческого рабства. Эксплоатация человеческой рабочей силы собственника средств производства обусловливает в настоящее время зависимость широ массы. Свободы ищут в наст ящее время на путях устранения таких от шений, а не посредством бумажных параграфов конституции.

Для известных буржуазных партий, которые, запуганные красным п зраком, видят в социализме только „переворотные стремления“ мы св изложением дали возможность вспомнить, как их собственные отцы с о жием в руках восставали против господствующих властей.

Мы живем в эпоху иного рода преобразования, вызываемого капи лизмом, который сам себе роет могилу, и мы не думаем, чтобы это преоб зование стало развертываться по шаблону буржуазных революционе Эпоха баррикадной борьбы миновала.

Но движение 1848 и 1849 годов составляет эпоху в германской истори понимание целей и отголосков этой эпохи, на наш взгляд, важнее для совре ника-немца, чем точное представление об успехах игольчатого ружья или о роических деяниях „культуркампфа“,—„борьбы за культуру“ против Рима.

Потому-то мы и сделали попытку дать картину этого движения.

Приложения.

I.

Прокламация прусского короля от 21 марта 1848 года.

Моему народу и германской нации!

Тридцать пять лет тому назад, в дни великой опасности, с доверием обра-лся король к своему народу, и его доверие не было обмануто; король, в союзе своим народом, спас Пруссию и Германию от позора и унижения.

С доверием говорю я теперь, в момент, когда отечество находится в вели-йшей опасности, к германской нации, к благороднейшим племенам которой жет с гордостью причислить себя мой народ. Германия охвачена внутренним ожением, и с разных сторон ей угрожают внешние опасности. Спасение от ой крайней двойной опасности может принести только теснейшее объединение рманских государей и народов под единым руководством.

Теперь, в дни опасности, я беру на себя это руководство. Мой народ, не рашась опасности, не оставит меня, и Германия с доверием последует за мною. годня я усвоил старые германские цвета и стал вместе с моим народом под по-тное знамя Германской империи. Отныне Пруссия растворяется в рмании.

Средством и законным органом для того, чтобы в союзе с моим народом эствовать к спасению и успокоению Германии, является созываемый на 2 апре-ландтаг. Я намерен в форме, которая ближайшим образом будет определена замедлительно, дать возможность государям и сословиям Германии возмож-юсть составить вместе с органами этого ландтага общее собрание.

Временно создаваемое таким образом германское собрание сословий путем щего свободного обсуждения незамедлительно придумает все необходимое среди щих внутренних и внешних опасностей.

В настоящее время необходимо прежде всего:

1. создание общего германского национального союзного войска,
2. объявление вооруженного нейтралитета.

Такое вооружение отечества и объявление внушат Европе уважение к свя-юсти и неприкосновенности области германского языка и германского имени. олько солидарность и сила могут в настоящее время охранить мир в нашем экрасном общем отечестве, процветающем благодаря торговле и промышлен-эсти.

Одновременно с мерами предотвращения теперешней опасности германское эбрание сословий подвергнет обсуждению вопрос о возрождении и основании эвой Германии,—единой, но единообразной Германии, единства в различиях, диства с свободой.

Повсеместное проведение истинно-конституционного устройства, с ответ-твенностью министров во всех отдельных государствах, публичное и устное

судопроизводство, опирающееся в уголовных делах на суды присяжных, равные политические и гражданские права для всех религиозных вероисповеданий и истинно-народное, свободное управление только и будут в состоянии создать и укрепить такое прочное и глубокое единство.

Берлин, 21 марта 1848 года.

Фридрих Вильгельм.
Граф Арним. Фон-Рор. Граф Шверин.
Борнеман. Фон-Арним. Кюне.

II.

Прокламация короля от 22 марта 1848 года.

Относительно народного представительства и т. д.

После того, как я обещал конституционное устройство на самой широкой основе, моя воля—издать народный избирательный закон, который способен создать представительство, покоящееся на первичных выборах, охватывающее все интересы народа, без различия религиозных вероисповеданий, и предварительно передать этот закон на заключение соединенного ландтага, быстрый созыв которого я, основываясь на всех доселе поступивших ко мне предложениях, считаю всеобщим желанием страны. Я действовал бы решительно против этого проявившегося доселе желания страны, если бы, в соответствии с вашим предложением [1], захотел издать новый избирательный закон без опроса сословий. Поэтому, как говорит мне доверие к вашей лояльности, вы убедитесь сами и сумеете убедить своих доверенных, что, пока к тому не присоединится всеобщее желание страны, я не могу согласиться на ваше упомянутое выше предложение.

Затем, согласно с моими уже сообщенными решениями, в это новое представительство германского народа, имеющее создаться указанным способом, будут внесены следующие предложения:

1. об обеспечении личной свободы;
2. о свободном праве союзов и собраний;
3. о всеобщей организации гражданского ополчения со свободным избранием командующих;
4. об ответственности министров;
5. о введении судов присяжных по уголовным делам, особенно по всем политическим делам и проступкам в печати.
6. о независимости судебного сословия;
7. об уничтожении судебных изъятий помещичьих судов и помещичьей полиции.

Кроме того я предпишу постоянному войску принять присягу новой конституции.

Берлин, 22 марта 1848 года.

Фридрих Вильгельм.
Граф Арним. Фон-Рор. Граф Шверин.
Борнеман. Фон-Арним. Л. Кюне.

---

[1]) Имеется в виду предложение депутаций Бреславля и Лигница издать избирательный закон без опроса соединенного ландтага.

III.

Конституция Германской империи.

(Принята германским учредительным национальным собранием.)

ОТДЕЛ I. ИМПЕРИЯ.

Статья 1.

§ 1. Германская империя состоит из территории прежнего германского союза.

Урегулирование отношений герцогства Шлезвига отлагается на будущее время.

§ 2. Если какое-либо германское государство имеет общего с негерманским государством главу государства, то германское государство должно иметь отдельную от негерманского государства конституцию, правительство и администрацию. В правительство и администрацию германского государства могут быть назначаемы лишь германские граждане.

Имперская конституция и имперское законодательство имеют в таком германском государстве такую же обязательную силу, как в других германских государствах.

§ 3. Если какое-либо германское государство имеет общего с негерманским государством главу государства, то он или должен жить в своем германском государстве или же должен в конституционном порядке назначить для него регентство, в которое могут быть призваны только немцы.

§ 4. Помимо уже существующих соединений германских и негерманских государств, никакой глава германского государства не может вступить в то же время в правление германским государством и никакой правящий в Германии монарх, не отказавшись от германского правления, не может принять иностранную корону.

§ 5. Отдельные германские государства сохраняют свою самостоятельность, поскольку она не ограничивается имперской конституцией; они сохраняют весь государственный суверенитет и права, поскольку они прямо не переданы имперской власти.

ОТДЕЛ II. ИМПЕРСКАЯ ВЛАСТЬ.

Статья I.

§ 6. Исключительно имперской власти принадлежат функции международного представительства Германии и отдельных государств по отношению к загранице.

Имперская власть назначает имперских посланников и консулов Она ведет дипломатические сношения, заключает союзы и договоры с иностранными державами, а также торговые договоры и договоры о мореплавании, равно как и договоры о выдаче. Она заведует всеми международно-правовыми мероприятиями.

§ 7. Отдельные германские правительства не имеют права принимать и держать постоянных посланников.

Они не имеют также права держать особых консулов. Консулы иностранных государств получают признание консулами от имперской власти.

Назначение уполномоченных при главе империи оставляется за отдельными правительствами.

§ 8. Отдельные германские правительства имеют право заключать договоры с другими германскими правительствами.

Их право на заключение договоров с негерманскими правительствами ограничивается частно-правовыми предметами, местными сношениями и полицией

§ 9. Все договоры не чисто частно-правового содержания, заключаемые германским правительством с другим германским или негерманским правительством, должны быть доводимы имперской власти к сведению и, насколько при этом затрагиваются имперские интересы, для утверждения.

Статья 2.

§ 10. Исключительно имперской власти принадлежит право войны и мира.

Статья 3.

§ 11. В распоряжении имперской власти находится вся вооруженная сила Германии.

§ 12. Имперская армия состоит из всех тех сил отдельных германских государств, которые предназначены для целей войны. Количество и состав имперской армии определяется законом о военном устройстве.

Государства менее чем с 500.000 жителей должны быть соединены имперской властью в более крупные военные единицы, которые потом становятся под непосредственное заведывание имперской власти, или же должны примкнуть к пограничному более крупному государству.

Ближайшие условия такого соединения в обоих случаях устанавливаются соглашением соответствующих государств, при посредстве и с согласия имперской власти.

§ 13. Издание законов и организация, относящиеся до военного дела, возлагаются исключительно на имперскую власть; она при посредстве постоянных органов контролирует их проведение в отдельных государствах

Отдельным государствам предоставляется развитие своего военного дела на основе имперских законов и распоряжений имперской власти и в границах соглашений, заключенных на основе § 12-го. Они располагают своей вооруженной силой, поскольку она не требуется для службы империи.

§ 14. В присяге знамени на первое место должно быть поставлено обязательство верности главе империи и имперской конституции.

§ 15. Все расходы, вытекающие из употребления войск на имперские цели и превышающие размеры определенные имперной для мирного времени, возлагаются на империю.

§ 16. Относительно общего одинакового для всей Германии устройства войска имеет быть издан особый имперский закон.

§ 17. Правительствам отдельных государств предоставляется назначить командующих и офицеров своих войск, поскольку численность последних требует этого.

Для более крупных военных единиц, которые составлены из соединения войск нескольких государств, имперская власть назначает общего командующего.

В случае войны имперская власть назначает командующих генералов самостоятельных корпусов, равно как и персонал главного штаба.

§ 18. Имперской власти принадлежит право строить имперские крепости и береговые укрепления и, поскольку того требует безопасность империи, объявлять имперскими крепостями существующие крепости под условием справедливого вознаграждения, в особенности за передаваемый военный материал.

Имперские крепости и береговые укрепления содержатся на имперский счет.

§ 19. Морские военные силы—дело исключительно империи. Ни одному отдельному государству не предоставлено держать собственные военные суда или выдавать каперские свидетельства.

Экипажи военных судов составляют часть германской армии. Она независима от сухопутной армии.

Матросы, поставляемые отдельным государством для военного флота жны быть вычтены из числа тех сухопутных войск, которые должно содерть это государство. Подробности об этом, а также о распределении расходов кду империей и отдельными государствами, определит имперский закон.

Назначение офицеров и чиновников флота исходит лишь от империи.

На имперскую власть возлагаются заботы о вооружении, развитии и содерши военного флота и сооружении, оборудовании и содержании военных гаей и морских арсеналов.

Имеющие быть изданными имперские законы определят условия отчужде-, необходимых для сооружения военных гаваней и морских приспособлений но как и права имеющих быть назначенными с этой целью имперских долж-стных лиц.

Статья 4.

§ 20. Мореплавательные приспособления и принадлежности судоходства при ьях германских рек (гавани, бакены, маяки, лоцманы, фарваторы и т. д.) аются в ведении отдельных прибрежных государств. Прибрежные государства держат их на собственные средства.

Имперский закон определит, на каком расстоянии следует считать начало гьев отдельных рек.

§ 21. Имперской власти принадлежит верховное наблюдение над всеми ими приспособлениями и учреждениями.

Ей принадлежит право побуждать соответствующие государства к надлещему их содержанию, а также увеличивать и расширять их на средства имрии.

§ 22. Пошлины, взимаемые приморскими государствами с судов и грузов пользование мореходными приспособлениями, не должны превышать затрат, обходимых для содержания этих приспособлений. Они вводятся с согласия имрской власти.

§ 23. По отношению к этим пошлинам все германские суда и их грузы лжны стоять в одинаковых условиях.

Более высокое обложение иностранных судов может исходить лишь от имрской власти.

Добавочные пошлины с иностранных судов поступают в имперскую кассу.

Статья 5.

§ 24. Имперской власти принадлежит право издавать законы и право выс-его наблюдения над реками и озерами, протекающими в своей судоходной сти или разграничивающими несколько государств, а также над устьями впающих в них притоков, равно как и над судоходством и сплавкой по этим рекам озерам.

Имперский закон определит, каким образом должна поддерживаться и учшаться судоходность этих рек.

Остальные водные пути предоставляются заботе отдельных государств. Одко имперской власти, если она считает это необходимым в интересах развия сообщений, предоставляется право издавать общие постановления относильно плавания и сплавки по этим путям, а также—при том же условии—причинивать отдельные реки к вышеупомянутым общим рекам.

Имперская власть имеет право побуждать отдельные государства к надлещему поддержанию судоходности этих водных путей.

§ 25. Все германские реки должны быть свободны для германского судодства от речных пошлин. Сплавка плотов по судоходным частям рек тоже не длежит обложению. Подробности определит имперский закон.

Относительно рек, протекающих или разграничивающих несколько государств, за уничтожение этих речных пошлин будет установлено справедливое вознаграждение.

§ 26. Портовые, подъемные, весовые, складочные, шлюзовые и тому подобные сборы, взимаемые на общих реках и в устьях впадающих в них притоков, не должны превышать затрат, необходимых для содержания соответствующих сооружений. Они подлежат утверждению имперской власти.

По отношению к этим пошлинам не должно иметь места покровительство членам одного германского государства перед членами других германских государств.

§ 27. Облагать иностранные суда и их грузы речными пошлинами и сборами за речное судоходство может только имперская власть.

Статья 6.

§ 28. Имперская власть имеет право верховного наблюдения и право издавать законы относительно железных дорог и их эксплоатации, поскольку того требует защита империи или общие интересы средств сообщения. Имперский закон определит, какие именно предметы относятся сюда.

§ 29. Имперская власть имеет право, поскольку она считает это необходимым для защиты империи или в общих интересах сношений, разрешать проведение железных дорог, равно как и сама проводить железные дороги, если отдельное государство, через территорию которого должна быть проведена железная дорога, отклоняет от себя ее сооружение. Пользование железной дорогой для имперских целей во всякое время предоставляется имперской власти под условием вознаграждения.

§ 30. При проведении или разрешении железных дорог отдельными государствами имперской власти принадлежит право принимать меры, требуемые защитой империи и общими интересами сношений.

§ 31. Имперская власть имеет верховное наблюдение и право издавать законы относительно сухопутных дорог, поскольку того требует защита империи или общие интересы сношений. Имперский закон определит, какие предметы должны быть отнесены сюда.

§ 32. Имперская власть, поскольку она считает это необходимым для защиты империи или в общих интересах сношений, имеет право предписывать, чтобы были построены сухопутные дороги, а также каналы, реки сделаны судоходными или же была бы усилена их судоходность.

Распоряжение о производстве необходимых для этого строительных работ делается имперской властью по предварительном сношении с соответствующими отдельными государствами.

Если не достигнуто соглашение с отдельными государствами, выполнение и содержание новых сооружений берет на себя империя за имперский счет.

Статья 7.

§ 33. Германская империя должна составлять одну таможенную и торговую область, окруженную общей таможенной границей, с уничтожением всех внутренних пошлин.

Выделение отдельных мест и частей территории из таможенной линии предоставляется имперской власти.

Имперской власти предоставляется далее присоединять посредством особых договоров к германской таможенной области страны или части стран, еще не принадлежащие к империи.

§ 34. Исключительно имперской власти принадлежит право издавать закон

относительно всего таможенного дела, а также и об общих налогах на производство и потребление. Имперское законодательство определяет, какие именно из налогов на производство и потребление должны быть общими.

§ 35. Взимание таможенных пошлин и управление этим делом, равно как и общими налогами на производство и потребление организуется по распоряжениям и под верховным наблюдением имперской власти.

Из доходов определенная часть, соответствующая обыкновенному бюджету, берется прежде всего на имперские расходы, а остаток распределяется между отдельными государствами.

Особый имперский закон определит дальнейшие подробности.

§ 36. Имперское законодательство определит, какие предметы могут отдельные государства облагать налогами на производство или потребление в интересах этих государств или отдельных общин и какие должны соблюдаться при этом условия и ограничения.

§ 37. Отдельные государства не имеют права облагать пошлинами товары, ввозимые или вывозимые через имперскую границу.

§ 38. Имперская власть имеет право издавать законы относительно торговли и судоходства и контролирует выполнение изданных относительно этого имперских законов.

§ 39. Имперской власти предоставляется издавать имперские законы относительно промышленности и контролировать их выполнение.

§ 40. Патенты на изобретения выдаются исключительно от империи на основе особого имперского закона; исключительно имперской власти принадлежит также право издавать законы против перепечатки книг, против всякого неподобающего подражания художественным изделиям, фабричным клеймам, образцам и формам и против других нарушений авторской собственности.

Статья 8.

§ 41. Имперская власть имеет право издания законов и верховного наблюдения относительно почтового дела, в особенности организации, тарифов, транзита, франкировки и отношений между отдельными почтовыми управлениями.

Она же посредством обязательных постановлений обеспечивает однообразное исполнение законов и при помощи постоянных органов контролирует их применение в отдельных государствах.

Имперской власти принадлежит право в общих интересах сношений установить почтовые сообщения, проходящие через несколько почтовых областей.

§ 42. Почтовые договоры с иностранными почтовыми управлениями могут быть заключаемы только имперской властью, или с ее согласия.

§ 43. Имперская власть, поскольку это представится ей необходимым, имеет право на основе имперского закона взять германское почтовое дело в ведение империи, под условием справедливого вознаграждения имеющих на то право.

§ 44. Имперская власть имеет право проводить телеграфные линии и пользоваться за вознаграждение существующими или приобретать их в порядке экспроприации.

Дальнейшие постановления об этом, а также о пользовании телеграфами для сношений частных лиц предоставляются имперскому законодательству.

Статья 9.

§ 45. Исключительно имперская власть имеет право издавать законы и право верховного надзора по отношению к монетному делу. Она должна ввести общую монетную систему для всей Германии.

Она имеет право чеканить имперскую монету.

§ 46. Имперская власть должна установить общую для всей Германии систему меры и веса, а также обозначения пробы золотых и серебряных товаров.

§ 47. Имперская власть имеет право изданием имперских законов регулировать банковое дело и выпуск бумажных денег. Она контролирует выполнение изданных по этому предмету имперских законов.

Статья 10.

§ 48. Расходы по всем мероприятиям и учреждениям, организуемым империей, покрываются имперской властью из средств империи.

§ 49. Для покрытия своих расходов империя пользуется прежде всего своей долей в доходах от таможенных пошлин и общих налогов на производство и потребление.

§ 50. Если остальные доходы недостаточны, имперская власть имеет право взимать дополнительные взносы с отдельных государств.

§ 51. Имперская власть имеет право в чрезвычайных случаях вводить и взимать имперские налоги—или предписывать взимание их,—а также делать займы и вступать в иные долговые обязательства.

Статья 11.

§ 52. Сферу юрисдикции империи определяет отдел об имперском суде.

Статья 12.

§ 53. Имперская власть должна охранять в порядке верховного надзора гарантированные имперской конституцией всем немцам права.

§ 54. На имперскую власть возлагается охранение мира в империи.

Она должна принимать необходимые для поддержания внутренней безопасности и порядка меры:

1. если мир в одном германском государстве нарушен или подвергается опасности со стороны другого германского государства;

2. если в каком-либо германском государстве безопасность и порядок нарушены местными жителями или чужеземцами. Однако в этом случае имперская власть должна вмешаться лишь при том условии, если его просит о том само соответствующее правительство,—за исключением случая, когда оно заведомо не в состоянии сделать это,—или если опасность угрожает общему имперскому миру;

3. если конституция какого-нибудь германского государства насильственно или односторонне отменена или изменена и обращением к имперскому суду не может быть достигнута немедленная помощь.

§ 55. Меры, которые имперская власть может принять для охранения мира в империи, таковы:

1. декреты;

2. отправка комиссаров;

3. применение вооруженной силы.

Имперский закон определит основания, по которым должны покрываться вызываемые такими мероприятиями расходы.

§ 56. Имперская власть должна особым имперским законом определить случаи и формы, в которых может применяться военная сила против нарушений общественного порядка.

§ 57. Имперская власть должна установить законные нормы относительно приобретения и утраты прав гражданства в империи и в отдельных государствах.

§ 58. Имперской власти предоставляется издать имперские законы относительно натурализации и контролировать их выполнение.

§ 59. Имперской власти предоставляется, независимо от гарантированных основными правами свободы союзов и свободы собраний, издать имперские законы об ассоциациях.

§ 60. Имперское законодательство имеет установить такие условия для печатания государственных распоряжений, которые во всей Германии обеспечат признание их подлинности.

§ 61. В интересах общего блага имперская власть имеет право принимать общие санитарные меры.

Статья 13.

§ 62. Имперская власть имеет право издавать законы, поскольку это требуется для выполнения передаваемых ей конституцией функций и для защиты переходящих к ней учреждений.

§ 63. Имперская власть, если она найдет необходимыми в общих интересах Германии общие учреждения и мероприятия, имеет право для проведения их издавать необходимые законы с соблюдением форм, предписанных для изменения конституции.

§ 64. Имперская власть должна осуществить единство германского народа в юридическом отношении посредством издания общих сводов гражданского права, торгового и вексельного права, уголовного и процессуального права.

§ 65. Все законы и распоряжения имперской власти получают обязательную силу посредством опубликования от имени империи.

§ 66. Имперские законы стоят выше законов отдельных государств, если за последними прямо не оговорено лишь подчиненное значение.

Статья 14.

§ 67. Назначение имперских чиновников исходит от империи.

Условия имперской службы установит имперский закон.

ОТДЕЛ III. ГЛАВА ИМПЕРИИ.

Статья 1.

§ 68. Сан главы империи возлагается на одного из правящих в Германии монархов.

§ 69. Этот сан наследственен в доме монарха, которому он будет передан. Он переходит по наследству по мужской линии по праву первородства.

§ 70. Глава империи носит титул: император германцев.

§ 71. Резиденция императора—в месте пребывания имперского правительства. Император должен постоянно жить там по меньшей мере во время сессии рейхстага.

Когда император не находится в месте пребывания имперского правительства, непосредственно около него должен быть один из имперских министров.

Определение места пребывания имперского правительства будет сделано имперским законом.

§ 72. Император получает цивильный лист, устанавливаемый рейхстагом.

Статья 2.

§ 73. Личность императора неприкосновенна.

Император осуществляет переданную ему власть при посредстве ответственных, назначаемых им, министров.

§ 74. Все правительственные акты императора требуют для признания их действительными контрассигнирования по меньшей мере одним из имперских министров, который таким образом принимает на себя ответственность за них.

Статья 3.

§ 75. Император осуществляет международно-правовое представительство Германской империи и отдельных германских государств. Он назначает имперских посланников и консулов и ведет дипломатические сношения.

§ 76. Император объявляет войну и заключает мир.

§ 77. Император заключает союзы и договоры с иностранными державами, притом при содействии рейхстага, насколько оно оговорено в конституции.

§ 78. Все договоры не чисто частно-правового содержания, заключаемые германскими правительствами между собою или с иностранными правительствами, доводятся до сведения императора и, поскольку они затрагивают интересы империи, представляются на его утверждение.

§ 79. Император созывает и закрывает рейхстаг; он имеет право распускать палату народа.

§ 80. Император имеет право вносить законопроекты. Он осуществляет законодательную власть сообща с рейхстагом при соблюдении конституционных ограничений. Он опубликовывает имперские законы и издает необходимые для их проведения распоряжения.

§ 81. В уголовных делах, входящих в компетенцию имперского суда, император имеет право помилования и смягчения наказания. Воспрещение начала или продолжения следственного производства император может издать лишь с согласия рейхстага.

По отношению к имперскому министру, осужденному за свои служебные деяния, император может осуществить право помилования и смягчения наказания лишь при том условии, если это предложит та самая палата, от которой исходило обвинение. По отношению к министрам отдельных государств ему не принадлежит такого права.

§ 82. На императора возлагается охранение мира в империи.

§ 83. Император распоряжается вооруженной силой.

§ 84. Вообще император в соответствии с имперской конституцией пользуется правительственной властью во всех делах империи. Ему, как носителю этой власти, принадлежат все те права и полномочия, которые в имперской конституции предоставлены имперской власти и не отнесены к ведению рейхстага.

ОТДЕЛ IV. РЕЙХСТАГ.

Статья 1.

§ 85. Рейхстаг состоит из двух палат: палаты государств и палаты народа.

Статья 2.

§ 86. Палата государств образуется из представителей германских государств.

§ 87. Число членов распределяется в следующем порядке: Пруссия 40 членов, Австрия 38, Бавария 18, Саксония 10, Ганновер 10, Вюртемберг 10, Баден 9, Кургессен 6, великое герцогство Гессен 6, Голштиния (о Шлезвиге см. § 1) 6, Макленбург-Шверин 4, Люксембург-Лимбург 3, Нассау 3, Брауншвейг 2, Ольденбург 2, Саксен-Веймар 2, Саксен-Кобург-Гота 1, Саксен-Мейнинген-Гильдбурггаузен

Саксен-Альтенбург 1, Мекленбург-Стрелиц 1, Ангальт-Дессау 1, Ангальт-Бернрг 1, Ангальт-Кетен 1, Шварцбург-Зондергаузен 1, Шварцбург-Рудольфштадт 1, генцоллерн-Геккинген 1, Лихтенштейн 1, Гогенцоллерн-Зигмаринген 1, Вальдек 1, йсс старшей линии 1, Рейсс младший линии 1, Шаумбург-Липпе 1, Липпетмольд 1, Гессен-Гомбург 1, Лауенбург 1, Любек 1, Франкфурт 1, Бремен 1, мбург 1, итого 192 члена.

Пока немецко-австрийские земли не примут участия в союзном государстве, едующие государства получают увеличенное число голосов в палате государств: Бавария 20, Саксония 12, Ганновер 12, Вюртемберг 12, Баден 10, великое рцогство Гессен 8, Кургессен 7, Нассау 4, Гамбург 2.

§ 88. Члены палаты государств назначаются наполовину правительством наполовину народным представительством соответствующих государств.

В тех германских государствах, которые составлены из нескольких провинций или земель с особой конституцией или управлением, назначаемые народым представительством такого государства члены палаты государств должны ыть назначены не общим представительством государства, а представительвами отдельных земель или провинций (провинциальными сеймами).

Установление пропорции, в которой должно быть распределено между дельными землями или провинциями число членов, приходящееся на долю их государств, предоставляется законодательству этих государств.

Где существуют две палаты и не имеет места представительство по провинции, там обе палаты в общем заседании избирают абсолютным большинством голосов.

§ 89. В тех государствах, которые посылают лишь одного члена в палату осударств, правительство предлагает трех кандидатов, из которых народное редставительство избирает одного абсолютным большинством голосов.

В тех государствах, которые посылают нечетное число членов, таким же бразом назначается последний член.

§ 90. Если несколько германских государств соединятся в одно целое, мперский закон решает, какие изменения делаются благодаря этому необходиыми в составе палаты государств.

§ 91. Членом палаты государств может быть лишь тот, кто:

1. является гражданином посылающего его государства,
2. старше тридцати лет от роду,
3. пользуется всеми гражданскими и политическими правами.

§ 92. Члены палаты государств избираются на шесть лет. Они обновляются аполовину каждые три года.

Имперский закон определит, каким образом по истечении первых трех лет олжен совершиться выход одной половины. Вышедшие во всякое время могут ыть избраны вновь.

Если по истечении этих трех лет и до окончания новых выборов в палату осударств рейхстаг будет созван на чрезвычайную сессию, то собираются режние члены, поскольку еще не произведено новых выборов.

Статья 3.

§ 93. Палата народа состоит из депутатов германского народа.

§ 94. Члены народной палаты на первый раз избираются на четыре года, потом постоянно на три года.

Выборы совершаются согласно с предписаниями, содержащимися в имперском избирательном законе.

Статья 4.

§ 95. Члены рейхстага получают из имперской кассы равномерные ежедневные диэты и вознаграждение за издержки на проезд. Подробности определит имперский закон.

§ 96. Члены обеих палат не могут быть связаны инструкциями (изб рателей).

§ 97. Никто не может быть одновременно членом обеих палат.

Статья 5.

§ 98. Для принятия постановлений каждой из палат рейхстага необходим присутствие по меньшей мере половины узаконенного числа их членов и прост большинство голосов.

В случае равенства голосов предложение считается отклоненным.

§ 99. Каждой палате принадлежит право вносить законопроекты, жалоб адресы, производить расследование фактов, а также возбуждать обвинение прот министров.

§ 100. Постановление рейхстага может считаться действительным лишь п согласии обеих палат.

§ 101. Постановление рейхстага, на которое не воспоследовало соглас имперского правительства, не может быть повторено в ту же сессию.

Если одно и то же предложение без изменения принято в трех непосре ственно следующих одна за другой сессиях, то оно, хотя бы на него и не посл довало согласия имперского правительства, по закрытии третьей сессии ст новится законом. В этот счет не входят обыкновенные сессии, не достигш продолжительности по меньшей мере в четыре недели.

§ 102. Постановление рейхстага требуется в следующих случаях:

1. если дело идет об издании, отмене, изменении или истолк вании имперских законов;

2. если вырабатывается имперский бюджет, если заключают займы, если империя производит расход, не предусмотренный росписи, или взимает дополнительные взносы или налоги;

3. если иностранное морское и речное судоходство должно бы обложено повышенными пошлинами;

4. если крепости отдельных государств должны быть объявлен имперскими крепостями;

5. если должны быть заключены с иностранной державой то говые договоры, договоры о судоходстве и выдаче, равно как вообш международно-правовые договоры, поскольку они возлагают обяз тельства на империю;

6. если земли или части земель, не принадлежащие импери должны присоединиться к германской таможенной области и отдельные места или части территории должны быть исключены таможенной линии;

7. если должны быть уступлены части германской земли и негерманские области должны быть включены в состав империи и иным способом соединены с ней.

§ 103. При установлении имперского бюджета соблюдаются следующ постановления:

1. все касающиеся финансов предложения имперского прав тельства вносятся прежде всего в палату народа;

2. утверждение расходов может воспоследовать лишь по предл жению имперского правительства и в сумме, не превышающ указанной в предложении. Каждое вотирование действительно ли для того особого назначения, какое было определено для не Затраты могут совершаться лишь в пределах вотирования;

3. продолжительность бюджетного периода и срок, на котор утверждается бюджет, равны одному году;

4. бюджет обыкновенных расходов империи и резервного фонда, а также доходов, необходимых для их покрытия, будет утвержден в первом рейхстаге постановлениями последнего. Увеличение этого бюджета при позднейших рейхстагах тоже требует постановлений рейхстага;

5. этот обыкновенный бюджет в каждую сессию вносится в первую очередь в палату народа, проверяется ею по статьям после объяснений и доказательств, представляемых имперским правительством, и утверждается или отвергается целиком или в отдельных частях;

6. по изучении и утверждении палатой народа бюджет передается в палату государств. Последней, в пределах общей суммы обыкновенного бюджета, утвержденного первым рейхстагом или позднейшими постановлениями рейхстага, предоставляется лишь право делать напоминания и замечания, относительно которых палата народа делает потом окончательное постановление;

7. все чрезвычайные расходы и средства для их покрытия, подобно увеличению обыкновенного бюджета, требуют разрешения постановлением рейхстага;

8. отчет об израсходовании имперских средств предоставляется для проверки и заключения рейхстагу, притом сначала палате народа.

Статья 6.

§ 104. Рейхстаг собирается ежегодно в месте пребывания имперского правительства. Время собрания определяется главой империи при созыве рейхстага, поскольку оно не будет установлено имперским законом.

Кроме того, рейхстаг во всякое время может быть созываем главной империи на чрезвычайные сессии.

§ 105. Очередные сессии ландтагов в отдельных государствах вообще не должны совпадать с сессиями рейхстага. Подробности будут определены имперским законом.

§ 106. Палата народа может быть распущена главой империи.

В случае роспуска рейхстаг должен быть созван в трехмесячный срок.

§ 107. Роспуск палаты народа имеет своим следствием одновременную отсрочку заседаний палаты государств впредь до созыва нового рейхстага.

Продолжительность сессий обеих палат одинакова.

§ 108. Окончание сессии рейхстага определяется главой империи.

§ 109. Отсрочка главой государства заседаний рейхстага или одной из двух палат, если по открытии сессии отсрочка должна продолжаться более четырнадцати дней, требует согласия рейхстага или соответствующей палаты.

Сам рейхстаг, а также каждая из обеих палат могут отсрочить свои заседания на четырнадцать дней.

Статья 7.

§ 110. Каждая из двух палат избирает своего президента, своих вице-президентов и своих секретарей.

§ 111. Заседание обеих палат публичны. Устав каждой палаты определяет при каких условиях могут иметь место закрытые заседания.

§ 112. Каждая палата проверяет полномочия своих членов и решает вопрос об их допущении.

§ 113. Каждый член при своем вступлении приносит присягу: „Клянусь, что я буду верно соблюдать и охранять имперскую конституцию, да поможет мне Бог".

§ 114. Каждая палата имеет право подвергать наказаниям, а в крайних случаях исключать своих членов за неподобающее поведение в палате. Подробности определяет устав (наказ) каждой палаты.

Исключение может быть назначено лишь при том условии, если за эту меру выскажется большинство двух третей голосов.

§ 115. Ни лица, передающие петиции, ни вообще депутации не должны быть допускаемы в палаты.

§ 116. Каждая палата имеет право сама выработать свой устав. Деловые отношения между обеими палатами устанавливаются по соглашению обеих палат.

Статья 8.

§ 117. Во время сессии ни один член рейхстага без согласия палаты, к которой он принадлежит, не может быть ни арестован по обвинению в уголовном деянии, ни привлечен к следствию, за единственным исключением, если он захвачен на месте преступления.

§ 118. В последнем случае должно немедленно довести до сведения соответствующей палате о принятой мере. Палата имеет право предписать отсрочить заключение или следствие до окончания сессии.

§ 119. Такие же полномочия предоставляются каждой палате и по отношению к аресту или следствию, которым член палат подлежал ко времени своего избрания или после избрания до открытия сессии.

§ 120. Никакой член рейхстага ни в какое время не может подлежать судебному или дисциплинарному преследованию или иным способом привлекаться к ответственности вне собрания за свое голосование или за те заявления, которые он сделал при исполнении своего долга в рейхстаге.

Статья 9.

§ 121. Имперские министры имеют право присутствовать при прениях обеих палат рейхстага и быть выслушаны ими во всякое время.

§ 122. Имперские министры обязаны по требованию каждой из палат рейхстага явиться в нее и дать объяснение или же сообщить причины, почему таковые не могут быть сделаны.

§ 123. Имперские министры не могут быть членами палаты государств.

§ 124. Если член палаты народа принимает должность или повышение на имперской службе, он должен подвергнуться переизбранию; он сохраняет свое место в палате, пока не последуют новые выборы.

ОТДЕЛ V. ИМПЕРСКИЙ СУД.

Статья I.

§ 125. Принадлежащая империи юрисдикция осуществляется при посредстве имперского суда.

§ 126. К компетенции имперского суда относятся:

а) жалобы отдельного государства против имперской власти по делам о нарушении имперской конституции изданием имперских законов и мероприятиями имперского правительства, а также жалобы имперской власти против отдельных государств по делам о нарушении имперской конституции;

b) взаимные несогласия между палатой государств и палатой народа и между каждой из них и имперским правительством, касающиеся истолкования конституции, если противоположные стороны согласятся обратиться к решению имперского суда;

c) политические и частно-правовые разногласия всякого рода между отдельными германскими государствами;

d) спорные вопросы относительно престолонаследия, способности к управлению и регентства в отдельных государствах;

e) разногласие между правительством отдельного государства и народным представительством по вопросам о значении истолкования конституции этого государства;

f) жалобы граждан отдельного государства против его правительства по делам об отмене или неконституционном изменении конституции отдельного государства.

Жалобы граждан отдельного государства против правительства по делам о нарушении конституции этого государства могут вноситься в имперский суд лишь в том случае, если средства помощи, предусмотренные в конституции этой страны, не могли получить применения.

g) жалобы германских граждан по делам о нарушении их прав, гарантированных имперской конституцией. Имперскому законодательству предоставляется определить ближайшие подробности относительно пределов этого права обжалования, а также относительно способов его осуществления;

h) жалобы относительно отказа или замедления в судопроизводстве, если исчерпаны средства помощи, даваемые законами отдельного государства;

i) уголовная подсудность по обвинениям против имперских министров, поскольку жалобы касаются министерской ответственности последних;

k) уголовная подсудность по жалобам против министров отдельных государств, поскольку обвинения имеют отношение к ответственности министров;

l) уголовная подсудность по делам о государственной измене против империи.

Позднейшие имперские законы определят, не следует ли отнести к уголовной подсудности имперского суда и другие преступления против империи.

m) жалобы против имперского фиска;

n) жалобы против германских государств, если обязательство дать удовлетворение представляет предмет сомнений или спора между несколькими государствами или если в жалобе предъявляется общее требование к нескольким государствам.

§ 127. Вопрос о том, входит ли тот или иной случай в компетенцию имперского суда, решает единственно и исключительно сам имперский суд.

§ 128. Об учреждении и организации имперского суда, о порядке судопроизводства и приведении в исполнение решений и распоряжений имперского суда будет издан особый закон.

Этот же закон должен определить, следует ли и в каких случаях предоставить вынесение приговоров в имперском суде присяжным заседателям.

Точно так же предоставляется определить, следует ли и в какой мере считать этот закон основным конституционным законом.

§ 129. Имперскому законодательству предоставляется учредить адмиралтейские и морские суды, а также издать постановления относительно подсудности посланников и консулов империи.

ОТДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ГЕРМАНСКОГО НАРОДА.

§ 130. Германскому народу должны быть гарантированы нижеследующие основные права. Они должны послужить нормой для конституций отдельных германских государств, и никакая конституция или законы отдельного германского государства не должны отменять или ограничивать их.

Статья 1.

§ 131. (1)[1]). Германский народ состоит из граждан государств, составивших Германскую империю.

§ 132. (2). Каждый немец имеет право гражданина Германской империи. Предоставленные ему в силу этого права он может осуществлять во всяком германском государстве. Имперский избирательный закон устанавливает право избирать в германское имперское собрание.

§ 133. (3). Каждый немец имеет право избирать своим местом пребывания и жительства всякое место имперской территории, приобретать недвижимости всякого рода и распоряжаться ими, вести всякое производство, приобретать гражданские права в общине.

Имперская власть установит для всей Германии условия пребывания и жительства законом об оседлости, условия промышленного производства—промысловым уставом.

§ 134. (4). Ни одно германское государство не должно между своими гражданами и другими немцами проводить какое бы то ни было различие в гражданских, уголовных и процессуальных правах, которое ставило бы последних в положение иностранцев.

§ 135. (5). Наказание гражданской смертью не должно иметь места, а там, где оно уже было назначено, должно быть отменено в своих последствиях, поскольку этим не будут нарушены права частных лиц.

§ 136 (6). Свобода эмиграции не подлежит ограничению государством; не должны быть взимаемы сборы за выселение.

Дела по эмиграции стоят под охраной и попечением империи.

Статья 2.

§ 137 (7). Для закона различия сословий не существует. Дворянство, как сословие, уничтожено.

Все сословные привилегии отменены.

Немцы равны перед законом.

Все титулы, поскольку они не связаны с занятием должности, уничтожаются и никогда не должны быть восстановлены.

Ни один гражданин государства не должен принимать орденов от иностранных держав.

Общественные должности одинаково доступны для всех способных к занятию их.

Воинская повинность для всех равна: заместительство при этом не допускается.

Статья 3.

§ 138 (8). Свобода личности неприкосновенна.

Задержание, за исключением поимки на месте преступления, может быть производено лишь в силу судебного, снабженного указанием на основания, при-

[1]) Поставленные в скобки цифры означают нумера, под которыми были эти параграфы в официальном извещении (Reichsgesetzblatt, № 8) о принятых тогда основных правах.

каза. Этот приказ должен быть предъявлен задержанному в момент задержания или в течение ближайших двадцати четырех часов по задержании.

Всякого, кого полицейская власть подвергает заключению, она или должна освободить в течение следующего дня, или передать судебным властям.

Всякий обвиняемый должен быть освобожден от заключения по представлении залога, определяемого судом, или по поручительство, если против данного лица нет убедительных улик в совершении тяжкого уголовного преступления.

В случае притивозаконно воспоследовавшего или противозаконно продолжительного заключения виновный, а в случае необходимости государство обязаны дать удовлетворение и вознаграждение потерпевшему.

Особыми законами должны быть определены необходимые для армии и флота изменения этих постановлений.

§ 139 (9). Отменяется смертная казнь, за исключением случаев, где она предписывается военными законами или допускается морским правом в случае мятежа, а также отменяется наказание выставлением у позорного столба, клеймением и телесные наказания.

§ 140 (10). Жилище неприкосновенно.

Обыск допустим лишь:

1. в силу судебного, снабженного указанием на основания, приказа, который предъявляется обыскиваемому немедленно или до истечения ближайших двадцати четырех часов;

2. в случае преследования по свежим следам чиновниками, уполномоченными на это законом;

3. в случаях и формах, в которых закон допускает это в виде исключения для определенных чиновников без судебного приказа.

Домашний обыск должен быть совершаем по возможности в присутствии домашних.

Неприкосновенность жилища не должна служить препятствием для задержания лица, преследуемого судом.

§ 141 (11). Конфискация писем и бумаг, за исключением случаев задержания или домашнего обыска, может воспоследовать лишь в силу снабженного указанием на основании судебного приказа, который должен быть предъявлен заинтересованному лицу немедленно или до истечения ближайших двадцати четырех часов,

§ 142 (12). Гарантируется тайна переписки.

Законодательство установит необходимые ограничения по отношению к уголовному следствию и случаям войны.

Статья 4.

§ 143 (13). Всякий немец имеет право свободно выражать свое мнение устно, письменно, печатно и при помощи изображений.

Свобода печати не может быть ограничиваема, приостанавливаема или отменяема ни при каких обстоятельствах и никаким способом: при помощи предупредительных мер, именно цензуры, разрешений, требований обеспечения государственных налогов, ограничений типографий или книготорговли, почтовых запрещений или иных стеснений свободного обращения.

Проступки печати, подлежащие преследованию, подлежат суду присяжных.

Империя издаст закон о печати.

Статья 5.

§ 144 (14). Каждый немец имеет полную свободу вероисповедания и совести.

Никто не обязан заявлять о своих религиозных убеждениях.

§ 145 (15). Никакой немец не подлежит ограничениям в общем домашнем и общественном культе своей религии.

Преступления и проступки, совершенные при осуществлении этой свободы, наказуются согласно закону.

§ 146 (16). Религиозное исповедание не может служить основанием для лишения или ограничения гражданских и политических прав Оно не должно вести и к избавлению от гражданских обязанностей по отношению к государству.

§ 147 (17). Всякое религиозное общество самостоятельно управляет и организует свои дела, но остается подчиненным общим законам государства.

Государство не должно оказывать предпочтение какому-либо религиозному обществу перед другими; впредь нет никакой государственной церкви.

Могут организоваться новые религиозные общества; не требуется признания государством их исповедания.

§ 148 (18). Никто не должен быть принуждаем к участию в церковных действиях или обрядах.

§ 149 (19). Формула присяги впредь должна гласить: „Да поможет мне Бог"

§ 150 (20). Гражданско-правовая действительность брака зависит только от совершения гражданского акта; церковная церемония может иметь место лишь по совершении гражданского акта.

Различие исповеданий не является препятствием для гражданского брака.

§ 151 (21). Метрические книги ведутся гражданскими властями.

Статья 6.

§ 152 (22). Наука и ее учения свободны.

§ 153 (23). Дело обучения и воспитания стоит под верховным наблюдением государства и, за исключением религиозного обучения, освобождается от надзора духовенства, как такового.

§ 154 (24). Учреждать учебные и воспитательные заведения, руководить им и обучать в них предоставляется всякому немцу, если он доказал свои способности перед соответствующим государственным учреждением.

Домашнее обучение не подлежит никаким ограничениям.

§ 155 (25). Должны быть приложены надлежащие заботы к образованию немецкого юношества посредством повсеместного устройства общественных школ.

Родители и их заместители не должны оставлять своих детей или опекаемых без обучения, которое предписано для низших народных школ.

§ 156 (26). Учителя в общественных школах имеют права государственной службы.

Государство при установленном законом участии общин назначает школьных учителей из числа лиц, выдержавших экзамены.

§ 157 (27). За обучение в народных школах и низших промышленных школах не взимается платы.

Для несостоятельных должно быть обеспечено бесплатное обучение во всех общественных учебных заведениях.

§ 158 (28). Свободному выбору каждого предоставляется избирать для себя профессию и подготовляться к ней, где и как он желает.

Статья 7.

§ 159. Каждый немец имеет право обращаться с письменными прошениями жалобами к администрации, к народным представительствам и к рейхстагу.

Это право может осуществляться как отдельными лицами, так и сообща корпорациями или несколькими лицами; но в войске и военном флоте лишь в формах, установленных дисциплинарными предписаниями.

§ 160. Для судебного преследования государственного чиновника за действие по службе не требуется предварительного согласия начальства.

Статья 8.

§ 161 (29). Немцы имеют право мирно и без оружия устраивать собрания: для этого не требуется особого разрешения.

Народные собрания под открытом небом могут быть воспрещаемы в случае серьезной опасности для общественного порядка и безопасности.

§ 162 (30). Немцы имеют право устраивать союзы. Это право не должно быть ограничиваемо никакими предупредительными мерами.

§ 163 (31). Содержащиеся в параграфах 161 и 162 постановления находят себе применение и в армии и военном флоте, поскольку этому не противоречат военные дисциплинарные предписания.

Статья 9.

§ 164 (32). Собственность неприкосновенна.

Экспроприация может быть произведена лишь по соображениям общего блага, только на основе особого закона и под условием справедливого вознаграждения.

Авторская собственность должна получить защиту в имперском законодательстве.

§ 165 (33). Каждый землевладелец имеет право вполне или отчасти отчудить свою собственность как при жизни, так и на случай смерти. Отдельным государствам предоставляется при посредстве законов о переходе содействовать проведению принципа делимости всего землевладения.

По соображениям общественного блага допустимы в законодательном порядке ограничения права мертвой руки приобретать недвижимости и распоряжаться ими.

§ 166 (34). Навсегда уничтожаются все отношения крепостничества и подданства.

§ 167 (35). Без вознаграждения отменяются:

1. Поместные суды и вотчинная полиция со всеми вытекающими из этих прав полномочиями, привилегиями и пошлинами;

2. личные платежи и повинности, вытекающие из отношений поместных и патронатства.

Вместе с этими правами отпадают и все платежи и повинности, которые лежали на лицах, обладавших этими правами.

§ 168 (36). Все лежащие на земле платежи и повинности, в частности десятины, подлежат выкупу: по предложению ли только обязанных или же и получающих платежи и каким способом, это будет определено законодательством отдельных государств.

Впредь ни один участок земли не должен облагаться не подлежащими выкупу платежами или повинностями.

§ 169 (37). Землевладение дает право охоты на собственной земле.

Отменяются без вознаграждения права охоты на чужой земле, охотничья служба, охотничья барщина и другие повинности, связанные с охотой.

Однако подлежат выкупу те права на охоту, относительно которых будет доказано, что они приобретены договором с собственником участка земли, на котором лежит обязательство; условия выкупа должны определить законы отдельных государств.

Законодательству отдельных государств предоставляется урегулировать право охоты по соображениям общественной безопасности и общего блага.

Право охоты на чужой земле не должно впредь устанавливаться в качестве привилегии, связанной с землевладением.

§ 170 (38). Должны быть уничтожены семейные фидеикомиссы. Способ и условия уничтожения определяет законодательство отдельных государств.

Постановлениям законодательства отдельных государств предоставляется решить о семейных фидеикомиссах правящих монарших домов.

§ 171 (39). Все ленные отношения подлежат уничтожению. Законодательства отдельных государств должны определить подробности относительно способа отмены.

§ 172 (40). Наказание конфискацией имущества не должно иметь места.

§ 173. Обложение должно быть организовано так, чтобы уничтожились привилегии отдельных сословий и имений в государстве и общине.

Статья 10.

§ 174 (41). Вся судебная власть принадлежит государству. Не должно существовать патримониальных судов.

§ 175 (42). Судебная власть самостоятельно осуществляется судами. Недопустима юстиция кабинета и министров.

Никто не может быть изъят из ведения своего законного судьи. Исключительные суды никогда не должны иметь места.

§ 176 (43). Не должно быть никаких привилегий в подсудности лиц или имений.

Подсудность военным судам ограничивается делами о воинских преступлениях и проступках, а также о нарушениях военной дисциплины; относительно военного времени должны быть созданы особые постановления.

§ 177 (44). Ни один судья без судебного приговора не может быть устранен с своей должности или понижен по положению и получаемому содержанию.

Отрешение от должности может состояться лишь по приговору суда.

Ни один судья вопреки своей воле, иначе, чем по приговору суда в установленных законом случаях и формах, не может быть переведен с одного места на другое или отставлен.

§ 178 (45). Судопроизводство должно быть гласным и устным.

Исключения из гласности в интересах нравственности определяет закон.

§ 179 (46). В делах о преступлениях ведется уголовный процесс.

Суды присяжных выносят приговор по более тяжким уголовным делам и по всем политическим проступкам.

§ 180 (47). Гражданское судопроизводство в делах, требующих особой профессиональной опытности, должно производиться компетентными судьями, свободно избранными их товарищами по профессии, или при участии таких судей.

§ 181 (48). Судебное дело и администрация должны быть разделены и независимы друг от друга.

В случаях конфликтов по вопросу о компетенции между административными и судебными учреждениями в отдельных государствах дело решается судебной палатой, которая имеет быть установлена законом.

§ 182 (49). Административное судопроизводство уничтожается; все нарушения права подлежат решению судов.

Полиции ни в каких делах не предоставляется юрисдикции.

§ 183 (50). Вошедшие в законную силу приговоры германских судов одинаково действительны и одинаково подлежат исполнению во всех германских землях.

Подробности определит имперский закон.

Статья 11.

§ 184. Каждая община в качестве основных прав своего строя располагает:

a) правом избирать своих старшин и представителей;

b) правом управлять, под законно урегулированным верховным наблюдением государства, своими общинными делами, включая и местную полицию;

c) правом опубликовывать свой общинный бюджет;

d) правом публичности прений в качестве общего правила.

§ 185. Каждый участок земли должен принадлежать к известному общинному союзу.

Законодательству отдельных государств предоставляется выработать ограничения относительно лесов и пустошей.

Статья 12.

§ 186. В каждом германском государстве должна быть конституция с народным представительством.

Министры ответственны перед народным представительством.

§ 187. Народное представительство имеет решающий голос при издании законов, при обложении, при установлении государственного бюджета; оно—а где существуют две палаты, то каждая из палат—имеет право предлагать законы, обращаться с жалобами и адресами и возбуждать преследование против министров.

Статья 13.

§ 188. Народностям Германии, не говорящим по-немецки, гарантируются их национальное развитие, в частности равноправие их языков в пределах их области в церковном деле, обучении, внутреннем управлении и судопроизводстве.

Статья 14.

§ 189. Каждый германский гражданин за границей стоит под защитой империи.

ОТДЕЛ VII. ГАРАНТИИ КОНСТИТУЦИИ.

Статья 1.

§ 190. При каждой смене правления рейхстат, если он уже не собран, собирается без созыва в том составе, как он собирался в последний раз. Император, вступающий в правление, перед соединенными в одно заседание обеими палатами рейхстага приносит присягу имперской конституции.

Присяга гласит: „Клянусь, что я буду охранять империю и права германского народа, соблюдать имперскую конституцию и по совести осуществлять ее. Да поможет мне Бог“.

Лишь по принесении присяги император приобретает право совершать правительственные действия.

§ 191. Имперские чиновники при вступлении в должность должны принести присягу имперской конституции. Подробности определит имперский устав о службе.

§ 192. Об ответственности имперских министров должен быть издан имперский закон.

§ 193. Присяга имперской конституции в отдельных государствах соединяется с присягой конституции последних и предшествует ей.

Статья 2.

§ 194. Ни одно постановление в конституции или в законах отдельного государства не должно стоять в противоречии с имперской конституцией.

Статья 3.

§ 195. Изменения в имперской конституции могут быть произведены лишь постановлением обеих палат и с согласия главы империи. Для такого постановления в каждой из обеих палат требуется:

1. присутствие по меньшей мере двух третей членов;

2. два голосования, разделенные промежутком по меньшей мере в восемь дней;

3. при каждом из этих двух голосований большинство голосов по меньшей мере в две трети всех присутствующих членов.

Согласия главы государства не требуется если в трех непосредственно следующих одна за другой обыкновенных сессиях рейхстагом принято без изменений одно и то же постановление. В этот счет не входят сессии, продолжавшиеся менее четырех недель.

Статья 4.

§ 196. В случае войны или мятежа имперское правительство или правительство отдельного государства могут на время приостановить для отдельных округов действие постановлений основных прав относительно арестов, домашних обысков и права собраний; но при этом должны соблюдаться следующие условия:

1. в каждом отдельном случае распоряжение должно исходить от всего министерства империи или отдельного государства;

2. министерство империи должно немедленно испросить согласие рейхстага, министерство отдельного государства—согласие ландтага, если в данный момент рейхстаг или ландтаг собраны на сессию. Если же они не собраны, то распоряжение не может оставаться в силе долее 14 дней, если в течение этого срока они не будут созваны и принятые меры не будут представлены на их утверждение

Дальнейшее определит особый имперский закон.

Для объявления осадного положения в крепостях остаются в силе существующие предписания закона.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ:

Франкфурт на Майне, 28 марта 1849 года.

(Следуют подписи депутатов национального собрания).

IV.

ЗАКОН

относительно выборов депутатов в палату народа.

(Принят имперским собранием 27 марта 1849 года)

Статья 1.

§ 1. Избирателем является всякий неопороченный немец, которому миновало двадцать пять лет от роду.

§ 2. Права участвовать в выборах лишены:

1. лица, которые состоят под опекой или попечительством;

2. лица, над имуществом которых судом назначен конкурс или администрация, на весь срок конкурса или администрации;

3. лица, получающие или получавшие в последний год перед выборами вспомоществование на бедность из государственных или общинных средств.

§ 3. Опороченными, а потому лишенными права участвовать в выборах должны считаться:

лица, которые по законам отдельного государства, где состоялся приговор, вступившим в законную силу приговором непосредственно или косвенно лишены гражданских прав, если эти лица не были снова восстановлены в своих правах.

§ 4. Независимо от иных наказаний, избирательного права на срок от 4 до 12 лет лишается приговором уголовного суда всякий, кто при выборах покупал голоса, продавал свой голос или в течение одних и тех же выборов, предназначенных для одной и той же цели, более одного раза подавал свой голос или вообще пользовался недозволенными законом средствами для воздействия на выборы.

Статья 2.

§ 5. Правом быть избранным в депутаты палаты народа пользуется всякий имеющий право избирать немец, которому миновало 25 лет от роду и который не менее трех лет принадлежит к какому-нибудь германскому государству.

Отбытое или отмененное помилованием наказание за политическое преступление не лишает права избрания в палату народа.

§ 6. Лица, занимающие общественную должность, для вступления в палату народа не нуждаются ни в каком разрешении.

Статья 3.

§ 7. В каждом отдельном государстве должны быть образованы избирательные округа, на каждый по 100.000 населения согласно последней народной переписи.

§ 8. Если при образовании избирательных округов в каком-либо отдельном государстве получится избыток не менее 50.000 душ, для него должен быть образован особый избирательный округ.

Избыток менее 50.000 душ должен быть соответственно распределен между другими избирательными округами отдельного государства.

§ 9. Мелкие государства с населением не менее 50.000 душ образуют каждое особый избирательный округ.

К ним должен быть приравнен город Любек.

Те государства, в которых население не достигает 50.000 душ, для образования избирательных округов должны быть соединены с другими государствами сообразно имперской избирательной росписи (приложение А).

§ 10. Для подачи голосов избирательные округа подразделяются на более мелкие избирательные участки.

Статья 4.

§ 11. Кто желает осуществить избирательные права в известном избирательном округе, тот должен ко времени выборов иметь в нем постоянное место жительства. Каждый может избирать лишь в одном месте.

Местопребывание солдат и военных лиц считается местом жительства и дает право на участие в выборах, если это место было неизменным в течение трех месяцев. В государствах, в которых существует ландвер, для последнего устанавливается то исключение, что обязанные к службе в нем стоящие во время выборов на действительной службе, избирают место своего родного округа в месте

своего пребывания. Правительствам отдельных государств предоставляется издать дальнейшие распоряжения во исполнение этого постановления.

§ 12. В каждом участке для выборов должны быть составлены списки, в которые вносятся имеющие право участвовать в выборах, — их фамилия, имя, промысел и место жительства. Эти списки должны быть предоставляемы на просмотр каждому желающему не позже чем на 4 недели до дня, назначенного для общих выборов, и об этом должно быть опубликовано.

Возражения против списков должны быть представлены учреждению, опубликовавшему о составлении их, в течение восьми дней по опубликовании и должны быть рассмотрены в течение следующих четырнадцати дней, после чего списки закрываются. Право участия в выборах имеют только лица, внесенные в списки.

Статья 5.

§ 13. Избирательная процедура публична; к ней привлекаются члены общины, не занимающие никаких государственных или общинных должностей.

Избирательное право осуществляется избирателями лично, при помощи избирательных бюллетеней без подписи.

§ 14. Выборы прямые. Избрание совершается абсолютным большинством всех поданных в избирательном округе голосов.

Если при выборах ни один кандидат не получит абсолютного большинства голосов, то назначаются вторичные выборы. Если и при вторичных выборах не будет достигнуто абсолютное большинство голосов, то в третий раз выборы производятся лишь между двумя кандидатами, которые при третьих выборах получили наибольшее число голосов.

При равенстве голосов решает жребий.

§ 15. Не следует избирать заместителей для депутатов.

§ 16. Выборы на всем протяжении империи производятся в один и тот же день, назначаемый имперским правительством.

Если сделаются необходимыми выборы в позднейшее время, они назначаются правительствами отдельных государств.

§ 17. Избирательные округи и избирательные участки, заведывание выборами и избирательная процедура, поскольку это не установлено распоряжением имперской власти, будут определены правительствами отдельных государств.

Приложение А.

ИМПЕРСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РОСПИСЬ.

Для выборов депутатов в палату народа соединяются: 1) Лихтенштейн с Австрией. 2) Гессен-Гомбург с великим герцогством Гессенским; гессен-гомбургский обер-амт Мейзенгейм на левом берегу Рейна с Рейнской Баварией. 3) Шаумбург-Липпе с Гессен-Касселем. 4) Гогенцолерн-Геккинген с Гогенцоллерн-Зигмарингеном. 5) Рейсс старшей линии с Рейсом младшей линии. 6) Ангальт-Котен с Ангальт-Бернбургом. 7) Лауэнбург с Шлезвиг-Голштинией. 8) Лежащая на левой стороне Рейна часть великого герцогства Ольденбургского с Рейнской Пруссией. 9) Пирмонт с Пруссией.

Франкфурт, 12 апреля 1849 года.

Имперский правитель:

эрцгерцог Иоганн.

Временные имперские министры:

Г. фон-Гагерн. Фон-Пейкер. Фон-Беккерат.
Дуккевиц. Р. Моль.

V.

Военные суды в Бадене.

Воспроизводим несколько приговоров военных судов, поскольку они были опубликованы в форме „извещений“. Стиль и дух этих прокламаций в одинаковой мере характерны для того, как победители обрушились на побежденных. В особенности любопытно, как генерал Гиршфельд скорбит, что Кинкеля не удалось расстрелять, чего хотелось бы „Крестовой Газете“. Замечательное „помилование“ осужденного к пожизненной каторжной в тюрьме не могло удовлетворить этого генерала, который между прочим и „утрату национальной кокарды“ (т.-е. лишение гражданских прав) считает в высшей степени важным делом.

1.

Извещение. Иоганн-Людвиг-Максимилиан Дорту из Подтсдама, бывший сверхштатный королевско-прусский чиновник и унтер-офицер 24 полка ландвера по случаю государственного переворота, имевшего место в мае сего года, прибыл в эту страну и при наступлении прусской королевской армии с оружием в руках враждебно противостал полкам своего собственного законного государя и военачальника, своим собственным братьям по оружию и землякам. 11 июля сего года он был предан военному суду по обвинению в военной измене. Вынесенный судом приговор вчера утвержден мною в той форме, что обвиняемый в военной измене по разжаловании в нижние чины, понижение во второй класс солдатского звания и лишение национальной кокарды подлежит смертной казни через расстреляние. Этот приговор по вступлении в законную силу сегодня в четыре часа приведен над осужденным в исполнение близ Виреского кладбища, о чем сим доводится до общего сведения.

Главный штаб Фрейбург, 31 июля 1849 года.

Командующий первого армейского корпуса действующей на Рейне Королевско-прусской армии:

генерал *фон-Гиршфельд.*

2

Фридрих Нефф из Рюмингена в великом герцогстве Баденском, 28 лет от роду, холост, принимал участие сочинениями и делами уже в прежних государственно-изменнических предприятиях; в частности при совершенной Струве в сентябре прошлого года попытке переворота выделялся ограблением государственных касс и другими преступлениями. За соучастие в третьем государственно-изменническом предприятии в мае сего года по распоряжению велико-герцогского военного министерства предан здешнему военному суду. Главное его преступление заключается в том, что он призвал из-за границы в великое герцогство немецких эмигрантов для поддержки революции, организовал их и с 5 по 29 июня, в качестве военного комиссара, вооруженный, совершил с ними военный поход через Гейдельберг, Шопау, Геддесбах в Дуглах и Раштатт. По воспоследовавшем военно-судебном разбирательстве военный суд в публичном заседании 8 августа сего года постановил: Фридрих Нефф из Рюмингена, как инициатор и соучастник государственно-изменнического мятежа, вспыхнувшего в мае сего года в великом герцогстве Баденском, подлежит смертной казни через расстреляние. Этот приговор сегодня в 4 часа утра приведен в исполнение перед воротами города.

Фрейбург, 9 августа 1849 года.

Фон-Гиллерн,

майор и командир 8 егерского батальона, презус военного суда.

Вахелин, следственный судья.

3.

Карл Гофер, родом из Бремена, округа Герлахсгейм, учитель народной школы в Альтнейдорфе, добровольно принял участие в последнем восстании, как предводитель первой дружины Альтнейдорфа, Гейдесбаха, Бромбаха и окрестных мест. Между прочим вечером 21 июня он повел эту дружину вместе с инсургентами к Гейлигенбергу (близ Гейдельберга) против королевско-прусских войск, а когда она хотела отступить перед близко надвинувшейся опасностью, попытался речью воспламенить ее к наступлению, при посредстве инсургентов, которых он поставил в тылу с приказанием стрелять в отступающих, принудил ее к битве и дал упомянутым войскам сражение, в котором из его дружины два человека было ранено и один убит. Поэтому Карл Гофер после публичного и гласного разбирательства приговором военного суда признан вчера виновным в сопротивлении войскам, а также в призыве к этому, и приговорен к смертной казни через расстреляние. Этот приговор приведен в исполнение в тот же день, в $7^3/_4$ часов вечера.

Мангейм, 17 августа 1849 года

От имени следственной комиссии военного суда:

Фон-Гиллерн.

4.

Извещение. Бывший профессор и ополченец в войсках инсургентов Иоганн-Готфрид Кинкель из Бонна, так как он с оружием в руках сражался в рядах баденских инсургентов против прусских войск, приговором заседавшего в Раштатте военного суда приговорен к лишению прусской национальной кокарды и, взамен смертной казни, лишь к пожизненному заключению в крепости. Для проверки законности этот приговор был отправлен мною королевскому генеральному аудиторнату и, как противозаконный, представлен последним для отмены его величеству королю. Их величество из милости соизволили, однако, утвердить приговор, повелев, чтобы Кинкель назначенное ему наказание заключение в крепости отбыл в гражданской тюрьме. Согласно сему высочайшему повелению приговор военного суда утверждается мною в следующем виде: за военную измену Кинкель подвергается наказанию лишением прусской национальной кокарды и пожизненным заключением в крепости, подлежащим отбытию в гражданской уголовной тюрьме, а для приведения приговора в исполнение предписывается поместить осужденного в каторжную тюрьму, о чем сим доводится до общего сведения.

Фрейбург, 30 сентября 1849 года.

Командующий первого армейского корпуса действующей на Рейне королевско-прусской армии

генерал *фон-Гиршфельд.*

VI.

Из письма Зигеля.

В 1892 году генерал Зигель[1]) обратился из Нью-Йорка к автору с следующим письмом, которое вносит некоторые поправки в обычные изложения баденского восстания (приводим письмо в извлечениях).

„Что касается движения 1848 года, я был вообще против тогдашней каторжной системы регулярных армий, высказывался и писал против нее, после нескольких личных столкновений вышел в отставку [2]) и стал готовиться к университету чтобы изучать юридические науки. Французская февральская революция всколыхнула меня; я был вызван в Мангейм и организовал там батальон добровольцев, так называемый корпус косцов, вооруженный отчасти ружьями, отчасти косами, потому что ружей у нас было недостаточно. После большого народного собрания в Оффенбурге комитет приозерного округа пригласил меня взять на себя военную организацию округа, на что я согласился. Уже раньше дорогой в Мангейм, в Гейдельберге я изложил известному Ю. Фребелю план народного ополчения, который был опубликован в одной гейдельбергской газете. Тогда речь шла о едином германском парламенте, разговоры шли о нем. Идея, которая одушевляла меня и за которую я выступил, была такова: создать народную армию, которая должна охранять парламент и в случае нужды бороться за этот парламент, который должен был представлять суверенитет всего германского народа. Поэтому я отправился в приозерный округ и нашел, что народ готов встать за эту идею. По истечении недели в одном только Констанце было уже организовано и вооружено более 400 человек – поднялось собственно 10.000 челов., но у них было лишь очень скудное вооружение; еще бы одна или две недели, и у нас было бы организованно самое меньшее 4—5 тысяч человек. По своему настроению за нас была горная часть Вюртемберга, а также Гогенцоллерн-Зигмаринген, откуда Гофштеттер собирался привести к нам 1.000 человек из регулярных войск [3]). Все принимало благоприятный оборот. Но вот, по истечении первой недели, в Констанц внезапно явились Геккер и Струве, а с ними Виллих, Долль, Брун и Шенингер, чтобы совершить „инсургентский поход" и, начиная с последнего края Германии, завоевать германскую республику. Лучшие люди центрального комитета и сами убежденные республиканцы, противились чрезмерной спешке и делали все возможное, чтобы отговорить Геккера от его плана, но ничто не помогло. Республика была объявлена, пламенная речь Геккера завоевала большинство одного народного собрания и кампания началась. Но из 400 челов. Констанца явилось всего 57—и я в том числе. После всего происшедшего я оставил приозерный округ, как совершенно потерянный: баварцы, вюртембержцы и даже австрийцы стояли на границе, готовые начать наступление. Раньше они не отважились бы на это, но революционный акт немедленно послужил для них предлогом. По требованию Геккера из Штоккаха, где я едва собрал 300 человек, я опять возвратился в Констанц и на следующий день пошел за ним с 150 человек и двумя пушками. Через 5 дней с 3.500 человек разделенными на четыре батальона мушкатеров и стрелков и один батальон косцов, я вступил в Тодтнау—место, назначенное сборным пунктом, откуда предполагалось открыть нападение на Фрейбург. Но роковым образом Геккер и Виллих уже раньше ушли

[1]) Он натурализовался в Америке и принял видное участие в междоусобной войне 1861—65 года, разумеется, на стороне северян.

[2]) В 1848 году Зигель был лейтенантом баденской службы. Он родился в 1824 году в Зинсгейме.

[3]) Гофштеттер—отставной зигмарингенский офицер; в 1849 году сражался в Риме в войсках Гарибальди, позже поступил на службу в Швейцарии.

в Рейнскую долину и были разбиты при Кандерне; то же случилось и с другой колонной. Таким образом я остался один и дал сражение при Гюнтерстале и перед Фрейбургом... События в самом Фрейбурге и перед городом, как я думаю, достаточно известны; если я обратился к приведенным выше подробностям, то лишь потому, что, насколько я знаю, они никогда не получали правильного освещения. Ошибочен взгляд, будто в приозерном округе ничего не было сделано и будто Геккер и Струве были разочарованы в своих ожиданиях, так как в народных собраниях прямо говорилось, что на призыв вождей народ поднимется как один человек и что в приозерном округе 40, даже 80 тысяч человек готовы выступить в поле! Как можно было думать, что приозерный округ, в котором население не достигло тогда и 200.000, в несколько дней или недель сумеет выставить 40—80 тысяч человек? Кто мог или хотел считать, должен же был *знать* это и не мог положиться на полученные неизвестно откуда известия... Так называемый инсургентский поход Геккера был несомненно *больше личным делом, чем делом, оправдываемым обстоятельствами*. Вероятно, Струве преувеличенными сообщениями натолкнул на это своего пылкого друга Геккера..."
